ЮРИЙ ОЛЕША

ЮРИЙ ОЛЕША



ЮРИЙ ОЛЕША

•

ИЗБРАННОЕ



Москва
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1974

Вступительная статья
В. Б. ШКЛОВСКОГО

Примечания
В. В. БАДИКОВА

Художник
В. ЮРЛОВ

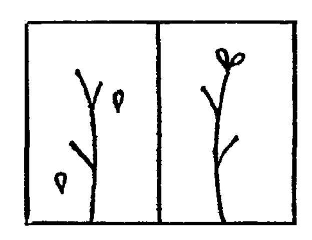
Олеша Юрий.
О-53 Избранное. Вст. статья В. Б. Шкловского. Примеч. В. В. Бадикова. Худ. В. Юрлов. М., «Худож. лит.», 1974.

576 с.

В «Избранное» Юрия Карловича Олеши (1899—1960) включены известный роман «Зависть», сказка для детей «Три толстяка», рассказы, книга воспоминаний и размышлений «Ни дня без строчки», киносценарий «Строгий юноша».

О $\frac{70302-163}{028(01)-74}$ 41—74 **Р2**

О $\frac{70302-163}{028(01)-74}$ 41—74



ГЛУБОКОЕ БУРЕНИЕ

Детство гениально: оно хочет докопаться и дойти до самых краев земли.

Человек каждый день узнает новое. Он как бы творит это новое и охотно рассказывает о нем.

Мир стремительно расширяется.

Сперва, когда тебя моют, видишь только маленькие свои пальцы и края корыта,— так в старости записал Лев Толстой. Потом видишь ноги, руки, бока и слышишь, что в тебе бьется сердце.

Потом видишь небо, море, если тебе посчастливилось родиться там, где есть море. Лес, сад или хотя бы двор.

По земле тенью безмятежно пробегают облака. Вокруг тебя земля, еще никем не увиденная, никем не преодоленная. Видишь книги, ногой ударяешь футбольный мяч. Идешь в цирк.

В цирке, как в чашке, крутые края, дно у чашки золотое. Песок арены.

Люди, не похожие на других,— но в детстве все непохоже — ходят по проволоке, прыгают.

Кукла оказывается живым человеком. Это не только смешно, но и удивительно.

В театре из картонных вулканов извергается лава и орел уносит мальчика — все это называется «Дети капитана Гранта».

Позже Олеша писал: «Неповторяемая, чистая жизнь мальчика, воспоминания о которой говорят мне, что детство есть гордость, за одну каплю которой я отдал бы все завоевания зрелости».

Если тебе посчастливилось родиться на рубеже двух столетий, ты переживешь второе детство — детство нового мира.

Там, где-то далеко, в середине земли, подымается пятиугольная скала Кремля. От нее отступает океан старого мира.

Земля вокруг Кремля все растет.

По той земле ходят иные — родные — люди.

На той земле появляются новые стихи.

Земля та говорит про Ленина голосом Маяковского.

Ты его увидишь: он высокий, широкоплечий и внимательный — внимательный, как ребенок, потому что он гений.

В Одессе пестро.

Из-за голубой горы пустого моря приходили корабли с чужими людьми, французы, англичане, греки. Они делили Одессу на куски — иногда колючей проволокой. Чаще просто рядами стульев: это были границы земли, пока что оккупированной интервентами.

Чужие солдаты удивлялись на твой город.

Сети, которые они набрасывали на него, казались сетями паука: они легко рвались.

В городе, оторванном от большой земли, молодежь писала стихи. Писал стихи Юрий Олеша. Первые стихи были напечатаны еще в 1916 году в «Одесском листке». Но те стихи были как легкая корь, обязательная для всех болезнь, которая легко забывается, если только не простудишься.

Были кружки. В них читали друг другу стихи. Названия кружков были связаны со стихами Пушкина.

Юноши были беспощадны в критике друг друга, потому что сегодняшний день ничего не стоил по сравнению с завтрашним.

Юрий Карлович кончил гимназию тогда, когда началась революция. Поступил в Новороссийский университет в Одессе, проучился год.

Все изменялось.

Директор гимназии, знавший Гесиода и «Георгики» Виргилия, из гордости стал пастухом. У порога Одессы — зеленые банды. Однажды какой-то атаман — забыл его имя — ворвался в город на конках.

Война въезжала в город по разным билетам.

Олеша вступил добровольцем в Красную Армию.

Служил телефонистом на батарее черноморской обороны, она стояла на пляже.

Голос Маяковского, голос революции звучал над страной.

В период военного коммунизма Олеша работал в Югросте, там осуществляли опыт Маяковского, он принимал участие в устных газетах, писал. Революция подарила ему взволнованный голос агитатора, который ясно видит будущее, ясно и убежденно о нем говорит.

В 1922 году молодой поэт уехал в Харьков. Там он писал маленькие пьесы, учился писать прозу — и сам браковал.

Синеглазый Олеша приехал в Москву, уже имея несколько книжек, имея много знаний, много стихотворений, которые сам уже разлюбил.

Искал работу.

Впоследствии он писал:

«Одно из самых дорогих для меня воспоминаний моей жизни — это моя работа в «Гудке». Тут соединилось все: и моя молодость, и молодость моей Советской родины, и молодость нашей прессы, нашей журналистики.

Я поступил в «Гудок», кстати говоря, вовсе не на журналистскую работу. Я служил в так называвшемся тогда «информационном отделе», и работа моя состояла в том, что я вкладывал в конверты письма, написанные начальником отдела по разным адресам рабкоров».

«Гудок» был органом Профсоюза железнодорожников. Работники этого профсоюза были раскинуты по железным дорогам — кровеносным сосудам страны. Они очень дорожили связями друг с другом. Ветви железных дорог были усеяны письмами, письма текли, как сок дерева.

В отделе работали трое: Олеша, комсомолка-регистраторша и заведующий отделом писатель Иван Овчинников, организатор четвертой полосы «Гудка».

Иван Овчинников — еще молодой, белозубый человек, скромно жующий за перегородкой морковку. Чаю он не пьет — чай вреден, яйца ест почти сырые. Остальные двое пьют чай, едят бутерброды с колбасой, взятые из буфета. К чаю приносят сахар из дому.

Полутемная комната находится в одном из самых больших домов Москвы — сбоку дом примыкает к Китайгородской стене: это бывший Воспитательный дом, дом для подкидышей. Это был дом детского плача и детских смертей. В нем длинные коридоры, высокие потолки, много комнат, много лестниц, много профсоюзов — это Дворец Труда.

Он наполнен предложениями, сообщениями, жалобами и рабкорами, которые неустанно ходят, добиваясь правды.

«Однажды,— пишет Олеша,— начальник отдела Иван Семенович Овчинников предложил мне написать стихотворный фельетон по письму рабкора».

Оказалось, что, если у поэта такая тема, слова иначе строятся и рифмы изменяются и напоминают о реальном.

Фельетон был напечатан и подписан — «Зубило».

Зубило — это грубое долото, им сбивают окалину с отливок, им разрубают на куски железные прутья. Зубило — это грубый, нужный, звонкий инструмент.

Подпись «Зубило» появлялась в «Гудке» в течение шести лет. К Олеше приходили рабкоры. Он был их руководителем.

Вместе они защищали интересы труда на железных дорогах, на полустанках.

Олеша был богом рабкоров. Когда он переделывал их заметки, они узнавали себя.

Опыт писателя, споры кружков, производственное освоение работы Пушкина, неутомимость и необыкновенность таланта — все соединилось в Юрии Карловиче Олеше, когда он стал «Зубило».

Юрий Карлович в «Гудке» написал более пятисот фельетонов. Они до сих пор не собраны вместе, не изданы, а между тем в них много неповторимых черт времени.

Тогда в «Гудке» работали такие разные люди, как Булгаков, Петров, Катаев, Ильф, Славин, Бондарин, Гехт. Они писали о сегодняшнем дне, писали по-своему. Они выражали современность и становились все более непохожими друг на друга.

Время — великий руководитель. Четвертая полоса «Гудка» переорганизовала судьбу писателя.

Газетная работа открыла большие художественные возможности.

Газета создается как будто на один день, но события, в ней изложенные, изменяют историю, изменяют ступенчатость изобретениями, открытиями, революциями, войнами.

В самом слове «творчество» лежит представление о том, что появляется заново.

В то же время и элементы машин, и принципы, заложенные в процессы создания новой техники, слова, которые мы говорим,— все они существовали и до нас.

Мы пользуемся богатством, до нас созданным.

Время требовало иной, многосложной, многотемной формы.

Олеша сразу овладел искусством писать просто и доходчиво. Это были «Три Толстяка» — детская сказка, написанная на рулоне газетной бумаги, написанная не на столе, а на полу, «Три Толстяка», которые оказались новым мифом.

Сказка, написанная полвека назад поэтом, работником газеты, переведена на десятки языков.

Ее читает каждое новое поколение детей.

Сказка превращалась в киноленту, в балет.

Героиня сказки — девочка, которая сыграла роль куклы, для того чтобы проникнуть в замок врага. Такое уже было известно в цирке.

В сказке клоун, вся труппа бродячего цирка и веселое народное циркачество. Ходьба по проволоке противопоставлена чинному танцу — науке учителя Раздватриса.

Есть другая наука — наука доктора Гаспара.

Доктор Гаспар из числа тех людей, которые изобретают порох.

По словам Пушкина, порох победил рыцарство. Мы можем это даже уточнить: чешские мужики, табориты, с изобретенными ими пищалями разбили европейское рыцарство, изменив ход истории.

Существуют необыкновенно уплотненные звезды. Они так тяжелы, так значительны, что мощь их изгибает ход лучей.

Время революций — время уплотненное.

Это сверхвремя.

Человек, работающий на обработке писем рабкоров, пишет маленький роман для детей, стилистически сложный, создает чудо; дети понимают эту новую сложность.

И в то же время тот же человек пишет «Зависть».

Что создает сюжет?

Сюжет создается ощущениями перемены моральных законов.

Сказка изображает победу слабых над сильными. Неисчерпаемость усилий людей, идущих на помощь любимым. Сказка рассказывает о том, как раскалывается и вновь строится семья, как рассыпаются государства.

Искусство — переосмысливание жизни.

Труд колбасника — непоэтический труд. Это то, что называется службой быта.

Положение человека, отказывающегося от благ жизни для того, чтобы думать по-своему — только по старому своему,— как будто поэтично и даже рыцарственно. Но Пушкин в плане «Сцен из рыцарских времен» называет рыцаря «олицетворением посредственности».

Новая жизнь со всеми своими трудностями, очень реальными, точно описанными, вызывает зависть старого. Зависть не из-за женщины или богатства. Зависть к новому отношению к труду.

«Зависть» изображает трагедию поколений.

Развязка ее — очищение чувства, то, что когда-то Аристотель называл катарсисом. Катарсис — ощущение освобождения, снятие боли красотой необходимости.

Жизнь писателя Юрия Олеши ко времени его зрелости казалась прекрасной. Его проза определила ритм литературы того времени. Он написал книгу рассказов с новыми сюжетами.

По «Трем Толстякам» Юрий Карлович написал пьесу, она пошла во МХАТе. Пошла пьеса «Список благодеяний». На сцене шел «Заговор чувств». Казалось, что не может быть положения более блистательного.

В области кино были сделаны сценарии «Болотные солдаты», «Ошибка инженера Кочина», «Строгий юноша». Все было поставлено и имело успех. Интереснее всего был «Строгий юноша», но лента дошла до экрана лишь много лет спустя.

Сам Юрий Карлович был человеком, который всегда оказывался центром любой компании. Его слова повторялись, становились поговорками.

Мне приходилось разбирать его архив, и я видал десятки и сотни начал пьес, все они были превосходны. Между тем драматург и беллетрист Олеша молчал.

Новый успех требовал глубокого бурения.

Творец как будто повторял свои ошибки, болея «высокой болезнью вдохновения».

Даже Маяковский раз назвал вдохновение «воблой».

Мы ведь не замечаем остановок в творчестве Гоголя — мучительное желание выразить невыразимое, собрать жатву, когда время еще не пришло.

У Льва Толстого начала романов, повторения статей занимают целые тома. За ними стоят тома дневниковых записей.

Что же случилось с Юрием Карловичем, как он прошел через горы, которые преградили его дорогу?

Толстой говорил, что именно в искусстве консерватизм опаснее всего. Жизнь изменилась, изменилась так, как никогда, консерватизм равнялся поражению.

«Зубило» был газетчиком. Высокий лирик Олеша остался газетчиком.

Журнализм высокого класса еще не был понят нами; он существует в кино: документальные ленты и короткометражки конкурируют с эпопеями. Когда теперь говорят о «новом журнализме», о документальной прозе, вспоминается Маяковский:

Воспаленной губой
припади
и попей
из реки
по имени — «Факт».

В литературе не все вымысел. Когда описывается город, он не вымышлен. Вымышлен герой — но отношения не вымышлены.

Количество вымысла уменьшается. Об этом мы говорили в сборнике «Литература факта» — он вышел полвека назад.

Миф был основой античной трагедии. Для Эсхила, Софокла и Еврипида миф был предметом спора: они переосмысливали мифы, опираясь на них, как на документы, выражая свое сегодняшнее. Эти мифы оказывались зрачками глаз, которые видали новое.

Нужно новое создание, новые архитектурные решения *.

Олеша писал: «Что значит план? Я вижу отдельные этапы. Как бы быки, на которые ляжет мост всего произведения».

Мне он говорил, что он создает камни, которые должны потом образовать арку, замкнуться в новую форму.

Еще Мишель Монтень, отвергая рутину старого искусства, говорил про писателей: «Чем у них меньше таланта, тем важнее для них сюжет».

Чехов боролся с трудностью выражения нового. Он отбрасывал, отрывал и советовал другим — отрывать начала рассказов. Он их как бы не доканчивал.

Обыкновенно произведение в событийной своей части опирается на жизнь героя: герой рождается, умирает, а перед этим женится.

У Чехова это вызывало сомнения: он понимал, что в его драмах герои или умирают, или уезжают, что пьесы кончаются выстрелом. Смерть Треплева — это не разрешение конфликта. Дядя Ваня стреляет в профессора Серебрякова, произнося странное детское слово «бац». Это «детское слово» отмечает в своем дневнике Олеша. Новый Тартюф Серебряков — либерал, играющий роль старых иезуитов,— все же испуганно убегает, а пьеса кончается ничем.

Толстой в высочайшую эпоху своего творчества пишет в набросках предисловия к «Войне и миру»: «Мне невольно представлялось, что смерть одного лица только возбуждала интерес к другим лицам, и брак представлялся, большей частью, завязкой, а не развязкой интереса».

«Война и мир» кончается предсказанием гибели семьи Болконских, предсказанием новых катастроф.

«Преступление и наказание» Достоевского, «Воскресение» Толстого — не кончены. В обоих обещана новая книга, которая расскажет о новом человеке.

Эти книги не написаны.

Развязка будет, но она — в революции.

Толстой писал: «Цемент, который связывает всякое художественное произведение в одно целое и оттого производит иллюзию отражения жизни, есть не единство лиц и положений, а единство самобытного нравственного отношения автора к предмету» **.

Великий актер, драматург и антрепренер Шекспир инсценировал чужие новеллы. Шекспир находил новое в старом, изменяя психологию Отелло, Шейлока, Гамлета.

Мы все, большие и малые, увидавши великий порог истории мира, принимающие участие в штурме снежных перевалов, стараемся зафиксировать момент изменения отношений.

Олеша писал пьесу «Смерть Занда», создавая законченные куски — об изменении чувства ревности, себялюбия, чувства собственности,— и бросал куски. Так войско, идущее через перевалы, бросает места ночевок.

Надо прикоснуться к самой действительности, надо стать великим рабкором нового времени.

Черновики Олеши трудно поднять даже сильному человеку. Сам автор пишет: «Я начинаю ненавидеть беллетристику, всякую выдумку в литературе,

---

* *А. Чехов говорил: «Нужны новые формы. Новые формы нужны, а если их нет, то лучше ничего не нужно» (Собр. соч. в двенадцати томах, т. 9. М., ГИХЛ, 1956, с. 232).*

** *Л. Н. Толстой. Полн. собр. соч., т. 30, с. 18.*

может быть, просто от бессилья, от неумения сочинять. Возможно. Во всяком случае, замечаю: клей эпоса не стекает с моего пера (говорю торжественно)».

Это дневниковые записи. Автор, уже прославленный, изведавший удачи всех видов, пишет о себе: «Я вишу между двумя мирами. Эта истинная ситуация настолько необычайна, что простое ее описание не уступит по занимательности самой ловкой беллетристике».

Проходили годы, годы попыток.

Создавались отрывки, ограненные так, как гранят алмазы, превращая их в бриллианты: плоскостями отсекают вершину камня и дно, для того чтобы достигнуть полного отражения действительности, в данном случае — луча света.

Луч ищет лазеры.

Черновики не договорены, отрывки — уже алмазы.

Ю. Олеша последние десятилетия создавал планы новой книги, в которых заново осмысливались попытки.

Супруги Кюри заметили, что уран испускает какие-то лучи и, что изумительнее, отходы руды более интенсивно излучают, чем до конца очищенный продукт. Так они нашли радий в отходах.

Одного физика спросили: что больше всего помогает при новых открытиях?

Он отвечал: «Препятствия» — и добавил: «А если все выходит, значит, новое открыто не будет».

Куски прозы, записанные Олешей, имели свои развязки. В них есть элемент нового, «самобытного нравственного отношения автора к предмету».

Они созданы человеком нашего времени, человеком, умеющим смотреть, огорчаться и радоваться и перелистывать старое для того, чтобы увидеть новое.

Рождалась книга «Ни дня без строчки». Она лежала в папках писателя, ее легко было выделить хотя бы по цвету бумаги: это было открытие радиоактивности материала.

Во всей книге нет событийной законченности, но есть явление нового восприятия.

У Олеши лазерное зрение.

Сюжетные метафоры — система видения Олеши.

Он видит стрекозу и то, что она похожа на самолет.

Олеша сам отмечает, что он видит две возможности: один предмет не заменяет, а обновляет другой.

Осеннее дерево похоже на цыганку — и вы видите и дерево и цыганку.

Олеша владел средством будить свежесть восприятия, владел первоначальностью ощущений.

Самые смелые метафоры Олеши — когда мосты похожи на кошек — читаются детьми «с визгом», так как они тоже видят мир по-новому, заново приходят в мир. Мир детей метафоричен, это мир смелых видений и сравнений. Одно «детское слово» миф фантастики превращает в реальность.

«Ни дня без строчки» — книга первого воздуха.

Зимой сквозь Лаврушинский переулок мимо Третьяковской галереи летела, утихая, вьюга. Я шел по улице, встретил Веру Михайловну Инбер. На другой стороне, сгорбив сильную спину, опустив прекрасную голову в фетровой шляпе,

шел Олеша, весь осыпанный снегом. Вера Инбер сказала мне с завистью: «Он похож на Везувий в снегу».

Позже увидал Везувий. Над ним висело освещенное облачко, он жил. Он переживает снегопад, он, сигнал действия глубин земли, преодолел снег.

Навстречу глубинам, пронзая сушу и воду океанов, мы проводим бурение. Вот в этом году или в это десятилетие, вот скоро, мы дойдем до познания сущности нашей родины — Земли. Разгадаем загадку Везувия. Будем благодарны тем, кто стремился к познанию через толщу воды и гранита, через трудности, через многократные попытки и опыты.

Книги созданы в пути и не пропадают. Они и есть накопление эпохи. Они отражают душу художника и душу революции.

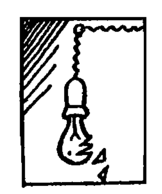
Жизнь Юрия Олеши логична.

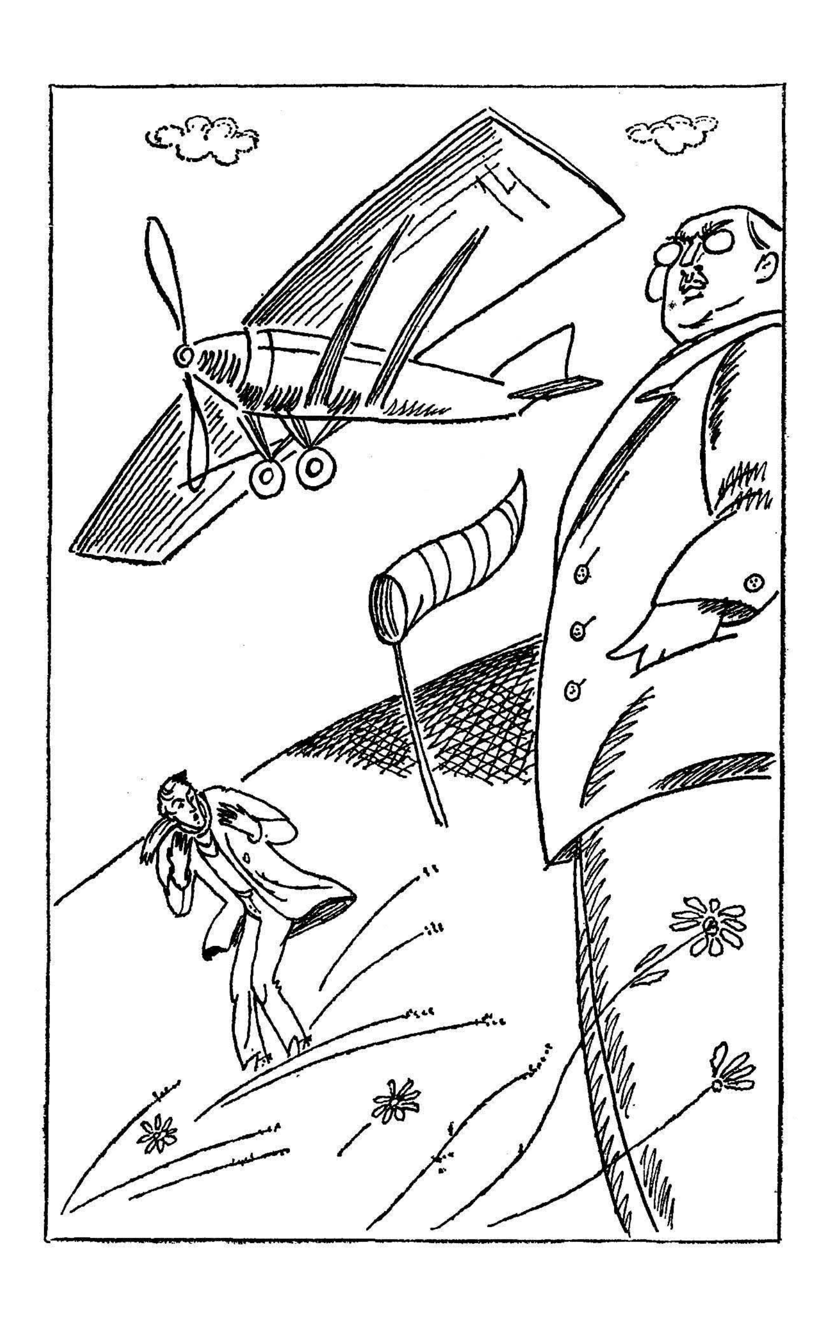
Писатель сложного пути, многократно признанный, он отправился на поиск новой формы и продолжал свой путь.

Ни дня без строчки, ни дня без великих книг, ни дня без нового познания.

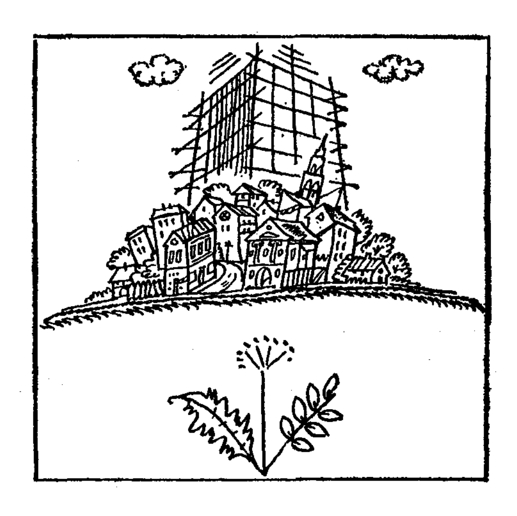
ВИКТОР ШКЛОВСКИЙ

ЗАВИСТЬ





ЧАСТЬ ПЕРВАЯ



I

Он поет по утрам в клозете. Можете представить себе, какой это жизнерадостный, здоровый человек. Желание петь возникает в нем рефлекторно. Эти песни его, в которых нет ни мелодии, ни слов, а есть только одно «та-ра-ра», выкрикиваемое им на разные лады, можно толковать так:

«Как мне приятно жить... та-ра! та-ра!.. Мой кишечник упруг... ра-та-та-та-ра-ри... Правильно движутся во мне соки... ра-ти-та-ду-та-та... Сокращайся, кишка, сокращайся... трам-ба-ба-бум!»

Когда утром он из спальни проходит мимо меня (я притворяюсь спящим) в дверь, ведущую в недра квартиры, в уборную, мое воображение уносится за ним. Я слышу сутолоку в кабинке уборной, где узко его крупному телу. Его спина трется по внутренней стороне захлопнувшейся двери, локти тыкаются в стенки, он перебирает ногами. В дверь уборной вделано матовое овальное стекло. Он поворачивает выключатель, овал освещается изнутри и становится прекрасным, цвета опала, яйцом. Мысленным взором я вижу это яйцо, висящее в темноте коридора.

В нем весу шесть пудов. Недавно, сходя где-то по лестнице, он заметил, как в такт шагам у него трясутся груди. Поэтому он решил прибавить новую серию гимнастических упражнений.

Это образцовая мужская особь.

Обычно занимается он гимнастикой не у себя в спальне, а в той неопределенного назначения комнате, где помещаюсь я. Здесь просторней, воздушней, больше света, сияния. В открытую дверь балкона льется прохлада. Кроме того, здесь умывальник. Из спальни переносится циновка. Он гол до пояса, в трикотажных кальсонах, застегнутых на одну пуговицу посредине живота. Голубой и розовый мир комнаты ходит кругом в перламутровом объективе пуговицы. Когда он ложится на циновку спиной и начинает поднимать поочередно ноги, пуговица не выдерживает. Открывается пах. Пах его великолепен. Нежная подпалина. Заповедный уголок. Пах производителя. Вот такой же замшевой матовости пах видел я у антилопы-самца. Девушек, секретарш и конторщиц его, должно быть, пронизывают любовные токи от одного его взгляда.

Он моется, как мальчик: дудит, приплясывает, фыркает, испускает вопли. Воду он захватывает пригоршнями и, не донося до подмышек, расшлепывает по циновке. Вода на соломе рассыпается полными, чистыми каплями. Пена, падая в таз, закипает, как блин. Иногда мыло ослепляет его,— он, чертыхаясь, раздирает большими пальцами веки. Полощет горло он с клекотом. Под балконом останавливаются люди и задирают головы.

Розовейшее, тишайшее утро. Весна в разгаре. На всех подоконниках стоят цветочные ящики. Сквозь щели их просачивается киноварь очередного цветения.

(Меня не любят вещи. Мебель норовит подставить мне ножку. Какой-то лакированный угол однажды буквально укусил меня. С одеялом у меня всегда сложные взаимоотношения. Суп, поданный мне, никогда не остывает. Если какая-нибудь дрянь — монета или запонка — падает со стола, то обычно закатывается она под трудно отодвигаемую мебель. Я ползаю по полу и, поднимая голову, вижу, как буфет смеется.)

Синие лямки подтяжек висят по бокам. Он идет в спальню, находит на стуле пенсне, надевает его перед зеркалом и возвращается в мою комнату. Здесь, стоя посредине, он поднимает лямки подтяжек, обе разом, таким движением, точно взваливает на плечи кладь. Со мной не говорит он ни слова. Я притворяюсь спящим. В металлических пластинках подтяжек солнце концентрируется двумя жгучими пучками. (Вещи его любят.)

Ему не надо причесываться и приводить в порядок бороду и усы. Голова у него низко острижена, усы короткие — под самым носом. Он похож на большого мальчика-толстяка.

Он взял флакон; щебетнула стеклянная пробка. Он вылил одеколон на ладонь и провел ладонью по шару головы — от лба к затылку и обратно.

Утром он пьет два стакана холодного молока. Достает из буфета кувшинчик, наливает и пьет, не садясь.

Первое впечатление от него ошеломило меня. Я не мог допустить, предположить. Он стоял передо мной в элегантном сером костюме, пахнущий одеколоном. Губы у него были свежие, слегка выпяченные. Он, оказалось, щеголь.

Очень часто ночью я просыпаюсь от его храпа. Осовелый, я не понимаю, в чем дело. Как будто кто-то с угрозой произносит одно и то же: «Кракатоу... крра... ка... тоууу...»

Прекрасную квартиру предоставили ему. Какая ваза стоит у дверей балкона на лакированной подставке! Тончайшего фарфора ваза, округлая, высокая, просвечивающая нежной кровеносной краснотою. Она напоминает фламинго. Квартира на третьем этаже. Балкон висит в легком пространстве. Широкая загородная улица похожа на шоссе. Напротив внизу — сад: тяжелый, типичный для окраинных мест Москвы, деревастый сад, беспорядочное сборище, выросшее на пустыре между трех стен, как в печи.

Он обжора. Обедает он вне дома. Вчера вечером вернулся он голодный, решил закусить. Ничего не нашлось в буфете. Он спустился вниз (на углу магазин) и притащил целую кучу: двести пятьдесят граммов ветчины, банку шпрот, скумбрию в консервах, большой батон, голландского сыру доброе полулуние, четыре яблока, десяток яиц и мармелад «Персидский горошек». Была заказана яичница и чай (кухня в доме общая, обслуживают две кухарки в очередь).

— Лопайте, Кавалеров,— пригласил он меня и сам навалился. Яичницу ел он со сковороды, откалывая куски белка, как облупливают эмаль. Глаза его налились кровью, он снимал и надевал пенсне, чавкал, сопел, у него двигались уши.

Я развлекаюсь наблюдениями. Обращали ли вы внимание на то, что соль спадает с кончика ножа, не оставляя никаких следов,— нож блещет, как нетронутый; что пенсне переезжает переносицу, как велосипед; что человека окружают маленькие надписи, разбредшийся муравейник маленьких надписей: на вилках, ложках, тарелках, оправе пенсне, пуговицах, карандашах? Никто не замечает их. Они ведут борьбу за существование. Переходят из вида в вид, вплоть до громадных вывесочных букв! Они восстают — класс против класса: буквы табличек с названиями улиц воюют с буквами афиш.

Он наелся до отвала. Потянулся к яблокам с ножом, но только рассек желтую скулу яблока и бросил.

Один нарком в речи отозвался о нем с высокой похвалой:

— Андрей Бабичев — один из замечательных людей государства.

Он, Андрей Петрович Бабичев, занимает пост директора треста пищевой промышленности. Он великий колбасник, кондитер и повар.

А я, Николай Кавалеров, при нем шут.

II

Он заведует всем, что касается жранья.

Он жаден и ревнив. Ему хотелось бы самому жарить все яичницы, пироги, котлеты, печь все хлеба. Ему хотелось бы рожать пищу. Он родил «Четвертак».

Растет его детище. «Четвертак» — будет дом-гигант, величайшая столовая, величайшая кухня. Обед из двух блюд будет стоить четвертак.

Объявлена война кухням.

Тысячу кухонь можно считать покоренными.

Кустарничанию, восьмушкам, бутылочкам он положит конец. Он объединит все мясорубки, примуса, сковороды, краны... Если хотите, это будет индустриализация кухонь.

Он организовал ряд комиссий. Машины для очистки овощей, изготовленные на советском заводе, оказались превосходными. Немецкий инженер строит кухню. На многих предприятиях выполняются бабичевские заказы.

Я узнал о нем такое:

Он, директор треста, однажды утром, имея под мышкой портфель,— гражданин очень солидного, явно государственного облика,— взошел по незнакомой лестнице среди прелестей черного хода и постучал в первую попавшуюся дверь. Гарун-аль-Рашидом посетил он одну из кухонь в окраинном, заселенном рабочими доме. Он увидел копоть и грязь, бешеные фурии носились в дыму, плакали дети. На него сразу набросились. Он мешал всем — громадный, отнявший у них много места, света, воздуха. Кроме того, он был с портфелем, в пенсне, элегантный и чистый. И решили фурии: это, конечно, член какой-то комиссии. Подбоченившись, задирали его хозяйки. Он ушел. Из-за него (кричали ему вслед) потух примус, лопнул стакан, пересолился суп. Он ушел, не сказав того, что хотел сказать. У него нет воображения. Он должен был сказать так:

«Женщины! Мы сдуем с вас копоть, очистим ваши ноздри от дыма, уши — от галдежа, мы заставим картошку волшебно, в одно мгновенье, сбрасывать с себя шкуру; мы вернем вам часы, украденные у вас кухней,— половину жизни получите вы обратно. Ты, молодая жена, варишь для мужа суп. И лужице супа отдаешь ты половину своего дня! Мы превратим ваши лужицы в сверкающие моря, щи разольем океаном, кашу насыплем курганами, глетчером поползет кисель! Слушайте, хозяйки, ждите! Мы обещаем вам: кафельный пол будет залит солнцем, будут гореть медные чаны, лилейной чистоты будут тарелки, молоко будет тяжелое, как ртуть, и такое поплывет благоухание от супа, что станет завидно цветам на столах».

Он, как факир, пребывает в десяти местах одновременно.

В служебных записках он часто прибегает к скобкам, подчеркиваниям,— боится, что не поймут и напутают.

Вот образцы его записок:

«Товарищу Прокудину.

Обертки конфет (12 образцов) сделайте соответственно покупателю (шоколад, начинка), но по-новому. Но не «Роза Люксембург» (узнал, что такое имеется,— пастила!!),— лучше всего что-нибудь от науки (поэтическое — география? астрономия?), с названием серьезным и по звуку заманчивым: «Эскимос»? «Телескоп»? Сообщите по телефону завтра, в среду, между часом и двумя, мне в правление. Обязательно».

«Товарищу Фоминскому.

Прикажите, чтоб в каждую тарелку первого (и 50- и 75-*копеечного обеда*) клали кусок мяса (аккуратно отрезанный, *как у частника*). Настойчиво следите за этим. Правда ли, что: 1) пивную закуску подают без подносов? 2) горох мелкий и плохо вымоченный?»

Он мелочен, недоверчив и кропотлив, как ключница.

В десять часов утра он приехал с картонажной фабрики. Приема ждало восемь человек. Он принял: 1) заведующего коптильней, 2) уполномоченного дальневосточного консервного треста (схватил жестянку крабов и выбежал из кабинета кому-то показывать; вернувшись, поставил ее рядом, возле локтя, и долго не мог успокоиться, все время поглядывал на голубую жестянку, смеялся, почесывал нос), 3) инженера с постройки склада, 4) немца — относительно грузовых автомобилей (говорили по-немецки; он окончил разговор, должно быть, пословицей, потому что вышло в рифму и оба рассмеялись), 5) художника, принесшего проект рекламного плаката (не понравилось; сказал, что должен быть глухой синий цвет — химический, а не романтический), 6) какого-то контрагента-ресторатора, с запонками в виде молочно-белых бубенчиков, 7) жиденького человечка с витой бородой, который говорил о головах скота, и, наконец, 8) некоего восхитительного сельского жителя. Эта последняя встреча носила особый характер. Бабичев встал и двинулся вперед, почти раскрывая объятия. Тот заполнил весь кабинет — этакий пленительно-неуклюжий, застенчивый, улыбающийся, загорелый, ясноглазый, этакий Левин из Толстого. Пахло от него полевыми цветами и молочными блюдами. Шел разговор о совхозе. На лицах присутствующих появилось мечтательное выражение.

В четыре двадцать он уехал на заседание в Высший Совет Народного Хозяйства.

III

Вечером, дома, он сидит, осененный пальмовой зеленью абажура. Перед ним листы бумаги, записные книжки, маленькие листочки с колонками цифр. Он перебрасывает странички настольного календаря, вскакивает, ищет в этажерке, вынимает пачки, становится коленями на стул и — животом на столе, подперши толстое лицо руками,— читает. Зеленая площадка стола прикрыта стеклянной пластиной. В конце концов что же особенного? Человек работает, человек дома, вечером, работает. Человек, уставившись в лист, ковыряет в ухе карандашом. Ничего особенного. Но все его поведение говорит: ты — обыватель, Кавалеров. Конечно, он не заявляет этого. Должно быть, и в мыслях его ничего похожего нет. Но это понятно без слов. Кто-то третий заявляет мне об этом. Кто-то третий заставляет меня беситься в то время, когда я слежу за ним.

— Четвертак! Четвертак-с! — кричит он.— Четвертэк-с!

Он внезапно начинает хохотать. Он что-то уморительно прочел в бумагах или увидел в колонке цифр. Он подзывает меня, давясь от

хохота. Он ржет, тычет пальцем в лист. Я смотрю и ничего не вижу. Что рассмешило его? Там, где я не могу различить даже начал, от которых можно вести сравнение, он видит нечто настолько отступающее от этих начал, что разражается хохотом. Я с ужасом внимаю ему. Это хохот жреца. Я слушаю его, как слепой слушает разрыв ракеты.

«Ты — обыватель, Кавалеров. Ты ничего не понимаешь».

Он этого не говорит, но это понятно без слов.

Иногда он не возвращается до поздней ночи. Тогда по телефону я получаю распоряжение:

— Это Кавалеров? Слушайте, Кавалеров! Мне будут звонить из Хлебопродукта. Пусть позвонят два — семьдесят три — ноль пять, добавочный шестьдесят два, запишите. Записали? Добавочный шестьдесят два, Главконцесском. Привет.

Действительно ему звонят из Хлебопродукта.

Я переспрашиваю:

— Хлебопродукт? Товарищ Бабичев в Главконцесскоме... Что? В Главконцесском, два семьдесят три ноль пять. Добавочный шестьдесят два. Записали? Добавочный шестьдесят два, Главконцесском. Привет.

Хлебопродукт вызывает директора треста Бабичева. Бабичев в Главконцесскоме. Какое мне дело до этого? Но я ощущаю приятность от того, что принимаю косвенное участие в судьбе Хлебопродукта и Бабичева. Я испытываю административный восторг. Но ведь роль моя ничтожна. Холуйская роль. В чем же дело? Я уважаю его? Боюсь его? Нет. Я считаю, что я не хуже, чем он. Я не обыватель. Я докажу это.

Мне хочется поймать его на чем-то, обнаружить слабую сторону, незащищенный пункт. Когда мне в первый раз случилось увидеть его во время утреннего туалета, я был уверен, что поймал его, что прорвалась его непроницаемость.

Вытираясь, он вышел из своей комнаты к порогу балкона и, в полутора метрах от меня продолжая вытираться и ковыряя полотенцем в ушах, повернулся ко мне спиной. Я увидел эту спину, этот тучный торс сзади, в солнечном свете, и чуть не вскрикнул. Спина выдала все. Нежно желтело масло его тела. Свиток чужой судьбы развернулся передо мною. Прадед Бабичев холил свою кожу, мягко расположились по туловищу прадеда валики жира. По наследству передались комиссару тонкость кожи, благородный цвет и чистая пигментация. И самым главным, что вызвало во мне торжество, было то, что на пояснице его я увидел родинку, особенную, наследственную дворянскую родинку,— ту самую, полную крови, просвечивающую, нежную штучку, отстающую от тела на стебельке, по которой матери через десятки лет узнают украденных детей.

«Вы — барин, Андрей Петрович! Вы притворяетесь!» — едва не сорвалось с моих уст.

Но он повернулся грудью.

На груди у него, под правой ключицей, был шрам. Круглый, несколько топорщащийся, как оттиск монеты на воске. Как будто в этом месте росла ветвь и ее отрубили. Бабичев был на каторге. Он убегал, в него стреляли.

— Кто такая Иокаста? — спросил он меня однажды ни с того ни с сего. Из него выскакивают (особенно по вечерам) необычайные по неожиданности вопросы. Весь день он занят. Но глаза его скользят по афишам, по витринам, но края ушей улавливают слова из чужих разговоров. В него попадает сырье. Я единственный его неделовой собеседник. Он ощущает необходимость завязать разговор. На серьезный разговор он считает меня неспособным. Ему известно, что люди, отдыхая, болтают. Он решает отдать какую-то дань общечеловеческим обыкновениям. Тогда он задает мне праздные вопросы. Я отвечаю на них. Я дурак при нем. Он думает, что я дурак.

— Вы любите маслины? — спрашивает он.

«Да, я знаю, кто такая Иокаста! Да, я люблю маслины, но я не хочу отвечать на дурацкие вопросы. Я не считаю себя глупее вас». Так бы следовало ответить ему. Но у меня не хватает смелости. Он давит меня.

IV

Я живу под его кровом две недели. Две недели тому назад он подобрал меня, пьяного, ночью у порога пивной...

Из пивной меня выкинули.

Ссора в пивной завязалась исподволь; сперва ничто и не предвещало скандала — напротив, могла завязаться между двумя столиками дружба; пьяные общительны; та большая компания, где сидела женщина, предлагала мне присоединиться, и я готов был принять приглашение, но женщина, которая была прелестна, худа, в синей шелковой блузке, болтающейся на ключицах, отпустила шуточку по моему адресу — и я оскорбился и с полдороги вернулся к своему столику, неся впереди кружку, как фонарь.

Тогда целый град шуток посыпался мне вслед. Я и в самом деле мог показаться смешным — этакий вихрастый фрукт. Мужчина вдогонку гоготал басом. Швырнули горошиной. Я обошел свой столик и стал лицом к ним,— пиво ляпало на мрамор, я не мог высвободить большого пальца, запутавшегося в ручке кружки,— хмельной, я разразился признаниями: самоуничижение и заносчивость слились в одном горьком потоке:

— Вы... труппа чудовищ.... бродячая труппа уродов, похитившая девушку... (Окружающие прислушались: вихрастый фрукт выражался странно, речь его вышла из общего гомона.) Вы, сидящий справа под пальмочкой,— урод номер первый. Встаньте и покажитесь всем... Обратите внимание, товарищи почтеннейшая публика... Тише! Оркестр, вальс! Мелодический нейтральный вальс! Ваше лицо представляет собой упряжку. Щеки стянуты морщинами,— и не морщины это, а вожжи; подбородок ваш — вол, нос — возница, больной проказой, а остальное — поклажа навозу... Садитесь. Дальше: чудовище номер второй... Человек со щеками, похожими на колени... Очень красиво! Любуйтесь, граждане, труппа уродов проездом... А вы? Как вы вошли в эту дверь? Вы не запутались ушами? А вы, прильнувший к украден-

ной девушке, спросите ее, что думает она о ваших угрях? Товарищи... (я повернулся во все стороны) они... вот эти... они смеялись надо мною! Вот тот смеялся... Знаешь ли ты, как ты смеялся? Ты издавал те звуки, какие издает пустой клистир... Девушка... «в садах, украшенных весною, царица, равной розы нет, чтобы идти на вас войною, на ваши восемнадцать лет!..». Девушка! Кричите! Зовите на помощь! Мы спасем вас. Что случилось с миром? Он щупает вас, и вы ежитесь? Вам приятно? (Я сделал паузу и затем торжественно сказал.) Я зову вас. Сядьте здесь со мной. Почему вы смеялись надо мной? Я стою перед вами, незнакомая девушка, и прошу: не теряйте меня. Просто встаньте, оттолкните их и шагните сюда. Чего же вы ждете от него, от них всех?.. Чего?.. Нежности? ума? ласк? преданности? Идите ко мне. Мне смешно даже равняться с ними. Вы получите от меня неизмеримо больше...

Я говорил, ужасаясь тому, что говорю. Я резко вспомнил те особенные сны, в которых знаешь: это сон — и делаешь что хочешь, зная, что проснешься. Но тут видно было: пробуждения не последует. Бешено наматывался клубок непоправимости.

Меня выбросили.

Я лежал в беспамятстве. Потом, очнувшись, я сказал:

— Я зову их, и они не идут. Я зову эту сволочь, и они не идут. (Ко всем женщинам разом относились мои слова.)

Я лежал над люком, лицом на решетке. В люке, воздух которого втягивал я, была затхлость, роение затхлости; в черном клубе люка что-то шевелилось, жил мусор. Я, падая, увидел на момент люк, и воспоминание о нем управляло моим сном. Оно было конденсацией тревоги и страха, пережитого в пивной, унижения и боязни наказания; и во сне облеклось оно в фабулу преследования — я убегал, спасался,— все силы мои напряглись, и сон прорвался.

Я открыл глаза, трепеща от радости избавления. Но бодрствование было так неполно, что я воспринял его как переход от одного видения к другому, и в новом видении главную роль играл избавитель — тот, кто спас меня от преследования, тот некто, кому осыпал я руки и рукава поцелуями, думая, что целую во сне,— кого обнял я за шею, горько рыдая.

— Почему я так несчастен?.. Как трудно мне жить на свете! — лепетал я.

— Положите его головой повыше,— сказал спаситель.

Меня везли в автомобиле. Приходя в себя, я видел небо, бледное, светлеющее небо; оно неслось от пяток за голову. Видение это гремело, было головокружительно и всякий раз оканчивалось приступом тошноты. Когда я проснулся утром, в страхе я протянул руки к ногам. Еще не разобравшись, где я, что со мной, я вспомнил толчки и покачивания. Меня пронзила мысль, что везли меня в карете «Скорой помощи», что, пьяному, мне отрезало ноги. Я протянул руки, уверенный, что нащупаю толстую, бочоночную округлость бинтов. Но оказалось просто: я лежу на диване в большой, чистой и светлой комнате, имеющей балкон и два окна. Было раннее утро. Розовея, мирно нагревался камень балкона.

Когда мы утром познакомились, я рассказал ему о себе.

— Жалкий был вид у вас,— сказал он,— очень вас стало жаль. Вы, может быть, обижаетесь: вмешивается, мол, человек в чужую жизнь? Тогда извините, пожалуйста. Но хотите вот: поживите нормально. Очень буду рад. Места много. Свет и воздух. И есть для вас работа: вот корректура кое-какая, выборка материалов. Хотите?

Какие причины заставили знаменитую личность снизойти настолько к неизвестному, подозрительного вида молодому человеку?

V

В один вечер открылись две тайны.

— Андрей Петрович,— спросил я,— кто это, в рамке?

На столе у него стоит фотография чернявого юноши.

— Что-с? — Он всегда переспрашивает. Мысли его прилипают к бумаге, он не может оторвать их сразу.— Что-с? — И он отсутствует еще.

— Кто этот молодой человек?

— А... Это некто Володя Макаров. Замечательный молодой человек. (Он никогда не говорит со мной нормально. Как будто ни о чем серьезном я не могу его спросить. Мне всегда кажется, что в ответ от него я получу пословицу, или куплет, или просто мычание. Вот — вместо того чтобы ответить обыкновенной модуляцией: «замечательный молодой человек», он скандирует, почти речитативом произносит: «че-лоо-ве-эк!»)

— Чем же он замечателен? — спрашиваю я, мстя озлобленностью тона.

Но он никакой озлобленности не замечает.

— Да нет. Просто молодой человек. Студент. Вы спите на его диване,— сказал он.— Дело в том, что это как бы сын мой. Десять лет он живет со мной. Володя Макаров. Сейчас он уехал. К отцу. В Муром.

— Ах, вот как...

— Вот-с.

Он встал из-за стола, прошелся.

— Ему восемнадцать лет. Он известный футболист.

(«Ах, футболист»,— подумал я.)

— Что ж,— сказал я,— это и вправду замечательно! Быть известным футболистом — это и вправду большое качество. («Что я говорю?»)

Он не слышал. Он во власти блаженных мыслей. С порога балкона смотрит он вдаль, в небо. Он думает о Володе Макарове.

— Это совершенно ни на кого не похожий юноша,— вдруг сказал он, поворачиваясь ко мне. (Я вижу, что то, что я присутствую здесь, когда в мыслях его этот самый Володя Макаров, кажется ему оскорбительным.) — Я обязан ему жизнью, во-первых. Он спас меня десять лет тому назад от расправы. Меня должны были положить затылком на наковальню и должны были молотом ударить меня по лицу. Он спас меня. (Ему приятно говорить о подвиге того. Видно, часто он

вспоминает подвиг.) Но это не важно. Другое важно. Он совершенно новый человек. Ну, ладно. (И он вернулся к столу.)

— Зачем вы подобрали меня и привезли?

— Что-с? А? — Он мычит, через секунду только он услышит мой вопрос.— Зачем привез? Жалкий у вас был вид. Нельзя было не растрогаться. Вы рыдали. Страшно стало вас жаль.

— А диван?

— Что диван?

— А когда вернется ваш юноша...

Он, не задумываясь, просто и весело отвечает:

— Тогда вам придется диван освободить...

Мне надо встать и побить ему морду. Он, видите ли, сжалился, он, прославленная личность, пожалел несчастного, сбившегося с пути молодого человека. Но временно. Пока вернется главный. Ему просто скучно по вечерам. А потом он меня выгонит. С цинизмом он говорит об этом.

— Андрей Петрович,— говорю я.— Вы понимаете, что вы сказали? Вы хам!

— Что-с? А? — Мысли его отрываются от бумаги. Сейчас слух повторит ему мою фразу, и я молю судьбу, чтобы слух ошибся. Неужели он услышал? Ну и пусть. Разом.

Но вмешивается внешнее обстоятельство. Мне не суждено еще вылететь из этого дома.

На улице, под балконом, кто-то кричит:

— Андрей!

Он поворачивает голову.

— Андрей!

Он резко встает, отталкиваясь от стола ладонью.

— Андрюша! Дорогой!

Он выходит на балкон. Я подхожу к окну. Оба мы смотрим на улицу. Темнота. Только окнами кое-как освещена мостовая. Посредине стоит маленького роста широконький человек.

— Добрый вечер, Андрюша. Как поживаешь? Как «Четвертак»?

(Я вижу из окна балкон и громадного Андрюшу. Он сопит, слышно мне.)

Человек на улице продолжает восклицать, но несколько тише:

— Отчего ты молчишь? Я пришел тебе сообщить новость. Я изобрел машину. Машина называется «Офелия».

Бабичев быстро поворачивается. Тень его бросается вбок по улице и чуть ли не производит бурю в листве противоположного сада. Он садится за стол. Барабанит пальцами по пластине.

— Берегись, Андрей! — слышен крик.— Не заносись! Я погублю тебя, Андрей...

Тогда Бабичев снова вскакивает и со сжатыми кулаками вылетает на балкон. Определенно бушуют деревья. Тень его Буддой низвергается на город.

— Против кого ты воюешь, негодяй? — говорит он. Затем сотрясаются перила. Он ударяет кулаком.— Против кого ты воюешь, негодяй? Убирайся отсюда. Я велю тебя арестова-а-ать!

— До свидания,— раздается внизу.

Толстенький человек снимает головной убор, вытягивает руку, машет головным убором (котелок? Кажется, котелок!), вежливость его аффектированна. Андрея на балконе уже нет; человечек, быстро сея шажки, удаляется серединой улицы.

— Вот! — кричит на меня Бабичев.— Вот, полюбуйтесь. Братец мой Иван. Какая сволочь!

Он ходит, кипя, по комнате. И вновь кричит на меня:

— Кто он — Иван? Кто? Лентяй, вредный, заразительный человек. Его надо расстрелять!

(Чернявый юноша на портрете улыбается. У него плебейское лицо. Он показывает особенно, по-мужски, блестящие зубы. Це́лую сверкающую клетку зубов выставляет он — как японец.)

VI

Вечер. Он работает. Я сижу на диване. Между нами лампа. Абажур (так видно мне) уничтожает верхнюю часть его лица, ее нет. Висит под абажуром нижнее полушарие головы. В целом она похожа на глиняную крашеную копилку.

— Моя молодость совпала с молодостью века,— говорю я.

Он не слушает. Оскорбительно его равнодушие ко мне.

— Я часто думаю о веке. Знаменит наш век. И это прекрасная судьба — правда? — если так совпадает: молодость века и молодость человека.

Слух его реагирует на рифму. Рифма — это смешно для серьезного человека.

— Века — человека! — повторяет он. (А скажи ему, что только что он услышал и повторил два слова,— он не поверит.)

— В Европе одаренному человеку большой простор для достижения славы. Там любят чужую славу. Пожалуйста, сделай только что-нибудь замечательное, и тебя подхватят под руки, поведут на дорогу славы... У нас нет пути для индивидуального достижения успеха. Правда ведь?

Происходит то же, как если бы я говорил с самим собой. Я звучу, произношу слова,— ну и звучи. И звучание мое ему не мешает.

В нашей стране дороги славы заграждены шлагбаумами... Одаренный человек либо должен потускнеть, либо решиться на то, чтобы с большим скандалом поднять шлагбаум. Мне, например, хочется спорить. Мне хочется показать силу своей личности. Я хочу моей собственной славы. У нас боятся уделить внимание человеку. Я хочу большего внимания. Я хотел бы родиться в маленьком французском городке, расти в мечтаниях, поставить себе какую-нибудь высокую цель и в прекрасный день уйти из городка и пешком прийти в столицу и там, фанатически работая, добиться цели. Но я не родился на Западе. Теперь мне сказали: не то что твоя,— самая замечательная личность — ничто. И я постепенно начинаю привыкать к этой истине, против которой можно спорить. Я думаю даже так: ну, вот можно

прославиться, ставши музыкантом, писателем, полководцем, пройти через Ниагару по канату... Это законные пути для достижения славы, тут личность старается, чтобы показать себя... А вот представляете себе, когда у нас говорят столько о целеустремленности, полезности, когда от человека требуется трезвый, реалистический подход к вещам и событиям,— вдруг взять да и сотворить что-нибудь явно нелепое, совершить какое-нибудь гениальное озорство и сказать потом: «Да, вот вы так, а я так». Выйти на площадь, сделать что-нибудь с собой и раскланяться: я жил, я сделал то, что хотел.

Он ничего не слышит.

— Хотя бы взять и сделать так: покончить с собой. Самоубийство без всякой причины. Из озорства. Чтобы показать, что каждый имеет право распоряжаться собой. Даже теперь. Повеситься у вас над подъездом.

— Повесьтесь лучше над подъездом ВСНХ, на Варварской площади, ныне Ногина. Там громадная арка. Видали? Там получится эффектно.

В той комнате, где жил я до переселения сюда, стоит страшная кровать. Я боялся ее, как привидения. Она крутая, словно бочонок. В ней лязгают кости. На ней синее одеяло, купленное мною в Харькове, на Благовещенском базаре, в голодный год. Баба торговала пирогами. Они укрыты были одеялом. Они, остывающие, еще не испустившие жара жизни, почти что лопотали под одеялом, возились, как щенки. В то время я жил плохо, как все, и такой благодатью, домовитостью, теплотой дышала эта композиция, что в тот день я принял твердое решение: купить себе такое же одеяло. Мечта исполнилась. В прекрасный вечер я влез под синее одеяло. Я кипел под ним, возился, теплота приводила меня в шевеление, точно был я желатиновый. Это было восхитительное засыпание. Но время шло, и узоры одеяла разбухли и превратились в кренделя.

Теперь я сплю на отличном диване.

Умышленным шевелением я вызываю звон его новых, тугих, девственных пружин. Получаются отдельные, из глубины бегущие, капельки звона. Возникает представление о пузырьках воздуха, стремящихся на поверхность воды. Я засыпаю, как ребенок. На диване я совершаю полет в детство. Меня посещает блаженство. Я, как ребенок, снова распоряжаюсь маленьким промежутком времени, отделяющим первое изменение тяжести век, первое посоловение от начала настоящего сна. Я снова умею продлить этот промежуток, смаковать его, заполнять угодными мне мыслями и, еще не погрузившись в сон, еще применяя контроль бодрствующего сознания,— уже видеть, как мысли приобретают сновиденческую плоть, как пузырьки звона из подводных глубин превращаются в быстро катящиеся виноградины, как возникает тучная виноградная гроздь, целая ограда, густо замешанные виноградные гроздья: путь вдоль винограда, солнечная дорога, зной...

Мне двадцать семь лет.

Меняя как-то рубашку, я увидел себя в зеркале и вдруг как бы поймал на себе разительное сходство с отцом. В действительности та-

кого сходства нет. Я вспомнил: родительская спальня и я, мальчик, смотрю на меняющего рубашку отца. Мне было жаль его. Он уже не может быть красивым, знаменитым, он уже готов, закончен, уже ничем иным, кроме того, что он есть, он не может быть. Так думал я, жалея его и тихонько гордясь своим превосходством. А теперь я узнал в себе отца. Это не было сходство форм,— нет, нечто другое: я бы сказал — половое сходство: как бы семя отца я вдруг ощутил в себе, в своей субстанции. И как бы кто-то сказал мне: ты готов. Закончен. Ничего больше не будет. Рожай сына.

Я не буду уже ни красивым, ни знаменитым. Я не приду из маленького городка в столицу. Я не буду ни полководцем, ни наркомом, ни ученым, ни бегуном, ни авантюристом. Я мечтал всю жизнь о необычайной любви. Скоро я вернусь на старую квартиру, в комнату со страшной кроватью. Там гнусное соседство: вдова Прокопович. Ей лет сорок пять, а во дворе ее называют «Анечка». Она варит обеды для артели парикмахеров. Кухню она устроила в коридоре. В темной впадине — плита. Она кормит кошек. Тихие худые кошки взлетают за ее руками гальваническими движениями. Она расшвыривает им какие-то потроха. Пол поэтому украшен как бы перламутровыми плевками. Однажды я поскользнулся, наступив на чье-то сердце — маленькое и туго оформленное, как каштан. Она ходит опутанная кошками и жилами животных. В ее руке сверкает нож. Она раздирает кишки локтями, как принцесса паутину.

Вдова Прокопович стара, жирна и рыхла. Ее можно выдавливать, как ливерную колбасу. Утром я застигал ее у раковины в коридоре. Она была неодета и улыбалась мне *женской* улыбкой. У дверей ее, на табуретке, стоял таз, и в нем плавали вычесанные волосы.

Вдова Прокопович — символ моей мужской униженности. Получается так: пожалуйста, я готова, ошибитесь ночью дверьми, я нарочно не запру, я приму вас. Будем жить, наслаждаться. А мечты о необычайной любви бросьте. Все прошло. Вот и сами вы какой стали, сосед: толстенький, в укоротившихся брючках. Ну, что вам еще нужно? Та? Тонкорукая? Воображаемая? С яйцевидным личиком? Оставьте. Вы папаша уже. Валяйте, а? Кровать у меня замечательная. Покойник на лотерее выиграл. Стеганое одеяло. Присмотрю за вами. Пожалею. А?

Иногда явную неприличность выражал ее взгляд. Иногда при встрече со мной из горла ее выкатывается некий маленький звук, круглая голосовая капля, вытолкнутая спазмой восторга.

Я не папаша, стряпуха! Я не пара тебе, гадина!

Я засыпаю на бабичевском диване.

Мне снится, что прелестная девчонка, мелко смеясь, лезет ко мне под простыню. Мои мечтания сбываются. Но чем, чем я отблагодарю ее? Мне делается страшно. Меня никто не любил безвозмездно. Проститутки и те старались содрать с меня как можно больше,— что же она потребует от меня? Она, как полагается во сне, угадывает мои мысли и говорит:

— О, не беспокойся. Всего четвертак!

Вспоминаю из давних лет: я, гимназист, приведен в музей восковых фигур. В стеклянном кубе красивый мужчина во фраке, с огнедышащей раной в груди, умирал на чьих-то руках.

— Это французский президент Карно, раненный анархистом,— объяснил мне отец.

Умирал президент, дышал, закатывались веки. Медленно, как часы, шла жизнь президента. Я смотрел как зачарованный. Прекрасный мужчина лежал, задрав бороду, в зеленоватом кубе. Это было прекрасно. Тогда услышал я впервые гул времени. Времена неслись надо мною. Я глотал восторженные слезы. Я решил стать знаменитым, чтобы некогда мой восковой двойник, наполненный гудением веков, которое услышать дано лишь немногим, вот так же красовался в зеленоватом кубе.

Теперь я пишу репертуар для эстрадников: монологи и куплеты о фининспекторе, совбарышнях, нэпманах и алиментах:

В учрежденье шум и тарарам,
Все давно смешалось там:
Машинистке Лизочке Каплан
Подарили барабан...

А может быть, все же когда-нибудь в великом паноптикуме будет стоять восковая фигура странного человека, толстоносого, с бледным добродушным лицом, с растрепанными волосами, по-мальчишески полного, в пиджаке, сохранившем только одну пуговицу на пузе; и будет на кубе дощечка:

НИКОЛАЙ КАВАЛЕРОВ

И больше ничего. И все. И каждый увидевший скажет: «Ах!» И вспомнит кое-какие рассказы, может быть, легенды: «Ах, это тот, что жил в знаменитое время, всех ненавидел и всем завидовал, хвастал, заносился, был томим великими планами, хотел многое сделать и ничего не делал — и кончил тем, что совершил отвратительное, гнусное преступление...»

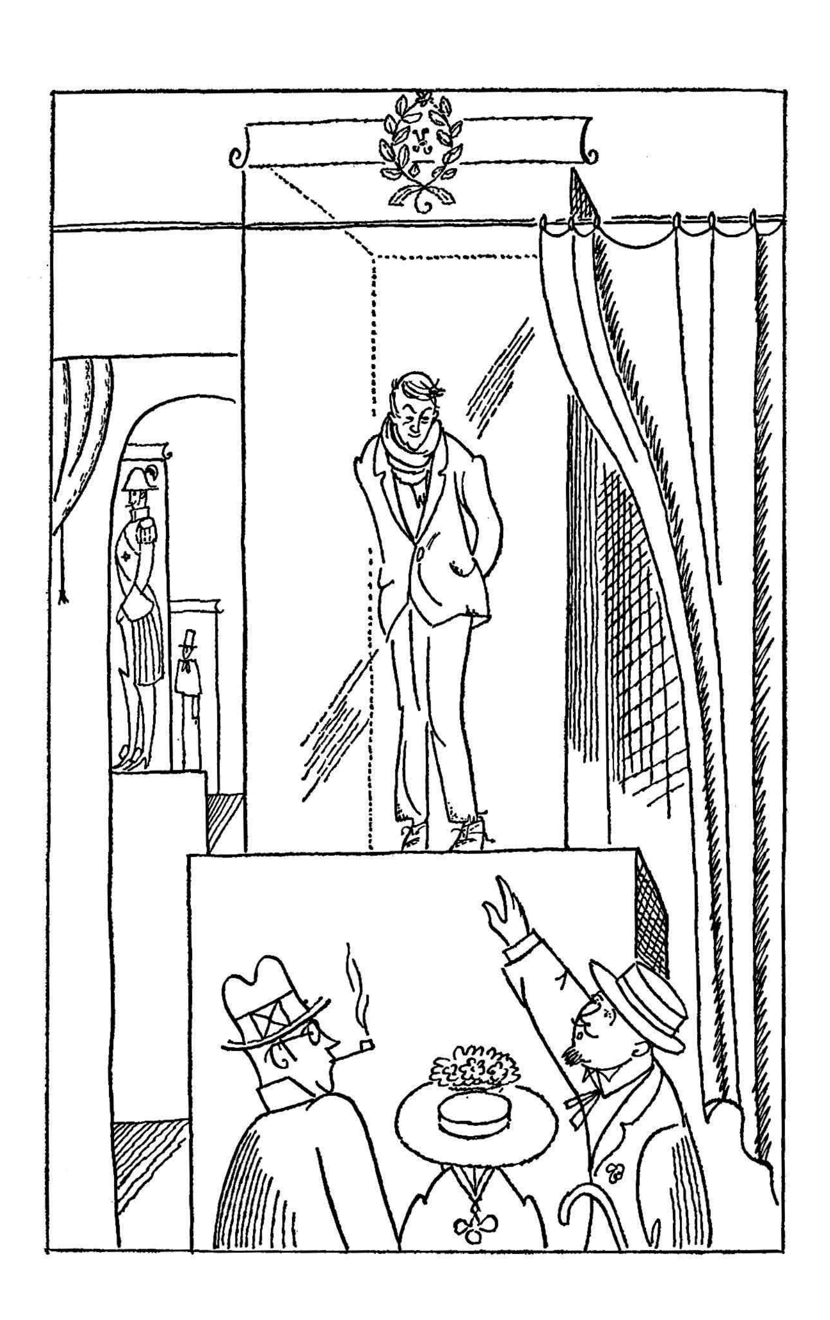
VII

С Тверской я свернул в переулок. Мне надо было на Никитскую. Раннее утро. Переулок суставчат. Я тягостным ревматизмом двигаюсь из сустава в сустав. Меня не любят вещи. Переулок болеет мною.

Маленький человечек в котелке шел впереди меня.

Сначала я подумал: он спешит,— но вскоре обнаружилось, что торопящаяся походка с подбрасыванием всего туловища свойственна человечку вообще.

Он нес подушку. Он на весу держал за ухо большую подушку в желтом напернике. Она ударялась об его колено. От этого в ней появлялись и исчезали впадины.



Бывает, что в центре города, где-нибудь в переулке, заводится цветущая, романтическая изгородь. Мы шли вдоль изгороди.

Птица на ветке сверкнула, дернулась и щелкнула, чем-то напомнив машинку для стрижки волос. Идущий впереди оглянулся на птицу. Мне, идущему сзади, удалось увидеть только первую фазу, полумесяц его лица. Он улыбался.

«Правда, похоже?» — едва не воскликнул я, уверенный, что то же сходство пришло и ему в голову.

Котелок.

Он снимает его и несет, как кулич, обняв. В другой руке — подушка.

Окна раскрыты. В одном, на втором этаже, виднеется синяя вазочка с цветком. Человечка привлекает вазочка. Он сходит с тротуара, выходит на середину мостовой и останавливается под окном, подняв лицо. Котелок его съехал на затылок. Он цепко держит подушку. Колено уже цветет пухом.

Я наблюдаю из-за выступа.

Он позвал вазочку:

— Валя!

Тотчас же в окне, опрокинув вазочку, бурно появляется девушка в чем-то розовом.

— Валя,— сказал он,— я за тобой пришел.

Наступила тишина. Вода из вазочки бежала на карниз.

— Смотри, я принес... Видишь? (Он поднял подушку обеими руками перед животом.) Узнаешь? Ты спала на ней. (Он засмеялся.) Вернись, Валя, ко мне. Не хочешь? Я тебе покажу «Офелию». Не хочешь?

Снова наступила тишина. Девушка лежала на подоконнике ничком, свесив растрепанную голову. Рядом каталась вазочка. Я вспомнил, что через секунду после появления своего девушка, едва увидев стоящего на улице, уже упала локтями на подоконник и локти подломились.

По небу шли облака, и по стеклам и в стеклах перепутывались их пути.

— Я прошу тебя, Валя, вернись! Просто: сбеги по лестнице.

Он подождал.

Остановились зеваки.

— Не хочешь? Ну, до свидания.

Он повернулся, поправил котелок и пошел серединой переулка в мою сторону.

— Подожди! Подожди, папа! Папа! Папа!

Он ускорил шаги, побежал. Мимо меня. Я увидел: он не молод. Он задыхался и побледнел от бега. Смешноватый, полненький человек бежал с подушкой, прижатой к груди. Но ничего в том не было безумного.

Окно опустело.

Она бросилась в погоню. Она добежала до угла,— там кончалось безлюдье переулка; она его не нашла. Я стоял у изгороди. Девушка возвращалась. Я шагнул навстречу. Она подумала, что я могу помочь

ей, что я что-то знаю, и остановилась. Слеза, изгибаясь, текла у ней по щеке, как по вазочке. Она вся приподнялась, готовая страстно спросить о чем-то, но я перебил ее, сказав:

— Вы прошумели мимо меня, как ветвь, полная цветов и листьев.

Вечером я корректирую:

«...Так, собираемая при убое кровь может быть перерабатываема или в пищу, для изготовления колбас, или на выработку светлого и черного альбумина, клея, пуговиц, красок, землеудобрительных туков и корма для скота, птицы и рыбы. Сало-сырец всякого рода скота и жиросодержащие органические отбросы — на изготовление съедобных жиров: сала, маргарина, искусственного масла, и технических жиров: стеарина, глицерина и смазочных масел. Головы и бараньи ножки при помощи электрических спиральных сверл, автоматически действующих очистительных машин, газовых опалочных станков, резальных машин и шпарильных чанов перерабатываются на пищевые продукты, технический костяной жир, очищенный волос и кости для разнообразных изделий...»

Он говорит по телефону. Раз десять в вечер его вызывают. Мало ли с кем он может разговаривать. Но вдруг до меня доносится:

— Это не жестокость.

Я прислушиваюсь.

— Это не жестокость. Ты спрашиваешь, я и говорю. Это не жестокость. Нет, нет! Можешь быть совершенно спокойна. Ты слышишь? — Унижается? Что? Ходит под окнами? — Не верь. Это его штучки. Он и под моими окнами ходит. Это ему нравится, что он ходит под окнами. Я его знаю.— Что? А? Плакала? Весь вечер? Напрасно весь вечер плакала. Сойдет с ума? Отправим на Канатчикову. Офелия? Какая? А... Плюнь. Офелия — это бред. Как хочешь. Но я говорю: ты поступаешь правильно. Да, да. Что? Подушка? Неужели? (Хохот.) Воображаю. Как? Как? На которой ты спала? Подумаешь... Что? А чем эта подушка лучше той, на которой ты спишь теперь? Каждая подушка имеет свою историю. Словом, брось сомнения. Что? Да-да? (Тут он замолчал и долго слушал. Я сидел на угольях. Он разразился хохотом.) Ветвь? Как? Какая ветвь? Полная цветов? Цветов и листьев? Что? Это, наверное, какой-нибудь алкоголик из его компании.

VIII

Представьте себе обыкновенную вареную чайную колбасу: толстый, ровно округлый брус, отрезанный от начала большой, многовесной штуки. В слепом конце его, из сморщенной и связанной узелком кожи, свисает веревочный хвостик. Колбаса как колбаса. Весу, вероятно, немногим больше кило. Вспотевшая поверхность, желтеющие пузырьки подкожного жира. На месте отреза то же сало имеет вид белых крапинок.

Бабичев держал колбасу на ладони. Он говорил. Открывались двери. Люди входили. Теснились. Колбаса свисала с розоватой сановной ладони Бабичева, как нечто живое.

— Здорово? — вопрошал он, обращаясь ко всем сразу.— Нет, вы посмотрите... Жаль, что нет здесь Шапиро. Обязательно позовем Шапиро. Хо-хо. Здорово! Звонили Шапиро? Занято? Еще позвоните...

Затем колбаса на столе. Бабичев любовно устроил подстилку. Сам же, пятясь и не спуская с нее глаз, сел в кресло, найдя его задом, уперся кулаками в ляжки и залился хохотом. Поднял кулак, увидел жир, лизнул.

— Кавалеров! (После хохота.) Вы свободны сейчас? Пойдите, пожалуйста, к *Шапиро*. На склад. Знаете? Прямо идите к нему и несите ее. (Глазами на колбасу.) Принесете — пусть он посмотрит и звонит мне.

Я понес колбасу к Шапиро на склад. А Бабичев звонил во все концы.

— Да, да,— ревел он,— да! Совершенно превосходная! Пошлем на выставку. В Милан пошлем! Именно та! Да! Да! Семьдесят процентов телятины. Большая победа... Нет, не полтинник, чудак вы... Полтинник! Хо-хо! По тридцать пять. Здорово? Красавица!

Он уехал.

Смеющееся лицо — румяный горшок — качалось в окне автомобиля. Он на ходу совал швейцару тирольку и, выпучив глаза, бежал по лестнице, тяжелый, шумный и порывистый, как вепрь. «Колбаса! — звучало во многих кабинетах.— Именно та... я же говорил вам... Анекдот!..» Из каждого кабинета, пока я брел еще по залитым солнцем улицам, он звонил к Шапиро:

— Несут ее вам! Соломон, вы увидите! Лопнете...

— Еще не принесли? Хо-хо, Соломон...

Он вытирал потную шею, глубоко залезая платком за воротник, почти раздирая его, морщась, страдая.

Я пришел к Шапиро. Все видели, что я несу колбасу, и все расступались. Путь магически расчищался. Все знали, что идет посланец с бабичевской колбасой. Шапиро, меланхолический старый еврей, с носом, похожим в профиль на цифру шесть, стоял во дворе склада, под деревянным навесом. Дверь, наполненная движущейся летней темнотой, как все двери, открытые из пакгаузов (такая нежно-хаотическая темнота возникает перед глазами, если закрыть и прижать пальцами веки), вела внутрь огромного сарая. У косяка снаружи висел телефон. Рядом из стены торчал гвоздь с навешанными желтыми листками каких-то документов.

Шапиро взял у меня брус колбасы, попробовал на вес, покачал на ладони (одновременно качая головой), поднес к носу, понюхал. После этого вышел из-под навеса, положил колбасу на ящик и перочинным ножом осторожно отрезал маленький мягкий ломтик. В полной тишине ломтик был жеван, прижимаем к нёбу, посасываем и медленно глотаем. Рука с перочинным ножом была отведена в сторону, подрагивала: обладатель руки прислушивался к ощущениям.

— Ах,— вздохнул он, проглотив.— Молодец Бабичев. Он сделал колбасу. Слушайте, правда, он добился. Тридцать пять копеек такая колбаса — вы знаете, это даже невероятно.

Зазвенел телефон. Шапиро медленно поднялся и пошел к двери.

— Да, товарищ Бабичев. Поздравляю вас и хочу вас поцеловать.

Где-то там с такой силой кричал Бабичев, что здесь, на порядочном расстоянии от телефона, я слышал его голос, треск и лопающиеся звуки в трубке. Трубка, сотрясаемая мощными колебаниями, почти вырывалась из слабых пальцев Шапиро. Он даже махнул на нее другой рукой, поморщившись, как машут на шалуна, мешающего слушать.

— Что мне делать? — спросил я.— Колбаса останется у вас?

— Он просит принести ее домой к нему, на квартиру. Он приглашает меня вечером кушать ее.

Я не вытерпел:

— Неужели тащить домой? Разве нельзя купить другую?

— Купить такой колбасы нельзя,— молвил Шапиро.— Она еще не поступила в продажу. Это проба с фабрики.

— Она протухнет.

Шапиро, складывая ножик и скольжением руки по боку ища карман, произносил медлительно, чуть улыбаясь и опустив веки,— как старые евреи,— поучал:

— Я поздравлял товарища Бабичева с колбасой, которая не прованивается в один день. Иначе я не поздравлял бы товарища Бабичева. Мы ее скушаем сегодня. Положите ее на солнце, не бойтесь, на жаркое солнце,— она будет пахнуть, как роза.

Он исчез в темноте сарая, вернулся с бумагой, пергаментной и масленой, и через несколько секунд я держал в руках мастерски сделанный пакет.

С первых дней моего знакомства с Бабичевым уже слышал я разговоры о знаменитой колбасе. Где-то шли опыты по изготовлению какого-то особенного сорта — питательного, чистого и дешевого. Постоянно Бабичев справлялся в разных местах; переходя на заботливые нотки, расспрашивал и давал советы; то томный, то сладко-взволнованный, отходил от телефона. Наконец порода была выведена. Из таинственных инкубаторов вылезла, покачиваясь грузным качанием хобота, толстая, плотно набитая кишка.

Бабичев, получив в руки отрезок этой кишки, побагровел, даже застыдился сперва, подобно жениху, увидевшему, как прекрасна его молодая невеста и какое чарующее впечатление производит она на гостей. В счастливой растерянности он оглядел всех и тотчас же положил кусок и отстранил его с таким выражением приподнятых ладоней, точно хотел сказать: «Нет, нет. Не надо. Я сразу отказываюсь. Чтобы потом не терзаться. Не может быть, чтобы такие удачи случались в простой человеческой жизни. Тут подвох судьбы. Заберите. Я недостоин».

Неся кило удивительной колбасы, я шагал в неопределенном направлении.

Я стою на мосту.

Дворец труда по левую руку, сзади — Кремль. На реке лодки, пловцы. Быстро скользит под мой птичий полет катер. С высоты то, что я вижу вместо катера, похоже по форме на гигантскую, разрезан-

ную вдоль миндалину. Миндалина скрывается под мостом. Тогда только я вспоминаю трубу катера и то, что поблизости трубы какие-то двое ели из котелка борщ. Белый клуб дыма, прозрачный и исчезающий, летит по направлению ко мне. Долететь не успевает, переходит в другие измерения и достигает меня только последним своим следом, свивающимся в еле видный, астральный обруч.

Я хотел бросить колбасу в реку.

Замечательный человек, Андрей Бабичев, член Общества политкаторжан, правитель, считает сегодняшний свой день праздником. Только потому, что ему показали колбасу нового сорта... Неужели это праздник? Неужели это слава?

Он сиял сегодня. Да, печать славы лежала на нем. Почему же я не чувствую влюбленности, ликования, поклонения при виде этой славы? Меня разбирает злоба. Он — правитель, коммунист, он строит новый мир. А слава в этом новом мире вспыхивает оттого, что из рук колбасника вышел новый сорт колбасы. Я не понимаю этой славы, что же значит это? Не о такой славе говорили мне жизнеописания, памятники, история... Значит, природа славы изменилась? Везде или только здесь, в строящемся мире? Но я ведь чувствую, что этот новый, строящийся мир есть главный, торжествующий... Я не слепец, у меня голова на плечах. Меня не надо учить, объяснять мне... Я грамотен. Именно в этом мире я хочу славы! Я хочу сиять так, как сиял сегодня Бабичев. Но новый сорт колбасы меня не заставит сиять.

Я мотаюсь по улицам со свертком. Кусок паршивой колбасы управляет моими движениями, моей волей. Я не хочу!

Несколько раз я готов был швырнуть сверток через перила. Но стоило мне представить себе, как, освобождаясь на лету от обертки, падает и с эффектностью торпеды исчезает в волнах злосчастный кусок колбасы,— как мгновенно другое представление бросало меня в дрожь. Я видел надвигающегося на меня Бабичева, грозного, неодолимого идола с выпученными глазами. Я боюсь его. Он давит меня. Он не смотрит на меня — и видит насквозь. Он на меня не смотрит. Только сбоку я вижу его глаза, когда лицо его повернуто в мою сторону, взгляда его нет: только сверкает пенсне, две круглые слепые бляшки. Ему не интересно смотреть на меня, нет времени, нет охоты, но я понимаю, что он видит меня насквозь.

Вечером пришел Соломон Шапиро, пришли еще два, и Бабичев устроил угощение. Старый еврей принес бутылку водки, и они пили, закусывая знаменитой колбасой. Я отказался от участия в трапезе. С балкона я наблюдал их.

Живопись увековечила многие пиры. Пируют полководцы, дожи и просто жирные чревоугодники. Эпохи запечатлены. Веют перья, ниспадают ткани, лоснятся щеки.

Новый Тьеполо! Спеши сюда! Вот для тебя пирующие персонажи... Они сидят под яркой стосвечовой лампой вокруг стола, оживленно беседуют. Пиши их, новый Тьеполо, пиши «Пир у хозяйственника»!

Я вижу полотно твое в музее. Я вижу посетителей, стоящих перед картиной твоей. Они ломают голову, они не знают, о чем с таким вдохновением говорит написанный тобою тучный гигант в синих подтяж-

ках... На вилке держит он кружок колбасы. Уже давно пора исчезнуть кружку во рту говорящего, и он никак не может исчезнуть, потому что говорящий слишком увлечен своей речью. О чем говорит он?

— Сосисок у нас не умеют делать! — говорил гигант в синих подтяжках.— Разве это сосиски у нас? Молчите, Соломон. Вы еврей, вы ничего не понимаете в сосисках,— вам нравится кошерное худосочное мясо... У нас нет сосисок. Это склеротические пальцы, а не сосиски. Настоящие сосиски должны прыскать. Я добьюсь, вот увидите, я сделаю такие сосиски.

IX

Мы собрались на аэродроме.

Я говорю: «мы»! Уж я-то был сбоку припеку, случайно прихваченный человечек. Никто не обращался ко мне, никого не интересовали мои впечатления. Я мог бы со спокойной совестью оставаться дома.

Должен был состояться отлет советского аэроплана новой конструкции. Пригласили Бабичева. Гости вышли за барьер. Бабичев главенствовал и в этом избранном обществе. Стоило ему вступить с кем-нибудь в разговор, как возле него смыкался круг. Все слушали его с почтительным вниманием. Он красовался в своем сером костюме, грандиозный, выше всех плечами, аркой плечей. На животе у него на ремнях висел черный бинокль. Слушая собеседника, он закладывал руки в карманы и тихо качался на широко расставленных ногах с пятки на носок и с носка на пятку. Он часто почесывает нос. Почесав, он смотрит на пальцы, сложенные щепоткой и близко поднесенные к глазам. Слушатели, как школьники, непроизвольно повторяют его движения и игру его лица. Они тоже почесывают нос, сами себе удивляясь.

Взбешенный, я отошел от них. Я сидел в буфете и, ласкаемый полевым ветерком, пил пиво. Я тянул пиво, наблюдая, как ветерок лепит нежные орнаменты из концов скатерти моего столика.

На аэродроме соединились многие чудеса: тут на поле цвели ромашки, очень близко, у барьера,— обыкновенные, дующие желтой пылью ромашки; тут низко, по линии горизонта, катились круглые, похожие на пушечный дым облака; тут же ярчайшим суриком алели деревянные стрелы, указывающие разные направления; тут же на высоте качался, сокращаясь и раздуваясь, шелковый хобот — определитель ветра; и тут же по траве, по зеленой траве старинных битв, оленей, романтики, ползали летательные машины. Я смаковал этот вкус, эти восхитительные противоположения и соединения. Ритм сокращений шелкового хобота располагал к раздумью.

Сквозное, трепещущее, как надкрылья насекомого, имя Лилиенталя с детских лет звучит для меня чудесно... Летательное, точно растянутое на легкие бамбуковые планки, имя это связано в моей памяти с началом авиации. Порхающий человек Отто Лилиенталь убился. Летательные машины перестали быть похожими на птиц. Легкие,

просвечивающие желтизной крылья заменились ластами. Можно поверить, что они бьются по земле при подъеме. Во всяком случае, при подъеме вздымается пыль. Летательная машина похожа теперь на тяжелую рыбу. Как быстро авиация стала промышленностью!

Грянул марш. Приехал наркомвоен. Быстро, опережая спутников, прошел наркомвоен по аллее. Напором и быстротой своего хода он производил ветер. Листва понеслась за ним. Оркестр играл щеголевато. Наркомвоен щеголевато шагал, весь в ритме оркестра.

Я бросился к калитке, к выходу на поле. Но меня задержали. Военный сказал «нельзя» и положил руку на верхнее ребро калитки.

— То есть? — спросил я.

Он отвернулся. Его глаза устремились туда, где разворачивались интересные события. Пилот-конструктор, в куртке румяной кожи, стоял во фронт перед наркомвоеном. Ремень туго перетягивал коренастую спину наркомвоена. Оба держали под козырек. Все лишилось движения. Только оркестр был весь в движении. Бабичев стоял, выпятив живот.

— Пропустите меня, товарищ! — повторил я, тронув военного за рукав, и в ответ услышал:

— Я вас удалю с аэродрома.

— Но я же там был. Я только на минуту уходил. Я с Бабичевым!

Нужно было показать пригласительный билет. Я не имел его: Бабичев просто захватил меня с собой. Конечно, меня никак бы не огорчило, если бы я и не попал на поле. И здесь, за барьером, было отличное место для наблюдения. Но я настаивал. Нечто более значительное, чем просто желание видеть все вблизи, заставило меня полезть на стену. Я вдруг ясно осознал свою непринадлежность к тем, которых созвали ради большого и важного дела, полную ненужность моего присутствия среди них, оторванность от всего большого, что делали эти люди,— здесь ли, на поле, или где-либо в других местах.

— Товарищ, я же не простой гражданин,— заволновался я (лучшей фразы для упорядочения мешанины, происшедшей в моих мыслях, я не мог бы придумать).— Что я вам? Обыватель? Будьте добры пропустить. Я оттуда. (Рукой я махнул на группу людей, встречавших наркомвоена.)

— Вы не оттуда,— улыбнулся военный.

— Спросите товарища Бабичева!

В рупор, сделанный из ладоней, я закричал; поднялся на носки:

— Андрей Петрович!

Как раз умолк оркестр. Подземным гулом убегал последний удар барабана.

— Товарищ Бабичев!

Он услышал. Наркомвоен повернулся тоже. Все повернулись. Пилот поднес руку к шлему, картинно защищаясь от солнца.

Меня пронзил страх. Я топтался где-то за барьером; толстопузый, в укоротившихся брючках человечек — как я посмел отвлечь их? И когда наступила тишина, когда они, еще не определив, кто зовет одного из них, застыли в выжидательных позах,— я не нашел в себе силы позвать еще раз.

Но он знал, он видел, он слышал, что это я его зову. Секунда — и все кончилось. Участники группы приняли прежние позы. Я готов был заплакать.

Тогда снова я поднялся на носки и сквозь тот же рупор, оглушая военного, послал в ту недостижимую сторону звенящий вопль:

— Колбасник!

И еще раз:

— Колбасник!

И еще много раз:

— Колбасник! Колбасник! Колбасник!

Я видел только его, Бабичева, возвышавшегося тиролькой своей над остальными. Помню желание закрыть глаза и присесть за барьер. Не помню, закрыл ли я глаза, но если закрыл, то, во всяком случае, самое главное еще успел увидеть. Лицо Бабичева обратилось ко мне. Одну десятую долю секунды оно пребывало ко мне обращенным. Глаз не было. Были две тупо, ртутно сверкающие бляшки пенсне. Страх какого-то немедленного наказания вверг меня в состояние, подобное сну. Я видел сон. Так мне показалось, что я сплю. И самым страшным в том сне было то, что голова Бабичева повернулась ко мне на неподвижном туловище, на собственной оси, как на винте. Спина его оставалась неповернутой.

X

Я покинул аэродром.

Но праздник, шумевший там, манил меня. Я остановился на зеленом валу и стоял, прислонившись к дереву, задутый пылью. Меня, как святого, окружал кустарник. Я срывал кисловатые нежные косточки растения, обсасывал их и выплевывал. Я стоял, подняв бледное добродушное лицо, и смотрел в небо.

С аэродрома вылетела машина. Со страшным мурлыканьем она покатилась надо мной, желтея на солнце, косо, как вывеска, почти раздирая листву моего дерева. Выше, выше,— я следил за нею, топчась на валу: она уносилась, то вспыхивала она, то чернела. Менялось расстояние, и менялась она, принимая формы разных предметов: ружейного затвора, перочинного ножа, растоптанного цветка сирени...

Торжество отлета новой советской машины прошло без меня. Война объявлена. Я оскорбил Бабичева.

Сейчас они вывалятся кучей из ворот аэродрома. Шоферы уже проявляли деятельность. Вот бабичевская синяя машина. Шофер Альперс видит меня, делает мне знаки. Я поворачиваюсь спиной. Мои башмаки запутались в зеленой лапше травы.

Я должен поговорить с ним. Он должен понять. Я должен объяснить ему, что это он виноват,— что не я, но именно он виноват! Он выйдет не один. Мне надо поговорить с ним с глазу на глаз. Отсюда он поедет в правление. Я его опережу.

В правлении сказали: он сейчас на постройке.

«Четвертак»? Значит, к «Четвертаку»!

Меня понесла нелегкая; какое-то слово, которое нужно было сказать ему, как будто уже вырвалось из моих губ, и я догонял его, спеша, боясь не догнать, потерять и забыть.

Постройка явилась мне желтеющим, висящим в воздухе миражем. Вот он, «Четвертак!» Она была за домами, далеко,— отдельные части лесов слились в одно; легчайшим ульем реяла она вдали...

Я приближаюсь. Грохот и пыль. Я глохну и заболеваю катарактой. Я пошел по деревянному настилу. Воробей слетел с пенька, слегка гнулись доски, смеша детскими воспоминаниями о катании на перевесах,— я шел, улыбаясь тому, как оседают опилки и как седеют в опилках плечи.

Где его искать?

Грузовик поперек пути. Он никак не может въехать. Он возится, приподнимается и спадает, как жук, влезающий с горизонтальной плоскости на отвесную.

Ходы запутаны, точно иду я в у́хе.

— Товарищ Бабичев?

Указывают: туда. Где-то выбивают днища.

— Куда?

— Туда.

Иду по балке над бездной. Балансирую. Нечто вроде трюма зияет внизу.

Необъятно, черно и прохладно. Все вместе напоминает верфь. Я всем мешаю.

— Куда?

— Туда.

Он неуловим.

Он мелькнул один раз: прошло его туловище над каким-то деревянным бортом. Исчезло. И вот опять он появляется наверху, далеко,— между нами огромная пустота, все то, что вскоре будет одним из дворов здания.

Он задержался. С ним еще несколько — фуражки, фартуки. Все равно, отзову его, чтобы сказать одно слово: «Простите».

Мне указали кратчайший путь на ту сторону. Осталась только лестница. Я слышу уже голоса. Осталось одолеть только несколько ступенек...

Но происходит вот что. Я должен пригнуться, иначе меня сметет. Я пригибаюсь, хватаюсь руками за деревянную ступеньку. Он пролетает надо мной. Да, он пронесся по воздуху.

В диком ракурсе я увидел летящую в неподвижности фигуру — не лицо, только ноздри я увидел: две дыры, точно я смотрел снизу на монумент.

Что это было?

Я покатился по лестнице.

Он исчез. Он улетел. На железной вафле он перелетел в другое место. Решетчатая тень сопровождала его полет. Он стоял на железной штуке, с лязгом и воем описавшей полукруг. Мало ли что: техни-

ческое приспособление, кран. Площадка из рельсовых брусьев, сложенных накрест. Сквозь пространства, в квадраты, я и увидел его ноздри.

Я сел на ступеньке.

— Где он? — спросил я.

Рабочие смеялись вокруг, и я улыбался на все стороны, как клоун, закончивший антре забавнейшим каскадом.

— Это не я виноват,— сказал я.— Это он виноват.

XI

Я решил не возвращаться к нему.

Мое прежнее жилище уже принадлежало другому. На дверях висел замок. Новый жилец отсутствовал. Я вспомнил: лицом вдова Прокопович похожа на висячий замок. Неужели снова она вступит в мою жизнь?

Ночь была проведена на бульваре. Прелестнейшее утро расточилось надо мною. Еще несколько бездомных спало поблизости на скамьях. Они лежали скрючившись, с засунутыми в рукава и прижатыми к животу руками, похожие на связанных и обезглавленных китайцев. Аврора касалась их прохладными перстами. Они охали, стонали, встряхивались и садились, не открывая глаз и не разнимая рук.

Проснулись птицы. Раздались маленькие звуки: маленькие — промеж себя — голоса птиц, голоса травы. В кирпичной нише завозились голуби.

Дрожа, я поднялся. Зевота трясла меня, как пса.

(Открывались калитки. Стакан наполнился молоком. Судьи вынесли приговор. Человек, проработавший ночь, подошел к окну и удивился, не узнав улицы в непривычном освещении. Больной попросил пить. Мальчик прибежал в кухню посмотреть, поймалась ли в мышеловку мышь. Утро началось.)

В этот день я написал Андрею Бабичеву письмо.

Я ел во Дворце труда, на Солянке, зразы «нельсон», пил пиво и писал:

«Андрей Петрович!

Вы меня пригрели. Вы пустили меня к себе под бок. Я спал на удивительном вашем диване. Вы знаете, как паршиво жил я до того. Наступила благословенная ночь. Вы пожалели меня, подобрали пьяного.

Вы окружили меня полотняными простынями. Гладкость и холодок ткани как будто и были рассчитаны на то, чтобы смирить мою горячечность, унять беспокойство.

В моей жизни даже появились костяные пуговицы пододеяльника, и в них — только найди нужную точку — плавало радужное кольцо спектра. Я сразу признал их. Они вернулись из давным-давно забытого, самого дальнего, детского уголка памяти.

Я получил постель.

Само это слово было для меня таким же поэтически отдаленным, как слово «серсо».

Вы мне дали постель.

С высот благополучия спустили вы на меня облако постели, ореол, прильнувший ко мне волшебным жаром, окутавший воспоминаниями, негорькими сожалениями и надеждами. Я стал надеяться на то, что можно еще многое вернуть из предназначенного для моей молодости.

Вы меня облагодетельствовали, Андрей Петрович!

Подумать: меня приблизил к себе прославленный человек! Замечательный деятель поселил меня в своем доме. Я хочу выразить вам свои чувства.

Собственно, чувство-то всего одно: ненависть.

Я вас ненавижу, товарищ Бабичев.

Это письмо пишется, чтобы сбить вам спеси.

С первых же дней моего существования при вас я начал испытывать страх. Вы меня подавили. Вы сели на меня.

Вы стоите в кальсонах. Распространяется пивной запах пота. Я смотрю на вас, и ваше лицо начинает странно увеличиваться, увеличивается торс,— выдувается, выпукляется глина какого-то изваяния, идола. Я готов закричать.

Кто дал ему право давить меня?

Чем я хуже него?

Он умнее?

Богаче душой?

Тоньше организован?

Сильнее? Значительнее?

Больше не только по положению, но и по существу?

Почему я должен признать его превосходство?

Такие вопросы я себе поставил. Каждый день наблюдений давал мне частицу ответа. Прошел месяц. Ответ я знаю. И уже не боюсь вас. Вы просто тупой сановник. И больше ничего. Не значимостью личности подавили вы меня. О нет! Теперь я уже явственно понимаю вас, рассматриваю, посадив на ладонь. Мой страх перед вами прошел как некое ребячество. Я свалил вас с себя. Вы — липа.

Одно время меня мучили сомнения. «Быть может, я ничтожество перед ним? — подумал я.— Быть может, он мне, честолюбцу, и впрямь являет пример большого человека?»

Но оказалось, вы просто сановник, невежественный и тупой, как все сановники, которые были до вас и будут после вас. И, как все сановники, вы самодур. Только самодурством можно объяснить ураган, поднятый вами вокруг куска посредственной колбасы, или то, что вы привезли с улицы к себе неизвестного молодого человека. И, может быть, из того же самодурства приблизили вы к себе Володю Макарова, о котором я знаю только одно, что он футболист. Вы — барин. Вам нужны шуты и нахлебники. Не сомневаюсь, что тот Володя Макаров сбежал от вас, не вытерпев издевательств. Как и меня, вы, должно быть, систематически превращали его в дурака.

Вы заявили, что живет он при вас, как сын, что он спас вам жизнь, вы размечтались даже, вспомнив о нем. Я помню. Но это все ложь. Вам неловко признать в себе барские наклонности. Но я видел родинку у вас на пояснице.

Сперва, когда вы сказали, что диван принадлежит тому и что по возвращении того мне придется выкинуться к чертовой матери,— я оскорбился. Но понял через минуту, что и к нему и ко мне вы холодны и безразличны. Вы — барин, мы — приживальщики.

Но, смею вас уверить, ни он, ни я — мы не возвратимся к вам более. Вы не уважаете людей. Он вернется лишь в том случае, если он глупее меня.

Судьба моя сложилась так, что ни каторги, ни революционного стажа нет за мной. Мне не поручат столь ответственного дела, как изготовление шипучих вод или устройство пасек.

Но значит ли это, что я плохой сын века, а вы — хороший? Значит ли это, что я — ничто, а вы — большое нечто?

Вы меня нашли на улице...

Как тупо вы повели себя!

«На улице,— решили вы,— ну ладно, серенькая личность, пусть поработает. Корректор так корректор, правщик, читчик, ладно». Вы не снизошли к молодому человеку с улицы. Тут и сказалось ваше упоение самим собой. Вы — сановник, товарищ Бабичев!

Кем я показался вам? Погибающим люмпен-пролетарием? Вы решили меня поддержать? Спасибо вам. Я силен — слышите ли вы? — я силен настолько, чтобы погибать и подниматься и снова погибать.

Мне интересно, как поступите вы, прочитав мое письмо. Быть может, вы постараетесь, чтобы меня выслали, или, быть может, посадите в сумасшедший дом? Вы все можете, вы — большой человек, член правительства. Вы же сказали о своем брате, что его надо расстрелять. Вы же сказали: «посадим на Канатчикову».

Ваш брат, производящий необычайное впечатление, загадочен для меня, непонятен. Тут тайна, тут ничего я не знаю. Имя «Офелия» странно волнует меня. А вы, мне кажется, боитесь этого имени.

Кое-какие догадки я строю все же. Я предвижу кое-что. Я помешаю вам. Да, я почти уверен, что это так. Но я не позволю вам. Вы хотите завладеть дочкою вашего брата. Один раз только я видел ее. Да, это я сказал ей о ветви, полной цветов и листьев. У вас нет воображения. Вы высмеяли меня. Я слышал телефонный разговор. Вы так же очернили меня в глазах девушки, как очернили его, отца. Вам невыгодно допустить, чтобы девушка, которую вы хотите покорить, сделать дурой при себе, как нас пытались сделать дураками,— чтобы девушка эта имела душу нежную, взволнованную. Вы хотите использовать ее, как используовываете (нарочно применяю это ваше слово) «головы и бараньи ножки при помощи остроумно применяемых электрических спиральных сверл» (из вашей брошюры).

Но нет, я не позволю вам. Еще бы: какой лакомый кусочек! Вы обжора и чревоугодник. Разве вы остановитесь перед чем-нибудь ради физиологии своей? Что помешает вам развратить девушку? То, что она племянница ваша? Вы же смеетесь над семьей, над родом. Вам хочется приручить ее.

И потому с таким бешенством вы громите вашего брата. А каждый скажет, едва взглянув на него: это замечательный человек. Я думаю, еще не зная его: он гениален, в чем — не знаю... Вы травите его.

Я слышал, как стучали вы кулаком по перилам. Вы заставили дочку покинуть отца.

Но меня вы не затравите.

Я становлюсь на защиту брата вашего и его дочки. Послушайте, вы, тупица, смеявшийся над ветвью, полной цветов и листьев, послушайте,— да, только так, только этим восклицанием я мог выразить свой восторг при виде ее. А какие же слова готовите вы для нее? Вы назвали меня алкоголиком только потому, что я обратился к девушке на непонятном для вас образном языке? Непонятное — либо смешно, либо страшно. Сейчас вы смеетесь, но я заставлю вас вскоре ужасаться. Не думайте, не только образно,— вполне реально я умею мыслить. Что же! О ней, о Вале, я могу сказать и обычными словами,— и вот, пожалуйста, я вам приведу сейчас ряд понятных для вас определений, умышленно, чтобы разжечь вас, чтобы раздразнить тем, чего вы не получите, уважаемый колбасник!

Да, она стояла передо мной,— да, сперва по-своему скажу вам: она была легче тени, ей могла бы позавидовать самая легкая из теней — тень падающего снега; да, сперва по-своему: не ухом она слушала меня, а виском, слегка наклонив голову; да, на орех похоже ее лицо: по цвету — от загара, и по форме — скулами, округлыми, сужающимися к подбородку. Это понятно вам? Нет? Так вот еще. От бега платье ее пришло в беспорядок, открылось, и я увидел: еще не вся она покрылась загаром, на груди у нее увидел я голубую рогатку вены...

А теперь — по-вашему. Описание той, которой вы хотите полакомиться. Передо мной стояла девушка лет шестнадцати, почти девочка, широкая в плечах, сероглазая, с подстриженными и взлохмаченными волосами — очаровательный подросток, стройный, как шахматная фигурка (это уже по-моему!), невеликий ростом.

Вы не получите ее.

Она будет моей женой. О ней я мечтал всю жизнь.

Повоюем! Сразимся! Вы старше меня на тринадцать лет. Они сзади вас и впереди меня. Еще одно-другое достижение в колбасном деле, еще одна-другая удешевленная столовая — вот пределы вашей деятельности.

О, мне другое снится!

Не вы — я получу Валю. Мы прогремим в Европе — там, где любят славу.

Я получу Валю — как приз — за все: за унижения, за молодость, которую я не успел увидеть, за собачью мою жизнь.

Я рассказывал вам о стряпухе. Помните: о том, как она моется в коридоре. Так вот, я увижу другое: комната где-то, когда-то будет ярко освещена солнцем, будет синий таз стоять у окна, в тазу будет плясать окно, и Валя будет мыться над тазом, сверкая, как сазан, плескаться, перебирать клавиатуру воды...

Ради того, чтобы исполнилась эта мечта, я сделаю все! Вы не используете Валю.

До свиданья, товарищ Бабичев!

Как мог я целый месяц играть такую унизительную роль? Я к вам

не вернусь больше. Ждите: быть может, вернется первый дурак ваш. Кланяйтесь ему от меня. Какое счастье, что больше я не вернусь к вам!

Всякий раз, когда мое самолюбие отчего-либо будет страдать, то знаю, что тотчас же, по ассоциации идей, вспомнится мне какой-нибудь из вечеров, проведенных вблизи вашего письменного стола. Какие тягостные видения!

Вечер. Вы за столом. Самоупоение излучается из вас. «Я работаю,— трещат эти лучи,— слышишь ли ты, Кавалеров, я работаю, не мешай... тс... обыватель».

А утром из разных уст несется хвала:

— Большой человек! Удивительный человек! Совершенная личность — Андрей Петрович Бабичев!

Но вот в то время как подхалимы пели вам гимны, в то время как самодовольство пыжило вас,— жил рядом с вами человек, с которым никто не считался и у которого никто не спрашивал мнения; жил человек, следивший за каждым вашим движением, изучавший вас, наблюдавший вас — не снизу, не раболепно, а по-человечески, спокойно — и пришедший к заключению, что вы высокопоставленный чиновник — и только, заурядная личность, вознесенная на завидную высоту благодаря единственно внешним условиям.

Дурака валять нечего.

Вот все, что я хотел вам высказать.

Шута вы хотели сделать из меня,— я стал вашим врагом. «Против кого ты воюешь, негодяй?» — крикнули вы вашему брату. Не знаю, кого имели вы в виду: себя ли, партию вашу, фабрики ваши, магазины ли, пасеки,— не знаю. А я воюю против вас: против обыкновеннейшего барина, эгоиста, сластолюбца, тупицы, уверенного в том, что все сойдет ему благополучно. Я воюю за брата вашего, за девушку, которая обманута вами, за нежность, за пафос, за личность, за имена, волнующие, как имя «Офелия», за все, что подавляете вы, замечательный человек. Кланяйтесь Соломону Шапиро...»

XII

Меня впустила уборщица. Бабичева уже нет. Традиционное молоко выпито. На столе мутный стакан. Рядом тарелка с печеньем, похожим на еврейские буквы.

Жизнь человеческая ничтожна. Грозно движение миров. Когда я поселился здесь, солнечный заяц в два часа дня сидел на косяке двери. Прошло тридцать шесть дней. Заяц перепрыгнул в другую комнату. Земля прошла очередную часть пути. Солнечный зайчик, детская игрушка, напоминает нам о вечности.

Я вышел на балкон.

На углу кучка людей слушала церковный звон. Звонили в невидимой с балкона церкви. Эта церковь славится звонарем. Зеваки задирали головы. Им была видна работа знаменитого звонаря.

Однажды и я добрый час простоял на углу. В пролетах арки открывалась внутренность колокольни. Там, в копотной темноте, какая бывает на чердаках, среди чердачных, окутанных паутиной балок, бесился звонарь. Двадцать колоколов раздирали его. Как ямщик, он откидывался, нагибал голову, может быть, гикал. Он вился в серединной точке, в центре мрачной паутины веревок, то замирал, повисая на распростертых руках, то бросался в угол, перекашивая весь чертеж паутины,— таинственный музыкант, неразличимый, черный, может быть, безобразный, как Квазимодо.

(Впрочем, таким страшным малевало его расстояние. При желании можно было бы сказать и так: мужичок распоряжается посудой, тарелочками. А звон знаменитой колокольни назвать смесью ресторанного и вокзального звона.)

Я слушал с балкона:

— Том-вир-лир-ли! Том-вир-лир-ли! Том-вир-лир-ли!

Том Вирлирли. Некий Том Вирлирли реял в воздухе.

Том Вирлирли,
Том с котомкой,
Том Вирлирли молодой!

Всклоченный звонарь переложил на музыку многие мои утра. Том — удар большого колокола, большого котла. Вир-лирли — мелкие тарелочки.

Том Вирлирли проник в меня в одно из прекрасных утр, встреченных мною под этим кровом. Музыкальная фраза превратилась в словесную. Я живо представлял себе этого Тома.

Юноша, озирающий город. Никому не известный юноша уже пришел, уже близок, уже видит город, который спит, ничего не подозревает. Утренний туман только рассеивается. Город клубится в долине зеленым мерцающим облаком. Том Вирлирли, улыбаясь и прижимая руку к сердцу, смотрит на город, ища знакомых по детским картинкам очертаний.

Котомка за спиной юноши.

Он сделает все.

Он — это само высокомерие юности, сама затаенность гордых мечтаний.

Пройдут дни — и скоро (не много раз перескочит солнечный зайчик с косяка в другую комнату) мальчики, сами мечтающие о том, чтоб так же, с котомкой за спиной, пройти в майское утро по предместьям города, по предместьям славы, будут распевать песенку о человеке, который сделал то, что хотел сделать:

Том Вирлирли,
Том с котомкой,
Том Вирлирли молодой!

Так в романтическую, явно западноевропейского характера грезу превратился во мне звон обыкновенной московской церковки.

Я оставлю письмо на столе, соберу пожитки (в котомку?) и уйду.

Письмо, сложенное в квадратик, положил я на стеклянную пластину, по соседству с портретом того, кого считал я товарищем по несчастью.

В дверь постучали. Он?

Я открыл.

В дверях, держа котомку в руке, весело улыбающийся (японской улыбкой), точно увидевший сквозь дверь дорогого, взлелеянного в мечтах друга, застенчивый, чем-то похожий на Валю, стоял Том Вирлирли.

Это был чернявый юноша, Володя Макаров. Он посмотрел на меня с удивлением, затем обвел глазами комнату. Несколько раз взгляд его возвращался к дивану, вниз, под диван, где виднелись мои полуботинки.

— Здорово! — приветствовал я его.

Он пошел к дивану, сел, посидел, затем направился в спальню, побывал там, вернулся и, остановившись у вазы-фламинго, спросил меня:

— Где Андрей Петрович? В правлении?

— Не ручаюсь. Андрей Петрович вернется вечером. Возможно, что он привезет с собой нового дурака. Вы первый, я второй, он будет третий. Или до вас уже были дураки? А возможно, что он привезет с собой девочку.

— Кого? — спросил Том Вирлирли.— Как? — спросил он, морщась от непонимания. Приподнялись его виски.

Он сел снова на диван. Полуботинки под диваном беспокоили его. Видно было: он не прочь потрогать их задником своего сапога.

— Зачем вы вернулись? — спросил я.— Какого черта вы вернулись? Наша роль с вами окончена. Сейчас он занят другим. Он развращает девочку. Племянницу свою, Валю. Поняли? Уходите отсюда. Слушайте!

(Я бросился к нему. Он недвижимо сидел.)

— Слушайте! Сделайте так, как сделал я! Скажите ему всю правду... Вот (я схватил со стола письмо), вот письмо, которое я ему написал...

Он отстранил меня. Котомка привычно легла в уголок около дивана. Он пошел к телефону и вызвал правление.

Так и остались мои пожитки несобранными.

Я обратился в бегство.

XIII

Письмо осталось при мне. Я решил его уничтожить. Футболист живет при нем, как сын. По тому, как котомка устроилась в углу, по тому, как оглядывал он комнату, как снимал телефонную трубку, как назвал номер, видно было: он давний, он свой человек в доме,— это дом его. Дурно проведенная ночь повлияла на меня. Я писал не то, что хотел написать. Бабичев не понял бы негодования моего. Он объяснил бы его завистью. Он подумал бы: я завидую Володе.

Хорошо, что письмо осталось при мне.

Иначе получился бы холостой выстрел.

Я ошибся, думая, что Володя — дурак при нем и развлекатель. Следовательно, в письме своем я не должен был брать его под свою защиту. Напротив. Теперь, встретившись с ним, я увидел высокомерие его. Бабичев растит и холит себе подобного. Вырастет такой же надутый, слепой человек.

Его взгляд говорил: «Извините, вы ошиблись. Приживальщик — это вы. А я — полноправный. Я — барчук».

Я сидел на скамье. И тут обнаружилось ужасное.

Квадратик оказался не тем,— мой был побольше; это не мое письмо. Мое осталось там. Впопыхах я схватил другое. Вот оно:

«Дорогой, милый Андрей Петрович! Здравствуй, здравствуй! В добром ли ты здравии? Не задушил ли тебя твой новый жилец? Не натравил ли на тебя Иван Петрович «Офелию»? Смотри: споются они оба — Кавалеров твой да Иван Петрович — и изведут тебя. Смотри берегись. А то ты слабенький, обидеть тебя легко, смотри ты...

С чего ты такой доверчивый стал? Всякую шпану в дом пускаешь. Гони его к черту! На другой же день сказал бы: «Ну, отоспались, молодой человек, и до свидания!» Подумаешь: нежности! Я как прочел письмо твое, что, мол, вспомнил ты обо мне и пожалел пьяницу под стеночкой, поднял да повез ради меня, потому-де, что и со мной где-нибудь несчастье может случиться и буду я так же лежать,— как прочел я это — стало мне смешно и непонятно. Словно не ты это, а Иван Петрович.

Как я предполагал, так и вышло: привез ты этого хитрованца к себе, а потом и растерялся, конечно,— сам не знаешь, что делать с ним. И попросить убраться неловко, и что делать — черт его знает! Верно? Видишь: я тебе мораль читаю. Это у тебя работа такая, настраивает на чувствительность: фрукты, травки, пчелки, телята и всякое такое. А я человек индустриальный. Смейся, смейся, Андрей Петрович! Ты всегда надо мной смеешься. Я, понимаешь ли, уже новое поколение.

Как же теперь будет? Ну, вернусь я,— как с чудаком твоим будет? А вдруг расплачется твой чудак, не захочет с дивана уходить? А ты и пожалеешь его. Да, я ревную. Выгоню его, морду набью. Это ты добрый такой, только кричишь, кулаком стучишь, хорохоришься, а дойдет до дела, ты сейчас — жалеть. Если бы не я, то Валька до сих пор бы мучилась у Ивана Петровича! Как ты там удерживаешь ее? Не вернулась она обратно? Ты же сам знаешь: Иван Петрович хитрый человек, прикидывается, сам же о себе говорит, что дешевка он и шарлатан. Верно? Так и не жалей его.

Вот попробуй устрой его в диспансер. Сбежит. Или Кавалерову твоему в диспансер предложи? Обидится.

Ну, ладно. Ты не сердись. Да ведь твои слова были: «Учи меня, Володя, и я учить тебя буду». Вот и учимся.

Скоро приеду. На днях. Папаша кланяется тебе. Прощай, Муром-городок! Ночью, когда иду, тогда понимаю, что, собственно говоря, и города-то никакого не существует. Одни мастерские есть, а городок — это что! Так просто, отложение мастерских. Все для них, ради них. Над всем мастерские. Ночью в городе тьма египетская, мрак, пони-

маешь ли, домовые. А в сторонке, в поле, огнями горят мастерские, сияют,— праздник!

А в городе (видел я) теленок бежал за участковым надзирателем, за портфелем (тот под мышкой держал). Бежит, шлепает губами, пожевать, что ли, хотел... Такая картинка: изгородь, лужица, надзиратель шагает в красной шапке, честь честью, а теленок прицеливается к портфелю. Противоречия, понимаешь ли.

Не люблю я этих самых телят. Я — человек-машина. Не узна́ешь ты меня. Я превратился в машину. Если еще не превратился, то хочу превратиться. Машины здесь — зверье! Породистые! Замечательно равнодушные, гордые машины. Не то что в твоих колбасных. Кустарничаете. Вам только телят резать. Я хочу быть машиной. С тобой хочу посоветоваться. Хочу стать гордым от работы, гордым — потому что работаю. Чтоб быть равнодушным, понимаешь ли, ко всему, что не работа! Зависть взяла к машине — вот оно что! Чем я хуже ее? Мы же ее выдумали, создали, а она оказалась куда свирепее нас. Дашь ей ход — пошла! Проработает так, что ни цифирки лишней. Хочу и я быть таким. Понимаешь ли, Андрей Петрович,— чтоб ни цифирки лишней. Как хочется с тобой поговорить!

Подражаю тебе вовсю. Чавкаю даже, как ты, в подражание.

Сколько раз думаю о том, что вот-де как повезло мне! Поднял ты меня, Андрей Петрович! Не все комсомольцы так живут. А я живу при тебе, при мудрейшей, удивительной личности. Каждый дорого даст за такую жизнь. Я ведь знаю: многие мне завидуют. Спасибо тебе, Андрей Петрович! Ты не смейся — в любви, мол, объясняюсь. Машина, скажешь, а в любви объясняется. Верно? Нет, правду говорю: буду машиной.

Как дела? «Четвертак» строится? Не обвалилось ничего? Как с «Теплом и силой»? Уладил ? А Кампфер?

А дома что? Значит, на диванчике-то на моем неизвестный гражданин спит? Вшей напустит. Помнишь, как притащили меня с футбола? До сих пор отзывается. Помнишь, привезли меня? А ты испугался, Андрей Петрович? Правда ведь испугался? Ты ж у меня слюнтяй! Я лежал на диване; нога тяжелая, как рельса. Сам на тебя смотрю,— ты за столом, за колпаком зеленым, пишешь. Смотрю на тебя,— вдруг и ты на меня; я сразу закрываю глаза,— как с мамой!

О футболе кстати. Буду играть против немцев в московской сборной. И, может быть, если не Шухов,— в сборной СССР. Красота!

Что Валька? Конечно, поженимся! Через четыре года. Ты смеешься, говоришь — не выдержим. А я вот заявляю тебе: через четыре года. Да. Я буду Эдисоном нового века. Первый раз мы поцелуемся с ней, когда откроется твой «Четвертак». Да. Ты не веришь? У нас с ней союз. Ты ничего не знаешь. В день открытия «Четвертака» мы на трибуне под музыку поцелуемся.

Ты не забывай меня, Андрей Петрович. А вдруг я приеду и окажется такое: твой Кавалеров — первый тебе друг, обо мне забыто, он тебе заменил меня. Гимнастику с тобой вместе делает, на постройку ездит. Мало ли что? А может, он парень оказался замечательный, гораздо приятней, чем я,— может, ты с ним подружился, и я, Эдисон

нового века, должен буду убраться к чертовой матери? Может, сидишь ты с ним, да с Иваном Петровичем, да с Валькой — и смеетесь надо мной? А Кавалеров твой на Вальке женился? Скажи правду. Тогда я убью тебя, Андрей Петрович. Честное слово. За измену нашим разговорам, планам. Понял?

Ну, расписался я, занятому человеку мешаю. Чтобы цифры лишней не было,— а самого-то разнесло. Это потому, что в разлуке,— правда? Ну, до свидания, дорогой и многоуважаемый, до свидания, скоро увидимся».

XIV

Огромное облако с очертаниями Южной Америки стояло над городом. Оно блистало, но тень от него была грозной. Тень астрономически медленно надвигалась на бабичевскую улицу.

Все, которые вступили уже в устье той улицы и шли против течения, видели движения тени, у них темнело в глазах, она отнимала у них почву из-под ног. Они шли как бы по вращающемуся шару.

Я пробивался вместе с ними.

Висел балкон. На перилах — куртка. Уже не звонили в церкви. Я заменил зевак на углу. Юноша появился на балконе. Его удивила наступившая пасмурность. Он поднял голову, выглянул, перевалившись через перила.

Лестница, дверь. Стучу. От боя сердца дергается лацкан. Я пришел драться.

Меня впускают. Открывший мне дверь отступает, беря дверь на себя. И первое, что я вижу,— Андрей Бабичев. Андрей Бабичев стоит посредине комнаты, расставив ноги, под которыми должна пройти армия лилипутов. Руки его засунуты в карманы брюк. Пиджак расстегнут и отобран назад. Полы по обеим сторонам позади, оттого что руки в карманах, образуют фестоны. Поза его говорит:

«Нну-с?»

Я вижу только его. Володю Макарова я только слышу.

Я шагаю на Бабичева. Идет дождь.

Сейчас я упаду перед ним на колени.

«Не прогоняйте меня! Андрей Петрович, не прогоняйте меня! Я понял все. Верьте мне, как верите Володе! Верьте мне: я тоже молодой, я тоже буду Эдисоном нового века, я тоже буду молиться на вас! Как я мог прозевать, как мог я остаться слепым, не сделать всего, чтобы вы полюбили меня! Простите меня, пустите, дайте сроку мне четыре года...»

Но, не падая на колени, я спрашиваю ехидно:

— Отчего ж это вы не на службе?

— Убирайтесь отсюда вон! — слышу я в ответ.

Он ответил тотчас же, точно мы сыгрались. Но реплика дошла до сознания моего спустя некоторый промежуток времени.

Произошло нечто необычайное.

Шел дождь. Возможно, была молния.

Я не хочу говорить образно. Я хочу говорить просто. Я читал не-

когда «Атмосферу» Камилла Фламмариона. (Какое планетное имя! Фламмарион — это сама звезда!) Он описывает шаровидную молнию, ее удивительный эффект: полный, гладкий шар бесшумно вкатывается в помещение, наполняя его ослепительным светом... о, я далек от намерения прибегать к пошлым сравнениям. Но облако было подозрительно. Но тень надвигалась, как во сне. Но шел дождь. В спальне было открыто окно. Нельзя в грозу оставлять окна открытыми! Сквозняк!

С дождем, с каплями горькими, как слезы, с порывами ветра, под которыми ваза-фламинго бежит, как пламя, воспламеняя занавески, которые также бегут под потолок, появляется из спальни Валя.

Но только меня ошеломляет это явление. На самом же деле все просто: приехал друг, и друзья поспешили с ним увидеться.

Возможно, Бабичев заехал за Валей, мечтавшей, возможно, об этом дне. Все просто. А меня надо отправить в диспансер, лечить гипнозом, чтоб не мыслил образами, чтоб не приписывал девушке эффектов шаровидной молнии.

Так я же испорчу вам простоту!

— Убирайтесь отсюда вон! — повторяет слух.

— Не так все просто...— начинаю я.

Сквозит. Дверь осталась открытой. От ветра выросло у меня одно крыло. Оно бешено вертится над плечом, придувая веки. Сквозняком анестезирована половина моего лица.

— Не так все просто,— говорю я, прижавшись к косяку, чтобы сломать ужасное крыло.— Вы уезжали, Володя, а в это время товарищ Бабичев жил с Валей. Пока там четыре года вы будете ждать, Андрей Петрович успеет побаловаться Валей в достаточной степени...

Я оказался за дверью. Половина лица была анестезирована. Может быть, я не почувствовал удара.

Замок щелкнул надо мной так, точно обломилась ветка, и я свалился с прекрасного дерева, как перезревший, ленивый, шмякающий при падении плод.

— Все кончено,— спокойно сказал я, поднимаясь.— Теперь я убью вас, товарищ Бабичев.

XV

Идет дождь.

Дождь ходит по Цветному бульвару, шастает по цирку, сворачивает на бульвары направо и, достигнув вершины Петровского, внезапно слепнет и теряет уверенность.

Я пересекаю «Трубу», размышляя о сказочном фехтовальщике, который прошел под дождем, отбивая рапирой капли. Рапира сверкала, развевались полы камзола, фехтовальщик вился, рассыпался, как флейта,— и остался сух. Он получил отцовское наследство. Я промок до ребер и, кажется, получил пощечину.

Я нахожу, что ландшафт, наблюдаемый сквозь удаляющие стекла бинокля, выигрывает в блеске, яркости и стереоскопичности. Краски и контуры как будто уточняются. Вещь, оставаясь знакомой вещью,

вдруг делается до смешного малой, непривычной. Это вызывает в наблюдателе детские представления. Точно видишь сон. Заметьте, человек, повернувший бинокль на удаление, начинает просветленно улыбаться.

После дождя город приобрел блеск и стереоскопичность. Все видели: трамвай крашен кармином; булыжники мостовой далеко не одноцветны, среди них есть даже зеленые; маляр на высоте вышел из ниши, где прятался от дождя, как голубь, и пошел по канве кирпичей; мальчик в окне ловит солнце на осколок зеркала...

Я купил у бабы яйцо и французскую булку. Я стукнул яйцом о трамвайную мачту на глазах у пассажиров, летевших от Петровских ворот.

Я направился вверх. Скамьи проходили на высоте моих колен. Здесь аллея несколько выпукла. Прекрасные матери сидели на скамьях, подложив платочки. На покрытых загаром лицах светились глаза — светом рыбьей чешуи. Загар покрывал также их шеи и плечи. Но молодые большие груди, видные в блузах, белели. Одинокий и загнанный, с тоской пил я эту белизну, чье имя было — молоко, материнство, супружество, гордость и чистота.

Нянька держала младенца, похожего по облачению на римского папу.

У девчонки в красной повязке повисло на губе семечко. Девчонка слушала оркестр, не заметив, как влезла в лужу. Раструбы басов смахивали на слоновые уши.

Для всех: для матерей, для нянек, для девушек, для музыкантов, опутанных трубами, я был — комик. Трубачи косили на меня глазом, еще более раздувая щеки. Девчонка фыркнула, отчего семечко наконец упало. Тут же она обнаружила лужу. Собственную неудачливость поставила она в вину мне и со злобой отвернулась.

Я докажу, что я не комик. Никто не понимает меня. Непонятное кажется смешным или страшным. Всем станет страшно.

Я подошел к уличному зеркалу.

Я очень люблю уличные зеркала. Они возникают неожиданно поперек пути. Ваш путь обычен, спокоен — обычный городской путь, не сулящий вам ни чудес, ни видений. Вы идете, ничего не предполагая, поднимаете глаза, и вдруг, на миг, вам становится ясно: с миром, с правилами мира произошли небывалые перемены.

Нарушена оптика, геометрия, нарушено естество того, что было вашим ходом, вашим движением, вашим желанием идти именно туда, куда вы шли. Вы начинаете думать, что видите затылком,— вы даже растерянно улыбаетесь прохожим, вы смущены таким своим преимуществом.

— Ах...— тихо вздыхаете вы.

Трамвай, только что скрывшийся с ваших глаз, снова несется перед вами, сечет по краю бульвара, как нож по торту. Соломенная шляпа, повисшая на голубой ленте через чью-то руку (вы сию минуту видели ее, она привлекла ваше внимание, но вы не удосужились оглянуться), возвращается к вам, проплывает поперек глаз.

Перед вами открывается даль. Все уверены: это дом, стена, но вам

дано преимущество: это не дом! Вы обнаружили тайну: здесь не стена, здесь таинственный мир, где повторяется все только что виденное вами,— и притом повторяется с той стереоскопичностью и яркостью, которые подвластны лишь удаляющим стеклам бинокля.

Вы, как говорится, заходитесь. Так внезапно нарушение правил, так невероятно изменение пропорций. Но вы радуетесь головокружению... Догадавшись, вы спешите к голубеющему квадрату. Ваше лицо неподвижно повисает в зеркале, оно одно имеет естественные формы, оно одно — частица, сохранившаяся от правильного мира, в то время как все рухнуло, переменилось и приобрело новую правильность, с которой вы никак не освоитесь, простояв хоть целый час перед зеркалом, где лицо ваше — точно в тропическом саду. Чересчур зелена зелень, чересчур сине небо.

Вы никак не скажете наверняка (пока не отвернетесь от зеркала), в какую сторону направляется пешеход, наблюдаемый вами в зеркале... Лишь повернувшись...

Я смотрел в зеркало, дожевывая булку.

Я отвернулся.

Пешеход шел к зеркалу, появившись откуда-то сбоку. Я помешал ему *отразиться. Улыбка, приготовленная им для самого себя,* пришлась мне. Он был ниже меня на голову и поднял лицо.

Спешил он к зеркалу, чтобы найти и скинуть гусеницу, свалившуюся на далекую часть его плеча. Он и скинул ее щелчком, вывернув плечо, как скрипач.

Я продолжал думать про оптические обманы, про фокусы зеркала и потому спросил подошедшего, еще не узнав его:

— С какой стороны вы подошли? Откуда вы взялись?

— Откуда? — ответил он.— Откуда я взялся? (Он посмотрел на меня ясными глазами.) Я сам себя выдумал.

Он снял котелок, обнаружив плешь, и преувеличенно шикарно раскланялся. Так приветствуют жертвователя милостыни бывшие люди. И, как у бывшего человека, мешки под глазами свисали у него, как лиловые чулки. Он сосал конфетку.

Немедленно я осознал: вот мой друг, и учитель, и утешитель.

Я схватил его за руку и, едва не припав к нему, заговорил:

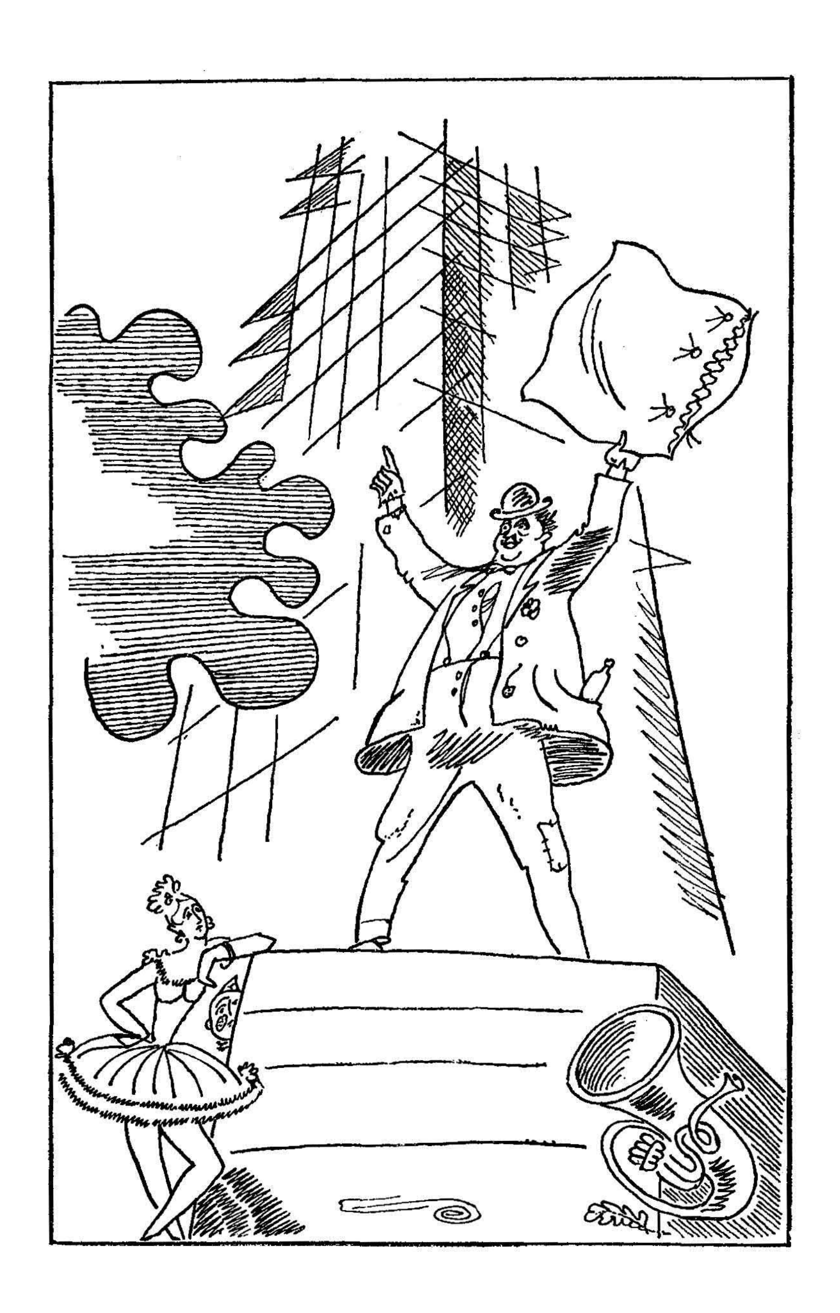
— Скажите мне, ответьте мне!..

Он поднял брови.

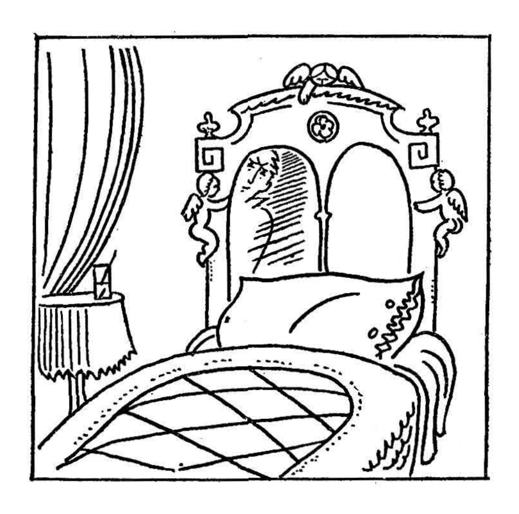
— Что это... «Офелия»?

Он собирался ответить. Но сквозь уголок губ сладким соком прорвался флюс леденца. Чувствуя восторг и умиление, я ждал ответа.





ЧАСТЬ ВТОРАЯ



I

Приближение старости не пугало Ивана Бабичева. Иногда, впрочем, из уст его раздавались жалобы по поводу быстротекущей жизни, утраченных лет, предполагаемого рака желудка... Но жалобы эти были слишком светлы, по всей вероятности, даже мало искренни — риторического характера жалобы.

Случалось, прикладывал он ладонь к левой стороне груди, улыбался и спрашивал:

— Интересно, какой звук бывает при разрыве сердца?

Однажды поднял он руку, показывая друзьям внешнюю сторону ладони, где вены расположились в форме дерева, и разразился следующей импровизацией:

— Вот,— молвил он,— дерево жизни. Вот дерево, которое мне говорит о жизни и смерти более, нежели цветущие и увядающие деревья садов. Не помню, когда именно обнаружил я, что кисть моя цветет деревом... Но, должно быть, в прекрасную пору, когда еще цветение и увядание деревьев говорило мне не о жизни и смерти, но о конце и начале учебного года! Оно голубело тогда, это дерево, оно было голубое и стройное, и кровь, о которой тогда думалось, что не жидкость она, а свет, зарею всходила над ним и всему пейзажу пясти придавала сходство с японской акварелью...

Шли годы, менялся я, и менялось дерево.

Помню превосходную пору,— оно разрослось. Минуты гордости испытывал я, видя его неодолимое цветение. Оно стало корявым и бурым,— и в том таилась мощь! Я мог назвать его могучей снастью руки. А ныне, друзья мои! Как дряхло оно, как трухляво!

Мне кажется, ломаются ветки, появились дупла... Это склероз, друзья мои! И то, что кожа стекленеет, а под ней водянистой становится ткань,— не есть ли это оседание тумана на дерево моей жизни, того тумана, который вскоре окутает всего меня?

Бабичевых было три брата. Иван был второй. Старшего звали Романом. Он был членом боевой организации и был казнен за участие в террористическом акте.

Младший брат — Андрей — жил в эмиграции. «Как тебе нравится, Андрей? — написал ему Иван в Париж.— У нас в роду мученик! Вот бы обрадовалась бабушка!» На что брат Андрей, со свойственной ему грубостью, ответил коротко: «Ты просто мерзавец». Так определились разногласия между братьями.

С детства Иван удивлял семью и знакомых.

Двенадцатилетним мальчиком продемонстрировал он в кругу семьи странного вида прибор, нечто вроде абажура с бахромой из бубенчиков, и уверял, что при помощи своего прибора может вызвать у любого — по заказу — любой сон.

— Хорошо,— сказал отец, директор гимназии и латинист.— Я верю тебе. Я хочу видеть сон из римской истории.

(— Что именно? — деловито спросил мальчик.)

— Все равно. Битву при Фарсале. Но если не выйдет, я тебя высеку.

Поздно вечером по комнатам носился, мелькал чудный звон. Директор гимназии лежал в кабинете, ровный и прямой от злости, как в гробу. Мать реяла у желчно закрытых дверей. Маленький Ваня, добродушно улыбаясь, похаживал вдоль дивана, потрясая своим абажуром, как потрясает канатоходец китайским зонтом. Утром отец в три прыжка, неодетый, из кабинета пронесся в детскую и вынул толстого, доброго, сонного, ленивого Ваню из постели. Еще день был слаб, еще, может быть, кое-что и вышло бы, но директор разодрал занавески, фальшиво приветствуя наступление утра. Мать хотела помешать порке, мать подкладывала руки, кричала:

— Не бей его, Петенька, не бей... Он ошибся... Честное слово... Ну что ж, что тебе не приснилось?.. Звон отнесся в другую сторону. Знаешь, какая квартира у нас... сырая. Я, я видела битву при Фарсале! Мне приснилась битва, Петенька!

— Не лги,— сказал директор.— Расскажи подробности. Чем отличалось обмундирование балеарских стрелков от обмундирования нумидийских пращников?.. Нуте-с?

Он подождал минуту, мать зарыдала, и маленький экспериментатор был выпорот. Он вел себя, как Галилей. Вечером того же дня горничная сообщила хозяйке, что не пойдет за сделавшего ей предложение некоего Добродеева.

— Он врет все, нельзя ему верить,— так объяснила горничная.—

Всю ночь я лошадей видела. Все скачут, все страшные лошади, вроде как в масках. А лошадь видеть — ложь.

Потеряв власть над нижней челюстью, мать — лунатиком — пошла к дверям кабинета. Кухарка остолбенела у печки, чувствуя, что тоже теряет власть над нижней челюстью.

Жена коснулась мужниного плеча. Он сидел за столом, прикрепляя к портсигару отпавшую монограмму.

И мать пролепетала:

— Петруша, расспроси Фросю... Кажется, Фросе приснилась битва при Фарсале...

Неизвестно, как отнесся директор к сновидению горничной. Что касается Ивана, то известно, что спустя месяц или два после истории с искусственными снами он уже рассказывал о новом своем изобретении.

Будто изобрел он особый мыльный состав и особую трубочку, пользуясь которыми можно выпустить удивительный мыльный пузырь. Пузырь этот будет в полете увеличиваться, достигая поочередно елочной игрушки, мяча, затем шара с дачной клумбы, и дальше, дальше, вплоть до объема аэростата,— и тогда он лопнет, пролившись над городом коротким золотым дождем.

Отец был в кухне. (Он принадлежал к мрачной породе отцов, гордящихся знанием кое-каких кулинарных секретов и считающих исключительной своей привилегией, скажем, определение количества лавровых листов, необходимых для какого-нибудь прославленного по наследству супа, или, скажем, наблюдение за сроком пребывания в кастрюльке яиц, коим положено достигнуть идеального состояния так называемых «яиц в мешочке.»)

За кухонным окном, во дворике, под самой стеной, маленький Иван предавался мечтаниям. Желтым ухом слушал отец и выглянул. Мальчики окружили Ивана. И врал Иван о мыльном пузыре. Он будет большой, как воздушный шар.

Снова в директоре взыграла желчь. Старший сын Роман год тому назад ушел из семьи. Отец отводил душу на младших.

Бог обидел его сыновьями.

Он отпрянул от окна, даже улыбаясь от злобы. За обедом ждал он высказываний Ивана, но Иван не подал голоса. «Он, кажется, презирает меня. Он, кажется, считает меня дураком»,— кипел директор. И в исходе дня, когда отец Бабичева пил на балконе чай, вдруг где-то очень далеко, над самым задним, тающим, стекловидным, мелко и желто поблескивающим в лучах заходящего солнца планом его поля зрения появился большой оранжевый шар. Он медленно плыл, пересекая план по косой линии...

Директор шмыгнул в комнату и тотчас же, сквозь пролет дверей, увидел в соседней комнате Ивана на подоконнике. Гимназист, весь устремившись в окно, громко бил в ладоши.

— Я получил в тот день полное удовлетворение,— вспоминал Иван Петрович.— Отец был напуган. Долго затем искал его взгляда, но он прятал глаза. И мне стало жалко его. Он почернел,— я думал, что он умрет. И великодушно я сбросил мантию. Он сухой был чело-

век, мой папа, мелочный, но невнимательный. Он не знал, что в тот день над городом пролетел аэронавт Эрнест Витолло. Прекрасные афиши извещали об этом. Я сознался в невольном мошенничестве. Надо вам сказать, что опыты мои над мыльными пузырями не привели к тем результатам, о которых я мечтал.

(Факты говорят за то, что в те времена, когда Иван Бабичев был двенадцатилетним гимназистом, воздухоплавание не достигло еще широкого развития, и вряд ли над провинциальным городом устраивались в те времена полеты.

Но если это и выдумка — то что же! Выдумка — это возлюбленная разума.)

Друзья с наслаждением внимали импровизациям Ивана Бабичева.

— И мне кажется, что ночью, после того огорчительного дня, папа мой видел во сне фарсальскую битву. Он не ушел утром в гимназию. Мама понесла ему в кабинет боржом. По всей вероятности, его потрясли подробности битвы. Быть может, он не мог примириться с тем издевательством над историей, которым побаловалось сновидение... Возможно, приснилось ему, что исход битвы решили балеарские пращники, прилетевшие на воздушных шарах...

Такой концовкой заключил Иван Бабичев новеллу о мыльных пузырях.

В другой раз поделился он с друзьями таким случаем из эпохи своего отрочества:

— Студент, по фамилии Шемиот, ухаживал за барышней... а вот уже барышниной фамилии не помню... Позвольте... позвольте... скажем, Лиля Капитанаки звали барышню, по-козьи стучавшую каблуками. Нам, мальчишкам, все было известно, что происходило во дворе. Студент маялся под Лилиным балконом, готовый и боящийся вызвать из золотистых недр балконной двери эту девушку, которой, должно быть, исполнилось лет шестнадцать и которая казалась нам, мальчикам, старухой.

Синела студентова фуражка, алели студентовы щеки. На велосипеде приезжал студент. И неописуемой была студентова тоска, когда в воскресенье, в мае, в одно из тех воскресений, коих не больше десятка числится на памяти метеорологической науки, в воскресенье, когда ветерок был так мил и ласков, что хотелось повязать ему голубую ленточку, студент, разлетевшись к балкону, увидел облокотившуюся на перила Лилину тетку, пеструю и цветастую, как чехол на кресле в местечковой гостиной,— всю в крендельках, рогульках и оборочках и с прической, смахивающей на улитку. И тетка явно обрадовалась явлению студента Шемиота, она с высоты раскрыла, можно сказать, студенту объятия и возвестила картофельным голосом, таким смоченным слюной и полным языка голосом, точно говорила, пережевывая горячее:

«А Лилечка уезжает в Херсон. Сегодня уезжает. В семь сорок. Надолго уезжает. На все лето уезжает. Велела передать вам привет, Сергей Сергеевич! Привет!»

Но студент чутьем влюбленного понял все. Он знал, что в золотистой глубине комнаты рыдает Лилечка и что Лилечка рвется к

балкону и видит, не видя, студента, чей китель, будучи белым, впитал в себя, по законам физики, наибольшее количество лучей и блистает ослепительной альпийской белизной,— но вырваться нельзя, но тетка всесильна...

«Подарите мне велосипед, и я отомщу за вас,— сказал я студенту.— Я знаю, Лилька не хотела никуда ехать. Ее выпроваживают со скандалом. Подарите велосипед».

«Как же ты отомстишь?» — спросил студент, пугаясь меня. И через несколько дней я с невинным видом принес Лилиной тетке, будто от моей мамы, средство от бородавок. У тетки возле нижней губы, в извилине, была большая бородавка. Стареющая эта дама расцеловала меня, причем поцелуи ее произвели на меня такое впечатление, как если бы в меня в упор стреляли из новой рогатки... Друзья мои, студент был отомщен. Из теткиной бородавки вырос цветок, скромный полевой колокольчик. Он нежно подрагивал от теткиного дыхания. Позор упал на ее голову. С воздетыми к небесам руками пронеслась тетка по двору, ввергая всех в панику...

Моя радость была двойной. Во-первых, блестяще разрешился эксперимент выращивания цветов из бородавок, а во-вторых — студент подарил мне велосипед.

А в ту эпоху, друзья мои, велосипед являлся редкостью. Тогда рисовали еще на велосипедистов карикатуры.

— А что стало с теткой?

— О мой друг! Она так и жила с цветком до осени. С упованием ждала она ветреных дней и, дождавшись, отправлялась задами, минуя оживленные части города, куда-нибудь в зеленеющие местности... Моральные муки терзали ее. Она прятала лицо в шарф, цветок любовно щекотал ей губы, и щекотанье это звучало, как шепот уныло прожитой молодости, как призрак какого-то единственного, чуть ли не топотом ног выгнанного поцелуя... Она останавливалась на холме, опускала шарф.

«Ну, разнеси, разнеси его на все четыре стороны! Ну, сдуй же, сдуй его проклятые лепестки»,— молила она.

Ветер, как назло, прекращался. Но зато прилетала с ближайшей дачи очумелая пчела и, прицеливаясь к цветку, начинала оплетать бедную женщину гудящими восьмерками. Тетка обращалась в бегство и дома, велев прислуге никого не впускать, сидела перед зеркалом, озирая мифическое свое, украшенное цветком лицо, распухавшее у нее на глазах от укуса и превращавшееся в некий тропический корнеплод. Ужас! А просто отрезать цветок — это было бы слишком рискованно: все-таки бородавка! А вдруг заражение крови!

Ваня Бабичев был мастер на все руки. Сочинял он стихи и музыкальные пьески, отлично рисовал, множество вещей умел он делать, даже придумал некий танец, рассчитанный на использование внешних своих особенностей: полноты, лености,— был он увалень (как многие замечательные люди в отроческие годы). Назывался танец «Кувшинчик». Он торговал бумажными змеями, свистульками, фонариками; мальчики завидовали умелости его и славе. Во дворе получил он прозвище «механик».

Затем в Петербурге Иван Бабичев окончил Политехнический институт по механическому отделению как раз в том году, когда казнен был брат Роман. Инженером работал Иван в городе Николаеве, близ Одессы, на заводе Наваль, вплоть до начала европейской войны.

Тут...

II

Да был ли он когда-либо инженером?

В тот год, когда строился «Четвертак», Иван занимался промыслом малопочтенным, а для инженера — просто позорным.

Представьте, в пивных рисовал он портреты с желающих, сочинял экспромты на заданные темы, определял характер по линиям руки, демонстрировал силу своей памяти, повторяя пятьсот любых прочитанных ему без перерыва слов.

Иногда он вынимал из-за пазухи колоду карт, мгновенно приобретая сходство с шулером, и показывал фокусы.

Его угощали. Он присаживался, и тогда начиналось главное: Иван Бабичев проповедовал.

О чем он говорил?

— Мы — это человечество, дошедшее до последнего предела,— говорил он, стуча кружкой по мрамору, как копытом.— Сильные личности, люди, решившие жить по-своему,— эгоисты, упрямцы, к вам обращаюсь я, как к более умным,— авангард мой! Слушайте, стоящие впереди! Кончается эпоха. Вал разбивается о камни, вал закипает, сверкает пена. Чего же хотите вы? Чего? Исчезнуть, сойти на нет капельками, мелким водяным кипением? Нет, друзья мои, не так должны вы погибнуть! Нет! Придите ко мне, я научу вас.

Слушатели внимали ему с некоторой почтительностью, но с малым вниманием, однако поддерживали его возгласами «правильно!» и порою аплодисментами. Исчезал он внезапно, произнося на прощание всякий раз одно и то же четверостишие; звучало оно так:

Ведь я не шарлатан немецкий
И не обманщик я людей!
Я — скромный фокусник советский,
Я — современный чародей!

Было сказано им и такое:

— Ворота закрываются. Слышите ли вы шипение створок? Не рвитесь. Не стремитесь проникнуть за порог! Остановитесь! Остановка — гордость. Будьте горды. Я вождь ваш, я король пошляков. Тому, кто поет и плачет и мажет носом по столику, когда уже все выпито пиво и пива не дают больше,— тому место здесь, рядом со мной. Придите, тяжелые горем, несомые песней. Убивающий из ревности, или ты, вяжущий петлю для самого себя,— я зову вас обоих, дети гибнущего века: приходите, пошляки и мечтатели, отцы семейств, лелеющие дочерей своих, честные мещане, люди, верные традициям, подчиненные нормам чести, долга, любви, боящиеся

крови и беспорядка, дорогие мои — солдаты и генералы — двинем походом! Куда? Я поведу вас.

Любил он есть раков. Рачье побоище сыпалось под его руками. Он был неопрятен. Рубаха его, похожая на трактирную салфетку, всегда была раскрыта на груди. Вместе с тем появлялся он, случалось, и в крахмальных манжетах, но грязных. Если можно соединить неопрятность со склонностью к щегольству, то ему это удалось вполне. Например: котелок. Например: цветок в петлице (остававшийся там чуть ли не до превращения в плод). И например: бахрома на штанах, и от нескольких пуговиц пиджака — лишь хвостики.

— Я — пожиратель раков. Смотрите: я их не ем, я разрушаю их, как жрец. Видите? Прекрасные раки. Они опутаны водорослями. Ах, не водоросли? Простая зелень, говорите вы? Не все ли равно? Условимся, что водоросли. Тогда можно сравнить рака с кораблем, поднятым со дна морского. Прекрасные раки. Камские.

Он облизывал кулак и, заглянув в манжет, извлекал оттуда рачий обломок.

Да был ли он когда-либо инженером? Да не врал ли он? Как не вязалось с ним представление об инженерской душе, о близости к машинам, к металлу, чертежам! Скорее его можно было принять за актера или попа-расстригу. Он и сам понимал, что слушатели не верят ему. Он и сам говорил с некоторым поигрыванием в уголке глаза.

То в одной пивной, то в другой появлялся толстенький проповедник. Однажды до того он дошел, что позволил себе влезть на стол... Неуклюжий и никак не подготовленный к подобным трюкам, он лез по головам, хватаясь за пальмовые листья; разбивались бутылки, повалилась пальма,— он утвердился на столе и, размахивая двумя пустыми кружками, как гирями, стал кричать:

— Вот я стою на высотах, озирая сползающуюся армию! Ко мне! Ко мне! Велико мое воинство! Актерики, мечтающие о славе. Несчастные любовники! Старые девы! Счетоводы! Честолюбцы! Дураки! Рыцари! Трусы! Ко мне! Пришел король ваш, Иван Бабичев! Еще не настало время,— скоро, скоро мы выступим... Сползайся, воинство!

Он швырнул кружку и, выхватив из чьих-то рук гармонию, распустил ее по брюху. Стон, извлеченный им, вызвал бурю; под потолок взлетели бумажные салфетки...

Из-за прилавка спешили люди в фартуках и клеенчатых манжетах.

— Пива! Пива! Дайте нам еще пива! Дайте нам бочку пива! Мы должны выпить за великие события!

Но больше пива не дали, компанию вытолкали в темь и проповедника Ивана гнали вслед — самого маленького из них, тяжелого, трудно поддающегося выпроваживанию человечка. От упорства и гнева он внезапно обрел тяжесть и мертвенную неподвижность железной нефтяной бочки.

Постыдно нахлобучили на него котелок.

По улице он пошел, шатаясь в разные стороны,— точно передавали его из рук в руки,— и жалобно не то пел, не то выл, смущая прохожих.

— Офелия! — пел он.— Офелия! — Одно только это слово; оно носилось над его путем, казалось, летело оно над улицами быстро выплетающей самое себя, сияющей восьмеркой.

В ту ночь он посетил своего знаменитого брата. За столом сидели двое. Один напротив другого. Посредине стояла лампа под зеленым абажуром. Сидел брат Андрей и Володя. Володя спал, положив голову на книгу. Иван, пьяный, устремился к дивану. Он долго мучился, пытаясь подвинуть диван под себя, как подвигают стул.

— Ты пьян, Ваня,— сказал брат.

— Я тебя ненавижу,— ответил Иван.— Ты идол.

— Как тебе не стыдно, Ваня! Ложись, спи. Я тебе дам подушку. Сними котелок.

— Ты не веришь ни одному моему слову. Ты — тупица, Андрей! Не перебивай меня. Иначе я разобью абажур о Володину голову. Молчи. Почему ты не веришь в существование «Офелии»? Почему ты не веришь, что я изобрел удивительную машину?

— Ты ничего не изобрел, Ваня! Это у тебя навязчивая идея. Ты нехорошо шутишь. Ну как тебе не стыдно, а? Ведь ты меня за дурака считаешь. Ну что это за машина? Ну разве может быть такая машина? И почему «Офелия»? И почему ты котелок носишь? Что ты — старьевщик или посол?

Иван помолчал. Потом, как бы разом протрезвев, он поднялся и, сжимая кулаки, пошел на брата:

— Не веришь? Не веришь? Андрей, встань, когда с тобой говорит вождь многомиллионной армии. Ты смеешь мне не верить? Ты говоришь, такой машины нет? Андрей, обещаю тебе: ты погибнешь от этой машины.

— Не бузи,— ответил брат,— ты разбудишь Володю.

— Плевать на твоего Володю. Я знаю, я знаю твои планы. Ты хочешь мою дочь отдать Володе. Ты хочешь вывести новую породу. Моя дочь — не инкубатор. Ты ее не получишь. Я не отдам ее Володе. Собственными руками я ее задушу.

Он сделал паузу и с поигрыванием в уголке глаза, засунув руки в карманы и как будто подняв руками брюшко, которое выпятилось, сказал полным ехидства тоном:

— Ты ошибаешься, братец! Ты самому себе очки втираешь. Хо-хо, миляга. Ты думаешь, что Володю ты любишь, потому что Володя новый человек? Дудки, Андрюша, дудки... Не то, Андрюша, не то... Совсем другое.

— Что же? — спросил грозно Андрей.

— Просто стареешь ты, Андрюша! И просто тебе сын нужен. И просто отцовские ты питаешь чувства. Семья — она вечна, Андрей! А символизация нового мира в образе малозамечательного юноши, известного только на футбольном поприще,— это чепуха...

Володя поднял голову.

— Привет Эдисону нового века! — воскликнул Иван.— Ура! — И пышно раскланялся.

Володя молча смотрел на него. Иван хохотал.

— Что ж, Эдисон? И ты не веришь, что есть такая «Офелия»?

— Вас, Иван Петрович, надо посадить на Канатчикову дачу,— сказал, зевая, Володя.

Андрей издал короткое ржанье.

Тогда проповедник швырнул котелок на пол.

— Хамы! — крикнул он. И после паузы: — Андрей! Ты позволяешь? Почему ты позволяешь приемышу оскорблять твоего брата?

Тут Иван не увидел глаз брата,— увидел Иван только блеск стекол.

— Иван,— сказал Андрей.— Я прошу тебя никогда ко мне не приходить. Ты не сумасшедший. Ты скотина.

III

Пошли разговоры о новом проповеднике.

Из пивных перекинулся слух в квартиры, прополз по черным ходам в общие кухни,— в час утренних умываний, в час разжигания примусов люди, следящие за норовящим сбежать молоком, и другие, пляшущие под краном, трепали сплетню.

Слух проник в учреждения, в дома отдыха, на рынки.

Сочинен был рассказ о том, как пришел на свадьбу к инкассатору, на Якиманку, неизвестный гражданин (в котелке, указывались подробности, потертый, подозрительный человек — не кто иной, как он, Бабичев Иван) и, представ перед всеми в самом разгаре пира, потребовал внимания, с тем чтобы произнести речь — обращение к новобрачным. Он сказал:

— Не надо любить вам друг друга. Не надо соединяться. Жених, покинь невесту! Какой плод принесет вам ваша любовь? Вы произведете на свет своего врага. Он сожрет вас.

Жених полез будто в драку. Невеста грохнулась оземь. Гость удалился в большой обиде, и тотчас же будто обнаружилось, что портвейн во всех бутылках, стоявших на пиршественном столе, превратился в воду.

Выдумана была и другая удивительная история.

Проезжал будто по очень шумному месту (одни называли Неглинный у Кузнецкого моста, другие — Тверскую у Страстного монастыря) автомобиль, в котором сидел солидный гражданин, полный, краснощекий, с портфелем на коленях.

И как будто выбежал из толпы с тротуара его брат Иван, тот самый, знаменитый человечек. Он, завидев катящего брата, стал на пути машине, распахнув руки, как стоит огородное чучело или как останавливают, пугая, понесшую лошадь. Шофер успел замедлить ход. Он подавал сигналы, продолжая медленно накатываться, но чучело не сходило с дороги.

— Стой! — воскликнул во весь голос человечек. — Стой, комиссар. Стой, похититель чужих детей!

И ничего не оставалось шоферу, как затормозить. Поток движения осекся. Чуть ли не вздыбились многие машины, налетев на переднюю, и автобус, заревев, остановился, весь придя в беспокойство, готовый покориться, поднять слоновые свои шины и попятиться...

Распростертые руки стоящего на мостовой требовали тишины.

И все смолкло.

— Брат,— проговорил человечек.— Почему ты ездишь в автомобиле, а я хожу пешком? Открой дверцу, отодвинься, впусти меня. Мне тоже не подобает ходить пешком. Ты вождь, но я вождь также.

И действительно, на эти слова подбежали к нему с разных сторон люди, из автобуса выскочили некоторые, другие покинули окрестные пивные, с бульвара примчались третьи,— и тот, сидевший в автомобиле брат, поднявшись, громадный, увеличившийся от стояния в автомобиле, увидел перед собой живую баррикаду.

Грозный вид его был таков, что казалось, он сейчас шагнет и пойдет по машине, по спине шофера, на них, на баррикаду, сокрушающим — на всю высоту улицы — столбом...

А Ивана — точно подняли на руки: он вознесся над толпой приверженцев, покачивался, проваливался, выдергивался; котелок его съехал на затылок, и открылся большой, ясный, усталого человека, лоб.

И стащил его брат Андрей с высоты, схватив за штаны на животе жменей. Так он и швырнул его милиционеру.

— В ГПУ! — сказал он.

Едва произнесено было волшебное слово, как все, встрепенувшись, вышло из летаргии: сверкнули спицы, втулки завертелись, захлопали двери, и все те действия, которые начаты были до летаргии, получили свое дальнейшее развитие.

Иван находился под арестом десять дней.

Когда ему вернули свободу, друзья-собутыльники спросили его, правда ли, что был он арестован братом на улице при столь удивительных обстоятельствах. Он хохотал.

— Это ложь. Легенда. Просто в пивной меня задержали. Полагаю, что давно уже было за мной наблюдение. Но, однако, хорошо, что уже сочиняются легенды. Конец эпохи, переходное время, требует своих легенд и сказок. Что же, я счастлив, что буду героем одной из таких сказок. И будет еще одна легенда: о машине, носившей имя «Офелия»... Эпоха умрет с моим именем на устах. К тому и прилагаю я свои старания.

Его отпустили, пригрозив высылкой.

Что могли инкриминировать ему в ГПУ?

— Вы называли себя королем? — спросил его следователь.

— Да... королем пошляков.

— Что это значит?

— Видите ли, я открываю глаза большой категории людей...

— На что вы открываете им глаза?

— Они должны понять свою обреченность.

— Вы сказали: большая категория людей. Кого вы подразумеваете под этой категорией?

— Всех тех, кого вы называете упадочниками. Носителей упадочных настроений. Разрешите, я объясню подробней.

— Я буду вам благодарен.

— ...целый ряд человеческих чувств кажется мне подлежащим уничтожению...

— Например? Чувства...

— ...жалости, нежности, гордости, ревности, любви — словом, почти все чувства, из которых состояла душа человека кончающейся эры. Эра социализма создаст взамен прежних чувствований новую серию состояний человеческой души.

— Так-с.

— Я вижу, вы не понимаете меня. Гонениям подвергается коммунист, ужаленный змеей ревности. И жалостливый коммунист также подвергается гонениям. Лютик жалости, ящерица тщеславия, змея ревности — эта флора и фауна должна быть изгнана из сердца нового человека.

...вы меня извините, я говорю несколько красочно, вам покажется: витиевато? Вам не трудно? Благодарю вас. Воды? Нет, я не хочу воды... Я люблю говорить красиво...

...знаем мы, что могила комсомольца, наложившего на себя руки, украшается, вперемежку с венками, также и проклятиями соратников. Человек нового мира говорит: самоубийство есть акт упадочнический. А человек старого мира говорил: он должен был покончить с собой, чтобы спасти свою честь. Таким образом, видим мы, что новый человек приучает себя презирать старинные, прославленные поэтами и самой музой истории чувства. Ну вот-с. Я хочу устроить последний парад этих чувств.

— Это и есть то, что вы называете заговором чувств?

— Да. Это и есть заговор чувств, во главе которого стою я.

— Продолжайте.

— Да. Я хотел бы объединить вокруг себя некую группу... Понимаете ли вы меня?

...видите ли, можно допустить, что старинные чувства были прекрасны. Примеры великой любви, скажем, к женщине или отечеству. Мало ли что! Согласитесь, кое-что из воспоминаний этих волнует и до сих пор. Ведь правда? И вот хотелось бы мне...

...знаете, бывает, электрическая лампочка неожиданно тухнет. Перегорела, говорите вы. И эту перегоревшую лампочку если встряхнуть, то она вспыхнет снова и будет еще гореть некоторое время. Внутри лампы происходит крушение. Вольфрамовы нити обламываются, и от соприкосновения обломков лампе возвращается жизнь. Короткая, неестественная, нескрываемо обреченная жизнь — лихорадка, слишком яркий накал, блеск. Затем наступит тьма, жизнь не вернется, и во тьме лишь будут позванивать мертвые, обгоревшие нити. Вы понимаете меня? Но короткий блеск прекрасен!

...Я хочу встряхнуть...

...Я хочу встряхнуть сердце перегоревшей эпохи. Лампу-сердце, чтобы обломки соприкоснулись...

...и вызвать мгновенный прекрасный блеск...

...я хочу найти представителей оттуда, из того, что называете вы старым миром. Те чувства я имею в виду: ревность, любовь к женщине, честолюбие. Глупца я хочу найти такого, чтоб показать вам: вот, товарищи, представитель того человеческого состояния, которое называется «глупость».

...многие характеры разыгрывали комедию старого мира. Занавес закрывается. Персонажи должны сбежаться к авансцене и пропеть последние куплеты. Я хочу быть посредником между ними и зрительным залом. Я буду дирижировать хором и последним уйду со сцены.

...мне выпала честь провести последним парадом старинные человеческие страсти...

...в глазные прорези маски мерцающим взглядом следит за нами история. И я хочу показать ей: вот влюбленный, вот честолюбец, вот предатель, вот безрассудный храбрец, вот верный друг, вот блудный сын,— вот они, носители великих чувств, ныне признанных ничтожными и пошлыми. Пусть в последний раз, прежде чем исчезнуть, прежде чем подвергнуться осмеянию, пусть проявятся они в высоком напряжении.

...Я слушаю чужой разговор. О бритве говорят. О безумце, перерезавшем себе горло. Тут же порхает женское имя. Он не умер, безумец, горло ему зашили,— и снова полоснул он по тому же месту. Кто ж он? Покажите его, он нужен мне, я ищу его. И ее ищу. Ее, демоническую женщину, и его, трагического любовника. Но где его искать? В больнице Склифосовского? А ее? Кто она? Конторщица? Нэпманша?

...мне очень трудно найти героев...

...героев нет...

...я заглядываю в чужие окна, поднимаюсь по чужим лестницам. Порой я бегу за чужой улыбкой, вприпрыжку, как за бабочкой бежит натуралист! Мне хочется крикнуть: «Остановитесь! Чем цветет тот куст, откуда вылетел непрочный и опрометчивый мотылек вашей улыбки? Какого чувства этот куст? Розовый шиповник грусти или смородина мелкого тщеславия? Остановитесь! Вы нужны мне...»

...я хочу собрать вокруг себя множество. Чтобы иметь выбор и выбрать лучших, ярчайших из них, сделать ударную, что ли, группу... группу чувств.

...да, это заговор, мирное восстание. Мирная демонстрация чувств.

...скажем, где-нибудь отыщу я полнокровного, стопроцентного честолюбца. Я скажу ему: «Проявись! Покажи тем, что затирают тебя, покажи им, что есть честолюбие. Соверши поступок, о котором сказали бы: «О, подлое честолюбие! о, какова сила честолюбия!» Или, скажем, посчастливится мне найти идеально-легкомысленного человека. И также я попрошу его: «Проявись, покажи силу легкомыслия, чтобы зрители всплеснули руками».

...гении чувств завладевают душами. Одной душой правит гений гордости, другой — гений сострадания. Я хочу извлечь их, этих бесов, и выпустить их на арену.

Следователь. И что же, вам удалось уже найти кого-либо?

Иван. Я долго звал, долго искал. Это очень трудно. Быть может, меня не понимают. Но одного я нашел.

Следователь. Кого именно?

Иван. Вас интересует чувство, носителем которого он является, или его имя?

Следователь. И то и другое.

Иван. Николай Кавалеров. Завистник.

IV

Они отошли от зеркала.

Теперь уж два комика шли вместе. Один, пониже и потолще, опережал на шаг другого. Это была особенность Ивана Бабичева. Разговаривая со спутником, он принужден был постоянно оглядываться. Если приходилось ему произносить длинную фразу (а фразы его никогда не бывали короткими), то не раз, шагая с лицом, повернутым на спутника, он натыкался на встречных. Тогда немедленно срывал он котелок и рассыпался в высокопарных извинениях. Человек он был учтивый. С лица его не сходила приветливая улыбка.

День сворачивал лавочку. Цыган, в синем жилете, с крашеными щеками и бородой, нес, подняв на плечо, чистый медный таз. День удалялся на плече цыгана. Диск таза был светел и слеп. Цыган шел медленно, таз легко покачивался, и день поворачивался в диске.

Путники смотрели вслед.

И диск зашел, как солнце. День окончился.

Путники тотчас завернули в пивную.

Кавалеров рассказал Ивану о том, как выгнало его из своего дома значительное лицо. Имени он не назвал. Иван рассказал ему о том же: и его выгнало значительное лицо.

— И вы его, наверно, знаете. Его знают все. Это брат мой, Андрей Петрович Бабичев. Слышали?

Кавалеров, покраснев, опустил глаза. Он ничего не ответил.

— Таким образом, судьба наша схожа, и мы должны быть друзьями,— сказал Иван, сияя.— А фамилия Кавалеров мне нравится: она высокопарна и низкопробна.

Кавалеров подумал: «Я и есть высокопарный и низкопробный».

— Прекрасное пиво! — воскликнул Иван.— Поляки говорят: у нее глаза пивного цвета. Не правда ли, хорошо?

...Но самое главное то, что этот знаменитый человек, брат мой, украл у меня дочь...

...Я отомщу брату моему.

...Он украл у меня дочь. Ну, не буквально украл, конечно... Не делайте, Кавалеров, больших глаз. И нос бы не мешало вам сделать

меньше. С толстым носом вы должны быть знамениты, как герой, чтобы быть счастливым, как простой обыватель. Он оказал на нее моральное воздействие. А ведь за это судить можно? К прокурору, а? Она покинула меня. Я даже не так обвиняю Андрея, как ту сволочь, которая живет при нем.

Он рассказал о Володе.

У Кавалерова на ногах шевелились от смущения большие пальцы.

— ...Этот мальчишка испортил мне жизнь. О, если бы на футболе отбили ему почки! Андрей слушается его во всем. Он, этот мальчишка, видите ли,— новый человек! Мальчишка сказал, что Валя несчастна, потому что я, отец,— сумасшедший и что я (сволочь) систематически свожу ее с ума. Сволочь! Они вместе уговорили ее. И Валя сбежала. Какая-то подруга приютила ее.

...Я проклял подругу эту. Я пожелал ей, чтоб пищевод ее и прямая кишка поменялись местами. Представляете себе такую картину? Это компания твердолобых...

...женщина была лучшим, прекраснейшим, чистейшим светом нашей культуры. Я искал существо женского пола. Я искал такое существо, в котором соединились бы все женские качества. Я искал завязь женских качеств. Женское — было славой старого века. Я хотел блеснуть этим женским. Мы умираем, Кавалеров. Я хотел, как факел, пронести над головой женщину. Я думал, что женщина потухнет вместе с нашей эрой. Тысячелетия стоят выгребной ямой. В яме валяются машины, куски чугуна, жести, винты, пружины... Темная, мрачная яма. И светятся в яме гнилушки, фосфоресцирующие грибки — плесень. Это наши чувства! Это все, что осталось от наших чувств, от цветения наших душ. Новый человек приходит к яме, шарит, лезет в нее, выбирает, что ему нужно,— какая-нибудь часть машины пригодится, гаечка, — а гнилушку он затопчет, притушит. Я мечтал найти женщину, которая расцвела бы в этой яме небывалым чувством. Чудесным цветением папоротника. Чтобы новый человек, пришедший воровать наше железо, испугался, отдернул руку, закрыл глаза, ослепленный светом того, что ему казалось гнилушкой.

...Я нашел такое существо. Возле себя. Валю. Я думал, что Валя просияет над умирающим веком, осветит ему путь на великое кладбище. Но я ошибся. Она выпорхнула. Она бросила изголовье старого века. Я думал, что женщина — это наше, что нежность и любовь — это только наше,— но вот... я ошибся. И вот блуждаю я, последний мечтатель земли, по краям ямы, как раненый нетопырь...

Кавалеров подумал: «Я вырву у них Валю». Ему хотелось сказать, что он был свидетелем происшествия в переулке, где цвела изгородь. Но почему-то он удержался.

— Наша судьба схожа,— продолжал Иван.— Дайте мне вашу руку. Так. Приветствую вас. Очень рад вас видеть, молодой человек. Чокнемся. Так вас прогнали, Кавалеров? Расскажите, расскажите. Впрочем, вы уже рассказывали. Очень важное лицо вас выставило? Вы не хотите назвать имени? Ну ладно. Вы очень ненавидите этого человека?

Кавалеров кивает.

— Ах, как понятно мне все, мой милый! Вы, насколько я понял вас, нахамили власть имущему человеку. Не перебивайте меня. Вы возненавидели всеми признанного человека. Вам кажется, конечно, что это он обидел вас. Не перебивайте меня. Пейте.

...вы уверены, что это он мешает вам проявиться, что он захватил ваши права, что там, где нужно, по вашему мнению, господствовать вам, господствует он. И вы беситесь...

В дыму парит оркестр. Лежит бледное лицо скрипача на скрипке.

— Скрипка похожа на самого скрипача,— говорит Иван.— Это маленький скрипач в деревянном фраке. Слышите? Поет дерево. Слышите голос дерева? Дерево в оркестре поет разными голосами. Но как они скверно играют! Боже, как скверно они играют!

Он оборотился к музыкантам.

— Вы думаете, барабан у вас? Вы думаете, барабан исполняет свою партию? Нет, это бог музыки стучит на вас кулаком.

...мой друг, нас гложет зависть. Мы завидуем грядущей эпохе. Если хотите, тут зависть старости. Тут зависть впервые состарившегося человеческого поколения. Поговорим о зависти. Дайте нам еще пива...

Они сидели у широкого окна.

Еще раз прошел дождь. Был вечер. Город сверкал, точно высеченный из угля кардифа. Люди заглядывали в окно с Самотеки, прижимая носы.

— ...да, зависть. Тут должна разыграться драма, одна из тех грандиозных драм на театре истории, которые долго вызывают плач, восторги, сожаления и гнев человечества. Вы, сами того не понимая, являетесь носителем исторической миссии. Вы, так сказать, сгусток. Вы сгусток зависти погибающей эпохи. Погибающая эпоха завидует тому, что идет ей на смену.

— Что же мне делать? — спросил Кавалеров.

— Милый мой, тут надо примириться или... устроить скандал. Или надо уйти с треском. Хлопните, как говорится, дверью. Вот самое главное: уйдите с треском. Чтоб шрам остался на морде истории,— блесните, черт вас подери! Ведь все равно вас не пустят туда. Не сдавайтесь без боя... Я хочу вам рассказать один случай из моего детства...

...Был устроен бал. Дети разыгрывали пьесу, исполняли балет на специально устроенной в большой гостиной сцене. И девочка... представляете ли себе? — такая типичная девочка, двенадцати лет, тонконожка в коротком платьице, вся розовая, атласная, расфуфыренная,— ну, знаете, в целом, со своими оборочками, бантами, похожая на цветок, известный под именем «львиной пасти»; красотка, высокомерная, балованная, потряхивающая локонами,— вот такая девочка хороводила на том балу. Она была королевой. Она делала все, что хотела, все восхищались ею, все шло от нее, все стягивалось к ней. Она лучше всех танцевала, пела, прыгала, придумывала игры. Лучшие подарки попали к ней, лучшие конфеты, цветы, апельсины, похвалы... Мне было тринадцать лет, я был гимназистом. Она затерла меня. А между тем я тоже привык к восторгам, я тоже был избалован по-

клонением. У себя в классе и я главенствовал, был рекордсменом. Я не вытерпел. Я поймал девчонку в коридоре и поколотил ее, оборвал ленты, пустил локоны по ветру, расцарапал прелестную ее физиономию. Я схватил ее за затылок и несколько раз стукнул ее лбом о колонну. В тот момент я любил эту девочку больше жизни, поклонялся ей — и ненавидел всеми силами. Разодрав красоткины кудри, я думал, что опозорю ее, развею ее розовость, ее блеск, и думал, что исправлю допущенную всеми ошибку. Но ничего не вышло. Позор упал на меня. Я был изгнан. Однако, мой милый, обо мне помнили весь вечер; однако бал я испортил им; однако обо мне говорили везде, где появлялась красотка... Так впервые познал я зависть. Ужасна изжога зависти. Как тяжело завидовать! Зависть сдавливает горло спазмой, выдавливает глаза из орбит. Когда терзал я ее там, в коридоре, жертву пойманную, слезы катились из моих глаз, я захлебывался,— и все-таки я рвал восхитительную ее одежду, содрогаясь от прикосновения к атласу. Оно вызывало почти оскомину на зубах и губах. Вы знаете, что такое атлас, ворс атласа,— вы знаете, как прикосновение к нему пронизывает позвоночник, всю нервную систему, какие вызывает гримасы! Так все силы восстали на меня в защиту скверной девчонки. Оскомина, яд, таившийся в кустах и корзинах, вытек из того, что казалось таким очаровательно невинным в гостиной,— из ее платья, из розового, такого сладкого для глаз атласа. Не помню, издавал ли я какие-либо возгласы, совершая свою расправу. Должно быть, я шептал: «Вот тебе месть! Не затирай! Не забирай того, что может принадлежать мне...»

...Вы внимательно прослушали меня? Я хочу провести некоторую аналогию. Я имею в виду борьбу эпох. Конечно, на первый взгляд сравнение покажется легкомысленным. Но вы понимаете меня? Я говорю о зависти.

Оркестранты закончили номер.

— Ну, слава богу,— сказал Иван.— Они умолкли. Смотрите: виолончель. Она блестела гораздо менее до того, как за нее взялись. Долго терзали ее. Теперь она блестит, как мокрая,— прямо-таки освежеванная виолончель. Надо записывать мои суждения, Кавалеров. Я не говорю — я высекаю свои слова на мраморе. Не правда ли?..

...Мой милый, мы были рекордсменами, мы тоже избалованы поклонением, мы тоже привыкли главенствовать там... у себя... Где у себя?.. Там, в тускнеющей эпохе. О, как прекрасен поднимающийся мир! О, как разблистается праздник, куда нас не пустят! Все идет от нее, от новой эпохи, все стягивается к ней, лучшие дары и восторги получит она. Я люблю его, этот мир, надвигающийся на меня, больше жизни, поклоняюсь ему и всеми силами ненавижу его! Я захлебываюсь, слезы катятся из моих глаз градом, но я хочу запустить пальцы в его одежду, разодрать. Не затирай! Не забирай того, что может принадлежать мне...

...Мы должны отомстить. И вы и я — нас многие тысячи,— мы должны отомстить. Кавалеров, не всегда враги оказываются ветряными мельницами. Иногда то, что так хотелось бы принять за ветряную

мельницу,— есть враг, завоеватель, несущий гибель и смерть. Ваш враг, Кавалеров,— настоящий враг. Отомстите ему. Верьте мне, мы уйдем с треском. Мы собьем спеси молодому миру. Мы тоже не лыком шиты. Мы тоже были баловнями истории.

...Заставьте о себе говорить, Кавалеров. Ясно: все идет к гибели, все предначертано, выхода нет,— вам погибать, толстоносый! Каждая минута будет умножать унижения, с каждым днем будет расцветать, как лелеемый юноша, враг. Погибать; это ясно. Так обставьте ж свою гибель, украсьте ее фейерверком, порвите одежду тому, кто затирает вас, попрощайтесь так, чтоб ваше «до свиданья» раскатилось по векáм.

Кавалеров подумал: «Он читает мои мысли».

— Вас обидели? Вас выгнали?

— Меня страшно обидели,— горячо сказал Кавалеров,— меня долго унижали.

— Кто обидел вас? Один из избранников эпохи?

«Ваш брат,— хотел крикнуть Кавалеров,— тот же, кто обидел и вас». Но он промолчал.

— Вам повезло. Вы знаете в лицо завоевателя. У вас есть конкретный враг. И у меня тоже.

— Что же мне делать?

— Вам повезло. Вы расплату за себя можете соединить с расплатой за эпоху, которая была вам матерью.

— Что же мне делать?

— Убейте его. Почетно оставить о себе память как о наемном убийце века. Прищемите вашего врага на пороге двух эпох. Он кичится, он уже там, он уже гений, купидон, вьющийся со свитком у ворот нового мира, он уже, задрав нос, не видит вас,— тресните его на прощанье. Благословляю вас. И я (Иван поднял кружку), и я тоже уничтожу своего врага. Выпьем, Кавалеров, за «Офелию». Это орудие моей мести.

Кавалеров открыл рот, чтобы сообщить главное: у нас общий враг, вы благословили меня на убийство вашего брата,— но не сказал ни слова, потому что к столу их подошел человек, пригласивший Ивана, немедленно и не задавая вопросов, следовать за ним. Он был арестован, о чем известно из предыдущей главы.

— До свидания, мой милый,— сказал Иван,— меня ведут на Голгофу. Пойдите к дочке моей (он назвал переулок, уже давно блиставший в памяти Кавалерова), пойдите и посмотрите на нее. Вы поймете, что если такое создание изменило нам, то остается одно: месть.

Он допил пиво и пошел впереди таинственного человека на шаг.

По дороге подмигивал он посетителям, расточал улыбки, заглянул в раструб кларнета и у самых дверей повернулся и, держа котелок в вытянутой руке, продекламировал:

Ведь я не шарлатан немецкий
И не обманщик я людей!
Я — скромный фокусник советский,
Я — современный чародей!

V

— Что ты смеешься? Ты думаешь, я хочу спать? — спросил Володя.

— Да я не смеюсь. Я кашляю.

И Володя снова засыпал, добравшись до стула.

Молодой уставал раньше. Тот, старший — Андрей Бабичев,— был гигант. Он работал день, работал половину ночи. Андрей ударял кулаком по столу. Абажур на лампе подскакивал, как крышка на чайнике, но тот спал. Абажур прыгал. Андрей вспоминал: Джемс Уатт смотрит на крышку чайника, прыгающую над паром.

Известная легенда. Известная картинка.

Джемс Уатт изобретает паровую машину.

— Что же ты изобретаешь, мой Джемс Уатт? Какую машину изобретаешь ты, Володя? Какую новую тайну природы обнаружишь ты, новый человек?

И тут начинался разговор Андрея Бабичева с самим собой. На самое короткое время бросал он работу и, глядя на спящего, думал:

«А может быть, Иван прав? Может быть, я просто обыкновенный обыватель и семейное живет во мне? Потому ли он дорог мне, что с детских лет живет со мною, я просто привык к нему, полюбил, как сына? Только ли потому? Так ли просто? А если был бы он тупица? То, ради чего я живу, сосредоточилось в нем. Мне посчастливилось. Жизнь нового человечества далека. Я верю в нее. И мне посчастливилось. Вот он заснул так близко от меня, прекрасный мой новый мир. Новый мир живет в моем доме. Я души в нем не чаю. Сын? Опора? Закрыватель век? Неправда! Не это мне нужно! Я не хочу умирать на высокой постели, на подушках. Я знаю: масса, а не семья примет мой последний вздох. Чепуха! Как мы лелеем тот новый мир, так я лелею его. И он дорог мне, как воплотившаяся надежда. Я выгоню его, если обманусь в нем, если он не новый, не совсем отличный от меня, потому что я еще стою по брюхо в старом и уже не вылезу. Я выгоню его тогда: мне не нужен сын, я не отец, и он не сын, мы не семья. Я тот, что верил в него, а он тот, что оправдал веру.

Мы не семья, мы — человечество.

Значит, что же? Значит, человеческое чувство отеческой любви надо уничтожить? Почему же он любит меня, он, новый? Значит, там, в новом мире, будет тоже цвести любовь между сыном и отцом? Тогда я получаю право ликовать; тогда я вправе любить его и как сына, и как нового человека. Иван, Иван, ничтожен твой заговор. Не все чувства погибнут. Зря ты бесишься, Иван! Кое-что останется».

Давным-давно, в темную ночь, проваливаясь в овраги, по колено в звездах, спугивая звезды с кустарников, бежали двое: комиссар и мальчик. Мальчик спас комиссара. Комиссар был огромен, мальчик — крошка. Увидевшие подумали б: бежит один — великан, припадающий к земле, и мальчика приняли б за ладонь великана.

Они соединились навсегда.

Мальчик жил при великане, рос, вырос, стал комсомольцем и стал студентом. Он родился в железнодорожном поселке, был сын ремонтного литейного рабочего.

Его полюбили товарищи, его полюбили взрослые. Его иногда беспокоило то, что он всем нравится,— это порой казалось ему незаслуженным и ошибочным. Чувство товарищества было в нем самым сильным. Как бы заботясь о каком-то равновесии и пытаясь исправить какую-то неправильность, допущенную природой в распределении даров, он иногда прибегал даже к ухищрениям с целью как-нибудь сгладить впечатление о себе, снизить его, спешил потушить свой блеск.

Ему хотелось вознаградить менее удачливых сверстников своей преданностью, готовностью к самопожертвованию, пылкими проявлениями дружбы, отыскиванием в каждом из них замечательных черт и способностей.

Его общество толкало товарищей к соревнованию.

— Я думал, почему злятся люди или обижаются,— сказал он.— У таких людей нет понятия о времени. Тут незнакомство с техникой. Время — ведь это тоже понятие техническое. Если бы все были техниками, то исчезли бы злоба, самолюбие и все мелкие чувства. Ты улыбаешься? Понимаешь ли: нужно понимать время, чтобы освободиться от мелких чувств. Обида, скажем, продолжается час или год. У них хватает воображения на год. А на тысячу лет они не разгоняются. Они видят только три-четыре деления на циферблате, ползут, тычутся... Куда им! Всего циферблата не охватят. Да вообще: скажи им, что есть циферблат,— не поверят!

— Так почему же только мелкие чувства? Ведь и высокие чувства коротки. Ну... великодушие?

— Видишь ли. Ты меня вот послушай. В великодушии есть какая-то правильность... техническая. Ты не улыбайся. Да, да. Нет, в самом деле... я, кажется, запутался. Ты меня смущаешь. Нет, подожди! Революция была... ну, как? Конечно, очень жестокая. Хо! Но ради чего она злобствовала? Была она великодушна, верно? Добра была — для всего циферблата... Верно? Надо обижаться не в промежутке двух делений, а во всем круге циферблата... Тогда нет разницы между жестокостью и великодушием. Тогда есть одно: время. Железная, как говорится, логика истории. А история и время одно и то же, двойники. Не смейся, Андрей Петрович. Я говорю: главным чувством человека должно быть понимание времени.

Он сказал также:

— Я собью спеси буржуазному миру. Они издеваются над нами. Старики брюзжат: где ваши новые инженеры, хирурги, профессора, изобретатели? Я соберу большую группу товарищей, человек сто. Мы организуем союз. По сбиванию спеси буржуазному миру. Ты думаешь, я хвастаю? Ты ничего не понимаешь. Я вовсе не заношусь. Мы будем работать как звери. Вот увидишь. К нам приедут кланяться. И Валя будет в этом союзе.

Он проснулся.

— Видел сон,— засмеялся он,— будто я с Валькой сидим на крыше и смотрим в телескоп на луну.

— Что? А? Телескоп?

— И я ей говорю: «Вон там, внизу, Море Кризисов». А она спрашивает: «Море крыс?»

В тот год весной Володя уехал на короткий срок повидаться с отцом в город Муром. Отец работал в муромских паровозостроительных мастерских. Прошло два дня разлуки, и в ночь на третий день ехал Андрей домой. На повороте шофер уменьшил скорость, светало, и Андрей увидел лежащего под стеной человека.

Напоминание об отсутствующем слетело к нему с того, лежащего на решетке. Оно приказало ему дернуться и нагнуться к шоферу. «Да ничего же нет между ними общего!» — едва не воскликнул Андрей. И действительно, никакого не было сходства между лежащим и отсутствующим. Просто он живо представил себе Володю. Он подумал: «А вдруг что-либо заставило Володю принять такую же жалкую позу». И просто он сделал глупость, дал разыграться чувствительности. Машина остановилась.

Николай Кавалеров был поднят, были выслушаны бредовые его слова.

Андрей привез его к себе, втащил на третий этаж и уложил на диване Володи, устроил ему постель и укрыл пледом по шею; тот лежал навзничь с вафельным следом решетки на щеке. Хозяин отошел ко сну в благодушии: диван не пустовал.

В ту же ночь ему приснилось, что молодой человек повесился на телескопе.

VI

В комнате Анечки Прокопович стояла замечательная кровать — из дорогого, покрытого темно-вишневым лаком дерева, с зеркальными арками на внутренней стороне спинок.

Однажды, в глубоко мирный год, на народном гулянье, под звуки фанфар, обсыпаемый конфетти, взошел на деревянный помост Анечкин муж и, предъявив лотерейный билет, получил от распорядителя квитанцию на право владения замечательной кроватью. Ее увезли гужевым способом. Свистали мальчишки.

Голубое небо отражалось в движущихся зеркальных арках, точно открывались и медленно опускались веки прекрасных глаз.

Семейство жило, развалилось,— кровать прошла через все невзгоды.

Кавалеров живет в углу за кроватью.

Он пришел к Анечке и сказал:

— Тридцать рублей в месяц я могу вам платить за угол.

И Анечка, протяжно улыбнувшись, согласилась.

Деваться ему было некуда. В его прежней комнате крепко поселился новый жилец. Страшную кровать Кавалеров продал за четыре рубля, и она со стоном покинула его.

На орган походила Анечкина кровать.

Полкомнаты было занято ею. Вершины ее таяли в сумраке потолка.

Кавалеров думал:

«Будь я ребенок, Анечкин маленький сын,— сколько поэтических, волшебных построений создал бы мой детский ум, отданный во власть зрелищу такой необычайной вещи! Теперь я взрослый, и теперь лишь общие контуры и лишь кой-какие детали улавливаю я, а тогда я умел бы...

...А тогда, не подчиняясь ни расстояниям, ни масштабам, ни времени, ни весу, ни тяготению, я ползал бы в коридорах, образовавшихся от пустоты между рамой пружинного матраца и бортами кровати; таился бы за колоннами, что теперь кажутся мне не больше мензурок; воображаемые катапульты устанавливал бы на барьерах ее и стрелял бы по врагам, теряющим силы в бегстве по мягкой, засасывающей почве одеяла; устраивал бы под зеркальной аркой приемы послов, как король только что прочитанного романа; отправлялся бы в фантастические путешествия по резьбе — все выше и выше — по ногам и ягодицам купидонов, лез бы по ним, как лезут по статуе Будды, не умея охватить ее взором, и с последней дуги, с головокружительной высоты, срывался бы в страшную пропасть, в ледовитую пропасть подушек...»

Иван Бабичев ведет Кавалерова по зеленому валу... Одуванчики летят из-под ног, плывут,— и плавание их есть динамическое отображение зноя... От зноя Бабичев бледнеет. Полное лицо его блестит, зной точно лепит маску с его лица.

— Сюда! — командует он.

Окраина цветет.

Они пересекают пустырь, идут вдоль заборов; овчарки бесятся за заборами, гремят цепями. Кавалеров свистит, дразня овчарок,— но все возможно: вдруг какая-нибудь словчится, порвет цепь и перемахнет через забор,— и поэтому капсюля жути растворяется где-то под ложечкой у дразнящего.

Путники спускаются по зеленеющей покатости, почти на крыши красных домиков, на верхушки садов; местность Кавалерову незнакома, и, даже видя перед собой Крестовские башни, он не может ориентироваться. Доносятся свистки паровозов, железнодорожный лязг.

— Я покажу вам мою машину,— говорит Иван, оглядываясь на Кавалерова.— Ущипните-ка себя... так... еще раз... и еще раз... Не сон? Нет? Помните: вы не спали. Помните: все было просто, мы шли с вами через пустырь, блестела никогда не высыхающая лужа, на частокол надеты были горшки; запомните, мой друг, замечательные вещи можно было отметить в мусоре по пути, под заборами в канавах: например, смотрите,— листок из книги,— нагнитесь, посмотрите, пока не унес его ветер,— видите: иллюстрации к «Тарасу Бульбе», узнаете? Должно быть, из того вот окошка выбросили обертку от чего-то съестного, и попал листок сюда. Далее — это что?

Вечный традиционный башмак в канаве? Не стоит обращать на него внимания — это слишком академический образ запустения! Далее — бутылка... подождите, она еще цела, но завтра раздавит ее колесо телеги, и если вскоре после нас еще какой-нибудь мечтатель пройдет по нашему пути, то получит он полное удовольствие от созерцания знаменитого бутылочного стекла, знаменитых осколков, прославленных писателями за свойство внезапно вспыхивать среди мусора и запустения и создавать одиноким путникам всякие такие миражи... Наблюдайте, мой друг, наблюдайте... Вот пуговицы, обручи, вот лоскут бинта, вот вавилонские башенки окаменелых человеческих испражнений... Словом, друг мой,— обычный рельеф пустыря... Запоминайте. Все просто было. И я вел вас, чтобы показать вам мою машину. Ущипните себя. Так. Значит, не сон? Ну, ладно. А то потом — я знаю, что будет,— потом вы скажете, что вам нездоровилось, что слишком было жарко, что, возможно, многое просто почудилось вам от жары, усталости и так далее. Нет, мой друг, я требую, чтобы вы подтвердили, что вы находитесь в самом нормальном состоянии. То, что вы сейчас увидите, может ошеломить вас слишком сильно.

Кавалеров подтвердил:

— Я нахожусь в самом нормальном состоянии.

И был забор, дощатый невысокий заборчик.

— Она там,— сказал Иван.— Обождите. Присядем. Вот сюда, над овражком. Я говорил вам: моей мечтой была машина машин, универсальная машина. Думал я о совершенном орудии, надеялся я в одном небольшом аппарате сконцентрировать сотни различных функций. Да, мой друг. Прекрасная, благородная задача. Ради этого стоило стать фанатиком: у меня была мысль укротить мастодонта техники, сделать его ручным, домашним... Дать человеку такой рычажок, простой, знакомый, который не испугал бы его, был бы привычным, как дверная задвижка...

— Я ничего не понимаю в механике,— молвил Кавалеров,— я боюсь машин...

— И мне удалось. Слушайте меня, Кавалеров. Я изобрел такую машину.

(Забор манил, и, однако, вероятнейше допускалось, что никакой тайны нет за серыми обычными досками.)

— Она может взрывать горы. Она может летать. Она поднимает тяжести. Она дробит руду. Она заменяет кухонную плиту, детскую коляску, дальнобойное орудие... Это сам гений механики...

— Отчего вы улыбаетесь, Иван Петрович?

(Иван поигрывал уголком глаза.)

— Я цвету. Я не могу говорить о ней без того, чтобы сердце мое не прыгало, как яйцо в кипятке. Слушайте меня. Я наделил ее сотней умений. Я изобрел машину, которая умеет делать все. Понимаете ли вы? Сейчас вы увидите, но...

Он встал и, положив ладонь на плечо Кавалерова, торжественно сказал:

— Но я запретил ей. В один прекрасный день я понял, что мне

дана сверхъестественная возможность отомстить за свою эпоху... Я развратил машину. Нарочно. Назло.

Он рассмеялся счастливым смехом.

— Нет, вы поймите, Кавалеров, какое великое удовлетворение. Величайшее создание техники я наделил пошлейшими человеческими чувствами! Я опозорил машину. Я отомстил за мой век, давший мне тот мозг, который лежит в моем черепе, мой мозг, придумавший удивительную машину... Кому ее оставить? Новому миру? Они жрут нас, как пищу,— девятнадцатый век втягивают они в себя, как удав втягивает кролика... Жуют и переваривают. Что на пользу — то впитывают, что вредит — выбрасывают... Наши чувства выбрасывают они, нашу технику — впитывают! Я мщу за наши чувства. Они не получат моей машины, не используют меня, не впитают моего мозга... Моя машина могла бы осчастливить новый век, сразу, с первых же дней его существования ввести в расцвет техники. Но вот — они не получат ее! Машина моя — это ослепительный кукиш, который умирающий век покажет рождающемуся. У них слюнки потекут, когда они увидят ее. Машина — подумайте — идол их, машина... и вдруг... И вдруг лучшая из машин оказывается лгуньей, пошлячкой, сентиментальной негодяйкой! Идемте... я покажу вам... Она, умеющая делать все,— она поет теперь наши романсы, глупые романсы старого века, и старого века собирает цветы. Она влюбляется, ревнует, плачет, видит сны... Я сделал это. Я насмеялся над божеством этих грядущих людей, над машиной. И я дал ей имя девушки, сошедшей с ума от любви и отчаяния,— имя Офелии... Самое человеческое, самое трогательное...

Иван повлек Кавалерова за собой.

Иван приник к щелке, выставив на Кавалерова лоснящийся медный зад,— ни дать ни взять две гири. Быть может, действительно влияла жара, непривычная захолустная пустота, новизна ландшафта, неожиданного для Москвы, быть может, действительно сказывалась усталость, но только Кавалеров, оставшись один в безлюдье и отдаленности от узаконенных городских шумов, поддался кое-какому миражу, кое-какой слуховой галлюцинации. Как будто послышался голос Ивана, разговаривавшего с кем-то через щелку. Затем Иван отпрянул. И то же сделал Кавалеров, хотя и стоял на порядочном расстоянии от Ивана,— как если бы испуг прятался где-то в противоположных деревьях и держал обоих на одной нитке, которую и дернул.

— Кто свистит? — звенящим от страха голосом закричал Кавалеров.

Пронзительный свист пролетел над окрестностью. Кавалеров на миг отвернулся, пряча лицо ладонями, как отворачиваются на сквозняке. Иван бежал от забора на Кавалерова — быстро семенил ножками — свист летел за ним, как будто Иван не бежал, а скользил, нанизанный на ослепительный свистовой луч.

— Я боюсь ее! Я боюсь ее! — услышал Кавалеров задыхающийся шепот Ивана.

Схватившись за руки, они побежали вниз, сопровождаемые про-

клятиями встревоженного бродяги, которого сперва с высоты приняли за брошенную кем-то старую сбрую...

Бродяга, вырванный охапкой из сна, сидел на кочке, шаря в траве,— искал камень. Они скрылись в улочку.

— Я боюсь ее,— быстро говорил Иван.— Она ненавидит меня... Она изменила мне... Она убьет меня...

Кавалеров, пришедши в себя, устыдился своего малодушия. Он вспомнил, что тогда же, когда увидел он обратившегося в бегство Ивана, еще нечто предстало его зрению, чего, испуганный, он не успел запечатлеть.

— Слушайте,— сказал он,— какая чепуха! Просто мальчик свистел в два пальца. Я видел. Мальчик появился на заборе и свистел... Ну да, мальчик...

— Я же говорил вам,— улыбнулся Иван,— я же говорил, что вы начнете искать всяких объяснений. Я же просил вас: ущипните себя побольнее.

Произошла ссора. Иван свернул в обретенную с трудом пивную. Он не приглашал Кавалерова. Тот поплелся, не зная пути, выискивая слухом трамвайный звон. Но на ближайшем углу, топнув ногой, Кавалеров повернул в пивную. Иван встретил его улыбкой и ладонью, направленной к стулу.

— Ну скажите же,— взмолился Кавалеров.— Ну ответьте мне, для чего вы мучите меня? Зачем вы обманываете нас? Ведь нет же никакой машины! Не может же быть такой машины! Это ложь и бред! Зачем вы врете нам?

В изнеможении Кавалеров опустился на стул.

— Послушайте, Кавалеров. Закажите себе пива, и я расскажу вам сказку. Слушайте.

СКАЗКА О ВСТРЕЧЕ ДВУХ БРАТЬЕВ

...Нежный, растущий остов «Четвертака» окружали леса.

Леса как леса: балки, ярусы, лестницы, ходы, переходы, навесы,— но разные были в толпе, собравшейся у подножия, характеры и глаза. Разным сходством улыбались люди. Одни были склонны к простоте и говорили: постройка заштрихована. Некто заметил:

— Деревянным сооружениям не положено расти слишком высоко. Глаз не уважает высоко вознесшихся досок. Леса уменьшают величие постройки. Самая высокая мачта кажется легко подверженной гибели. Такая громада дерева нежна, несмотря ни на что. Сразу напрашивается мысль о пожаре.

Другой воскликнул:

— А с той стороны — смотрите! — брусья вытянулись, как струны. Гитара, прямо-таки гитара!

На что предыдущий заметил:

— Ну вот, я ж говорил о нежности дерева. Удел его — служить музыке.

Тогда вмешался чей-то насмешливый голос:

— А медь? Я, например, признаю только духовые инструменты.

Школьник узнал в расположении досок не замеченную пикем арифметику, но определить, к чему относятся кресты умножения и куда ведут знаки равенства, он не успел: сходство мгновенно исчезло, оно было шаткое.

«Осада Трои,— подумал поэт.— Осадные башни».

И сравнение подкрепилось появлением музыкантов. Прикрываясь трубами, они поползли в деревянную какую-то траншею, к подножию постройки.

Был черен вечер, белы и шаровидны фонари, необычайно алели полотнища, провалы под деревянными сходнями были смертельно черны. Раскачивались, звеня проволоками, фонари. Тень как бы взмахивала бровями. Вокруг фонарей летала и гибла мошкара. Издалека, заставляя мигать попутные окна, неслись сорванные фонарями контуры окрестных домов и кидались на постройку,— и тогда (до тех пор пока не успокаивался раскачанный ветром фонарь) бурно оживали леса, все приходило в движение — и, как многоярусный парусник, плыла на толпу постройка.

К подножию постройки прошел по дереву и на дерево Андрей Бабичев. Сама собой строилась там трибуна. Оратор получал и лестницу, и помост, и поручень, и ослепительный черный фон позади себя, и прямо на себя — свет. Так много было дано света, что и далекие наблюдатели видели уровень воды в графине на столе президиума.

Бабичев двигался над толпой, очень цветной и блестящей, вроде как жестяной, похожий на электрическую фигурку. Он должен был произнести речь. Внизу, в естественно образовавшемся прикрытии, готовились к представлению актеры. Сладко, невидимый и непонятный толпе, завывал гобой. И непонятен был ставший серебряным от резкости освещения диск барабана, повернутого на толпу лицом. В деревянном ущелье украшались актеры. Каждый шаг проходящего наверху двигал над ними доски и сеял туманом опилки.

Появление на трибуне Бабичева развеселило публику. Его приняли за конферансье. Он был слишком свеж, умышлен, театрален по внешности.

— Толстый! Вот так толстый! — восхитился в толпе один.

— Браво! — заорали в разных местах.

Но — «Слово предоставляется товарищу Бабичеву»,— сказали из президиума; и от смешливости не осталось следа. Многие поднялись на носки. Внимание напрягалось. И каждому стало приятно. Было очень приятно видеть Бабичева по двум причинам: первая — он был известный человек, и вторая — он был толст. Толщина делала знаменитого человека своим. Бабичеву устроили овацию. Половина аплодисментов приветствовала его толщину. Он сказал речь.

Он говорил о том, какова будет деятельность «Четвертака»: столько-то и столько-то обедов, такая-то пропускная способность, такой-то процент питательности и — какие выгоды от коммунального питания.

Он говорил о питании детей: что, мол, в «Четвертаке» будет детское отделение, о научном приготовлении молочной каши, о росте де-

тей, позвоночнике, малокровии. Он, как всякий оратор, смотрел вдаль, поверх передней массы зрителей, и потому до самого конца своей речи оставался безучастным к тому, что происходило внизу, под трибуной. А между тем некий человечек в котелке уже давно расстроил внимание передних зрителей,— те уже не слушали оратора, всецело занятые поведением человечка, которое, впрочем, было совершенно мирным. Он, правда, рискнул, отъединившись от толпы, перебраться за веревку, ограждающую подступы к трибуне; он, правда, стоял обособленно, что явно показывало какие-то его права, либо действительно ему принадлежавшие, либо просто захваченные им... Он — спиной к публике — стоял, опершись на веревку, вернее, полусидел на веревке, свесив через нее зад, и, не заботясь о том, что полный произойдет беспорядок, если веревка оборвется, преспокойно и, видимо, получая удовольствие, раскачивался себе на веревке.

Он, быть может, слушал оратора или, возможно, наблюдал за актерами. Вспыхивало за перекладинами платье балерины, выглядывали в деревянное окошечко разные смешные рожи.

И... Да! Ведь главное-то было что? Ведь он, чудаковатый этот человечек, пришел с подушкой. Он нес большую, в желтом напернике, старую, выспанную многими головами подушку и, устроившись на веревке, опустил подушку на землю,— и села подушка рядом, как свинья.

И когда оратор окончил речь и, вытирая платком губы, другой рукой наливал из графина воду, пока затихали аплодисменты и публика переключала внимание, готовая слушать и смотреть актеров,— человек с подушкой, поднявши с веревки зад, встал во весь свой маленький рост, вытянул руку с подушкой и громко закричал:

— Товарищи! Я прошу слова!

Тогда оратор увидел брата своего Ивана. Кулаки у него сжались. Брат Иван стал подниматься по лестнице на трибуну. Он всходил медленно. Человек из президиума подбежал к барьеру. Он должен был жестами и голосом остановить незнакомца, но рука его повисла в воздухе, и, точно отсчитывая шаги незнакомца по ступенькам, рука эта опускалась толчками.

— Раз... два... пять... эть...

— Это гипноз! — взвизгнули в толпе.

А неизвестный шел, неся за шиворот подушку. И вот он на трибуне. Замечательная электрическая фигурка появилась на черном фоне. Аспидной доской чернел фон. Так был черен фон, что даже меловые линии чудились на нем, мерцало в глазах. Фигурка остановилась.

— Подушка! — шепотом прошло в толпе.

И незнакомец заговорил:

— Товарищи! От вас хотят отнять главное ваше достояние: ваш домашний очаг. Кони революции, гремя по черным лестницам, давя детей ваших и кошек, ломая облюбованные вами плитки и кирпичи, ворвутся в ваши кухни. Женщины, под угрозой гордость ваша и слава — очаг! Слонами революции хотят раздавить кухню вашу, матери и жены!

...Что говорил он? Он издевался над кастрюлями вашими, над горшочками, над тишиной вашей, над правом вашим всовывать соску в губы детей ваших... Он учит вас забывать что? Что хочет вытолкнуть он из сердца вашего? Родной дом — дом, милый дом! Бродягами по диким полям истории он хочет вас сделать. Жены, он плюет в суп ваш. Матери, он мечтает с личек младенцев ваших стереть сходство с вами — священное, прекрасное семейное сходство. Он врывается в закоулки ваши, шмыгает, как крыса, по полкам, залазит под кровати, под сорочки, в волосы подмышек ваших. Гоните его к черту!.. Вот подушка. Я король подушек. Скажите ему: мы хотим спать каждый на своей подушке. Не трогай подушек наших! Наши еще не оперившиеся, куриным пухом рыжеющие головы лежали на этих подушках, наши поцелуи попадали на них в ночи любви, на них мы умирали,— и те, кого мы убивали, умирали на них. Не трогай наших подушек! Не зови нас! Не мани нас, не соблазняй нас. Что можешь ты предложить нам взамен нашего умения любить, ненавидеть, надеяться, плакать, жалеть и прощать?.. Вот подушка. Герб наш. Знамя наше. Вот подушка. Пули застревают в подушке. Подушкой задушим мы тебя...

Его речь оборвалась. И то он сказал слишком много. Его как будто хватили за последнюю фразу, как можно схватить за руку,— фразу его загнули ему за спину. Он осекся, внезапно испугавшись, и повод для испуга был именно в том, что тот, кого громил он, стоял молча, слушал. Сцена вся и впрямь могла сойти за представление. Так многие и поняли. Часто ведь актеры появляются из публики. И тем более высыпали из деревянного сарайчика настоящие актеры. Да, бабочкой, не чем иным, выпорхнула из-за досок балерина. Эксцентрик в обезьяньем жилете лез на трибуну, цепляясь одной рукой за перекладины, а в другой держа странного вида музыкальный инструмент — длиннющую трубу с тремя раструбами; и так как всего можно было ожидать от человека в обезьяньем жилете и рыжем парике, то легко получалось впечатление, что лезет он каким-то волшебным способом по этой самой трубе. Некто во фраке метался под трибуной, ловя разбегающихся актеров, а те стремились увидеть необычайного оратора. Да ведь и актеры предположили тоже, что кто-то из эстрадников, приглашенный участвовать в концерте, придумал трюк, пришел с подушкой, вступил в спор с докладчиком, а сейчас начнет обычный свой номер. Но нет. Но в страхе съехал по дурацкой трубе эксцентрик! И начиналась тревога. Но не слова, пышно брошенные незнакомцем в толпу, посеяли волнение. Напротив, речь человечка восприняласъ как умышленная, именно как эстрадный трюк; а вот наступившее молчание зашевелило волосы под многими шапками.

— Чего ты на меня так смотришь? — спросил человечек, роняя подушку.

Голос великана (никто не знал, что брат говорит с братом), короткий выкрик великана слышала вся площадь, окна, подъезды, на кроватях приподнялись старики.

— Против кого ты воюешь, негодяй? — спросил великан.

Его лицо набрякло. Казалось, потечет из лица этого, как из бурдюка, отовсюду — из ноздрей, губ, ушей,— выступит из глаз какая-то темная жидкость, и все в ужасе закроют глаза... Не он сказал это. Это сказали доски вокруг него, бетон, скрепы, линии, формулы, обретшие плоть. Это их гнев распирал его.

Но брат Иван не попятился (даже все ожидали: пятясь и пятясь, сядет он на свою подушку) — напротив: вдруг он окреп, выпрямился, подошел к барьеру, устроил ладонь козырьком над глазами и позвал:

— Где ты? Я жду тебя! Офелия!

Налетел ветер. Порывы, впрочем, повторялись все время, качали фонари. К соединениям и распаду фигур тени (квадратов, пифагоровых штанов, гиппократовых луночек) уже привыкли присутствовавшие,— постоянно срывался с якорей и шел на толпу многоярусный парусник постройки,— так что новый порыв, повернувший многих за плечи, пригнувший многие головы, был бы встречен обыкновенным недовольством и был бы немедля забыт, если бы не... И говорилось потом: оно пролетело над головами, оно вылетело сзади.

Плыл на толпу гигантский парусник, скрипя деревом, воя ветром, и черное летучее тело — как птица о снасти — ударилось о высокую балку, метнулось, разбив фонарь...

— Страшно тебе, брат? — спросил Иван.— Я вот что сделаю. Я пошлю ее на леса. Она разрушит твою постройку. Сами собой развинтятся винты, отпадут гайки, бетон развалится, как прокаженное тело. Ну? Она научит каждую балку, как не слушать тебя. Ну? Все рухнет. Она превратит каждую цифру твою в бесполезный цветок. Вот, брат Андрей, что я могу сделать.

— Иван, ты тяжело болен. Ты бредишь, Иван,— вдруг мягко и сердечно заговорил тот, от которого ждали грозы.— О ком ты говоришь? Кто это «она»? Я ничего не вижу! Кто превратит мои цифры в цветы? Просто ветром толкнуло фонарь о балку, просто разбился фонарь. Иван, Иван...

И брат шагнул к Ивану, протягивая руки. Но тот отстранил его.

— Смотри! — воскликнул он, поднимая руку.— Нет, ты не туда смотришь... Вот-вот... левее... Видишь? Что это сидит там, на балочке? Видишь? Выпей воды. Налейте товарищу Бабичеву воды... Что это присело там на жердочку? Видишь?!! Веришь?!! Боишься?!!

— Это тень! — сказал Андрей.— Брат, это просто тень. Идем отсюда. Я подвезу тебя. Пусть начинается концерт. Актеры томятся. Публика ждет. Едем, Ваня, едем.

— Ах, тень? Это не тень, Андрюша. Это машина, над которой ты смеялся... Это я сижу на жердочке, Андрюша, я, старый мир, век мой сидит там. Мозг моего века, Андрюша, умевший сочинять и песни и формулы. Мозг, полный снами, которые ты хочешь уничтожить.

Иван поднял руку и крикнул:

— Иди, Офелия! Я посылаю тебя!

И то, присевшее на балку, блеснув при повороте, повернулось,

застучало, топчась, как стучит птица, и стало исчезать в темном провале между скрещений.

Была паника, давка, люди бежали, вопя. А оно лязгало, пробираясь по доскам. Вдруг выглянуло оно снова, испустив апельсинового цвета луч, посвистало — неуловимое по форме — и невесомой тенью, по-паучьи, сигануло по отвесу выше, в хаос досок, снова присело на каком-то ребре, оглянулось...

— Действуй, Офелия! Действуй! — кричал Иван, носясь по трибуне.— Ты слышала, что он говорил об очаге? Я приказываю тебе разрушить постройку...

Бежали люди, и бегство их сопровождалось бегством туч, бурной фугой неба.

«Четвертак» рухнул...

Рассказчик умолк...

...Барабан плашмя лежал среди развалин, и на барабан вскарабкался я, Иван Бабичев. Офелия спешила ко мне, волоча раздавленного, умирающего Андрея.

— Пусти меня на подушку, брат,— шептал он.— Я хочу умереть на подушке. Я сдаюсь, Иван...

Я положил на колени подушку, он приник к ней головой.

— Мы победили, Офелия,— сказал я.

VII

Утром в воскресенье Иван Бабичев посетил Кавалерова.

— Сегодня я хочу вам показать Валю,— торжественно заявил он.

Они отправились. Прогулку можно было назвать очаровательной. Она совершалась по пустому праздничному городу. Они пошли в обход на Театральную площадь. Движения почти не было. Голубел подъем по Тверской. Воскресенье утром — один из лучших видов московского лета. Освещение, не разрываемое движением, оставалось целым, как будто солнце только что взошло. Таким образом, они шли по геометрическим планам света и тени, вернее — сквозь стереоскопические тела, потому что свет и тень пересекались не только по плоскости, но и в воздухе. Не доходя до Моссовета, они очутились в полной тени. Но в пролет между двумя корпусами выпал большой массив света. Он был густ, почти плотен, здесь уже нельзя было сомневаться в том, что свет материален: пыль, носившаяся в нем, могла сойти за колебание эфира.

И вот переулок, соединяющий Тверскую с Никитской. Они постояли, любуясь цветущей изгородью.

Они вошли в ворота и поднялись по деревянной лестнице на застекленную галерею, запущенную, но веселую от обилия стекол и вида на небо сквозь решетчатость этих стекол.

Небо разбивалось на пластинки разной синевы и приближенности к зрителю. Четверть всех стекол была выбита. В нижний ряд окошечек пролезали зеленые хвостики какого-то растения, ползущего сна-

ружи по борту галереи. Здесь все было рассчитано на веселое детство. В таких галереях водятся кролики.

Иван стремился к двери. Три двери было в галерее. Он шел к последней.

На ходу Кавалеров хотел оторвать один из зеленых хвостиков. Едва он дернул, как вся невидимая за бортом система потянулась за хвостиком, и где-то простонала какая-то проволока, впутавшаяся в жизнь этого плюща или черт его знает чего. (Как будто не в Москве, а в Италии...) Делая усилие, Кавалеров припал к окну виском и увидел двор, огражденный каменной стеной. Галерея находилась на высоте, средней между вторым и третьим этажом. С такой высоты за стеной ему открылся (Италия продолжалась) вид на страшно зеленую площадку.

Еще входя на крыльцо, он слышал голоса и смех. Они неслись с той площадки. Он ничего не успел разобрать, его отвлек Иван. Он стучал в дверь. Один, два, еще раз...

— Никого нет,— промычал он.— Она уже там...

Внимание Кавалерова осталось у выбитого стекла над лужайкой. Почему? Ведь пока еще ничего удивительного не прошло перед его глазами. Он захватил, повернувшись на стук Ивана, только одну стопу какого-то пестрого движения, один удар гимнастического ритма. Просто: приятной, сладкой и холодной для зрения была зелень лужайки, неожиданная после обыкновенного двора. По всей вероятности, уже позже он уверил себя, что очарование лужайки сразу так сильно захватило его.

— Она уже ушла! — повторил Бабичев.— Позвольте-ка...

И он посмотрел в одно из окошечек. Кавалеров не замедлил сделать то же.

То, что произвело на него впечатление лужайки, оказалось маленьким, поросшим травой двориком. Главная сила зелени исходила от высоких густокронных деревьев, стоявших по бокам его. Вся зелень эта цвела под громадной глухой стеной дома. Кавалеров был наблюдателем сверху. В его восприятии дворику было тесно. Вся окрестность, потянувшаяся за высокой точкой наблюдения, взгромоздилась над двориком. Он лежал, как половик в комнате, полной мебели. Чужие крыши открывали Кавалерову свои тайны. Он увидел флюгера в натуральную величину, слуховые окошечки, о которых внизу никто и не подозревает, и навсегда невозвратимый детский мяч, некогда слишком высоко взлетевший и закатившийся под желоб. Строения, обгвожденные антеннами, уходили по ступеням от дворика. Головка церкви, свежевыкрашенная суриком, попала в пустой промежуток неба и, казалось, летела до тех пор, пока Кавалеров не поймал ее взглядом. Он видел коромысло трамвайной мачты с тридевятой улицы, и какой-то другой наблюдатель, высунувшийся из далекого окна и что-то нюхавший или евший, покорившись перспективе, почти опирался на то коромысло.

И главным был дворик.

Они спустились вниз. В каменной стене, отделявшей двор от дворика, скучный, пустынный двор от таинственной лужайки, оказа-

лась брешь. Не хватало нескольких камней, как хлебов, вынутых из печи. В эту амбразуру они увидели все. Солнце жгло Кавалерову макушку. Они увидели упражнения в прыжках. Между двух столбиков была протянута веревка. Юноша, взлетев, пронес свое тело над веревкой боком, почти скользя, вытянувшись параллельно препятствию,— точно он не перепрыгивал, а перекатывался через препятствие, как через вал. И, перекатываясь, он подкинул ноги и задвигал ими подобно пловцу, отталкивающему воду. В следующую долю секунды мелькнуло его опрокинутое искаженное лицо, летящее вниз, и тут же Кавалеров увидел его стоящим на земле, причем, столкнувшись с землей, он издал звук, похожий на «афф»,— не то усеченный выдох, не то удар пятки по траве.

Иван ущипнул Кавалерова за локоть.

— Вот она... смотрите... (Шепотом.)

Все закричали и захлопали. Прыгун, почти голый, отходил в сторону, слегка припадая на одну ногу, должно быть, из спортсменского кокетства.

Это был Володя Макаров.

Кавалеров был растерян. Его охватило чувство стыда и страха. Целую сверкающую машинку зубов обнаруживал Володя, улыбаясь.

Наверху, на галерее, снова стучали в дверь. Кавалеров обернулся. Очень глупо было попасться здесь, у стены, на подглядывании. По галерее идет кто-то. Окошки расчленяют идущего. Части тела движутся самостоятельно. Происходит оптический обман. Голова опережает туловище. Кавалеров узнает голову. По галерее проплывает Андрей Бабичев.

— Андрей Петрович! — кричит на лужайке Валя.— Андрей Петрович! Сюда! Сюда!

Страшный гость исчез. Он покидает галерею, ищет пути на лужайку. Разные преграды скрывают его от глаз Кавалерова. Надо бежать.

— Сюда! Сюда! — звенит Валин голос.

Кавалеров видит: Валя стоит на лужайке, широко и твердо расставив ноги. На ней черные, высоко подобранные трусы, ноги ее сильно заголены, все строение ног на виду. Она в белых спортивных туфлях, надетых на босу ногу; и то, что туфли на плоской подошве, делает ее стойку еще тверже и плотней,— не женской, а мужской или детской. Ноги у нее испачканы, загорелы, блестящи. Это ноги девочки, на которые так часто влияют воздух, солнце, падения на кочки, на траву, удары, что они грубеют, покрываются восковыми шрамами от преждевременно сорванных корок на ссадинах, и колени их делаются шершавыми, как апельсины. Возраст и подсознательная уверенность в физическом своем богатстве дают обладательнице право так беззаботно содержать свои ноги, не жалеть их и не холить. Но выше, под черными трусами, чистота и нежность тела показывает, как прелестна будет обладательница, созревая и превращаясь в женщину, когда сама она обратит на себя внимание и захочет себя украшать,— когда заживут ссадины, отпадут все корки, загар сровняется и превратится в цвет.

Он отпрянул и побежал вдоль глухой стены в обратную сторону от амбразуры, пачкая плечо о камень.

— Куда вы! — звал его Иван.— Куда вы! Куда вы удираете, подождите!

«Он громко кричит! Они услышат! — ужасался Кавалеров.— Они меня увидят!»

Действительно, за стеной стало резко тихо. Там прислушивались. Иван догнал Кавалерова.

— Слушайте, милый мой... Видели? Это мой брат! Видели? Володя, Валя... Все! Весь лагерь... Подождите, я сейчас влезу на стену и обругаю их... вы испачкались, Кавалеров, как мельник!

Кавалеров тихо сказал:

— Я отлично знаю вашего брата. Это он выгнал меня. Он — то важное лицо, о котором я говорил вам... Наша судьба схожа. Вы сказали, что я должен убить вашего брата... Что же мне делать?..

На каменной стене сидела Валя.

— Папа! — вскрикнула она, ахнув.

Иван обхватил ее ноги, свисающие со стены.

— Валя, выколи мне глаза. Я хочу быть слепым,— говорил он, задыхаясь,— я ничего не хочу видеть: ни лужаек, ни ветвей, ни цветков, ни рыцарей, ни трусов,— мне надо ослепнуть, Валя. Я ошибся, Валя... Я думал, что все чувства погибли — любовь, и преданность, и нежность... Но все осталось, Валя... Только не для нас, а нам осталась только зависть и зависть... Выколи мне глаза, Валя, я хочу ослепнуть...

Он скользнул по потным ногам девушки руками, лицом, грудью и тяжко шлепнулся к подножию стены.

— Выпьем, Кавалеров,— сказал Иван.— Будем пить, Кавалеров, за молодость, которая прошла, за заговор чувств, который провалился, за машину, которой нет и не будет...

— Сукин вы сын, Иван Петрович! (Кавалеров схватил Ивана за ворот.) Не прошла молодость! Нет! Слышите ли вы? Неправда! Я докажу вам... Завтра же — слышите ли? — завтра на футболе я убью вашего брата...

VIII

Николай Кавалеров занимал место на трибунах. На высоте, направо от него, в деревянной ложе, среди полотнищ, громадного шрифта афиш, лесенок и скрещенных досок сидела Валя. Молодежь наполняла ложу.

Дул ветер, день был очень яркий, сквозной, просвистанный ветром со всех сторон. Огромное поле зеленело прибитой травой, блестящей, как лак.

Кавалеров, не спуская глаз, смотрел на ложу, напрягал зрение и, уставая, работал воображением, стараясь получить то, чего не мог издали увидеть или услышать. Не только он — многие из сидевших

близко к ложе, несмотря на то что были возбуждены предвкушением исключительного зрелища, обращали внимание на очаровательную девушку в розовом платье, почти девочку, небрежную по-детски к своим позам и движениям и вместе с тем имевшую такой вид, что каждому хотелось быть ею замеченным, точно была она знаменитость или дочь знаменитого человека.

Двадцать тысяч зрителей переполнили стадион. Предстоял небывалый праздник — долгожданный матч между московской и германской командами.

На трибунах люди спорили, кричали, скандалили из-за пустяков. Огромное количество народа распирало стадион. Где-то с утиным криком сломались перила. Кавалеров, запутавшийся в чужих коленях в поисках своего места, видел, как на дорожке, у подножия трибун, лежал, тяжело дыша и разбросав руки, почтенный старичок в кремовом жилете. Мимо него перли, мало о нем думая. Тревога усиливалась ветром. На вышках, как молнии, били флаги.

Все существо Кавалерова стремилось к ложе. Валя помещалась над ним, наискосок, метрах в двадцати. Зрение издевалось над ним. Казалось ему: они встречаются глазами. Тогда он приподнимался. Казалось ему: медальон вспыхивает на ней. Ветер делал с ней что хотел. То и дело она хваталась за шляпу. Это был капор из красной блестящей соломы. Ветер сдувал рукав ее до самого плеча, открывая руку, стройную, как флейта. Афишка улетела от нее и упала в гущу, помахав крыльями.

Еще за месяц до матча предполагали, что с германской командой приедет знаменитый Гецкэ, играющий центрального форварда, то есть главного игрока из пяти нападающих. Действительно, Гецкэ приехал. Лишь только германская команда вышла под звуки марша в поле и еще игроки не успели распределиться по полю, как публика (как и всегда это бывает) узнала знаменитость, хотя знаменитость шла в толпе остальных гостей.

— Гецкэ! Гецкэ! — закричали зрители, испытывая особенную приятность от вида знаменитого игрока и оттого, что они хлопают ему.

Гецкэ, оказавшийся небольшим черномазым и сутулым человечком, шагнул немного в сторону, остановился, поднял руки над головой и потряс соединенными ладонями. Невиданный иностранный способ приветствия еще более воодушевил зрителей.

Группа немцев — одиннадцать человек — сияла на зелени, в чистоте воздуха, яркой маслянистой окраской одежды. На них были оранжевые, почти золотые фуфайки с зелено-лиловыми нашивками на правой стороне груди и черные трусы. Трусы бубнили по ветру.

Володя Макаров, поеживаясь от свежести только что надетой футбольной рубашки, высматривал из помещения футболистов в окно. Немцы достигли середины поля.

— Пошли, что ли? — спросил он.— Пошли?

— Пошли! — скомандовал капитан команды.

Выбежала советская команда в красных рубашках и белых трусах.

Зрители валились на перила, лупили ногами в доски.

Рев заглушил музыку.

Немцам выпало играть первую половину игры по ветру.

Наши не только играли и старались делать все, что полагается делать, чтобы играть как можно лучше, но также не переставали наблюдать за игрой немцев как зрители и оценивать ее как профессионалы. Игра продолжается девяносто минут, с коротким перерывом на сорок пятой минуте. После перерыва команды меняются половинами поля. Так что при ветреной погоде выгоднее со свежими силами играть против ветра.

Так как немцы играли по ветру, а ветер был очень сильный, то всю игру сдуло к нашим воротам. Мяч почти не выходил из советской половины поля. Наши беки давали сильные «свечки», то есть высокие параболические удары, но мяч, скользнув по стене ветра, завертывался, блестя желтизной, и шастал обратно. Немцы яростно атаковали. Знаменитый Гецкэ оказался и вправду грозным игроком. Все внимание сосредоточилось на нем.

Когда мяч попадал к нему, Валя, сидевшая на высоте, взвизгивала, как будто сейчас же, немедленно, должна была увидеть что-то ужасное и преступное. Гецкэ прорывался к воротам, оставляя позади себя наших беков, присевших от его быстроты и натиска на корточки, и ударял в ворота. Тогда Валя, качнувшись к соседу, обеими руками обхватывала руку соседа, прижималась щекой к ней и, думая только об одном, чтобы спрятать лицо и не видеть ужасного, продолжала смотреть скошенными глазами на страшные движения черного от беганья по жаре Гецкэ.

Но Володя Макаров, вратарь советской команды, ловил мяч. Гецкэ, еще не окончив движения, сделанного для удара, изящно переменял это движение на другое, нужное для того, чтобы повернуться и бежать, поворачивался и бежал, нагнув спину, плотно обтянутую пропотевшей до черноты фуфайкой. Тотчас же Валя принимала естественную позу и начинала смеяться: во-первых, от удовольствия, что нашим не вбивали мяча, и во-вторых — оттого, что вспоминала о том, как давеча визжала и хваталась за руку соседа.

— Макаров! Макаров! Браво, Макаров! — кричала она со всеми.

Мяч каждую минуту летел в ворота. Он ударялся об их штанги, они стонали, с них сыпалась известь... Володя схватывал мяч в таком полете, когда это казалось математически невозможным. Вся публика, вся живая покатость трибун становилась как будто отвеснее,— каждый зритель приподнимался, выталкиваемый страшным, нетерпеливым желанием увидеть наконец самое интересное — вбитие гола. Судья вбрасывал на ходу свисток в губы, готовый засвистеть вбитие... Володя не схватывал мяча — он срывал его с линии полета и, как нарушивший физику, подвергался ошеломительному действию возмущенных сил. Он взлетал вместе с мячом, завертевшись, точь-в-точь навинчиваясь на него: он обхватывал мяч всем телом — коленями, животом и подбородком, набрасывая свой вес на скорость мяча, как набрасывают тряпку, чтобы потушить вспышку. Перехваченная ско-

рость мяча выбрасывала Володю на два метра вбок, он падал в виде цветной бумажной бомбы. Неприятельские форварды бежали на него, но в конце концов мяч оказывался высоко над боем.

Володя оставался в воротах. Он не мог стоять. Он ходил по линии ворот от одного столба к другому, подавляя запал энергии, вызванной борьбой с мячом. Все гудело в нем. Он поводил руками, отряхивался, подкидывал носком кочки земли. Нарядный перед началом игры, теперь он состоял из тряпок, черного тела и кожи огромных беспалых перчаток. Передышки продолжались недолго. Снова нападение немцев катилось к московским воротам. Володя страстно желал победы своим и волновался за каждого своего игрока. Он думал, что только он знает, как надо играть против Гецкэ, какие у него слабые стороны, как защищаться от его атаки. Его интересовало также, какое мнение сложилось у знаменитого немца о советской игре. Когда он сам рукоплескал и кричал «ура» каждому из своих беков, ему тогда же хотелось крикнуть Гецкэ:

«Вот как мы играем! Хорошо ли мы играем, по-вашему?»

Как футболист Володя представлял собой полную противоположность Гецкэ. Володя был профессионал-спортсмен,— тот был профессионал-игрок. Володе был важен общий ход игры, общая победа, исход,— Гецкэ стремился лишь к тому, чтобы показать свое искусство. Он был старый, опытный игрок, не собиравшийся поддерживать честь команды; он дорожил только собственным успехом; он не состоял постоянным членом какой-нибудь спортивной организации, потому что скомпрометировал себя переходами из клуба в клуб за деньги. Ему запретили участвовать в матчах на розыгрыш первенства. Его приглашали только на товарищескую игру, на показательные матчи и на поездки в другие страны. Искусство соединялось в нем с везением. Его участие делало команду опасной. Он презирал игроков — и тех, с которыми играл, и противников. Он знал, что забьет любой команде мячи. Остальное ему было не важно. Он был халтурщик.

Уже в середине игры зрителям стало ясно, что советская команда не уступает немцам. Они не вели правильной атаки — Гецкэ мешал этому. Он портил, разрушал их комбинации. Он играл только для себя, на свой риск, без помощи и не помогая. Получив мяч, он стягивал все движение игры к себе, сжимал его в клубок, распускал и скашивал, переводил из одного края в другой — по собственным, неясным для партнеров планам, надеясь только на себя, на свой бег и уменье обводить противника.

Отсюда зрители заключили, что вторая половина игры, когда Гецкэ выдохнется и когда наши получат поветренную сторону, окончится разгромом немцев. Лишь бы сейчас наши продержались, не пропустив в свои ворота ни одного мяча.

Но и на этот раз виртуоз Гецкэ добился своего. За десять минут до перерыва он вырвался к правому краю, пронес мяч туловищем, потом резко остановился, осекши погоню, которая, не ожидая остановки, выбежала вперед и вправо, повернул с мячом к центру и по чистому пространству, обведя только одного советского бека, погнал

мяч прямо на ворота, часто взглядывая то под ноги, то на ворота, как бы соразмеряя и высчитывая скорость, направление и срок удара.

Сплошное «о-о-о» воем катилось с трибун.

Володя, раскорячась и расставив руки так, как если бы держал он невидимую бочку, приготовился хватать мяч. Гецкэ, не ударяя, подбежал к воротам. Володя упал ему под ноги. Мяч забился между ними двумя, как в бочке; потом свистки и топот зрителей покрыли финал сцены. От удара кого-то из двух мяч легко и неверно взлетел над головой Гецкэ, и тот вбил его в сетку толчком головы, похожим на поклон.

Таким образом советская команда получила гол.

Стадион грохотал. Бинокли повернулись в сторону советских ворот. Гецкэ, глядя на свои мелькающие башмаки, кокетливо бежал к центру.

Товарищи поднимали Володю.

IX

Валя повернулась вместе с остальными. Кавалеров увидел ее лицо, обращенное к нему. Он не сомневался, что она видит его. Он засуетился, странное предположение разозлило его. Ему показалось, что окружающие посмеиваются — заметили его беспокойство.

Он оглянулся на сидящих рядом. И было очень неожиданным то, что в одном ряду с ним, в близком соседстве, сидел Андрей Бабичев. Вновь Кавалерова возмутили две белые руки, регулирующие шарнир бинокля, крупное туловище в сером пиджаке, подстриженные усы...

Черным снарядом повис над Кавалеровым бинокль. Ремни бинокля поводьями свисали от щек Бабичева.

Уже снова наступали немцы.

Вдруг мяч, выброшенный чьим-то мощным и нерассчитанным ударом, взлетел высоко и вбок за поле, из игры, в сторону Кавалерова, просвистел над пригнувшимися головами нижних рядов, остановился на мгновенье и, завертевшись всеми своими пластинками, рухнул на доски, к ногам Кавалерова. Игра остановилась. Игроки застыли, застигнутые неожиданностью. Картина поля, зеленая и пестрая, все время двигавшаяся, теперь разом окаменела. Так разом останавливается фильм в момент разрыва пленки, когда в зал уже дают свет, а механик еще не успел выключить света, и публика видит странно побелевший кадр и контуры героя, абсолютно неподвижного в той позе, которая говорит о самом быстром движении. Злоба Кавалерова усилилась. Все смеялись вокруг. Попадания мяча в ряды всегда вызывают смех: зрители в ту минуту как бы сознают истинную шуточность того, что люди полтора часа бегают за мячом, заставляя их — зрителей, посторонних людей — с такой серьезностью и страстностью воспринимать их совершенно несерьезное времяпрепровождение.

Все тысячи в эту минуту, насколько могли, одарили Кавалерова непрошеным вниманием, и внимание это было смешливым.

Возможно, что и Валя хохотала над ним, человеком, попавшим под мяч! Возможно, что она веселится вдвойне, потешаясь над врагом в смешном положении. Он ухмыльнулся, стороня ногу от мяча, который, потеряв опору, с кошачьей привязанностью вновь ткнулся в его каблук.

— Ну! — недовольно и удивленно крикнул Бабичев.

Кавалеров был пассивен. Две белые большие ладони протянулись за мячом. Кто-то поднял мяч и передал Бабичеву. Он встал во весь рост и, выпятив живот, закинул руки с мячом за голову, размахиваясь, чтобы подальше бросить. Он не мог быть серьезным в таком деле и, понимая, что нужно быть серьезным, преувеличил наружное выражение серьезности, насупившись и надув свежие, красные губы.

Бабичев, сильно качнувшись вперед, швырнул мяч, магически расковав поле.

«Он не узнает меня»,— копил злобу Кавалеров.

Первая половина игры кончилась со счетом «один на ноль» в пользу германской команды... Игроки, с темными потеками на лицах, облипшие зелеными нитками травы, шли к проходу, сильно и широко, как в воде, двигая голыми коленями. Немцы, не по-русски красные, с румянцем, начинающимся от висков, пестро перетасовались с москвичами. Игроки шли, видя всех сразу, всю толпу под дощатыми стенами прохода, и никого не видя в отдельности. Они мазали по толпе улыбками и неживыми, слишком прозрачными на потемневших лицах глазами. Те, кому только что представлялись они маленькими, бегающими и падающими разноцветными фигурками, теперь встретились с ними вплотную. Еще не остывший шум игры двигался вместе с ними. Гецкэ, похожий на цыгана, шел, посасывая только что полученную ранку выше локтя.

Зевакам новостью были подробности роста или сложения того или иного игрока, жестокость ссадин, тяжелое дыхание, полное смятение одежды. Издали все производило более легкое, праздничное впечатление.

Кавалеров выдавился между чужих боков под какую-то перекладину и облегченно ступил на траву. Здесь, в тени, он бежал с другими по дорожке, огибая с задней стороны круг трибун. Буфет, расставленный на лужайке под деревьями, заполнился вмиг. Помятый старичок в кремовом жилете, все еще недовольно и опасливо поглядывая на публику, ел мороженое. К помещению футболистов лепилась толпа.

— Ура! Макаров! Ура! — неслись оттуда восторженные крики. Болельщики взбирались на заборы, отбиваясь от колючей проволоки, как от пчел,— и выше: на деревья, в темную зелень, раскачиваясь от ветра и ловкости, как лесные человечки.

Косо над толпой взлетало блестящее, плещущее голизной тело. Качали Володю Макарова.

Кавалерову не хватило духу проникнуть за триумфальное кольцо. Он заглядывал в щели, топчась за толпой.

Володя стоял уже на земле. Чулок на одной ноге его спустился, обернувшись зеленым бубликом вокруг грушевидной, легко волоса-

той икры. Истерзанная рубашка еле держалась на туловище его. Он целомудренно скрестил на груди руки.

И вот стоит Валя. И Андрей Бабичев с нею.

Всем троим рукоплещут зеваки.

Бабичев любовно смотрит на Володю.

Вмешался ветер. Повалился полосатый колышек, вся листва качнулась вправо. Кольцо зевак распалось, вся картина расстроилась, люди спасались от пыли. Больше всех досталось Вале. Розовое платье, легкое, как шелуха, взлетело над ногами, показав Кавалерову свою прозрачность. Ветер придул платье к лицу ее, и контур лица увидел Кавалеров в сиянии и просвечивании ткани, развернувшейся веером. Сквозь пыль увидел Кавалеров это и то, как, ловя свое платье, она закружилась, запуталась, едва не падая вбок. Она старалась прихлопнуть подол на коленях, прижать, но не справилась, и тогда, для прекращения неприличия, прибегла к полумерам: руками обхватила слишком открывшиеся ноги, пряча колени, складываясь в три погибели, как купальщица, застигнутая врасплох.

Где-то засвистел судья. Покатился марш. Так прервалось веселое замешательство. Начинали вторую половину игры. Володя умчался.

— Немцам два гола минимум! — провизжал мальчишка, несясь мимо Кавалерова.

Валя продолжала бороться с ветром. В погоне за подолом десять раз она переменила позицию и под конец очутилась вблизи Кавалерова, на расстоянии шепота.

Она стояла, широко расставив ноги. Шляпу, сброшенную ветром и пойманную на лету, она держала в руке. Еще не оправившись от прыжков, она смотрела на Кавалерова, не видя его, наклонив немного набок голову с короткими, резко и косо у щек подрезанными каштановыми волосами.

Солнечный свет скользнул по плечу ее, она качнулась, и ключицы вспыхнули, как кинжалы. Десятую долю минуты длилось разглядывание, и сразу же Кавалеров понял, холодея, какая неизлечимая тоска останется в нем навсегда оттого, что он увидел ее, существо другого мира, чуждое и необыкновенное, и ощутил, как безысходно-мило выглядит она, как подавляюще недоступна ее чистота,— и потому, что она девочка, и потому, что она любит Володю,— и как неразрешима ее соблазнительность.

Бабичев ждал ее, протянув руку.

— Валя,— сказал Кавалеров.— Я ждал вас всю жизнь. Пожалейте меня.

Но она не слышала. Она бежала, подкошенная ветром.

X

Ночью Кавалеров вернулся домой пьяный.

Он прошел по коридору к раковине — напиться. Он раскрутил кран до отказа, весь замочился. Кран оставил, струя трубила. Войдя в Анечкину комнату, он остановился. Свет не был потушен. Обложен-

ная желтой ватой света, вдова сидела на громадной своей кровати, свесив голые ноги за борт. Она была готова ко сну.

Кавалеров шагнул. Она молчала как зачарованная. Кавалерову померещилось, что она улыбается, манит.

Он пошел на нее.

Она не сопротивлялась и даже открыла объятия.

— Ах ты поползенок,— шептала она,— ишь ты, поползенок.

Позже он просыпался. Терзала его жажда, пьяная, остервенелая мечта о воде. Он просыпался — тишина была. За секунду до пробуждения вспоминал он о том, как била струя в раковину,— пронзительное воспоминание подкидывало его,— но воды не было. Он снова валился. Пока спал он, вдова хозяйничала: она закрыла кран, раздела спящего и починила его подтяжки. Наступило утро. Сперва ничего Кавалеров не понял. Как пьяница-нищий в комедии, подобранный богачом и принесенный во дворец, он лежал, очумелый, среди незнакомой роскоши. Он увидел небывалое свое отражение в зеркале — подошвами вперед. Он великолепно лежал, загнув руку за голову. Солнце освещало его сбоку. Точно в куполе храма, парил он в широких дымящихся полосах света. А над ним свисали виноградные гроздья, плясали купидоны, из рогов изобилия выкатывались яблоки,— и он почти слышал исходящее от всего этого торжественное органное гудение. Он лежал на Анечкиной кровати.

— Ты мне напоминаешь его,— жарко прошептала Анечка, склонившись над ним.

Над кроватью висел застекленный портрет. Висел мужчина, чей-то молодой дедушка, торжественно одетый,— в одном из последних сюртуков эпохи. Чувствовалось: у него крепкий, многоствольный затылок. Лет пятидесяти семи мужчина.

Кавалеров вспомнил: отец переодевает рубашку...

— Ты мне очень напомнил мужа,— повторяет Анечка, обнимая Кавалерова. И голова Кавалерова уходит в подмышку ее, как в палатку. Шатры подмышек раскрыла вдова. Восторг и стыд бушевали в ней.

— Он тоже взял меня... так... хитростью... тихо, молчаливо, ничего не говорил... и потом! Ах ты поползенок мой...

Кавалеров ударил ее.

Она опешила. Кавалеров вскочил с кровати, взрывая пласты постели; простыня потянулась за ним. Она бросилась к дверям, руки ее вопили о помощи, она бежала, преследуемая скарбом, как помпеянка. Рухнула корзина, накренился стул.

Он несколько раз ударил ее по спине, в поясницу, опоясанную жиром, как шиной.

Стул стоял на одной ноге.

— Он тоже меня бил,— сказала она, улыбаясь сквозь слезы.

Кавалеров вернулся на кровать. Он повалился, чувствуя, что заболевает. Он лежал в забытьи весь день. Вечером вдова легла рядом. Она храпела. Кавалерову представилась гортань ее в виде арки, ведущей в мрак. Он прятался за сводами арки. Все дрожало, сотрясалось, тряслась почва. Кавалеров скользил и падал под напором воздуха,

летящего из бездны. Спящая ныла. Разом переставала она ныть, умолкала, громко чавкнув. Вся архитектура гортани перекашивалась. Храп ее становился пороховым, сельтерским.

Кавалеров метался и плакал. Она вставала и прикладывала ко лбу его мокрое полотенце. Он тянулся к влаге, весь приподымаясь, искал полотенце руками, комкал его, подкладывая под щеку, и целовал, шепча:

— Они украли ее. Как трудно мне жить на свете... Как трудно.

А вдова, не успев лечь, засыпала тотчас, приткнувшись к зеркальной арке. Сон обмазывал ее сладостью. Она спала с открытым ртом, булькая, как спят старушки.

Жили клопы, шуршали, как будто порол кто-то обои. Проявлялись неведомые дню клопиные тайники. Росло, разбухало дерево кровати.

Зарозовел подоконник.

Вокруг кровати клубился сумрак. Ночные тайны спускались из углов по стенам, обтекали спящих и уползали под кровать.

Кавалеров вдруг сел, широко раскрыв глаза.

Над кроватью стоял Иван.

XI

И немедленно Кавалеров стал собираться.

Анечка спала в сидячем положении под аркой, оцепив руками живот. Он осторожно, дабы не потревожить ее, совлек одеяло и, надев его, как плащ, предстал перед Иваном.

— Ну и отлично,— сказал тот.— Вы сверкаете, как ящерица. В таком виде вы и покажетесь народу. Идемте, идемте! Надо торопиться.

— Я очень болен,— вздохнул Кавалеров; он кротко улыбался, как бы извиняясь за то, что нет у него охоты отыскивать брюки, пиджак и башмаки.— Ничего, что я босой?

Иван уже был в коридоре. Кавалеров поспешил за ним.

«Я долго и беспричинно страдал,— подумал Кавалеров.— Сегодня наступил день искупления».

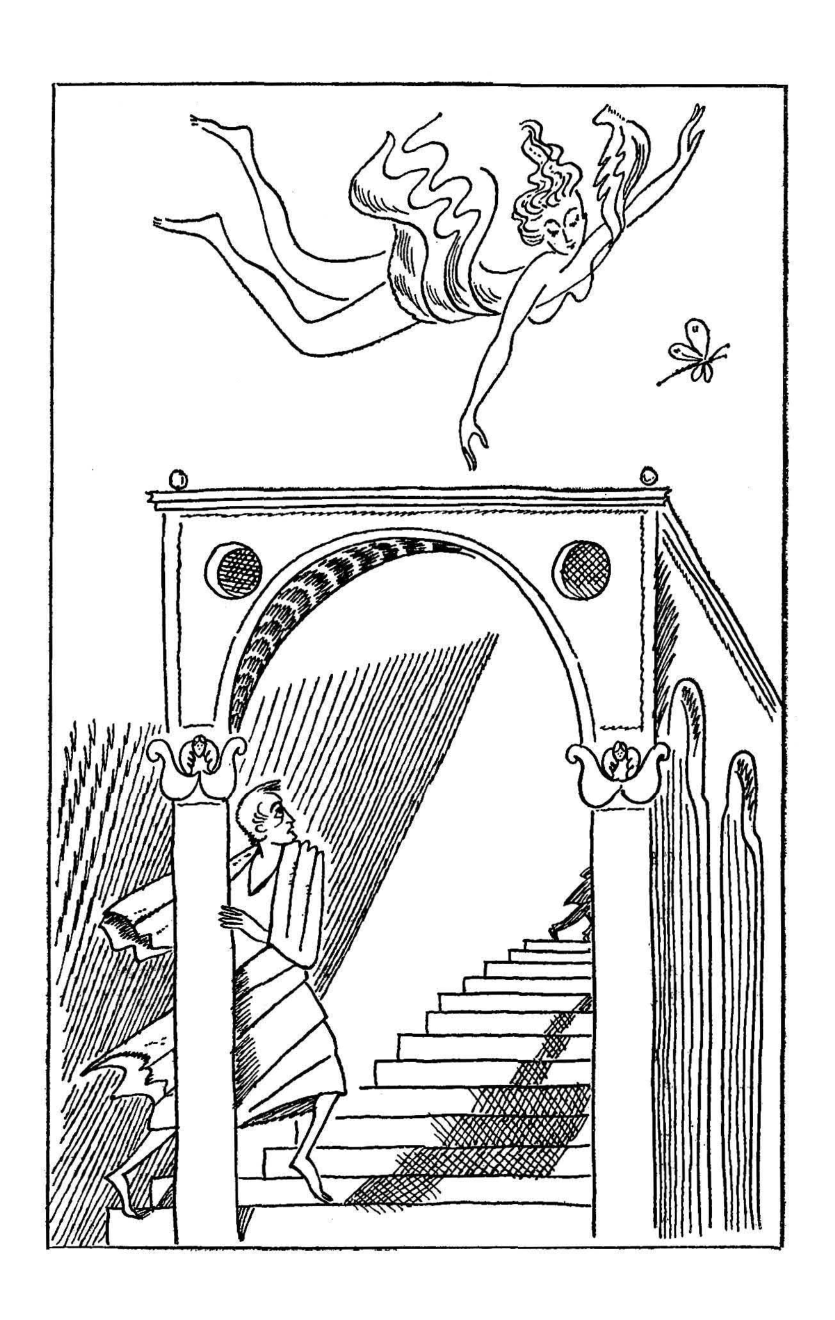
Поток людей захватил их. За ближайшим углом открылась сияющая дорога.

— Вот он! — сказал Иван, сжимая руку Кавалерова.— Вот «Четвертак»!

Кавалеров увидел: сады, шаровидные купола листвы, арка из легкого прозрачного камня, галереи, полет мяча над зеленью...

— Сюда! — скомандовал Иван.

Они побежали по стене, увитой плющом, затем пришлось прыгать. Голубое одеяло облегчило Кавалерову прыжок, он проплыл по воздуху над толпой и опустился к подножию широчайшей каменной лестницы. Тотчас же, испугавшись, он стал уползать под одеялом своим



как насекомое, сложившее крылья. Его не заметили. Он присел за цоколем.

На вершине лестницы, окруженный многими людьми, стоял Андрей Бабичев. Он стоял, обняв за плечо и привлекши к себе Володю.

— Сейчас ее принесут,— говорил Андрей, улыбаясь друзьям.

И тут Кавалеров увидел следующее: по асфальтовой дороге, ведущей к ступеням лестницы, шел оркестр, и над оркестром парила Валя. Звучание инструментов держало ее в воздухе. Ее нес звук. Она то поднималась, то опускалась над трубами, в зависимости от высоты и силы звука. Ленты ее взлетали выше головы, вздувалось платье, волосы стояли кверху.

Последний пассаж выбросил ее на вершину лестницы, и она упала на руки Володи. Все расступились. В кругу остались они двое.

Дальнейшего Кавалеров не увидел. Внезапный ужас охватил его. Странная тень вдруг выдвинулась перед ним. Он, леденея, медленно оборотился. На траве, на шаг позади него, сидела Офелия.

— А-а-а! — страшно закричал он. Он ринулся бежать. «Офелия», звякнув, схватила его за одеяло. Оно соскользнуло. В постыдном виде, спотыкаясь, падая, ударяясь челюстью о камень, он взбирался по лестнице. Те смотрели сверху. Нагнувшись, стояла прелестная Валя.

— Офелия, назад! — раздался голос Ивана.— Она не слушает меня... Офелия, стой!

— Держите ее!

— Она убьет его!

— О!

— Смотрите! Смотрите! Смотрите!

Кавалеров с середины лестницы оглянулся. Иван делал попытки вскарабкаться на стену. Плющ обрывался. Толпа отхлынула. Иван повис на стене на широко раскинутых руках. Страшная железная вещь медленно двигалась по траве по направлению к нему. Из того, что можно было назвать головой вещи, тихонько выдвигалась сверкающая игла. Иван выл. Руки не выдержали. Он сорвался, котелок его покатился среди одуванчиков. Он сидел, прижавшись спиной к стене, руками закрыв лицо. Машина двигалась, срывая на ходу одуванчики.

Кавалеров поднялся и полным отчаяния голосом закричал:

— Спасите его! Неужели вы допустите, чтоб машина убила человека?!

Ответа не последовало.

— Мое место с ним! — сказал Кавалеров.— Учитель! Я умру с вами!

Но было уже поздно. Заячий вопль Ивана заставил его свалиться. Падая, увидел он Ивана, приколотого к стене иглой.

Иван тихо наклонялся, поворачиваясь вокруг страшной оси.

Кавалеров закутал голову руками, чтобы ничего больше не видеть и не слышать. Но все же слышал он позванивание. Машина поднималась по лестнице.

— Я не хочу! — закричал он что было мочи.— Она убьет меня! Простите! Простите! Пощадите меня! Это не я опозорил машину! Я не виноват! Валя! Валя! Спаси меня!

XII

Кавалеров болел трое суток. Выздоровев, он бежал.

Он слез, глядя в одну точку, в угол, под кровать. Он одевался как автомат и вдруг ощутил новую кожаную петлю на подтяжках. Вдова удалила английскую булавку. Откуда взяла она петлю? Отпорола от старых подтяжек мужа? Кавалеров полностью понял мерзость своего положения. Он убежал без пиджака в коридор. По дороге отцепил и бросил красные подтяжки.

На пороге площадки он задержался. Голосов со двора не было слышно. Тогда шагнул он на площадку, и все мысли смешались. Возникли сладчайшие ощущения — томление, радость. Прелестно было утро. Был легкий ветерок (точно листали книгу), голубело небо. Над загаженным местом стоял Кавалеров. Кошка, испуганная его порывом, бросилась из сорного ящика; какая-то дрянь посыпалась за ней. Что могло быть поэтического в этом обложенном многими проклятиями закутке? А он стоял, задрав голову и вытянув руки.

В ту секунду он почувствовал, что вот наступил срок, что вот проведена грань между двумя существованиями — срок катастрофы! Порвать, порвать со всем, что было... сейчас, немедленно, в два сердечных толчка, не больше,— нужно переступить грань, и жизнь, отвратительная, безобразная, не его — чужая, насильственная жизнь — останется позади...

Он стоял, широко раскрыв глаза, и все поле зрения от бега и волнения и оттого, что был он еще слаб, пульсировало перед ним и розовело.

Он понял степень своего падения. Оно должно было произойти. Слишком легкой, самонадеянной жизнью жил он, слишком высокого был он о себе мнения,— он, ленивый, нечистый и похотливый...

Понял Кавалеров все, летя над закутком.

Он вернулся, подобрал подтяжки, оделся. Звякнула ложка — вдова потянулась за ним,— но, не оглянувшись, он покинул дом. Снова он ночевал на бульваре. И снова он вернулся. Но он решил твердо:

«Я поставлю вдову на место. Я не позволю ей даже заикнуться о том, что было. Мало ли что случается по пьяному делу. А жить на улице я не могу».

Вдова жгла над плитой лучину. Она посмотрела на него из-за виска и самодовольно улыбнулась. Он вошел в комнату. На угол шкафа надет был котелок Ивана.

Иван сидел на кровати, похожий на брата своего, только поменьше. Одеяло окружало его, как облако. На столе стояла винная бутылка. Иван хлебал из стакана красное вино. Он недавно, видимо, проснулся; лицо его еще не выровнялось после сна, и еще сонно почесывался он где-то под одеялом.

— Что это значит? — задал Кавалеров классический вопрос.

Иван ясно улыбнулся.

— Это значит, мой друг, что нужно нам выпить. Анечка, стакан!

Анечка вошла. Полезла в шкаф.

— Ты не ревнуй, Коля,— сказала она, обняв Кавалерова.— Он очень одинокий, такой же, как ты. Я вас обоих жалею.

— Что это значит? — тихо спросил Кавалеров.

— Ну, чего заладили? — рассердился Иван.— Ничего не значит.

Он слез с кровати, придерживая исподнее, и налил Кавалерову вина.

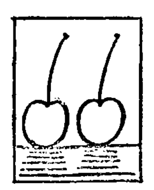
— Выпьем, Кавалеров... Мы много говорили о чувствах... И главное, мой друг, мы забыли... О равнодушии... Не правда ли? В самом деле... Я думаю, что равнодушие есть лучшее из состояний человеческого ума. Будем равнодушны, Кавалеров! Взгляните! Мы обрели покой, мой милый. Пейте. За равнодушие! Ура! За Анечку! И сегодня, кстати... слушайте: я... сообщу вам приятное... сегодня, Кавалеров, ваша очередь спать с Анечкой. Ура!

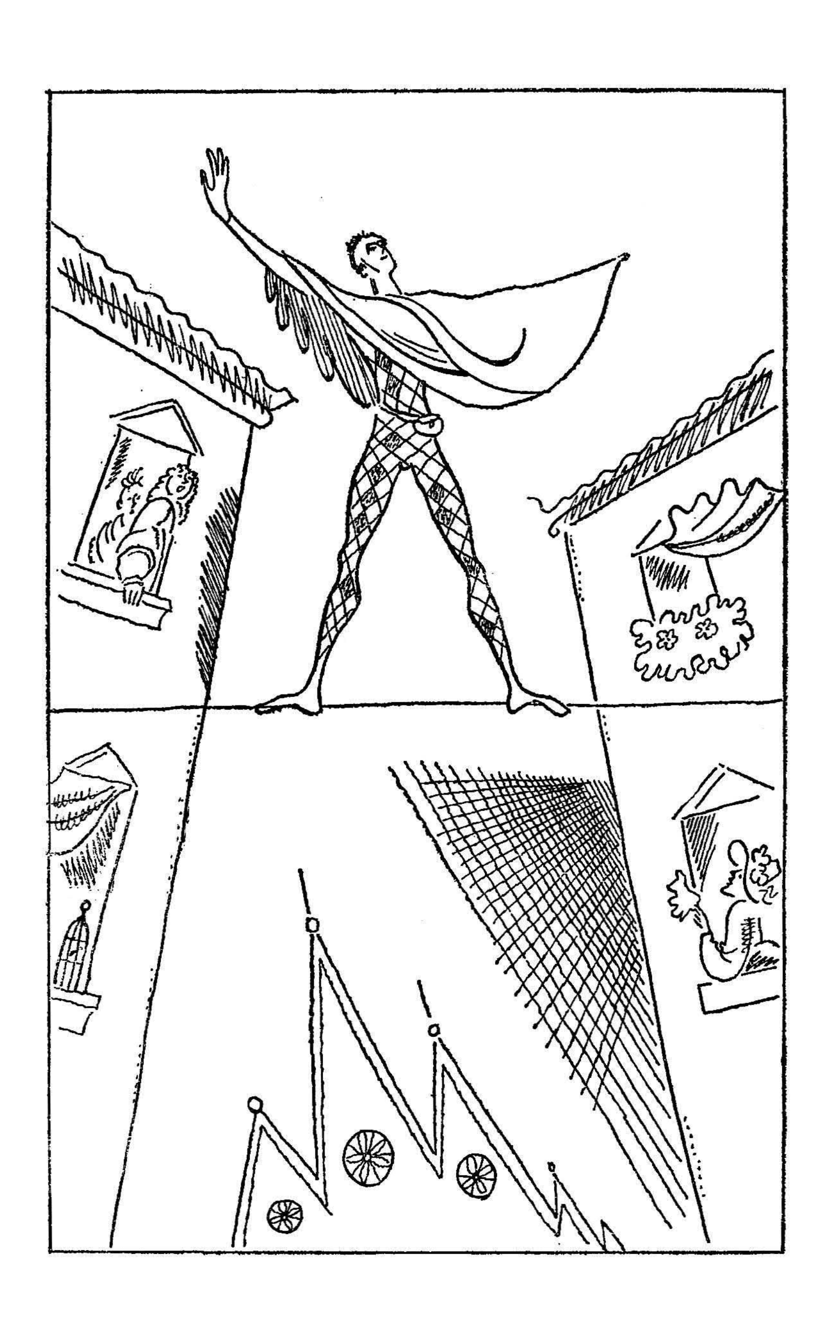
Февраль — июнь 1927



ТРИ ТОЛСТЯКА

Роман для детей





ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

КАНАТОХОДЕЦ ТИБУЛ



Глава I

БЕСПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ ДОКТОРА ГАСПАРА АРНЕРИ

Время волшебников прошло. По всей вероятности, их никогда и не было на самом деле. Все это выдумки и сказки для совсем маленьких детей. Просто некоторые фокусники умели так ловко обманывать всяких зевак, что этих фокусников принимали за колдунов и волшебников.

Был такой доктор. Звали его Гаспар Арнери. Наивный человек, ярмарочный гуляка, недоучившийся студент могли бы его тоже принять за волшебника. В самом деле, этот доктор делал такие удивительные вещи, что они действительно походили на чудеса. Конечно, ничего общего он не имел с волшебниками и шарлатанами, дурачившими слишком доверчивый народ.

Доктор Гаспар Арнери был ученый. Пожалуй, он изучил около ста наук. Во всяком случае, никого не было в стране мудрей и ученей Гаспара Арнери.

Об его учености знали все: и мельник, и солдат, и дамы, и министры. А школьники распевали про него целую песенку с таким припевом:

> Как лететь с земли до звезд,
> Как поймать лису за хвост,
> Как из камня сделать пар,—
> Знает доктор наш Гаспар.

Однажды летом, в июне, когда выдалась очень хорошая погода, доктор Гаспар Арнери решил отправиться в далекую прогулку, чтобы собрать некоторые породы трав и жуков.

Доктор Гаспар был человек немолодой и поэтому боялся дождя и ветра. Выходя из дому, он обматывал шею толстым шарфом, надевал очки против пыли, брал трость, чтобы не споткнуться, и вообще собирался на прогулку с большими предосторожностями.

На этот раз день был чудесный: солнце только то и делало, что сияло; трава была такой зеленой, что во рту даже появлялось ощущение сладости; летали одуванчики, свистели птицы; легкий ветер развевался, как бальное воздушное платье.

— Вот это хорошо,— сказал доктор,— только все-таки нужно взять плащ, потому что летняя погода обманчива. Может пойти дождь.

Доктор распорядился по хозяйству, подул на очки, захватил свой ящичек, вроде чемодана, из зеленой кожи и пошел.

Самые интересные места были за городом — там, где находился Дворец Трех Толстяков. Доктор чаще всего посещал эти места. Дворец Трех Толстяков стоял посреди огромного парка. Парк был окружен глубокими каналами. Над каналами висели черные железные мосты. Мосты охранялись дворцовой стражей — гвардейцами в черных клеенчатых шляпах с желтыми перьями. Вокруг парка до самой небесной черты кружились луга, засыпанные цветами, рощи и пруды. Здесь было отличное место для прогулок. Здесь росли самые интересные породы трав, здесь звенели самые красивые жуки и пели самые искусные птицы.

«Но пешком идти далеко. Я дойду до городского вала и найму извозчика. Он довезет меня до дворцового парка»,— подумал доктор.

Возле городского вала народу было больше, чем всегда.

«Разве сегодня воскресенье? — усомнился доктор.— Не думаю. Сегодня вторник».

Доктор подошел ближе.

Вся площадь была запружена народом. Доктор увидел ремесленников в серых суконных куртках с зелеными обшлагами; моряков с лицами цвета глины; зажиточных горожан в цветных жилетах, с их женами, у которых юбки походили на розовые кусты; торговцев с графинами, лотками, мороженицами и жаровнями; тощих площадных актеров, зеленых, желтых и пестрых, как будто сшитых из лоскутного одеяла; совсем маленьких ребят, тянувших за хвосты рыжих веселых собак.

Все толпились перед городскими воротами. Огромные, высотою в дом, железные ворота были наглухо закрыты.

«Почему закрыты ворота?» — удивился доктор.

Толпа шумела, все говорили громко, кричали, бранились, но толком ничего нельзя было разобрать.

Доктор подошел к молодой женщине, державшей на руке толстую серую кошку, и спросил:

— Будьте добры, объясните: что здесь происходит? Почему на-

роду так много, что за причина его волнения и почему закрыты городские ворота?

— Гвардейцы не выпускают людей из города...

— Почему же их не выпускают?

— Чтобы они не помогли тем, которые уже вышли из города и пошли к Дворцу Трех Толстяков...

— Я ничего не понимаю, гражданка, и прошу меня простить...

— Ах, да неужели вы не знаете, что сегодня оружейник Просперо и гимнаст Тибул повели народ, чтобы взять штурмом Дворец Трех Толстяков?

— Оружейник Просперо?..

— Да, гражданин... Вал высок, и по ту сторону засели гвардейские стрелки. Никто не выйдет из города, и тех, кто пошел с оружейником Просперо, дворцовая гвардия перебьет.

И действительно, грохнуло несколько очень далеких выстрелов.

Женщина уронила толстую кошку. Кошка шлепнулась, как сырое тесто. Толпа заревела.

«Значит, я прозевал такое значительное событие,— подумал доктор.— Правда, я целый месяц не выходил из комнаты. Я работал взаперти. Я ничего не знал...»

В это время, еще дальше, ударила несколько раз пушка. Гром запрыгал, как мяч, и покатился по ветру. Не только доктор испугался и поспешно отступил на несколько шагов — вся толпа шарахнулась и развалилась. Дети заплакали; голуби разлетелись, затрещав крыльями; собаки присели и стали выть.

Началась сильная пушечная стрельба. Шум поднялся невообразимый. Толпа наседала на ворота и кричала:

— Просперо! Просперо!

— Долой Трех Толстяков!

Доктор Гаспар совсем растерялся. Его узнали в толпе, потому что многие знали его в лицо. Некоторые бросились к нему, как будто ища у него защиты. Но доктор сам чуть не плакал.

— Что там делается? Как бы узнать, что там делается, за воротами? Может быть, народ побеждает; а может быть, уже всех перестреляли.

Тогда человек десять побежали в ту сторону, где от площади начинались три узенькие улички. На углу был дом с высокой старой башней. Вместе с остальными доктор решил взобраться на башню. Внизу была прачечная, похожая на баню. Там было темно, как в подвале. Кверху вела винтовая лестница. В узкие окошки проникал свет, но его было очень мало, и все поднимались медленно, с большим трудом, тем более что лестница была рваная и с поломанными перилами. Нетрудно представить, сколько труда и волнений стоило доктору Гаспару подняться на самый верхний этаж. Во всяком случае, еще на двадцатой ступеньке, в темноте, раздался его крик:

— Ах, у меня лопается сердце и я потерял каблук!

Плащ доктор потерял еще на площади, после десятого выстрела из пушки.

На вершине башни была площадка, окруженная каменными перилами. Отсюда открывался вид, по крайней мере, километров на пятьдесят вокруг. Некогда было любоваться видом, хотя вид этого заслуживал. Все смотрели в ту сторону, где происходило сражение.

— У меня есть бинокль. Я всегда ношу с собой бинокль с восемью стеклами. Вот он,—сказал доктор и отстегнул ремешок.

Бинокль переходил из рук в руки.

Доктор Гаспар увидел на зеленом пространстве множество людей. Они бежали к городу. Они удирали. Издалека люди казались разноцветными флажками. Гвардейцы на лошадях гнались за народом.

Доктор Гаспар подумал, что все это похоже на картину волшебного фонаря. Солнце ярко светило, блестела зелень. Бомбы разрывались, как кусочки ваты, пламя появлялось на одну секунду, как будто кто-то пускал в толпу солнечных зайчиков. Лошади гарцевали, поднимались на дыбы и вертелись волчком.

Парк и Дворец Трех Толстяков заволокло белым прозрачным дымом.

— Они бегут!

— Они бегут... Народ побежден!

Бегущие люди приближались к городу. Целые кучи людей падали по дороге. Казалось, что на зелень сыплются разноцветные лоскутки.

Бомба просвистела над площадью.

Кто-то, испугавшись, уронил бинокль. Бомба разорвалась, и все, кто был на верхушке башни, кинулись обратно вниз, внутрь башни.

Слесарь зацепился кожаным фартуком за какой-то крюк. Он оглянулся, увидел нечто ужасное и заорал на всю площадь:

— Бегите! Они схватили оружейника Просперо! Они сейчас войдут в город!

На площади началась кутерьма. Толпа отхлынула от ворот и побежала с площади к уличкам. Все оглохли от пальбы.

Доктор Гаспар и еще двое остановились на третьем этаже башни. Они смотрели из узкого окошка, пробитого в толстой стене.

Только один мог выглянуть как следует. Остальные смотрели одним глазом. Доктор тоже смотрел одним глазом. Но и для одного глаза зрелище было достаточно страшное.

Громадные железные ворота распахнулись во всю ширину. Человек триста влетели в эти ворота сразу. Это были ремесленники в серых суконных куртках с зелеными обшлагами. Они падали, обливаясь кровью. По головам скакали гвардейцы. Они рубили саблями и стреляли из ружей. Желтые перья развевались, сверкали черные клеенчатые шляпы, лошади разевали красные пасти, выворачивали глаза и разбрасывали пену.

— Смотрите! Смотрите! Просперо! — закричал доктор.

Оружейника Просперо тащили в петле. Он шел, валился и опять поднимался. У него были спутанные рыжие волосы, окровавленное лицо и шея обхвачена толстой петлей.

— Просперо! Он попал в плен! — закричал доктор.

В это время бомба влетела в прачечную. Башня наклонилась, качнулась, одну секунду задержалась в косом положении и рухнула. Доктор полетел кувырком, теряя второй каблук, трость, чемоданчик и очки.

Глава II

ДЕСЯТЬ ПЛАХ

Доктор упал счастливо. Он не разбил головы, и ноги у него остались целы. Впрочем, это ничего не значит. Даже и счастливое падение вместе с подстреленной башней не совсем приятно, в особенности для человека не молодого, а скорее старого, каким был доктор Гаспар Арнери. Во всяком случае, от одного испуга доктор потерял сознание.

Когда он пришел в себя, уже был вечер. Доктор посмотрел вокруг.

— Какая досада! Очки, конечно, разбились. Когда я смотрю без очков, я, вероятно, вижу так, как видит неблизорукий человек, если надевает очки. Это очень неприятно.

Потом он поворчал по поводу отломанных каблуков:

— Я и так невелик ростом, а теперь стану на вершок ниже. Или, может быть, на два вершка, потому что отломились два каблука? Нет, конечно,— только на один вершок...

Он лежал на куче щебня. Почти вся башня развалилась. Длинный и узкий кусок стены торчал, как кость. Очень далеко играла музыка. Веселый вальс улетал с ветром, пропадал и не возвращался. Доктор поднял голову. Наверху свисали с разных сторон черные поломанные стропила. На зеленоватом вечернем небе блистали звезды.

— Где это играют? — удивился доктор.

Без плаща становилось холодно. Ни один голос не звучал на площади. Доктор, кряхтя, поднялся среди камней, повалившихся друг на дружку. По дороге он зацепился за чей-то большой сапог. Слесарь лежал, вытянувшись поперек балки, и смотрел в небо. Доктор пошевелил его. Он не хотел вставать.

Доктор поднял руку, чтобы снять шляпу. Слесарь умер.

— Шляпу я тоже потерял. Куда же мне идти?

Он ушел с площади. На дороге лежали люди; доктор низко наклонялся над каждым и видел, как звезды отражаются в их широко раскрытых глазах. Он трогал ладонью их лбы. Они были очень холодные и мокрые от крови, которая ночью казалась черной.

— Вот! Вот! — шептал доктор.— Значит, народ побежден... Что же теперь будет?

Через полчаса он добрался до людных мест. Он очень устал. Ему хотелось есть и пить. Здесь город имел обычный вид.

Доктор стоял на перекрестке, отдыхая от долгой ходьбы, и думал: «Как странно! Горят разноцветные огни, мчатся экипажи, звенят стеклянные двери. Полукруглые окна сияют золотым сиянием.

Там вдоль колонн мелькают пары. Там веселый бал. Китайские цветные фонарики кружатся над черной водой. Люди живут так, как жили вчера. Неужели они не знают о том, что произошло сегодня утром? Разве они не слышали пальбы и стонов? Разве они не знают, что вождь народа, оружейник Просперо, взят в плен? Может быть, ничего и не случилось? Может быть, мне приснился страшный сон?»

На углу, где горел трехрукий фонарь, вдоль тротуара стояли экипажи. Цветочницы продавали розы. Кучера переговаривались с цветочницами.

— Его протащили в петле через весь город. Бедняжка!

— Теперь его посадили в железную клетку. Клетка стоит во Дворце Трех Толстяков,— сказал толстый кучер в голубом цилиндре с бантиком.

Тут к цветочницам подошла дама с девочкой, чтобы купить розы.

— Кого посадили в клетку? — заинтересовалась она.

— Оружейника Просперо. Гвардейцы взяли его в плен.

— Ну и слава богу! — сказала дама.

Девочка захныкала.

— Отчего же ты плачешь, глупенькая?— удивилась дама.— Ты жалеешь оружейника Просперо? Не надо его жалеть. Он хотел нам вреда. Посмотри, какие красивые розы...

Большие розы, как лебеди, медленно плавали в мисках, полных горьковатой воды и листьев.

— Вот тебе три розы. А плакать незачем. Они мятежники. Если их не сажать в железные клетки, то они заберут наши дома, платья и наши розы, а нас они перережут.

В это время пробежал мимо мальчишка. Он дернул сначала даму за ее плащ, расшитый звездами, а после девочку за ее косичку.

— Ничего, графиня! — крикнул мальчишка.— Оружейник Просперо в клетке, а гимнаст Тибул на свободе!

— Ах, нахал!

Дама топнула ногой и уронила сумочку. Цветочницы начали звонко смеяться. Толстый кучер воспользовался суматохой и предложил даме сесть в экипаж и поехать.

Дама и девочка укатили.

— Подожди, прыгун! — крикнула цветочница мальчику.— Иди-ка сюда! Расскажи, что ты знаешь...

Два кучера сошли с козел и, путаясь в своих капотах с пятью пелеринками, подошли к цветочницам.

«Вот кнут так кнут! Кнутище!» — подумал мальчишка, глядя на длинный бич, которым помахивал кучер. Мальчишке очень захотелось иметь такой кнут, но это было невозможно по многим причинам.

— Так что ты говоришь? — спросил кучер басом.— Гимнаст Тибул на свободе?

— Так говорят. Я был в порту...

— Разве его не убили гвардейцы? — спросил другой кучер, тоже басом.

— Нет, папаша... Красотка, подари мне одну розу!

— Подожди, дурак. Ты лучше рассказывай...

— Да вот, значит, так... Сначала все думали, что он убит. Потом искали его среди мертвых и не нашли.

— Может быть, его сбросили в канал? — спросил кучер.

В разговор вмешался нищий.

— Кого в канал? — спросил он.— Гимнаст Тибул не котенок. Его не утопишь. Гимнаст Тибул жив. Ему удалось бежать!

— Врешь, верблюд! — сказал кучер.

— Гимнаст Тибул жив! — закричали цветочницы в восторге.

Мальчишка стянул розу и бросился бежать. Капли с мокрого цветка посыпались на доктора. Доктор вытер с лица капли, горькие, как слезы, и подошел ближе, чтобы послушать, что скажет нищий.

Тут разговору помешало некоторое обстоятельство. На улице появилась необыкновенная процессия. Впереди ехали два всадника с факелами. Факелы развевались, как огненные бороды. Затем медленно двигалась черная карета с гербом.

А позади шли плотники. Их было сто.

Они шли с засученными рукавами, готовые к работе — в фартуках, с пилами, рубанками и ящиками под мышкой. По обе стороны процессии ехали гвардейцы. Они сдерживали лошадей, которым хотелось скакать.

— Что это? Что это? — заволновались прохожие.

В черной карете с гербом сидел чиновник Совета Трех Толстяков. Цветочницы перепугались. Подняв ладони к щекам, они смотрели на его голову. Она была видна через стеклянную дверцу. Улица была ярко освещена. Черная голова в парике покачивалась, как мертвая. Казалось, что в карете сидит птица.

— Сторонись! — кричали гвардейцы.

— Куда идут плотники? — спросила маленькая цветочница старшего гвардейца.

И гвардеец прокричал ей в самое лицо так свирепо, что у нее раздулись волосы, точно на сквозняке:

— Плотники идут строить плахи! Поняла? Плотники построят десять плах!

— А!

Цветочница уронила миску. Розы вылились, как компот.

— Они идут строить плахи! — повторил доктор Гаспар в ужасе.

— Плахи! — кричал гвардеец, оборачиваясь и скаля зубы под усами, похожими на сапоги.— Плахи всем мятежникам! Всем отрубят головы! Всем, кто осмелится восстать против власти Трех Толстяков!

У доктора закружилась голова. Ему показалось, что он упадет в обморок.

«Я слишком много пережил за этот день,— сказал он про себя,— и кроме того, я очень голоден и очень устал. Нужно поторопиться домой».

В самом деле, доктору пора было отдохнуть. Он так был взволно-

ван всем происшедшим, увиденным и услышанным, что даже не придавал значения собственному полету вместе с башней, отсутствию шляпы, плаща, трости и каблуков. Хуже всего было, конечно, без очков.

Он нанял экипаж и отправился домой.

Глава III

ПЛОЩАДЬ ЗВЕЗДЫ

Доктор возвращался домой. Он ехал по широчайшим асфальтовым улицам, которые были освещены ярче, чем залы, и цепь фонарей бежала над ним высоко в небе. Фонари походили на шары, наполненные ослепительным кипящим молоком. Вокруг фонарей сыпалась, пела и гибла мошкара. Он ехал по набережным, вдоль каменных оград. Там бронзовые львы держали в лапах щиты и высовывали длинные языки. Внизу медленно и густо шла вода, черная и блестящая, как смола. Город опрокидывался в воду, тонул, уплывал и не мог уплыть, только растворялся нежными золотистыми пятнами. Он ехал мостами, изогнутыми в виде арок. Снизу или с другого берега они казались кошками, выгибающими перед прыжком железные спины. Здесь, у въезда, на каждом мосту располагалась охрана. Солдаты сидели на барабанах, курили трубки, играли в карты и зевали на звезды.

Доктор ехал, смотрел и слушал.

С улицы, из домов, из раскрытых окон кабачков, из-за оград увеселительных садов неслись отдельные слова песенки:

Попал Просперо в меткий
Смирительный ошейник,—
Сидит в железной клетке
Ретивый оружейник.

Подвыпивший франт подхватил этот куплет. У франта умерла тетка, имевшая очень много денег, еще больше веснушек и не имевшая ни одного родственника. Франт получил в наследство все теткины деньги. Поэтому он был, конечно, недоволен тем, что народ поднимается против власти богачей.

В зверинце шло большое представление. На деревянной сцене три толстых косматых обезьяны изображали Трех Толстяков. Фокстерьер играл на мандолине. Клоун в малиновом костюме, с золотым солнцем на спине и с золотой луной на животе, в такт музыке декламировал стихи:

Как три пшеничные мешка,
Три развалились Толстяка!
У них важнее нет забот,
Как только вырастить живот!
Эй, берегитесь, Толстяки:
Пришли последние деньки!

— Пришли последние деньки! — закричали со всех сторон бородатые попугаи.

Шум поднялся невероятный. Звери в разных клетках начали лаять, рычать, щелкать, свистать.

Обезьяны заметались по сцене. Нельзя было понять, где у них руки, где ноги. Они спрыгнули в публику и бросились удирать. В публике тоже произошел скандал. Особенно шумели те, кто был потолще. Толстяки с раскрасневшимися щеками, трясясь от злости, швыряли в клоуна шляпы и бинокли. Толстая дама замахнулась зонтиком и, зацепив толстую соседку, сорвала с нее шляпу.

— Ах, ах, ах! — закудахтала соседка и воздела руки, потому что вместе с шляпой слетел и парик.

Обезьяна, удирая, хлопнула по лысой голове дамы ладонью. Соседка упала в обморок.

— Ха-ха-ха!

— Ха-ха-ха! — заливалась другая часть публики, потоньше на вид и похуже одетая.— Браво! Браво! Ату их! Долой Трех Толстяков! Да здравствует Просперо! Да здравствует Тибул! Да здравствует народ!

В это время раздался чей-то очень громкий крик:

— Пожар! Город горит...

Люди, давя друг друга и опрокидывая скамейки, побежали к выходам. Сторожа ловили разбежавшихся обезьян.

Возница, который вез доктора, повернулся и сказал, указывая впереди себя кнутом:

— Гвардейцы сжигают кварталы рабочих. Они хотят найти гимнаста Тибула...

Над городом, над черной кучей домов, дрожало розовое зарево.

Когда экипаж доктора очутился у главной городской площади, которая называлась Звезда, проехать оказалось невозможным. При въезде столпилась масса экипажей, карет, всадников, пешеходов.

— Что такое? — спросил доктор.

Никто ничего не ответил, потому что все были заняты тем, что происходило на площади. Возница поднялся во весь рост на козлах и стал тоже глядеть туда.

Называли эту площадь площадью Звезды по следующей причине. Она была окружена огромными одинаковой высоты и формы домами и покрыта стеклянным куполом, что делало ее похожей на колоссальный цирк. В середине купола, на страшной высоте, горел самый большой в мире фонарь. Это был удивительной величины шар. Охваченный поперек железным кольцом, висящий на мощных тросах, он напоминал планету Сатурн. Свет его был так прекрасен и так не похож на какой бы то ни было земной свет, что люди дали этому фонарю чудесное имя — Звезда. Так стали называть и всю площадь.

Ни на площади, ни в домах, ни на улицах поблизости не требовалось больше никакого света. Звезда освещала все закоулки, все уголки и чуланчики во всех домах, окружавших площадь каменным кольцом. Здесь люди обходились без ламп и свечей.

Возница смотрел поверх карет, экипажей и кучерских цилиндров, похожих на головки аптекарских пузырьков.

— Что вы видите? Что там происходит? — волновался доктор, выглядывая из-за спины кучера. Маленький доктор ничего не мог увидеть, тем более что был близорук.

Возница передавал все, что видел.

И вот что он видел.

На площади было большое волнение. По огромному круглому пространству, рассыпаясь разноцветными горстями, бегали люди. Казалось, что круг площади вращается, как карусель. Люди перекатывались с одного места на другое, чтобы лучше увидеть то, что делалось наверху.

Чудовищный фонарь, пылавший на высоте, ослеплял глаза, как солнце. Люди задирали головы кверху и прикрывали глаза ладонями.

— Вот он! Вот он! — раздавались крики.

— Вот, смотрите! Там!

— Где? Где?

— Выше!

— Тибул! Тибул!

Сотни указательных пальцев вытянулись влево. Там стоял обыкновенный дом. Но в шести этажах были растворены все окна. Из каждого окна торчали головы. Они были разные по виду: некоторые в ночных колпаках с кисточками, обложенные затылками, как сырыми колбасами; другие в розовых чепцах, с буклями керосинного цвета; третьи в косынках; наверху, где жила бедная молодежь — поэты, художники, актрисы,— выглядывали веселые безусые лица в облаках табачного дыма и головки женщин, окруженные таким сиянием золотых волос, что казалось, будто на плечах у них крылья. Этот дом с растворенными решетчатыми окошками и с разноцветными головами, которые высовывались, как птицы, походил на большую клетку, наполненную щеглами. Все головы, вывертываясь, как удобней, и рискуя вытащить за собой своих обладателей, что угрожало полетом с высоты на мостовую, старались увидеть нечто очень значительное, что происходило на крыше. Это было так же невозможно, как увидеть собственные уши без зеркала. Таким зеркалом для этих людей, хотевших увидеть собственную крышу из собственного дома, была толпа, бесновавшаяся на площади. Она видела все, кричала, размахивала руками: одни выражали восторг, другие — негодование.

Там по крыше двигалась маленькая фигурка. Она медленно, осторожно и уверенно спускалась по наклону треугольной верхушки дома. Железо гремело под ее ногами.

Она размахивала плащом, ловя равновесие, подобно тому как канатоходец в цирке находит равновесие при помощи желтого китайского зонта.

Это был гимнаст Тибул.

Народ кричал:

— Браво, Тибул! Браво, Тибул!

— Держись! Вспомни, как ты ходил по канату на ярмарке.

— Он не упадет! Он лучший гимнаст в стране...

— Ему не впервые. Мы видели, как он искусен в ходьбе по канату...

— Браво, Тибул!

— Беги! Спасайся! Освободи Просперо!

Другие были возмущены. Они потрясали кулаками:

— Никуда не убежишь, жалкий фигляр!

— Плут!

— Мятежник! Тебя подстрелят, как зайца...

— Берегись! Мы с крыши стащим тебя на плаху. Завтра будет готово десять плах!

Тибул продолжал свой страшный путь.

— Откуда он взялся? — спрашивали люди.— Как он появился на этой площади? Как он попал на крышу?

— Он вырвался из рук гвардейцев,— отвечали другие.— Он бежал, исчез, потом его видели в разных частях города — он перебирался по крышам. Он ловок, как кошка. Его искусство ему пригодилось. Недаром слава о нем прошла по всей стране.

На площади появились гвардейцы. Зеваки бежали к боковым улицам. Тибул перешагнул через барьер и стал на карнизе. Он вытянул руку, обмотанную плащом. Зеленый плащ развевался, как знамя.

С этим же плащом, в этом же трико, сшитом из желтых и черных треугольников, народ привык его видеть во время представлений на ярмарках и воскресных гуляньях.

Теперь высоко под стеклянным куполом, маленький, тоненький и полосатый, он был похож на осу, ползающую по белой стене дома. Когда плащ раздувался, казалось, что оса раскрывает зеленые блестящие крылья.

— Сейчас ты свалишься, площадной плут! Сейчас тебя подстрелят! — закричал подвыпивший франт, получивший наследство от веснушчатой тетки.

Гвардейцы выбрали удобную позицию. Офицер бегал крайне озабоченный. В руках он держал пистолет. Шпоры у него были длинные, как полозья.

Наступила полная тишина. Доктор схватился за сердце, которое прыгало, как яйцо в кипятке.

Тибул задержался секунду на карнизе. Ему нужно было пробраться на противоположную сторону площади. Тогда он мог бы бежать с площади Звезды в сторону рабочих кварталов.

Офицер стал посредине площади на клумбу, цветущую желтыми и синими цветами. Здесь был бассейн и фонтан, бивший из круглой каменной чаши.

— Стойте,— сказал офицер солдатам,— я его сам подстрелю. Я лучший стрелок в полку. Учитесь, как нужно стрелять.

От девяти домов, со всех сторон, к середине купола, к Звезде, тянулось девять стальных тросов, таких толстых, как морской канат, проволок.

Казалось, что от фонаря, от пылающей великолепной Звезды, разлеталось над площадью девять черных длиннейших лучей.

Неизвестно, о чем думал в эту минуту Тибул. Но, вероятно, он решил так: «Я перейду над площадью по этой проволоке, как ходил по канату на ярмарке. Я не упаду. Одна проволока тянется к фонарю, другая от фонаря к противоположному дому. Пройдя по обеим проволокам, я достигну противоположной крыши и спасусь».

Офицер поднял пистолет и стал прицеливаться. Тибул дошел по карнизу до того места, где начиналась проволока, отделился от стены и двинулся по проволоке к фонарю.

Толпа ахнула.

Он шел то очень медленно, то вдруг пускался почти бегом, быстро и осторожно переступая, покачиваясь, расправив руки. Каждую минуту казалось, что он упадет. Теперь появилась его тень на стене. Чем более он приближался к фонарю, тем ниже опускалась тень по стене и тем она становилась больше и бледнее.

Внизу была пропасть.

И когда он был на середине пути до фонаря, в полной тишине раздался голос офицера:

— Сейчас я выстрелю. Он полетит прямо в бассейн. Раз, два, три!

Выстрел грохнул.

Тибул продолжал идти, а офицер почему-то свалился прямо в бассейн.

Он был убит.

Один из гвардейцев держал пистолет, из которого шел голубой дымок. Он застрелил офицера.

— Собака! — сказал гвардеец.— Ты хотел убить друга народа. Я помешал этому. Да здравствует народ!

— Да здравствует народ! — поддержали его другие гвардейцы.

— Да здравствуют Три Толстяка! — закричали их противники.

Они рассыпались во все стороны и открыли пальбу в человека, который шел по проволоке.

Он был уже в двух шагах от фонаря. Взмахами плаща Тибул защищал глаза от блеска. Пули летели мимо. Толпа ревела в восторге.

Бах! Бах!

— Мимо!

— Ура! Мимо!

Тибул взобрался на кольцо, окружавшее фонарь.

— Ничего! — кричали гвардейцы.— Он перейдет на ту сторону... Он пойдет по другой проволоке. Оттуда мы и снимем его!

Тут произошло такое, чего никто не ожидал. Полосатая фигурка, в блеске фонаря ставшая черной, присела на железном кольце, повернула какой-то рычаг, что-то щелкнуло, звякнуло — и фонарь мгновенно потух.

Никто не успел сказать ни слова. Сделалось страшно темно и страшно тихо, как в сундуке.

А в следующую минуту высоко-высоко снова что-то стукнуло и зазвенело. В темном куполе открылся бледный квадрат. Все увидели кусочек неба с двумя маленькими звездочками. Потом в этот квадрат по фону неба пролезла черная фигурка, и было слышно, как кто-то быстро побежал по стеклянному куполу.

Гимнаст Тибул спасся с площади Звезды через люк.

Лошади испугались выстрелов и внезапной темноты.

Экипаж доктора едва не опрокинулся. Кучер круто свернул и повез доктора окольным путем.

Таким образом, пережив необыкновенный день и необыкновенную ночь, доктор Гаспар Арнери вернулся наконец домой. Его экономка, тетушка Ганимед, встретила его на крыльце. Она была очень взволнована. В самом деле: доктор так долго отсутствовал! Тетушка Ганимед всплескивала руками, ахала, качала головой:

— Где же ваши очки? Они разбились? Ах, доктор, доктор! Где же ваш плащ? Вы его потеряли? Ах, ах!..

— Тетушка Ганимед, я, кроме того, обломал оба каблука...

— Ах, какое несчастье!

— Сегодня случилось более тяжелое несчастье, тетушка Ганимед: оружейник Просперо попал в плен. Его посадили в железную клетку.

Тетушка Ганимед ничего не знала о том, что происходило днем. Она слышала пушечную пальбу, она видела зарево над домами. Соседка рассказала ей о том, что сто плотников строят на площади Суда плахи для мятежников.

— Мне стало очень страшно. Я закрыла ставни и решила никуда не выходить. Я ждала вас каждую минуту. Я очень волновалась. Обед простыл, ужин простыл, а вас все нет...

Ночь кончилась. Доктор стал укладываться спать.

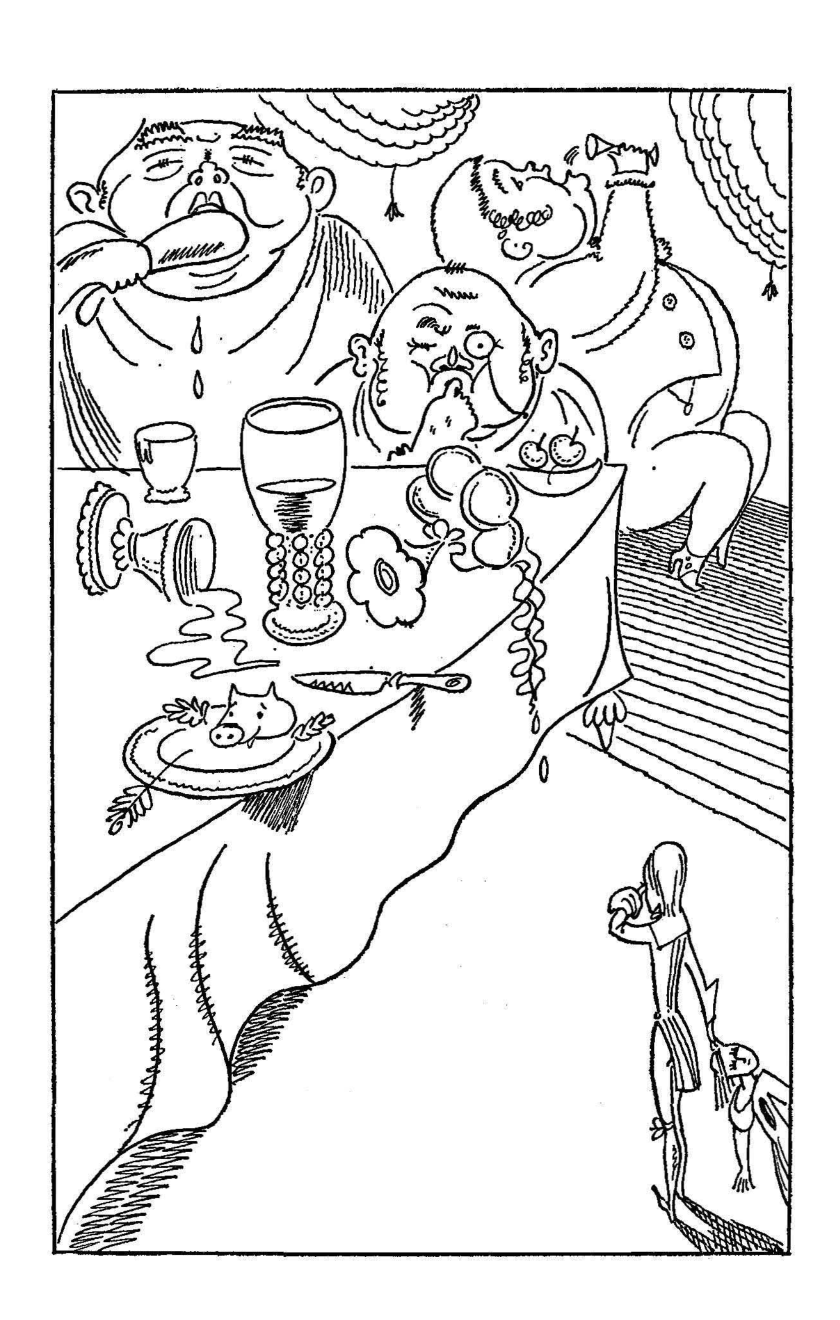
Среди ста наук, которые он изучал, была история. Он имел большую книгу в кожаном переплете, и в этой книге он записывал свои рассуждения о важных событиях.

— Надо быть аккуратным,— сказал доктор, подняв палец.

И, несмотря на усталость, доктор взял свою кожаную книгу, сел к столу и стал записывать:

«Ремесленники, рудокопы, матросы — весь бедный рабочий люд города поднялся против власти Трех Толстяков. Гвардейцы победили. Оружейник Просперо взят в плен, а гимнаст Тибул бежал. Только что на площади Звезды гвардеец застрелил своего офицера. Это значит, что вскоре все солдаты откажутся воевать против народа и защищать Трех Толстяков. Однако приходится опасаться за участь Тибула...»

Тут доктор услышал позади себя шум. Он оглянулся. Там был камин. Из камина вылез высокий человек в зеленом плаще. Это был гимнаст Тибул.



ЧАСТЬ ВТОРАЯ
КУКЛА НАСЛЕДНИКА ТУТТИ



Глава IV
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРОДАВЦА ВОЗДУШНЫХ ШАРОВ

На другой день на площади Суда кипела работа. Плотники строили десять плах. Конвой гвардейцев надзирал за работой. Плотники делали свое дело без особенной охоты.

— Мы не хотим строить плахи для ремесленников и рудокопов! — возмущались они.

— Это наши братья.

— Они шли на смерть, чтобы освободить всех, кто трудится.

— Молчать! — орал начальник конвоя таким страшным голосом, что от крика валились доски, приготовленные для постройки.— Молчать, или я прикажу хлестать вас плетьми!

С утра толпы народа с разных сторон направлялись к площади Суда.

Дул сильный ветер, летела пыль, вывески раскачивались и скрежетали, шляпы срывались с голов и катились под колеса прыгающих экипажей.

В одном месте по причине ветра случилось совсем невероятное происшествие: продавец детских воздушных шаров был унесен шарами на воздух.

— Ура! Ура! — кричали дети, наблюдая фантастический полет.

Они хлопали в ладоши: во-первых, зрелище было интересно само по себе, а во-вторых, некоторая приятность для детей заключалась

в неприятности положения летающего продавца шаров. Дети всегда завидовали этому продавцу. Зависть — дурное чувство. Но что же делать! Воздушные шары, красные, синие, желтые, казались великолепными. Каждому хотелось иметь такой шар. Продавец имел их целую кучу. Но чудес не бывает! Ни одному мальчику, самому послушному, и ни одной девочке, самой внимательной, продавец ни разу в жизни не подарил ни одного шара: ни красного, ни синего, ни желтого.

Теперь судьба наказала его за черствость. Он летел над городом, повиснув на веревочке, к которой были привязаны шары. Высоко в сверкающем синем небе они походили на волшебную летающую гроздь разноцветного винограда.

— Караул! — кричал продавец, ни на что не надеясь и дрыгая ногами.

На ногах у него были соломенные башмаки, слишком большие по размеру. Пока он ходил по земле, все устраивалось благополучно. Для того чтобы башмаки не спадали, он тянул ногами по тротуару, как лентяй.

А теперь, очутившись в воздухе, он не мог уже прибегнуть к этой хитрости.

— Черт возьми!

Ноги болтались, точно взбивали сливки.

— Черт возьми!

Куча шаров, извиваясь и поскрипывая, моталась по ветру.

Один башмак все-таки слетел.

— Смотри! Китайский орех! Китайский орех! — кричали дети, бежавшие внизу.

Действительно, падавший башмак напоминал китайский орех.

По улице в это время проходил учитель танцев. Он казался очень изящным. Он был длинный, с маленькой круглой головой, с тонкими ножками — похожий не то на скрипку, не то на кузнечика. Его деликатный слух, привыкший к печальному голосу флейты и нежным словам танцоров, не мог вынести громких, веселых криков детворы.

— Перестаньте кричать! — рассердился он.— Разве можно так громко кричать! Выражать восторг нужно красивыми, мелодичными фразами... Ну, например...

Он стал в позу, но не успел привести примера. Как и всякий учитель танцев, он имел привычку смотреть главным образом вниз, под ноги! Увы! Он не увидел того, что делалось наверху.

Башмак продавца свалился ему на голову. Голова у него была маленькая, и большой соломенный башмак в самом лучшем виде пришелся на нее, как шляпа.

Тут уже и элегантный учитель танцев взвыл, как погонщик ленивых волов.

Башмак закрыл половину лица.

Дети схватились за животы:

— Ха-ха-ха! Ха-ха-ха!

Учитель танцев Раздватрис
Смотрел обыкновенно вниз.
Пищал учитель, точно крыса,
Был у него длиннющий нос,
И вот к носищу Раздватриса
Башмак соломенный прирос!

Так распевали мальчики, сидя на заборе, готовые каждую минуту свалиться по ту сторону и улепетнуть.

— Ах! — стонал учитель танцев.— Ах, как я страдаю! И хоть бы бальный башмачок, а то такой отвратительный, грубый башмак!

Кончилось тем, что учителя танцев арестовали.

— Милый,— сказали ему,— ваш вид возбуждает ужас. Вы нарушаете общественную тишину. Этого не следует делать вообще, а тем более в такое тревожное время.

Учитель танцев заламывал руки.

— Какая ложь! — рыдал он.— Какой поклеп! Я, человек, живущий среди вальсов и улыбок, я, сама фигура которого подобна скрипичному ключу,— разве я могу нарушить общественную тишину? О!.. О!..

Что было дальше с учителем танцев, неизвестно. Да наконец и неинтересно. Гораздо важней узнать, что стало с летающим продавцом воздушных шаров.

Он летел, как хороший одуванчик.

— Это возмутительно! — вопил продавец.— Я не хочу летать. Я просто не умею летать...

Все было бесполезно. Ветер усиливался. Куча шаров поднималась все выше и выше. Ветер гнал ее за город, в сторону Дворца Трех Толстяков.

Иногда продавцу удавалось посмотреть вниз. Тогда он видел крыши, черепицы, похожие на грязные ногти, кварталы, голубую узкую воду, людей-карапузиков и зеленую кашу садов. Город поворачивался под ним, точно приколотый на булавке.

Дело принимало скверный оборот.

«Еще немного, и я упаду в Парк Трех Толстяков!» — ужаснулся продавец.

А в следующую минуту он медленно, важно и красиво проплыл над парком, опускаясь все ниже и ниже. Ветер успокаивался.

«Пожалуй, я сейчас сяду на землю. Меня схватят, сначала побьют основательно, а потом посадят в тюрьму или, чтобы не возиться, сразу отрубят голову».

Его никто не увидел. Только с одного дерева прыснули во все стороны перепуганные птицы. От летящей разноцветной кучи шаров падала легкая воздушная тень, подобная тени облака. Просвечивая радужными веселыми красками, она скользнула по дорожке, усыпанной гравием, по клумбе, по статуе мальчика, сидящего верхом на гусе, и по гвардейцу, который заснул на часах. И от этого с лицом гвардейца произошли чудесные перемены. Сразу его нос стал синий, как у мертвеца, потом зеленый, как у фокусника, и, на-

конец,— красный, как у пьяницы. Так, меняя окраску, пересыпаются стеклышки в калейдоскопе.

Приближалась роковая минута: полет направлялся к раскрытым окнам дворца. Продавец не сомневался, что сейчас влетит в одно из них, точно пушинка, предвещающая письмо.

Так и случилось.

Продавец влетел в окно. И окно оказалось окном дворцовой кухни. Это было кондитерское отделение.

Сегодня во Дворце Трех Толстяков предполагался парадный завтрак по случаю удачного подавления вчерашнего мятежа. После завтрака Три Толстяка, весь Государственный совет, свита и почетные гости собирались ехать на площадь Суда.

Друзья мои, попасть в дворцовую кондитерскую — дело очень заманчивое. Толстяки знали толк в яствах. К тому же и случай был исключительный. Парадный завтрак! Можете себе представить, какую интересную работу делали сегодня дворцовые повара и кондитеры.

Влетая в кондитерскую, продавец почувствовал в одно и то же время ужас и восторг. Так, вероятно, ужасается и восторгается оса, летящая на торт, выставленный на окне беззаботной хозяйкой.

Он летел одну минуту, он ничего не успел разглядеть как следует. Сперва ему показалось, что он попал в какой-то удивительный птичник, где возились с пением и свистом, шипя и треща, разноцветные драгоценные птицы южных стран. А в следующее мгновение он подумал, что это не птичник, а фруктовая лавка, полная тропических плодов, раздавленных, сочащихся, залитых собственным соком. Сладкое головокружительное благоухание ударило ему в нос; жар и духота сперли ему горло.

Тут же все смешалось: и удивительный птичник, и фруктовая лавка.

Продавец со всего размаху сел во что-то мягкое и теплое. Шаров он не выпускал. Он крепко держал веревочку. Шары неподвижно остановились у него над головой.

Он зажмурил глаза и решил их не раскрывать — ни за что в жизни.

«Теперь я понимаю все,— подумал он,— это не птичник и не фруктовая лавка. Это кондитерская. А я сижу в торте!»

Так оно и было.

Он сидел в царстве шоколада, апельсинов, гранатов, крема, цукатов, сахарной пудры и варенья, и сидел на троне, как повелитель пахучего разноцветного царства. Троном был торт.

Он не раскрывал глаз. Он ожидал невероятного скандала, бури — и был готов ко всему. Но случилось то, чего он никак не ожидал.

— Торт погиб,— сказал младший кондитер сурово и печально.

Потом наступила тишина. Только лопались пузыри на кипящем шоколаде.

— Что будет? — шептал продавец шаров, задыхаясь от страха и до боли сжимая веки.

Сердце его прыгало, как копейка в копилке.

— Чепуха! — сказал старший кондитер так же сурово.— В зале

съели второе блюдо. Через двадцать минут нужно подавать торт. Разноцветные шары и глупая рожа летающего негодяя послужат прекрасным украшением для парадного торта.

И, сказав это, кондитер заорал:

— Давай крем!..

И действительно дали крем.

Что это было!

Три кондитера и двадцать поварят набросились на продавца с рвением, достойным похвалы самого толстого из Трех Толстяков.

В одну минуту его облепили со всех сторон. Он сидел с закрытыми глазами, он ничего не видел, но зрелище было чудовищное. Его залепили сплошь. Голова, круглая рожа, похожая на чайник, расписанный маргаритками, торчала наружу. Остальное было покрыто белым кремом, имевшим прелестный розовый оттенок. Продавец мог показаться чем угодно, но сходство с самим собой он потерял, как потерял свой соломенный башмак.

Поэт мог принять теперь его за лебедя в белоснежном оперении, садовник — за мраморную статую, прачка — за гору мыльной пены, а шалун — за снежную бабу.

Наверху висели шары. Украшение было из ряда вон выходящее, но, однако, все вместе составляло довольно интересную картину.

— Так,— сказал главный кондитер тоном художника, любующегося собственной картиной.

И потом голос, так же как и в первый раз, сделался свирепым и заорал:

— Цукаты!!

Появились цукаты, всех сортов, всех видов, всех форм: горьковатые, ванильные, кисленькие, треугольные, звездочки, круглые, полумесяцы, розочки.

Поварята работали вовсю. Не успел главный кондитер хлопнуть три раза в ладоши, как весь торт, вся куча крема, оказался утыканным цукатами.

— Готово,— сказал главный кондитер.— Теперь, пожалуй, нужно сунуть его в печь, чтобы слегка подрумянить.

«В печь! — ужаснулся продавец.— Что? В какую печь? Меня в печь?!»

Тут в кондитерскую вбежал один из слуг.

— Торт! Торт! — закричал он.— Немедленно торт! В зале ждут сладкого.

— Готово! — ответил главный кондитер.

«Ну, слава богу»,— подумал продавец. Теперь он чуточку приоткрыл глаза.

Шестеро слуг в голубых ливреях подняли огромное блюдо, на котором он сидел. Его понесли. Уже удаляясь, он слышал, как хохотали над ним поварята.

По широкой лестнице его понесли кверху. Там раскрывался зал. Продавец снова на секунду зажмурился. В зале было шумно и весело. Звучало множество голосов, гремел смех, хлопали аплодисменты. По всем признакам, парадный завтрак удался на славу.

Продавца, или, вернее, торт, принесли и поставили на стол.

Тогда продавец открыл глаза.

И тут же он увидел Трех Толстяков.

Они были такие толстые, что у продавца раскрылся рот.

«Надо немедленно его закрыть,— сразу же спохватился он,— в моем положении лучше не подавать признаков жизни».

Но — увы! — рот не закрывался. Так продолжалось две минуты. Потом удивление продавца уменьшилось. Сделав усилие, он закрыл рот. Но тогда немедленно вытаращились глаза. С большим трудом, закрывая поочередно то рот, то глаза, он окончательно поборол свое удивление.

Толстяки сидели на главных местах, возвышаясь над остальным обществом.

Они ели больше всех. Один даже начал есть салфетку.

— Вы едите салфетку...

— Неужели? Это я увлекся...

Он оставил салфетку и тут же принялся жевать ухо Третьего Толстяка. Между прочим, оно имело вид вареника.

Все покатились со смеху.

— Оставим шутки,— сказал Второй Толстяк, поднимая вилку.— Дело принимает серьезный оборот. Принесли торт.

— Ура!!

Поднялось общее оживление.

«Что будет? — мучился продавец.— Что будет? Они меня съедят!»

В это время часы пробили два.

— Через час на площади Суда начнется казнь,— сказал Первый Толстяк.

— Первым, конечно, казнят оружейника Просперо? — спросил кто-то из почетных гостей.

— Его не будут сегодня казнить,— ответил государственный канцлер.

— Как? Как? Почему?

— Мы пока что сохраняем ему жизнь. Мы хотим узнать от него планы мятежников, имена главных заговорщиков.

— Где же он теперь?

Все общество было очень заинтересовано, даже забыли о торте.

— Он по-прежнему сидит в железной клетке. Клетка находится здесь, во дворце, в зверинце наследника Тутти.

— Позовите его...

— Приведите его сюда! — закричали гости.

— А ведь верно,— сказал Первый Толстяк.— Пусть наши гости посмотрят на этого зверя вблизи. Я бы предложил всем пройти в зверинец. Но там рев, писк, вонь. Это гораздо хуже звона бокалов и запаха фруктов...

— Конечно! Конечно! Не стоит идти в зверинец...

— Пусть приведут Просперо сюда. Мы будем есть торт и рассматривать это чудовище.

«Опять торт! — испугался продавец.— Дался им этот торт... Обжоры!»

— Приведите Просперо,— сказал Первый Толстяк.

Государственный канцлер вышел. Слуги, стоявшие в виде коридора, раздвинулись и поклонились. Коридор стал вдвое ниже.

Обжоры затихли.

— Он очень страшен,— сказал Второй Толстяк.— Он сильнее всех. Он сильнее льва. Ненависть прожгла ему глаза. Нет силы смотреть в них.

— У него ужасная голова,— сказал секретарь Государственного совета.— Она огромна. Она похожа на капитель колонны. У него рыжие волосы. Можно подумать, что его голова объята пламенем.

Теперь, когда зашел разговор об оружейнике Просперо, с обжорами произошла перемена. Они перестали есть, шутить, шуметь, подобрали животы, некоторые даже побледнели. Уже многие были недовольны тем, что захотели его увидеть.

Три Толстяка сделались серьезными и как будто слегка похудели.

Вдруг все замолкли. Наступила полная тишина. Каждый из Толстяков сделал такое движение, как будто хотел спрятаться за другого.

В зал ввели оружейника Просперо.

Впереди шел государственный канцлер. По сторонам — гвардейцы. Они вошли, не сняв своих черных клеенчатых шляп, держа наголо сабли. Звенела цепь. Руки оружейника были закованы. Его подвели к столу. Он остановился в нескольких шагах от Толстяков.

Оружейник Просперо стоял опустив голову. Пленник был бледен. Кровь запеклась у него на лбу и на виске, под спутанными рыжими волосами.

Он поднял голову и посмотрел на Толстяков. Все сидевшие вблизи отшатнулись.

— Зачем вы его привели? — раздался крик одного из гостей. Это был самый богатый мельник страны.— Я его боюсь!

И мельник упал в обморок, носом прямо в кисель. Некоторые гости бросились к выходам. Тут уже было не до торта.

— Что вам от меня нужно? — спросил оружейник.

Первый Толстяк набрался духу.

— Мы хотели посмотреть на тебя,— сказал он.— А тебе разве не интересно увидеть тех, в чьих руках ты находишься?

— Мне противно вас видеть.

— Скоро мы тебе отрубим голову. Таким образом мы поможем тебе не видеть нас.

— Я не боюсь. Моя голова — одна. У народа сотни тысяч голов. Вы их не отрубите.

— Сегодня на площади Суда казнь. Там палачи расправятся с твоими товарищами.

Обжоры немного успокоились. Мельник пришел в себя и даже слизал кисельные розы со своих щек.

— Ваш мозг заплыл жиром,— говорил Просперо.— Вы ничего не видите дальше своего брюха...

— Скажите пожалуйста! — обиделся Второй Толстяк.— А что же мы должны видеть?

— Спросите ваших министров. Они знают о том, что делается в стране.

Государственный канцлер неопределенно крякнул. Министры забарабанили пальцами по тарелкам.

— Спросите их,— продолжал Просперо,— они вам расскажут...

Он остановился. Все насторожились.

— Они вам расскажут о том, что крестьяне, у которых вы отнимаете хлеб, добытый тяжелым трудом, поднимаются против помещиков. Они сжигают их дворцы, они выгоняют их со своей земли. Рудокопы не хотят добывать уголь, для того чтобы вы завладели им. Рабочие ломают машины, чтобы не работать ради вашего обогащения. Матросы выбрасывают ваши грузы в море. Солдаты отказываются служить вам. Ученые, чиновники, судьи, актеры переходят на сторону народа. Все, кто раньше работал на вас и получал за это гроши, в то время как вы жирели, все несчастные, обездоленные, голодные, исхудалые, сироты, калеки, нищие — все идут войной против вас, против жирных, богатых, заменивших сердце камнем...

— Мне кажется, что он говорит лишнее,— вмешался государственный канцлер.

Но Просперо говорил дальше:

— Пятнадцать лет я учил народ ненавидеть вас и вашу власть. О, как давно мы собираем силы! Теперь пришел ваш последний час...

— Довольно! — пискнул Третий Толстяк.

— Нужно его посадить обратно в клетку,— предложил Второй.

А Первый сказал:

— Ты будешь сидеть в своей клетке до тех пор, пока мы не поймаем гимнаста Тибула. Мы вас казним вместе. Народ увидит ваши трупы. У него надолго пропадет охота воевать с нами.

Просперо молчал. Он снова опустил голову.

Толстяк продолжал:

— Ты забыл, с кем хочешь воевать. Мы, Три Толстяка, сильны и могущественны. Все принадлежит нам. Я, Первый Толстяк, владею всем хлебом, который родит наша земля, Второму Толстяку принадлежит весь уголь, а Третий скупил все железо. Мы богаче всех. Самый богатый человек в стране беднее нас в сто раз. За наше золото мы можем купить все, что хотим.

Тут обжоры пришли в неистовство. Слова Толстяка придали им храбрость.

— В клетку его! В клетку! — начали они кричать.

— В зверинец!

— В клетку!

— Мятежник!

— В клетку!

Просперо увели.

— А теперь будем есть торт,— сказал Первый Толстяк.

«Конец!» — решил продавец.

Все взоры устремились на него. Он закрыл глаза. Обжоры веселились.

— Хо-хо-хо!

— Ха-ха-ха! Какой чудный торт! Посмотрите на шары!

— Они восхитительны.

— Посмотрите на эту рожу!

— Она чудесна.

Все двинулись к торту.

— А что внутри этого смешного чучела? — спросил кто-то и больно щелкнул продавца по лбу.

— Должно быть, конфеты.

— Или шампанское...

— Очень интересно! Очень интересно!

— Давайте сперва отрежем эту голову и посмотрим, что получится...

— Ай!

Продавец не выдержал, сказал очень внятно: «Ай!» — и раскрыл глаза.

Любопытные отпрянули. И в этот момент в галерее раздался громкий детский крик:

— Кукла! Моя кукла!

Все прислушались. Особенно взволновались Три Толстяка и государственный канцлер.

Крик перешел в плач. В галерее громко плакал обиженный мальчик.

— Что такое? — спросил Первый Толстяк.— Это плачет наследник Тутти!

— Это плачет наследник Тутти! — в один голос повторили Второй и Третий Толстяки.

Все трое побледнели. Они были очень испуганы.

Государственный канцлер, несколько министров и слуги понеслись к выходу на галерею.

— Что такое? Что такое? — шепотом зашумел зал.

Мальчик вбежал в зал. Он растолкал министров и слуг. Он подбежал к Толстякам, тряся волосами и сверкая лаковыми туфлями. Рыдая, он выкрикивал отдельные слова, которых никто не понимал.

«Этот мальчишка увидит меня! — заволновался продавец.— Проклятый крем, который мешает мне дышать и двинуть хотя бы пальцем, конечно, очень понравится мальчишке. Чтобы он не плакал, ему, конечно, отрежут кусочек торта вместе с моей пяткой».

Но мальчик даже не посмотрел на торт. Даже чудесные воздушные шары, висевшие над круглой головой продавца, не привлекли его внимания.

Он горько плакал.

— В чем дело? — спросил Первый Толстяк.

— Почему наследник Тутти плачет? — спросил Второй.

А Третий надул щеки.

Наследнику Тутти было двенадцать лет. Он воспитывался во Дворце Трех Толстяков. Он рос, как маленький принц. Толстяки хо-

тели иметь наследника. У них не было детей. Все богатство Трех Толстяков и управление страной должно было перейти к наследнику Тутти.

Слезы наследника Тутти внушили Толстякам больший страх, нежели слова оружейника Просперо.

Мальчик сжимал кулаки, размахивал ими и топал ногами. Не было предела его гневу и обиде.

Никто не знал причины.

Воспитатели выглядывали из-за колонн, боясь войти в зал. Эти воспитатели в черных одеждах и в черных париках походили на закопченные ламповые стекла.

В конце концов, немного успокоившись, мальчик рассказал, в чем дело.

— Моя кукла, моя чудесная кукла сломалась!.. Мою куклу испортили. Гвардейцы кололи мою куклу саблями...

Он опять зарыдал. Маленькими кулаками он тер глаза и размазывал слезы по щекам.

— Что?! — заорали Толстяки.

— Что?!

— Гвардейцы?

— Кололи?

— Саблями?

— Куклу наследника Тутти?

И весь зал сказал тихо, как будто вздохнул:

— Этого не может быть!

Государственный канцлер схватился за голову. Тот же нервный мельник снова упал в обморок, но моментально пришел в себя от страшного крика Первого Толстяка:

— Прекратить торжество! Отложить все дела! Собрать совет! Всех чиновников! Всех судей! Всех министров! Всех палачей! Отменить сегодняшнюю казнь! Измена во дворце!

Поднялся переполох. Через минуту дворцовые кареты поскакали во все стороны. Через пять минут со всех сторон мчались к дворцу судьи, советники, палачи. Толпа, ожидавшая на площади Суда казни мятежников, должна была разойтись. Глашатаи, взойдя на помост, сообщили этой толпе, что казнь переносится на следующий день по причине очень важных событий.

Продавца вместе с тортом вынесли из зала. Обжоры моментально отрезвели.

Все обступили наследника Тутти и слушали.

— Я сидел на траве в парке, и кукла сидела рядом со мной. Мы хотели, чтобы сделалось солнечное затмение. Это очень интересно. Вчера я читал в книге. Когда происходит затмение, днем появляются звезды...

Он набил слезами полный рот и не мог говорить. И вместо него рассказал всю историю воспитатель. Последний, впрочем, тоже говорил с трудом, потому что дрожал от страха.

— Я находился невдалеке от наследника Тутти и его куклы. Я сидел на солнце, подняв нос. У меня на носу прыщ, и я думал, что

солнечные лучи помогут мне избавиться от некрасивого прыща. И вдруг появились гвардейцы. Их было двенадцать человек. Они возбужденно о чем-то говорили. Поравнявшись с нами, они остановились. Они имели угрожающий вид. Один из них сказал, указывая на наследника Тутти: «Вот сидит волчонок. У трех жирных свиней растет волчонок». Увы! Я понял, что означали эти слова.

— Кто ж эти три жирных свиньи? — спросил Первый Толстяк.

Два остальных густо покраснели. Тогда покраснел и Первый. Все трое сопели так сильно, что на веранде раскрывалась и закрывалась стеклянная дверь.

— Они обступили наследника Тутти,— продолжал воспитатель.— Они говорили: «Три свиньи воспитывают железного волчонка». «Наследник Тутти,— спрашивали они,— с какой стороны у тебя сердце? У него вынули сердце. Он должен расти злым, черствым, жестоким, с ненавистью к людям... Когда сдохнут три свиньи, злой волк заступит их место».

— Почему же вы не прекратили этих ужасных речей? — закричал государственный канцлер, тряся воспитателя за плечо.— Разве вы не догадались, что это изменники, перешедшие на сторону народа?

Воспитатель был в ужасе. Он лепетал:

— Я это видел, но я их боялся. Они были очень возбуждены. А у меня не было никакого оружия, кроме прыща... Они держались за эфесы сабель, готовые ко всему. «Посмотрите,— сказал один из них,— вот чучело. Вот кукла. Волчонок играет с куклой. Ему не показывают живых детей. Чучело, куклу с пружиной дали ему в товарищи». Тогда другой закричал: «Я оставил в деревне сына и жену. Мой мальчик, стреляя из рогатки, попал в грушу, висевшую на дереве в парке помещика. Помещик велел высечь мальчика розгами за оскорбление власти богачей, а его слуги поставили мою жену к позорному столбу». Гвардейцы начали кричать и наступать на наследника Тутти. Тот, который рассказывал про мальчика, выхватил саблю и ткнул ее в куклу. Другие сделали то же...

В этом месте рассказа наследник Тутти залился слезами.

— ...«Вот тебе, волчонок! — говорили они.— Потом мы доберемся и до твоих жирных свиней».

— Где эти изменники? — загремели Толстяки.

— Они бросили куклу и побежали в глубь парка. Они кричали: «Да здравствует оружейник Просперо! Да здравствует гимнаст Тибул! Долой Трех Толстяков!»

— Отчего же стража не стреляла в них? — возмущался зал.

И тогда воспитатель сообщил страшную вещь:

— Стража махала им шляпами. Я видел из-за ограды, как стражники прощались с ними. Они говорили: «Товарищи! Идите к народу и скажите, что скоро все войска перейдут на его сторону...»

Вот что случилось в парке.

Началась тревога. Самые надежные части дворцовой гвардии были расставлены на постах во дворце, в парке у входов и выходов, на мостах и по дороге к городским воротам.

Государственный совет собрался на совещание. Гости разъехались. Три Толстяка взвесились на весах главного дворцового врача. Оказалось, что, несмотря на волнение, они не потеряли ни капли жиру. Главный врач был посажен под арест на хлеб и воду.

Куклу наследника Тутти нашли в парке на траве. Она не дождалась солнечного затмения. Она была безнадежно испорчена.

Наследник Тутти никак не мог успокоиться. Он обнимал поломанную куклу и рыдал. Кукла имела вид девочки. Она была такого же роста, как и Тутти,— дорогая, искусно сделанная кукла, ничем по виду не отличающаяся от маленькой живой девочки.

Теперь ее платье было изорвано и на груди чернели дыры от сабельных ударов.

Еще час тому назад она умела сидеть, стоять, улыбаться, танцевать. Теперь она стала простым чучелом, тряпкой. Где-то в горле у нее и в груди под розовым шелком хрипела сломанная пружина, как хрипят старые часы, раньше чем пробить время.

— Она умерла,— жаловался наследник Тутти.— Какое горе! Она умерла!

Маленький Тутти не был волчонком.

— Эту куклу нужно исправить,— сказал государственный канцлер на совещании Государственного совета.— Горе наследника Тутти не имеет границ. Во что бы то ни стало куклу надо исправить.

— Нужно купить другую,— предложили министры.

— Наследник Тутти не хочет другой куклы. Он хочет, чтобы эта кукла воскресла.

— Но кто же может исправить ее?

— Я знаю,— сказал министр народного просвещения.

— Кто?

— Мы забыли, господа, что в городе живет доктор Гаспар Арнери. Этот человек может сделать все. Он исправит куклу наследника Тутти.

Разразился общий восторг:

— Браво! Браво!

И весь Государственный совет, вспомнив о докторе Гаспаре, запел хором:

Как лететь с земли до звезд,
Как поймать лису за хвост,
Как из камня сделать пар,—
Знает доктор наш Гаспар.

Тут же составили приказ доктору Гаспару.

«Господину доктору Гаспару Арнери.

Препровождая при сем поврежденную куклу наследника Тутти, Государственный совет правительства Трех Толстяков приказывает Вам исправить эту куклу к завтрашнему дню. В случае, если кукла приобретет прежний здоровый и живой вид, Вам будет выдана награда, какую Вы пожелаете; в случае невыполнения грозит Вам строгая кара.

Председатель Государственного совета
Государственный канцлер...»

И в этом месте канцлер расписался. Тут же поставили большую государственную печать. Она была круглая, с изображением туго набитого мешка.

Капитан дворцовой гвардии граф Бонавентура в сопровождении двух гвардейцев отправился в город, чтобы разыскать доктора Гаспара Арнери и передать ему приказ Государственного совета.

Они скакали на лошадях, а позади ехала карета. Там сидел дворцовый чиновник. Он держал куклу на коленях. Она печально приникла к его плечу чудесной головкой с подстриженными кудрями.

Наследник Тутти перестал плакать. Он поверил, что завтра привезут воскресшую, здоровую куклу.

Так тревожно прошел день во дворце.

Но чем же окончились похождения летающего продавца воздушных шаров?

Его унесли из зала — это мы знаем.

Он снова очутился в кондитерской.

И тут произошла катастрофа.

Один из слуг, несший торт, наступил на апельсинную корку.

— Держись!— закричали слуги.

— Караул! — закричал продавец, чувствуя, что его трон шатается.

Но слуга не удержался. Он грохнулся на твердый кафельный пол. Он задрал длинные ноги и протяжно завыл.

— Ура! — завопили поварята в восторге.

— Черти! — сказал продавец с безнадежной грустью, падая вместе с блюдом и тортом на пол вслед за слугой.

Блюдо разбилось вдребезги. Крем снежными комьями полетел во все стороны. Слуга вскочил и удрал.

Поварята прыгали, плясали и орали.

Продавец сидел на полу среди осколков, в луже малинового сиропа и в облаках хорошего французского крема, которые печально таяли на развалинах торта.

Продавец с облегчением увидел, что в кондитерской только поварята, а трех главных кондитеров нет.

«С поварятами я войду в сделку, и они мне помогут бежать,— решил он.— Мои шары меня выручат».

Он крепко держал веревочку с шарами.

Поварята обступили его со всех сторон. По их глазам он видел, что шары — сокровище, что обладать хотя бы одним шаром — для поваренка мечта и счастье.

Он сказал:

— Мне очень надоели приключения. Я не маленький мальчик и не герой. Я не люблю летать, я боюсь Трех Толстяков, я не умею украшать парадные торты. Мне очень хочется освободить дворец от своего присутствия.

Поварята перестали смеяться. Шары покачивались, вращались. От этого движения солнечный свет вспыхивал в них то синим, то желтым, то красным пламенем. Это были чудесные шары.

— Можете ли вы устроить мое бегство? — спросил продавец, дергая веревочку.

— Можем,— сказал один поваренок тихо. И добавил: — Отдайте нам ваши шары.

Продавец победил.

— Хорошо,— сказал он равнодушным тоном,— согласен. Шары стоят очень дорого. Мне очень нужны эти шары, но я согласен. Вы мне нравитесь. У вас такие веселые, открытые лица и звонкие голоса.

«Черт бы вас взял!» — добавил он при этом мысленно.

— Главный кондитер сейчас в кладовой,— сказал поваренок.— Он развешивает продукты для печенья к вечернему чаю. Нам нужно успеть до его возвращения.

— Правильно,— согласился продавец,— медлить не стоит.

— Сейчас. Я знаю один секрет.

С этими словами поваренок подошел к большой медной кастрюле, стоявшей на кафельном кубе, потом он поднял крышку.

— Давайте шары,— потребовал он.

— Ты сошел с ума! — рассердился продавец.— Зачем мне твоя кастрюля? Я хочу бежать. Что же, в кастрюлю мне лезть, что ли?

— Вот именно.

— В кастрюлю?

— В кастрюлю.

— А потом?

— Там увидите. Лезьте в кастрюлю. Это наилучший способ бегства.

Кастрюля была так объемиста, что в нее мог влезть не только тощий продавец, но даже самый толстый из Трех Толстяков.

— Лезьте скорее, если хотите успеть вовремя.

Продавец заглянул в кастрюлю. В ней не было дна. Он увидел черную пропасть, как в колодце.

— Хорошо,— вздохнул он.— В кастрюлю так в кастрюлю. Это не хуже воздушного полета и кремовой ванны. Итак, до свиданья, маленькие мошенники. Получайте цену моей свободы.

Он развязал узел и роздал шары поварятам. Хватило на каждого: ровно двадцать штук, у каждого на отдельной веревочке.

Потом с присущей ему неуклюжестью он влез в кастрюлю, ногами вперед. Поваренок захлопнул крышку.

— Шары! Шары! — кричали поварята в восторге.

Они выбежали из кондитерской вниз — на лужайку парка, под окна кондитерской.

Здесь, на открытом воздухе, было гораздо интересней поиграть с шарами.

И вдруг в трех окнах кондитерской появились три кондитера.

— Что?! — загремел каждый из них.— Это что такое? Что за непорядок! Марш назад!

Поварята были так напуганы криком, что выпустили веревочки. Счастье окончилось.

Двадцать шаров быстро полетели кверху, в сияющее синее небо. А поварята стояли внизу на траве, среди душистого горошка, разинув рты и задрав головы в белых колпаках.

Глава V

НЕГР И КАПУСТНАЯ ГОЛОВА

Вы помните, что тревожная ночь доктора окончилась появлением из камина канатоходца и гимнаста Тибула.

Что они делали вдвоем на рассвете в мастерской доктора Гаспара, неизвестно. Тетушка Ганимед, утомленная волнением и долгим ожиданием доктора Гаспара, крепко спала и видела во сне курицу.

На другой день,— значит, как раз в тот день, когда продавец детских воздушных шаров прилетел во Дворец Трех Толстяков и когда гвардейцы искололи куклу наследника Тутти,— с тетушкой Ганимед произошла неприятность. Она выпустила мышь из мышеловки. Эта мышь в прошлую ночь съела фунт мармеладу. Еще раньше, в ночь с пятницы на субботу, она опрокинула стакан с гвоздикой. Стакан разбился, а гвоздика почему-то приобрела запах валерьяновых капель.

В тревожную ночь мышь попалась.

Встав рано утром, тетушка Ганимед подняла мышеловку. Мышь сидела с крайне равнодушным видом, как будто ей не впервые сидеть за решеткой. Она притворялась.

— Не ешь в другой раз мармеладу, если он не тебе принадлежит,— сказала тетушка Ганимед, поставив мышеловку на видное место.

Одевшись, тетушка Ганимед отправилась к доктору Гаспару в мастерскую. Она собиралась поделиться с ним радостью. Вчера утром доктор Гаспар выразил ей сочувствие по поводу гибели мармелада.

— Мышь любит мармелад, потому что в нем много кислот,— сказал он.

Это утешило тетушку Ганимед.

— Мышь любит мои кислоты... Посмотрим, любит ли она мою мышеловку.

Тетушка Ганимед подошла к двери, ведущей в мастерскую. Она держала в руках мышеловку.

Было раннее утро. Зелень сверкала в раскрытом окне. Ветер, унесший в это утро продавца шаров, поднялся позже.

За дверью слышалось движение.

«Бедненький! — подумала тетушка Ганимед.— Неужели он так и не ложился спать?»

Она постучала.

Доктор что-то сказал, но она не расслышала.

Дверь открылась. На пороге стоял доктор Гаспар. В мастерской пахло чем-то похожим на жженую пробку. В углу мигал красный, догоравший огонь тигелька.

Очевидно, остаток ночи доктор Гаспар был занят какой-то обычной работой.

— Доброе утро! — весело сказал доктор.

Тетушка Ганимед высоко подняла мышеловку. Мышь принюхивалась, дергая носиком.

— Я поймала мышь!

— О! — Доктор был очень доволен.— Покажите-ка!

Тетушка Ганимед засеменила к окну.

— Вот она!

Тетушка протянула мышеловку. И вдруг она увидала негра. Возле окна, на ящике с надписью «Осторожно!», сидел красивый негр.

Негр был голый.

Негр был в красных штанишках.

Негр был черный, лиловый, коричневый, блестящий.

Негр курил трубку.

Тетушка Ганимед так громко сказала «ах», что чуть не разорвалась пополам. Она завертелась волчком и раскинула руки, как огородное чучело. При этом она сделала какое-то неловкое движение — задвижка мышеловки, звякнув, открылась, и мышь выпала, исчезнув неизвестно куда.

Таков был ужас тетушки Ганимед.

Негр громко хохотал, вытянув длинные голые ноги в красных туфлях, похожих на гигантские стручья красного перца.

Трубка прыгала у него в зубах, точно сук от порывов бури. А у доктора прыгали, вспыхивая, очки. Он тоже смеялся.

Тетушка Ганимед вылетела из комнаты с быстротой доброго порыва бури.

— Мышь! — вопила она.— Мышь! Мармелад! Негр!

Доктор Гаспар поспешил ей вдогонку.

— Тетушка Ганимед, — успокаивал он ее,— вы напрасно волнуетесь. Я забыл вас предупредить о своем новом опыте. Но вы могли ожидать. Я ведь ученый, я доктор разных наук, я мастер разных приборов. Я произвожу всякие опыты. У меня в мастерской можно увидеть не только негра, но даже слона. Тетушка Ганимед... Тетушка Ганимед... Негр — одно, а яичница — другое... Мы ждем завтрака. Мой негр любит много яичницы...

— Мышь любит кислоты,— шептала в ужасе тетушка Ганимед,— а негр любит яичницу...

— Ну вот. Яичница сейчас, а мышь ночью. Ночью она поймается, тетушка Ганимед... Ей уже ничего не осталось делать на свободе. Мармелад съеден раз и навсегда.

Тетушка Ганимед плакала, добавляя слезы вместо соли в яичницу. Они были такие горькие, что даже заменяли перец.

— Хорошо, что много перцу. Очень вкусно! — хвалил негр, уплетая яичницу.

Тетушка Ганимед принимала валерьяновые капли, которые теперь, в свою очередь, почему-то пахли гвоздикой. Вероятно, от слез.

Потом она видела через окно, как доктор Гаспар прошел по улице. Все было в порядке: новый шарф, новая трость, новые (хотя и старые) башмаки на красивых целых каблуках.

Но рядом с ним шел негр.

Тетушка Ганимед зажмурила глаза и села на пол. Вернее, не на пол, а на кошку. Кошка от ужаса запела. Тетушка Ганимед, выведенная из себя, побила кошку: во-первых, за то, что она вертится под

ногами, а во-вторых — за то, что она не сумела в свое время поймать мышь.

А мышь, пробравшись из мастерской доктора Гаспара в комод тетушки Ганимед, ела миндальные коржики, нежно вспоминая о мармеладе. Мышь любит кислоты и не боится негров.

Доктор Гаспар Арнери жил на улице Тени. Свернув с этой улицы налево, вы попадаете в переулок, носящий имя Вдовы Лизаветы, а оттуда, перерезав улицу, славящуюся дубом, который разбила молния, можно было, пройдя еще пять минут, очутиться на Четырнадцатом Рынке.

Доктор Гаспар и негр направились туда. Уже поднимался ветер. Исковерканный дуб скрипел, как качели. Расклейщик афиш никак не мог справиться с листом, приготовленным для наклейки. Ветер рвал его из рук и бросал в лицо расклейщику. Издали казалось, что человек вытирает лицо белой салфеткой.

Наконец ему удалось прихлопнуть афишу к забору.

Доктор Гаспар прочел:

«Граждане! Граждане! Граждане!

Сегодня правительство Трех Толстяков устраивает для народа празднества. Спешите на Четырнадцатый Рынок! Спешите! Там будут зрелища, развлечения, спектакли! Спешите!»

— Вот,— сказал доктор Гаспар.— Все ясно. Сегодня на площади Суда предстоит казнь мятежников. Палачи Трех Толстяков будут рубить головы тем, кто восстал против власти богачей и обжор. Три Толстяка хотят обмануть народ. Они боятся, чтобы народ, собравшись на площади Суда, не сломал плахи, не убил палачей и не освободил своих братьев, осужденных на смерть. Поэтому они устраивают развлечения для народа. Они хотят отвлечь его внимание от сегодняшней казни.

Доктор Гаспар и его черный спутник пришли на рыночную площадь. У балаганов толкался народ. Ни одного франта, ни одной дамы в наряде цвета золотых рыбок и винограда, ни одного знатного старика на расшитых золотом носилках, ни одного купца с огромным кожаным кошельком на боку не увидел доктор Гаспар среди собравшихся.

Здесь были бедные жители окраин: ремесленники, мастеровые, продавцы ржаных лепешек, поденщицы, старухи, нищие, грузчики, калеки. Серую, старую, рваную одежду иногда только украшали либо зеленые обшлага, либо пестрый плащ, либо разноцветные ленты.

Ветер раздувал седые волосы старух, подобные войлоку, жег глаза, рвал коричневые лохмотья нищих.

Лица у всех были хмурые, все ожидали недоброго.

— На площади Суда казнь,— говорили люди.— Там будут падать головы наших товарищей, а здесь будут кривляться шуты, которым Три Толстяка заплатили много золота.

— Идем на площадь Суда! — раздавались крики.

— У нас нет оружия. У нас нет пистолетов и сабель. А площадь Суда окружена тройным кольцом гвардейцев.

— Солдаты еще покуда служат им. Они в нас стреляли. Ничего! Не сегодня-завтра они пойдут вместе с нами против своих начальников.

— Уже сегодня ночью на площади Звезды гвардеец застрелил своего офицера. Этим он спас жизнь гимнасту Тибулу.

— А где Тибул? Удалось ли ему бежать?

— Неизвестно. Всю ночь и на рассвете гвардейцы сжигали рабочие кварталы. Они хотели его найти.

Доктор Гаспар и негр подошли к балаганам. Представление еще не начиналось. За размалеванными занавесками, за перегородками слышались голоса, позванивали бубенцы, напевали флейты, что-то пищало, шелестело, рычало. Там актеры готовились к спектаклю.

Занавеска раздвинулась, и выглянула рожа. Это был испанец, чудесный стрелок из пистолета. У него топорщились усы и один глаз вращался.

— А,— сказал он, увидев негра,— ты тоже принимаешь участие в представлении? Сколько тебе заплатили?

Негр молчал.

— Я получил десять золотых монет,— хвастался испанец. Он принял негра за актера.— Иди-ка сюда,— сказал он шепотом, делая таинственное лицо.

Негр поднялся к занавеске. Испанец рассказал ему тайну. Оказалось, что Три Толстяка наняли сто актеров, для того чтобы они представляли сегодня на рынках и своей игрой всячески восхваляли власть богачей и обжор и вместе с тем охаивали мятежников, оружейника Просперо и гимнаста Тибула.

— Они собрали целую труппу: фокусников, укротителей, клоунов, наездниц, чревовещателей, танцоров... Всем были выданы деньги.

— Неужели все актеры согласились восхвалять Трех Толстяков? — спросил доктор Гаспар.

Испанец зашипел:

— Тсс! — Он прижал палец к губам.— Об этом нельзя громко говорить. Многие отказались. Их арестовали.

Негр в сердцах плюнул.

В это время заиграла музыка. В некоторых балаганах началось представление. Толпа зашевелилась.

— Граждане! — кричал петушиным голосом клоун с деревянных подмостков.— Граждане! Разрешите вас поздравить...

Он остановился, ожидая, пока наступит тишина. С его лица сыпалась мука.

— Граждане, позвольте вас поздравить со следующим радостным событием: сегодня палачи наших милых розовых толстеньких Трех Толстяков отрубят головы подлым мятежникам...

Он не договорил. Мастеровой запустил в него недоеденной лепешкой. Она залепила ему рот.

— М-м-м-м-м-м...

Клоун мычал, но ничего не помогало. Плохо выпеченное, полусырое тесто залепило ему рот. Он махал руками, морщился.

— Так! Правильно! — закричали в толпе.

Клоун удрал за перегородку.

— Негодяй! Он продался Трем Толстякам! За деньги он хулит тех, кто пошел на смерть ради нашей свободы!

Музыка заиграла громче. Присоединилось еще несколько оркестров: девять дудок, три фанфары, три турецких барабана и одна скрипка, звуки которой вызывали зубную боль.

Владельцы балаганов старались этой музыкой заглушить шум толпы.

— Пожалуй, наши актеры испугаются этих лепешек,— говорил один из них.— Нужно делать вид, что ничего не случилось.

— Пожалуйте! Пожалуйте! Спектакль начинается...

Другой балаган назывался «Троянский Конь».

Из-за занавески вышел директор. На голове у него была очень высокая шляпа из зеленого сукна, на груди — круглые медные пуговицы, на щеках — старательно нарисованные, красивые румянцы.

— Тише! — сказал он так, как будто говорил по-немецки.— Тише! Наше представление стоит вашего внимания.

Некоторое внимание установилось.

— Ради сегодняшнего праздника мы пригласили силача Лапитупа.

Та-ти-ту-та! — повторила фанфара.

Трещотки изобразили нечто вроде аплодисментов.

— Силач Лапитуп покажет вам чудеса своей силы...

Оркестр грянул. Занавес раскрылся. На подмостки вышел силач Лапитуп.

Действительно, этот огромный детина в розовом трико казался очень сильным.

Он сопел и нагибал голову по-бычьи. Мускулы у него ходили под кожей, точно кролики, проглоченные удавом.

Прислужники принесли гири и бросили их на подмостки. Доски чуть не проломились. Пыль и опилки взлетели столбом. Гул пошел по всему рынку.

Силач начал показывать свое искусство. Он взял в каждую руку по гире, подкинул гири, как мячики, поймал и потом с размаху ударил одну о другую... Посыпались искры.

— Вот! — сказал он.— Так Три Толстяка разобьют лбы оружейнику Просперо и гимнасту Тибулу.

Этот силач был тоже подкуплен золотом Трех Толстяков.

— Ха-ха-ха! — загремел он, радуясь своей шутке.

Он знал, что никто не рискнет швырнуть в него лепешкой. Все видели его силу.

В наступившей тишине отчетливо прозвучал голос негра. Целый огород голов повернулся в его сторону.

— Что ты говоришь? — спросил негр, ставя на ступеньку ногу.

— Я говорю, что так, лбом об лоб, Три Толстяка расшибут головы оружейнику Просперо и гимнасту Тибулу.

— Молчи!

Негр говорил спокойно, сурово и негромко.

— А ты кто такой, черная образина? — рассердился силач.

Он бросил гири и подбоченился.

Негр поднялся на подмостки.

— Ты очень силен, но подл ты не менее. Ответь лучше, кто ты? Кто тебе дал право издеваться над народом? Я знаю тебя. Ты сын молотобойца. Твой отец до сих пор работает на заводе. Твою сестру зовут Эли. Она прачка. Она стирает белье богачей. Быть может, ее вчера застрелили гвардейцы. А ты предатель!

Силач отступил в изумлении. Негр действительно говорил правду. Силач ничего не понимал.

— Уходи вон! — крикнул негр.

Силач пришел в себя. Его лицо налилось кровью. Он сжал кулаки.

— Ты не имеешь права мне приказывать! — с трудом проговорил он.— Я тебя не знаю. Ты дьявол.

— Уходи вон! Я просчитаю до трех. Раз!

Толпа замерла. Негр был на голову ниже Лапитупа и втрое тоньше его, однако никто не сомневался, что в случае драки победит негр,— такой решительный, строгий и уверенный был у него вид.

— Два!

Силач втянул голову.

— Черт! — прошипел он.

— Три!!

Силач исчез. Многие зажмурили глаза, ожидая страшного удара, и когда раскрыли их, то силача уже не было. Он мгновенно исчез за перегородкой.

— Вот так прогонит народ Трех Толстяков! — весело сказал негр, поднимая руки.

Толпа бушевала в восторге. Люди хлопали в ладоши и кидали шапки в воздух.

— Да здравствует народ!

— Браво! Браво!

Только доктор Гаспар недовольно покачивал головой. Чем он был недоволен, неизвестно.

— Кто это? Кто это? Кто этот негр? — интересовались зрители.

— Это тоже актер?

— Мы никогда его не видели!

— Кто ты?

— Почему ты выступил в нашу защиту?

— Позвольте! Позвольте!..

Какой-то оборванец протиснулся сквозь толпу. Это был тот же нищий, который вчера вечером разговаривал с цветочницами и кучерами. Доктор Гаспар узнал его.

— Позвольте! — волновался нищий.— Разве вы не видите, что нас обманывают? Этот негр такой же актер, как и силач Лапитуп. Одна шайка. Он тоже получил деньги от Трех Толстяков.

Негр сжал кулаки. Восторг толпы сменился гневом:

— Конечно! Один негодяй прогнал другого.

— Он боялся, что мы побьем его товарища, и сыграл штуку.

— Долой!

— Негодяй!

— Предатель!

Доктор Гаспар хотел что-то сказать, удержать толпу, но было поздно. Человек двенадцать, взбежав на подмостки, окружили негра.

— Бейте его! — завизжала старуха.

Негр протянул руку. Он был спокоен.

— Стойте!

Его голос покрыл крики, шум и свистки. Сделалось тихо, и в тишине спокойно и просто прозвучали слова негра:

— Я гимнаст Тибул.

Произошло замешательство. Кольцо нападавших распалось.

— Ах! — вздохнула толпа.

Сотни людей дернулись и застыли.

И только кто-то растерянно спросил:

— А почему ты черный?

— Об этом спросите доктора Гаспара Арнери.— И, улыбаясь, негр указал на доктора.

— Конечно, это он!

— Тибул!

— Ура! Тибул цел! Тибул жив! Тибул с нами!

— Да здравств...

Но крик оборвался. Случилось что-то непредвиденное и неприятное. Задние ряды пришли в смятение. Люди рассыпались во все стороны.

— Тише! Тише!

— Беги, Тибул, спасайся!

На площади появились три всадника и карета.

Это был капитан дворцовой гвардии граф Бонавентура в сопровождении двух гвардейцев. В карете ехал дворцовый чиновник со сломанной куклой наследника Тутти. Она печально приникла к его плечу чудесной головкой с подстриженными кудрями.

Они искали доктора Гаспара.

— Гвардейцы! — заорал кто-то благим матом. Несколько человек перемахнули через забор.

Черная карета остановилась. Лошади мотали головами. Звенела и вспыхивала сбруя.

Ветер трепал голубые перья.

Всадники окружили карету.

У капитана Бонавентуры был страшный голос. Если скрипка вызывала зубную боль, то от этого голоса получалось ощущение выбитого зуба.

Он приподнялся на стременах и спросил:

— Где дом доктора Гаспара Арнери?

Он натягивал поводья. На руках у него были грубые кожаные перчатки с широкими раструбами.

Старуха, в которую этот вопрос попал, как шаровидная молния, испуганно махнула рукой в неопределенном направлении.

— Где? — повторил капитан.

Теперь его голос звучал так, что казалось — выбит не один зуб, а целая челюсть.

— Я здесь. Кто меня спрашивает?

Люди расступились. Доктор Гаспар, аккуратно ступая, прошел к карете.

— Вы доктор Гаспар Арнери?

— Я доктор Гаспар Арнери.

Дверца кареты открылась.

— Садитесь немедленно в карету. Вас отвезут к вам на дом, и там вы узнаете, в чем дело.

Берейтор соскочил с запяток кареты и помог доктору войти. Дверца захлопнулась.

Кавалькада двинулась, взрывая сухую землю. Через минуту все скрылись за углом.

Ни капитан Бонавентура, ни гвардейцы не увидели за толпой гимнаста Тибула. Пожалуй, увидав негра, они не узнали бы в нем того, за кем охотились в прошлую ночь.

Казалось, опасность миновала. Но вдруг раздалось ехидное шипение.

Силач Лапитуп высунул голову из-за барьера, обтянутого коленкором, и шипел:

— Погоди... погоди, дружок! — Он погрозил Тибулу огромным кулачищем.— Погоди, вот я сейчас догоню гвардейцев и скажу, что ты здесь!

С этими словами он полез через барьер. Барьер не выдержал розовой туши. Закричав утиным голосом, барьер сломался.

Силач выдернул ногу из образовавшейся щели и, растолкав кучу людей, бросился бежать вдогонку карете.

— Остановитесь! — вопил он на ходу, размахивая круглыми голыми руками.— Остановитесь! Гимнаст Тибул нашелся! Гимнаст Тибул здесь! Он в моих руках!

Дело принимало угрожающий оборот. А тут еще вмешался испанец с вращающимся глазом и пистолетом за поясом; другой пистолет он держал в руке. Испанец поднял шум. Он прыгал на подмостках и выкрикивал:

— Граждане! Нужно выдать Тибула гвардейцам, иначе нам будет плохо. Граждане, нельзя ссориться с Тремя Толстяками!

К нему присоединился директор балагана, в котором так неудачно выступил силач Лапитуп.

— Он сорвал мой спектакль! Он прогнал силача Лапитупа! Я не хочу отвечать за него перед Тремя Толстяками!

Толпа загородила Тибула.

Силач не догнал гвардейцев. Он снова появился на площади. Он несся на всех парах прямо на Тибула. Испанец соскочил с подмостков и вытащил второй пистолет. Директор балагана достал откуда-то белый бумажный круг,— дрессированные собаки в цирке прыгают через такие круги. Он размахивал этим кругом и ковылял с подмостков за испанцем.

Испанец взвел курок.

Тибул увидел, что надо бежать. Толпа раздалась. В следующую минуту Тибула уже не было на площади. Перепрыгнув через забор, он очутился в огороде. Он посмотрел в щель. Силач, испанец и дирек-

тор бежали к огороду. Зрелище было очень смешное. Тибул засмеялся. Силач бежал, как взбесившийся слон, испанец походил на крысу, прыгающую на задних лапах, а директор хромал, как подстреленная ворона.

— Мы тебя возьмем живьем! — кричали они.— Сдавайся!

Испанец щелкал курком и зубами. Директор потрясал бумажным кругом.

Тибул ожидал нападения. Он стоял на рыхлой черной земле. Вокруг были грядки. Тут росла капуста, свекла, вились какие-то зеленые усики, торчали стебли, лежали широкие листья.

Все шевелилось от ветра. Ярко сияло синее чистое небо.

Сражение началось.

Все трое приблизились к забору.

— Ты здесь? — спросил силач.

Никто не ответил.

Тогда сказал испанец:

— Сдавайся! У меня в каждой руке по пистолету. Пистолеты самой лучшей фирмы — «Мошенник и Сын». Я лучший стрелок в стране, понимаешь?

Тибул не отличался искусством пистолетной стрельбы. Он даже не имел пистолета, но у него под рукой, или, вернее, под ногой, было очень много капустных голов. Он нагнулся, оторвал одну, круглую и увесистую, и швырнул через забор. Капустная голова угодила в живот директору. Потом полетела вторая, третья. Они разрывались не хуже бомб.

Враги растерялись.

Тибул нагнулся за четвертой. Он схватил ее за круглые щеки, сделал усилие, чтобы вырвать, но — увы! — капустная голова не поддалась. Мало того, она заговорила человеческим голосом:

— Это не капустная голова, а моя голова. Я продавец детских воздушных шаров. Я бежал из Дворца Трех Толстяков и попал в подземный ход. Его начало в кастрюле, а конец здесь. Он тянется под землей в виде длинной кишки...

Тибул не верил своим ушам: капустная голова выдавала себя за человеческую!

Тогда он нагнулся и посмотрел на чудо. Глазам пришлось поверить. Глаза человека, умеющего ходить по канату, не врут.

То, что он увидел, действительно не имело ничего общего с капустной головой. Это была круглая рожа продавца воздушных шаров. Как и всегда, она походила на чайник — тонконосый чайник, расписанный маргаритками.

Продавец выглядывал из земли, а взрытая земля, рассыпавшись мокрыми комками, окружала его шею черным воротником.

— Здорово! — сказал Тибул.

Продавец смотрел на него круглыми глазами, в которых отражалось умиленное небо.

— Я отдал поварятам мои воздушные шары, и поварята меня выпустили... А вот, кстати, летит один из этих шаров...

Тибул посмотрел и увидел высоко-высоко в ослепительной синеве маленький оранжевый шар.

Это был один из шаров, выпущенных поварятами.

Те трое, что стояли за забором и обдумывали план атаки, тоже увидели шар. Испанец забыл обо всем. Испанец подпрыгнул на сажень, завращал вторым глазом и стал в позу. Он был страстным стрелком.

— Смотрите,— кричал он,— на высоте десяти колоколен летит дурацкий шар! Держу пари на десять золотых монет, что я попаду в него. Нет лучше стрелка, чем я.

Никто не захотел держать с ним пари, но это не охладило испанца. Силач и директор пришли в негодование.

— Осел! — зарычал силач.— Осел! Теперь не время заниматься охотой за шарами. Осел! Мы должны захватить Тибула. Не трать понапрасну зарядов.

Ничто не помогало. Шар казался слишком заманчивой целью для меткого стрелка. Испанец стал прицеливаться, закрыв свой неугомонный глаз. И пока он целился, Тибул вытащил продавца из земли. Что это было за зрелище! Чего только не было на его одежде! И остатки крема и сиропа, и куски прилипшей земли, и нежные звездочки цукатов!

В том месте, откуда Тибул вытащил его, как пробку из бутылки, осталась черная дыра. В эту дыру посыпалась земля, и звук получался такой, точно крупный дождь стучал по поднятому верху экипажа.

Испанец выстрелил. Конечно, он не попал в шар. Увы! Он попал в зеленую шляпу своего директора, которая и сама была высотою с колокольню. Тибул бежал из огорода, перепрыгнув через противоположный забор.

Зеленая шляпа упала, покатившись на манер самоварной трубы. Испанец страшно сконфузился: слава лучшего стрелка погибла! Мало того, погибло уважение директора.

— Ах, негодяй! — Директор был вне себя и, задыхаясь от гнева, надел с размаху бумажный круг на голову испанцу.

Круг с треском разорвался, и голова испанца оказалась в зубчатом бумажном воротнике.

Один Лапитуп остался не у дел. Но выстрел всполошил окрестных собак. Одна из них вылетела откуда-то и понеслась на силача.

— Спасайся кто может! — успел крикнуть Лапитуп.

Все трое обратились в бегство.

Продавец остался один. Он взобрался на забор и посмотрел вокруг. Три приятеля скатились под зеленый откос. Лапитуп прыгал на одной ноге, держась за укушенную толстую икру, директор влез на дерево и висел на нем с видом совы, а испанец, мотая головой, торчавшей из бумажного круга, отстреливался от собаки, попадая всякий раз в огородное чучело.

Собака стояла над откосом и, по-видимому, не хотела нападать снова. Вполне удовлетворенная вкусом Лапитуповой икры, она виляла хвостом и широко улыбалась, свесив розовый блестящий язык.

Глава VI

НЕПРЕДВИДЕННОЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВО

— Спросите доктора Гаспара Арнери,— ответил гимнаст Тибул на вопрос, почему он стал негром.

Но и не спрашивая доктора Гаспара, можно догадаться о причине. Вспомним: Тибулу удалось скрыться с поля сражения. Вспомним: гвардейцы охотились на него, они сжигали рабочие кварталы, они подняли стрельбу на площади Звезды. Тибул нашел убежище в доме доктора Гаспара. Но и тут каждую минуту его могли найти. Опасность была очевидна. Слишком многие знали его в лицо.

Любой лавочник был на стороне Трех Толстяков, потому что сам был толст и богат. Всякий богач, живший по соседству с доктором Гаспаром, мог бы донести гвардейцам о том, что доктор приютил Тибула.

— Вам нужно переменить внешность,— сказал доктор Гаспар в ту ночь, когда Тибул появился в его доме.

И доктор Гаспар сделал Тибула другим.

Он говорил:

— Вы великан. У вас огромная грудная клетка, широкие плечи, блестящие зубы, курчавые жесткие черные волосы. Если бы не белый цвет кожи, вы походили бы на североамериканского негра. Вот и отлично. Я вам помогу стать черным.

Доктор Гаспар Арнери изучил сто наук. Он был очень серьезным человеком, но имел добродушный нрав. Делу время, а потехе час. Иногда он любил развлечься. Но и отдыхая, он оставался ученым. Тогда он приготовлял переводные картинки в подарок для бедных приютских детей, делал удивительные фейерверки, игрушки, строил музыкальные инструменты с голосами неслыханной прелести, составлял новые краски.

— Вот,— сказал он Тибулу,— вот посмотрите. В этом флаконе бесцветная жидкость. Но, попав на какое-нибудь тело, под влиянием сухого воздуха она окрашивает тело в черный цвет, притом как раз такого лиловатого оттенка, который свойствен негру. А вот в этом флаконе эссенция, уничтожающая эту окраску.

Тибул снял свое трико, сшитое из разноцветных треугольников, и натерся колючей, пахнущей угаром жидкостью.

Через час он сделался черным.

Тогда вошла тетушка Ганимед со своей мышью. Дальше мы знаем.

Вернемся к доктору Гаспару. Мы расстались с ним в тот момент, когда капитан Бонавентура увез его в черной карете дворцового чиновника.

Карета летела во весь дух. Мы уже знаем, что силач Лапитуп не догнал ее.

В карете было темно. Очутившись внутри, доктор сперва решил, что сидящий рядом с ним чиновник держит на коленях ребенка — девочку, у которой взлохмачены волосы.

Чиновник молчал. Ребенок тоже.

— Простите, не слишком ли много я занял места? — спросил вежливый доктор, поднимая шляпу.

Чиновник ответил сухо:

— Не беспокойтесь.

Свет мелькал в узких окнах кареты. Через минуту глаза привыкли к темноте. Тогда доктор разглядел длинный нос чиновника и полуопущенные веки и прелестную девочку в нарядном платьице. Девочка казалась очень печальной. И, вероятно, она была бледна, но в сумраке этого нельзя было определить.

«Бедненькая! — подумал доктор Гаспар.— Она, должно быть, больна».

И снова обратился к чиновнику:

— По всей вероятности, требуется моя помощь? Бедное дитя заболело?

— Да, требуется ваша помощь,— ответил длинный нос.

«Нет никакого сомнения, что это племянница одного из Трех Толстяков или маленькая гостья наследника Тутти.— Доктор строил свои соображения.— Она богато одета, ее везут из дворца, капитан гвардии ее сопровождает — ясно, что это очень важная особа. Да, но ведь живых детей не допускают к наследнику Тутти. Каким же образом этот ангелок попал во дворец?»

Доктор терялся в догадках. Он снова попытался завязать разговор с носатым чиновником:

— Скажите: чем больна эта девочка? Неужели дифтеритом?

— Нет, у нее дыра в груди.

— Вы хотите сказать, что у нее не в порядке легкие?

— У нее дыра в груди,— повторил чиновник.

Доктор из вежливости не спорил.

— Бедная девочка! — вздохнул он.

— Это не девочка, а кукла,— сказал чиновник.

Тут карета подъехала к дому доктора.

Чиновник с куклой и капитан Бонавентура вошли вслед за доктором в дом. Доктор принял их в мастерской.

— Если это кукла, то зачем могут понадобиться мои услуги?

Чиновник начал объяснять, и все стало ясно.

Тетушка Ганимед, еще не оправившаяся от утренних волнений, заглядывала в щелку. Она видела страшного капитана Бонавентуру. Он стоял, опираясь на саблю и подрагивая ногой в огромном сапоге с отворотом. Шпоры его походили на кометы. Тетушка видела печальную больную девочку в розовом нарядном платьице, которую чиновник усадил в кресло. Девочка опустила голову с растрепанными волосами и, казалось, смотрела вниз, на свои милые ножки в атласных туфельках с золотыми розами вместо помпонов.

Сильный ветер кидал ставню в галерее, и этот стук мешал тетушке Ганимед слушать.

Но она кое-что поняла.

Чиновник показал доктору Гаспару приказ Государственного совета Трех Толстяков. Доктор прочел и заволновался.

— Кукла должна быть исправлена к завтрашнему утру,— сказал чиновник, вставая.

Капитан Бонавентура звякнул шпорами.

— Да... но...— Доктор развел руками.— Я постараюсь, но разве можно ручаться? Я незнаком с механизмом этой волшебной куклы. Мне нужно изучить. Мне нужно его изучить, мне нужно установить свойство повреждений, мне нужно изготовить новые части этого механизма. Для этого потребуется много времени. Быть может, мое искусство окажется бессильным... Быть может, мне не удастся восстановить здоровье израненной куклы... Я боюсь, господа... Такой короткий срок... Одна только ночь... Я не могу обещать...

Чиновник прервал его. Подняв палец, он сказал:

— Горе наследника Тутти слишком велико, чтобы мы могли медлить. Кукла должна воскреснуть к завтрашнему утру. Такова воля Трех Толстяков. Никто не смеет не подчиняться их приказу. Завтра утром вы принесете исправленную, здоровую куклу во Дворец Трех Толстяков.

— Да... но...— протестовал доктор.

— Никаких разговоров! Кукла должна быть исправлена к завтрашнему утру. Если вы сделаете это, вас ожидает награда, если нет — суровая кара.

Доктор был потрясен.

— Я постараюсь,— лепетал он.— Но поймите, это слишком ответственное дело...

— Конечно,— отрубил чиновник и опустил палец.— Я передал вам приказ, вы обязаны его исполнить. Прощайте.

Тетушка Ганимед отпрянула от двери и убежала в свою комнату, где в углу потрескивала счастливая мышь. Страшные гости вышли. Чиновник уселся в карету; граф Бонавентура, засверкав и зазвенев, вскочил на лошадь; гвардейцы надвинули шляпы. И все ускакали.

Кукла наследника Тутти осталась в мастерской доктора.

Доктор проводил посетителей, потом отыскал тетушку Ганимед и сказал ей необычно строгим голосом:

— Тетушка Ганимед! Запомните. Я дорожу славой мудрого человека, искусного доктора и хитрого мастера. Кроме того, дорожу своей головой. Завтра утром я могу потерять и то и другое. Мне предстоит тяжелая работа всю эту ночь. Поняли? — Он помахал приказом Государственного совета Трех Толстяков.— Никто мне не должен мешать. Не производите шума. Не стучите тарелками. Не делайте угара. Не сзывайте кур. Не ловите мышей. Никаких яичниц, цветных капуст, мармеладов и валерьяновых капель! Поняли?

Доктор Гаспар был очень сердит.

Тетушка Ганимед заперлась в своей комнате.

— Странные вещи, очень странные вещи! — ворчала она.— Я ничего не понимаю. Какой-то негр, какая-то кукла, какой-то приказ... Странные наступили дни!

Чтобы успокоиться, она решила написать письмо своей племяннице. Пришлось писать очень осторожно, чтобы не скрипело перо. Она боялась потревожить доктора.

Прошел час. Тетушка Ганимед писала. Она дошла до описания удивительного негра, который появился сегодня утром в мастерской доктора Гаспара.

«...Они ушли вдвоем. Доктор вернулся с дворцовым чиновником и гвардейцами. Они привезли куклу, ничем не отличающуюся от девочки, но негра с ними не было. Куда он делся, я не знаю...»

Вопрос о том, куда делся негр, он же гимнаст Тибул, беспокоил и доктора Гаспара. Работая над куклой, он не переставал думать о судьбе Тибула. Он сердился. Он разговаривал сам с собой:

— Какая неосторожность! Я превратил его в негра, я окрасил его в чудесную краску, я сделал его совершенно неузнаваемым, а он сам себя выдал сегодня на Четырнадцатом Рынке. Ведь его могут схватить... Ах! Ну как же он неосторожен! Неужели ему хочется попасть в железную клетку?

Очень велико было расстройство доктора Гаспара. Неосторожность Тибула, затем эта кукла... Кроме того, вчерашние волнения, десять плах на площади Суда...

— Ужасное время! — воскликнул доктор.

Он не знал, что сегодняшняя казнь отменена. Дворцовый чиновник был неразговорчив. Он не сообщил доктору о том, что произошло сегодня во дворце.

Доктор рассматривал бедную куклу и недоумевал:

— Откуда эти раны? Они нанесены холодным оружием, должно быть, саблей. Куклу, чудесную девочку, искололи... Кто это сделал? Кто осмелился колоть саблей куклу наследника Тутти?

Доктор не предполагал, что это сделали гвардейцы. Он не мог допустить мысли, что даже дворцовая гвардия отказывается служить Трем Толстякам и переходит на сторону народа. Как бы он обрадовался, если бы в действительности узнал об этом!

Доктор взял в руки личико куклы. Солнце летело в окно. Оно ярко освещало куклу. Доктор смотрел.

«Странно, очень странно,— размышлял он.— Я где-то видел уже это лицо... Ну да, конечно! Я видел его, я его узнаю. Но где? Когда? Оно было живое, оно было живым лицом девочки, оно улыбалось, строило чудные рожи, было внимательным, было кокетливым и грустным... Да, да. Не может быть в этом сомнения! Но проклятая близорукость мешает мне запоминать лица».

Он подносил кудрявую головку куклы близко к своим глазам.

«Какая удивительная кукла! Какой умный мастер ее создал! Она не похожа на обыкновенную куклу. У куклы обычно голубые вытаращенные глаза, не человеческие и бессмысленные, вздернутый носик, губки бантиком, глупые белокурые кудряшки, точь-в-точь как у барашка. Кукла кажется счастливой по виду, но в действительности она глупа... А в этой кукле нет ничего кукольного. Клянусь, она может показаться девочкой, превращенной в куклу!»

Доктор Гаспар любовался своей необыкновенной пациенткой. И все время его не покидала мысль о том, что где-то когда-то он видел это же бледное личико, серые внимательные глаза, короткие растрепанные волосы. Особенно знакомым ему казался поворот головы и взгляд: она наклоняла голову чуть-чуть набок и смотрела на доктора снизу, внимательно, лукаво...

Доктор не выдержал и громко спросил:

— Кукла, как тебя зовут?

Но девочка молчала. Тогда доктор спохватился. Кукла испорчена; нужно вернуть ей голос, починить сердце, научить ее снова улыбаться, танцевать и вести себя так, как ведут себя девочки в ее возрасте.

«Ей на вид двенадцать лет».

Медлить нельзя было. Доктор принялся за работу. «Я должен воскресить куклу».

Тетушка Ганимед дописала свое письмо. Два часа она скучала. Потом ее начало разбирать любопытство. «Что за спешную работу должен выполнять доктор Гаспар? Что это за кукла?»

Она тихо подкралась к дверям мастерской и заглянула в сердцевидную щелку. Увы! Туда был вставлен ключ. Она ничего не увидела, но зато дверь открылась, и вышел доктор Гаспар. Он был так расстроен, что даже не сделал замечания тетушке Ганимед за ее нескромность. Тетушка Ганимед сконфузилась и без того.

— Тетушка Ганимед,— сказал доктор.— Я ухожу. Вернее, мне придется поехать. Позовите извозчика.

Он помолчал, потом стал тереть ладонью лоб.

— Я еду во Дворец Трех Толстяков. Очень возможно, что я не вернусь оттуда.

Тетушка Ганимед отступила в изумлении:

— Во Дворец Трех Толстяков?

— Да, тетушка Ганимед. Дело очень скверное. Мне привезли куклу наследника Тутти. Это самая лучшая кукла в мире. Механизм ее сломался. Государственный совет Трех Толстяков приказал мне исправить эту куклу к завтрашнему утру. Мне грозит суровая кара.

Тетушка Ганимед готовилась заплакать.

— И вот я не могу исправить эту бедную куклу. Я разобрал механизм, спрятанный в ее груди, я понял его секрет, я сумел бы восстановить его. Но... такая мелочь! Из-за пустяка, тетушка Ганимед, я не могу этого сделать. Там, в этом хитром механизме, есть зубчатое колесо — оно треснуло... Оно никуда не годится! Нужно сделать новое... У меня есть подходящий металл, вроде серебра... Но прежде чем приступить к работе, нужно продержать этот металл в растворе купороса по крайней мере два дня. Понимаете, два дня... А кукла должна быть готова завтра утром.

— А какое-нибудь другое колесо нельзя вставить? — робко предложила тетушка Ганимед.

Доктор печально махнул рукой:

— Я все испробовал, ничего не выходит.

Через пять минут перед домом доктора Гаспара стоял крытый извозчик. Доктор решил ехать во Дворец Трех Толстяков.

— Я им скажу, что к завтрашнему утру кукла не может быть готова. Пусть делают со мной что хотят...

Тетушка Ганимед кусала передник и качала головой до тех пор, пока не испугалась, что голова отвалится.

Доктор Гаспар усадил рядом с собой куклу и уехал.

Глава VII

НОЧЬ СТРАННОЙ КУКЛЫ

Ветер свистал в оба уха доктора Гаспара. Мелодия выходила отвратительная, даже хуже того негритянского галопа, который зажаривают дуэтом точильное колесо и нож под руками старательного точильщика.

Доктор закрыл уши воротником и подставил ветру спину.

Тогда ветер занялся звездами. Он то задувал их, то катил, то проваливал за черные треугольники крыш. Когда эта игра надоела, он выдумал тучи. Но тучи развалились, как башни. Тут ветер сразу стал холодным: он похолодел от злости.

Доктору пришлось закутаться в плащ. Половину плаща он уделил кукле.

— Погоняйте! Погоняйте! Пожалуйста, погоняйте!

Ни с того ни с сего доктору стало страшно, и он торопил кучера.

Было очень тревожно, темно и пустынно. Только в нескольких окнах появились красноватые огоньки, остальные были закрыты ставнями. Люди ожидали страшных событий.

В этот вечер многое казалось необычным и подозрительным. И порой доктор даже опасался, что глаза странной куклы, чего доброго, засияют в темноте, как два прозрачных камушка. Он старался не смотреть на свою спутницу.

«Чепуха! — успокаивал он себя.— У меня расходились нервы. Самый обыкновенный вечер. Только мало прохожих. Только ветер так странно кидает их тени, что каждый встречный кажется наемным убийцей в крылатом таинственном плаще... Только газовые фонари на перекрестках горят каким-то мертвенно-голубым светом... Ах, если бы скорей добраться до Дворца Трех Толстяков!..»

Есть очень хорошее средство от страха: заснуть. Особенно рекомендуется натянуть на голову одеяло. Доктор прибег к этому средству. Одеяло он заменил шляпой, которую плотно надвинул на глаза. Ну и, конечно, начал считать до ста. Это не помогло. Тогда он воспользовался сильно действующим средством. Он повторял про себя:

— Один слон и один слон — два слона; два слона и один слон — три слона; три слона и один слон — четыре слона...

Дошло до целого табуна слонов. А уже сто двадцать третий слон из воображаемого слона превратился в настоящего слона. И так как доктор не мог понять, слон ли это или розовый силач Лапитуп, то, очевидно, доктор спал и начинал видеть сон.

Время во сне проходит гораздо быстрее, чем наяву. Во всяком случае, доктор во сне успел не только доехать до Дворца Трех Толстяков, но и предстать пред их судом. Каждый Толстяк сидел на таком же толстом слоне. Доктор стоял перед ними, держа за руку куклу, как цыган держит свою обезьянку в синей юбке.

Они не хотели слушать никаких объяснений.

«Ты не выполнил приказа,— говорили они.— Ты заслужил суровую кару. Вместе с куклой ты должен пройти по проволоке над площадью Звезды. Только сними очки...»

Доктор просил прощения. Главным образом он боялся за участь куклы... Он говорил так:

«Я уже привык, я уже умею падать... Если я сорвусь с проволоки и упаду в бассейн, это ничего. Я имею опыт: я падал вместе с башней на площади у городских ворот... Но кукла, бедная кукла! Она разобьется вдребезги... Пожалейте ее... Ведь я уверен, что это не кукла, а живая девочка с чудесным именем, которое я забыл, которое я не могу припомнить...»

«Нет! — кричали Толстяки.— Нет! Никакого прощения! Таков приказ Трех Толстяков!»

Крик был так резок, что доктор проснулся.

— Таков приказ Трех Толстяков! — кричал кто-то над самым его ухом.

Теперь уже доктор не спал. Это кричали наяву. Доктор освободил глаза, или, вернее, очки, из-под шляпы и огляделся. Ночь, пока он спал, успела основательно почернеть.

Экипаж стоял. Его окружили черные фигуры: они-то и подняли крик, впутавшись в сон доктора. Они размахивали фонарями. От этого перелетали решетчатые тени.

— В чем дело? — спросил доктор.— Где мы находимся? Кто эти люди?

Одна из фигур приблизилась и подняла фонарь на уровень головы, осветив доктора. Фонарь закачался. Рука, державшая его сверху за кольцо, была в перчатке из грубой кожи, с широким раструбом.

Доктор понял: гвардейцы.

— Таков приказ Трех Толстяков,— повторила фигура.

Желтый свет разрывал ее на части. Поблескивала клеенчатая шляпа, ночью производившая впечатление железной.

— Никто не имеет права приблизиться к дворцу ближе, чем на километр. Сегодня издали этот приказ. В городе волнения. Дальше ехать нельзя.

— Да, но мне необходимо явиться во дворец.

Доктор был возмущен.

Гвардеец говорил железным голосом:

— Я начальник караула, капитан Цереп. Я вас не пущу дальше ни на шаг. Поворачивай! — крикнул он кучеру, замахнувшись фонарем.

Доктору стало не по себе. Однако он не сомневался, что, узнав, кто он и почему ему нужно во дворец, его немедленно пропустят.

— Я доктор Гаспар Арнери,— сказал он.

В ответ загремел смех. Со всех сторон заплясали фонари.

— Гражданин, мы не расположены шутить в такое тревожное время и в такой поздний час,— сказал начальник караула.

— Я повторяю вам: я доктор Гаспар Арнери.

Начальник караула впал в ярость. Он медленно и раздельно проговорил, сопровождая каждое слово звяканьем сабли:

— Для того чтобы проникнуть во дворец, вы прикрываетесь чужим именем. Доктор Гаспар Арнери не шатается по ночам. Особенно в эту ночь. Сейчас он занят важнейшим делом: он воскрешает кук-

лу наследника Тутти. Только завтра утром он явится во дворец. А вас, как обманщика, я арестую.

— Что?! — Тут уже доктор пришел в ярость.

«Что?! Он смеет мне не верить? Хорошо. Я ему сейчас покажу куклу!»

Доктор протянул руку за куклой — и вдруг...

Куклы не оказалось. Пока он спал, она выпала из экипажа.

Доктор похолодел.

«Может быть, это все сон?» — мелькнуло у него в сознании.

Увы! Это была действительность.

— Ну! — промычал начальник караула, сжимая зубы и шевеля пальцами, державшими фонарь.— Уезжайте к черту! Я вас отпускаю, чтобы не возиться со старикашкой... Вон!

Пришлось повиноваться. Кучер повернул. Экипаж заскрипел, фыркнула лошадь, железные фонари метнулись в последний раз, и бедный доктор поехал обратно.

Он не выдержал и заплакал. С ним так грубо разговаривали, его назвали старикашкой, а самое главное — он потерял куклу наследника Тутти!

«Это значит, что я потерял голову в самом буквальном смысле».

Он плакал; очки его вспотели, он ничего не видел. Ему захотелось зарыться головой в подушку.

Между тем кучер погонял лошадь. Десять минут огорчался доктор. Но вскоре вернулась к нему обычная его рассудительность.

«Я еще могу найти куклу,— обдумывал он.— В эту ночь мало прохожих. Это место всегда пустынно. Может быть, никто за это время не прошел по дороге...»

Он приказал кучеру продвигаться шагом и внимательно осматривать путь.

— Ну что? Ну что? — спрашивал он каждую минуту.

— Ничего не видно. Ничего не видно,— отвечал кучер.

Он сообщал о совсем ненужных и неинтересных находках:

— Бочонок.

— Нет... не то...

— Хороший, большой кусок стекла.

— Нет.

— Рваный башмак.

— Нет,— все тише отвечал доктор.

Кучер старался вовсю. Он высмотрел все глаза. В темноте он видел так хорошо, точно был не кучером, а капитаном океанского парохода.

— А куклы, куклы вы не видите? Куклы в розовом платьице?

— Куклы нет,— говорил кучер печальным басом.

— Ну, в таком случае ее подобрали. Больше искать нет смысла... Здесь, на этом месте, я заснул... Тогда еще она сидела рядом со мной... Ах!..

И доктор снова готов был заплакать.

Кучер несколько раз сочувственно потянул носом.

— Что же делать?

— Ах, я уж не знаю... Ах, я уж не знаю...— Доктор сидел, опустив голову на руки, и покачивался от горя и толчков экипажа.—Я знаю,— сказал он.— Ну конечно... ну конечно... Как мне раньше не пришло это в голову! Она убежала, эта кукла... Я заснул, а она убежала. Ясно. Она была живая. Я сразу это заметил. Впрочем, это не уменьшает моей вины перед Тремя Толстяками...

Тут ему захотелось кушать. Он помолчал немного, а потом заявил очень торжественно:

— Я сегодня не обедал. Везите меня к ближайшему трактиру.

Голод успокоил доктора.

Долго они ездили по темным улицам. Все трактирщики позакрывали свои двери. Все толстяки переживали в эту ночь тревожные часы.

Они приколотили новые засовы и заставили входы комодами и шкафами. Они забили окна перинами и полосатыми подушками. Они не спали. Все, кто был потолще и побогаче, ожидали в эту ночь нападения. Цепных собак не кормили с утра, чтобы они стали внимательнее и злее. Жуткая ночь наступила для богатых и толстых. Они были уверены, что каждую минуту народ может снова подняться. Слух о том, что несколько гвардейцев изменили Трем Толстякам, искололи куклу наследника Тутти и ушли из дворца, распространился по городу. Это очень тревожило всех богачей и обжор.

— Черт возьми! — возмущались они.— Мы уже не можем надеяться на гвардейцев. Вчера они подавили восстание народа, а сегодня они направят свои пушки на наши дома.

Доктор Гаспар потерял всякую надежду утолить свой голод и отдохнуть. Вокруг не было никаких признаков жизни.

— Неужели ехать домой? — взмолился доктор.— Но это так далеко... Я умру от голода.

И вдруг он почувствовал запах жаркого. Да, приятно пахло жареным: вероятно, бараниной с луком. А кучер в ту же минуту увидел невдалеке свет. Узкая полоса света шаталась под ветром.

Что это было?

— Вот если бы трактир! — воскликнул доктор в восторге.

Они подъехали.

Оказалось, вовсе не трактир.

В стороне от нескольких домишек, на пустыре, стоял дом на колесах.

Узкая полоса света оказалась щелью неплотно закрытой двери этого дома.

Кучер слез с козел и пошел на разведку. Доктор, забыв о злоключениях, наслаждался запахом жаркого. Он сопел, посвистывал носом и жмурился.

— Во-первых, я боюсь собак! — кричал кучер из темноты.— Во-вторых, здесь какие-то ступеньки...

Все обошлось благополучно. Кучер взобрался по ступенькам к дверям и постучал.

— Кто там?

Узкая полоска света превратилась в широкий, яркий четырех-

угольник. Дверь раскрылась. На пороге стоял человек. Среди пустого окрестного мрака на этом ярко освещенном фоне он казался плоским, вырезанным из черной бумаги.

Кучер отвечал за доктора:

— Это доктор Гаспар Арнери. А кто вы такие? Чей это дом на колесах?

— Здесь балаганчик дядюшки Бризака,— ответила китайская тень с порога. Она чему-то обрадовалась, заволновалась, замахала руками.— Пожалуйте, господа, пожалуйте! Мы очень довольны, что доктор Гаспар Арнери посетил балаганчик дядюшки Бризака.

Счастливый конец! Довольно ночных странствий! Да здравствует балаганчик дядюшки Бризака!

И доктор, и кучер, и лошадь нашли приют, ужин, отдых. Дом на колесах оказался гостеприимным домом. В нем жила бродячая труппа дядюшки Бризака.

Кто не слышал этого имени! Кто не знал о балаганчике дядюшки Бризака! Круглый год балаганчик устраивал свои представления на рыночных площадях в дни праздников и ярмарок. Какие здесь были искусные актеры! Как занимательны были их спектакли! И главным было то, что здесь, в этом балаганчике, выступал канатоходец Тибул.

Мы уже знаем, что он покрыл себя славой лучшего канатоходца в стране. Свидетелями его ловкости мы были на площади Звезды, когда по проволоке он прошел над страшной бездной под пулями гвардейцев.

Сколько мозолей вскакивало на руках зрителей, и маленьких и больших, когда Тибул выступал на рыночных площадях! Так усердно хлопали ему и лавочники, и нищие старухи, и школьники, и солдаты, и все, все... Теперь, впрочем, лавочники и франты сожалели о своем прежнем восторге: «Мы ему рукоплескали, а он сражается против нас...»

Балаганчик дядюшки Бризака осиротел: гимнаст Тибул покинул его.

Доктор Гаспар ничего не сказал о том, что произошло с Тибулом. Умолчал он также о кукле наследника Тутти.

Что увидел доктор в балаганчике, внутри дома на колесах?

Его усадили на большом турецком барабане, украшенном пунцовыми треугольниками и золотой проволокой, сплетенной в виде сетки. Дом, построенный на манер вагона, состоял из нескольких жилищ, разделенных холщовыми перегородками.

Был поздний час. Население балаганчика спало. Человек, открывший дверь и казавшийся китайской тенью, был не кто иной, как старый клоун. Звали его Август. Он нес дежурство в эту ночь. Когда доктор подъехал к балаганчику, он готовил себе ужин. Действительно, это была баранина с луком.

Доктор сидел на барабане и осматривал помещение. На ящике горела керосиновая лампа. На стенках висели обручи, обтянутые папиросной бумагой, белой и розовой, длинные полосатые бичи с блестящими металлическими ручками, костюмы, осыпанные золотыми кружочками, расшитые цветами, звездами, разноцветными лоску-

тами. Со стен глядели маски. У некоторых торчали рога; у других нос напоминал турецкую туфлю; у третьих рот был от уха до уха. Одна маска отличалась огромными ушами. Самое смешное было то, что уши были человеческие, только очень большие.

В углу, в клетке, сидел какой-то маленький непонятный зверь. У одной из стен стоял длинный деревянный стол. Над ним висели зеркальца. Десять штук. Возле каждого зеркальца торчала свеча, приклеенная к столу собственным соком, стеарином. Свечи не горели. На столе валялись коробочки, кисточки, краски, пуховки, парики, лежала розовая пудра, высыхали разноцветные лужицы.

— Мы удирали сегодня от гвардейцев,— заговорил клоун.— Вы знаете, гимнаст Тибул был нашим актером. Гвардейцы хотели нас схватить: они думают, что мы спрятали его.

Старый клоун казался очень печальным.

— А мы сами не знаем, где гимнаст Тибул. Его, должно быть, убили или посадили в железную клетку.

Клоун вздыхал и качал седой головой. Зверь в клетке смотрел на доктора кошачьими глазами.

— Жаль, что вы так поздно приехали к нам,— говорил клоун.— Мы вас очень любим. Вы бы успокоили нас. Мы знаем, что вы друг обездоленных, друг народа. Я вам напомню один случай. Мы давали спектакль на рынке Бычачьей Печенки. Это было в прошлом году, весной. Моя девочка пела песенку...

— Так, так...— вспоминал доктор. Вдруг он почувствовал странное волнение.

— Помните? Вы тогда были на рынке. Вы смотрели наше представление. Моя девочка пела песенку о пироге, который предпочел лучше сгореть в печке, чем попасть в желудок толстого дворянина...

— Да, да... помню... дальше!

— Знатная дама, старуха, услыхала это и обиделась. Она велела своим носатым слугам выдрать мою девочку за уши.

— Да, я помню. Я вмешался. Я прогнал слуг. Дама узнала меня, и ей стало стыдно. Правда?

— Да. Потом вы ушли, а моя девочка сказала, что если бы ее выдрали за уши слуги знатной старухи, то она не могла бы жить... Вы ее спасли. Она этого никогда не забудет!

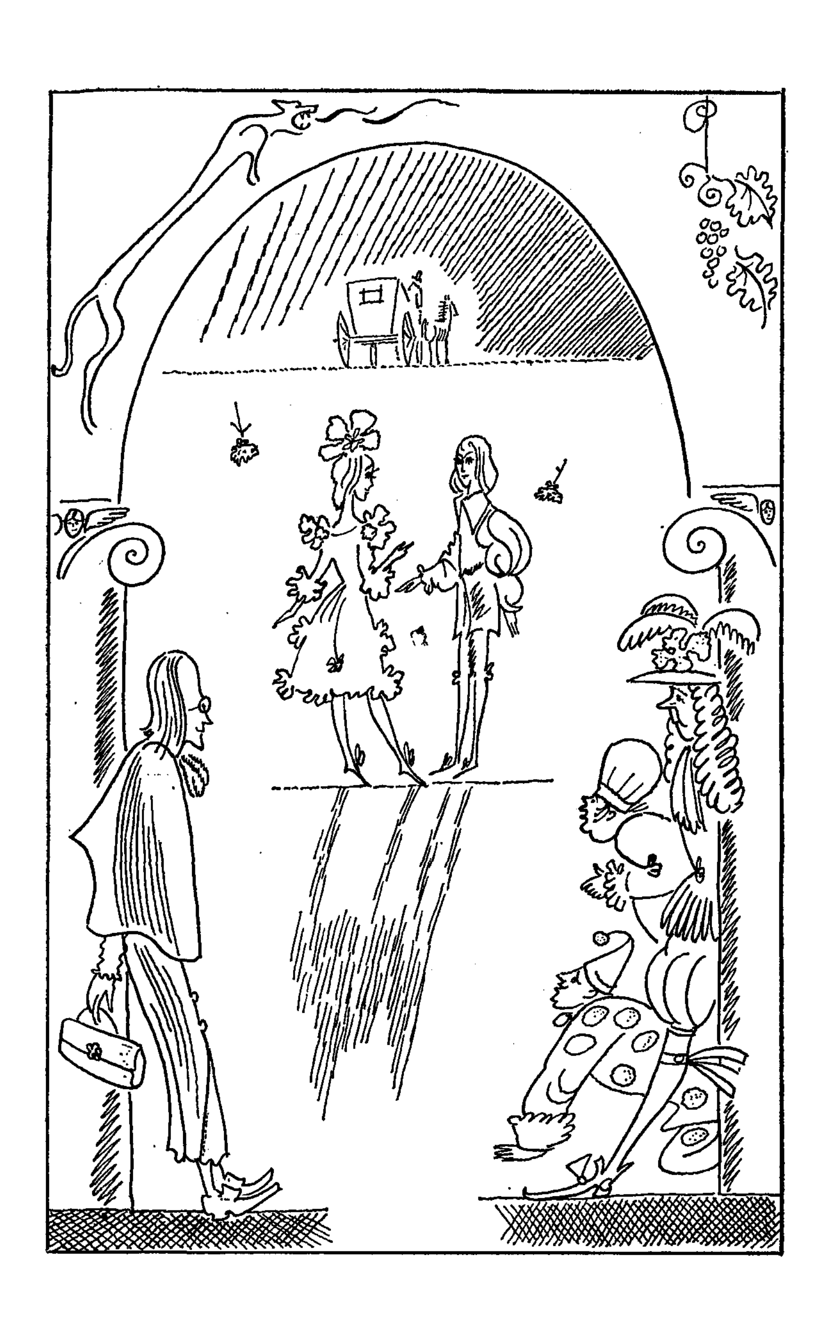
— А где ваша девочка теперь? — спросил доктор; он очень волновался.

Тогда старый клоун подошел к холщовой перегородке и позвал. Он сказал странное имя, произнес два звука, как будто раскрыл маленькую деревянную круглую коробочку, которая трудно раскрывается:

— Суок!

Прошло несколько секунд. Потом холщовая створка приподнялась, и оттуда выглянула девочка, чуть наклонив голову с растрепанными кудрями. Она смотрела на доктора серыми глазами, немного снизу, внимательно и лукаво.

Доктор поднял глаза и обомлел: это была кукла наследника Тутти!



ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

СУОК



Глава VIII

ТРУДНАЯ РОЛЬ МАЛЕНЬКОЙ АКТРИСЫ

Да, это была она!

Но, черт возьми, откуда же она взялась? Чудеса? Какие там чудеса! Доктор Гаспар прекрасно знал, что чудес не бывает. Это, решил он, просто обман. Кукла была живая, и, когда он имел неосторожность заснуть в экипаже, она удрала, как непослушная девочка.

— Нечего так улыбаться! Ваша заискивающая улыбка не уменьшает вашей вины,— сказал он строго.— Как видите, судьба вас наказала. Совершенно случайно я вас нашел там, где найти вас казалось невозможным.

Кукла вытаращила глаза. Потом она замигала, как маленький кролик, и растерянно посмотрела в сторону клоуна Августа. Тот вздохнул.

— Кто вы такая, отвечайте прямо!

Доктор придал своему голосу возможную суровость. Но кукла выглядела так очаровательно, что сердиться было очень трудно.

— Вот видите,— сказала она,— вы меня забыли. Я Суок.

— Су-ок...— повторил доктор.— Но ведь вы кукла наследника Тутти!

— Какая там кукла! Я обыкновенная девочка...

— Что?.. Вы притворяетесь!

Кукла вышла из-за перегородки. Лампа ярко освещала ее. Она улыбалась, наклонив набок растрепанную головку. Волосы у нее были такого цвета, как перья у маленьких серых птичек.

Мохнатый зверек в клетке смотрел на нее очень внимательно.

Доктор Гаспар был в полном недоумении. Через некоторое время читатель узнает весь секрет. Но сейчас мы хотим предупредить читателя об одном очень важном обстоятельстве, которое ускользнуло от внимательного взгляда доктора Гаспара Арнери. Человек в минуты волнения порой не замечает таких обстоятельств, которые, как говорят взрослые, бьют в глаза.

И вот это обстоятельство: теперь, в балаганчике, у куклы был совершенно иной вид.

Серые глаза ее весело блестели. Сейчас она казалась серьезной и внимательной, но от ее печали не осталось и следа. Напротив, вы бы сказали, что это шалунья, притворяющаяся скромницей.

Затем дальше. Куда же девалось ее прежнее великолепное платье, весь этот розовый шелк, золотые розы, кружева, блестки, сказочный наряд, от которого каждая девочка могла бы походить если не на принцессу, то, во всяком случае, на елочную игрушку? Теперь, представьте себе, кукла была одета более чем скромно. Блуза с синим матросским воротником, старенькие туфли, достаточно серые для того, чтобы не быть белыми. Туфли были надеты на босу ногу. Не думайте, что от этого простого наряда кукла стала некрасивой. Напротив, он был ей к лицу. Бывают такие замарашки: сперва не удостоишь их взглядом, а потом, присмотревшись внимательнее, видишь, что такая замарашка милей принцессы, тем более что принцессы или превращаются в лягушек или, наоборот, лягушки превращаются в принцесс.

Но вот самое главное: вы помните, на груди у куклы наследника Тутти были страшные черные раны. А теперь они исчезли.

Это была веселая, здоровая кукла!

Но доктор Гаспар ничего не заметил. Может быть, уже в следующую минуту он разобрал бы, в чем дело, но как раз в эту следующую минуту кто-то постучал в дверь. Тут дела еще больше запутались. В балаганчик вошел негр.

Кукла завизжала. Зверь в клетке фыркнул, хотя и не был кошкой, а каким-то более сложным животным.

Мы уже знаем, кто такой негр. Знал это и доктор Гаспар, сделавший этого негра из самого обыкновенного Тибула. Но никто другой секрета не знал.

Замешательство продолжалось пять минут. Негр вел себя самым

ужасающим образом. Он схватил куклу, поднял ее на воздух и начал целовать в щеки и нос, причем этот нос и щеки увертывались так энергично, что можно было сравнить целующего негра с человеком, который хочет укусить яблоко, висящее на нитке.

Старый Август закрыл глаза и, обалдев от страха, раскачивался, подобно китайскому императору, решающему вопрос: отрубить ли преступнику голову или заставить его съесть живую крысу без сахара?

Туфель слетел с ноги куклы и попал в лампу. Лампа опрокинулась и выпустила дух. Сделалось темно. Ужас достиг своих пределов. Тогда все увидели, что начался рассвет. Щели осветились.

— Вот уже рассвет,— сказал доктор Гаспар,— и мне нужно идти во Дворец Трех Толстяков вместе с куклой наследника Тутти.

Негр толкнул дверь. Серый свет с улицы вошел в жилище. Клоун сидел по-прежнему, и глаза его были закрыты. Кукла спряталась за перегородку.

Доктор Гаспар наскоро объяснил Тибулу, в чем дело. Он рассказал всю историю о кукле наследника Тутти, о том, как она исчезла и как теперь счастливо нашлась здесь, в балаганчике.

Кукла прислушивалась за перегородкою и ничего не понимала.

«Он его называет Тибулом,— удивлялась она.— Какой же это Тибул? Это ужасный негр. Тибул красивый, белый, а не черный...»

Тогда она высунула один глаз и посмотрела. Негр достал из кармана своих красных штанишек продолговатый флакон, откупорил его, отчего флакон пискнул, как воробей, и стал лить на себя из флакона какую-то жидкость. Через секунду произошло чудо. Негр стал белым, красивым и не черным. Сомнений не было. Это был Тибул!

— Ура! — закричала кукла и вылетела из-за перегородки прямо на шею Тибулу.

Клоун, который ничего не видел и решил, что произошло самое ужасное, упал с того, на чем сидел, и остался без движения. Тибул поднял его за штаны.

Теперь уже кукла без приглашения расцеловала Тибула.

— Вот здорово! — говорила она, задыхаясь от восторга.— Как же ты был такой черный? А я тебя не узнала.

— Суок! — сказал Тибул строго.

Она немедленно спрыгнула с его огромной груди и стала перед ним навытяжку, не хуже хорошего оловянного солдатика.

— Что? — спросила она, как школьник.

Тибул положил руку на ее растрепанную голову. Она смотрела на него снизу счастливыми серыми глазами.

— Ты слышала, что говорил доктор Гаспар?

— Да. Он говорил о том, что Три Толстяка поручили ему вылечить куклу наследника Тутти. Он сказал, что эта кукла удрала из его экипажа. Он говорит, что я — эта кукла.

— Он ошибается,— заявил Тибул.— Доктор Гаспар, это не кукла, смею вас уверить. Это мой маленький дружок, это девочка, танцовщица Суок, мой верный товарищ по цирковой работе.

— Правда! — обрадовалась кукла.— Ведь мы с тобой не раз ходили по проволоке.

Она была очень довольна, что Тибул назвал ее своим верным товарищем.

— Милый! — шепнула она и потерлась лицом об его руку.

— Как? — переспросил доктор.— Неужели это живая девочка? Суок, вы говорите?.. Да! Да! Действительно! Я теперь вижу ясно. Я вспоминаю. Ведь я видел однажды эту девочку. Да... да... Ведь я спас ее от слуг старухи, которые хотели побить ее палками!

Тут доктор даже всплеснул руками.

— Ха-ха-ха! Ну да, конечно. Оттого мне и казалось таким знакомым личико куклы наследника Тутти. Это просто удивительное сходство, или, как говорят в науке, феномен.

Все разъяснилось к общему удовольствию.

Делалось все светлей и светлей. На задворках простонал петух. И тут доктор снова опечалился.

— Да, все это прекрасно. Но это значит, что у меня куклы наследника Тутти нет, это значит, что я ее потерял на самом деле...

— Это значит, что вы ее нашли,— сказал Тибул, прижимая девочку к себе.

— Ка-а-ак?

— Так. Ты понимаешь меня, Суок?

— Кажется,— тихо ответила Суок.

— Ну? — спросил Тибул.

— Конечно,— сказала кукла и улыбнулась.

Доктор ничего не понял.

— Слушала ли ты меня, когда мы с тобой представляли перед толпой по воскресеньям? Ты стояла на полосатом мостике. Я говорил: «Алле!» — и ты сходила на проволоку и шла ко мне. Я ожидал тебя посередине, очень высоко над толпой. Я выдвигал одно колено, опять говорил тебе: «Алле!» — и ты, став на мое колено, поднималась ко мне на плечи... Тебе было страшно?

— Нет. Ты говорил мне: «Алле!» — значит, надо было быть спокойной и ничего не бояться.

— Ну вот,— сказал Тибул,— теперь я тебе тоже говорю: «Алле!» Ты будешь куклой.

— Я буду куклой.

— Она будет куклой? — спросил доктор Гаспар.— Что это значит?

Надеюсь, читатель, что вы поняли! Вам не приходилось переживать стольких волнений и удивлений, как доктору Гаспару, поэтому вы более спокойны и скорее соображаете.

Подумайте: ведь доктор до сих пор как следует не выспался. И так приходится удивляться его железному организму.

Не успел проснуться второй петух, как все было решено. Тибул развил подробный план действий:

— Ты, Суок, артистка. Я думаю, что, несмотря на свой возраст, ты очень неплохая артистка. Когда весной в нашем балаганчике шла пантомима «Глупый король», ты прекрасно сыграла роль Золотой Кочерыжки. Потом в балете ты представляла переводную картинку и чудно изобразила превращение мельника в чайник. Ты танцуешь лучше всех и лучше всех поешь, у тебя хорошее воображение, и — главное — ты смелая и сообразительная девочка.

Суок стояла красная от счастья. Она даже чувствовала себя неловко от этих похвал.

— Итак, ты должна будешь разыграть роль куклы наследника Тутти.

Суок захлопала в ладоши и поцеловала всех поочередно: Тибула, старого Августа и доктора Гаспара.

— Постой,— продолжал Тибул,— это не все. Ты знаешь: оружейник Просперо сидит в железной клетке во Дворце Трех Толстяков. Ты должна освободить оружейника Просперо.

— Открыть клетку?

— Да. Я знаю тайну, которая даст возможность Просперо бежать из дворца.

— Тайну?

— Да. Там есть подземный ход.

Тут Тибул рассказал о продавце детских воздушных шаров.

— Начало этого хода находится где-то в кастрюле — должно быть, в дворцовой кухне. Ты найдешь этот ход.

— Хорошо.

Солнце еще не встало, но уже проснулись птицы. Зазеленела трава на лужайке, видневшейся из дверей балаганчика.

При свете загадочный зверь в клетке оказался обыкновенной лисицей.

— Не будем терять времени! Путь предстоит далекий.

Доктор Гаспар сказал:

— Теперь вы должны выбрать из ваших платьев самое красивое...

Суок притащила все свои наряды. Они были восхитительны, потому что их смастерила сама Суок. Как всякая талантливая актриса, она отличалась хорошим вкусом.

Доктор Гаспар долго рылся в разноцветном ворохе.

— Что же,— сказал он,— я думаю, что это платье подойдет вполне. Оно ничуть не хуже того, что было на искалеченной кукле. Наденьте его!

Суок переоделась. В сверкании восходящего солнца стояла она посредине балагана в таком нарядном виде, что, пожалуй, никакая именинница в мире не могла бы с ней потягаться. Платье было розовое. А моментами, когда Суок делала какое-нибудь движение, казалось, что идет слепой золотой дождь. Платье сверкало, шумело и благоухало.

— Я готова,— сказала Суок.

Прощанье продолжалось минуту. Люди, представляющие в цирке, не любят слез. Они слишком часто рискуют своей жизнью. Кроме того, нельзя было слишком жарко обниматься, чтобы не испортить платья.

— Возвращайся поскорее! — так сказал старый Август и вздохнул.

— А я иду в рабочие кварталы. Мы должны сделать подсчет наших сил. Меня ждут рабочие. Они узнали, что я жив и на свободе.

Тибул завернулся в плащ, надел широку шляпу, темные очки и большой приставной нос, который полагался к костюму паши в пантомиме «Поход в Каир».

В этом виде его нельзя было узнать. Правда, огромный нос сделал его безобразным, но зато и неузнаваемым.

Старый Август стал на пороге. Доктор, Тибул и Суок вышли из балаганчика.

День вступил в свои права.

— Скорей, скорей! — торопил доктор.

Через минуту он уже сидел в экипаже вместе с Суок.

— Вы не боитесь? — спросил он.

Суок в ответ улыбнулась. Доктор поцеловал ее в лоб.

Улицы еще были пустынны. Человеческие голоса слышались редко. Но вдруг раздался громкий собачий лай. Потом собака завизжала и зарычала, точно у нее отнимали кость.

Доктор выглянул из экипажа.

Представьте, это была та же самая собака, которая укусила силача Лапитупа! Но этого мало.

Доктор увидел следующее. Собака боролась с человеком. Длинный и тонкий человек с маленькой головкой, в красивом, но странном костюме, похожий на кузнечика, вырывал у собаки что-то розовое, красивое и непонятное. Розовые клочья разлетались во все стороны.

Человек победил. Он выхватил добычу и, прижимая ее к груди, побежал как раз в ту сторону, откуда ехал доктор.

И когда он встретился с экипажем, то Суок, смотревшая из-за спины доктора, увидела нечто ужасное. Странный человек не бежал, а несся изящными скачками, еле касаясь земли, подобно балетному танцору. Зеленые полы его фрака летели за ним, как крылья ветряной мельницы. А на руках... на руках он держал девочку с черными ранами на груди.

— Это я! — закричала Суок.

Она отпрянула в глубь экипажа и спрятала лицо в плюшевую подушку.

Услышав крик, похититель оглянулся, и теперь доктор Гаспар узнал в нем учителя танцев Раздватриса.

Глава IX

КУКЛА С ХОРОШИМ АППЕТИТОМ

Наследник Тутти стоял на террасе. Учитель географии смотрел в бинокль. Наследник Тутти требовал, чтобы принесли компас. Но это было лишнее.

Наследник Тутти ожидал прибытия куклы.

От сильного волнения он крепко и сладко проспал всю ночь.

С террасы была видна дорога от городских ворот ко дворцу. Солнце, вылезавшее над городом, мешало смотреть. Наследник держал ладони у глаз, морщился и жалел о том, что нельзя чихнуть.

— Еще никого не видно,— говорил учитель географии.

Ему поручили это ответственное дело потому, что он, по своей специальности, лучше всех умел разбираться в пространствах, горизонтах, движущихся точках и в прочем подобном.

— А может быть, видно? — настаивал Тутти.

— Не спорьте со мной. Кроме бинокля, у меня есть знания и точное представление о предметах. Вот я вижу кусты жасмина, который на латинском языке имеет очень красивое, но трудно запоминающееся имя. Дальше я вижу мосты и гвардейцев, вокруг которых летают бабочки, а затем лежит дорога... Позвольте! Позвольте!

Он подкрутил бинокль. Наследник Тутти стал на носки. Сердце его забилось снизу вверх, как будто он не выучил урока.

— Да,— сказал учитель.

И в это время три всадника направились со стороны дворцового парка к дороге. Это капитан Бонавентура с караулом поскакал навстречу экипажу, появившемуся на дороге.

— Ура! — закричал наследник так пронзительно, что в дальних деревнях отозвались гуси.

Внизу, под террасой, учитель гимнастики стоял наготове, чтобы поймать наследника на лету, если тот от восторга вывалится через каменную ограду террасы.

Итак, экипаж доктора Гаспара катил к дворцу. Уже не нужно было бинокля и научных познаний учителя географии. Уже все видели экипаж и белую лошадь.

Счастливый миг! Экипаж остановился у последнего моста. Караул гвардейцев расступился. Наследник махал обеими руками и подпрыгивал, тряся золотыми волосами. И наконец он увидел самое главное: маленький человек, неуклюже, по-стариковски двигаясь, вылез из экипажа. Гвардейцы, почтительно придерживая сабли и отдавая честь, стояли поодаль. Маленький человек вынул из экипажа чудесную куклу, точно розовый свежий букет, перевитый лентами.

Это была восхитительная картина под голубеющим утренним небом, в сиянии травы и солнца.

Через минуту кукла уже была во дворце. Встреча произошла следующим образом.

Кукла шла без посторонней помощи.

О, Суок прекрасно играла свою роль! Если бы она попала в общество самых настоящих кукол, то, без всякого сомнения, они приняли бы ее за такую же куклу.

Она была спокойна. Она чувствовала, что роль ей удается.

«Бывают более трудные вещи,— думала она,— например, жонглировать зажженной лампой или делать двойное сальто-мортале...»

А Суок случалось в цирке проделывать и то и другое.

Словом, Суок не боялась. Ей даже нравилась эта игра. Гораздо сильнее волновался доктор Гаспар. Он шел позади Суок; она ступала маленькими шажками, подобно балерине, идущей на носках. Платье ее шевелилось, дрожало и шелестело.

Сверкали паркеты.

Она отражалась в них розовым облаком. Она была очень маленькая среди высоких зал, которые увеличивались от блеска паркетов в глубину и в ширину — от зеркал.

Можно было подумать, что это маленькая цветочная корзинка плывет по огромной тихой воде.

Она шла веселая и улыбающаяся мимо стражи, мимо кожаных и железных людей, которые смотрели как зачарованные, мимо чиновников, которые улыбались впервые в жизни.

Они отступали перед ней, давая ей дорогу, точно это была владетельница этого дворца, вступающая в свои права.

Стало так тихо, что слышались ее легкие шаги, звучавшие не громче падения лепестков.

А сверху, по широчайшей лестнице, такой же маленький и сияющий, спускался навстречу кукле наследник Тутти.

Они были одного роста.

Суок остановилась.

«Так вот он, наследник Тутти!» — подумала она.

Перед ней стоял худенький, похожий на злую девочку, мальчик, сероглазый и немного печальный, наклонивший растрепанную голову набок.

Суок знала, кто такой Тутти. Суок знала, кто такие Три Толстяка. Она знала, что Три Толстяка забрали все железо, весь уголь, весь хлеб, добытый руками бедного, голодного народа. Она хорошо помнила знатную старуху, которая натравила своих лакеев на маленькую Суок. Она знала, что это все одна компания: Три Толстяка, знатные старухи, франты, лавочники, гвардейцы — все те, кто посадил оружейника Просперо в железную клетку и охотился за ее другом, гимнастом Тибулом.

Когда она шла во дворец, она думала, что наследник Тутти покажется ей отвратительным, чем-то вроде знатной старухи, только с длинным и тонким языком малинового цвета, всегда высунутым наружу.

Но никакого отвращения она не почувствовала. Скорее ей стало приятно оттого, что она его увидела.

Она смотрела на него веселыми серыми глазами.

— Это ты, кукла? — спросил наследник Тутти, протягивая руку.

«Что же мне делать? — испугалась Суок.— Разве куклы говорят? Ах, меня не предупредили!.. Я не знаю, как себя вела та кукла, которую зарубили гвардейцы...»

Но на помощь пришел доктор Гаспар.

— Господин наследник,— сказал он торжественно,— я вылечил вашу куклу. Как видите, я не только вернул ей жизнь, но и сделал эту жизнь более замечательной. Кукла, несомненно, похорошела, затем она получила новое великолепное платье, и самое главное — я научил вашу куклу говорить, сочинять песенки и танцевать.

— Какое счастье! — тихо сказал наследник.

«Пора действовать»,— решила Суок.

И тут маленькая актриса из балаганчика дядюшки Бризака выступила в первом дебюте на новой сцене.

Этой сценой был главный дворцовый зал. А зрителей собралось масса. Они толпились со всех сторон: на вершинах лестниц, в проходах, на хорах. Они лезли из круглых окон, переполняли балконы, карабкались на колонны, чтобы лучше видеть и слышать.

Множество голов и спин самых разнообразных цветов и красок горело в ярком солнечном освещении.

Суок видела кучи лиц, которые смотрели на нее, широко улыбаясь.

Повара с растопыренными пятернями, с которых, как клей с веток, стекали сладкие красные соки или коричневые жирные соусы; министры в разноцветных расшитых мундирах, точно обезьяны, переодетые петухами; маленькие пухлые музыканты в узких фраках; придворные дамы и кавалеры, горбатые доктора, длинноносые ученые, вихрастые скороходы; челядь, разодетая не хуже министров.

Вся эта масса лепилась ко всему, к чему можно было прилепиться.

И все молчали. Все, затаив дыхание, смотрели на маленькое розовое создание, которое спокойно и с большим достоинством тринадцатилетней девочки встречало эту сотню взглядов. Она совершенно не смущалась. Эти зрители вряд ли были более строгими, чем зрители на площадях, где чуть ли не каждый день представляла Суок. О, то были очень строгие зрители: зеваки, солдаты, актеры, школьники, маленькие торговцы! И тех Суок не страшилась. А они говорили:

— Суок — самая лучшая актриса в мире!..

И бросали на ее коврик последнюю мелкую монету. А между тем за такую маленькую монету можно было бы купить пирожок с печенкой, который заменял какой-нибудь чулочнице и завтрак, и обед, и ужин.

И вот Суок начала разыгрывать свою роль куклы по-настоящему.

Она сдвинула носки, потом приподнялась на них, подняла к лицу

руки, согнутые в локтях, и, шевеля обоими мизинцами на манер китайского мандарина, начала петь песенку. При этом она покачивала головой в такт мотиву направо и налево.

Улыбалась она кокетливо и лукаво. Но все время она старалась, чтобы глаза ее были круглые и широкие, как у всех кукол.

Она пела так:

Вот наукой неизвестной,
Раздувая в тиглях жар,
Воскресил меня чудесно
Добрый доктор наш Гаспар.
Посмотри: я улыбнулась.
Слышишь ли: вздохнула я...
Так опять ко мне вернулась
Жизнь веселая моя.
Я всю жизнь к тебе спешила,
Столько спутала дорог!..
Не забудь сестрички милой
Имя нежное — Суок!
Снова я живою стала,
И, заснувши в тишине,
Я тебя во сне видала,—
Как ты плакал обо мне!
Посмотри: дрожат реснички,
Льется волос на висок.
Не забудь твоей сестрички
Имя нежное — Суок!

— Суок,— тихо повторил Тутти.

Глаза его были полны слез, и от этого казалось, что у него не два, а четыре глаза.

Кукла окончила песенку и сделала реверанс. Зал восхищенно вздохнул. Все зашевелились, закивали головами, защелкали языками.

Действительно, мелодия песенки была очаровательна, хотя и несколько печальна для такого молодого голоса, а сам голос звучал такой прелестью, что казалось — исходил из серебряного или стеклянного горла.

— Она поет, как ангел,— раздались в тишине слова дирижера.

— Только песенка ее немного странная,— заметил какой-то сановник, звякнув орденом.

На этом критика оборвалась. В зал вошли Три Толстяка. Скопление публики могло показаться им неприятным. Все бросились к выходам. Повар в суматохе влепил свою пятерню со всем запасом малинового сока в спину какой-то красавицы. Красавица взвизгнула, и при этом обнаружилось, что у нее вставная челюсть, потому что челюсть выпала. Толстый гвардейский капитан наступил на красивую челюсть некрасивым, грубым сапогом.

Раздалось: хрясь, хрясь! — и церемониймейстер, подвернувшийся тут же, выругался:

— Набросали орехов! Трещат под ногами! Возмутительно!

Красавица, потерявшая челюсть, хотела закричать и даже воздела руки, но — увы! — вместе с челюстью погиб и голос. Она только прошамкала нечто маловразумительное.

Через минуту в зале не было лишних. Остались только ответственные лица.

И вот Суок и доктор Гаспар предстали перед Тремя Толстяками.

Три Толстяка не казались взволнованными вчерашними событиями. Только что в парке они играли в мяч под наблюдением дежурного врача. Это делалось ради моциона. Они очень устали. Потные лица их блестели. Рубашки прилипли к их спинам, и спины эти походили на паруса, раздутые ветром. У одного из них под глазом темнел синяк в форме некрасивой розы или красивой лягушки. Другой Толстяк боязливо поглядывал на эту некрасивую розу.

«Это он запустил ему мяч в лицо и украсил его синяком»,— подумала Суок.

Пострадавший Толстяк грозно сопел. Доктор Гаспар растерянно улыбался. Толстяки молча оглядели куклу. Сияющий вид наследника Тутти привел их в хорошее настроение.

— Ну-с,— сказал один,— это вы, доктор Гаспар Арнери?

Доктор поклонился.

— Ну, как кукла? — спросил другой.

— Она чудесна! — воскликнул Тутти.

Толстяки никогда не видели его таким оживленным.

— Вот и отлично! Она действительно выглядит хорошо...

Первый Толстяк вытер ладонью лоб, злобно крякнул и сказал:

— Доктор Гаспар, вы исполнили наше приказание. Теперь вы имеете право требовать награды.

Наступило молчание.

Маленький секретарь в рыжем парике держал перо наготове, чтобы записать требование доктора.

Доктор начал излагать свою просьбу:

— Вчера на площади Суда построили десять плах для казни восставших...

— Их казнят сегодня,— перебил Толстяк.

— Я именно это и имею в виду. Моя просьба такова. Я прошу даровать всем пленникам жизнь и свободу. Я прошу отменить казнь вовсе и сжечь эти плахи...

Рыжий секретарь, услышав эту просьбу, уронил от ужаса перо. Перо, отлично заостренное, вонзилось в ногу Второго Толстяка. Тот закричал и завертелся на одной ноге. Первый Толстяк, обладатель синяка, злорадно хохотал: он был отомщен.

— Черт возьми! — орал Второй Толстяк, выдергивая из ступни перо, как стрелу.— Черт возьми! Эта просьба преступна! Вы не смеете требовать таких вещей!

Рыжий секретарь удрал. Ваза с цветами, которую он опрокинул на ходу, летела за ним и рвалась на части, как бомба. Скандал получился полный. Толстяк выдернул перо и швырнул его вдогонку секретарю. Но разве при эдакой толщине можно быть хорошим копьеметателем! Перо угодило в зад караульного гвардейца. Но он, как ревностный служака, остался неподвижен. Перо продолжало торчать в

неподходящем месте до тех пор, пока гвардеец не сменился с караула.

— Я требую, чтобы даровали жизнь всем рабочим, приговоренным к смерти. Я требую, чтобы сожгли плахи,— повторил доктор негромко, но твердо.

В ответ затрещали крики Толстяков. Получалось такое впечатление, будто кто-то ломает щепки.

— Нет! Нет! Нет! Ни за что! Они будут казнены!

— Умрите,— шепнул доктор кукле.

Суок сообразила, в чем дело. Она снова встала на носки, пискнула и покачнулась. Платье ее затрепетало, точно крылья у пойманной бабочки, голова опустилась,— каждую секунду кукла готова была упасть.

Наследник бросился к ней.

— Ах! Ах! — закричал он.

Суок пискнула еще печальнее.

— Вот,— сказал доктор Гаспар,— вы видите? Кукла снова потеряет свою жизнь. Механизм, заключенный в ней, слишком чувствителен. Она окончательно испортится, если вы не исполните моей просьбы. Я думаю, что господин наследник будет не очень доволен, если его кукла станет негодной розовой тряпкой.

Гнев охватил наследника. Он затопал ногами, как слоненок. Он зажмурил глаза и замахал головой.

— Ни за что! Слышите, ни за что! — кричал он.— Исполните просьбу доктора! Я не отдам моей куклы! Суок! Суок! — разрыдался он.

Конечно, Толстяки сдались. Приказ был дан. Помилование было объявлено. Счастливый доктор Гаспар отправился домой.

«Я буду спать целые сутки»,— размышлял он по дороге.

Въезжая в город, он уже слышал разговоры о том, что на площади Суда горят плахи и что богачи очень недовольны тем, что казнь бедняков не состоится.

Итак, Суок осталась во Дворце Трех Толстяков.

Они вышли в сад.

Наследник мял цветы, напоролся на колючую проволоку и чуть не свалился в бассейн. От счастья он ничего не замечал.

«Неужели он не понимает, что я живая девочка? — удивлялась Суок.— Я не дала бы себя так провести».

Принесли завтрак. Суок увидала пирожные и вспомнила, что только в прошлом году осенью ей удалось съесть одно пирожное. И то старый Август уверял, что это не пирожное, а пряник. Пирожные наследника Тутти были великолепны. Десять пчел слетелись к ним, приняв их за цветы.

«Ну как же мне быть? — мучилась Суок.— Разве куклы едят? Разные бывают куклы... Ах, как мне хочется пирожного!»

И Суок не выдержала.

— Я хочу кусочек...— сказала она тихо. Румянец покрыл ее щеки.

— Вот хорошо! — обрадовался наследник.— А прежде ты не хотела есть. Прежде мне было так скучно завтракать одному. Ах, как хорошо! У тебя появился аппетит.

И Суок съела кусочек. Потом еще один, и еще, и еще. И вдруг она увидела, что слуга, следивший издали за наследником, смотрит на нее, и мало того — смотрит на нее с ужасом.

У слуги был широко раскрыт рот.

Слуга был прав.

Ему никогда не случалось видеть, чтобы куклы ели.

Суок испугалась и уронила четвертое пирожное, самое рассыпчатое и с виноградиной.

Но дело обошлось благополучно. Слуга протер глаза и закрыл рот.

— Это мне показалось. Жара!

Наследник говорил без умолку. Потом, устав, он замолчал.

Было очень тихо в этот жаркий час. Вчерашний ветер, как видно, залетел очень далеко. Теперь все застыло. Даже птицы не летали.

И в этой тишине Суок, сидевшая рядом с наследником на траве, услышала непонятный, равномерно повторяющийся звук, подобный тиканью часов, спрятанных в вату. Только часы делают «тик-так», а этот звук был такой: «тук-тук».

— Что это? — спросила она.

— Что? — Наследник поднял брови, как взрослый человек в минуту удивления.

— А вот: тук-тук... Это часы. У тебя есть часы?

Опять наступила тишина, и опять в тишине что-то тукало. Суок подняла палец. Наследник прислушался.

— Это не часы,— сказал он тихо.— Это бьется мое железное сердце...

Глава X

ЗВЕРИНЕЦ

В два часа наследника Тутти позвали в классную комнату. Это был урочный час. Суок осталась одна.

Никто, конечно, не подозревал, что Суок — живая девочка. По всей вероятности, настоящая кукла наследника Тутти, находящаяся теперь во власти учителя танцев Раздватриса, вела себя с не меньшей непринужденностью. Должно быть, очень искусный мастер сделал ту куклу. Правда, она не ела пирожных. Но, может быть, наследник Тутти прав. Может быть, действительно у нее просто не было аппетита.

Итак, Суок осталась одна.

Положение ее было затруднительно.

Огромный дворец, путаница входов, галерей, лестниц.

Страшные гвардейцы, неизвестные суровые люди в разноцветных париках, тишина и блеск.

На нее не обращали внимания.

Она стояла в спальне наследника, у окна.

«Нужно выработать план действий,— решила она.— Железная клетка с оружейником Просперо находится в зверинце наследника Тутти. Я должна проникнуть в зверинец». Вы уже знаете, что наследнику не показывали живых детей. Никогда, даже в закрытой карете, его не возили в город. Он рос во дворце. Его учили наукам, читали ему книги о жестоких царях и полководцах. Тем людям, которые его окружали, запрещено было улыбаться. Все его воспитатели и учителя были худые высокие старики с плотно сжатыми губами и скулами цвета пороха. Кроме того, все они страдали несварением желудка. А при такой болезни человеку не до улыбок.

Наследник Тутти никогда не слышал веселого, звонкого смеха. Только иногда до него доносился хохот какого-нибудь пьяного колбасника или самих Толстяков, угощавших своих не менее толстых гостей. Но разве это можно было назвать смехом! Это был ужасный рев, от которого делалось не весело, а страшно.

Улыбалась только кукла. Но улыбка куклы не казалась Толстякам опасной. И кроме того, кукла молчала. Она не могла бы рассказать наследнику Тутти о многих вещах, скрытых от него дворцовым парком и стражей с барабанами у железных мостов. И поэтому он ничего не знал о народе, о нищете, о голодных детях, о фабриках, шахтах, тюрьмах, о крестьянах, о том, что богачи заставляют бедняков трудиться и забирают себе все, что сделано жалкими худыми руками бедняков.

Три Толстяка хотели воспитать злого, жестокого наследника. Его лишили общества детей и устроили ему зверинец.

«Пусть он смотрит на зверей,— решили они.— Вот у него есть мертвая, бездушная кукла, и вот у него будут злые звери. Пусть он видит, как кормят тигров сырым мясом и как удав глотает живого кролика. Пусть он слушает голоса хищных зверей и смотрит в их красные дьявольские зрачки. Тогда он научится быть жестоким».

Но дело сложилось не так, как того хотели Толстяки.

Наследник Тутти прилежно учился, слушал страшные летописи о героях и царях, смотрел с ненавистью на прыщавые носы воспитателей, но не становился жестоким.

Общество куклы он полюбил больше общества зверей.

Конечно, вы можете сказать, что двенадцатилетнему мальчику стыдно развлекаться куклами. В этом возрасте многие предпочли бы охотиться на тигров. Но здесь была некая причина, которая в свое время откроется.

Вернемся к Суок.

Она решила дождаться вечера. В самом деле, кукла, шатающаяся среди бела дня в одиночестве по дворцу, могла бы возбудить подозрение.

После уроков они снова встретились.

— Ты знаешь,— сказала Суок,— когда я лежала больная у док-

тора Гаспара, мне приснился странный сон. Мне снилось, что я из куклы превратилась в живую девочку... И будто я была цирковой актрисой. Я жила в балагане с другими актерами. Балаган переезжал с места на место, останавливался на ярмарках, на больших площадях и устраивал представления. Я ходила по канату, я танцевала, умела делать трудные акробатические штуки, играла разные роли в пантомимах...

Наследник слушал ее с широко раскрытыми глазами.

— Мы были очень бедные. Очень часто мы не обедали... У нас была большая белая лошадь. Ее звали Анра. Я ездила на ней и жонглировала, стоя на широком седле, покрытом рваным желтым атласом. И лошадь умерла, потому что целый месяц у нас было слишком мало денег, чтобы хорошо кормить ее...

— Бедные? — спросил Тутти.— Я не понимаю. Почему же вы были бедные?

— Мы представляли перед бедняками. Бедняки бросали нам маленькие медные монеты, а иногда после представления шляпа, с которой клоун Август обходил зрителей, оставалась совершенно пустой.

Наследник Тутти ничего не понимал.

И Суок рассказывала ему, пока не наступил вечер. Она говорила о суровой нищенской жизни, о большом городе, о знатной старухе, которая хотела ее выпороть, о живых детях, на которых богачи натравливают собак, о гимнасте Тибуле и оружейнике Просперо, о том, что рабочие, шахтеры, матросы хотят уничтожить власть богачей и толстяков.

Больше всего она говорила о цирке. Постепенно она увлеклась и забыла о том, что рассказывает сон.

— Я очень давно живу в балаганчике дядюшки Бризака. Я даже не помню, с каких пор я умею танцевать, и ездить верхом, и крутиться на трапеции. Ах, каким я научилась чудесным штукам! — Она всплеснула руками.— Вот, например, в прошлое воскресенье мы представляли в гавани. Я играла вальс на абрикосовых косточках...

— Как на абрикосовых косточках?

— Ах, ты не знаешь! Разве ты не видел свистка, сделанного из абрикосовой косточки? Это очень просто. Я собрала двенадцать косточек и сделала из них свистки... Ну, терла, терла о камень, пока не получилась дырочка...

— Как интересно!

— Это все равно. Можно свистеть вальс и не только на двенадцати косточках. Я умею свистеть и ключиком...

— Ключиком! Как? Покажи. У меня есть чудный ключик...

С этими словами наследник Тутти расстегнул ворот своей куртки и снял с шеи тонкую цепочку, на которой болтался небольшой белый ключ.

— Вот!

— Почему ты прячешь его на груди? — спросила Суок.

— Мне дал этот ключ канцлер. Это ключ от одной из клеток моего зверинца.

— Разве ты прячешь у себя ключи от всех клеток?

— Нет. Но мне сказали, что это самый важный ключ. Я должен его хранить...

Суок показала наследнику свое искусство. Она просвистела чудную песенку, держа ключ кверху дырочкой возле губ, сложенных в трубку.

Наследник пришел в такой восторг, что даже забыл о ключе, который ему поручили хранить. Ключ остался у Суок. Она машинально сунула его в кружевной розовый карман.

Наступил вечер.

Для куклы приготовили особую комнату, рядом со спальней наследника Тутти.

Наследник Тутти спал и видел во сне удивительные вещи: смешные носатые маски; человека, несшего на голой желтой спине огромный, гладко обтесанный камень, и толстяка, ударявшего этого человека черной плеткой; оборванного мальчика, который ел картошку, и знатную старуху в кружевах, которая ехала верхом на белой лошади и высвистывала какой-то противный вальс при помощи двенадцати абрикосовых косточек.

А в это время совсем в другом месте, далеко от этой маленькой спальни, в одном из концов дворцового парка происходило следующее. Вы не думайте, ничего особенного не происходило. Не только наследнику Тутти в эту ночь снились удивительные сны. Сон, заслуживающий удивления, приснился также гвардейцу, заснувшему на карауле у входа в зверинец наследника Тутти.

Он сидел на каменном столбике, прислонившись спиной к решетке, и сладко дремал. Сабля его в широких блестящих ножнах лежала между его коленями. Пистолет очень мирно торчал из-за шелкового черного шарфа на его боку. Рядом, на гравии, стоял решетчатый фонарь, освещавший сапоги гвардейца и длинную гусеницу, которая упала с листьев над его головой прямо на его рукав.

Картина казалась совершенно мирной.

Итак, караульный спал и видел необыкновенный сон. Ему снилось, что подошла к нему кукла наследника Тутти. Была она точь-в-точь как сегодня утром, когда ее привез доктор Гаспар Арнери: это же розовое платье, банты, кружева, блестки. Только теперь, во сне, она оказалась живой девочкой. Она свободно двигалась, оглядывалась по сторонам, кралась и вздрагивала и прижимала палец к губам.

Фонарь освещал всю ее маленькую фигурку.

Гвардеец даже улыбался во сне.

Потом он вздохнул и сел более удобно, прислонившись к решетке плечом и ткнув нос в железную розу в узоре решетки.

Тогда Суок, видя, что караульный спит, взяла фонарь и на цыпочках осторожно вошла за ограду.

Гвардеец храпел, а ему, спящему, казалось, что это в зверинце ревут тигры.

На самом деле в зверинце было тихо. Звери спали.

Фонарь освещал небольшое пространство. Суок медленно подвигалась, вглядываясь в темноту. К счастью, ночь не была темной. Ее освещали звезды и свет развешанных в парке фонарей, долетавший до этого отдаленного места сквозь верхушки деревьев и строений.

От ограды девочка прошла по короткой аллее, между низкими кустарниками, покрытыми какими-то белыми цветами.

Затем она сразу почувствовала запах зверей. Он был знаком ей: однажды вместе с балаганчиком ездил укротитель с тремя львами и одним ульмским догом.

Суок вышла на открытую площадку. Вокруг что-то чернело. Как будто стояли маленькие домики.

— Клетки,— прошептала Суок.

Сердце ее сильно билось.

Она не боялась зверей, потому что люди, представляющие в цирке, вообще не трусливы. Она опасалась только, что какой-нибудь зверь проснется от ее шагов и света фонаря, зарычит и разбудит караульного.

Она подошла к клеткам.

«Где же Просперо?» — волновалась она.

Она поднимала выше фонарь и заглядывала в клетки. Все было неподвижно и тихо. Свет фонаря разбивался о прутья клеток и слетал неровными кусками на туши спящих за этими прутьями.

Она видела мохнатые толстые уши, иногда вытянутую лапу, иногда полосатую спину. Орлы спали, раскрыв крылья, и походили на старинные гербы. В глубине некоторых клеток чернели какие-то непонятные громады.

В клетке за тонкой серебряной решеткой сидели на жердочках, на разной высоте, попугаи. И когда Суок остановилась у этой клетки, ей показалось, что один из них, который сидел ближе всех к решетке, старый, с длинной красной бородой, открыл один глаз и посмотрел на нее. А глаз его был похож на слепое лимонное зерно.

И мало того — он быстро закрыл этот глаз, точно притворился спящим. При этом Суок показалось, что он улыбнулся в свою красную бороду.

«Я просто дура»,— успокоила себя Суок. Однако ей стало страшно.

То и дело то тут, то там среди тишины что-то пощелкивало, похрустывало, пищало.

Попробуйте ночью зайти в конюшню или прислушайтесь к курятнику. Вас поразит тишина, и вместе с тем вы будете слышать очень много маленьких звуков — то движение крыла, то чавканье, то треск

насеста, то тоненький голос, выскочивший, точно капелька, из горла спящей птицы.

«Где же Просперо? — снова подумала Суок, но уже с бо́льшей тревогой.— А вдруг его казнили сегодня и в его клетку посадили орла?»

И тут из темноты чей-то хриплый голос сказал:

— Суок!

И тут же она услышала тяжкое и частое дыхание и еще какие-то звуки, точно скулила большая больная собака.

— Ах! — вскрикнула Суок.

Она метнула фонарь в ту сторону, откуда ее позвали. Там горели два красноватых огонька. Большое черное существо стояло в клетке, подобно медведю, держась за прутья и прижав к ним голову.

— Просперо! — тихо сказала Суок.

И в одну секунду передумала целую кучу мыслей:

«Почему он такой страшный? Он оброс шерстью, как медведь. В глазах у него красные искры. У него длинные, загнутые когти. Он без одежды. Это не человек, а горилла».

Суок готова была заплакать.

— Наконец-то пришла, Суок,— сказало странное существо.— Я знал, что я тебя увижу.

— Здравствуй. Я пришла тебя освободить,— промолвила Суок дрогнувшим голосом.

— Я не выйду из клетки. Я сегодня околею.

И опять послышались жуткие, скулящие звуки. Существо упало, потом приподнялось и снова прижалось к прутьям.

— Подойди, Суок.

Суок подошла. Страшное лицо смотрело на нее. Конечно, это было не человеческое лицо. Больше всего оно походило на волчью морду. И самое страшное было то, что уши этого волка имели форму человеческих ушей, хотя и покрыты были короткой жесткой шерстью.

Суок хотела закрыть глаза ладонью. Фонарь прыгал в ее руке. Желтые пятна света летали по воздуху.

— Ты боишься меня, Суок... Я потерял человеческий облик. Не бойся! Подойди... Ты выросла, похудела. У тебя печальное личико...

Он говорил с трудом. Он опускался все ниже и наконец лег на деревянный пол своей клетки. Он дышал все чаще и чаще, широко раскрывая рот, полный длинных желтых зубов.

— Сейчас я умру. Я знал, что увижу тебя перед смертью.

Он протянул свою косматую обезьянью руку. Он чего-то искал в темноте. Раздался звук, как будто выдернули гвоздь, и потом страшная рука протянулась сквозь прутья.

В руке была небольшая дощечка.

— Возьми это. Там записано все.

Суок спрятала дощечку.

— Просперо,— сказала она тихо.

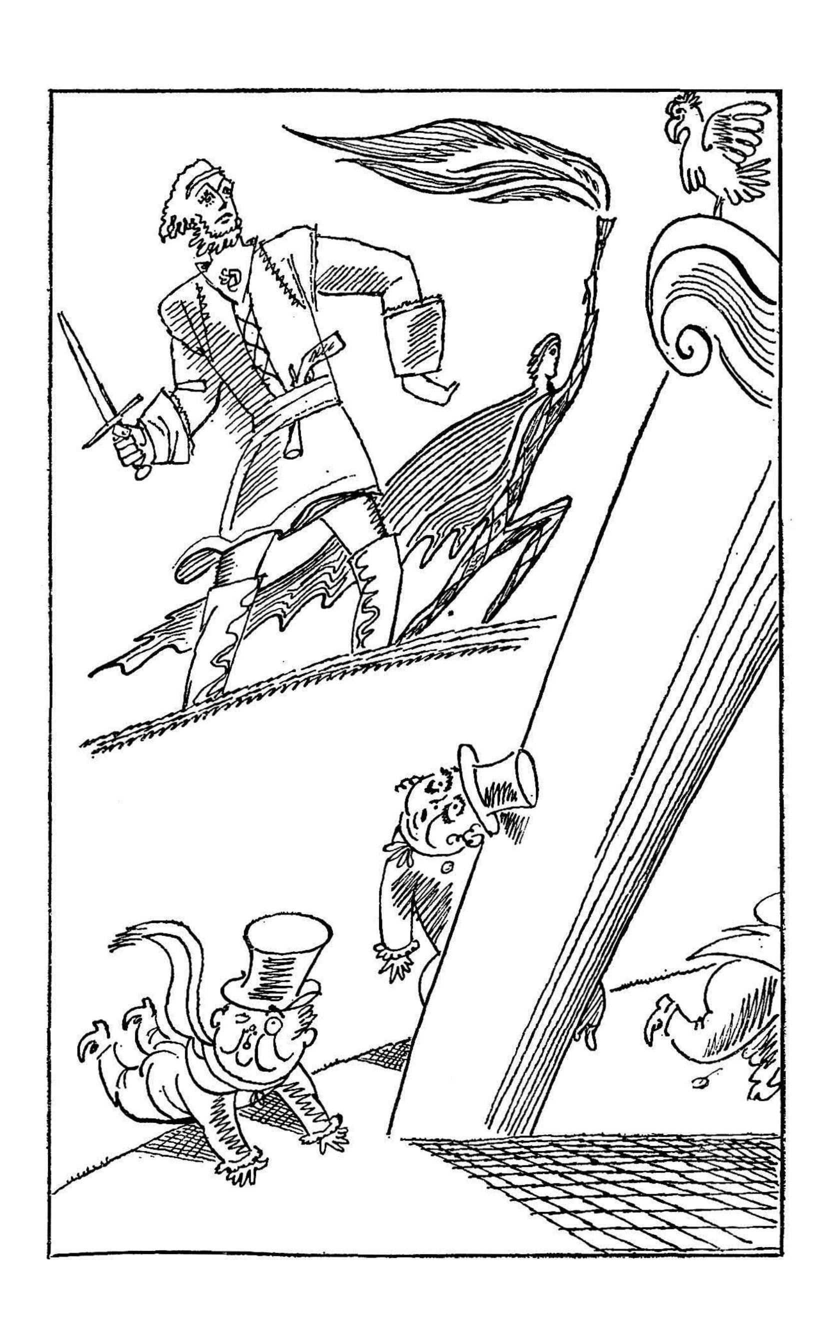
Ответа не последовало.

Суок приблизила фонарь. Зубы оскалились навсегда. Мутные остановившиеся глаза смотрели сквозь нее.

— Просперо! — закричала Суок, роняя фонарь.— Он умер! Он умер! Просперо!

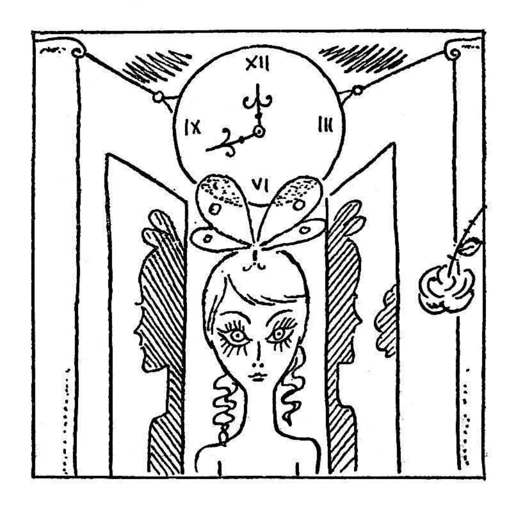
Фонарь потух.





ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

ОРУЖЕЙНИК ПРОСПЕРО



Глава XI

ГИБЕЛЬ КОНДИТЕРСКОЙ

Гвардеец, с которым мы познакомились у входа в зверинец как раз в тот момент, когда Суок стянула у него решетчатый фонарь, проснулся от шума, поднявшегося в зверинце.

Звери рычали, выли, пищали; хлопали крылья; ударяли хвосты по железным прутьям.

Гвардеец зевнул со страшным треском, потянулся, больно ударившись о решетку кулаком, и наконец окончательно пришел в себя.

Тогда он вскочил. Фонаря не было. Мирно блестели звезды. Благоухал жасмин.

— Черт возьми! — Гвардеец плюнул с такой злобой, что плевок полетел, как пуля, и сбил чашечку жасмина.

Звериный концерт гремел с нарастающей силой.

Гвардеец поднял тревогу. Через минуту сбежались люди с факелами. Факелы трещали. Гвардейцы бранились. Кто-то запутался в сабле и упал, разбив нос о чью-то шпору.

— У меня украли фонарь!

— Кто-то прошел в зверинец!

— Воры!

— Мятежники!

Гвардеец с разбитым носом и другой гвардеец, с разбитой шпорой, а также остальные, раздирая темноту факелами, двинулись против неизвестного врага.

Но ничего подозрительного в зверинце не обнаружилось.

Тигры ревели, разевая красные вонючие пасти. Львы бегали по клеткам в большой тревоге. Попугаи устроили целый кавардак. Они вертелись, создавая впечатление разноцветной карусели. Обезьяны раскачивались на трапециях. А медведи пели низким красивым басом.

Появление огня и людей еще больше растревожило эту компанию.

Гвардейцы осмотрели все клетки.

Все было в порядке.

Даже фонаря, оброненного Суок, они не нашли.

И вдруг гвардеец с разбитым носом сказал:

— Стой! — и поднял высоко факел.

Все посмотрели вверх. Там чернела зеленая крона дерева. Листья не двигались. Была тихая ночь.

— Видите? — спросил гвардеец грозно. Он потряс факелом.

— Да. Что-то розовое...

— Маленькое...

— Сидит...

— Дураки! Знаете, что это? Это попугай. Он вылетел из клетки и уселся там, черт бы его побрал!

Караульный гвардеец, поднявший тревогу, сконфуженно молчал.

— Нужно его снять. Он переполошил всех зверей.

— Верно. Лезь, Вурм. Ты моложе всех.

Тот, кого назвали Вурмом, подошел к дереву. Он колебался.

— Лезь и сними его за бороду.

Попугай сидел неподвижно. Перья его розовели в гуще листьев, освещенной факелами.

Вурм сдвинул шляпу на лоб и почесал в затылке.

— Я боюсь. Попугаи кусаются очень больно.

— Ду-рак!

Вурм все-таки полез на дерево. Но на половине ствола он остановился, удержался на секунду и потом скользнул вниз.

— Ни за что,— сказал он.— Это не мое дело. Я не умею сражаться с попугаями.

Тут раздался чей-то сердитый старческий голос. Какой-то человек, шаркая туфлями, спешил из темноты к гвардейцам.

— Не нужно его трогать! — кричал он.— Не тревожьте его!

Кричавший оказался главным смотрителем зверинца.

Он был большой ученый и специалист по зоологии, то есть знал в совершенстве все, что только можно знать о животных.

Его разбудил шум.

Он жил тут же при зверинце и прибежал прямо с постели, даже не сняв колпака и даже с большим блестящим клопом на носу.

Он был очень возбужден. В самом деле: какие-то солдаты осмелились вмешиваться в его мир, какой-то олух хочет хватать его попугая за бороду!

Гвардейцы расступились.

Зоолог задрал голову. Он тоже увидел нечто розовое среди листьев.

— Да,— заявил он.— Это попугай. Это мой лучший попугай. Он всегда капризничает. Ему не сидится в клетке. Это Лаура. Лаура! Лаура! — стал он звать тоненьким голоском.— Он любит ласковое обращение. Лаура! Лаура! Лаура!

Гвардейцы прыснули. Вообще этот маленький старичок в цветном халате, в ночных туфлях, с задранной головой, с которой свисала до полу кисть колпака, представлял забавное зрелище среди громадных гвардейцев, ярко пылавших факелов и воя зверей.

Потом произошло самое смешное. Зоолог полез на дерево. Делал он это довольно ловко — очевидно, не в первый раз. Раз, два, три! Несколько раз мелькнули из-под халата его ноги в полосатом белье, и почтенный старик очутился наверху, у цели своего недальнего, но опасного путешествия.

— Лаура! — снова сладко и льстиво пролепетал он.

И вдруг пронзительный его выкрик огласил зверинец, парк и всю окрестность, по крайней мере, на целый километр.

— Дьявол! — так закричал он.

Очевидно, вместо попугая на ветке сидело какое-то чудовище.

Гвардейцы отпрянули от дерева. Зоолог летел вниз. Случай в виде короткой, но довольно крепкой ветки спас его. Он повис, зацепившись халатом.

О, если бы другие ученые увидели теперь своего почтенного собрата в таком виде, то, конечно, они отвернулись бы из уважения к его лысине и знаниям! Уж слишком неприлично задрался его халат.

Гвардейцы обратились в бегство. Пламя факелов летело по ветру. В темноте можно было подумать, что скачут черные лошади с огненными гривами.

В зверинце тревога улеглась. Зоолог висел без движения. Зато во дворце началось волнение.

Три Толстяка за четверть часа до появления на дереве таинственного попугая получили неприятные известия:

«В городе беспорядки. У рабочих появились пистолеты и ружья. Рабочие стреляют в гвардейцев и сбрасывают всех толстяков в воду».

«Гимнаст Тибул на свободе и собирает жителей окраин в одно войско».

«Множество гвардейцев ушло в рабочие кварталы, чтобы не служить Трем Толстякам».

«Фабричные трубы не дымят. Машины бездействуют. Шахтеры отказываются лезть в землю за углем для богачей».

«Окрестные крестьяне воюют с владельцами поместий».

Вот что доложили Трем Толстякам министры.

По обыкновению, от тревоги Три Толстяка начали жиреть. На глазах Государственного совета у каждого из них прибавилось по четверти фунта.

— Я не могу! — жаловался один из них.— Я не могу... Это выше моего терпения... Ах, ах! Запонка впилась мне в горло...

И тут с треском лопнул его ослепительный воротничок.

— Я жирею,— выл другой.— Спасите меня!

А третий уныло смотрел на свое брюхо.

Таким образом, перед Государственным советом встало два вопроса: во-первых, немедленно придумать средство для прекращения жирения и, во-вторых, подавить беспорядки в городе.

По первому поводу решили следующее:

— Танцы!

— Танцы! Танцы! Да, конечно, танцы. Это наилучший моцион.

— Не теряя ни минуты, пригласить учителя танцев. Он должен давать Трем Толстякам уроки балетного искусства.

— Да,— взмолился Первый Толстяк,— но...

И как раз в это время прилетел из зверинца крик уважаемого зоолога, увидевшего на дереве черта вместо любимого попугая Лауры.

Все правительство понеслось в парк, по аллеям к зверинцу.

— Уф! Уф! Уф! — слышалось в парке.

Тридцать семейств самых лучших бабочек, оранжевых с черными разводами, покинули с перепугу парк.

Появилось множество факелов. Целый горящий, распространяющий запах смолы лес. Этот лес бежал и горел.

И когда до зверинца оставалось шагов десять, все, что бежало, как будто вдруг внезапно лишилось ног. И сразу же все ринулись обратно с воем и писком, падая друг на друга, мечась и ища спасения. Факелы валялись на земле, пламя разлилось, черный дым побежал волной.

— О!

— А!

— Спасайтесь!

Голоса потрясали парк. Пламя разлеталось, озаряя картину бегства и смятения багровым блеском.

А оттуда, из зверинца, из-за железной ограды, спокойно, твердыми широкими шагами шел огромный человек.

В этом блеске, рыжеголовый, со сверкающими глазами, в разорванной куртке, он шел, как грозное видение. Одной рукой он держал за ошейник, скрученный из железного обрывка цепи, пантеру. Желтый и тонкий зверь, силясь вырваться из страшного ошейника, прыгал, визжал, вился и, как лев на рыцарском флаге, то выпускал, то втягивал длинный малиновый язык.

И те, которые решились оглянуться, увидели, что на другой руке этот человек нес девочку в сияющем розовом платье. Девочка испуганно смотрела на бесившуюся пантеру, поджимала ноги в туфельках с золотыми розами и жалась к плечу своего друга.

— Просперо! — вопили люди, удирая.
— Просперо! Это Просперо!
— Спасайтесь!
— Кукла!
— Кукла!

И тогда Просперо выпустил зверя.

Пантера, размахивая хвостом, огромными скачками ринулась за убегавшими.

Суок спрыгнула с руки оружейника. Много пистолетов было брошено на траву в этом бегстве. Суок подобрала три пистолета. Двумя вооружился Просперо, один взяла Суок. Он был почти в половину ее роста. Но она знала, как справиться с этой черной блестящей штукой: в цирке она научилась стрелять из пистолета.

— Идем! — скомандовал оружейник.

Их не интересовало то, что творилось в глубине парка. Они не думали о дальнейших похождениях пантеры.

Нужно было искать выход из дворца. Нужно было спасаться.

Где заветная кастрюля, о которой говорил Тибул? Где таинственная кастрюля, через которую спасся продавец детских воздушных шаров?

— В кухню! В кухню! — кричала Суок на ходу, размахивая пистолетом.

Они бежали в полной темноте, разрывая кусты и выгоняя заснувших птиц. О, как пострадало чудесное платье Суок!

— Пахнет чем-то сладким,— вдруг заявила Суок, остановившись под какими-то освещенными окнами.

И вместо пальца, который поднимают в случаях, требующих общего внимания, она подняла черный пистолет.

Подбежавшие гвардейцы увидели их уже наверху, у вершины дерева. Мгновение — и с ветвей, простертых к этим окнам, они перебрались в главное окно.

Это было то же окно, через которое вчера влетел продавец детских воздушных шаров.

Это было окно кондитерской.

Здесь, несмотря на поздний час и даже несмотря на общую тревогу, кипела работа. Весь штат кондитеров и хитрых мальчишек в белых колпаках суетился вовсю: они готовили какой-то особенный компот к завтрашнему обеду в честь возвращения куклы наследника Тутти. На этот раз торт уже решено было не делать, из опасения, чтобы еще какой-нибудь летающий гость не погубил и французский крем, и удивительного качества цукаты.

Посредине стоял чан. В нем кипятилась вода. Белый пар заволок все. Под этим покровом поварята блаженствовали: они нарезали для компота фрукты.

Итак... Но тут, сквозь пар и суматоху, кухонные мастера увидели страшную картину.

За окном качнулись ветви, зашумели листья, точно перед бурей, и на подоконнике появились двое: рыжеволосый гигант и девочка.

— Руки вверх! — сказал Просперо. В каждой руке он держал по пистолету.

— Ни с места! — звонко сказала Суок, поднимая свой пистолет.

Две дюжины белых рукавов, не дожидаясь более внушительного приглашения, взметнулись.

А потом полетели кастрюли.

Это был разгром сверкающего стеклянного, медного, горячего, сладкого, душистого мира кондитерской.

Оружейник искал главную кастрюлю. В ней было спасение его и спасение маленькой его спасительницы.

Он опрокидывал банки, разбрасывал сковороды, воронки, тарелки, блюда. Стекло разлеталось во все стороны и билось со звоном и громом; рассыпанная мука вертелась столбом, как самум в Сахаре; поднялся вихрь миндаля, изюма, черешен; сахарный песок хлестал с полок с грохотом водопада; наводнение сиропов поднялось на целый аршин; брызгала вода, катились фрукты, рушились медные башни кастрюль. Все стало кверху дном. Вот так бывает иногда во сне, когда снится сон и знаешь, что это сон, и поэтому можно делать все, что захочешь.

— Есть! — завизжала Суок.— Вот она!

То, что искали, нашлось. Крышка полетела в груду развалин. Она шлепнулась в густое малиновое, зеленое и золотисто-желтое озеро сиропов.

Просперо увидел кастрюлю без дна.

— Беги! — крикнула Суок.— Я за тобой.

Оружейник влез в кастрюлю. И, уже исчезнув внутри, услышал вопли тех, кто остался в кондитерской.

Суок не успела. Пантера, совершая свой страшный путь по парку и дворцу, появилась здесь. Раны от пуль гвардейцев цвели на ее шкуре розами.

Кондитеры и повара повалились в один угол. Суок, забыв о пистолете, швырнула в пантеру подвернувшейся под руку грушей.

Зверь бросился за Просперо — головою в кастрюлю. Он провалился за ним в темный и узкий ход. Все увидели желтый хвост, торчавший из этой кастрюли, точно из колодца. А потом все скрылось.

Суок закрыла глаза руками.

— Просперо! Просперо!

А кондитеры зловеще захохотали. Тут же ворвались гвардейцы. Мундиры их были изорваны, лица в крови, пистолеты дымились. Они сражались с пантерой.

— Просперо погиб! Его разорвет пантера! Тогда мне все равно. Я сдаюсь.

Суок говорила спокойно, опустив маленькую руку с очень большим пистолетом.

Но грянул выстрел. Это Просперо, удирая вниз по подземному ходу, выстрелил в пантеру, летевшую за ним.

Гвардейцы столпились над кастрюлей. Сиропное озеро доходило до половины их огромных сапог.

Один заглянул в кастрюлю. Потом он сунул туда руку и потянул. Тогда на помощь пришли еще двое. Натужившись, они вытащили за хвост мертвого зверя, застрявшего в воронке.

— Он мертв,— сказал гвардеец, отдуваясь.

— Он жив! Он жив! Я его спасла. Я спасла друга народа!

Так радовалась Суок, бедная маленькая Суок, в изорванном платьице, с помятыми золотыми розами в волосах и на туфельках.

Она розовела от счастья.

Она исполнила поручение, которое дал ей ее друг, гимнаст Тибул: она освободила оружейника Просперо.

— Так! — говорил гвардеец, беря Суок за руку.— Посмотрим, хваленая кукла, что ты теперь будешь делать! Посмотрим...

— Отвести ее к Трем Толстякам...

— Они приговорят тебя к смерти.

— Дурак,— спокойно ответила Суок, слизывая с розового кружева сладкую сиропную кляксу, попавшую на ее платье в то время, когда Просперо громил кондитерскую.

Глава XII

УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ РАЗДВАТРИС

Что случилось с разоблаченной куклой дальше, пока неизвестно. Кроме того, мы воздержимся пока что и от прочих объяснений, а именно: какой такой попугай сидел на дереве и почему испугался почтенный зоолог, который, быть может, и до сих пор висит на суку, как выстиранная рубаха; каким образом оружейник Просперо оказался на свободе и откуда появилась пантера; каким способом Суок очутилась на плече оружейника; что это было за чудовище, говорившее на человеческом языке, какую оно передало дощечку Суок и почему оно умерло...

Все разъяснится в свое время. Уверяю вас, что никаких чудес не происходило, а все совершалось, как говорят ученые, по железным законам логики.

А сейчас утро. Как раз к этому утру удивительно похорошела природа. Даже у одной старой девы, имевшей выразительную наружность козла, перестала болеть голова, нывшая у нее с детства. Такой был воздух в это утро. Деревья не шумели, а пели детскими веселыми голосами.

В такое утро каждому хочется танцевать. Поэтому не удивительно, что зал учителя танцев Раздватриса был переполнен.

На пустой желудок, конечно, не потанцуешь. Не потанцуешь, конечно, и с горя. Но пустые желудки и горе были только у тех, кто собирался сегодня в рабочих кварталах, чтобы снова идти в поход на Дворец Трех Толстяков. А франты, дамы, сыновья и дочери обжор и богачей чувствовали себя превосходно. Они не знали, что гимнаст Тибул строит в полки бедный, голодный рабочий люд; они не знали, что маленькая танцовщица Суок освободила оружейника Просперо,

которого только и ждал народ; они мало придавали значения тем волнениям, которые поднялись в городе.

— Пустяки,— говорила хорошенькая, но востроносая барышня, приготовляя бальные туфли.— Если они снова пойдут штурмовать дворец, гвардейцы уничтожат их, как в прошлый раз.

— Конечно! — заливался молодой франт, грызя яблоко и оглядывая свой фрак.— Эти рудокопы и эти грязные ремесленники не имеют ружей, пистолетов и сабель. А у гвардейцев есть даже пушки.

Пара за парой подходили беспечные и самодовольные люди к дому Раздватриса.

На дверях у него висела дощечка с надписью:

Учитель танцев Раздватрис. Учу не только танцам, но
вообще красоте, изяществу, легкости, вежливости
и поэтическому взгляду на жизнь.
Плата за десять танцев вперед.

На большом паркете медового цвета в круглом зале Раздватрис преподавал свое искусство.

Он сам играл на черной флейте, которая каким-то чудом держалась у его губ, потому что он все время размахивал руками в кружевных манжетах и белых лайковых перчатках. Он изгибался, принимал позы, закатывал глазки, отбивал каблуком такт и каждую минуту подбегал к зеркалу посмотреть, красив ли он, хорошо ли сидят его бантики, блестит ли напомаженная голова...

Пары вертелись. Их было так много и они так потели, что можно было подумать следующее: варится какой-то пестрый и, должно быть, невкусный суп.

То кавалер, то дама, завертевшись в общей сутолоке, становились похожими либо на хвостатую репу, либо на лист капусты, или еще на что-нибудь непонятное, цветное и причудливое, что можно найти в тарелке супа.

А Раздватрис исполнял в этом супе должность ложки. Тем более что он был очень длинный, тонкий и изогнутый.

Ах, если бы Суок посмотрела на эти танцы, вот бы она смеялась! Даже тогда, когда она играла роль Золотой Кочерыжки в пантомиме «Глупый король», и то она танцевала куда изящней. А между тем ей нужно было танцевать, как танцуют кочерыжки.

И в самый разгар танцев три огромных кулака в грубых кожаных перчатках постучали в дверь учителя танцев Раздватриса.

По виду эти кулаки мало чем отличались от глиняных деревенских кувшинов.

Суп остановился.

А через пять минут учителя танцев Раздватриса везли во Дворец Трех Толстяков. Три гвардейца прискакали за ним. Один из них посадил его на круп своей лошади спиной к себе,— другими словами, Раздватрис ехал задом наперед. Другой гвардеец вез его большую картонную коробку. Она была весьма вместительна.

— Я ведь должен взять с собой некоторые костюмы, музыкальные инструменты, а также парики, ноты и любимые романсы,— заявил

Раздватрис, собираясь в путь.— Неизвестно, сколько мне придется пробыть при дворце. А я привык к изяществу и красоте, а потому люблю часто менять одежду.

Танцоры бежали за лошадьми, махали платками и кричали Раздватрису приветствия.

Солнце влезло высоко.

Раздватрис был доволен, что его вызвали во дворец. Он любил Трех Толстяков за то, что их любили сыновья и дочери не менее толстых богачей. Чем был богаче богач, тем больше он нравился Раздватрису.

«В самом деле,— рассуждал он,— какая мне польза от бедняков? Разве они учатся танцевать? Они всегда заняты работой и никогда не имеют денег. То ли дело богатые купцы, богатые франты и дамы! У них всегда много денег, и они никогда ничего не делают».

Как видите, Раздватрис был не глуп по-своему, но по-нашему — глуп.

«Дура эта Суок! — удивлялся он, вспоминая маленькую танцовщицу.— Зачем она танцует для нищих, для солдат, ремесленников и оборванных детей? Ведь они ей платят так мало денег».

Должно быть, еще больше удивился бы глупый Раздватрис, если б узнал, что эта маленькая танцовщица рискнула своей жизнью, чтобы спасти вождя этих нищих, ремесленников и оборванных детей — оружейника Просперо.

Всадники скакали быстро.

Происшествия в пути были довольно странные. Постоянно вдалеке хлопали выстрелы. Кучки взволнованных людей толпились у ворот. Иногда через улицу перебегали два-три ремесленника, держа в руках пистолеты... Лавочникам, казалось бы, только и торговать в такой чудный день, а они закрывали ставни и сами высовывали свои толстые, блестящие щеки из форточек. Разные голоса из квартала в квартал перекликались:

— Просперо!

— Просперо!

— Он с нами!

— С на-а-ми!

Порой пролетал гвардеец на разгоряченной лошади, разбрасывающей пену. Порой какой-нибудь толстяк, пыхтя, бежал в проулок, а по сторонам бежали рыжие слуги, приготовив палки для защиты своего господина.

В одном месте такие слуги, вместо того чтобы защищать своего толстого хозяина, совершенно неожиданно принялись его избивать, производя шум на целый квартал.

Раздватрис сперва подумал, что это выколачивают пыль из турецкого дивана.

Отсыпав три дюжины ударов, слуги поочередно лягнули толстяка в зад, потом, обнявшись и потрясая палками, побежали куда-то, крича:

— Долой Трех Толстяков! Мы не хотим служить богачам! Да здравствует народ!

А голоса перекликались:

— Просперо!

— Про-о-о-сп-е-е-ро!

Словом, была большая тревога. В воздухе пахло порохом.

И наконец случилось последнее происшествие.

Десять гвардейцев преградили путь трем своим товарищам, везшим Раздватриса. Это были пешие гвардейцы.

— Стой! — сказал один из них. Голубые глаза его сверкнули гневом.— Кто вы?

— Не видишь?! — спросил так же гневно гвардеец, за спиной которого сидел Раздватрис.

Лошадям, задержанным на полном ходу, не стоялось. Тряслась сбруя. Тряслись поджилки у учителя танцев Раздватриса. Неизвестно, что тряслось громче.

— Мы солдаты дворцовой гвардии Трех Толстяков.

— Мы спешим во дворец. Пропустите нас немедленно.

Тогда голубоглазый гвардеец вынул из-за шарфа пистолет и сказал:

— В таком случае отдайте ваши пистолеты и сабли. Оружие солдата должно служить только народу, а не Трем Толстякам.

Все гвардейцы, окружившие всадников, вынули пистолеты.

Всадники схватились за свое оружие. Раздватрис лишился чувств и свалился с лошади. Когда он очнулся — точно сказать нельзя, но, во всяком случае, уже после того, как бой между сопровождавшими его гвардейцами и теми, которые их задержали, окончился. Очевидно, победили последние. Раздватрис увидел около себя того самого, за чьей спиной он сидел. Этот гвардеец был мертв.

— Кровь,— пролепетал Раздватрис, закрывая глаза.

Но то, что он увидел через секунду, потрясло его в три раза сильнее.

Его картонная коробка была разбита. Его имущество вывалилось из обломков коробки. Его чудная одежда, его романсы и парики валялись в пыли на мостовой...

— Ах!..

Это в пылу сражения гвардеец уронил доверенную ему корзину — и она расквасилась о пухлые камни мостовой.

— А! Ах!

Раздватрис бросился к своему добру. Он лихорадочно перебрал жилеты, фраки, чулки, туфли с дешевыми, но красивыми на первый взгляд пряжками и снова сел на землю. Его горе не имело границ. Все вещи, весь туалет остался на месте, но самое главное было похищено.

И пока Раздватрис воздевал к голубому небу свои кулачки, похожие на булочки, три всадника неслись во весь опор к Дворцу Трех Толстяков.

Эти три лошади принадлежали до сражения трем гвардейцам, везшим учителя танцев Раздватриса. После сражения, когда один из них был убит, а остальные сдались и перешли на сторону народа, победи-

тели нашли в разбившейся коробке Раздватриса нечто розовое, завернутое в марлю.

Тогда трое из них немедленно вскочили на отвоеванных лошадей и поскакали.

Скакавший впереди голубоглазый гвардеец прижимал к груди нечто розовое, завернутое в марлю.

Встречные шарахались в сторону. На шляпе у него была красная кокарда. Это означало, что гвардеец перешел на сторону народа.

Тогда встречные, если это не были толстяки или обжоры, аплодировали ему вслед. Но, приглядевшись, в изумлении замирали: из свертка, который гвардеец держал на груди, свисали ноги девочки в розовых туфлях с золотыми розами вместо пряжек...

Глава XIII

ПОБЕДА

Только что мы описывали утро с его необычайными происшествиями, а сейчас повернем обратно и будем описывать ночь, которая предшествовала этому утру и была, как вы уже знаете, полна не менее удивительными происшествиями.

В эту ночь оружейник Просперо бежал из Дворца Трех Толстяков, в эту ночь Суок была схвачена на месте преступления.

Кроме того, в эту ночь три человека с прикрытыми фонарями вошли в спальню наследника Тутти.

Это происходило приблизительно через час после того, как оружейник Просперо разгромил дворцовую кондитерскую и гвардейцы взяли Суок в плен возле спасительной кастрюли.

В спальне было темно.

Высокие окна были наполнены звездами.

Мальчик крепко спал, дыша очень спокойно и тихо.

Три человека всячески старались спрятать свет своих фонарей.

Что они делали, неизвестно. Слышался только шепот. Караул, стоявший у дверей спальни снаружи, продолжал стоять как ни в чем не бывало.

Очевидно, трое вошедших к наследнику имели какое-то право хозяйничать в его спальне.

Вы уже знаете, что воспитатели наследника Тутти не отличались храбростью. Вы помните случай с куклой. Вы помните, как был испуган воспитатель при жуткой сцене в саду, когда гвардейцы искололи куклу саблями. Вы видели, как струсил воспитатель, рассказывая об этой сцене Трем Толстякам.

На этот раз дежурный воспитатель оказался таким же трусом.

Представьте, он находился в спальне, когда вошли трое неизвестных с фонарями. Он сидел у окна, оберегая сон наследника, и, чтобы не заснуть, глядел на звезды и проверял свои знания в астрономии.

Но тут скрипнула дверь, блеснул свет и мелькнули три таинственные фигуры. Тогда воспитатель спрятался в кресле. Больше всего он

боялся, что его длинный нос выдаст его с головой. В самом деле, этот удивительный нос четко чернел на фоне звездного окна и мог быть сразу замечен.

Но трус себя успокаивал: «Авось они подумают, что это такое украшение на ручке кресла или карниз противоположного дома».

Три фигуры, чуть-чуть освещенные желтым светом фонарей, подошли к кровати наследника.

— Есть,— раздался шепот.

— Спит,— ответил другой.

— Тссс...

— Ничего. Он спит крепко.

— Итак, действуйте.

Что-то звякнуло.

На лбу у воспитателя выступил холодный пот. Он почувствовал, что его нос от страха растет.

— Готово,— шипел чей-то голос.

— Давайте.

Опять что-то звякнуло, потом булькнуло и полилось. И вдруг снова наступила тишина.

— Куда вливать?

— В ухо.

— Он спит, положив голову на щеку. Это как раз удобно. Лейте в ухо...

— Только осторожно. По капельке.

— Ровно десять капель.

— Первая капля кажется страшно холодной, а вторая не вызывает никакого ощущения, потому что первая действует немедленно. После нее исчезает всякая чувствительность.

— Старайтесь влить жидкость так, чтобы между первой и второй каплей не было никакого промежутка.

— Иначе мальчик проснется, точно от прикосновения льда.

— Тсс!.. Вливаю... Раз, два!..

И тут воспитатель почувствовал сильный запах ландыша. Он разлился по всей комнате.

— Три, четыре, пять, шесть...— отсчитывал чей-то голос быстрым шепотом.

— Готово.

— Теперь он будет спать три дня непробудным сном.

— И он не будет знать, что стало с его куклой...

— Он проснется, когда уже все окончится.

— А то, пожалуй, он начал бы плакать, топать ногами, и, в конце концов, Три Толстяка простили бы девчонку и даровали бы ей жизнь...

Три незнакомца исчезли. Дрожащий воспитатель встал. Зажег маленькую лампочку, горевшую пламенем в форме оранжевого цветка, и подошел к кровати.

Наследник Тутти лежал в кружевах, под шелковыми покрывалами, маленький и важный.

На огромных подушках покоилась его голова с растрепанными золотыми волосами.

Воспитатель нагнулся и приблизил лампочку к бледному лицу мальчика. В маленьком ухе сверкала капля, будто жемчужина в раковине.

Золотисто-зеленый свет переливался в ней. Воспитатель прикоснулся к ней мизинцем. На маленьком ухе ничего не осталось, а всю руку воспитателя пронизал острый, нестерпимый холод.

Мальчик спал непробудным сном.

А через несколько часов наступило то прелестное утро, которое мы уже имели удовольствие описывать нашим читателям.

Мы знаем, что произошло в это утро с учителем танцев Раздватрисом, но нам гораздо интереснее узнать, что стало в это утро с Суок. Ведь мы ее оставили в таком ужасном положении!

Сперва решено было бросить ее в подземелье.

— Нет, это слишком сложно,— сказал государственный канцлер.— Мы устроим скорый и справедливый суд.

— Конечно, нечего возиться с девчонкой,— согласились Три Толстяка.

Однако не забудьте, что Три Толстяка пережили очень неприятные минуты, удирая от пантеры. Им необходимо было отдохнуть. Они сказали так:

— Мы поспим немного. А утром устроим суд.

С этими словами они разошлись по своим спальням.

Государственный канцлер, который не сомневался в том, что куклу, оказавшуюся девочкой, суд приговорит к смерти, отдал приказание усыпить наследника Тутти, чтобы он своими слезами не смягчил страшного приговора.

Три человека с фонарями, как вы уже знаете, проделали это.

Наследник Тутти спал.

Суок сидела в караульном помещении. Караульное помещение называется кордегардией. Итак, Суок в это утро сидела в кордегардии. Ее окружали гвардейцы. Посторонний человек, зайдя в кордегардию, долго бы удивлялся: почему эта хорошенькая печальная девочка в необыкновенно нарядном розовом платье находится среди гвардейцев? Ее вид совершенно не вязался с грубой обстановкой кордегардии, где валялись седла, оружие, пивные кружки.

Гвардейцы играли в карты, дымили синим вонючим дымом из своих трубок, бранились, поминутно затевали драку.

Эти гвардейцы еще были верны Трем Толстякам. Они грозили Суок огромными кулаками, делали ей страшные рожи и топали на нее ногами.

Суок относилась к этому спокойно. Чтобы отделаться от их внимания и насолить им, она высунула язык и, оборотившись ко всем сразу, сидела с такой рожей целый час.

Сидеть на бочонке ей казалось достаточно удобным. Правда, платье от такого сидения пачкалось, но уже и без того оно потеряло свой прежний вид: его изорвали ветки, обожгли факелы, измяли гвардейцы, обрызгали сиропы.

Суок не думала о своей участи. Девочки ее возраста не страшатся

явной опасности. Они не испугаются направленного на них пистолетного дула, но зато им будет страшно остаться в темной комнате.

Она думала так: «Оружейник Просперо на свободе. Сейчас он вместе с Тибулом поведет бедняков на дворец. Они меня освободят».

В то время когда Суок размышляла таким образом, к дворцу прискакали три гвардейца, о которых мы говорили в предыдущей главе. Один из них, голубоглазый, как вы уже знаете, вез какой-то таинственный сверток, из которого свисали ноги в розовых туфлях с золотыми розами вместо пряжек.

Подъезжая к мосту, где стоял караул, верный Трем Толстякам, эти три гвардейца сорвали со своих шляп красные кокарды.

Это было необходимо для того, чтобы караул их пропустил.

Иначе, если бы караул увидел красные кокарды, он начал бы стрелять в этих гвардейцев, потому что они перешли на сторону народа.

Они пронеслись мимо караула, едва не опрокинув начальника.

— Должно быть, какое-нибудь важное донесение,— сказал начальник, поднимая свою шляпу и стряхивая пыль с мундира.

В этот момент настал для Суок последний час. Государственный канцлер вошел в кордегардию.

Гвардейцы вскочили и стали смирно, вытянув свои огромные перчатки по швам.

— Где девчонка? — спросил канцлер, поднимая очки.

— Иди сюда! — крикнул девочке самый главный гвардеец.

Суок сползла с бочонка.

Гвардеец грубо схватил ее поперек пояса и поднял.

— Три Толстяка ожидают в Зале Суда,— сказал канцлер, опуская очки.— Несите девчонку за мной.

С этими словами канцлер вышел из кордегардии. Гвардеец шагнул за ним, держа Суок одной рукой на весу.

О, золотые розы! О, розовый шелк! Все это гибло под безжалостной рукой.

Суок, которой было больно и неловко висеть поперек страшной руки гвардейца, ущипнула его повыше локтя. Она собрала силы, и щипок получился основательный, несмотря на плотный рукав мундира.

— Черт! — выругался гвардеец и уронил девочку.

— Что? — обернулся канцлер.

И тут канцлер почувствовал совершенно неожиданный удар по уху. Канцлер упал.

И за ним немедленно упал гвардеец, который только что расправлялся с Суок.

Его тоже ударили по уху. Но как! Можете себе представить, какой силы должен быть удар, чтобы свалить без чувств такого огромного и злого гвардейца!

Прежде чем Суок успела оглянуться и увидеть причину, свалившую этих двух людей, чьи-то руки снова подхватили ее и потащили.

Это тоже были грубые и сильные руки, но они казались добрее, и в них Суок чувствовала себя ловчей, чем в руках гвардейца, который валялся теперь на блестящем полу.

— Не бойся! — шепнул ей чей-то голос.

Толстяки нетерпеливо дожидались в Зале Суда. Они сами хотели судить хитрую куклу. Вокруг сидели чиновники, советники, судьи и секретари. Разноцветные парики — малиновые, сиреневые, ярко-зеленые, рыжие, белые и золотые — пылали в солнечных лучах. Но даже веселый солнечный луч не мог украсить надутых физиономий под этими париками.

Три Толстяка по-прежнему страдали от жары. Пот сыпался с них, что горох, и портил лежащие перед ними бумажные листы. Секретари ежеминутно меняли бумагу.

— Наш канцлер заставляет себя долго ждать,— сказал Первый Толстяк, шевеля пальцами, как удавленник.

Наконец долгожданные появились.

Три гвардейца вошли в зал. Один держал на руках девочку. О, как печально она выглядела!

Розовое платье, поражавшее вчера своим сиянием и дорогой искусной отделкой, превратилось теперь в жалкие лохмотья. Увяли золотые розы, осыпались блестки, измялся и истрепался шелк. Голова девочки уныло свисала к плечу гвардейца. Девочка была смертельно бледна, и ее лукавые серые глаза погасли.

Пестрое собрание подняло головы.

Три Толстяка потирали руки.

Секретари вынули длинные перья из-за своих не менее длинных ушей.

— Так,— сказал Первый Толстяк.— А где же государственный канцлер?

Гвардеец, державший девочку, стал перед собранием и доложил. Голубые глаза его весело блестели.

— У господина государственного канцлера по дороге случилось расстройство желудка.

Объяснение это всех удовлетворило.

Суд начался.

Гвардеец усадил бедную девочку на грубую скамью перед столом судей. Она сидела, поникнув головой.

Первый Толстяк начал допрос.

Но тут встретилось весьма важное препятствие: Суок не хотела отвечать ни на один вопрос.

— Прекрасно! — рассердился Толстяк.— Прекрасно! Тем хуже для нее. Она не удостаивает нас ответом,— хорошо... Тем страшней мы выдумаем для нее кару!

Суок не шелохнулась.

Три гвардейца, точно окаменев, стояли по сторонам.

— Позвать свидетелей! — распорядился Толстяк.

Свидетель был только один. Его привели. Это был уважаемый зоолог, смотритель зверинца. Всю ночь он провисел на суку. Его только теперь сняли. Он так и вошел: в цветном халате, в полосатом белье

и в ночном колпаке. Кисть колпака волочилась за ним по земле, как кишка.

Увидев Суок, которая сидела на скамье, зоолог зашатался от страха. Его поддержали.

— Расскажите, как было дело.

Зоолог принялся обстоятельно рассказывать. Он сообщил о том, как, влезши на дерево, он увидел между ветвями куклу наследника Тутти. Так как он никогда не видел живых кукол и не предполагал, что куклы по ночам лазят на деревья, то он очень испугался и лишился чувств.

— Каким образом она освободила оружейника Просперо?

— Не знаю. Я не видел и не слышал. Мой обморок был очень глубок.

— Ответишь ли ты нам, гадкая девчонка, как оружейник Просперо очутился на свободе?

Суок молчала.

— Потрясите ее.

— Хорошенько! — приказали Толстяки.

Голубоглазый гвардеец встряхнул девочку за плечи. Кроме того, он пребольно щелкнул ее в лоб.

Суок молчала.

Толстяки зашипели от злости. Разноцветные головы укоризненно закачались.

— Очевидно,— сказал Первый Толстяк,— никаких подробностей нам не удастся узнать.

При этих словах зоолог ударил себя ладонью по лбу.

— Я знаю, что нужно сделать!

Собрание насторожилось.

— В зверинце есть клетка с попугаями. Там собраны попугаи самых редких пород. Вам, конечно, известно, что попугай умеет запоминать и повторять человеческую речь. У многих попугаев чудный слух и великолепная память... Я думаю, что они запомнили все, что говорилось ночью в зверинце этой девочкой и оружейником Просперо... Поэтому я предлагаю вызвать в Зал Суда в качестве свидетелей какого-нибудь из моих удивительных попугаев.

Гул одобрения прошел по собранию.

Зоолог отправился в зверинец и вскоре вернулся. На его указательном пальце сидел большой старый попугай с длинной красной бородой.

Вспомните: когда Суок бродила ночью по зверинцу,— вспомните! — ей показался подозрительным один из попугаев. Помните, она видела, как он смотрел на нее и как, притворившись спящим, улыбнулся в свою длинную красную бороду.

И теперь на пальце зоолога так же удобно, как и на своей серебряной жердочке, сидел этот самый краснобородый попугай.

Теперь он улыбался весьма недвусмысленно, радуясь, что выдаст бедную Суок.

Зоолог заговорил с ним по-немецки. Попугаю показали девочку.

Тогда он хлопнул крыльями и закричал:

— Суок! Суок!

Голос его походил на треск старой калитки, которую ветер рвет с ее ржавых петель.

Собрание молчало.

Зоолог торжествовал.

А попугай продолжал делать свой донос. Он передавал действительно то, что слышал ночью. Так что если вас интересует история освобождения оружейника Просперо, то слушайте все, что будет кричать попугай.

О! Это была действительно редкая порода попугая. Не говоря уже о красивой красной бороде, которая могла сделать честь любому генералу, попугай искуснейшим образом передавал человеческую речь.

— Кто ты? — трещал он мужским голосом.

И тут же отвечал очень тоненько, подражая голосу девочки:

— Я Суок.

— Суок!

— Меня послал Тибул. Я не кукла. Я живая девочка. Я пришла тебя освободить. Ты не видел меня, как я вошла в зверинец?

— Нет. Я, кажется, спал. Сегодня я заснул впервые.

— Я тебя ищу в зверинце. Я увидела здесь чудовище, которое говорило человеческим голосом. Я думала, что это ты. Чудовище умерло.

— Это Туб. Значит, он умер?

— Умер. Я испугалась и закричала. Пришли гвардейцы, и я спряталась на дерево. Я так довольна, что ты жив! Я пришла тебя освободить.

— Моя клетка крепко заперта.

— У меня ключ от твоей клетки.

Когда попугай пропищал последнюю фразу, негодование охватило всех.

— Ах, подлая девчонка! — заорали Толстяки.— Теперь понятно все. Она украла ключ у наследника Тутти и выпустила оружейника. Оружейник разбил свою цепь, сломал клетку пантеры и схватил зверя, чтобы пройти свободно по двору.

— Да!

— Да!

— Да!

А Суок молчала.

Попугай утвердительно замотал бородой и трижды хлопнул крыльями.

Суд окончился.

Приговор был таков:

«Мнимая кукла обманула наследника Тутти. Она выпустила самого главного мятежника и врага Трех Толстяков — оружейника Просперо. Из-за нее погиб лучший экземпляр пантеры. Поэтому обманщица приговаривается к смерти. Ее растерзают звери».

И представьте себе, даже когда был прочитан приговор, Суок не шевельнулась!

Все собрание двинулось в зверинец. Вой, писк и свист зверей при-

ветствовали шествие. Больше всех волновался зоолог. Ведь он был смотритель зверинца!

Три Толстяка, советники, чиновники и прочие придворные расположились на трибуне. Она была защищена решеткой.

Ах, как нежно светило солнце! Ах, как синело небо! Как сверкали плащи попугаев, как вертелись обезьяны, как приплясывал зеленоватый слон!

Бедная Суок! Она не любовалась этим. Должно быть, глазами, полными ужаса, она смотрела на грязную клетку, где, приседая, бегали тигры. Они походили на ос,— во всяком случае, имели ту же окраску: желтую с коричневыми полосами.

Они исподлобья смотрели на людей. Иногда они бесшумно разевали алые пасти, из которых воняло сырым мясом.

Бедная Суок!

Прощай, цирк, площади, Август, лисичка в клетке, милый, большой, смелый Тибул!

Голубоглазый гвардеец вынес девочку на середину зверинца и положил на блестящий горячий графит.

— Позвольте,— сказал вдруг один из советников.— А как же наследник Тутти? Ведь если он узнает, что его кукла погибла в лапах тигра, он умрет от слез.

— Тсс! — шепнул ему сосед.— Тсс! Наследника Тутти усыпили... Он будет спать непробудным сном три дня, а может быть, и больше...

Все взоры устремились на розовый жалкий комок, лежавший в кругу между клеток.

Тогда вошел укротитель, хлопая бичом и сверкая пистолетом. Музыканты заиграли марш. Так Суок в последний раз выступала перед публикой.

— Алле! — крикнул укротитель.

Железная дверь клетки загремела. Из клетки тяжело и бесшумно кидая лапами выбежали тигры.

Толстяки захохотали. Советники захихикали и затрясли париками. Хлопал бич.

Три тигра подбежали к Суок.

Она лежала неподвижно, глядя в небо неподвижными серыми глазами. Все приподнялись. Все готовы были закричать от удовольствия, увидев расправу зверей с маленьким другом народа...

Но... тигры подошли, один нагнул лобастую голову, понюхал, другой тронул кошачьей лапой девочку, третий, даже не обратив внимания, пробежал мимо и, став перед трибуной, начал рычать на Толстяков.

Тогда все увидели, что это была не живая девочка, а кукла — рваная, старая, никуда не годная кукла.

Скандал был полный. Зоолог от конфуза откусил себе половину языка. Укротитель загнал зверей обратно в клетку и, презрительно подкинув ногой мертвую куклу, ушел снимать свой парадный костюм, синий с золотыми шнурами.

Общество молчало пять минут.

И молчание нарушилось самым неожиданным образом: над зверинцем в голубом небе разорвалась бомба.

Все зрители рухнули носами в деревянный пол трибуны. Все звери стали на задние лапы. Немедленно разорвалась вторая бомба. Небо заполнилось белым круглым дымом.

— Что это? Что это? Что это? — полетели крики.

— Народ идет на приступ!

— У народа — пушки!

— Гвардейцы изменили!!

— О! А! О!!

Парк заполнился шумом, криками, выстрелами. Мятежники ворвались в парк — это было ясно!

Вся компания бросилась бежать из зверинца. Министры обнажили шпаги. Толстяки орали благим матом.

В парке они увидели следующее.

Со всех сторон наступали люди. Их было множество. Голые головы, окровавленные лбы, разорванные куртки, счастливые лица... Это шел народ, который сегодня победил. Гвардейцы смешались с ними. Красные кокарды сияли на их шляпах. Рабочие были тоже вооружены. Бедняки в коричневых одеждах, в деревянных башмаках надвигались целым войском. Деревья гнулись под их напором, кусты трещали.

— Мы победили! — кричал народ.

Три Толстяка увидели, что спасения нет.

— Нет! — завыл один из них.— Неправда! Гвардейцы, стреляйте в них!

Но гвардейцы стояли в одних рядах с бедняками. И тогда прогремел голос, покрывший шум всей толпы. Это говорил оружейник Просперо:

— Сдавайтесь! Народ победил. Кончилось царство богачей и обжор. Весь город в руках народа. Все Толстяки в плену.

Плотная пестрая волнующаяся стена обступила Толстяков.

Люди размахивали алыми знаменами, палками, саблями, потрясали кулаками. И тут началась песня.

Тибул в своем зеленом плаще, с головой, повязанной тряпкой, через которую просачивалась кровь, стоял рядом с Просперо.

— Это сон! — крикнул кто-то из Толстяков, закрывая глаза руками.

Тибул и Просперо запели. Тысячи людей подхватили песню. Она летела по всему огромному парку, через каналы и мосты. Народ, наступавший от городских ворот к дворцу, услышал ее и тоже начал петь. Песня перекатывалась, как морской вал, по дороге, через ворота, в город, по всем улицам, где наступали рабочие и бедняки. И теперь пел эту песню весь город. Это была песня народа, который победил своих угнетателей.

Не только Три Толстяка со своими министрами, застигнутые во дворце, жались, и ежились, и сбивались в одно жалкое стадо при звуках этой песни,— все франты в городе, толстые лавочники, обжоры, купцы, знатные дамы, лысые генералы удирали в страхе и смятении, точно это были не слова песни, а выстрелы и огонь.

Они искали места, где бы спрятаться, затыкали уши, зарывались головами в дорогие вышитые подушки.

Кончилось тем, что огромная толпа богачей бежала в гавань, чтобы сесть на корабли и уплыть из страны, где они потеряли все: свою власть, свои деньги и привольную жизнь лентяев.

Но тут их окружили матросы. Богачи были арестованы. Они просили прощенья. Они говорили:

— Не трогайте нас! Мы не будем больше принуждать вас работать на нас...

Но народ им не верил, потому что богачи уже не раз обманывали бедняков и рабочих.

Солнце стояло высоко над городом. Синело чистое небо. Можно было подумать, что празднуют большой, небывалый праздник.

Все было в руках народа: арсеналы, казармы, дворцы, хлебные склады, магазины. Везде стояли караулы гвардейцев с красными кокардами на шляпах.

На перекрестках развевались алые флаги с надписями:

ВСЕ, ЧТО СДЕЛАНО РУКАМИ БЕДНЯКОВ,
ПРИНАДЛЕЖИТ БЕДНЯКАМ!
ДА ЗДРАВСТВУЕТ НАРОД!
ДОЛОЙ ЛЕНТЯЕВ И ОБЖОР!

Но что стало с Тремя Толстяками?

Их повели в главную залу дворца, чтобы показать народу. Рабочие в серых куртках с зелеными обшлагами, держа наперевес ружья, составляли конвой. Зал сверкал тысячами солнечных пятен. Сколько здесь было людей! Но как отличалось это собрание от того, перед которым пела маленькая Суок в день своего знакомства с наследником Тутти!

Здесь были все те зрители, которые рукоплескали ей на площадях и рынках. Но теперь их лица казались веселыми и счастливыми. Люди теснились, лезли друг другу на спины, смеялись, шутили. Некоторые плакали от счастья, размазывая слезы грязными от труда руками. Никогда таких гостей не видели парадные залы дворца. И никогда еще так ярко не освещало их солнце.

— Тсс!

— Тише!

— Тише!

На вершине лестницы появилась процессия пленников. Три Толстяка смотрели в землю. Впереди шел Просперо, и с ним Тибул.

Колонны зашатались от восторженных криков, а Три Толстяка оглохли. Их свели по лестнице, чтобы народ их увидел ближе и убедился, что эти страшные Толстяки у него в плену.

— Вот,— сказал Просперо, стоя у колонны. Он был ростом почти в половину этой огромной колонны; его рыжая голова горела нестерпимым пламенем в солнечном сиянии.— Вот,— сказал он,— вот Три Толстяка. Они давили бедный народ. Они заставляли нас работать до кровавого пота и отнимали у нас все. Видите, как они разжирели! Мы победили их. Теперь мы будем работать сами для себя, мы все будем равны. У нас не будет ни богачей, ни лентяев, ни обжор. Тогда нам

будет хорошо, мы все будем сыты и богаты. Если нам станет плохо, то мы будем знать, что нет никого, кто жиреет в то время, когда мы голодны...

— Ура! Ура! — неслись крики.

Три Толстяка сопели.

— Сегодня день нашей победы. Смотрите, как сияет солнце! Слушайте, как поют птицы! Слушайте, как пахнут цветы! Запомните этот день, запомните этот час!

И, когда прозвучало слово «час», все головы повернулись туда, где были часы.

Они висели между двумя колоннами, в глубокой нише. Это был огромный ящик из дуба с резными и эмалевыми украшениями. Посредине темнел диск с цифрами.

«Который час?» — подумал каждый.

И вдруг (это уже последнее «вдруг» в нашем романе)...

Вдруг дубовая дверь ящика раскрылась. Никакого механизма внутри не оказалось. Вся часовая машина была выломана. И вместо медных кругов и пружин в этом шкафчике сидела розовая, сверкающая и сияющая Суок.

— Суок! — вздохнул зал.

— Суок! — завопили дети.

— Суок! Суок! Суок! — загремели рукоплескания.

Голубоглазый гвардеец вынул девочку из шкафа. Это был тот же самый голубоглазый гвардеец, который похитил куклу наследника Тутти из картонной коробки учителя танцев Раздватриса. Он привез ее во дворец, он повалил ударом кулака государственного канцлера и гвардейца, который тащил бедную живую Суок. Он спрятал Суок в часовой шкаф и подменил ее мертвой, изорванной куклой. Помните, как в Зале Суда он тряс это чучело за плечи и как он отдал его на растерзание зверей...

Девочку передавали из рук в руки. Люди, которые называли ее лучшей танцовщицей в мире, люди, которые бросали ей на коврик последние монеты, принимали ее в объятия, шептали: «Суок!», целовали, тискали на своей рваной груди. Там, под грубыми куртками, покрытыми сажей и дегтем, бились исстрадавшиеся, большие, полные нежности сердца.

Она смеялась, трепала их спутанные волосы, вытирала маленькими руками свежую кровь с их лиц, тормошила детей и строила им рожи, плакала и лепетала что-то неразборчивое.

— Дайте ее сюда,— сказал оружейник Просперо дрогнувшим голосом; многим показалось, что в глазах его блеснули слезы.— Это моя спасительница.

— Сюда! Сюда! — кричал Тибул, размахивая зеленым плащом, как огромным листом лопуха.— Это мой маленький дружок. Иди сюда, Суок!

А издали спешил, пробиваясь сквозь толпу, маленький улыбающийся доктор Гаспар...

Трех Толстяков загнали в ту самую клетку, в которой сидел оружейник Просперо.

ЭПИЛОГ

Спустя год был шумный и веселый праздник. Народ справлял первую годовщину освобождения из-под власти Трех Толстяков.

На площади Звезды был устроен спектакль для детей.

На афишах красовались надписи:

«Суок! Суок! Суок!»

Тысячи детей ожидали появления любимой актрисы. И в этот праздничный день она представляла не одна: маленький мальчик, слегка похожий на нее, только с золотыми волосами, вышел вместе с ней на эстраду.

Это был ее брат. А прежде он был наследником Тутти.

Город шумел, трещали флаги, мокрые розы сыпались из мисок цветочниц, прыгали лошади, разукрашенные разноцветными перьями, катились карусели, а на площади Звезды маленькие зрители, замирая, следили за представлением.

Потом Суок и Тутти были засыпаны цветами. Дети окружили их.

Суок вынула маленькую дощечку из кармана своего нового платья и кое-что прочла детям.

Наши читатели помнят эту дощечку. В одну страшную ночь умирающий таинственный человек, похожий на волка, передал ей дощечку из печальной клетки в зверинце.

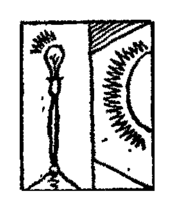
Вот что было написано на ней:

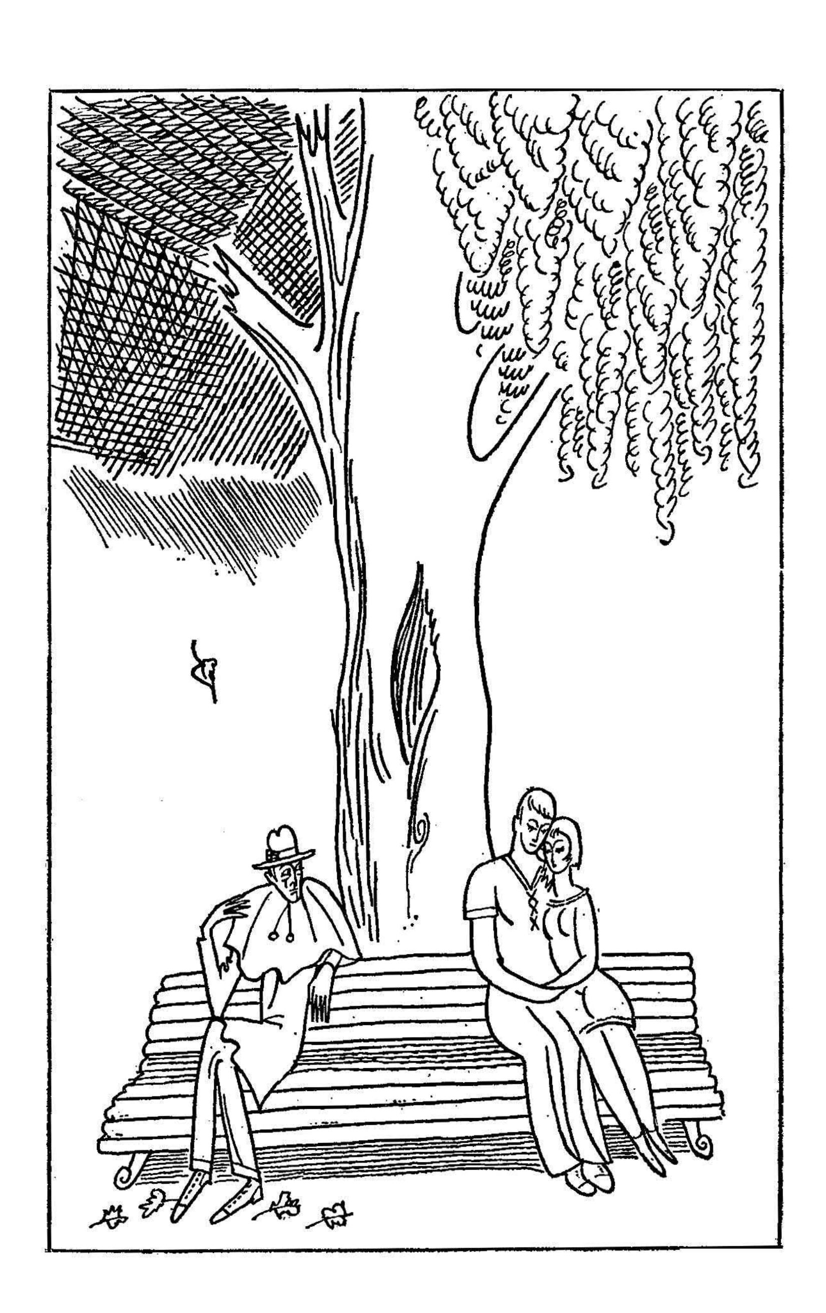
«Вас было двое: сестра и брат — Суок и Тутти.

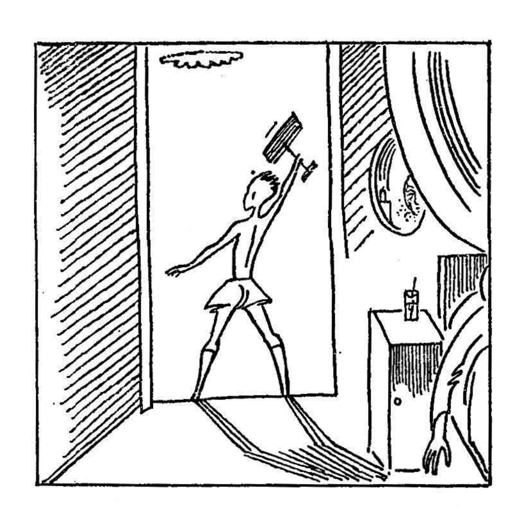
Когда вам исполнилось четыре года, вас похитили из родного дома гвардейцы Трех Толстяков. Я Туб, ученый. Меня привезли во дворец. Мне показали маленькую Суок и Тутти. Три Толстяка сказали так: «Вот видишь девочку? Сделай куклу, которая не отличалась бы от этой девочки». Я не знал, для чего это было нужно. Я сделал такую куклу. Я был большим ученым. Кукла должна была расти, как живая девочка. Суок исполнится пять лет, и кукле тоже. Суок станет взрослой, хорошенькой и печальной девочкой, и кукла станет такой же. Я сделал эту куклу. Тогда вас разлучили. Тутти остался во дворце с куклой, а Суок отдали бродячему цирку в обмен на попугая редкой породы с длинной красной бородой. Три Толстяка приказали мне: «Вынь сердце мальчика и сделай для него железное сердце». Я отказался. Я сказал, что нельзя лишать человека его человеческого сердца. Что никакое сердце — ни железное, ни ледяное, ни золотое — не может быть дано человеку вместо простого, настоящего человеческого сердца. Меня посадили в клетку. И с тех пор мальчику начали внушать, что сердце у него железное. Он должен был верить этому и быть жестоким и суровым. Я просидел среди зверей восемь лет. Я оброс шерстью, и зубы мои стали длинными и желтыми, но я не забыл вас. Я прошу у вас прощения. Мы все были обездолены Тремя Толстяками, угнетены богачами и жадными обжорами. Прости меня, Тутти,— что на языке обездоленных значит: «разлученный». Прости меня, Суок,— что значит — «вся жизнь»...

1924

РАССКАЗЫ







ЛИОМПА

Мальчик Александр строгал на кухне планки. Порезы на пальцах у него покрывались золотистыми съедобными корками.

Кухня выходила во двор; была весна, двери не закрывались, у порога росла трава, блестела пролитая на камень вода. В сорном ящике появлялась крыса. В кухне жарили мелко нарезанную картошку. Зажигали примус. Жизнь примуса начиналась пышно: факелом до потолка. Умирал он кротким синим огоньком. В кипятке прыгали яйца. Один жилец варил раков. Живого рака брал он двумя пальцами за талию. Раки были зеленоватого, водопроводного цвета. Из крана вытекали вдруг сами по себе две-три капельки. Кран тихо сморкался. Потом наверху заговаривали несколькими голосами трубы. Тогда сразу определялись сумерки. Один лишь стакан продолжал сиять на подоконнике. Он получал сквозь калитку последние лучи солнца. Кран разговаривал. Вокруг плиты начиналось разнохарактерное шевеление и потрескивание.

Сумерки были прекрасны. Люди ели подсолнухи, раздавалось пение, комнатный желтый свет падал на тротуар, ярко озарялась съестная лавка.

В комнате, по соседству с кухней, лежал тяжело больной Пономарев. Он лежал в комнате один, горела свеча, флакон с лекарством стоял над головой, от флакона тянулся рецепт.

Когда приходили к Пономареву знакомые, он говорил:

— Поздравьте меня, я умираю.

К вечеру у него начинался бред. Флакон смотрел на него. Рецепт тянулся, как шлейф. Флакон был бракосочетающейся герцогиней. Флакон назывался «тезоименитство». Больной бредил. Он хотел писать трактат. Он разговаривал с одеялом.

— Ну, как тебе не стыдно?..— шептал он.

Одеяло сидело рядом, ложилось рядом, уходило, сообщало новости.

Больного окружали немногие вещи: лекарство, ложка, свет, обои. Остальные вещи ушли. Когда он понял, что тяжело заболел и умирает, то понял он также, как велик и разнообразен мир вещей и как мало их осталось в его власти. С каждым днем количество вещей уменьшалось. Такая близкая вещь, как железнодорожный билет, уже стала для него невозвратимо далекой. Сперва количество вещей уменьшалось по периферии, далеко от него; затем уменьшение стало приближаться все скорее к центру, к нему, к сердцу — во двор, в дом, в коридор, в комнату.

Сперва исчезновение вещей не вызывало в больном тоски.

Исчезли страны, Америка, возможность быть красивым или богатым, семья (он был холост)... К исчезновению этих вещей болезнь не имела никакого отношения: они ускользали по мере того, как он старел,— а настоящая боль пришла тогда, когда ему стало ясно, что и те вещи, которые постоянно двигались вровень с ним, также начинают удаляться от него. Так, в один день покинули его: улица, служба, почта, лошади. И тут стремительно пошло исчезновение рядом, под боком: уже ускользнул из власти его коридор, и в самой комнате, на глазах у него, прекратилось значение пальто, дверной задвижки, башмаков. Он знал: смерть по дороге к нему уничтожает вещи. Из всего огромного и праздного их количества смерть оставила ему только несколько, и это были те вещи, которых он никогда бы, если бы это было в его власти, не допустил в свое хозяйство. Он получил подсов. Он получил страшные посещения и взгляды знакомых. Он понял, что не в силах защищаться против вторжения этих непрошеных и ненужных, как ему всегда казалось, вещей. Но теперь они были единственны и непреложны. Он потерял право выбирать вещи.

Мальчик Александр делал летающую модель.

Мальчик был гораздо сложнее и серьезнее, чем думали о нем остальные. Он резал пальцы, истекал кровью, сорил стружками, пачкал клеем, выпрашивал шелк, плакал, получал подзатыльники. Взрослые признавали себя абсолютно правыми. А между тем мальчик действовал совершенно по-взрослому, больше того,— он действовал так, как может действовать только некоторое количество взрослых: он действовал в полном согласии с наукой. Модель строилась по чертежу, производились вычисления,— мальчик знал законы. Он мог бы противопоставить нападкам взрослых объяснение законов, демонстрацию опытов, но он молчал, потому что не считал себя вправе показаться более серьезным, чем взрослые.

Вокруг мальчика располагались резиновые жгуты, проволока, планки, шелк, легкая чайная ткань шелка, запах клея. Сверкало небо. Насекомые ходили по камню. В камне окаменела ракушка.

К работающему мальчику подходил другой мальчик, совсем маленький, голый, в синих трусах. Он трогал вещи и мешал. Александр гнал его. Голый резиновый мальчик ходил по дому, по коридору, где стоял велосипед. (Велосипед педалью был прислонен к стене. На обоях педаль провела царапину. На этой царапине как бы и держался велосипед у стены.)

Маленький мальчик приходил к Пономареву. Голова малыша маячила над бортом кровати. У больного виски были бледные, как у слепого. Мальчик подходил вплотную к голове и рассматривал. Он думал, что в мире всегда было и бывает так: бородатый человек лежит в комнате на кровати. Мальчик только вступил в познавание вещей. Он не умел еще различать разницу во времени их существования.

Он повернулся и стал ходить по комнате. Он видел паркетные слагались и распределялись линии, жили тела. Получался вдруг световой фокус,— мальчик спешил к нему, но едва успевал сделать шаг, плитки, пыль под плинтусом, трещины на штукатурке. Вокруг него как перемена расстояния уничтожала фокус,— и мальчик оглядывался, смотрел вверх и вниз, смотрел за печку, искал — и растерянно разводил руками, не находя. Каждая секунда создавала ему новую вещь. Удивителен был паук. Паук улетел при одной мысли мальчика потрогать паука рукой.

Уходящие вещи оставляли умирающему только свои имена.

В мире было яблоко. Оно блистало в листве, легонько вращалось, схватывало и поворачивало с собой куски дня, голубизну сада, переплет окна. Закон притяжения поджидал его под деревом, на черной земле, на кочках. Бисерные муравьи бегали среди кочек. В саду сидел Ньютон. В яблоке таилось множество причин, могущих вызвать еще большее множество следствий. Но ни одна из этих причин не предназначалась для Пономарева. Яблоко стало для него абстракцией. И то, что плоть вещи исчезала от него, а абстракция оставалась — было для него мучительно.

«Я думал, что мира внешнего не существует,— размышлял он,— я думал, что глаз мой и слух управляют вещами, я думал, что мир перестанет существовать, когда перестану существовать я. Но вот... я вижу, как все отворачивается от еще живого меня. Ведь я еще существую! Почему же вещи не существуют? Я думал, что мозг мой дал им форму, тяжесть и цвет,— но вот они ушли от меня, и только имена их — бесполезные имена, потерявшие хозяев,— роятся в моем мозгу. А что мне с этих имен?»

С тоской смотрел Пономарев на ребенка. Тот ходил. Вещи неслись ему навстречу. Он улыбался им, не зная ни одного имени. Он уходил, и пышный шлейф вещей бился за ним.

— Слушай,— позвал ребенка больной,— слушай... Ты знаешь, когда я умру, ничего не останется. Ни двора, ни дерева, ни папы, ни мамы. Я заберу с собой все.

На кухню проникла крыса.

Пономарев слушал: крыса хозяйничает, стучит тарелками, открывает кран, шуршит в ведре.

«Эге, она судомойка»,— подумал Пономарев.

Тут же в голову пришла ему беспокойная мысль, что крыса может иметь собственное имя, неизвестное людям. Он начал придумывать такое имя. Он был в бреду. По мере того как он придумывал, его охватывал все сильнее и сильнее страх. Он понимал, что во что бы то ни стало надо остановиться и не думать о том, какое имя у крысы,— вместе с тем продолжал, зная, что в тот самый миг, когда придумается это единственное бессмысленное и страшное имя,— он умрет.

— Лиомпа! — вдруг закричал он ужасным голосом.

Дом спал. Было раннее утро — начало шестого. Не спал мальчик Александр. Дверь из кухни была открыта во двор. Солнце было еще где-то внизу.

Умирающий шел по кухне, согнувшись в животе и вытянув руки с повиснувшими кистями. Он шел забирать вещи.

Мальчик Александр бежал по двору. Модель летела впереди него. Это была последняя вещь, которую увидел Пономарев.

Он не забрал ее. Она улетела.

Днем в кухне появился голубой, с желтыми украшениями гроб. Резиновый мальчик смотрел из коридора, заложив за спину руки. Пришлось долго и всячески поворачивать гроб, чтобы пронести в дверь. Задели полку, кастрюлю, посыпалась штукатурка. Мальчик Александр влез на плиту и помог, поддерживая ящик снизу. Когда гроб проник наконец в коридор, сделавшись сразу черным, резиновый мальчик, шлепая сандалиями, побежал впереди.

— Дедушка! Дедушка! — закричал он.— Тебе гроб принесли.

1927

ЛЕГЕНДА

Ночью в дом пришли солдаты производить расправу. Я проснулся от выстрелов. Стреляли где-то наверху, в четвертом этаже.

Пока солдаты действовали двумя этажами выше, пока они сходили по лестнице, чтобы ворваться к нам, со мной произошло следующее.

Во-первых: я очутился в спальне родителей (ночью — впервые). Я увидел родительскую спальню ночью. На ночном столике горела лампочка под розовым колпаком. Я увидел родителей в одной постели. Отец предстал передо мной в бесстыдном виде. Кроме того, он действовал так, что и мать оказалась в таком же виде. Для того чтобы сойти с кровати, отцу, занимавшему место под стеной, нужно было или перевалиться, или перелезть через мать. Он полез, стаскивая одеяло. Мать осталась без покровов. Она продолжала лежать, не делая никаких попыток спрятаться, сознание ее было затемнено страхом.

(Я не почувствовал жалости. Я должен был поднять одеяло, укрыть ее, обнять, гладить по голове. Я должен был как-нибудь, какими-нибудь словами вселить бодрость в отца, вернуть ему самообладание. Я этого не сделал.)

Во-вторых, я подумал об отце так:

...Тебе никогда не приходила в голову мысль о том, что ты, возможно, глупее меня. Ты никогда не допустил бы самой возможности обсуждать равенство или неравенство между родителями и детьми. Ты думал, что ты — идеал мой. Ты думал, что я хочу быть таким, как ты, ты думал, что я хочу продолжать тебя, твои черты, усы, жесты, мысли, спальню, что я также должен лежать с женщиной, как ты лежишь с матерью. Ты думал, что так должно быть. Я не хочу быть продолжением твоим! Слышишь?

В-третьих, я вдруг по-иному увидел всю ту обстановку, которая окружала меня столько лет, и это зрелище потрясло меня. Каждая вещь навязывала мне родство. Каждая вещь что-то предписывала мне. На стене висели круглые часы. «Я родилась под их бой,— не раз говорила мама,— и бабушка тоже». Часы были преданием, часы были легендой. Мне не нужно легенд. Я не хочу умирать под бой этих часов. Я не хочу быть продолжением. Я отчетливо осознал вдруг — семейный совет мебели окружает меня. Мебель советует мне, мебель учит меня жить. Буфет хочет сказать мне: «Я буду сопровождать тебя в жизненном пути твоем. Я стану за твоей спиной. Меня хватит надолго, я прочный, два поколения прятало в меня пищу. Меня хватит, обращайся со мной бережно, и тогда хватит меня и на твоего сына, и на внука. Я сделаюсь легендой».

Я вдруг осознал зависимость свою от всех этих вещей. Круглый стол заставлял меня поворачивать там, где мне хотелось идти прямо, комод отодвигал меня влево, когда мне нужно было вправо, лакированные полочки на стене укорачивали взмахи моих рук. Не раз я хотел поднять восстание. Но между мебелью и мною посредничал отец. Он имел тайные инструкции от буфетов и граммофонов: как обмануть, как ублаготворить меня, как поступить, чтобы мысль о войне не возникла у меня, чтобы я вел себя тихо. Иногда какая-нибудь портьера, испуганная за всю державу, давала мне взятку в виде бархатного шарика, оторвавшегося от шнурка. Я мог швырять его во всех направлениях, разрушая традиции и легенды, я мог дать ему любое назначение, грубо нарушающее семейные представления о том, что такое портьера, как вышла она и как нужно беречь ее и какое место должна она занимать в человеческой жизни...

В-четвертых — я предал отца.

Отец выбежал из спальни. Он трясся, не мог говорить, от страха он перестал быть человеком. Он превратился в курицу. Он летал! Он взлетел вдруг на стол (в белье), присел, опять взлетел, очутился на буфете, потом на подоконнике (как курица, которую ловит повар).

И неожиданно после всего этого (не летания,— он не летал,— просто у меня кружилась голова и через головокружение я так вос-

принимал внешние проявления его страха) он попытался взять себя в руки.

И попытка ему удалась. Он разом переменился, перестал летать, он твердо остановился, выпрямился и, положив руку мне на плечо, сказал:

— Коля, будь гордым. Мы умрем, как дворяне.

Словом: власть отца продолжается, совет мебели не разогнан, легенда существует. Отец семейства, продолжатель рода, носитель традиций, показывает последний фокус. Он умрет исторически. Он сделает из себя мученика.

— Подожди,— продолжал отец,— сейчас я выйду. Мы умрем вместе.

Он ушел в спальню и вернулся, волоча мать. Он поднимал ее, она оседала. Обоих покрывала форменная отцовская шинель.

— Застегнись на все пуговицы,— приказал он мне (я был в студенческой тужурке, в накидку).— Встретим смерть достойно.

В дверь стучали. Отец пошел отворять. Мать лежала на полу. Он шел, как мученик. Спину свою, приподнятые плечи он нес, как скрижаль. Он уже был легендой.

Тогда я опередил его. Я сам открыл дверь, крича:

— Стреляйте! Стреляйте! По спальне! По тайне! По буфету, по легенде, по всем пуговицам! Отрубите меня от него, от усов его, от мыслей. Освободите меня.

Крича это, я валился в полной покорности на чьи-то руки. Я затих, так как понял, что то, что я поднялся с постели и пережил такое волнение, будучи болен тифом,— может окончиться катастрофой.

1927

ЛЮБОВЬ

Шувалов ожидал Лелю в парке. Был жаркий полдень. На камне появилась ящерица. Шувалов подумал: на этом камне ящерица беззащитна, ее можно сразу обнаружить. «Мимикрия»,— подумал он. Мысль о мимикрии привела воспоминание о хамелеоне.

— Здравствуйте,— сказал Шувалов.— Не хватало только хамелеона.

Ящерица бежала.

Шувалов поднялся в сердцах со скамейки и быстро пошел по дорожке. Его охватила досада, возникло желание воспротивиться чему-то. Он остановился и сказал довольно громко:

— Да ну его к черту! Зачем мне думать о мимикрии и хамелеоне? Эти мысли мне совершенно не нужны.

Он вышел на полянку и присел на пенек. Летали насекомые. Вздрагивали стебли. Архитектура летания птиц, мух, жуков была призрачна, но можно было уловить кое-какой пунктир, очерк арок, мостов, башен, террас — некий быстро перемещающийся и ежесекундно деформирующийся город.

«Мною начинают распоряжаться,— подумал Шувалов.— Сфера

моего внимания засоряется. Я становлюсь эклектиком. Кто распоряжается мною? Я начинаю видеть то, чего нет».

Леля не шла. Его пребывание в саду затянулось. Он прогуливался. Ему пришлось убедиться в существовании многих пород насекомых. По стеблю ползла букашка, он снял ее и посадил на ладонь. Внезапно ярко сверкнуло ее брюшко. Он рассердился.

— К черту! Еще полчаса — и я стану натуралистом.

Стебли были разнообразны, листья, стволы; он видел травинки, суставчатые, как бамбук; его поразила многоцветность того, что называют травяным покровом; многоцветность самой почвы оказалась для него совершенно неожиданной.

— Я не хочу быть натуралистом! — взмолился он.— Мне не нужны эти случайные наблюдения.

Но Леля не шла. Он уже сделал кое-какие статистические выводы, произвел уже кое-какую классификацию. Он уже мог утверждать, что в этом парке преобладают деревья с широкими стволами и листьями, имеющими трефовую форму. Он узнавал звучание насекомых. Внимание его, помимо его желания, наполнилось совершенно неинтересным для него содержанием.

А Леля не шла. Он тосковал и досадовал. Вместо Лели пришел неизвестный гражданин в черной шляпе. Гражданин сел рядом с Шуваловым на зеленую скамью. Гражданин сидел несколько понурившись, положив на каждое колено по белой руке. Он был молод и тих. Оказалось впоследствии, что молодой человек страдает дальтонизмом. Они разговорились.

— Я вам завидую,— сказал молодой человек.— Говорят, что листья зеленые. Я никогда не видел зеленых листьев. Мне приходится есть синие груши.

— Синий цвет несъедобный,— сказал Шувалов.— Меня бы стошнило от синей груши.

— Я ем синие груши,— печально повторил дальтоник.

Шувалов вздрогнул.

— Скажите,— спросил он,— не замечали ли вы, что когда вокруг вас летают птицы, то получается город, воображаемые линии?..

— Не замечал,— ответил дальтоник.

— Значит, весь мир воспринимается вами правильно?

— Весь мир, кроме некоторых цветовых деталей.— Дальтоник повернул к Шувалову бледное лицо.

— Вы влюблены? — спросил он.

— Влюблен,— честно ответил Шувалов.

— Только некоторая путаница в цветах, а в остальном — все естественно! — весело сказал дальтоник. При этом он сделал покровительственный по отношению к собеседнику жест.

— Однако синие груши — это не пустяк,— ухмыльнулся Шувалов.

Вдали появилась Леля. Шувалов подпрыгнул. Дальтоник встал и, приподняв черную шляпу, стал удаляться.

— Вы не скрипач? — спросил вдогонку Шувалов.

— Вы видите то, чего нет,— ответил молодой человек.

Шувалов запальчиво крикнул:

— Вы похожи на скрипача.

Дальтоник, продолжая удаляться, проговорил что-то, и Шувалову послышалось:

— Вы на опасном пути...

Леля быстро шла. Он поднялся навстречу, сделал несколько шагов. Покачивались ветви с трефовыми листьями. Шувалов стоял посреди дорожки. Ветви шумели. Она шла, встречаемая овацией листвы. Дальтоник, забиравший вправо, подумал: «А ведь погода-то ветрена»,— и посмотрел вверх, на листву. Листва вела себя, как всякая листва, взволнованная ветром. Дальтоник увидел качающиеся синие кроны. Шувалов увидел зеленые кроны. Но Шувалов сделал неестественный вывод. Он подумал: «Деревья встречают Лелю овацией». Дальтоник ошибался, но Шувалов ошибался еще грубее.

— Я вижу то, чего нет,— повторил Шувалов.

Леля подошла. В руке она держала кулек с абрикосами. Другую руку она протянула ему. Мир стремительно изменился.

— Отчего ты морщишься? — спросила она.

— Я, кажется, в очках.

Леля достала из кулька абрикос, разорвала маленькие его ягодицы и выбросила косточку. Косточка упала в траву. Он испуганно оглянулся. Он оглянулся и увидел: на месте падения косточки возникло дерево, тонкое, сияющее деревце, чудесный зонт. Тогда Шувалов сказал Леле:

— Происходит какая-то ерунда. Я начинаю мыслить образами. Для меня перестают существовать законы. Через пять лет на этом месте вырастет абрикосовое дерево. Вполне возможно. Это будет в полном согласии с наукой. Но я, наперекор всем естествам, увидел это дерево на пять лет раньше. Ерунда. Я становлюсь идеалистом.

— Это от любви,— сказала она, истекая абрикосовым соком.

Она сидела на подушках, ожидая его. Кровать была вдвинута в угол. Золотились на обоях венчики. Он подошел, она обняла его. Она была так молода и так легка, что, раздетая, в сорочке, казалась противоестественно оголенной. Первое объятие было бурным. Детский медальон вспорхнул с ее груди и застрял в волосах, как золотая миндалина. Шувалов опускался над ее лицом — медленно, как лицо умирающей, уходившим в подушку.

Горела лампа.

— Я потушу,— сказала Леля.

Шувалов лежал под стеной. Угол надвинулся. Шувалов водил пальцем по узору обоев. Он понял: та часть общего узора обоев, тот участок стены, под которым он засыпает, имеет двойное существование: одно обычное, дневное, ничем не замечательное — простые венчики; другое — ночное, воспринимаемое за пять минут до погружения в сон. Внезапно подступив вплотную, части узоров увеличились, детализировались и изменились. На грани засыпания, близкий к детским ощущениям, он не протестовал против превращения знакомых и законных форм, тем более что превращение это было умилительно: вместо завитков и колец он увидел козу, повара...

— И вот скрипичный ключ,— сказала Леля, поняв его.

— И хамелеон...— прошепелявил он, засыпая.

Он проснулся рано утром. Очень рано. Он проснулся, посмотрел по сторонам и вскрикнул. Блаженный звук вылетел из его горла. За эту ночь перемена, начавшаяся в мире в первый день их знакомства, завершилась. Он проснулся на новой земле. Сияние утра наполняло комнату. Он видел подоконник и на подоконнике горшки с разноцветными цветами. Леля спала, повернувшись к нему спиной. Она лежала свернувшись, спина ее округлилась, под кожей обозначился позвоночник,— тонкая камышина. «Удочка,— подумал Шувалов,— бамбук». На этой новой земле все было умилительно и смешно. В открытое окно летели голоса. Люди разговаривали о цветочных горшках, выставленных на ее окне.

Он встал, оделся, с трудом удерживаясь на земле. Земного притяжения более не существовало. Он не постиг еще законов этого нового мира и поэтому действовал осторожно, с опаской, боясь какимнибудь неосторожным поступком вызвать оглушительный эффект. Даже просто мыслить, просто воспринимать предметы было рискованно. А вдруг за ночь в него вселилось умение материализировать мысли? Имелось основание так предполагать. Так, например, сами собой застегнулись пуговицы. Так, например, когда ему потребовалось намочить щетку, чтобы освежить волосы, внезапно раздался звук падающих капель. Он оглянулся. На стене под лучами солнца горела цветами монгольфьеров охапка Лелиных платьев.

— Я тут,— прозвучал из вороха голос крана.

Он нашел под охапкой кран и раковину. Розовый обмылок лежал тут же. Теперь Шувалов боялся подумать о чем-либо страшном. «В комнату вошел тигр»,— готов был подумать он против желания, но успел отвлечь себя от этой мысли... Однако в ужасе посмотрел он на дверь. Материализация произошла, но так как мысль была не вполне оформлена, то и эффект материализации получился отдаленный и приблизительный: в окно влетела оса... она была полосата и кровожадна.

— Леля! Тигр! — завопил Шувалов.

Леля проснулась. Оса повисла на тарелке. Оса жироскопически гудела. Леля соскочила с кровати — оса полетела на нее; Леля отмахивалась — оса и медальон летали вокруг нее. Шувалов прихлопнул медальон ладонью. Они устроили облаву. Леля накрыла осу хрустящей своей соломенной шляпой.

Шувалов ушел. Они распрощались на сквозняке, который в этом мире казался необычайно деятельным и многоголосым. Сквозняк раскрыл двери внизу. Он пел, как прачка. Он завертел цветы на подоконнике, подкинул Лелину шляпу, выпустил осу и бросил в салат. Он поднял Лелины волосы дыбом. Он свистел.

Он поднял дыбом Лелину сорочку.

Они расстались, и, от счастья не чувствуя под собой ступенек, Шувалов спустился вниз, вышел во двор... Да, он не чувствовал ступенек. Далее он не почувствовал крыльца, камня; тогда он обнару-

жил, что сие не мираж, а реальность, что ноги его висят в воздухе, что он летит.

— Летит на крыльях любви,— сказали в окне под боком.

Он взмыл, толстовка превратилась в кринолин, на губе появилась лихорадка, он летел, прищелкивая пальцами.

В два часа он пришел в парк. Утомленный любовью и счастьем, он заснул на зеленой скамье. Он спал, выпятив ключицы под расстегнутой толстовкой.

По дорожке медленно, держа на заду руки, со степенностью ксендза и в одеянии вроде сутаны, в черной шляпе, в крепких синих очках, то опуская, то высоко поднимая голову, шел неизвестный мужчина.

Он подошел и сел рядом с Шуваловым.

— Я Исаак Ньютон,— сказал неизвестный, приподняв черную шляпу. Он видел сквозь очки свой синий фотографический мир.

— Здравствуйте,— прелепетал Шувалов.

Великий ученый сидел прямо, настороженно, на иголках. Он прислушивался, его уши вздрагивали, указательный палец левой руки торчал в воздухе, точно призывая к вниманию невидимый хор, готовый каждую секунду грянуть по знаку этого пальца. Все притаилось в природе. Шувалов тихо спрятался за скамью. Один раз взвизгнул под пятой его гравий. Знаменитый физик слушал великое молчание природы. Вдали, над купами зелени, как в затмение, обозначилась звезда, и стало прохладно.

— Вот! — вдруг вскрикнул Ньютон.— Слышите?..

Не оглядываясь, он протянул руку, схватил Шувалова за полу и, поднявшись, вытащил из засады. Они пошли по траве. Просторные башмаки ученого мягко ступали, на траве оставались белые следы. Впереди, часто оглядываясь, бежала ящерица. Они прошли сквозь чащу, украсившую пухом и божьими коровками железо очков ученого. Открылась полянка. Шувалов узнал появившееся вчера деревце.

— Абрикосы? — спросил он.

— Нет,— раздраженно возразил ученый,— это яблоня.

Рама яблони, клеточная рама ее кроны, легкая и хрупкая, как рама монгольфьера, сквозила за необильным покровом листьев. Все было неподвижно и тихо.

— Вот,— сказал ученый, сгибая спину. От согнутости его голос походил на рык.— Вот! — Он держал в руке яблоко.— Что это значит?

Было видно, что не часто приходилось ему нагибаться: выровнявшись, он несколько раз откинул спину, ублажая позвоночник, старый бамбук позвоночника. Яблоко покоилось на подставке из трех пальцев.

— Что это значит? — повторил он, оханьем мешая звучанью фразы.— Не скажете ли вы, почему упало яблоко?

Шувалов смотрел на яблоко, как некогда Вильгельм Телль.

— Это закон притяжения,— прошепелявил он.

Тогда, после паузы, великий физик спросил:

— Вы, кажется, сегодня летали, студент? — Так спросил магистр. Брови его ушли высоко над очками.

— Вы, кажется, сегодня летали, молодой марксист?

Божья коровка переползла с пальца на яблоко. Ньютон скосил глаза. Божья коровка была для него ослепительно синей. Он поморщился. Она снялась с самой верхней точки яблока и улетела при помощи крыльев, вынутых откуда-то сзади, как вынимают из-под фрака носовой платок.

— Вы сегодня, кажется, летали?

Шувалов молчал.

— Свинья,— сказал Исаак Ньютон.

Шувалов проснулся.

— Свинья,— сказала Леля, стоявшая над ним.— Ты ждешь меня и спишь. Свинья!

Она сняла божью коровку со лба его, улыбнувшись тому, что брюшко у насекомого железное.

— Черт! — выругался он.— Я тебя ненавижу. Прежде я знал, что это божья коровка,— и ничего другого о ней, кроме того, что она божья коровка, я не знал. Ну, скажем, я мог бы еще прийти к заключению, что имя у нее несколько антирелигиозное. Но вот с тех пор, как мы встретились, что-то сделалось с моими глазами. Я вижу синие груши и вижу, что мухомор похож на божью коровку.

Она хотела обнять его.

— Оставь меня! Оставь! — закричал он.— Мне надоело! Мне стыдно.

Крича так, он убегал, как лань. Фыркая, дикими скачками бежал он, отпрыгивая от собственной тени, кося глазом. Запыхавшись, он остановился. Леля исчезла. Он решил забыть все. Потерянный мир должен быть возвращен.

— До свиданья,— вздохнул он,— мы с тобой не увидимся больше.

Он сел на покатом месте, на гребне, с которого открывался вид на широчайшее пространство, усеянное дачами. Он сидел на вершине призмы, спустив ноги по покатости. Под ним кружил зонт мороженщика, весь выезд мороженщика, чем-то напоминающий негритянскую деревню.

— Я живу в раю,— сказал молодой марксист расквашенным голосом.

— Вы марксист? — прозвучало рядом.

Молодой человек в черной шляпе, знакомый дальтоник, сидел с Шуваловым в ближайшем соседстве.

— Да, я марксист,— сказал Шувалов.

— Вам нельзя жить в раю.

Дальтоник поигрывал прутиком. Шувалов вздыхал.

— Что же мне делать? Земля превратилась в рай.

Дальтоник посвистывал. Дальтоник почесывал прутиком в ухе.

— Вы знаете,— продолжал, хныкая, Шувалов,— вы знаете, до чего я дошел? Я сегодня летал.

В небе косо, как почтовая марка, стоял змей.

— Хотите, я продемонстрирую вам... я полечу туда. (Он протянул руку.)

— Нет, спасибо. Я не хочу быть свидетелем вашего позора.

— Да, это ужасно,— помолчав, молвил Шувалов.— Я знаю, что это ужасно.

— Я вам завидую,— продолжал он.

— Неужели?

— Честное слово. Как хорошо весь мир воспринимать правильно и путаться только в некоторых цветовых деталях, как это происходит с вами. Вам не приходится жить в раю. Мир не исчез для вас. Все в порядке. А я? Вы подумайте, я совершенно здоровый человек, я материалист... и вдруг на моих глазах начинает происходить преступная антинаучная деформация веществ, материи...

— Да, это ужасно,—согласился дальтоник.— И все это от любви.

Шувалов с неожиданной горячностью схватил соседа за руку.

— Слушайте! — воскликнул он.— Я согласен. Дайте мне вашу радужную оболочку и возьмите мою любовь.

Дальтоник полез по покатости вниз.

— Извините,—говорил он.— Мне некогда. Да свиданья. Живите себе в раю.

Ему трудно было двигаться по наклону. Он полз раскорякой, теряя сходство с человеком и приобретая сходство с отражением человека в воде. Наконец он добрался до ровной плоскости и весело зашагал. Затем, подкинув прутик, он послал Шувалову поцелуй и крик.

— Кланяйтесь Еве! — крикнул он.

А Леля спала. Через час после встречи с дальтоником Шувалов отыскал ее в недрах парка, в сердцевине. Он не был натуралистом, он не мог определить, что окружает его: орешник, боярышник, бузина или шиповник. Со всех сторон насели на него ветви, кустарники, он шел, как коробейник, нагруженный легким сплетением сгущавшихся к сердцевине ветвей. Он сбрасывал с себя эти корзины, высыпавшие на него листья, лепестки, шипы, ягоды и птиц.

Леля лежала на спине, в розовом платье, с открытой грудью. Она спала. Он слышал, как потрескивают пленки в ее набрякшем от сна носу. Он сел рядом.

Затем он положил голову к ней на грудь, пальцы его чувствовали ситец, голова лежала на потной груди ее, он видел сосок ее, розовый, с нежными, как пенка на молоке, морщинами. Он не слышал шороха, вздоха, треска сучьев.

Дальтоник возник за переплетом куста. Куст не пускал его.

— Послушайте,— сказал дальтоник.

Шувалов поднял голову с услащенной щекой.

— Не ходите за мной, как собака,— сказал Шувалов.

— Слушайте, я согласен. Возьмите мою радужную оболочку и дайте мне вашу любовь...

— Идите покушайте синих груш,— ответил Шувалов.

1928

ЦЕПЬ

Студент Орлов ухаживал за моей сестрой Верой.

Он приезжал на дачу на велосипеде. Велосипед стоял над цветником, прислоненный к борту веранды. Велосипед был рогат.

Студент снимал со щиколоток сверкающие зажимы, нечто вроде шпор без звона, и бросал их на деревянный стол. Затем студент снимал фуражку с небесным околышем и вытирал лоб платком. Лицо у него было коричневое, лоб белый, голова бритая, радужная, с шишкой. Студент не видел меня. Я видел все. Он не говорил со мной ни слова.

Деревянный стол был морщинист, на столе стоял горшок с цветами, студент дул в цветы, цветы отворачивались. Студент смотрел вдаль и видел синий околыш моря.

— Блерио перелетел через Ла-Манш,— сказал я. Я был еще в том возрасте, когда человек, прежде чем произнести фразу, проглатывает слюну.

— Перелетел,— сказал студент.

И снова молчание.

Я не имею права участвовать в жизни мира. Мне даже совестно выражаться так умно: Блерио... Ла-Манш...

Студент вынимает из горшка стебель, на котором две распустившиеся гвоздики и один бутон. Бутон он откусывает. Бутон туг, блестящ, цилиндричен, похож на пулю. Студент втягивает щеки и стреляет бутоном. Попадает в велосипед, в спицу. Колесо звучит, как арфа.

— У аэроплана колеса велосипедные? — спрашиваю я.

Велосипедные,— это я знаю отлично. Но мне кажется, что студент глуп. Я уверен, что я гораздо более, чем он, осведомлен по части авиации. Но мне неловко признать это, и я считаю необходимым дать студенту возможность оказаться более сведущим.

— Велосипедные,— говорит студент.

Тут треугольник: велосипед, студент, я.

Я краснею: мне хочется все время говорить о велосипеде; я чувствую, что это стыдно, краска заливает мне лицо. Он дубина, студент,— я это знаю. Я вижу его насквозь.

— Гусь твой Сева,— сказал папа Вере.

Действительно, Сева гусь. Но что делать? Он владеет велосипедом. И я кривляюсь, лицемерю. Меня лихорадит в его присутствии. Я хочу сказать:

— Всеволод Васильевич, разрешите мне покататься. Недалеко, по дорожке. Потом я заверну к калитке. Там ровная поверхность. Я проеду осторожно. Или даже не надо к калитке. Довольно будет и по дорожке.

Так я хочу сказать. Даже брови поднимаются от стыда. Опершись локтями на стол, я опускаю брови при помощи пальцев.

Вчера мне разрешено было покататься. Нельзя же так часто. Попрошу завтра. Или даже послезавтра.

Я смотрю на велосипед. Каждую минуту студент может пой-

мать мой взгляд. Тогда я чуть-чуть, незаметно, на одну линию подниму взгляд и буду смотреть на лозу. На ней повисла кошка. В полной тишине висит среди листьев белая маленькая кошка, сибирская, пушистая — о, почти пернатая! — представительница знатного рода, ставшая босячкой.

Студент увидел кошку.

— Ах ты дрянь! — сказал он.— Виноград ест.

Никогда не едят кошки винограда. И виноград этот дикий. Но студент встает, и я не заступаюсь. Напротив, я прыгаю. Студент отдирает кошку от виноградной стены и швыряет за перила.

Студент спускается в сад. Сейчас вернется с купанья Вера. Вот она появляется за проволочной изгородью. Ускоряет шаг, увидев своего гуся; бежит. Вот они встретились, она складывает розовый зонт.

Студент сказал:

— Можно!

Из кожаной сумки, прикрепленной под седлом, я достал французский ключ. Я поворачивал винт и опускал седло. Как прохладны фибровые ручки руля! Я веду машину по ступенькам в сад. Она подпрыгивает, звенит. Она кивает фонарем. Я поворачиваю ее. Вспыхивает на переднем стволе рамы зеленая марка фирмы. Движение — и марка исчезает, как ящерица.

Я еду.

Так хрустит гравий; так бежит под взглядом сверху шина; так калитка норовит попасть под плечо, как костыль; так лежит на дороге какая-то гайка, пушистая от ржавчины,— так начинается путешествие!

Движение происходит как бы по биссектрисе между стремительно суживающимися сторонами угла.

В глаз попала мушка. О, почему это случилось? Так громадно пространство, по которому несусь я, так быстро мое движение — и надо ж... И надо ж двум совершенно несогласованным движениям — моему и насекомого — столкнуться в таком небольшом моем глазу!

Поле зрения становится горьким. Я зажмуриваю глаз так сильно, что бровь касается щеки, руль выпустить нельзя,— я стараюсь поднять веко, оно трепещет... Я торможу, схожу, машина лежит, педаль еще вертится; я раскрываю глаз пальцами,— яблоко повернуто книзу, и я вижу алое ложе века.

Почему насекомое, попав в глаз, немедленно гибнет? Неужели я выделяю ядовитые соки?

И вновь я качу.

Птица улетает из-под самого колеса — в последнюю долю секунды. Не боится. Это мелкая птица. А голубь не улетает даже. Голубь просто отходит в сторону, даже не оглядываясь на велосипедиста.

Бег велосипеда сопровождается звуком, похожим на жарение. Иногда как будто взрывается шутиха. Но это неважно. Это подробности, которых можно наворотить сколько угодно. Можно сказать о коровах, распертых изнутри костяком и напоминающих шатры. Или о коровах в белых замшевых масках. Важно то, что я потерял передаточную цепь. Без нее на велосипеде ездить нельзя. На пол-

ном ходу слетела передаточная цепь, и я это заметил слишком поздно.

Она лежит на дороге. Нужно вернуться и подобрать. Ничего тут страшного нет. Страшного тут нет ничего. Я иду и веду машину за фибровую ручку. Педаль толкает меня под колено. Три мальчика, три неизвестных мне мальчика бегут по краю оврага. Они убегают, позлащенные солнцем. Блаженная слабость возникает у меня внизу живота. Я понимаю: мальчики нашли цепь. Это неизвестные мальчики, бродяги. Вот они уже бегут в глубине ландшафта.

Так произошло несчастье.

И мне представляется:

...Я возвращаюсь на дачу как ни в чем не бывало. Я привожу пришедший в негодность велосипед и прислоняю его к борту веранды. Пьют чай: папа, мама. Вера и студент Орлов. К чаю дан пирог со сливами. Это плоский сиреневый круг. Мы сидим напротив друг друга: я и студент Орлов. Ситуация такая: у студента был велосипед, и я этот велосипед испортил. Можно усилить: у студента была жена, и я выбил ей глаз. Наступает вечер. Так я представляю себе: наступает вечер, приносят лампу, у мамы на груди, на стеклярусе, образуется лунная дорога. Студент встает, говорит:

— Я поехал.

Идет к велосипеду.

Потом гробовая тишина.

Нет, не тишина... В действительности, Вера говорит что-то, мама тоже говорит, но уже в сознании моем существует тишина. Студент нагнулся над велосипедом, и я предчувствую, как сейчас повернется в мою сторону его голова,— и уже между мной и студентом протягивается тишина.

— Где передача? — спрашивает студент.

— Какая передача? — спрашиваю я.

— Как какая?

— Какая?

— Потерял?

— Никакой передачи не было,— говорю я.— Я ездил без передачи. Разве была передача?

— Он сошел с ума,— говорит папа.— Смотрите, он сидит с высунутым языком.

Тишина. Я сижу с высунутым языком.

Так мне представляется. Законным путем нельзя выпутаться из несчастья. Остается одно: нарушить закон. Я решаю действовать как во сне. И приходит из глубины воспоминание о страшном, изредка повторяющемся сновидении: я убиваю маму. Я встаю. Вера закрывает лицо руками. Мама как бы оседает вся, делается толще, лишается шеи.

Так мне представляется.

Я не могу вернуться домой.

Сейчас меня хватятся.

Я отправляюсь на дачу к Гурфинкелям. Гриша Гурфинкель, который со мной в одном классе, должен мне помочь. Я буду плакать;

знаменитый хирург, профессор Гурфинкель, пожалеет меня. Малокровный мальчик будет плакать и биться в присутствии великого доктора. Ну сколько может стоить передача? Они дадут мне... Мы купим передачу.

И я пошел. Чужая жена с выбитым глазом волочилась за мной. Мы оглядывались: не началась ли погоня?

Но Гурфинкелей нет, они уехали. Они уехали в Шабо, на виноград. Я ухожу. Возле лавки, где продаются прохладительные напитки, собралась толпа. И я слышу слово «Уточкин».

Стоит автомобиль. Страшный автомобиль. Я его уже видел однажды. Он пролетал по Ланжероновской улице, производя грохот, подобный пальбе, дымясь... Он не катился, он как бы несся прыжками.

Это автомобиль, не имеющий на моторе покрышки, грязный, блестящий маслом, из него каплет, в нем шипит.

Уточкин пьет в лавке прохладительный напиток. Толпа говорит о великом гонщике. «Уточкин»,— говорят. «Рыжий»,— говорят и вспоминают, что он заика.

Толпа раздается. Выходит великий гонщик. Без шапки. И еще какие-то люди с ним. Тоже рыжие. Он идет впереди. На велодроме он победил Петерсона, Бадера.

(Он— считается — чудак. Отношение к нему — юмористическое. Неизвестно почему. Он одним из первых стал ездить на велосипеде, мотоцикле, автомобиле, одним из первых стал летать. Смеялись. Он упал в перелете Петербург — Москва, разбился. Смеялись. Он был чемпион, а в Одессе думали, что он городской сумасшедший.)

Я смотрю на Уточкина.

Он одет в нечто напоминающее мешок, испачканное, блестящее, разрезанное наверху. Он доедает кремовое пирожное. Руки его в кожаных рукавицах. Пирожное рассыпается по рукавицам, как сирень. Персидская сирень на губах у него, на щеке. Заводят мотор, который начинает стрелять, как пушка, местность трясется, поднимается вихрь. Я падаю вместе с велосипедом. Хватаюсь за спицы. Какую-то букву напоминает мне страшный автомобиль — не то Ф, не то Б, положенное на спину.

Уточкин поднимает меня.

В хаосе происходит тихая сентиментальная сцена: я хватаю руку в перчатке с раструбом, рассказываю обо всем, что случилось со мною,— о студенте, о велосипеде, о катастрофе...

Затем мой велосипед ставят поперек автомобиля. Страшная машина получает прозрачное украшение. Пять человек, в том числе и я, садятся на брюхо буквы Б. О, индустриальная сказка! Ничего не помню! Ничего не знаю! Помню только: рейс наш сопровождался тем, что вдоль дороги все собаки вставали на дыбы.

Я, конечно, не умру, я буду жить и потом — и после этого дня, завтра и долго-долго. Ничто не изменится, я буду по-прежнему мальчиком, будет студент Орлов, и драма с передачей не окончится легко и безболезненно... Но сейчас... Сейчас я нахален, высокомерен и жесток. Куда я мчусь? Я мчусь наказывать маму, папу, Веру, студен-

та... Если бы они сейчас стали умирать на глазах у меня, я воскликнул бы со смехом: «Смотрите, Уточкин! Ха-ха-ха! Они умирают... мы на машине, черные... Кто там сказал «любовь, послушание, жалость»? Не знаем, не знаем, у нас — цилиндры, бензин, протекторы... Мы мужчины. Вот он, великий мужчина: Уточкин! Мужчина едет наказывать папу».

Мы останавливаемся у калитки. Идем. Впереди идет Уточкин. Мы с велосипедом бежим сзади. Мотор стреляет все время. На дальних дачах сбегаются к калиткам люди и слушают отдаленную канонаду.

Уточкин и студент встречаются лицом к лицу.

Окружающие ничего не понимают.

Я уехал ведь с нежным позваниванием. Какой я был кроткий, послушный! Я просил. Мне разрешили. Это было час тому назад! И вдруг я появился с грозой, с молниями, с призраком! Дерзкий! Неукротимый!

— Нельзя обижать ребенка,— сказал студенту Уточкин, заикаясь и морщась.— Зачем вы обидели ребенка? Будьте добры, отдайте ему передачу.

А кончается тем, что автомобиль отпрыгивает от дачи и студент Орлов кричит вслед улетающей буре:

— Свинья! Шарлатан! Сумасшедший!

Это рассказ о далеком прошлом.

Мечтой моей было: иметь велосипед. Ну вот, теперь я стал взрослым. И вот, взрослый, я говорю себе, гимназисту:

— Ну что ж, требуй теперь. Теперь я могу отомстить за себя. Высказывай заветные желания.

И никто не отвечает мне.

Тогда я опять говорю:

— Посмотри на меня, так недалеко удалился я от тебя — и уже, смотри: я набряк, переполнился... Ты был ровесником века. Помнишь? Блерио перелетел через Ла-Манш? Теперь я отстал, смотри, как я отстал, я семеню — толстяк на коротких ножках... Смотри, как мне трудно бежать, но я бегу, хоть задыхаюсь, хоть вязнут ноги,— бегу за гремящей бурей века!

1928

В ЦИРКЕ

Человек в черном трико пропускает голову между собственных ног и смотрит на собственную спину; другой человек выпивает двадцать бокалов воды, закуривает сигару, гуляет, размахивая тросточкой, затем останавливается посреди арены, поглаживает себя по животу,— и вот изо рта человека начинает бить фонтан — очевидно, теплой воды... Третье: атлет подбрасывает железную балку и подставляет под ее падение шею.

Это цирк уродов.

Каким чувством реагирует на такие номера зритель? Во всяком случае, не восхищением. Публика смущена; зритель как бы хочет воскликнуть: не стоит, я не так могуществен, чтобы унижаться передо мной.

Искусство вышеуказанных циркачей — униженно. Тайное движение совести происходит в зрителе при таком зрелище. Человек-змея сохранился от тех времен, когда актер слыл личностью низменной, шутом и уродом, когда актер попрошайничал.

Новый цирк должен отказаться от таких аттракционов.

Казалось, что цирковое искусство остановилось, стало неподвижным; казалось, ничего нельзя прибавить, жанр завершен. Между тем — взять хотя бы работу канатоходца.

Мы знали прежде:

канатоходца вид сказочен. Канатоходец худ до чрезвычайности, он длинен, извилист. У него демоническое лицо с выдающимся подбородком и длинным носом. Глаза его мерцают.

Мы знали: он в черно-желтом трико, он — Арлекин, нога у него похожа на змею.

Он поднимается на площадку, разукрашенную и шаткую, как паланкин. Площадка ходит ходуном, сверкает зеленый шелк, звенят бубенцы.

И конечно же — канатоходец держит зонт...

Легендарен был зонт канатоходца!

И конечно же — линия была туго натянута. Он, этот демон, бегал, скользил, он бежал, как на коньках,— и именно в этой быстроте видели мы бесстрашие и ловкость.

Нынешний канатоходец работает на ослабленной проволоке. И не бегает. Казалось бы, чем еще можно усложнить старинное это искусство! Что можно еще придумать после того, как научились ходить по проволоке, одновременно жонглируя кипящим самоваром... И вот придумано: научились на проволоке стоять. С неподвижностью рыболова стоит на вялой проволоке современный канатоходец. Он преувеличенно медлителен, кропотлив, неповоротлив.

Если старинный канатоходец символизировал бегство из тюрьмы или путешествие в окно любимой, то канатоходец нового цирка изображает городского человека, труса, попавшего на веревку, протянутую прачкой.

Это городские приключения.

Ничто не сверкает, не звенит — и нет никакого зонта. Современный канатоходец имеет вид портного. Да, он портняжка,— и не тот сказочный портняжка, который спорил с великаном и мог бы оказаться сродни сказочному нашему канатоходцу, а самый обыкновенный городской портняжка — в котелке, пиджачке, с усиками и с галстуком набекрень...

Он как бы случайно попал на проволоку. Он изображает человека, занявшегося не своим делом.

Чтобы так пародировать, необходима блестящая техника. И действительно, техника его изумительна. Публика не понимает даже,

в чем дело. Восторг ее задерживается, она аплодирует после некоторого молчания. Сперва ей кажется, что в том, что человек стоит на проволоке, поправляя галстук, ничего удивительного нет...

Новый канатоходец пародирует старинного.

Не так давно еще мы видели канатоходцев Ниагара. Это был возврат к прошлому, отступничество. Эта труппа работала с громом, в шлемах, в римском вооружении, это были гоплиты, ездившие по проволоке на велосипедах. Взрывался фейерверк, производилась пальба — эффект был сильный. Но работа скромного, в штанах с бахромкой человека, умеющего так взлетать вместе с распатанной проволокой, что порой кажется, что человек — это уже не живое нечто, а только тень,— эта внешне скромная работа говорит о наиболее высоком мастерстве.

Персонаж, созданный Чаплином, становится одним из главных персонажей нового цирка,— он, этот городской человек, вызывающий при появлении своем на арене жалостливое недоверие: мол, куда тебе, заморышу, браться за такое дело!

И вдруг эта по виду немолодая и набрякшая от нечистой жизни личность оказывается главным актером труппы. Труднейшая работа исполняется ею.

Он может, взяв небольшой разгон, зацепиться ногами за вертикальный столб турника и, вытянувшись параллельно земле, начать вращаться вокруг столба наперекор основным законам физики.

Он сбрасывает пиджак...

И от вашей жалостливости не остается и следа. Вы видите: под хитрованским пиджаком скрывал он шутки ради мускулатуру, от которой вас бросает в дрожь...

Это был маскарад.

И тут был какой-то намек. Городские мы, дескать, людишки, запуганные, нервные, но стоит нам потренироваться, постараться немного — и под городской одеждой окажется у нас замечательное тело. Это полезная аллегория. Мы награждаем его самыми горячими аплодисментами.

Этот персонаж заменил также и Рыжего. У ковра работает Чаплин.

«Рыжий! Рыжий, на помощь!»

Теперь не кричат: «Рыжий, на помощь!» Рыжего нет. Рыжий перестал быть Рыжим.

Рыжий валился с галереи на трибуны, на головы, повисал на перилах, сверкая белыми гетрами! Громадная лейка — не то что гремящая, а как-то даже клекочущая — сопровождала его полет. Слетев с высоты, он садился на крытый плюшем барьер арены, вынимал свой платок и сморкался. Звук его сморкания был страшен,— он производился в оркестре при помощи тарелок, барабанов и флейт.

Когда Рыжий отнимал от лица платок, все видели: у него светится нос!! В носу у него зажигалась электрическая лампочка. Лампочка тухла, и вдруг дыбом вставали вермильонного цвета волосы. То был апофеоз Рыжего.

Когда наездница отдыхала и лошадь шагом ходила по кругу, делалось так:

рыжий подходил к человеку с бичом и осведомлялся:

— Это мамзель Клара?

— Не знаю,— говорил человек с бичом.

Тогда Рыжий, встав на цыпочки, целовал наездницу в голое плечо. И получал оплеуху.

— Да,— говорил он,— это мамзель Клара.

Туш. Галоп. Наездница продолжает работу.

(А теперь и наездниц все меньше!)

Таков был Рыжий в старом цирке.

Он скандалил, пел и плакал.

Нынешний Рыжий не мечтателен: на лице у него недоумение. Тот Рыжий знал только одно: ковер. Он мешал служителям скатывать и раскладывать ковер,— и антре его заканчивалось тем, что под крики детей его увозили на ковре, на тачке, задравшего ноги в знаменитых гетрах.

Новый Рыжий работает тонко, артистически. Он никогда не орет благим матом, как орал тот. Он «обыгрывает» вещи, реквизит. В основе — любопытство. Он изображает любопытного ребенка при виде неизвестной вещи. Даже не ребенка, а зверька — кошку. Всякий раз любопытство оказывается наказанным.

А теперь и наездниц все меньше!

Лошади уже не гордость цирка. Прежде так и считалось: идти в цирк смотреть лошадей.

Знаменит Вильям Труцци!

Это последний кавалер. Это последний красавец цирка. В последний раз становятся на дыбы двадцать лошадей разом, в последний раз лошадь преклоняет перед директорской ложей колени, в кружевной полумаске, в испанском кокошнике, нежная, как антилопа... В последний раз едет кавалер на двух лошадях одновременно, в последний раз вращается кавалькада, звенят кастаньеты, снимает кавалер цилиндр, на шелке которого штопором бежит блеск.

Под конец представления кавалер Труцци появляется в ложе. Он смотрит номер с автомобилями — гонки автомобилей в воздухе.

Но, черт возьми, нельзя же дрессировать автомобили!

Давно ли велосипед был новой вещью в цирке?

Устанавливалась большая корзина, сквозь прутья мы видели велосипедиста, носившегося по внутренней стене корзины, возносившегося спиралью. Затем стали ездить на одном колесе, как ездит Фортуна. Поднимали стального коня дыбом... И вот маленький человек, в пиджаке и с галстуком набекрень, появился и здесь и оказался самым ловким велосипедистом: он ездит на одном колесе, останавливается, стоит и едет вспять. Он изображает пьяного и шатается вместе с колесом.

Мы за спорт в цирке, за юмор! Ужасаться в цирке мы не хотим. Нам неинтересно видеть, как разбивается актер, упав с трапеции.

1929

ПРОРОК

Козленков стоял на холме. Был жаркий летний день, необъятность, чистота, блеск. Среди необъятности стоял Козленков совершенно один, в парусиновой блузе, в сандалиях, в картузе, надетом по-летнему: кое-как. Лицо ощутимо покрывалось загаром.

Зелени было мало. Ландшафт был суховат. Чернели в грунте трещины. Грунт был звонок.

По крутой тропинке, ведущей на холм к подножию Козленкова, быстро взбирался ангел, огромный ангел с черными — до плеч — вьющимися волосами, не имеющий крыльев, могучий. На нем был шлафрок из красной, темной материи, в руке — посох, под шлафроком круто двигались колени.

Он вырос перед Козленковым на краю холма. Высокий посох с цветущими ярко-зелеными почками уперся в сухую землю среди травинок. Посох блестел, как блестит мебель. Почки походили на головки птенцов... Ангел стоял прямо. Кадык его имел форму кубка. Ангел протянул руку к плечу Козленкова.

В этот миг Козленков проснулся. Проснулся он, как просыпался ежедневно — около восьми часов утра. На столе зеленел остаток вчерашнего ужина: лук, салат. Козленков выпил стакан воды залпом.

Он умылся, оделся; было веселое утро, лето. Козленков выглянул в окно; ему показалось, что кое-где в зелени блестит роса, что вспорхнувшая птица уносит каплю. Всякое проявление воды тешило его, потому что после лука его мучила всю ночь жажда. По коридору бегала, прячась и взвизгивая, соседка.

Напившись чаю, он вышел из дому. Дворник сказал, что в соседнем доме повесилась девушка. Козленков поспешил посмотреть.

В соседнем доме посреди двора разбит был садик. Из окон смотрели жильцы. Козленков подумал: «Опоздаю на службу»,— однако не устоял. Происшествие случилось на черном дворе. Козленков остановился под аркой. На него двигалось шествие: бабы, мужчины в жилетках, корзина с овощами, собаки, дети, метла; вынутую из петли несли на руках.

Она лежала на шествии, живая, ярко освещенная солнцем, в платье с напечатанными розанами. Вдали трубил рожок. Ехала карета. Козленков разузнал: девушка была несчастна, брошена, голодала.

Вдруг Козленков увидел темное, невскрытое после зимы окно, вату между рамами, гарус, свечу. Окно никакого отношения к самоубийству не имело. Затем: на крыльце сидела впавшая в детство старушка. Старушка ела, брала еду кусочками с колен.

«Горе,— подумал Козленков.— Ах, горе».

И стало ему всех жаль.

— Надо помочь! — громко, воодушевленно сказал он.

Он хотел сказать так:

«Я видел человеческое горе. Нужно помочь всем людям сразу. Нужно немедленно сделать нечто такое, что уничтожило бы человеческое горе разом».

— Помогут. Жива,— ответили из толпы.

Силой, которая могла бы уничтожить человеческое горе разом, Козленков не обладал. Он знал, что такой силы нет. Нужно ждать, накапливать эту силу.

Желание Козленкова было так страстно, порыв так неудержим, что согласиться хотя бы на минутное ожидание он не мог. Поэтому он подумал о чуде.

— Нужно сделать чудо,— вздохнул он.

На службе, в обеденный перерыв, жуя булку с колбасой, Козленков вспоминал утреннее происшествие. На глазах у него блестели слезы. Он сдерживал плач, глотать становилось труднее. Он воображал картину.

Он входит во двор с цветущим посохом. В садике поют птицы, качаются на кустах цветы, люди в страхе бегут с подоконников. Навстречу несут девушку. В пролете арки видна старушка, окно с гарусом. Он касается ладонью девушкина лба. Тотчас же окно поднимается ввысь, поворачивается к воздуху и солнцу, распахивается во всю ширь, свисают с подоконников пеляргонии, ветер раздувает занавески... Тотчас старушке возвращается молодость, сын; они едят арбуз, сидя за деревянным, чисто вымытым столом. Арбуз снежен, ал; косточки чисты, блестящи,— косточками можно играть в блошки. А девушка... Все счастливы. Мечты исполняются, возвращаются утраты.

Козленков вдруг встал. Он вспомнил сон. С грохотом стул отошел назад. Поднялись дыбом страницы бухгалтерской книги.

Он открыл дверь в соседнюю комнату и переступил порог. Тотчас же все головы пригнулись. Он видел: открыты окна, за окнами — зелень, ветви. Тотчас же окна пришли в движение, какая-то сила, какой-то дух полетел на них, кидая во все стороны створки. Поднялись и зашумели ветви. Со столов, образуя смерч, взлетели бумаги. С громом захлопнулась за ним дверь. Противоположная открылась сама собой.

И — самое главное — он видел: все головы пригнулись, все головы упали ниц. Конечно, он знал, что причина — сквозняк. Но он видел также, что никто не может поднять на него глаз. И оценить значение этого он мог как угодно.

Он подумал: «Все упали передо мной ниц. Я иду. Я видел ангела. Я пророк. Я должен сделать чудо». Он прошел через ряд комнат, производя сквозняк, бурю. Путь его сопровождался криками. Крики означали:

— Осторожно! Двери! Двери! Ловите бумаги! Разобьется окно! Швейцаров нет!

Но Козленкову не запрещено было придавать крикам иное значение. Одни казались ему выражением восторга, другие — гнева. Он шел, как пророк,— долгожданный для одних, ненавидимый другими. Он исполнял волю пославшего.

Окна хлопали, вспыхивало стекло, в саду оттого летали молнии. И вот наступил экстаз. Козленков предстал перед главой учреждения. Глава стал медленно подниматься в кресле своем навстречу

Козленкову. Пророк стоял взъерошенный сквозняком, бледный, с горящими глазами, задыхающийся.

— Выдайте мне жалованье за две недели вперед,— сказал Козленков. И через минуту он возвращался обратно, держа в руках записку главы учреждения.

— Чудо,— говорили вокруг.— Чудо. Чудом получил, чудом!

Деньги были получены. Он вышел. Все бросились к окнам. Он шел без шапки, встречные оглядывались.

Затем он искал вынутую из петли девушку. На том черном дворе сказали ему, что девушка в больнице. Его ударил неизвестный человек.

— Да не того бьешь,— закричала баба,— за что бьешь!

Неизвестный ударил его снова кулаком между лопаток. Козленков странно выпрямился от этого удара. И от внезапного выпрямления легко, как-то поджаро, пустился по лестнице. Лицо его светилось. Он знал, что просто его приняли за другого, за виновника девушкиных несчастий. Он смолчал, потому что принял на себя вину другого. Осмеянный, он пронесся по двору.

В садике том играла мячиком девочка. Мячик попал в кустарник. Козленков полез по траве, по черной почве газона, разнял кустарник и поднял шар. С крыши видел все это дворник. Голову Козленкова усеяли лепестки, в ладони торчал шип.

Дворник, осиянный высотой, небесами, гремел над миром. Проклятья неслись с высоты. Фартук его развевался. Как раз то расположение материи, напоминающее свиток, какое бывает на мраморных ангелах, образовалось у ног дворника. И как раз дворник стоял над вершиной лестницы — обыкновенной пожарной лестницы,— но в лучах солнца лестница пламенела,— и Козленков ужаснулся.

Козленков приближался к больнице. Лепестки, тихо кружась, слетали с его головы.

— Я не могу,— вздохнул он.— Зачем послали мне ангела?

И он пошел домой. Во дворе у крыльца сидела прачка Федора.

Она продавала овощи. На крыльце стояла корзинка с грубыми — но с виду изваянными — капустными головами. Козленков взглянул. Капустная голова с завитыми листами — именно завитки эти мраморной твердостью и прохладой листов произвели тревогу в памяти Козленкова. Подобного статуйного характера завитки он видел сегодня на фартуке дворника.

Прачка держала в руках капустный шар. Была она в красном одеянии, могучая. Так и вчера в тот же час стояла она над корзиной, и вчера Козленков купил у нее молодого луку. Теперь он сделал то же самое. Прачка уложила капустную голову в корзину (голова скрипела в ладонях, как вымытая) и достала лук.

«Плохая прачка»,— подумал Козленков. Вчера вечером, ложась спать, он досадовал на жесткость простынь. Вчера же наелся он луку. Ночью он просыпался от жажды. Ему было жарко, он поворачивал подушку — и когда, мающийся и сонный, обретал обратную ее, прохладную сторону — наступало исцеление и успокоение. Но вскоре и эта сторона покрывалась жаром.

Удивительный день кончился. Вечером снова Козленков ел лук. Хлеб с маслом и лук — горький, сладкий, потный, с подмышечным запахом. Перед тем как ложиться, он пошастал рукой по натянутой на матрас простыне, дабы сгладить невидимую ее шероховатость.

Прошедший день был страшен. Козленков заснул. Вновь мучила его жажда, сушь, вновь сушь распростерлась перед ним: желтый, звонкий ландшафт, пористый грунт. Он спал. Тело его бунтовало, он метался, ища обратную сторону подушки, он протестовал спящий, он негодовал на самого себя, действующего во сне, протестовал против самого себя, вновь поднимающегося на холм... Он мычал во сне, бил по одеялу руками...

Но вновь остановился он на холме, и вновь снизу пошел на него ангел в красном одеянии, черноголовый и могучий. В ту секунду, когда видение началось, в теле спящего Козленкова началась изжога. Именно подступ изжоги к горлу, ход ее откуда-то из недр пищевода и был в сновидении появлением и ходом ангела. Но то знание, которое приобрел Козленков днем,— знание о сходствах, замеченных им между целым рядом предметов,— отразилось на работе сонного его сознания,— так как знание это было разоблачительным по отношению ко сну, то сон ослабел, сон готов был прерваться.

Еще секунда — и спящий воспрянул бы... И действительно, Козленков через секунду проснулся, успев увидеть перед собой на краю холма прачку Федору.

Козленков проснулся. Было светло. Он напился воды, засмеялся и заснул.

1929

ВИШНЕВАЯ КОСТОЧКА

В воскресенье я побывал на даче в гостях у Наташи. Кроме меня, было еще трое гостей: две девушки и Борис Михайлович. Девушки с Наташиным братом Эрастом отправились на реку кататься в лодке. Мы, то есть Наташа, Борис Михайлович и я, пошли в лес. В лесу мы расположились на полянке; она была ярко освещена солнцем. Наташа подняла лицо, и вдруг ее лицо показалось мне сияющим фарфоровым блюдцем.

Со мной Наташа обращается как с равным, а с Борисом Михайловичем — как со старшим, ластится к нему. Она понимает, что это мне неприятно, что я завидую Борису Михайловичу, и поэтому она часто берет меня за руку и, что ни скажет, тотчас же обращается ко мне с вопросом:

— Правда, Федя?

То есть как бы просит у меня прощения, но не прямо, а как-то по боковой линии.

Стали говорить о птицах, потому что из чащи раздался смешной голос птицы. Я сказал, что никогда в жизни не видел, например, дрозда, и спросил: каков он собой — дрозд?

Из чащи вылетела птица. Она пролетела над полянкой и села на торчащую ветку неподалеку от наших голов. Она не сидела, впрочем, а стояла на качающейся ветке. Она моргала. И я подумал, как

некрасивы у птиц глаза — безбровые, но с сильно выраженными веками.

— Что это? — спросил я шепотом.— Дрозд? Это дрозд?

Никто не отвечает мне. Я повернулся к ним спиной. Мой жадный взгляд не следит за ними, они наслаждаются одиночеством. Я смотрю на птицу. Оглянувшись, я вижу: Борис Михайлович гладит Наташу по щеке. Его рука думает: пусть он смотрит на птицу, обиженный молодой человек! Уже я не вижу птицы, я прислушиваюсь: я слышу расклеивающийся звук поцелуя. Я не оглядываюсь, но они пойманы: они видят, что я вздрогнул.

— Это дрозд? — спрашиваю я.

Птицы уже нет. Она улетела вверх, сквозь крону дерева. Этот полет затруднен,— она летит, чиркая листьями.

Наташа угощала нас вишнями. Одну косточку, по детской привычке, я оставил во рту. Она каталась во рту и была обсосана дочиста. Я вынул ее,— она имела вид деревянной.

Я ушел с дачи с вишневой косточкой во рту.

Я путешествую по невидимой стране.

Вот я иду — возвращаюсь с дачи в город. Солнце заходит, я иду на восток. Я совершаю двойной путь. Один мой путь доступен наблюдению всех: встречный видит человека, идущего по пустынной зеленеющей местности. Но что происходит с этим мирно идущим человеком? Он видит впереди себя свою тень. Тень движется по земле, далеко протянувшись; у нее длинные бледные ноги. Я пересекаю пустырь, тень поднимается по кирпичной стене и вдруг теряет голову. Этого встречный не видит, это вижу только я один. Я вступаю в коридор, образовавшийся между двумя корпусами. Коридор бесконечно высок, наполнен тенью. Здесь почва гниловата, податлива, как в огороде. Навстречу, вдоль стены, заранее сторонясь, бежит одичалая собака. Мы разминулись. Я оглядываюсь. Порог, оставшийся позади, сияет. Там, на пороге, собаку мгновенно охватывает протуберанец. Затем она выбегает на пустырь, и лишь теперь я получаю возможность определить ее цвет — рыжий.

Все это происходит в невидимой стране, потому что в стране, доступной нормальному зрению, происходит иное: просто путник встречает собаку, заходит солнце, зеленеет пустырь...

Невидимая страна — это страна внимания и воображения. Не одинок путник! Две сестры идут по бокам и ведут путника за руки. Одну сестру зовут Внимание, другую — Воображение.

Так, значит, что же? Так, значит, наперекор всем, наперекор порядку и обществу, я создаю мир, который не подчиняется никаким законам, кроме призрачных законов моего собственного ощущения? Что же это значит? Есть два мира: старый и новый,— а это что за мир? Мир третий? Есть два пути; а это что за третий путь?

Наташа назначает мне свидание и сама не приходит.

Я прихожу за полчаса до срока.

Трамвайные часы висят над перекрестком. Они напоминают бо-

чонок — не правда ли? Два циферблата. Два днища. О, пустая бочка времени!..

Наташа должна прийти в три с половиной.

Я жду. О, конечно, не придет. Десять минут четвертого.

Я стою на трамвайной остановке. Все движется вокруг меня, я один возвышаюсь... Заблудившиеся видят меня издали. И вот начинается... Подходит неизвестная гражданка.

— Будьте любезны,— говорит неизвестная гражданка,— на двадцать седьмом я доеду до Кудринской?

Никто не должен знать, что я жду свидания. Пусть лучше думают так: «Широко улыбающийся молодой человек вышел на угол устраивать чужое благополучие, он все расскажет, он направит, он успокоит... К нему! К нему!»

— Да,— отвечаю я, изнемогая от учтивости.— Вы доедете на двадцать седьмом до Кудринской...

И тут же спохватываюсь и весь как-то кидаюсь за гражданкой:

— Ах нет! Ах нет! Вам надо сесть на шестнадцатый.

Забудем о свидании. Я не влюбленный. Я добрый гений улицы. Ко мне! Ко мне!

Четверть четвертого. Стрелки соединились и вытянулись по горизонтали. Видя это, я думаю:

«Это муха сучит лапками. Беспокойная муха времени».

Глупо! И какая там муха времени!

Она не идет, она не придет.

И приближается красноармеец.

— Скажите,— спрашивает он,— где здесь музей Дарвина?

— Не знаю... кажется, туда... Позвольте... позвольте... нет, не знаю, товарищ, не знаю...

Дальше! Кто следующий? Не стесняйтесь...

Такси, описав вираж, подкатывает ко мне. Вы посмотрите, как презирает меня шофер! Не силами души, нет! Станет он снисходить до того, чтобы презирать меня силами души... Перчаткой он презирает меня!!! Товарищ шофер, поверьте мне, я ведь любитель, я и не знаю, куда повертывать вам машину...

Я стою здесь не затем, чтобы указывать направление... У меня свое дело... Это стояние мое — вынужденное, жалкое! Я улыбаюсь не от добродушия,— я улыбаюсь напряженно... присмотритесь!

— Куда на Варсонофьевский? — спрашивает шофер через плечо.

И я, суетясь, объясняю: туда, туда, а потом туда...

Что же, если на то пошло, то почему бы мне не стать посреди мостовой и всерьез не взяться за дело, которое мне навязывают?

Идет слепец.

О, этот просто кричит на меня! Этот толкает меня тростью...

— Десятый номер идет? — спрашивает он.— А? Десятый?

— Нет,— отвечаю я, почти гладя его.— Нет, товарищ, это не десятый номер. Это второй. А вот подходит десятый.

Уже десять минут прошли сверх срока. Чего ждать еще? А может быть, она спешит где-то, летит?

«Ах, опоздала, ах, опоздала!!!»

Уже гражданка укатила на шестнадцатом, уже красноармеец ходит по прохладным залам музея, уже шофер трубит на Варсонофьевском, уже слепец обидчиво и себялюбиво поднимается на переднюю площадку, неся впереди себя трость.

Все удовлетворены! Все счастливы!

А я стою, бессмысленно улыбаясь.

И вновь подходят и вопрошают: старушка, пьяный, группа детей с флагом. И уже начинаю я рубить воздух руками,— уже не просто киваю подбородком, как случайно спрошенный прохожий,— нет! — уже я вытягиваю руку, поставив ладонь ребром... Еще минута — вырастет из кулака моего жезл...

— Назад! — буду кричать я.— Стоп! На Варсонофьевский? Заворачивай! Старушка, направо! Стоп!

О, смотрите! Свисток висит между моих губ... Я свищу... Я имею право свистеть... Дети, завидуйте мне! Назад! Ого... смотрите: уже я могу стоять между двумя встречными вагонами,— я стою, смотрите, выставив одну ногу и сложив руки за спиной и подпирая лопатку пунцовым жезлом.

Поздравьте меня, Наташа. Я превратился в милиционера...

Тут я вижу: Авель стоит поодаль и наблюдает за мной.

(Авель — это мой сосед.)

Наташа не придет — это ясно. Я подзываю Авеля.

Я. Вы видели, Авель?

Авель. Я видел. Вы сумасшедший.

Я. Вы видели, Авель? Я превратился в милиционера.

Пауза. Еще один взгляд в сторону часов. Куда там! Без десяти четыре.

Я. Впрочем, вам недоступно это. Превращение мое в милиционера произошло в невидимой стране.

Авель. Ваша невидимая страна — это идеалистический бред.

Я. И знаете, что самое удивительное, Авель? Удивительно, что в этой волшебной стране я почему-то фигуряю милиционером... Казалось бы, я должен шествовать по ней спокойно и величественно, как владетель, и цветущий посох мудреца должен сиять в моей руке... А вот смотрите: в руке моей милицейский жезл! Какое странное скрещение мира практического и воображаемого.

Авель *(молчит)*.

И еще более странно, что предпосылка, превращающая меня в милиционера,— неразделенная любовь.

Авель. Я ничего не понимаю. Это какое-то бергсонианство.

Я решил закопать косточку в землю.

Я выбрал местечко и закопал.

«Здесь,— подумал я,— вырастет вишневое дерево, посаженное мною в честь любви моей к Наташе. Может быть, когда-нибудь, через пять лет, весною, мы встретимся с Наташей у нового дерева. Мы станем по обе стороны,— вишневые деревья не высоки: можно, поднявшись на носки, шевельнуть самый верхний цветок. Будет ярко

светить солнце, весна еще будет пустовата,— это будут те дни весны, когда детей манят сточные канавы,— и уже наступит расцвет бумажного этого дерева».

Я скажу:

— Наташа, ярок и светел день, дует ветер, еще более раздувающий свет дня. Ветер качает мое дерево, и оно скрипит лакированными частями. Каждый цветок его встает и снова ложится, и оттого оно становится то розовым, то белым. Это калейдоскоп весны, Наташа. Пять лет тому назад вы угостили меня вишнями, помните? Неразделенная любовь делает память нищей и яркой. Я помню до сих пор: ваша ладонь была лиловой от вишневого сока, и вы свернули ее трубкой, ссыпая мне ягоды. Я унес косточку во рту. Я посадил дерево в память о том, что вы меня не любили. Оно цветет. Вот видите: я был осмеян тогда; мужествен был Борис Михайлович, победивший вас, я был мечтателен, инфантилен. Я искал в мире дрозда, пока вы целовались. Я был романтик. Но вот смотрите: твердое, мужественное дерево выросло из зерна романтика. Вы знаете: вишневый цвет — это душа мужчины, так считают японцы. Смотрите: стоит низкорослое крепкое японское дерево. Поверьте, Наташа, романтика — мужественная вещь, и над ней не стоит смеяться... Ведь все дело в том, как подойти. Если бы Борис Михайлович застиг меня сидящим на корточках в пустыре и закапывающим инфантильную косточку, он еще раз почувствовал бы свою победу надо мной — победу мужчины над мечтателем. А я ведь в это время прятал в землю ядро. Оно лопнуло и выпустило ослепительный заряд. Я прятал в земле семя. Это дерево — мой ребенок от вас, Наташа. Приведите сына, которого вам сделал Борис Михайлович. Я посмотрю, так ли он здоров, чист и безотносителен, как это дерево, родившееся от инфантильного субъекта?

Я вернулся с дачи домой. Тотчас же из-за стены вышел Авель. Он профработник. Он мал ростом, на нем толстовка из бумажного коверкота, сандалии, синие носки. Он выбрит, но щеки у него черны. Авель всегда кажется обросшим. Даже можно подумать, что у него не две, а только одна щека — черная. У Авеля орлиный нос и одна черная щека.

А в е л ь. Что с вами происходит? Я ехал сегодня в дачном поезде и видел, как вы сидели на корточках в полосе отчуждения и руками разгребали землю. В чем дело?

Я *(молчу).*

(Гуляет по комнате.) Человек сидит на корточках и роется в земле. Что он делает? Неизвестно. Он проводит опыт? Или у него припадок? Неизвестно. Разве у вас бывают припадки?

Я *(после паузы.)* Знаете, о чем я думал, Авель? Я думал о том, что мечтатели не должны производить детей. Зачем новому миру дети мечтателей? Пусть мечтатели производят для нового мира деревья.

А в е л ь. Это не предусмотрено планом.

Страна внимания начинается у изголовья, на стуле, который, раздеваясь перед отходом ко сну, вы придвинули к своей кровати. Вы просыпаетесь ранним утром, дом еще спит, комната наполнена солнцем. Тишина. Не шевелитесь, чтобы не нарушить неподвижности освещения. На стуле лежат носки. Они коричневые. Но — в неподвижности и яркости освещения — вдруг замечаете вы в коричневой ткани отдельные, вьющиеся по воздуху разноцветные шерстинки: пунцовую, голубую, оранжевую.

Воскресное утро. Я вновь иду по знакомому пути в гости к Наташе. Нужно написать «Путешествие по невидимой стране». Если угодно, вот глава из «Путешествия», которую следует озаглавить:

«Человек, поторопившийся бросить камень».

Росли под кирпичной стеной кусты. Я пошел вдоль кустов по тропинке. Я увидел в стене нишу и захотел бросить в нишу камешек. Я нагнулся, камень лежал у ног... Тут я увидел муравейник.

Лет двадцать тому назад я видел муравейник в последний раз. О, конечно, не раз в течение двадцати этих лет случалось мне шагать по муравейникам,— мало ли раз? И наверное, я видел их, но, увидев, не думал: «Иду по муравейникам», а просто в сознании выделялось лишь слово «муравейник» — и все. Живой образ мгновенно выталкивался услужливо подвернувшимся термином.

О, я вспомнил: муравейники обнаруживаются взглядами внезапно. Один... О! Потом другой! Потом — смотрите! смотрите! — еще один! Так произошло и теперь. Один за другим появились три муравейника.

С высоты моего роста муравьев я не мог видеть; зрение улавливало лишь некое беспокойство форм, которые с успехом можно было счесть неподвижными. И зрение охотно поддавалось обману: я смотрел и согласен был думать, что это не муравьи во множестве снуют вокруг муравейников, а сами муравейники осыпаются, как дюны.

С камнем в руке стоял я шагах в четырех от стены. Камень должен был остановиться в нише. Я размахнулся. Камень улетел и ударился в кирпич. Взвилась струйка пыли. Я не попал. Камень упал к подножию стены, в кусты. Тогда лишь услышал я возглас камня, раздавшийся в ладони моей еще до того, как ладонь разжалась.

— Подожди! — крикнул камень.— Посмотри на меня!

И действительно, я поспешил. Нужно было подвергнуть камень осмотру. Ведь, без сомнения же, он представлял собой замечательную вещь. И вот он в кустах, в зарослях — исчез! И я, державший в руке вещь, не знаю даже, какого она была цвета. А камень, возможно, был лиловат; возможно, не монолитен, а состоял из нескольких тел: какая-нибудь окаменелость, возможно, была заключена в нем — останки жука или вишневая косточка; возможно, был камень пористый, и, наконец, может, вовсе не камень поднял я с земли, а позеленевшую кость!

Я встретил по дороге экскурсию.

Двадцать человек шли по пустырю, в котором покоилась косточка. Их вел Авель. Я отошел в сторонку. Авель не увидел меня, верней — не понял: он увидел меня, но не воспринял; как всякий фанатик, он поглотил меня, не дожидаясь согласия или сопротивления.

Авель отделился от паствы, повернулся к ней лицом (ко мне спиной) и воскликнул, мощно размахнув рукой:

— Вот здесь! Вот здесь! Вот здесь!

Пауза. Молчание.

— Товарищи из Курска! — кричит Авель.— Я надеюсь, что у вас есть воображение. Воображайте, не бойтесь!!!

О! Авель пытается вторгнуться в страну воображения. Уж не хочет ли он показать экскурсантам вишневое дерево, цветущее в честь неразделенной любви?

Авель ищет путей в невидимую страну...

Он шагает. Он остановился, взмахнув ногой. Он взмахнул еще раз. И еще. Он хочет освободиться от какого-то мелкокудрявого растения, которое, пока он шагал, обвилось вокруг его ступни.

Он топнул ногой, оно хрустнуло, покатились желтые шарики. (Сколько растений в этом рассказе, деревьев, кустов!)

— Вот здесь будет возвышаться гигант, о котором я говорил вам.

...Дорогая Наташа, я упустил из виду главное: план. Существует План. Я действовал, не спросившись Плана. Через пять лет на том месте, где нынче пустота, канава, бесполезные стены, будет воздвигнут бетонный гигант. Сестра моя — Воображение — опрометчивая особа. Весной начнут класть фундамент — и куда денется глупая моя косточка! Да, там, в невидимой стране, зацветет некогда дерево, посвященное вам...

Экскурсанты придут к бетонному гиганту.

Они не увидят вашего дерева. Неужели нельзя сделать невидимую страну — видимой?..

Письмо это — воображаемое. Я не писал его. Я мог бы написать его, если бы Авель не сказал того, что он сказал.

— Корпус этот будет расположен полукругом,— сказал Авель.— Вся внутренность полукруга будет заполнена садом. У вас есть воображение?

— Есть,— сказал я.— Я вижу, Авель. Я вижу ясно. Здесь будет сад. И на том месте, где стоите вы, будет расти вишневое дерево.

1929

Я СМОТРЮ В ПРОШЛОЕ

Когда Блерио перелетел через Ла-Манш, я был маленький гимназист.

Было лето, мы на дачу не выезжали, потому что не хватало средств.

Папа играл в карты, возвращался на рассвете, днем спал. Он был акцизным чиновником. Служба его состояла в том, чтобы ходить в

казенные винные лавки и проверять, не нарушаются ли правила торговли. Исполнял он свои служебные обязанности плохо; как он держался на службе, не знаю; жалованье, словом, получал. Главное было — клуб, игра, он чаще проигрывал; известно было: папе не везет. В клубе он проводил почти круглые сутки.

Так вот, значит, Блерио перелетел через Ла-Манш. Было лето, был подан летний обед, помню — жарко было, потно, резали дыню.

О дынях было известно, что дядя Толя ест их с солью. Ни одна дыня не удостаивалась одобрения. Только нам, детям, нравились все дыни. Мама говорила: «прямо огурец»; папа: «надо брать у Ламзаки»; тетя: «осторожно, а то холера».

Семья у нас была мелкобуржуазная.

На подзеркальнике покоилась громадная рогатая раковина. Ее нужно было прикладывать к уху и слушать.

— Это шумит море,— говорили взрослые.

Раковина, в которой шумело море, была обстоятельством такого же рода, как дыня, которую дядя Толя съедал с солью. Во всех знакомых домах были раковины: бог весть какие моря их выбрасывали.

Папа хотел, чтобы я стал инженером. Он понимал инженерствование как службу в каком-то управлении,— воображалась фуражка и говорилось: как господин Ковалевский.

В доме не было ни одной вещи своеобразного значения. Не было ничего такого, на основании чего можно было бы определить, что хозяин, скажем, идиот, или фантазер, или скряга. Ничего нельзя было определить.

Хозяин был картежник. Папа считался несчастным человеком. «Все сделали карты».

Клубное существование папы оставалось для нас неизвестным. Может быть, он покрывался испариной, когда проигрывал; может быть, рассказывал анекдоты, чтобы привести в хорошее расположение тех, у кого предполагал занять три рубля; может быть, разговаривая с ним, иные многозначительно переглядывались.

Домашнее существование его складывалось так: он, проснувшись, получал в постель чай и хлеб с маслом, потом опять засыпал, спал, положив на грудь кулаки; он выходил к обеду одетый, в манжетах с золотыми запонками, он был добр, мягок; волосы у него на висках были мокрые после причесывания.

— Блерио перелетел через Ла-Манш,— сказал я.

Мое сообщение было рассчитано на подготовленного слушателя. Тетя не знала, что такое Ла-Манш. Кто такой Блерио и почему он должен был перелететь через Ла-Манш — это не интересовало никого.

Главное: существовало у взрослых убеждение в том, что дети ничего серьезного, верней — ничего такого, чего нельзя было отвергнуть или опровергнуть, сказать не могут. Все, что говорили дети, относилось к области ерунды.

Мало того: подозревалось также, что в детских разговорах, мыслях, желаниях всегда заключено неприличное.

Родителей тревожило постоянное опасение: не происходит ли в моем сознании беспорядка, имеющего сексуальный смысл. Не держу ли я руки под одеялом.

«Он, наверно, держит руки под одеялом».

Они переглядывались; и я видел, именно эта тревога выражается в их взглядах.

Я не страдал дурной привычкой. Я не собирался держать руки под одеялом. Они мне навязывали это желание. Я был всегда под подозрением. Они смотрели на меня испытующе, читали во мне сексуальные мысли, которых не было.

Кроме Блерио, были имена: Латам, Фарман, Вильбур Райт, Орвил Райт, был Лилиенталь и братья Вуазен. Была под Парижем местность, которая называлась Исси ле Мулино.

Никто в доме, в семье, в знакомых домах, где знали, как жить и кем быть, не знал, что Отто Лилиенталь, летавший на планере, убился, что аэроплан, прежде чем подняться, бежит по земле, что машина братьев Вуазен более других машин похожа на птицу.

Это знал только я.

Мальчик был в семье — европеец, журналист и механик. Я предлагал семье омоложение, я мог бы встать за обедом среди запонок папы и, подняв пальцы так, как бы в руке у меня был камертон, сказать громко:

— Исси ле Мулино!

Я бы научил их, как при этих звуках услышать вибрацию волшебного камертона.

— Исси ле Мулино.

Я бы научил их увидеть зеленое поле, мураву первых полетов, освещенную молодым солнцем века, пустое, прекрасное поле и толпу людей, штатских людей в котелках, бегущих среди ромашек навстречу большой тени, которая скользит им под ноги.

Смотрите: один бежит с часами в руке; смотрите: они срывают котелки, они поднимают трости; смотрите: просвечивающее желтизной, сияющее нечто — суставчатое, бубнящее шелком, отбрасывающее блеск спиц, садится на мураву... Он летел! Слышите? Он полетел! Он летал! Это человек, который летает... Слышите?

Ты хочешь, папа, чтобы я стал инженером. Так вот это ж и есть инженерия!

— Я говорю тебе о волшебнейшей из инженерий, а ты не слушаешь меня.

Я говорю тебе об инженере, изобретающем летающего человека, а ты хочешь, чтобы я был инженером подзеркальников, фуражек и шумящих раковин.

Ты находишь, что я мало читаю.

Поговорим о книжном шкафе. Он наполнен Тургеневым, Достоевским, Гончаровым, Данилевским и Григоровичем.

Толстого нет, потому что «Нива» не давала приложения Толстого.

Чехова нет, потому что ты прекратил подписку на «Ниву» раньше, чем Чехов был дан приложением.

Открываю шкаф. Дух, идущий из него, не противен, нет...

В таких случаях описывают затхлость, запах мышей и пыль, поднимающуюся облаками над книгой, снятой с полки.

Не пахнет мышами из твоего шкафа. Шкаф приобретен недавно, он нов, доски свежи,— шкаф оберегается с особенной заботливостью; он невелик, строен, ни один завиток еще не откушен временем, в одном месте из-под завитка стекает капля клея. Она остановилась и окаменела, как янтарь. Она еще не обломана детьми. Из шкафа идет дух досок, который кажется мне похожим на запах шоколада.

Все книги в черных коленкоровых переплетах, корешки кожаные, с твоими инициалами. Я беру книгу, провожу ладонью по переплету — коленкор пупырчат. Тут начинается затхлость.

Я думаю так: папа когда-то решил переплести книги; был день, когда папа сказал: «Надо переплести книги». Пригласили переплетчика, договорились о цене, и все было приведено в порядок.

Это было давно. Я тогда книг не читал. Но тогда уже некая судьба определила: я буду читать классиков в пупырчатых переплетах.

Ах, не в том дело, в каких переплетах классики! Ах, мне совершенно все равно — в сафьяне или в картоне классики! Дело не в том.

Дело в том, что переплетчик, пришедший к папе, мог бы внезапно на пороге кухни превратиться в полотера, и никто бы не заметил перемены; также он мог бы стать обойщиком...

Вот если бы он превратился в посыльного, это незамеченным не прошло бы. Все знали, что посыльные в красных шапках. Это одно из первоначальных знаний моих о мире: красная шапка посыльного.

Словом, переплетчик был человеком из категории обслуживающих дом. Один человек натирал паркет, а другой оклеивал стены, третий переплетал книги. Одна знакомая дама прислала переплетчика, другая полотера. О полотере было сказано: он дает хорошую мастику; о переплетчике: он дает хороший коленкор.

Вот почему я говорю о затхлости.

Ведь книги эти предназначались для того, чтобы их прочел я. Я рос, они ждали меня, должен был наступить срок, тот торжественный срок, когда мальчик берется за книги.

Срок наступил. Я начал читать великую литературу. Совершилось событие, влияние которого не может не быть знаменательным.

Впервые в жизни вошло в мой мозг знание о Дон-Кихоте, вошел образ человека, созданный другим человеком, вошло бессмертие в том виде, в каком оно возможно на земле. Я стал частицей этого бессмертия: я стал мыслить. Это единственно и неповторимо, как познавание женщины.

Блажен, кто, познавая женщину, охранен любовью. Блажен, кто, начиная мыслить, охранен наставником.

Кто же был моим наставником, кто подготовил меня к встрече с мыслью? Знакомая дама, или полотер, который случайно мог оказаться переплетчиком, или папа, твердо знавший, что классики — это только те, которых прилагают к «Ниве»?

У меня наставника не было.

Я открываю шкаф, и знание мое о знакомой даме, о дяде Толе,

о недоверии ко мне, о необходимости стать инженером отвратительно поднимается во мне ощущением, похожим на голод, на вкус эмали, какой остается во рту, когда выпито воды через меру... Чувство уныния, скуки, лень!

Вот такой затхлостью полон твой шкаф, папа!

Но вот я читаю. Крулый обеденный стол освещен висячей лампой.

Знаменитый световой круг движется посредине стола по клеенке — как бы уходит, не уходя, как бы вращается, не вращаясь,— тот самый прославленный световой круг на клеенке, который так легко счесть знаком покоя, семейственности и тишины.

Передо мной раскрытая книга. И что же я знаю, читая? Что мне сказали о чтении мои наставники?

Все, что говорили они, сводилось к какому-то предостережению по моему адресу. Имелись в виду мои пальцы, слюна и нижние углы страниц, имелось в виду листание. Это — во-первых.

Во-вторых, имелась в виду поза, вредность позы, негигиеничность... Вокруг моего чтения носилась угроза, надо мной висел рассказ о Вите Булатовиче, таком же мальчике, как и я, который, потому что листал как-то не так, как надо было листать, заразился скарлатиной и умер.

Вот о какой затхлости я говорю.

Ты находишь, что я мало читаю. Ты доволен, когда видишь меня с книгой.

«Дося читает!»

Ты останавливаешься у стола и кладешь ладонь мне на голову.

У меня низко стриженные волосы гимназиста, голова у меня не круглая, не вполне детская голова, затылок у меня срезанный, плоский,— во всем есть какой-то намек на болезненность; может быть, френолог определил бы любовь к уединению, застенчивость, легко вызываемую стыдливость — все то, что в применении к детскому возрасту почему-то называется болезненностью.

Ты кладешь ладонь мне на голову.

— Читаешь?

И улыбаешься при этом так, точно хочешь кому-то подмигнуть: «Дося читает!»

И совершенно неинтересно тебе, что происходит в моем сознании, когда я читаю.

Тебе не так важно видеть путь, по которому я иду, как наблюдать мою походку,— зрелище это вызывает в тебе самодовольство, и мысль о каких-то никогда не совершенных тобою заслугах, и гордость, и почему-то смешливость, которая кажется мне дурацкой. Я не люблю читать у тебя на виду. Я убегаю.

Лето, синеют небеса, я сижу во дворе на ступеньке железной лестницы. Я читаю, книга лежит на коленях, во дворе пусто, все на дачах, воскресный день.

Вчера я порезал указательный палец стеклом. Порез был глубокий, меня водили в аптеку, заливали рану коллодием.

В аптеке было прохладно, темно, и вместе с тем именно в аптеке больше всего сказывалось, что сейчас — лето, как больше всего ощущается лето в спальне утром, когда открытие ставней начато и не завершено.

Меня посадили на деревянный диван, мама держала мою руку, кровь разливалась по всей ладони, отчего выступили и обозначились хиромантические линии. Коллодий мгновенно засох, стянув кожу и утвердив палец в полусогнутом состоянии; его забинтовали, обхватив кисть концами повязки и связав их на запястье маленьким бантом.

Повязка была ослепительно бела, она сделала руку тяжелой, самостоятельной и красивой. Затем я стал отрывать отдельные нити марли: они не отрывались — они нежно отъединялись, причем обнаруживалась решетчатость ткани; когда они падали на одежду, их никак нельзя было снять, и, нагибаясь за ними, мешала поврежденная рука, все время приподнятая, устремленная к пальцу, который в бинте своем, к концу дня разбухшем и расслоившемся, стал походить на горлышко бутылки с наливкой.

Я читаю, сидя на железной лестнице. Все уехали на дачу, у меня болячка на пальце, мне приятно оттого, что у меня болячка; я одинок, никто не обидел меня, но искусственными мерами — раздумыванием о болезненности раны и о том, что на даче сейчас веселятся,— я вызываю чувство обиды.

Оно появляется, и целый сонм спутников сопровождает его. И это веселые спутники, их лица смеются, и я тоже начинаю смеяться. Я смеюсь, удивляюсь тому, что грусть, и чувство обиды, и одиночество приятны и бодрящи.

Я владею секретом превращения грусти в бодрость. В любой момент я могу воспользоваться им. Но мне приятней грустить: я закрываю глаза, сладкая дрожь пронизывает меня. Я открываю глаза и среди синего неба вижу радугу, потому что на ресницах у меня слезы.

Я люблю читать, кривляясь перед самим собой. Я плачу, отлично сознавая веселость свою, я ставлю себя на место героя и хочу быть таким, как он.

Иногда он кажется мне недостижимым, а иногда я говорю себе, что не было в мире такой судьбы — ни действительной, ни вымышленной,— которую можно было бы сравнить с судьбой, предназначенной мне, что я лучше всех и жизнь моя будет замечательной.

Герой живет во Франции.

Я поднимаю взгляд. Передо мной кирпич и зелень, по кирпичу движется листва,— это моя Франция, сочетание кирпича и зелени! Вместе с героем идем мы под кипричом и зеленью, в некоей Франции, стране моего будущего... Вот как я читаю, папа!

Мне кажется, что развитие мужской судьбы, мужского характера не в малой степени предопределяется тем, привязан ли был мальчик к отцу.

Быть может, можно разделить мужские характеры на две категории: одну составят те, которые слагались под влиянием сыновней

любви, другую — те, которыми управляла жажда освобождения, тайная, несознаваемая жажда, внезапно во сне принимающая вид постыдного события, когда человека обнажают и разглядывают обнаженного.

Так возникает мысль о бегстве, о дороге, о сладости быть униженным, о вознаграждении жалостью, о войне, о солдате, о безрукости.

Так образуются ночи, когда мальчик думает о том, что он подкидыш.

Так начинаются поиски: отца, родины, профессии, талисмана, который может оказаться славой или властью.

Так создается одиночество — навсегда, одинокая судьба, удел человеку оставаться одиноким везде и во всем. Его называют мечтателем, над ним смеются; он допускает это, он и сам смеется с другими,— и люди объясняют это тем, что он ничтожен, угодлив, он идет одиноко, втянув в плечи голову, в которой тщеславие, высокомерие, самоунижение, презрение к людям, сменяющееся умилением, мысли о смерти образуют никогда не утихающую бурю.

Она не вырывается за пределы этого болезненного черепа, человек укрощает ее, втягивая голову в плечи, и только иногда он оборачивается вслед засмеявшимся, и засмеявшийся видит тогда, что на лице, которое его всегда смешило, сверкает собачий оскал.

1929

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

Я — маленький гимназист.

Когда я вырасту, я буду таким, как господин Ковалевский.

Этого требует от меня вся семья.

Я буду инженером и домовладельцем.

Распахнута балконная дверь. Слышен шум порта. На балконе растет олеандр из зеленой кадки. Господин Ковалевский приехал к нам обедать. Он стоит на фоне балконной двери, черный, как тень, на тонких расставленных ногах.

Мой папа — акцизный чиновник, обедневший дворянин, картежник. Мы бедны, но принадлежим к порядочному кругу. Мой папа остался барином, как и был; от него никто не отвернулся.

Я вхожу в гостиную, чтобы приветствовать господина Ковалевского. Я иду, маленький, согбенный, ушастый,— иду между собственных ушей. Сзади идет папа. Он меня демонстрирует. Я — вундеркинд. Гость протягивает мне руку, которая кажется мне пестрой, как курица.

Папа знает в точности, как должен жить я, чтобы быть счастливым: то есть быть богатым, независимым и занимать положение в обществе. Как господин Ковалевский. Свою жизнь папа считает несчастной. Как всякий промотавшийся барин, он считает себя униженным и оскорбленным. Все прошло, поздно жалеть, жизнь прожита. Но что ж, пусть, хорошо! Зато у него есть план местности, которая

осталась позади. На плане обозначены пункты катастроф, пропасти и преграды. Кроме плана собственной жизни, имеется также приблизительный план жизни господина Ковалевского. Их нетрудно сравнить — эти два плана. И вот произведено сравнение, сглаживание, выравнивание, накладывание одной части на другую,— отмечены совпадения и разрывы. В результате всего получился план той жизни — идеально удачной жизни,— которую мог бы прожить папа, если бы судьба положила ему быть счастливым. Но жизнь не повторяется дважды. Что делать с планом? Передать его сыну. Таким образом, для руководства предлагается мне план, который разработан отцом моим на основе зависти, раздражения, на основе учета свойственных только ему мечтаний и способностей. Этот план предлагается как лучший, и я не имею права обсуждать его.

Папа понимает разницу между собой и господином Ковалевским. Она огромна, и самому папе уже никогда не укоротить ее. Но вот вхожу я, и папа говорит:

— Дося— первый ученик.

Это значит: я одолел одну из тех преград, которые на плане папиной жизни обозначены знаком катастрофы.

Я — первый ученик. Я моложе своих сверстников и умнее их. Это очень важно. Господина Ковалевского это должно покоробить. Я — тихоня, и характер у меня замкнутый. Даже то, что я малокровный, поднимает папины шансы в соревновании с господином Ковалевским. Пусть он знает, что у меня есть все данные выбиться в люди. Замкнутый характер, прилежание, малокровие — многообещающие обстоятельства. Я, оказывается, вношу неожиданную и блестящую поправку в план идеально-удачной жизни: малокровие!

Мы стоим друг против друга: я — гимназист второго класса, и господин Ковалевский — инженер, домовладелец и председатель чего-то.

Я поднимаю глаза и вижу бороду.

Она русая, большая, вьющаяся кольцами. В тени ее, как дриада в лесу, ютится орден.

Ныне оглядываюсь я — и не вижу бород!

Бородатых нет!

Мы были маленькими гимназистами, у нас были отцы, дедушки, дяди, старшие братья. Это была галерея примеров. Нас вели по этому коридору, повертывая наши головы то в одну, то в другую сторону, и шепотом произносили имена дядь, двоюродных братьев, великих родственников и великих знакомых.

Над детством нашим стояли люди-образцы. Инженеры и директоры банков, адвокаты и председатели правлений, домовладельцы и доктора.

Японская война, подвиг рядового Рябова, первый кинематограф, двухсотлетие Полтавской победы, еврейские погромы, генерал Каульбарс, убийство королевы Драги — вот знаки моего детства. И кроме того, люди-образцы, люди-примеры, бородатые женихи моей мечты, бороды, бороды, бороды...

Одни были расчесаны надвое. У этих, у обладателей расчесанных

надвое бород, губы были румяны, улыбающиеся — цвета семги — губы жуиров и развратителей гимназисток.

Были бороды седые, длинные и суживающиеся книзу, как меч. У таких бородачей брови были сдвинуты и насуплены,— и эти люди были совестью поколения.

Были бороды короткие и широкие. Их держали в кулаках — могучие бороды путейцев и генералов!

Я буду таким, как господин Ковалевский.

У меня вырастет борода.

Мы оба в форменной одежде: гимназист и чиновник. Он — в черном мундире, я — в серой куртке.

О, серая куртка гимназиста! Ты не облегла меня, ты стояла вокруг моего туловища и была выше его, и плечи твои ничего общего с моими плечами не имели! Ты окружала меня — твердая, широкая и неподвижная, как спинка стула!

Я — маленький гимназист в платье навырост. Мы оба в форме — я и господин Ковалевский; мы — звенья одной большой цепи; на нас бляхи, петлицы, гербы; мы — люди регламентированные — гимназист и чиновник.

— Здравствуйте, господин Ковалевский,— говорю я.

— А! — восклицает господин Ковалевский.— Здравствуйте, молодой человек красивой наружности и ловкого телосложения.

А затем, после паузы, говорит папа. Он говорит:

— Дося будет инженером.

Тут я должен был бы возразить: будущие инженеры учатся в реальных училищах. Зачем же вы определили меня в гимназию?

Я должен быть инженером и должен, кроме того, знать латынь. Как же можно без латыни? Да, но инженеру не нужна латынь! Да, но ты — способный, ты должен все знать и все уметь, ловить всех зайцев, опережать сверстников, быть самым прилежным и тихим, потому что папа твой еще до твоего рождения проиграл состояние в карты и хочет теперь отыграться.

В день моих именин мне подарили готовальню.

Пусть Дося чертит.

А я даже не знал, что есть такое слово — готовальня!

И я стал чертить, испытывая муки творчества, которые были бесполезны, унылы и никак не могли бы вознаградить успехом, потому что в той части мозга, где у будущего инженера сосредоточена склонность к черчению, у меня было слепое место. Я ощущал научную невозможность привести в движение то, что отсутствовало вовсе; сознание это превращалось в боль во лбу, в тяжесть, давившую на лобные кости.

В бархатном ложе лежит, плотно сжав ноги, холодный сверкающий циркуль.

У него тяжелая голова. Я намереваюсь поднять его. Он неожиданно раскрывается и производит укол в руку. Я держу в кулаке одну его ногу. Подвижность его стремительней всех моих суждений, даже предупредительных рефлексов. Я подношу руку ко рту, чтобы слизать кровь,— и не успеваю подумать: «Осторожно...» Циркуль уже

повернулся в кулаке, и вот он уже смотрит страшным острием прямо мне в глаз. И я не понимаю, что происходит: что это? что это за блеск? что это за точка, которую я не могу постигнуть физически и которая грозит мне смертью?

Я разжимаю кулак. Циркуль стоит на столе, оглядывается, идет, останавливается и рушится на голову, раскрыв ноги. Я должен напороться на них обоими зрачками сразу.

Ныне оглядываюсь: все инженеры вокруг меня!

Ни одного домовладельца — все инженеры.

И я среди них — писатель.

И никто не требует, чтобы я был инженером.

Мне много говорили о справедливости. Мне говорили: нищета — добродетель, заплатанное платье прекрасно, нужно быть справедливым. Нужно быть добрым и не презирать бедных. Когда произошла революция, передо мной встала величайшая человеческая справедливость — торжество угнетенного класса. Тогда я узнал, что не всякое заплатанное платье прекрасно и не всякая нищета — добродетель. Тогда я узнал, что справедливо только то, что помогает раскрепощению угнетенного класса. Об этой справедливости ни слова не сказали мне те, кто учил меня, как жить. Я должен постичь ее сам — умом. А что вколотили в мой ум? Мечту о богатстве, о том, что нужно заставить общество склониться перед собой.

Я хватаю в себе самого себя, хватаю за горло того меня, которому вдруг хочется повернуться и вытянуть руки к прошлому.

Того меня, который думает, что расстояние между нами и Европой есть только географическое расстояние.

Того меня, который думает, что все, что происходит, есть только его жизнь, единственная и неповторимая, всеобъемлющая моя жизнь, своим концом прекращающая все существующее вне меня.

Я хочу задавить в себе второе «я», третье и все «я», которые выползают из прошлого.

Я хочу уничтожить в себе мелкие чувства.

Если я не могу быть инженером стихий, то я могу быть инженером человеческого материала.

Это звучит громко? Пусть. Громко я кричу: «Да здравствует реконструкция человеческого материала, всеобъемлющая инженерия нового мира!»

1929

МОЙ ЗНАКОМЫЙ

Многое зависит от квартирных условий. Скажем, если бы в квартире, где я живу, была ванна, душ, я принимал бы каждое утро душ. Душ можно было бы принимать и перед отходом ко сну.

У меня есть спокойный, жизнерадостный знакомый.

Он говорит замечательные вещи о проживании в квартире с ванной и душем. У него имеется специальный халат, бог весть откуда пришедший к нему,— заграничный купальный халат.

Приняв ванну, жизнерадостный знакомый надевает халат и на-

правляется... куда он направляется, в точности не представляю. Возможно, просматривать иностранный журнал, возможно — любить молодую жену.

Я вижу его входящим в комнату, где от паркета исходит соломенное сияние; халат — длинен и художественно неуклюж, как риза; над полом раскачиваются кисти.

Что же, это правильно: надо жить так, вот именно так... Надо любить себя, воспитывать вкус к жизни, а главное, не торопиться, не суетиться.

Жизнерадостный знакомый говорит:

— Мы оторваны от Европы. В Европе установлен культ спорта, гигиены и комфорта. На этой триаде покоится здоровье, уравновешенное и победоносное сознание современного европейца.

Он молод, ему двадцать пять лет. Он служит, состоит в профсоюзе и числится на военном учете.

Размышляя о нем, я раздражаюсь. Размышляя о своем раздражении, я раздражаюсь еще более, потому что явственно обнаруживаю в природе этого раздражения зависть.

«Он прав,— думаю я.— И не прав я, восставая против комфорта, спорта и гигиены. И не прав я, думая, что он ничтожен и глуп, потому что моется, приобретает халат и играет в теннис».

Я никогда не умел наслаждаться жизнью.

Мне тридцать лет.

В литературе о тридцатилетнем герое говорится так: «Он был молод, ему едва исполнилось тридцать лет». Едва! Правда, в «Войне и мире» Андрей Болконский на тридцать первом году жизни вдруг почувствовал себя старым и решил, что жизнь прошла. Но он же через несколько страниц воскликнул — это в тридцать один год — еще не прошла жизнь!

Я чувствую себя старым. Не знаю, когда оно наступило, это постарение. И, может быть, оно не наступило вовсе; быть может, сознание постарения ошибочно; быть может, виной всему квартирные условия, отсутствие ванны и душа и утр, сияющих соломенным блеском!

Я думаю так: мы, тридцатилетние — целое поколение тридцатилетних, так называемых интеллигентов,— мы слишком скоро постарели.

Почему?

Революция произошла в тот год, когда мы получали аттестаты зрелости. Большинство из нас думало: вот мы кончаем гимназию, вот цветут акации в гимназическом саду, лепестки ложатся на подоконники, на страницы, в сгиб локтя,— вот весна нашей жизни! О, какими замечательными мы будем людьми!

Так думали мы.

У нас были отцы, дедушки, дяди, старшие братья.

Это была галерея примеров.

Нас с детской вели по этому коридору, повертывая наши головы то в одну, то в другую сторону. В этом коридоре слова произносились шепотом, шепотом назывались имена дядь и двоюродных братьев.

Это были инженеры и директоры банков, адвокаты и председатели правлений, домовладельцы и доктора. Это были бороды, расчесанные надвое,— обязательно бороды: пенящиеся, а также длинные, как мечи, и короткие — котлетообразные.

И часто в тени бороды, как дриада в лесу, ютился орден. Руки были скрещены на груди, что говорило об исполненных задачах, и головы несколько откинуты, чтобы виден был блеск честных лбов.

Каждый из нас, семнадцатилетних, должен был стать инженером, адвокатом; у нас должны были вырасти бороды.

Все было известно: были известны магазины, где покупается сукно для студенческих мундиров, и рестораны, подходящие для выпускных пирушек.

Было известно, какой подарок получает сын после окончания гимназии, какое благословение присылает главный родственник,— и всегда находился сбившийся с пути талантливый дядя, который присоединялся к торжеству племянника, вел его в публичный дом, пировал, веселился и плакал, вспоминая на живом примере свою растраченную молодость.

У каждого из нас имелся такой дядя. Считалось, что у такого дяди — золотое сердце. Его погубила женщина... нет, не женщина! Игра в карты? Нет! Неизвестно, что погубило золотосердного дядю. Братья отвернулись от него. Он был предосудителен, но семья немножечко им кокетничала.

При воспоминании о нем говорилось: каждый кузнец своего счастья. Дядя не сковал своего счастья.

Все было известно.

В семнадцать лет оканчивали гимназию, пять лет полагалось на университет, к тридцати годам уже сказывались первые результаты ковки счастья. В тридцать лет начиналось положение в обществе.

Разве большинство из нас предполагало, что порядок изменится?

Он изменился.

Мы собрались ковать свое счастье, а материал, из которого мы должны были его ковать, уничтожился.

Главным в этом материале было стремление к независимости. Независимость достигалась обогащением.

Нас учили: учись, будешь богатым. Деньги дают свободу.

Мальчик, росший в нищей семье, талантливый сын бедных родителей, в лишениях находил даже радость.

Применялось так называемое стискивание зубов. Это было приятно и почетно — стискивать зубы. И это бывало началом многих великих биографий.

Юноша стискивал зубы. Это значило: ничего, ничего, подождем, я беден, но я добьюсь, но я заставлю, мы посчитаемся...

И он добивался. Он учился, опережал сверстников, вступал в общество победителем, был богат и славен.

С революцией стискивание зубов стало бесполезным. Одинокий путь нищего, обретающего богатство и признание, разом оборвался.

Буржуазия принимала в свой круг разбогатевших нищих и про-

щала им мстительную их заносчивость и кокетничала ими и даже кичилась.

После революции запальчивому нищему стало некуда идти. Гадкие утята перестали превращаться в лебедей.

Кузнецы своего счастья остались с молотами в руках и без материала. Широко размахнувшийся молот — и не по чему бить.

Так некоторые стали авантюристами и лжецами. Так большинство повисло в воздухе.

Мы знали, как начинается самостоятельная жизнь члена общества, как она развивается, как достигает расцвета и как переходит в галерею примеров.

Мы усвоили закономерность и чередование сроков.

Была логика брака, отцовства, семейственности, долга, совести; были твердо установленные нормы: боязнь крови, хвала великодушию, прощению, оправдание компромиссам, цена девственности.

Был образец человека. Это был отец кого-нибудь из нас, дядя, дедушка, знакомый директор гимназии.

Он произносил слова: невеста, жених, жизнь, душа, награда. Мы не только слышали их,— мы их видели! Они распускали лучи, их можно было нести в руках, как хрустальные сахарницы. Они жили — эти слова — как природа, как деревья, образовывали ландшафт, возвышенный и печальный, как встреча или расставание с родиной.

И все это оказалось ложью.

И все это исчезло, испарилось, развеялось по ветру. И не успели разлететься последние листья, как мы уже прошли по ним без всякого сожаления.

Нам много говорили о справедливости. Нам говорили о том, что бедность — добродетель, что заплатанное платье прекрасно. Эти слова волновали нас, и мы давали обещание быть добрыми.

В один год все полетело к черту. Не все заплатанные платья оказались прекрасными, и не всякая бедность — добродетелью. Справедливостью стало только то, что полезно угнетенному классу.

О, какими серьезными, умными, какими взрослыми должны были бы мы оказаться в тот год, мы, семнадцатилетние юнцы, уважавшие старость, авторитет и знатность.

И вот теперь нам тридцать лет.

Прошлого у нас нет.

Настоящее наше — мысль. Мы думаем, мы мучительно думаем, мы хотим быть мудрыми.

Мы хотим все наши понятия о добродетелях подвергнуть переработке ради того вывода о справедливости, который стал для нас единственно важным в тот год, когда произошла революция.

Мы гораздо умнее и лучше, чем наши отцы.

Не надо упрекать нас в том, что мы не умеем устроить нашу жизнь. Мы часто неряшливы, у нас нет душей, мы нервны через меру, крикливы, задумчивы, рассеянны, и щеки у нас не всегда выбриты.

Мы прекрасно понимаем, что неврастеничность наша противна революционной молодежи, над нами смеются. Это делает нас еще более старыми.

Жизнерадостный мой знакомый в хороших отношениях с портным. Они советуются о покрое, долго советуются, устраивают встречи,— покрой должен быть самым последним, модным,— крик. Как в Европе.

Он говорит:

— Сейчас это уже не носят.

Где не носят? В Европе.

Он не был в Европе, но ему известно все.

— Сейчас это уже не танцуют.

Он все знает. (О, я просто завидую ему!)

Он островитянин среди нас. Расстояние, отделяющее его от европейских границ,— только лишь география. Это расстояние можно проехать. Так просто.

Я ненавижу моего жизнерадостного знакомого. Он тень того меня, которого уже нет. Я шел, я дошел до года, ставшего рубежом,— дошел и исчез. И вот меня нет такого, каким я был, когда подходил к рубежу. Я стал другим.

И вдруг я вижу: появилась тень! Моя тень существует самостоятельно, а я стал тенью. Меня считают тенью, я невесом и воздушен, я — отвлеченное понятие, а тень моя стала румяной, жизнерадостной и с презрением поглядывает на меня.

Откуда он появился, этот лебедь, никогда не бывший гадким утенком? Кто его воспитал? На что он рассчитывает? Неужели он твердо убежден, что расстояние между нами и Европой есть только географическое расстояние?

Я хочу быть неряшливым и небритым. Я подожду. Мне ничего не жаль.

У меня нет прошлого. Вместо прошлого революция дала мне ум. От меня ушли мелкие чувства, я стал абсолютно самостоятельным. Я еще побреюсь и приоденусь. Я еще буду наслаждаться жизнью.

Революция вернет мне молодость.

1929

В МИРЕ

Я родился в городе Елисаветграде — некогда Херсонской губернии.

Кое-какие воспоминания о младенчестве сохранились.

Поле, поросшее бурьяном,— вернее, не поле, а пустырь позади дома, под его глухой стеной,— сумерки, и в сумерки за каким-то забором, в бурьяне, мальчики жгут спички, горящие разноцветным пламенем.

Некоторое время думал, что шведские спички — это и есть те спички, которые дают разноцветное пламя. Мечтал впоследствии о таких спичках. Вот, мол, в детстве — помните? — были спички: шведские. Малиновый огонек, зеленый...

Мальчиков со спичками звали Саша и Сережа. Затем помню фамилию Воронин. Кто он был — забыто. Как будто — сапожник. Туда нельзя было ходить. Тоже по бурьяну ходили.

Позже узнал, что в то время у нас был собственный выезд, имелся вороной рысак с белым пятном на лбу. Этого не помню, но легко складывающееся в воображении видение рысака охотно принимаю за воспоминание.

Папа служил от акциза на водочном заводе.

Лет восемнадцати я побывал в Елисаветграде. Перед отъездом мама сказала: «На Петровской улице, дом номер такой-то, там ты родился: посмотри». Я посмотрел — никакого впечатления. Дом двухэтажный, кирпичный, зелень у крыльца. Стоял, смотрел, собирался замирать, поддаваться дрожи — и ничего не вышло.

Когда мне было три года, семья переехала в Одессу, которую считаю, хотя и неправильно, своей родиной. Во всяком случае, всю лирику, связанную с понятием родины, отношу к Одессе.

Я очень стар.

Извещение огромными буквами на первой странице газеты о том, что мир заключен, я прочел сам. А это было заключение мира после японской войны. Следовательно, я умею читать уже двадцать пять лет.

На днях я сел в трамвае напротив милиционера. Он был с усами, с большими светлыми усами «северного богатыря». Он был милиционер — в амуниции, вооруженный, взрослый, могучий человек. И вдруг я понял: милиционер моложе меня. Взрослый человек, семьянин, с сильно развитой грудью и плечами, в пропотевших сапогах — моложе меня!

Между тем, несмотря на то что мне тридцать один год,— я-то уже замечаю на себе и в себе физические признаки постарения,— тем не менее до сих пор я ни разу не почувствовал себя взрослым.

Ничего наперед придумать не могу. Все, что писал, писал без плана. Даже пьесу. Даже авантюрный роман «Три Толстяка».

Вот уже год, как думаю о романе.

Знаю название — «Нищий».

Образ нищего волнует меня с детства. Может быть, поразила лубочная картинка какая-то, не помню. Сушь, солнце, пустынный ландшафт, кто-то в лаптях — некий Дмитрий Донской — протягивает руку к нищему, который стоит на коленях. Поразили слова: рубище, мытарь. Кто-то пожалел мытаря. Исцеление.

Этой зимой проходил как-то по Невскому. Нищий стоял на коленях на вершине лестницы, уходящей в подвальный, ярко освещенный магазин.

Я увидел нищего не сразу. Я пронес кисть руки на уровне его губ, как будто хотел, чтобы рука моя была схвачена им и поцелована. Он стоял на коленях, выпрямив туловище, черный, неподвижный, как истукан. Я боковым зрением, на ходу, воспринял его как льва и подумал: «А где же второй лев»? Оглянулся: нищий.

Он стоял, подняв лицо, черты которого, сдвинутые темнотой, слагались в нечто напоминающее черную доску иконы. Я испугался.

Он не шелохнулся, продолжая стоять так же, как стоял уже много часов,— может быть, с утра,— этот бородатый крестьянин.

Иду в жаркий день за городом вдоль кирпичной развалившейся стены, в одиночестве и тишине, потный, босой, в расстегнутой рубашке.

Слышу отдаленные голоса работающих на железнодорожном пути, музыкальный звук падающего рельса.

Воздушная среда, где происходит падение, кажется средой водяной.

Шагаю — никем не видимый, забытый всеми — в поисках первоначальных ощущений.

Вижу далеко-далеко впереди себя гигантские буквы на обратной стороне фабрики.

Овраг пересекает мой путь. Это та свалочная канава, над которой в детстве реял гений путешествий.

Да, именно из канавы возникал этот самый мечтательный гений детства.

Может быть, потому, что она зияла, как ров на границе города.

Может быть, потому, что дети, приходя сюда — в такую запретную отдаленность,— знали, что, вернувшись, будут наказаны, и потому очертя голову шли на опасность — на выбегающую из-за кочек собаку, которая могла оказаться бешеной, на двух бродяг, играющих в орлянку, на мальчика в лохмотьях, показывающего солдатский с медным черенком нож, и, наконец, на водопроводную башню, единственно в такой лишь местности позволяющую приблизиться к себе вплотную.

Она ни на что не похожа — эта башня!

Что общего имеет она с домами города, его крышами, балконами, дворами, подъездами? Ничего!

Она не принадлежит городу, она возвышается уже в путешествии, уже в будущем времени. Вокруг нее железная лестница. Нерусская зелень цветет у ее подножья, и нерусские круглые окошечки чернеют в ее слепом, устремленном ввысь теле.

Аптека находилась на углу одной из главных улиц города.

Дом, в котором помещалась она, занимал добрую половину квартала и, выходя одной стороной в переулок, нависал над ним серой громадой, высветлявшейся лишь наверху и лишь на закате, когда вспыхивали под самой крышей окна. Дом был построен в конце прошлого века и принадлежал купцу.

В аптеку вела старомодная дубовая дверь с резьбой. Она была застеклена, и ручка ее была тоже из стекла — витая, дававшая в солнечную погоду спектр.

Дверь ходила тяжко, и, открывая ее, человеку приходилось со всей силой тянуть ручку на себя, держась за нее, как за пивную кружку.

За дверью поднималась лестница ко второй двери, которая была постоянно открытой.

Между двумя дверьми образовался таким образом люк, пропитанный, смотря по времени года, то пылью, то сыростью, пронизываемый сквозняком или залитый солнцем, которое, проходя сквозь несвежее

наружное стекло, становилось желтым, как солнце деревянных лавок вагона.

Тогда же, ломаясь по ступенькам, ложилась на лестницу черная тень креста, наклеенного на стекло двери.

Однажды осенью, вечером, в слякоть, некий человек, открыв дверь аптеки, не бросил ее за собой, чтобы поспешно взбежать по ступенькам, как это делали все, но, тотчас же повернувшись, как будто из страха, чтобы не разбилось стекло, легко двигавшееся в изношенном пазу рамы, осторожно повел дверь на место.

В дальнейшем человек, поднявшись до середины лестницы, остановился, затем повернулся вбок и, как-то скользнув на подошвах, очутился под стенкой и там замер, подпирая стенку спиной с таким успокоенным видом, что можно было предположить, что пришел он сюда как в давно облюбованное место и принял давно облюбованную позу.

Над входом снаружи горела электрическая лампа. Ее лучи проникали в люк, смутно освещая человека под стенкой.

С улицы в стеклянном четырехугольнике доступен наблюдению был только корпус человека, озаренный зеленоватым светом.

Первое, что бросилось в глаза, был картуз, надвинутый до середины ушей, завернувшихся из-под него мочками кверху. Этот способ ношения головного убора придавал человеку жалкий и постыдный вид.

Картуз, предназначенный для летнего времени, был сшит из светлой парусины, однако от долгого употребления во все времена года он потемнел, покрылся подтеками и приобрел бесформенность очертаний, близкую к конической пузырчатости поварских колпаков.

Человек был толст, но, видимо, небольшого роста. Вся грузность сосредоточилась в туловище, которое он как бы поддерживал на самом себе руками, соединенными над животом.

Голову он держал втянутой в плечи и не мог держать ее иначе, потому что жирные плечи его навалились на загривок, отчего голова пригнулась и как бы лишилась шеи, и глазам раз и навсегда определено было смотреть исподлобья.

Одет был человек в ватный пиджак, с таким трудом обхвативший его большое туловище, что пришлось прибегнуть к помощи до отказа натянутых бязевых тесемок, чтобы соединить полы пиджака на животе и под шеей.

Пиджак лопнул в подмышках, выпустил вату, и теперь она курчавилась по обеим сторонам спины, напоминая крылышки.

Человек, видимо, смотрел в одну точку, куда-то вниз, в темный угол люка.

Иногда он весь передергивался — должно быть, вследствие сырости.

Иногда, быстро подбросив короткую руку, принимался поскребывать подбородок, как человек, внезапно наталкивающийся на мысль, утешительную в потоке неприятных мыслей.

Порой казалось, что он засыпает. Во всяком случае, вдруг начинал он оседать, сползая стеганой своей спиной по филенкам стенки, и

оседал до тех пор, пока, ослабев, не размыкались поддерживающие живот руки. Тогда он разом приходил в себя и принимал прежнее положение.

Когда дверь открывалась и входили в аптеку люди, он с чрезвычайной суетливостью бросался навстречу и закрывал за входящими дверь.

Этот человек был нищий.

Наступала ночь. Все реже открывалась дверь. В аптеке погасили лишний свет.

Нищий стал проявлять беспокойство. По всей вероятности, он ожидал, что сейчас служащие аптеки обнаружат его пребывание на лестнице и он лишится убежища.

Теперь он уже не дремал.

То и дело поворачивал он голову в сторону верхней двери и, видимо, поднимаясь на носки, прислушивался.

Внезапно он хватался за ручку, точно готов был бежать.

Его выгнали. Он очутился на улице.

Шел дождь. Улица опустела. Нищий ускорил шаг и затем побежал, помахивая крылышками.

На перекрестке он остановился. Капли стекали с картуза на лицо ему.

Вода журчала под обочиной. Он посмотрел: вода плыла под камнем, как рыба. Чтобы согреться, он стал приплясывать.

Теперь, при желании посмеяться, можно было вообразить этого человека этаким постаревшим купидоном, потому что, отличаясь округлостью форм и наличием крылышек, был он, кроме того, бос и — как сказано выше — к тому же еще и приплясывал.

Вот так спокойно, в реалистической манере, по старинке, хотелось бы мне начать роман «Нищий».

Не знаю, как другие пишут романы.

Золя составлял точнейший план и точнейшим образом определял дату и час, когда будет поставлена последняя точка. И не ошибался.

Он знал наперед, в каком месяце и в какой день придет к концу та или иная глава. Я даже и не пытаюсь составить такой волшебный календарь.

У меня в папках имеется, по крайней мере, триста страниц, помеченных цифрой «1». Это триста начал «Зависти». И ни одна из этих страниц не стала окончательным началом.

Обладание писательской техникой достигается ежедневным и систематическим — как служба — писанием. Увы, мы не умеем работать.

Я приехал отдыхать в Одессу.

Дача расположена на плоскогорье, обрывающемся к морю.

Я сижу на скамье в двух шагах от обрыва.

Перед глазами у меня море.

Я смотрю прямо вперед, не поднимаясь и не заглядывая вниз. Таким образом, я вижу только план панорамы, ее задник; горизонт и море.

Между тем имеется целый ряд планов.

И первый образуют гребни отколовшихся от массива пластов.

Они несколько наклонились вперед, и это вызывает в наблюдателе опасение, что в любую минуту их стрельчатая архитектура может превратиться в прах едва ли не от удара птичьего крыла. Так суха и просвистана ветром их порода — простая глина, кажущаяся гранитом лишь благодаря пустынности ландшафта и яркости солнца,— два обстоятельства дают этим воздушным замкам возможность бросать могучую тень лунных пиков.

Далее следуют уступы, покрытые зеленью, запыленной до сходства с мельхиором.

Что это за флора? Я не видел на юге, на морском берегу, того, что принято называть травой.

Закорючки, уроды, карлики торчат между кочек из сожженной земли.

Правда, наблюдения производились в начале августа, я лазил по природе, как по городу после пожара.

И в самом деле: нога вдруг запутывается в длинном стебле, которому положено виться, и стебель этот сух и шершав, как провод в изоляционной обмотке; и я боюсь дернуть ногой, так как не вижу начала этого стебля и могу предположить, что от рывка может рухнуть то вот стропило, соединенное с проводом,— стропило, которое стоит торчком и которое — если перестать развлекаться метафорами — есть просто серый запыленный ствол дерева.

Я сижу на скамье.

Размеры — вещь условная.

На краю оврага — на самом краю, даже по ту сторону — растет какое-то зонтичное. Оно четко стоит на фоне неба.

Это крошечное растение — единственное, что есть между небом и моим глазом.

Я вглядываюсь все сосредоточеннее, и вдруг какой-то сдвиг происходит в моем мозгу: происходит подкручивание шарниров мнимого бинокля, поиски фокуса.

И вот фокус найден: растение стоит передо мной просветленным, как препарат в микроскопе. Оно стало гигантским.

Зрение мое приобрело микроскопическую силу. Я превращаюсь в Гулливера, попавшего в страну великанов.

Жалкий — достоинства соломинки — цветок потрясает меня своим видом. Он ужасен. Он возвышается как сооружение неведомой грандиозной техники.

Я вижу могучие шары, трубы, сочленения, колена, рычаги. И тусклое отражение солнца на стебле исчезнувшего цветка я воспринимаю теперь как ослепительный металлический блеск.

Таков зрительный феномен.

Вызвать его нетрудно. Это может сделать всякий наблюдатель. Дело не в особенности глаза, а лишь в объективных условиях: в комбинации пространства, вещи и точек зрения.

У Эдгара По есть рассказ на тему о подобном феномене. Человек, сидевший у открытого окна, увидел фантастического вида чудовище,

двигавшееся по далекому холму. Мистический ужас охватил наблюдателя.

В местности свирепствовала холера. Он думал, что видит самое холеру, ее страшное воплощение.

Однако через минуту выяснилось, что чудовище небывалой величины есть не что иное, как самое заурядное насекомое, и наблюдатель пал жертвой зрительного обмана, происшедшего вследствие того, что насекомое ползло по паутине на ничтожнейшем расстоянии от наблюдающего глаза, имея в проекции под собой дальние холмы.

Нужно видеть мир по-новому.

Чрезвычайно полезно для писателя заниматься такой волшебной фотографией. И притом — это не выверт, никакой не экспрессионизм! Напротив: самый чистый, самый здоровый реализм.

Надоело смотреть на море.

Иду на зады дачи.

Выхожу за калитку. Степной простор. Вдали трамвайная станция по дороге в Люстдорф.

В степи стоит водопроводная башня. (Описание башни смотри в четвертом отрывке. Впрочем, там описана другая башня: «нерусская зелень, нерусские окошки»... Здесь никакой зелени. Непосредственно из голой степи торчит семидесятиметровая башня.)

Местность принадлежала некоему Высоцкому. Так она до сих пор и называется в трамвайном маршруте: дача Высоцкого.

Некогда Высоцкий решил взять в свои руки водоснабжение окрестностей и для того построил башню. Кто-то судился с ним, кто-то откупал у него что-то,— подробности забыты.

Давно заглохла деятельность башни, остались за ней только романтические свойства: доминировать, чернеть на закате, бросать длинную тень и быть оплетаемой полетом стрижей.

Внутрь башни ведет туннель, где гудят слетающиеся на испражнения мухи.

Однажды на дачу пришла аристократическая старуха с двумя девочками в сарафанчиках. Все трое сели на камни у калитки. Старуха положила на колени книгу.

«Золя»,— прочел я,— «Лурд».

Из книги торчали лапки очков.

Девочки сидели чинно. Я из приличия отошел. По даче несся шепот.

Старуха была вдова Высоцкого, девочки — ее внучки.

Через десять минут я вернулся.

— Это было наше,— сказала старуха, тыча пальцем в пространство.

— Что? — спросила левая внучка.

— Парк,— сказала старуха.

— Какой? — спросила правая внучка.

— Этот,— ответила старуха.

Никакого парка не было. Было желтое пространство. На горизонте развевались бунчуки кукурузы.

Внучки чинно молчали. Они видели только то, что можно было видеть: степь.

Бабушка видела парк.

А парк был вырублен еще в голодные годы окрестными жителями на топку. Ничего не осталось, ни одного дуба, ни одной липы. Даже корней не было. Уже много лет, как пространство засевалось рожью. Рожь снята.

Август. Колючки. Кое-где бурьян.

Старуха видит парк. И действительно... я вспоминаю. Гимназистом приехал я на дачу к писателю А. М. Федорову, на которой и сейчас поселился. Действительно, зеленые купы громоздились у подножья башни, белели беседки. Помню: был парк — знаменитый парк Высоцкого.

— Это тоже было наше,— произносит старуха.

— Что? — спрашивает левая внучка.

Девочка видит столбики и колючую проволоку — огород.

— Тыква? — спрашивает правая внучка.

— Дом с колоннами.

Старуха видит то, чего нельзя видеть. Это похоже на палеонтологию.

Старуха — палеонтолог. Она видит прошлое земли.

Девочки понемногу обалдевают.

— Это тоже было наше? — спрашивает внучка, кивком указывая на трамвайную станцию.

— Да,— отвечает бабушка.— Розариум.

— Что? — спрашивает правая внучка.

— Розариум,— подтверждает бабушка,— это тоже было наше.

Перед ней цветут розы допотопного периода.

Вечером все трое сидят на скамье над обрывом.

Я приближаюсь. Силуэт старухиной головы сердечкообразен.

Восходит луна. Тихо рокочет море.

Прислушиваюсь к беседе.

На этот раз бабушка выступает уже прямо в качестве палеонтолога.

— Море,— говорит она,— образовалось впоследствии. Прежде здесь была суша.

— Она была наша? — спрашивают внучки.

— Да, — говорю я.— Все было ваше! Некоторые ученые утверждают, что луна есть часть земли, оторванная некогда кометой. На месте отрыва образовался Тихий океан. Луна, как видите, существует самостоятельно. Но это ничего не значит. Она тоже была вашей!

1930

АЛЬДЕБАРАН

На скамье сидела компания: девушка, молодой человек и некий ученый старик. Было летнее утро. Над ними стояло могучее дерево с дуплом. Из дупла легко веяло затхлостью. Старик вспомнил детские проникновения в погреб.

Молодой человек сказал:

— Я сегодня свободный весь день.

— Я тоже,— сказал ученый старик.

Молодой человек работал машинистом на трамбующей машине «буффало». Он укатывал асфальтовые мостовые. Он был латыш, по фамилии Цвибол. Саша Цвибол.

Подошла цыганская девочка величиной с веник.

Она предложила лилии.

— Пошла вон,— сказал ученый старик.

Саша Цвибол возмутился.

— Вот как,— удивился старик,— вас это умиляет. Странно из уст комсомольца слышать защиту бродяжничества.

— Она — ребенок! — сказала девушка.

— Ребенок? Скажите, пожалуйста: социализм, следовательно, есть христианский рай детей и нищих?

Старик говорил звонко, тенором. Между прочим, это был красивый и вполне здоровый старик — один из тех стариков, которые курят, пьют, не соблюдают диеты, спят на левом боку и говорят о себе: «Ого!»

Звали его Богемский. Он сотрудничал по составлению Большой Советской Энциклопедии.

Он влюбился в девушку. Она сидела рядом. Она положила руку на колено молодого. Тогда старый спросил:

— Быть может, я лишний?

Молодой вздохнул, снял картуз. Круглая красноармейская голова его была низко острижена. Он был блондин. Голова его блестела, как бульон. Он почесал темя.

Старик встал и кинул окурок в дупло.

— Мы поедем с Сашей на реку,— сказала девушка.

Старика на реку молчаливо не пригласили.

— Проводите нас до автобуса,— сказала девушка.

Они пошли. Она шла на шаг впереди.

Богемский смотрел ей в спину и думал:

«Нет, это не любовь. Это похоть. Трусливая старческая похоть. Я хочу тебя съесть. Слышишь? Я бы тебя съел, начиная со спины, с подлопаточных мест».

— Какая красивая! — сказал Цвибол.

Эти восторженные слова он сказал с акцентом. И прозвучало мужественно. Из восторженности с поправкой на мужественность получилась застенчивая страстность. И старик позавидовал.

— Катя, ваш возлюбленный похож на римлянина! — крикнул он девушке.

— Я из Риги,— сказал Цвибол.

— Ну что же? Это тот же стиль. Воины. Орден Храмовников.

— Теперь нет Хамовников, — через плечо сказала Катя,— теперь называется Фрунзенский район.

Они подошли к остановке.

— А вдруг пойдет дождь? — сказал Богемский.

— Не пойдет,— сказал Цвибол.

Они подняли головы. Небо было чистое. Синее небо.

— Дождь — враг влюбленных,— сказал старик,— он выгоняет их прочь из садов. Злой сторож морали.

Подошел автобус.

Они не успели сказать ученому старику «до свидания».

Он увидел Катю, уносимую на подножке. Она входила в дверцу. Поддуваемая ветром движения, она приобрела сходство с гиацинтом.

Богемский шел в неопределенном направлении.

Он был высок и строен. Он шагал, как юноша. На нем разлеталась черная пелерина. На седых кудрях стояла черная шляпа. Он был тем пешеходом, которого побаиваются псы. Он идет. Пес, бегущий навстречу, вдруг останавливается, смотрит секунду на идущего и перебегает на другую сторону. Там он бежит под стеной, останавливается, когда пешеход уже далеко впереди, и смотрит пешеходу вслед.

Богемский шел и размышлял о девушке. «Первоклассная девушка. Она — первоклассная девушка и не знает себе цены. При других объективных условиях она вертела бы историей». Он стал размышлять о веке просвещенного абсолютизма. Герцогиня дю Барри. Салоны. И многое другое. Директория. Баррас. Возвышение Бонапарта. Госпожа Рекамье. Женщины говорили по-латыни. Игра ума. Нити политики в маленькой ручке. Жорж Занд. Шопен. Ида Рубинштейн.

Саша Цвибол.

«Солдат,— думал Богемский.— Дон Хозе. Печальная повесть. Молодой коммунист влюбился в Кармен. Саша Цвибол, простодушный пастух, попался на удочку. Интересно. Он потрясен ею. Еще бы! Он и сам не подозревает, в чем ее сила. Он — тот ротозей на ярмарочной площади, который хватается за электрические катушки и корчится и, корчась, не понимает, отчего корчится. Коммунист. Смешно. Комсомолка. Смешно. Я живу на свете очень много лет. Я помню, как танцевали в Париже канкан. Я все знаю, все видел, все обдумал. Я очень стар, Катенька. Я — дело Дрейфуса, я — королева Виктория, я — открытие Суэцкого канала. Цвибол, которого вы любите, говорит вам многие прекрасные вещи о строительстве, о социализме, о науке, о технике, которая переделает человека. Ах, Катюша, молодой возлюбленный ваш говорит вам о классовой борьбе... Смешно. Легко говорить ему о чем угодно, когда вы улыбаетесь ему. А я, который старше Художественного театра вдвое и которому вы не улыбаетесь, мудро говорю вам, перефразируя поэта: любви все классы покорны...

А в это время они раздеваются в какой-то грелке на сваях. Под сваями стоит неподвижная базальтовая вода. Они шумят. Там шум, возгласы, плеск голого тела в деревянной комнате, где раздевается молодежь. В окошках видны река, перила, флажки, лодки. На реке вспыхивают весла. Они выходят из деревянной комнаты и идут по горячим доскам. Где-то играет оркестр. Он колеблет воздух. От колебаний сотрясается деревянное сооружение. С досок летят опилки. Ах, не лучший ли вид человеческой жизни — флаг, бегущий в синеве летнего неба, когда вдали играет военный оркестр!»

Он пришел домой и лег.

Он предался игре воображения.

Таких женщин убивают.

Париж! Париж! Он воображал страшную сцену. То, чего не было. Драму. Конец драмы. Развязку событий,— обязательный на его взгляд результат Катиной красоты.

Убийство.

Она мечется по комнате. Падают стулья. С диким сверканием распахивается зеркальный шкаф. А тот, кто преследует ее,— он сам, старик, чей рассудок мутится от страсти,— стреляет в зеркало навылет. Шесть выстрелов. Осколки. Тишина. Он стоит посредине комнаты с ладонью на лбу. Розовые обои. Верчение пыли в солнечном столбе. И входят соседи. Видят старика в сединах. Благороднолобый, лучащийся, похожий на Тургенева старик.

Какой век? Какие годы? Где это? Не все ли равно! Любовь и смерть. Вечные законы пола.

Открывается шкаф. Вываливается боком и потом стукается головой о паркет тело.

— Пустите меня! — кричит старик и бросается к телу. Он воет, испускает мычание, глубокое «до» неутоленной страсти. Он кладет голову между раскинувшихся грудей девушки. Он поднимает глаза на обступивших его и говорит:

— Как чисто у нее здесь и прохладно в этот жаркий день.

Он поздним вечером говорит с ней по телефону.

— Катя,— говорит он,— я люблю вас. Смешно? Вы слушаете меня? Я спрашиваю: любовь старика — это смешит вас? Я не прошу о многом. Если вы — буря, то я мечтаю лишь о капле... Очень трудно говорить образно по телефону. Вы слушаете? Каждый день вы проводите с Цвиболом. Вечером сверкают звезды. Вы сидите с Цвиболом под звездами. Да, да, я видел. Любовь, звезды... я понимаю. Знает ли Цвибол прекрасные имена звезд? Вега, Бетельгейзе, Арктур, Антарес, Альдебаран. Что вас смешит? Альдебаран, да? Я уже месяц целый мечтаю о том, чтобы пойти с вами в кинематограф. Но погода не благоприятствует мне. В летний вечер вы предпочитаете звезды. Что? Но ведь погода может испортиться. Техника еще не умеет управлять погодой. Отдайте Цвиболу синеву, реку, звезды, а мне оставьте дождь. Хорошо? Катя, я говорю по автомату. Меня торопят. Стучат в стекло, грязно кривляются. Итак, вот о чем прошу я вас... Вы слушаете? Если завтра погода испортится, пойдет дождь — согласны ли вы пойти со мной в кинематограф? Если звезд не будет?

— Хорошо. Если звезд не будет.

Утро было чистое, безоблачное.

Богемский стоял в проезде, где работали три машины «буффало». На одной ездил Цвибол в синей почерневшей майке.

— Жарко! — крикнул Богемский.

— Жарко! — ответил Цвибол.

Он, не выпуская руля, голым плечом стирал пот с виска. Было очень жарко. Вообще был ад. Жар свежей смолы, блеск медных частей, крик радио.

На панели стояли зеваки.

— Жарко! — еще раз крикнул Богемский.

— Жарко,— еще раз ответил Цвибол.

В перерыве Цвибол подошел к Богемскому покурить.

— Что вчера вечером делали? — спросил Богемский.

— Гулял.

— С Катей?

— Да.

— Где?

— Везде.

— Хороший вечер был?

— Да.

— Звезды?

— Да.

— А сегодня?

— Тоже гулять будем.

Вмешивается радио.

Радио. Обильные дожди прошли в Центральной черноземной области.

Богемский. Слышите?

Цвибол. Хорошо, что обильные.

Радио. Метеорологические данные дают основание ожидать выпадения осадков в Московской области в ближайшие дни.

Богемский. Слышите?

Цвибол. Хорошо, что в ближайшие.

Пауза.

Богемский. Может быть, и сегодня даже дождь выпадет.

Цвибол. Пожалуй, выпадет.

Богемский. И звезд не будет.

Цвибол. И вы в кино пойдете с Катей.

Богемский. И вы согласны уступить мне вечер в обществе девушки, которую вы любите, ради того чтобы пошел дождь?

Цвибол. Да.

Пауза.

Богемский. Дождь, который нужен республике и не нужен вашей любви.

Цвибол. Да. Дождь, который нужен республике.

Богемский. Браво! Дайте вашу руку. Я теперь начинаю понимать, что такое классовый подход к действительности.

И действительно, появилась туча.

Сперва появился ее лоб. Широкий лоб.

Это была лобастая туча. Она карабкалась, откуда-то снизу. Это был увалень, смотревший исподлобья. Он выпростал огромные лапы, вытянул одну из них над Александровским вокзалом, помедлил: потом, поднявшись над городом до половины, повернулся спиной, оглянулся через плечо и стал валиться на спину.

Ливень продолжался два часа.

Затем был неудачный проблеск.

Затем — умеренный дождь.

Наступил вечер.

Звезд не было.

Дождь то появлялся, то исчезал.

Богемский купил два билета на предпоследний сеанс и стал ждать Катю у памятника Гоголя, как было условлено.

Она не пришла. Он ждал час и еще четверть часа. И потом еще четверть. Блестели лужи. Пахло овощами. В раскрытом окне играли на гитаре. Вспыхивали зарницы.

Он пришел в переулок, подошел к заветному дому. Здесь живет Катя. Он толкнул калитку подошвой. Он прошел по двору, оставляя в грязи следы, глубокие, как калоши. Обойдя флигель, он увидел темное окно. Нет дома.

Он вышел в переулок и стал ходить взад и вперед. Он остановился и стоял, закутавшись в пелерину, черный и пирамидальный, освещенный окнами,— как в иллюстрации.

Они появились из-за угла. Катя и Цвибол. Они шли обнявшись, как два гренадера.

Он вырос перед ними. Они разъединились.

— Вы обманули меня, Катя,— сказал Богемский.

— Нет,— ответила Катя.

— Дождь,— сказал Богемский.

— Дождь,— согласились они.

— Звезд не было,— сказал он.

— Звезды были.

— Неправда. Ни одной звезды.

— Мы видели звезды.

— Какие?

— Все.

— Арктур,— сказал Цвибол.

— Бетельгейзе,— сказала Катя.

— Антарес,— сказал Цвибол.

— Альдебаран,— сказала Катя и засмеялась.

— Мало того,— сказал Цвибол,— мы видели звезды южного неба. Это вам не Альдебаран. Мы видели Южный Крест...

— И Магеллановы облака,— поддержала Катя.

— Несмотря на дождь,— сказал Цвибол.

— Я понимаю,— промычал Богемский.

— Мы были в планетарии,— сказал Цвибол.

— Техника,— вздохнула Катя.

— Шел дождь, нужный республике,— сказал Цвибол.

— И нам,— окончила Катя.

— И сверкали звезды, нужные нам,— сказал Цвибол.

— И республике,— сказала Катя.

1931

КОЕ-ЧТО ИЗ СЕКРЕТНЫХ ЗАПИСЕЙ ПОПУТЧИКА ЗАНДА

Как страстно я мечтал о силе

Я очень часто смотрю на себя в зеркало. Работая, я каждую минуту вскакиваю и подбегаю к зеркалу. Я вперяюсь в зеркало и смотрю на себя. Что я хочу увидеть в зеркале? Привычка какая-то, неизвестно как выработавшаяся. Что же... Не утешаться ли мне тем, что у всех писателей были свои странные привычки, проявлявшиеся в часы творчества: гнилые яблоки Шиллера или что-то в этом роде, холодные ножные ванны у кого-то из великих. Вот и утешаюсь: у Шиллера яблоки, у попутчика Занда — зеркало. Противно.

Есть мужчины, у которых никогда не появляется соображение посмотреть на себя в зеркало. Они находят его внезапно. А я стараюсь заглянуть даже в зеркальный шкаф, который грузят на платформу. Поднимаюсь на носки, заглядываю,— это зеркало улетает,— стремительно возносится дом, фонарь,— я успеваю поймать свое улетающее в синеву лицо.

Нет более чистых зеркал, чем те, которые выносит на улицу мебельщик.

Когда думаешь о том, что ты писатель и живешь в эпоху, когда восходит новый класс, и когда начинаешь проверять себя, осматриваться, взвешивать то, что сделал,— становится ясным, что твоя деятельность, которая в иные минуты кажется тебе такой значительной, на самом деле чрезвычайно ничтожна в сравнении с тем, как величественно все то, что образует историю этих лет и дней.

В окне книжного магазина выставлена некая гравюра. Она приводит меня в трепет.

Она изображает давку.

Это давка у дверей театра.

Воздетые руки, перекошенные шляпы, мальчики, бегущие по первому плану. А над толпой...

А над толпой возвышается человек в кружевах — худой, захлестнутый плащом некто, и толпа тянется к нему со всех сторон. Где-то мелькают кучера с бичами, фонари, запятки. Знаете ли вы, что это такое?

Это восходящий класс приветствует своего поэта.

Это Шиллер. Народ приветствует его после первого представления «Коварства и любви». Мать высоко подняла дитя и показывает ему поэта. Слава. Он написал «Коварство и любовь». Он создал мещанскую драму. Он поэт восходящего класса...

Ведь я тоже писатель...

Как же я могу не мечтать о своем «Коварстве и любви» — о новой драме, которая потрясла бы пролетариат так же, как некогда драма Шиллера потрясла бюргеров? Как же я могу не мечтать о силе? Страстно, до воя, до слез не жаждать силы, которая должна быть в писателе, когда восходит новый класс?

Бенвенуто Челлини пишет:

«Хоть и движимый благородной завистью, желая создать еще какое-нибудь произведение, которое настигло бы и еще превзошло произведения искусника Луканьоло, я все же отнюдь не отстранился от своего прекрасного ювелирного искусства; таким образом, и то и другое приносило мне большую пользу и еще большую честь; и в том и в другом я постоянно делал вещи, не похожие на чужие. Жил в это время в Риме некий искуснейший перуджинец по имени Лаутицио, который работал в одном только художестве и в нем был единственным на свете. Дело в том, что в Риме у каждого кардинала имеется печать, на которой выбит его титул; печати эти делаются величиной с руку ребенка лет двенадцати, и, как я сказал выше, на ней вырезается титул кардинала, с каковым соединяются всяческие фигуры; платят за такую печать хорошей работы по ста и по ста с лишним скудо. Также и к этому искуснику я питал благородную зависть, хотя это искусство весьма обособленно от прочих искусств, которые связаны с золотых дел мастерством, потому что этот Лаутицио, занимаясь этим искусством печати, ничего другого делать не умел. Я принялся изучать и это искусство, хотя и находил его чрезвычайно трудным; никогда не уставая от труда, который оно мне задавало, я беспрерывно старался преуспевать и учиться. Еще был в Риме другой превосходнейший искусник, каковой был миланец и звался мессер Карадоссо, этот человек выделывал исключительно чеканные медальки из пластин и многое другое: он сделал несколько «паче», исполненных полурельефом, и несколько Христов в пядень, сделанных из тончайших золотых пластин, так хорошо исполненных, что я считал его величайшим мастером, которого я когда-либо в этом роде видел, и ему я завидовал больше, чем кому-либо другому».

Так пишет Бенвенуто Челлини («Жизнь Бенвенуто Челлини», «Академия», 1931, стр. 114—115, выделено мной).

Был такой американец по имени Джек Лондон, который был бродяга, и плавал на шхунах, и охотился, и часто выдерживал бои с многими, нападавшими на него; и так как он бродяжничал в поисках заработка, и имея целью увидеть как можно больше разных людей, то ему пришлось жить на тропических островах, где бывали с ним разные приключения. Этот Джек Лондон писал рассказы, каковых никто не хотел печатать, и потом стали печатать, и он стал писать все больше и больше, в каковых рассказах описывал все то, что видел и придумывал, и потому что он сам был смелый и много пережил опасностей и унижений, из которых всегда выходил победителем, то другие люди, прочитавшие то, что он писал, сами хотели быть смелыми и деятельными. Он написал большое множество превосходнейших рассказов и романов, так хорошо исполненных, что я считаю его величайшим мастером, которого я когда-либо в этом роде видел; и я к нему питаю благородную зависть.

Тем более что я живу в стране, где люди приходят на дикие места, чтобы строить на них новые города и электрические станции, и проводить железные дороги, и поворачивать реки, и эти люди пока-

зывают удивительнейшую смелость и деятельность, как тогда происходило подобное в Америке; от такого соображения моя зависть усиливается еще более, потому что я мог бы писать такие же превосходные вещи, если даже сама жизнь, создавая такие обстоятельства, способствует мне в этом.

Был еще такой мастер Бальзак, он писал целый день и целую ночь и когда писал, то раздирал на груди сорочку, и выл, и писал до тех пор, пока не валился без сил. Каковой Бальзак был подобен мяснику и был жирный, потный, грязный и имел бычью шею. О нем известно, что он сказал, что если был Наполеон, достигший величайшей славы в государственных и военных делах, то он, Бальзак, будет Наполеоном в литературе; он разделил Париж на круги, в каковых кругах помещались люди, занимающиеся разными делами: ювелиры, ростовщики, банкиры, парикмахеры, генералы, лавочники, священники, продажные женщины, артисты, искатели приключений, художники; он их скрестил между собою, потому что все они составляли одно буржуазное общество и имели одну цель — приобрести как можно больше денег, и написал о них огромное количество романов, создав человеческую комедию. Сказанный Бальзак так хорошо изобразил их всех, что по его произведениям можно представить себе полную картину этой жизни, как будто он был волшебник, видящий, как живут все, кто его окружает, чего кто хочет и о чем думает. Этому Бальзаку я тоже завидую.

Был также такой Пушкин, который писал эпические поэмы и шуточные стихи и послания, и был поэт трагический, и, кроме того, писал повести, и критические статьи, и песни, и был редактор. Ему можно завидовать более, чем кому-либо другому, потому что он, тогда ему было 24 года, написал трагедию «Борис Годунов». Он был картежник и веселый человек, и в такой молодости, как двадцать четыре года, создал произведение — сказанную трагедию,— которая достигает такого совершенства, которого ни до него, ни после него не бывало. Этому человеку, искуснейшему во всех видах поэзии, принадлежит изречение, что нужно быть в просвещении с веком наравне. Каковое изречение он на себе доказал, потому что когда он умер молодым, то после него осталась библиотека в пять тысяч книг, где каждая книга была им прочтена с превеликой внимательностью, ибо на каждой странице этих пяти тысяч книг имелись пометки, сделанные его рукой. Это тем удивительнее потому, что он мог прожить, как все аристократы, каковым он был, веселясь, играя в карты и прожигая жизнь.

Был еще писатель, граф, по имени Лев Толстой. Этот человек был так велик и такое сознавал в себе превосходство, что не мог мириться с тем, что в мире и в жизни могут существовать какие-нибудь другие великие люди или идеи, с которыми он не мог бы померяться силами и не победить их. Он выбрал себе самых могущественных противников, и только тех, перед которыми все человечество простиралось ниц: Наполеона, Смерть, Христианство, Искусство и самое Жизнь, потому что написал «Крейцерову сонату», где призывал людей к отказу от размножения, то есть от самой жизни. Этот человек в семьдесят пять

лет научился ездить на велосипеде. Ему завидовать нельзя, потому что он был, как бывают явления природы — звезды или водопады,— и нельзя стремиться стать водопадом, или звездой, или радугой, или способностью магнитной стрелки всегда лететь на север.

Я всем завидую и признаюсь в этом, потому что считаю, что скромных художников не бывает. И если они кажутся скромными, то притворяются и лгут, и как бы своей зависти ни скрывали за стиснутыми зубами — все равно прорывается ее шипение. Каковое убеждение чрезвычайно твердо во мне — и никак не угнетает меня, а, наоборот, направляет мою мысль на спокойное рассуждение о том, что зависть и честолюбие суть силы, способствующие творчеству, и стыдиться их нечего, и что это не черные тени, остающиеся за дверью, а полнокровные могучие сестры, садящиеся вместе с гением за стол.

И тем более теперь, когда совершаются такие великие дела, когда все вокруг носит знак огромности и, например, слово «гигант» стало повседневным,— то тем более теперь, если я художник, то ничего нет в том дурного, что я хочу равняться на художников-гигантов, потому что стоящая передо мной задача изобразить рождение нового человечества — есть задача гигантская.

Я видел сильного человека. Он вышел в сад. Болтались отстегнутые помочи. Он был толстенький. Он оглядывался на болтающиеся помочи и подхватывал их, потом, забыв, выпускал снова. На нем была хорошая сорочка в синюю прозрачную полоску. Он экипировался, когда ездил весной на конгресс в Дрезден (Колотилов, химик).

Я наблюдал с террасы. Зачем он в сад вышел, неодетый? Что у него за дело в саду? Он не допил кофе. Вот толстенький! Чудачок,— он чудачок! Оказывается, у него никакого дела в саду нет. Он просто резвится. Вдруг побежал вприпрыжку, остановился, ковыряет ножкой в гравии.

Куст вздрогнул. Птица. Он слушает. Полез руками в куст. Нету птицы. Вот черт возьми! Смотрит. Болтаются синие помочи. Вольготно спадают штанины. Опять вздрогнул куст. Он присел. Может, ящерица? Толстенький. Нету ящерицы. Помочи стелются по земле. Они шелестнули. Он испугался. Оглянулся. Вскочил. Думал: ящерица! Интересно: птицы, ящерицы! Пошел — лицом на террасу. Меня не видит. Беспорядочное лицо, рыжие усы, веснушки. Тут и лысина и тут же волосатость. Хорошая сорочка. Застегнута на запонку, но воротничка нет. Хорошая золотая запонка. Животик, пухлые руки, рыжие. Вдруг — наконец-то! — нашел! нашел! — не птица, нет,— не ящерица,— другое,— но тоже интересное! не ящерица, но вроде,— нагнулся,— смотрите: какая прелесть! Гусеница!

Он оторвал лист и превратил его в лопатку. Гусеница ползет по земле. Он принял ее на лопатку и поднял. И побежал.

Стол накрыт белоснежной скатертью, солнечный мост соединяет стол с окном, блестит кофейник и круглые перильца подстаканников.

Он кладет лист на скатерть.

Одна сторона листа мохнатая, другая — гладкая, лаковая. И на зеленом лаке лежит желто-красная, жирная, пальцеобразная гусеница.

Она огромного веса и цепкости. Колотилов тычет ей пальцем в бок. Потом поддевает ее на спичку и кричит:

— Лапки! Ой, лапки! Смотрите: какие лапки! Будем наблюдать! Будем наблюдать! Давайте наблюдать!

Сильного хватает на все. Сила в любви к жизни.

Колотилов — мировой ученый. Вот он в саду нашел гусеницу, никак не относящуюся к его науке. И гусенице он отдал всю силу своего великолепного внимания. И показал мне такие высоты восхищения, каких достигают только дети, впервые попавшие в цирк.

Колотилов любит жизнь.

Я считаю, например, что главное в жизни — искусство. Оно обнимает мою жизнь, как небо. А Колотилов утверждает, что жизнь огромна и что искусство есть только часть жизни. Так же, как и его наука.

Я ночевал у него,— и стояла в доме нестрашная тишина, опирающаяся на будильник, который слышал все, и не спал, и держал за раздутыми щеками струю звука, как мальчик держит готовую брызнуть воду. Нестрашная тишина спокойного сна, когда человек спит всю ночь в позе, в которой заснул,— тишина, опирающаяся на широкое трехстворчатое окно, где подоконник чист и ничем не завален и где видны фонари и мир техники в дали на железной дороге — мир, не угасающий всю ночь.

Потом всходило солнце, пели птицы и становились с разлету на подоконник обеими лапками сразу, как будто их кто-то ставил.

Трещала вода, вылитая из шланга.

Я выглянул — это автомобиль принимал ванну. И я пошел по дому и увидел Колотилова в стеклянной комнате.

Я остановился на пороге. Здесь была домашняя его лаборатория.

В эту минуту я понял все. Эта задранная к солнцу голова с розовеющей рыжей облезлостью, этот один прищуренный, как у стрелка, глаз, а другой широко раскрытый и впускающий в себя луч солнца,— этот луч солнца, проходящий через стеклянную трубку, прежде чем попасть в глаз наблюдателя,— эта стеклянная трубка, которую держит наблюдатель между собой и солнцем, между рекордным аппаратом внимания — глазом ученого — и солнцем, которое есть сама жизнь,— это нечто розовое в трубке — еще не газ и уже не жидкость,— все это вместе сложилось в моем сознании в сверкающий вывод:

— Силен тот, чье внимание устремлено в мир внешний.

Для него, для исследователя, для химика — этот внешний мир: стеклянная трубка с реактивом, опыт, материя. А для меня, для писателя — этот внешний мир: эпос.

Да, да — эпос!

Изображать события, характеры, страсти,— быть вовне.

Страсти?

Как же я могу изображать чужую страсть, не привив себе бактерию такой же страсти?

Если я хочу изобразить алчность или другое,— или резвость, или сострадание,— я ведь должен расшевелить в себе, вытянуть, выпря-

мить росток этой страсти. Росток, если она во мне уже не цветет! И, шевеля его, я приведу в движение все дурное — все сплетения души. И, значит, вновь — возврат внимания в себя, в мир внутренний. Так вот в чем дело! Сама профессия моя — профессия писателя — такова, что внимание не может принадлежать только внешнему миру.

— Колотилов, сделайте меня кем-нибудь при себе! Я не хочу быть писателем! Я буду перемывать трубки! Потом будем искать в саду гусениц, пить кофе, крепко спать! Быть человеком искусства, художником — большое несчастье. Ни успех, ни деньги, ни так называемое удовлетворение не искупают вечного беспокойства, оторванности от обыкновенных радостей жизни, от садов, и гусениц, и птиц, и купающихся автомобилей — не искупают ужаса той постоянной устремленности в себя, которая в конце концов приводит к мысли о смерти и страху смерти и желанию поскорей избавиться от этого страха,— то есть к пуле в лоб. (Кстати, и Джек Лондон — см. выше — тоже, говорят, покончил с собою.)

— Вы боитесь смерти? — спрашивает Колотилов.— Чудак. Ведь смерть есть тоже часть жизни. Ведь умирает-то живой?

Мама подарила мне галстук. Пошла в комиссионный магазин. Долго выбирала. Чудесный галстук.

Мы с мамой вертимся перед зеркалом. Мама помогает мне завязывать галстук.

— Ах, мама,— говорю я,— смотри — я похож на тебя. Попутчик Занд похож на свою маму, Екатерину Николаевну Занд, жену музыканта.

Зеркало! Зеркало!

Разве может быть сильным человек, похожий на маму?

Блестит рояль.

Мама садится к роялю и играет Шопена.

Это какое-то возражение на мою жалобу.

— Никогда не смотреть в зеркало! Никогда! Уйти от жалкой инфантильной привычки присматриваться к себе! Это свойство слабых. Ребенок в ванне рассматривает свои ручки, ножки, тельце...

Все, говорящее о слабости, я хочу вычеркнуть из своего сознания. Я хочу совершенно перестроиться. И торжественно клянусь тебе, что перестроюсь.

Она предлагает мне изнеженность Шопена.

Что это, вальс? Или плющ? Или плащ?

Она слагает мне его портрет.

Этот лоб просит ладони. И какая-то ладонь уже приближается к нему. И в последний миг он откидывается в страхе. Кто это тянется к нему? Он хочет увидеть эту приближающуюся к нему невидимую ладонь, и потому его глаза чуть подняты и скошены. Это простуды, компрессы,— это «опять кашель», это «нельзя выходить в сырую погоду». Он раздражался на портных, и писал письма своему другу, и друга, польского инсургента — человека, носившего римское имя Тит,— осыпал нежными обращениями, как будто сам был девушка и писал к девушке. Это не была нежность мужчин, целующихся при

неожиданной встрече,— он был недоразвит и уязвим, и нежность его слов исходила из инфантильной любви к себе и страха за себя.

— Я хочу быть дураком, мама,— говорю я.— Какое счастье, какая большая жизненная удача — быть дураком! Иди сюда, мама. Смотри: галстук. Это хорошо: прекрасный галстук, и он очень хорошо завязан. И хорошо отпустить бачки... вот здесь, небольшие бархатистые бачки, и быть смуглым. И быть высоким с развернутыми плечами. И совершить какую-нибудь среднюю подлость: подделать доверенность. И никаких не иметь кругозоров.

О Базилевиче. Базилевич большевик, редактор. Ему сорок пять лет. Он человек заурядной наружности, носит пальто с барашковым воротником,— обыкновенное черное драповое пальто, теплый шарф, шапку-ушанку, галоши. У него имеется жена. Она добра, приветлива, ничем не замечательна.

Я пришел к нему вечером. Его не было. Он пришел позже, в девятом часу.

— Страшный мороз,— сказал он.

Войдя с мороза, человек казался огромным. Через секунду, как только закрылась дверь, он уже уменьшился до нормальных размеров.

— Безобразие,— сказала жена,— подумайте, он уходит утром и весь день без еды. Смотри, какой ты серый. Он ничего не ест целый день. Довольно. Я буду тебе давать утром бутерброды. Великолепно можешь брать с собой в бумажке два бутерброда. А что ты хочешь — чтобы катар желудка сделался?

Базилевич подходит к умывальнику мыть руки. Жена издали накидывает на плечо ему полотенце. Он моет руки и, помыв, в знак окончания встряхивает кистями над чашкой. И вытирает, не снимая полотенца с плеча. Вода громко льется из чашки в ведро. Он оборачивается: не забыл ли кран закрыть?

Пока он занят этим, я говорю ему о том, как трудно быть писателем. О высоких желаниях и мучительной растерянности. И, близоруко в поисках гвоздя водя по стене полотенцем, он говорит:

— Вы должны включиться в жизнь масс.

Казенная фраза. Конечно, это казенная фраза. Она во всех газетах, журналах.

Слиться с массой.

Но он, умный человек, человек, живущий обыкновенной жизнью, где его дела, редактирование, рукописи, корректуры, быт, и жена, которую он любит, и мороз, и галоши,— он произносит эту фразу с живой убежденностью, как и фразу о том, что сегодня страшный мороз.

Значит, если фраза казенная, это еще не значит, что она не есть выражение жизни.

Я восклицаю, что хочу написать новое «Коварство и любовь». Это громкая фраза. Но я произношу ее с живой убежденностью, и эта фраза есть часть моей жизни, где имеются все остальные области, составляющие мою жизнь. Значит, громкая фраза есть тоже выраже-

ние жизни. И эти две фразы встречаются. И жена, обыкновенная женщина, присутствует при встрече этих двух фраз и не выражает никакого особенного отношения к этому событию. Значит, мы говорим обыкновенные вещи.

Он не задумывается ни на секунду. Он мгновенно отвечает мне:

— Надо включиться в жизнь масс.

Он ищет гвоздь на стене и находит его. И в то же время, когда он убеждается, что произошла правильность: найден гвоздь,— он заменяет появившееся в мозгу удовлетворение происшедшей правильностью словесным обозначением другой правильности, не имеющей отношения к стене и гвоздю, но такой же простой и необходимой:

— Вам нужно слиться с массой!

1932

РАЗГОВОР В ПАРКЕ

Мы сидим на скамье в парке культуры и отдыха: профессор Колумбийского университета, переводчик и я.

Парк прозрачен. Деревянные части его окрашены в синее. Стоит высокая башня. Ее высота условна. Здесь высота сооружений делится на площадь огромной территории. Парк нежно реален. Некоторые детали его видишь сквозь ветви. Между собой и далекими купами Нескучного сада видишь двух летающих бабочек.

Профессор Колумбийского университета предполагает по возвращении в САСШ прочесть в Колумбийском университете ряд лекций о Советском Союзе. Его интересует все. В частности, он решил поговорить и с литератором. Мы беседуем о положении отдельной личности в социалистической системе. Профессор спрашивает, не теряет ли человек в социалистической системе своего «я».

Я сказал профессору, что социалистическая система как раз замечательна тем, что в ней впервые человек становится самим собой.

Реальный мир.

Что это значит? Пожалуйста. Я рассказал профессору об одной его соотечественнице. Как я видел сегодня утром путешествующую американку. Ее везли в автомобиле с вокзала. Это была старая женщина, в шляпе, похожей на каску. Я сказал, что на примере этой старухи, слегка поимпровизировав, можно доказать, что как раз в капиталистической системе человек теряет свое «я».

— Пожалуйста,— сказал профессор.

Читатель догадывается, как я стал строить свое доказательство. Эта старуха побывала во многих странах.

Она плыла по океану.

Под ней была глубина в десять тысяч метров. На дне лежали корабли XVII века. Она говорила: смотрите, летит рыба!

Она видела красоту мира.

Она сидела на палубе в соломенном кресле, поставив на колени башнями кверху бинокль. Когда проплывал остров, старуха смотрела

в бинокль. Она говорила свите: как красиво. Ей говорили: на этом острове живут карлики. Карлики? — спрашивала старуха. И оттого, что перед ней проплывал остров, на котором живут карлики, она чувствовала себя какой-то особенно хорошей.

Я видел ее у подъезда гостиницы. Я передал профессору эмоциональное впечатление от нее. Это — ущемительница молодости. Есть такие старухи. Вернее, были. У нас их нет. Потому что у нас не может быть такой вещи, как ожидание наследства. И эта ущемительница молодости получила награду молодых: красоту мира. Она никогда не мечтала. И она получила награду мечтателей: путешествие.

Так старуха начала терять свое «я». Она приобретала новые «я», чужие. Она думала, что она молодая. Она думала, что она мечтательница.

В одном месте ей сказали: здесь самый прозрачный воздух на земле, и она как герой, жизнь которого нужно продлить, дышала самым прозрачным воздухом на земле. Она думала, что она — герой, о котором заботится мир. В другом месте ей показали самую маленькую птицу в мире. И она, как дитя, вознаграждаемое за страшную обиду, трясла дерево, на котором прыгала самая маленькая птица в мире. Старуха думала, что она — дитя. В третьем месте ей сказали: здесь еще водятся слоны. И она ощутила в себе радость исследователя. Она думала, что она причастна к величию науки. И ни разу ей не пришло в голову, что она получила то, на что не имела никакого права. Наоборот. Она ни на секунду не сомневалась в том, что все это правильно. Таким образом, кроме всего, еще она думала, что она — справедливый судья.

Вот это и есть утрата «я».

Деньги. Богатство старухи. Деньги превратили старуху в ее собственную противоположность. В советском мире не существует между людьми денежной зависимости. Поэтому наш мир реален. И человеческое «я» впервые подвергается настоящей оценке. Впервые возникает вообще понятие о человеческом «я».

Профессор производил, между прочим, очень симпатичное впечатление. Он был молодой, с бледным лицом и черными блестящими усиками. Это был один из тех приятных людей, которые боятся обидеть собеседника и очень часто в разговоре прикасаются к вашей руке.

Мы поднялись и направились к береговой аллее. Открылся вид на реку. На широчайшую лестницу водной станции «Динамо». Ветер раздувал дугу разноцветных флагов.

Профессора интересуют статистические данные. Я сообщаю, что ежедневно парк посещают в среднем 100 000 человек. Здесь они проявляют свое «я».

Они гуляют, занимаются физкультурой, принимают душ, поют хором, танцуют, читают, катаются на лодках, учатся плавать, участвуют в митингах, слушают музыку, едят вафли, прыгают с парашютом, рассматривают экспонаты выставок, слушают доклады.

Как развлекались прежде? Народное гуляние. Я был тогда маль-

чиком. В центре гуляния стоял столб. По столбу лез солдат. Он лез за призом, который лежал на вершине. Столб был намазан салом. Солдат съезжал под улюлюканье толпы.

По реке летит моторная лодка. У нее вырастает крыло. Толстое водяное крыло.

Спорт!

Я видел, как это начиналось. Когда я был мальчиком, появились первые автомобили. Их делали похожими на экипажи. Когда теперь видишь автомобиль, то не думаешь о лошадях, а тогда тотчас же возникала мысль: экипаж без лошадей.

В такую машину садились с хохотом. Было время, когда человечество относилось чрезвычайно смешливо по адресу первых изобретений, связанных со скоростью и передвижением. Велосипедистов преследовали свистом.

Я вовсе не стар. И то, что содержание этих воспоминаний так старомодно, говорит только о том, как быстро в первое десятилетие века развивалась техника.

Например, наряду с мещанским автомобилем-каретой появились гоночные машины. Они уже отличались той вытянутостью, которая есть у теперешних машин.

Они скрывались на повороте, откинув кузов. На кустах повисали голубые усы дыма. Бурно зеленело лето. Это было начало спорта.

Я напишу повесть о том, как молодой человек любил девушку. И как девушка его не любила. Это будет повесть о реальной жизни. Вот не любила, и кончено. Была сама собой. Не любила. А молодой человек страдал? Страдал. И ничего не мог поделать. И жизнь была реальна, лето, башня, часы на башне, птицы ходили по орбите часов, разговоры о парашютах, парк культуры и отдыха. Москва, иные столицы, сооружения, стада на полях, мысли о войне.

— Ну да,— сказал профессор,— но ведь и у нас это может быть. В каждом уголке мира. Молодой человек. Девушка.

— У вас это иначе. Как будто бы и так, но иначе. Иное отношение в каждом из них к тому, что происходит с ними. Наш молодой человек, которого не любят, понимает, что только в нем — причина того, что его не любят. А у вас могут быть еще и иные причины. У вас могут быть старухи. Завещание старух. Ваши девушки теряют свое «я». Ваши молодые люди крадут чужие «я». Повесть будет с эпиграфом.— Я прочел профессору эпиграф: — «Если же ты любишь, не вызывая взаимности, то есть если твоя любовь как любовь не порождает ответной любви и ты путем своих жизненных проявлений как любящий человек не можешь стать любимым человеком, то твоя любовь бессильна и она — несчастие».

— Очень хорошо,— сказал профессор,— это откуда? Из Гамсуна?

— Нет, это из Маркса,— сказал я.

Музыкальный кружок разучивал марш из «Аиды». Тут профессор отыгрался.

— «Аида»? — спросил он.

Я сказал:

— «Аида».

Он напомнил мне, что «Аида» была написана в честь открытия Суэцкого канала. А где наши новые оперы? Например, в честь открытия Беломорско-Балтийского канала?

Тут профессор победил.

Музыканты не слышали нашего разговора. Как они были увлечены! Один из них был гол до пояса, в сверкающей тюбетейке. Мы увидели его в яростно согнутой позе. Он как бы ловил мандолину всем загорелым корпусом — розовый живот мандолины! Этот юноша только вчера узнал, что есть Суэцкий канал и опера «Аида». Он только начал узнавать. Он принадлежал, возможно, к столетней династии пастухов. И он был первый грамотный представитель этой династии. И сегодня в один из дней московского лета, которое хочется назвать летом парашютов, в музыкальном кружке парка культуры он впервые нашел свое «я».

Мы ушли из парка.

Крымский мост. Что может быть более захватывающего, чем ходьба по мосту? Мост висит, мы шагаем в воздухе. Под нами голубая улица реки. Тут думаешь: вода ведь белая! Голубой цвет есть только отражение неба. И жаль, что нельзя, зачерпнув из реки, принести домой стакан голубой воды.

1933

СТАДИОН В ОДЕССЕ

Дерибасовская теперь называется улицей Лассаля. Это улица лучших магазинов города. Она обсажена акациями. Одесситы много говорят об акации: «Вот подождите, расцветут акации...»

Сейчас акации цветут и пахнут. Это — прозрачное дерево с очень черным стволом. Цветок акации кажется сладким. Дети пробуют его есть.

С улицы Лассаля мы сворачиваем на превосходную Пушкинскую улицу.

Клинкер.

Часть Пушкинской улицы вымощена розоватыми, издающими звон плитками.

Тротуары заливают асфальтом. Кипящие котлы. Жар охватывает щеки.

Одесса была городом очень богатых людей. Эти богачи, видевшие мир, строили Одессу в духе городов Запада. Существует мнение, что Одесса похожа на Париж. Другие говорят, что на Вену. Третьи находят сходство с Марселем.

В Одессе есть длинная, в несколько километров, улица, идущая

вдоль моря. Она называлась Французским бульваром. По обеим сторонам ее стояли виллы банкиров. Ограды.

Движущаяся тень листвы на асфальте.

Львиные морды в коронах.

Буксовые изгороди.

Здесь жили хозяева города. Вилла Маврокордато. Вилла Рено. Вилла Ашкенази. Вилла Маразли. Все это были авантюристы, крупные шулера, торговцы живым товаром.

После революции город некоторое время оставался неподвижным. Его красота стала казаться мертвой. Но в последние годы внешний облик города начинает приобретать новизну, выходящую из советских рук.

В таком городе, как Одесса, каждая новая черта вызывает особое внимание. Каждую новую черту сравниваешь с уже существующим целым.

Еще недавно казалось, что Одесса лишена главной особенности городов Союза — картин строительства. Теперь они всюду открываются глазам. Особенно подверглись изменениям курортные местности.

Ланжерон — это часть одесского берега. Это была дикая, запущенная местность. Буржуа, заботившиеся о своем городе, учитывали только собственный вкус и потребности.

Теперь на вершине спуска к Ланжерону, в пустоте, в небе, видимая сквозь арку, стоит белая статуя девушки с мячом.

Это подступы к тому, чего в Одессе не было. Это новое. Вновь появившаяся черта, которая украсила то, что казалось уже достаточно красивым. За аркой открывается новый Ланжерон, благоустроенный, в живых красках цветников, киосков, скал и движущегося народа.

На улице, которая называлась Большой Арнаутской, стоит новое здание школы. Средняя школа № 100 имени Вегера. Этому зданию может позавидовать любая из столиц Союза. Оно построено на месте базара, на улице, которая была раньше улицей погромов.

Но мы идем по Пушкинской. Она отведена под платаны.

Платан.

Могучее дерево, гладкий зеленоватый ствол. Нагота сильных ветвей видна даже сквозь листву. Мощь и нагота. Это антилопа растительного мира.

Дом, где жил Пушкин.

Далее наш путь лежит по Греческой улице, где была булочная Мелиссарато и греческие кофейни, к Строгановскому мосту. С этого моста солдаты генерала Каульбарса расстреливали безработных, пришедших из Николаева в Одессу. Они шли из горящего порта. 1905 год. Этот мост увековечен в фильме «Броненосец Потемкин».

Пройдя мост, мы сворачиваем на улицу Лизогуба. В Одессе есть улица Лизогуба, улица Тибора Самуэли, улица Гирша Леккерта. Это тот самый повешенный юноша Лизогуб, которого вывел в рассказе Лев Толстой под именем Светлогуба. Странно думать, что Лев Толстой, которому было десять лет, когда умер Пушкин, писал о русских революционерах, о рабочих, о революции девятьсот пятого года.

И вот дорога на Ланжерон. Теперь она входит в состав территории еще только строящегося Парка культуры и отдыха имени Шевченко.

Здесь совсем особый свет воздуха. Море. Там — скоро море. От стакана воды, принесенного в комнату, становится прохладней и свежей. А это — столько воды, море.

Два матроса сидят на скамейке. Матросы всегда ходят по двое, как голуби. Подадимся вправо, вправо.

Колонна из черного базальта. Базальтовые ступени вделаны в холм. Трава и базальт.

На колонне барельеф Карла Маркса. Это колонна Интернационала.

Поднимемся по ступеням. Остановитесь. Повернитесь. Вот стадион...

Стадион над морем.

Его не было. Это новый стадион в Одессе. На фоне моря.

Нельзя представить себе более чудесного зрелища.

Сноровка к сравнениям оказывается бессильной. На что это похоже? Не знаю. Я этого никогда не видел. Это картина будущего.

Нет, это не так. Это именно грань, переход, реализованный момент перехода настоящего в будущее.

Зеленая площадка футбола. Мы смотрим издали, сверху. Какая чистота и сгущенность этого зеленого цвета. Хочется определить, от чего происходит оптический эффект. Откуда такая прозрачность и ясность? Никакой трубы нет у нас в руках, никаких стекол перед глазами.

Просто воздух, небо, море.

Он открывается внезапно — его овал, лестницы, каменные вазы на цоколях,— и первая мысль, которая появляется у вас после того, как вы восприняли это зрелище, это мысль о том, что мечты стали действительностью.

Этот стадион так похож на мечту — и вместе с тем так реален.

Тридцать пять тысяч мест. Его выстроили трудящиеся Одессы на том месте, где были ямы, поросшие бурьяном и куриной слепотой.

Этим видом можно любоваться часами. В сознании рождается чувство эпоса. Говоришь себе: это уже есть, существует, длится. Существует государство, страна социализма, наша родина, ее стиль, ее красота, ее повседневность, ее великолепные реальности.

1936

ПЕРВОЕ МАЯ

29 апреля 1936 года

Я стоял в Театральном переулке перед домом, в котором жил когда-то.

«Наш» балкон был на третьем этаже. Кажется, что и тогда перила были зеленые. С этого балкона, перегибаясь через перила, мы смотрели вниз, на балкон второго этажа, увитый зеленью. Там сидели дамы — итальянки; и я помню фамилию: Манцони.

Одесса — город балконов. Их украшают зеленью, цветами и полосатыми занавесками.

В Театральном переулке я жил мальчиком, в возрасте, когда уже умеют читать.

Я читал сказки Гауффа. С тех пор они не попадались мне. От них осталось неизгладимое впечатление. Это сказки о превращениях. «Карлик-Нос». Он съел какие-то запрещенные вишни, и у него вырос огромный нос. О халифе, который превратился в аиста. О молодом англичанине, оказавшемся обезьяной.

Колорит этих сказок — летний.

Лето, пестрота одежд. Действие происходит в Багдаде.

В одной из сказок песенка:

Маленький Мук,
Маленький Мук
Ходит по улице:
Туфлями — стук!

Сказок Перро я никогда не читал. Анатоль Франс в одной статье восторженно отзывается о них. Он приводит описание того, как на празднество собирались из разных стран короли. И некоторые — сказано в этом описании — прилетали на орлах.

Очень мало было авторов, писавших сказки! Поэты этого рода — действительно редкое и удивительное явление. Здесь не может быть подделки, здесь поэзия и выдумка — первоклассны, здесь индивидуальность автора — исключительна.

Только огромный поэт мог написать сказку о Гадком Утенке. Лев Толстой сказал об Андерсене, что, по его мнению, это был очень одинокий человек.

После сказок появились «Дон-Кихот», «Робинзон» и «Гулливер».

Много лет спустя они появились вторично, когда мы уже стали взрослыми. При этом втором появлении мы узнали, что в этих книгах есть особый смысл, о котором мы в детском возрасте не подозревали.

Только картинки остались те же. Тот же Гулливер, расставивший ноги в чулках и башмаках над армией лилипутов. Та же каменистость и сушь иллюстраций Доре к «Дон-Кихоту». Те же капитаны Робинзоны в треуголках и шарфах, стоящие под пальмами.

Пожалуй, первая встреча с этими образами была более впечатляющей!

Кто-то из великих писателей, говоря о Робинзоне, сказал, что всякий раз вздрагивает, когда доходит до того места, где Робинзон внезапно обнаруживает на песке след человеческой ступни.

В детстве мы не знали, что «Гулливер» — это сатира. Не знали мы также, что в «Робинзоне» Даниэль Дефо дает обобщенный образ смелости и предприимчивости колонизаторов.

Великие книги, отображающие философию целых эпох, детьми воспринимаются как книги о приключениях и чудесах. В этом поразительная, двойная жизнь этих книг.

В своих автобиографических заметках Маяковский говорит, что,

прочитав «Дон-Кихота», он стал деревянным мечом «разить окружающее».

Действительно, в «Дон-Кихоте» только нападения и драки.

Пьесы о Дон-Кихоте нет.

Есть опера и балет. Художественный театр предложил мне переделать «Дон-Кихота» для сцены. Я стал обдумывать и остановился перед затруднительным соображением: изображать на сцене пришлось бы только бои. Рассуждает Дон-Кихот только тогда, когда он лежит и лечится от ран.

30 апреля 1936 года

Каждое утро прохожу по Театральному переулку. Он расположен позади театра. Театр возвышается над ним. Эта часть переулка всегда в тени.

Из переулка поднимается чугунная лестница в сквер. Над лестницей стоит огромный платан.

Платаны расцветают очень поздно. Сейчас все деревья в листве, только платаны еще неподвижны. Но они и падают последними.

Опера.

Когда-то здесь пели знаменитые итальянцы. В столовой за чаем из уст мамы и знакомых то и дело раздавалось: Титто Руффо, Ансельми, Баттистини.

Особо значение театра в те времена. Театр был одной из форм роскоши. Золото и плюш. В театре сидели с коробками шоколадных конфет на коленях. Перламутровые с золотом бинокли. Веера.

В театр целился «Потемкин», когда стрелял по Одессе.

Было два выстрела. Я возвращался домой с вишнями, за которыми меня послали. Под грохотом первого выстрела я споткнулся и упал на ступеньках лестницы черного хода. Я помню желтый солнечный свет на широких досках ступенек и прыгающие со ступенек вишни.

Ночью горел порт.

На той же лестнице стоят в темноте люди и смотрят на окна, за которыми клубится и перекатывается разноцветными слоями пламя.

Никто не говорит ни слова, страшная тишина вокруг и страшная тишина этого пламени, хотя оно все в движении и превращениях.

Тогда же

В Одессе есть памятник Пушкину, улица Пушкина и дом, в котором жил Пушкин.

Действительно, это так: с первыми впечатлениями детства входит в наше сознание это слово — Пушкин!

Мы еще не умеем читать. В руках у нас оказывается книга. В ней очень много картинок. Они расположены по четыре на одной странице.

Взвивается над землей карлик с длинной бородой, и витязь висит в воздухе, уцепившись за эту бороду.

Что это?

Почему такой странный карлик?

Рассматривание картинок сопровождается в детстве удивительными переживаниями. Целое нам было неизвестно. Мы только видели отдельные сцены. Карлик летит в воздухе. Витязь его ловит.

Что это все значит?

Мы не знали, что до нашего появления на свет существовали поэты. Однако при рассматривании картинок у нас возникали первые догадки о том, что в мире есть искусство. Изображения, которые мы видели, пугали нас, удивляли и, главное, вызывали в нас желание понять — то есть чувство интереса. Что это? Что это происходит? Почему это так? Почему этот маленький человек сидит верхом на каменном льве? Мы ясно понимали, что изображено необычайное. Сидящий на каменном льве над бушующей водой находится в положении, которое для него страшно. И, видя это и понимая, мы впервые знакомились с чувством драмы. Оно было очень острым в те времена. Содержание драмы оставалось для нас неизвестным. Мы не знали ни причин, ни следствий — не знали логики всего события и не могли делать выводов. Поэтому от изображений исходила загадочность. И эта загадочность сообщала изображениям ни с чем не сравнимую силу.

Пушкин.

Его лицо.

Тогда оно казалось странным. С годами эту странность перестаешь видеть.

Может быть, впечатление странности рождалось по той причине, что при первом знакомстве с Пушкиным наше детское восприятие сталкивалось с такой непонятной и такой тревожной даже для взрослого воображения вещью, как посмертная маска.

Она была изображена в той же книге. Изображение это было непостижимо.

Маска Пушкина.

Нам известно было, что была дуэль и Пушкин умер, раненный на дуэли. Но что такое дуэль — этого тоже нельзя было постигнуть.

На картинке его держали с двух сторон люди в шубах — он, в позе шагнувшего, откидывался назад. Его как бы уговаривали, припав к нему с двух сторон,— как бы пугали его образом того, кто стоит перед ним. Те двое как бы испугались, а он, казалось, страдает оттого, что не может шагнуть. Он полон гнева против того, неподвижно стоящего на снегу, но что-то случилось такое, что ввергает всю первую группу в испуг и слабость, а тому, стоящему отдельно, придает ужасающий облик грозности и неуязвимости.

Действительно, эта фигура в шинели до пят и с птицей на голове казалась грозной и неуязвимой.

Дантес.

В далеком детстве уже охватывала нас обида за Пушкина. Теперь, когда мы думаем о дуэли Пушкина, мы всякий раз испытываем особое чувство — какое-то очень живое удовлетворение,— вспоминая, что все-таки он выстрелил. Смертельно раненный, он все-таки выстрелил и не промахнулся. Таково было первое знакомство с Пушки-

ным. Но еще раньше — на самом пороге мира — мы услышали: Пушкин. Еще не связывалось это слово с книгой. Его произносили на прогулках. Пушкин стоял в садах и в каменных нишах больших зданий — черный и блестящий, с железными баками, выпуклыми, как виноград.

1 Мая 1936 года

Вышел на балкон утром. Залитый солнцем бульвар. Море. Над пароходами разноцветные флажки.

В весне есть несколько дней когда только что расцветшие деревья и земля, покрытая травой, сообщают общему виду природы характер изделия. Даже облако кажется сделанным. Ничто не напоминает о том, что природа — это стихия. Наоборот, во всем как бы чувствуется артистизм. Если внезапно проходит дождь, то можно подумать, что это было рассчитано ради того, чтобы на мгновение все изделие показалось серебряным.

Сегодня Одесса празднует Первое мая.

С утра тишина.

Тишина, которая бывает перед парадом. Впечатление такое, что город пуст. Однако я знаю, что где-то стоят в неподвижности и напряжении огромные массы людей. Так тихо, что произнесенное слово или вдруг раздавшийся, оттого что лошадь кивнула головой, металлический звук сбруи летят через все пространства и могут быть услышаны на большом отдалении.

В городе появляется эхо.

Шествие продолжается четыре часа. С прошлого года первомайские демонстрации приобрели новизну: карнавальность. Очень много театральных костюмов, масок, париков, картонных носов, разноцветных перьев, лент. Сыплется конфетти, люди танцуют в шествии. В прямом движении шествия вертится круг танца. Молодые люди впервые оделись в маскарадные костюмы. Видно, что это им непривычно и очень смешит их самих. Им кажется, что можно усомниться в их серьезности. И, чтобы никто не подумал, что они утратили серьезность, одевшись в костюмы кардиналов и дам из Лопе де Вега, они показывают пренебрежение к этим костюмам, размахивая полами мантий и лихо заламывая шляпы.

Еще одна новизна этого года: шествие пронизано темой детства. Несут изображения детей. Просто детские головы. Смеющиеся, розовые, лоснящиеся лица.

Украшают шествие гимнасты. Замечательно сложенные, здоровые, сильные девушки и юноши. Плакат, который движется над ними, сообщает нам, что эти гимнасты, кроме того, занимаются наукой. Это студенты физического факультета.

Вечером — фейерверк.

Над тем же портом, над тем же городом, бульваром, над теми же красивыми зданиями, над той же Одессой, которая принадлежала авантюристам и продавцам живого товара, рассыпается фейерверк первомайского праздника рабочих, студентов, трудящихся.

1936

Старичок сел за стол, накрытый к завтраку. Стол был накрыт на одного. Стояли кофейник, молочник, стакан в подстаканнике с ослепительно горящей в солнечном луче ложечкой и блюдечко, на котором лежали два яйца.

Старичок, севши за стол, стал думать о том, о чем он думал всякий раз, когда садился утром за стол. Он думал о том, что его дочь Наташа плохо к нему относится. В чем это выражается? Хотя бы в том, что почему-то она считает необходимым, чтобы он завтракал один. Она, видите ли, его очень уважает, и поэтому ей кажется, что его жизнь должна быть обособленной.

— Ты известный профессор, и ты должен жить комфортабельно.

«Дура,— думает профессор,— какая она дура! Я должен завтракать один. И должен читать за завтраком газеты. Так ей взбрело в голову. Где она это видела? В кино? Вот дура».

Профессор взял яйцо, опустил его в серебряную рюмку и щелкнул ложечкой по матовой вершинке яйца. Его все раздражало. Конечно, он вспомнил о Колумбе, который что-то такое проделал с яйцом, и это его тоже разозлило.

— Наташа! — позвал он.

Наташи, разумеется, не было дома. Он решил поговорить с ней. «Я с ней поговорю». Он очень любил дочь. Что может быть лучше белого полотняного платья на девушке. Как блестят костяные пуговицы! Она вчера гладила платье. Выглаженное полотняное платье пахнет левкоем.

Позавтракав, старичок надел панаму, перебросил пальто через руку, взял трость и вышел из дому.

У крыльца его ждал автомобиль.

— Дмитрий Яковлевич... куда поедем? — спросил шофер.— Туда?

— Туда,— сказал профессор.

— Наталья Дмитриевна велела передать...

Шофер протянул профессору конвертик. Поехали. Профессор, подпрыгивая на подушках, читал письмо:

«Не сердись, не сердись, не сердись. Я побежала на свидание. Не сердись, слышишь? Штейн очень хороший парень. Он тебе понравится. Я его тебе покажу. Не сердишься? Нет? Ты завтракал? Целую. Вернусь вечером. Сегодня выходной, ты обедаешь у Шатуновских, так что я свободна».

— В чем дело, Коля? — спросил вдруг профессор шофера.

Тот оглянулся.

— Вы, кажется, смеетесь?

Ему показалось, что шофер смеется. Но лицо шофера было серьезно. Однако это не снимало подозрения, что шофер смеялся в душе. Профессор считал, что шофер в заговоре с Наташей. Франт. Носит какие-то удивительные — цвета осы — фуфайки. «Он называет меня «мой старик». Я знаю, что он сейчас думает: «Мой старик не в духе».

Автомобиль ехал по загородной дороге. Навстречу неслись цветущие деревья, изгороди, прохожие.

«Она мне покажет Штейна,— думал профессор.— Штейн хороший парень. Хорошо, посмотрим. Я ей сегодня скажу: «Покажи мне Штейна».

Затем старичок шел по колено в траве, размахивая тростью.

— Пальто? Где пальто? — вдруг спохватился он.— Где пальто? Ага... в машине забыл.

Он шел в гору, немного запыхался, снял панаму, вытер пот, посмотрел на мокрую ладонь, опять пошел, ударяя по траве тростью. Трава с блеском ложилась.

Уже появлялись в небе парашюты.

— В прошлый раз я здесь стоял? Здесь.

Он остановился и стал смотреть, как появляются в небе парашюты. Один, два, три, четыре... Ага... и там еще один, и еще... Что это? Раковина? Как они наполнены солнцем! Высоко. Но говорят, что страх высоты исчезает... А-а... вот он, вот!.. Полосатый! Смешно. Полосатый парашют.

Профессор оглянулся. Внизу стоял синий, маленький, длинный, похожий на капсюлю, автомобиль. Там цвели и колыхались деревья. Все было очень странно и похоже на сновидение: небо, весна, плавание парашютов. Старичок испытывал грусть и нежность и видел, как через трещинки в полях панамы к нему проникает солнце.

Так он простоял довольно долго. Когда он вернулся домой, Наташи не было. Он сел на кушетку в позе человека, который сейчас поднимется, и просидел так час. Потом встал, уронив пепельницу, и пошел к телефону. И действительно, в эту секунду телефон позвонил. Профессор в точности знал, что ему скажут, он только не знал, какой ему скажут адрес. Ему сказали адрес. Он ответил:

— Да я и не волнуюсь. Кто вам сказал, что я волнуюсь?

Через десять минут страшной гонки по улицам старичок надевал белый стучащий халат и шел по длинному паркетному полу.

Открыв стеклянную дверь, он увидел смеющееся лицо Наташи. На середине подушки. Потом он услышал, как сказали: «Ничего страшного». Это сказал стоявший у изголовья молодой человек. На нем был такой же халат.

— Неправильно приземлилась.

Она повредила ногу. Все было странно. Почему-то, вместо того чтобы говорить о несчастье, начали говорить о том, что профессор похож на Горького, только Горький высокого роста, а профессор маленького. Все трое и еще женщина в халате смеялись.

— Неужели ты знал? — спросила Наташа.

— Ну конечно, знал. Я каждый раз приезжал, стоял, как дурак, в траве и смотрел!

Тут только старичок заплакал. Заплакала и Наташа.

— Зачем ты меня волнуешь! — сказала она.— Мне нельзя волноваться!

И плакала все больше, положив руку отца под щеку.

— Я думала, что ты мне не позволишь прыгать.

— Эх ты,— сказал профессор,— обманывала меня. Говорила, что на свидание ходишь. Как это глупо. Я, как дурак, стоял в траве... Стою, жду... когда полосатый раскроется...

— Я не с полосатым прыгала! С полосатым Штейн прыгает!

— Штейн? — спросил старичок, опять рассердившись.— Какой Штейн?

— Это я Штейн,— сказал молодой человек.

1936

КОМСОРГ

В ночь на 2 июня в одесском порту на пароходе «Трансбалт» произошел пожар.

В трюмах огромного парохода горел привезенный из-за границы джут.

Команда парохода самоотверженно боролась с огнем, и в этой борьбе один из команды — комсорг Петр Рыкин — погиб.

На бульваре Фельдмана, в здании, которое прежде называлось дворцом главнокомандующего, помещается Черноморский дом моряка.

Это учреждение пользуется большой популярностью среди молодежи в Одессе. В нем устраиваются лекции, спектакли, сеансы кино, танцевальные вечера. Словом, это клуб. Но так как это клуб морской, то он связан с такими событиями, как уход парохода или возвращение его из далекого рейса. И поэтому этот клуб приобретает в глазах одесской молодежи, кроме культурного, еще и особое значение: он овеян поэзией прощаний, разлуки и встреч.

Утром 4 июня бульвар огласился звуками духового оркестра, игравшего траурный марш Шопена. Эти звуки неслись из раскрытых окон Дома моряка. Сперва я подумал, что там происходят занятия музыкального кружка, но, подойдя к зданию, я увидел большой лист картона, на котором было написано, что тело трагически погибшего комсорга парохода «Трансбалт» Петра Рыкина выставлено в парткабинете и что доступ к телу открыт.

Гроб со знаменами в головах стоял на возвышении посреди просторной комнаты. Со всех сторон его окружали венки с названиями пароходов и теплоходов на лентах: «Пестель», «Франц Меринг», «Ударник», «Плеханов», «Украина».

Четыре молодых человека — очевидно, моряки — стояли в почетном карауле.

Лицо мертвого было закрыто платком.

Вместе с другими я обошел гроб; и когда я выходил из комнаты, по лестнице поднималась группа людей, и в ней я успел разглядеть человека, в котором все тотчас же, как это всегда бывает на похоронах, узнали отца покойного.

Это был человек высокого роста, совсем не старый, без седины, в очках. Профессии его я не знаю, но у него было то твердое, худое,

играющее скулами и с короткими усами лицо, которое бывает у механиков.

Я вышел на бульвар.

В Одессе несколько дней стоит холодная, ветреная погода. Это отголосок недавно разразившегося на Черном море в районе Новороссийска сильного шторма.

Ветер рвет флаги, протянутые над бульваром для украшения Дома моряка. Это те самые морские сигнальные флаги, о которых мы привыкли думать, что они маленькие, потому что в большинстве мы видим их только издали, когда они представляются нам разноцветными пятнышками. Здесь они висят на уровне крыши. Когда порыв ветра прекращается, они повисают, и оказывается, что это полотнища величиной в окна.

На бульвар стекаются делегации из порта, с заводов, с кораблей. Водники. Грузчики. Последние стоят обособленно. Эти люди, влюбленные в порт, всегда проявляют высокомерие, когда попадают в город. Но, как все здоровяки, они отличаются добродушием и юмором, и поэтому легко обнаруживается, что это их высокомерие есть не что иное, как традиция, и носит напускной характер.

Стоит группа женщин, работающих в порту. Если говорить о типе одесской работницы, то женщина с Пересыпи и представляет собой этот тип.

Вот одна из них. На ней синяя, побелевшая от стирки кофта и на голове белый платок. Такова мода Пересыпи. Особая красота исходит от лица женщины. Ее создают не черты, а выражение. Может быть, оттого, что она худа и черна от солнца, это выражение кажется трагическим. Но это выражение вызова. Оно свойственно многодетным матерям. Сквозь заботу и опасения в нем читается сила и уверенность в себе.

Сегодня на краснознаменном теплоходе «Украина» тело Петра Рыкина будет отвезено в Севастополь.

С его лица сняли платок. Открылось лицо, молодое и серьезное. Огонь не обезобразил его, виден только блестящий розовый след ожога.

История нашей страны за последние годы — история небывалых успехов на хозяйственном и культурном фронте — есть не в малой степени выражение деятельности молодежи. Целый этап этой истории связан с именем молодого шахтера Алексея Стаханова.

Внимание, которое партия и правительство уделяют молодежи, вызывает бурный ответ.

Замечательно то, что соревнование в области физического труда пришлось по вкусу молодежи. Произошла неслыханная вещь: физического труда коснулись чувства и эмоции. Причем эти чувства и эмоции проявляются молодежью,— это значит, что тембр их особенно свеж.

Проявление человеческих качеств в физическом труде не ограничивается теперь только выносливостью, силой, четкостью,— кроме этих механических черт, проявляются черты личности, характера, те особые черты, которые составляют индивидуальность человека.

Мы теперь можем легко представить себе девушку, работающую в поле,— молодую колхозницу,— которая плачет от огорчения при неудаче. И наоборот, когда успех достигнут — она полна гордости.

Впервые появляется в отношении к физическому труду страстность.

Рабочим и работницам становятся знакомы такие переживания, как, например, ревнивое внимание к чужим успехам. Это переживание прежде появлялось только у художников, у людей, работающих в искусстве.

Вмешательство молодежи с ее свежестью в чувствах сказывается также и в том, что на трудовые достижения теперь смотрят как на нечто такое, что можно преподнести как сюрприз. Это приводит в цеха романтику.

И также впервые в форму трудовых рекордов может облекаться теперь и то свойственное юному существу желание показать себя, выделиться из среды остальных, которое связано с тайной жизнью сердца, с первой любовью и о котором в мировой литературе написано немало книг.

Одним из замечательнейших событий в истории нашей страны за последние годы и является это одухотворение физического труда.

В том, что это событие совершилось, большую роль сыграла молодежь — то ее поколение, которое можно назвать первым поколением советской эпохи.

Комсомолец Петр Рыкин принадлежал к этому поколению. Он погиб, спасая социалистическую собственность. Он проявил общую для молодежи страстность и преданность заветам родины. Он бросался в самые опасные места, ища очаг распространения огня, и увлекал за собой остальных. Несколько раз он терял сознание, но, придя в себя, опять наступал.

Ряд биографий, коротких и блестящих, как молнии, характеризует героизм поколения. Котельников, Усыскин, Берлин, Бабушкина.

К этому ряду присоединяется имя комсорга Рыкина.

Железный запаянный гроб устанавливают на грузовике. Шествие двигается. Впереди идут девушки с венками. Венки из бумажных цветов — розовые, зеленые, голубые.

К пристани, где стоит «Украина», шествие пройдет по Пушкинской улице и по Польскому спуску.

Сейчас они видят теплоход с бульвара. Когда корабль готов к отплытию, он кажется живым.

Трубы кажутся откинутыми, у корабля появляется осанка.

Три тысячи человек провожают гроб погибшего комсомольца.

Идут разнообразные люди — с разнообразными лицами, жестами, в разнообразной одежде. Но даже зрительно улавливаешь впечатление единства. Это идет молодой народ.

1936

ТРИ РАССКАЗА

1. ЭЖЕН ДАБИ

Ко мне обратились из Союза советских писателей с просьбой участвовать во встрече тела французского писателя Даби, которое должно было прибыть из Севастополя.

Писатель Даби сопровождал в числе других французских писателей Андрэ Жида в его поездке по СССР. Он заболел в Крыму скарлатиной, болел несколько дней и умер.

Я вышел на перрон Курского вокзала. Это было утром, в девятом часу. Никого из писателей я не увидел. Я пришел первым. Потом появилась группа французов. С ними была знакомая мне девушка. Я знал, что она инженер-химик, и меня удивило, почему она с писателями. Я подумал, что теперь она работает переводчицей, но потом увидел, что лицо и глаза у нее такие, как бывают после плача. Очевидно, смерть Даби была для нее смертью близкого человека.

Она представила меня французам.

Я услышал:

— Мазерель.

Передо мной стоял высокий человек приятного и свободного вида. В его фигуре было что-то общее с нашими художниками.

Оказалось, что он может говорить по-русски.

Я никогда не видел человека, который теперь был мертвым и лежал в гробу. Я не видел его ни живым, ни мертвым.

Поезд опоздал. Мы пошли в ресторан, там нас посадили за особый стол, и мы пили кофе. Наша группа привлекла общее внимание. Нас разглядывали.

Потом подошел поезд. Мы пошли к хвосту и ждали перед товарным вагоном, на дверях которого висела пломба. Мазерель стоял с «лейкой» в руках. Девушка плакала, ее обнимала дама из группы французов. Девушка плакала, не стесняясь, на нее смотрели.

Вагон открыли. В темноте вагона, на полу, стоял закрытый цинковый гроб. Передо мной был длинный цинковый гроб, который спускался из дверей вагона узким концом по направлению к ожидавшим его внизу людям.

Мы приняли гроб на плечи и понесли.

Мы несли гроб по перрону. Люди, останавливаясь группами, пропускали нас мимо себя. Мы пересекли рельсы и через особое помещение вынесли гроб на площадь, где стоял грузовик, обтянутый красными и черными полотнищами. Гроб был поставлен на грузовик. Два больших венка были подняты на грузовик и поставлены возле гроба.

Грузовик двинулся. Мы ехали в двух автомобилях сзади.

В одном из кабинетов Дома писателя гроб был установлен, и товарищи Ставский, Лахути, Аплетин и я стали в почетный караул. Потом нас сменили Мазерель и три француза. Я услышал, что принесли венок от французского посольства. Потом я ушел, и все это событие для меня окончилось.

Даби был одним из представителей той западной интеллигенции, которая становится на нашу сторону.

На ленте венка Даби был назван другом Советского Союза.

Некогда нас считали варварами и разрушителями культуры. Теперь мы привлекаем к себе наиболее умных и чутких людей Запада. Они поняли, что будущее мира строится у нас.

Я стоял в почетном карауле у гроба человека, который признал это великое значение моей родины. Сам человек этот уже не существовал. Я видел только цинковые грани гроба и силуэты листьев и цветов. Впереди я видел плачущее лицо девушки. Она видела то, чего я не видел. Она его помнила, и в памяти ее стоял живой человек. Она не могла бы показать его мне, мне невозможно было бы увидеть этого живого человека глазами ее памяти,— то, что она плакала, было для меня единственным изображением его жизни.

Я посмотрел на гроб и впервые подумал о его размерах. Друг девушки был рослый мужчина. Я представил его себе похожим на одного из тех испанцев, которые дерутся сейчас с фашистами,— широкоплечим человеком в берете и с ружьем в руках.

1936

2. ПОЛЕТ

Я приехал в аэропорт. Мне предстояло лететь из Одессы в Москву.

Я увидел поле, на котором стояло два самолета. Позади них было светлое пространство неба, они казались мне силуэтами, но я видел синий цвет крыльев. Самолеты стояли головами ко мне. Возле них суетились люди.

Я сидел в буфете на диване. Это было очень маленькое помещение со стойкой и несколькими столиками. За стойкой возвышалась гора арбузов зеленой кружевной окраски.

Я заказал себе стакан чаю.

Потом вошел и сел за столик человек в тужурке и фуражке — летчик. Он снял фуражку и положил ее на стол. Я подумал, что это летчик, который будет вести мой самолет. Я стал рассматривать его и следить за тем, что он делает. Ему подали два вареных яйца, хлеб и стакан чаю. Когда он заказывал хлеб, он сказал: «Дайте сто граммов».

Я вышел на крыльцо и смотрел некоторое время на самолеты. Спросили: «Кто на Москву?» Я пошел за дежурным по аэропорту. У него в руке был белый флажок. Со мной шел еще один пассажир — молодой человек в кепке и с портфелем. Он направлялся в Ростов. Со мной он должен был лететь до Днепропетровска. Я из города ехал с ним в автобусе; и тогда уже в его поведении было заметно желание показать, что он летит не в первый раз и что для него это дело привычное.

Когда мы подходили к самолетам, мотор одного из них уже работал. Быстро, но еще оставаясь видимым для глаза, вращался пропеллер. Вращение это создавало серый диск. Очертания пропеллера, подобно тени, то появлялись в этом диске, то исчезали.

Я прошел довольно далеко от места, где происходило это вращение, но оно отозвалось во всем моем теле. Почва тряслась под ногами. Я, сгибаясь, влез в маленькую, как бы вырезанную в декорации дверку.

Сел на заднее место.

В самолете было шесть мест, в этом я убедился позже. При отлете из Одессы внутренность кабины была заполнена почтой — мешками и тюками.

Молодой человек сел впереди меня. Но вдруг бортмеханик, чья спина виднелась впереди, в окне, оглянулся и сказал, что надо сесть сзади. Молодой человек запротестовал. Тогда бортмеханик сказал тоном приказания:

— Так надо.

Пассажир сел рядом со мной. Я понял, что сидеть на передних местах, очевидно, в каком-то отношении лучше.

— Они перегрузили почтой,— сказал мой спутник. Опять он показал свою опытность.

Кабина самолета приподнята. Я сидел в глубине, и почта возвышалась надо мной, и казалось, что она на меня наваливается. Еще выше над этой грудой была видна спина бортмеханика. Другой человек, сидевший рядом с бортмехаником,— пилот — был скрыт чем-то вроде занавески.

Вдруг дверь закрылась, и нас отрезало от мира. Все для меня сосредоточилось в круглом окне, в которое я смотрел. Человек с флажком стоял на серой земле. Потом он отбежал и, опять остановившись, взмахнул флажком. До этого я успел заметить, что выражение его лица несколько секунд было *осматривающее*.

Шум мотора усилился в неисчислимое количество раз. В нем появился звон.

В окне потемнело. Это было похоже на резкую перемену погоды. Мы сдвинулись с места. Это движение по земле — когда самолет не летит, а едет — продолжается более долго, чем предполагаешь. Момент отрыва неощутим. Я не почувствовал, а увидел, что мы уже летим. И сразу же мы оказались летящими над рекой.

Я переживал удовольствие, радость и торжество.

В окне я видел движение ландшафта, над которым мы летели. Движение кажется круговращательным. Какие-то начинающиеся и незавершающиеся повороты огромных пространств. Впечатление такое, что самолет висит в воздухе неподвижно. На желтой, ярко освещенной солнцем поверхности полей движется тень самолета.

Спутник мой заснул. Я один переживал полет. Прижимаясь к окну, я видел колесо самолета, и было странно видеть висящей в пространстве эту земную вещь.

Вдруг шум мотора прекратился. Вместо высокого напряженного звука послышались глухие ритмические удары: такх-тах-тах. Я ощутил тяжесть самолета и то, что он движется, и именно вперед.

Это была посадка.

Я ощущаю полет, направляющийся вниз, ощущаю, почти вижу, наклон самолета. Мне кажется, что в кабину залетают тени.

Земля приближается. Эволюции, которые самолет проделывал, прежде чем сесть, остались для меня непонятными и неуловленными, меня только поразило, что с выключенным мотором самолет летит так долго.

Затем в окне стремительно несется навстречу поле. Затем толчки, и с грохотом, подпрыгивая, мы едем по земле.

Выйдя из самолета, я спросил:

— Что это?

— Николаев,— ответили мне.

Передо мной было поле, ничем не отличавшееся от того поля, с которого мы улетели в Одессе. Оно было нагрето и пахло. Я пошел курить. Я чувствовал себя очень хорошо. Это было чувство деловитости, подъема. Приятно было со стороны смотреть на самолет, в котором ты только что летел. Хотелось как можно скорее продолжать полет.

И мы летели дальше.

Посадки производились в Кривом Роге, в Днепропетровске, в Харькове и в Орле.

В Харькове мы пересели в другой самолет, той же системы: «Сталь-3».

На последнем этапе, Орел — Москва, я заснул. Проснулся я, когда самолет летел над цветущим краем. Я видел каналы, железнодорожные пути, трубы заводов, здания, блестящие квадраты каких-то бассейнов. Это была Московская область.

Я никогда не забуду всего того, что составляло этот полет. Это все превосходные вещи — строгий, деловой, мужественный мир. Хочется опять вернуться в него. Человек, совершивший долгий полет, начинает уважать себя. Он переживает чувство победы. Вернувшись домой, я заснул и спал так крепко, как некогда в юности после экзамена или после футбольного матча.

Когда я летел, я думал о наших прославленных летчиках. Мое представление о таких людях, как Чкалов, Леваневский, Молоков, приобрело новые, живые оттенки. Если, пролетев по давно установленной, не грозящей никакими опасностями трассе,— причем я летел только лишь в качестве пассажира,— я все же приобщился к чувству победы, то какова же степень этого чувства у тех, кто открывает новые воздушные пути сквозь дикие пространства мира?

Я летел и предвкушал, как я буду рассказывать друзьям о своем полете. Два-три человека ждали моего возвращения. Какими же захватывающими чувствами переполнен летчик, который возвращается после исторического перелета и знает, что его ждет вся Москва?

Я ощутил, как полноценна жизнь этих героев. И, подумав о том, что тысячи молодых людей стремятся подражать их примеру,— а раз стремятся, то, значит, чувствуют уверенность в своих силах,— я с особенной явственностью понял, как полноценна вся жизнь нашей страны.

1936

3. ЛЕТОМ

С первого взгляда он мне не понравился. Он стоял на краю обрыва и смотрел через бинокль в небо. Мне показалось, что он принадлежит к тем людям, которые пользуются благами жизни с чересчур уж заметным увлечением. Я не любил таких людей.

Он смотрел на планету Юпитер.

Он был писатель, как и я. В эту минуту я подумал о себе с превосходством. Он меня раздражал, и я подумал,что ему не придет в голову, как пришло мне, сказать о Юпитере, что это — фонарь неба.

Нас познакомили. Он оказался чрезвычайно почтительным. Он сказал, что знает меня еще с тех пор, когда он был слесарем в железнодорожном депо.

— Я читал ваши фельетоны в «Гудке».

Передо мной стоял молодой рабочий, сделавшийся писателем. Затем я узнал, что он изучает звездное небо. Все изменилось. Я стал иначе относиться к раздражавшему меня биноклю. Оказалось, что это не причуда курортника, а нечто более серьезное.

Первое, что он мне показал,— была звезда Алтаир. Она находится в созвездии Орла. Это созвездие состоит из трех звезд. Они расположены одна над другой по прямой линии. Как будто кто-то прямо в вас целится из лука. Центральная звезда — Алтаир — кажется вершиной направленной в вас стрелы. Она горит очень ярко, синим, полным блеска цветом.

Затем молодой человек сказал:

— А вот Вега.

Он стоял, вытянув руку в высоту. Я поднял голову и увидел прямо над собой, в середине купола, великолепную голубую звезду.

Так это и есть Вега!

Сколько раз я думал о красоте этого слова. Я знал, что это название звезды. Но я не знал, какой. Я повторял: «Вега». И в этих звуках была странная протяжность.

Далекая, холодная звезда.

Как поэтически правильно то, что именно вид этой звезды отозвался в уме людей словом «Вега»!

— Она самая яркая в летнем небе,— сказал молодой человек.— Вега, Капелла, Арктур.

— Получается стих,— сказал я.

Он не понял. Лицо его выражало учтивейшее желание понять.

— Вега, Капелла, Арктур. Получается дактиль.

— Совершенно верно! — Он воскликнул это с необычайной радостью.— Совершенно верно! Я не заметил... Вега, Капелла, Арктур! — Потом мы смотрели на звезду Арктур. Она стояла низко над черными очертаниями деревьев. Это беспокойная, быстро мигающая звезда. И ночь в этом месте казалась особенно сгущенной.

— А Капелла? — спросил я.

Молодой человек оглянулся. Дерево в перспективе мешало ему. Он сделал движение вглядывающегося человека.

— Еще нет,— сказал он.— Рано!

Как правило, люди не слишком много интереса проявляют к звездному небу. Каждому известно, что звезды расположены в созвездиях, но различать в небе созвездия умеют далеко не многие. Даже в литературе редко встречаются звезды с их именами. Просто говорится: звезды — и только. Мало кто знает, что картина звездного неба изменяется с изменением времени года. И уж никому нет дела до того, что над странами, находящимися по ту сторону экватора, стоит совершенно неизвестное нам южное небо.

Когда в летний вечер смотришь на звезды, внимание не задерживается на том, чтобы уловить порядок в их расположении. Воспринимаешь эту россыпь как нечто беспорядочное. Как беспорядочен фейерверк. И легко представить себе, что каждый вечер небо выглядит иначе.

Но вот получено объяснение. Вы знаете — это Стрелец, это Кассиопея, это Дракон, это Персей, это Плеяды, это Андромеда. Небо перестало быть фейерверком. Оно как бы остановилось перед вами. Вы испытываете поразительное, ни с чем не сравнимое ощущение. С тех пор как вы выросли, впервые вы постигаете знание, столь же древнее и столь же естественное, как речь.

— А это... видите? Выше... Кольцо? Вот там! Это Северный Венец. И в нем — Гемма.

Надо было видеть, с каким упоением давал мне свои объяснения этот очаровательный молодой человек. Он водил меня с места на место. Он ставил меня то тут, то там. При этом он легко касался моих плеч. Он становился сзади меня и приподнимал мне голову.

Прежде чем показать мне то или иное светило, он сперва прицеливался сам. Я не знал, что он там такое выискивает в небе. Он молчал.

— Подождите,— говорит он. Как будто звезду можно было спугнуть. Это был настоящий энтузиаст.— Вега сегодня хороша! — восклицал он.— Ах, хороша!

Потом я ушел к себе. Он сказал, что позовет меня, когда *появится она*. И через час мы крались вдвоем вдоль кустов. Вдруг он остановился. Я почувствовал, что он ищет — не оглядываясь — моей руки. Я протянул ему руку, и он вывел меня вперед.

В тишине и свете, над уснувшим миром, висела звезда — зеленоватая, полная, свежая, почти влажная.

— Капелла? — тихо спросил я.

Он кивнул головой.

И после паузы шепотом, таинственно произнес:

— В созвездии Возничего.

Когда мы прощались, я его поблагодарил.

Я сказал:

— Спасибо за объяснения.

— Ну что вы! — сказал он.— Это вам спасибо!

— За что?

Я удивился.

— За то, что заинтересовались!

Это было самое удивительное и неожиданное в этом вечере. Человек благодарил меня за то, что я проявил интерес к звездному небу. Как будто это небо было его! Как будто он отвечал за все зрелище! Как будто он доволен, что небо не подвело!

Это был хозяин земли и неба.

Я подумал о том, сколько людей до меня интересовались небом. Астрономы, мореплаватели, открыватели земель и звезд.

«Спасибо, что заинтересовались!»

Он получил эти земли и звезды в наследство. Он получил в наследство знание.

1936

ЗРЕЛИЩА

Я подошел к башне. Собственно говоря, это была не башня. Труба. Немногим больше пароходной.

Наверху чернела дверь.

К двери вела деревянная лестница.

Все сооружение казалось чрезвычайно шатким.

Билеты выдавались через маленькое окошечко. Невидимая кассирша. Только одна рука, выбрасывающая на крохотный подоконник мелочь.

Я поднялся по лестнице и очутился внутри трубы. Я стоял на балконе и смотрел вниз. Внизу, освещенные дневным светом, шедшим в раскрытую дверь, стояли красные мотоциклы. Дверь имела вид светлого четырехугольника, как двери в склады или мастерские. Четырехугольник света падал на земляной пол. Вся картина носила очень летний характер. На пороге двери зеленела трава.

На балконе, кроме меня, стояло еще несколько десятков зрителей. Преимущественно мальчики. Они то и дело принимались хлопать, выражая нетерпение.

В дверь внизу вошли мужчина и женщина. Женщина была в брезентовых бриджах так называемого фисташкового цвета и в черных крагах. Эта одежда подчеркивала ее юность и худобу.

Они сели на мотоциклы и надели очки. Тут мне показалось, что вид этих мотоциклов не совсем обычен. Я бы сказал, что к ним было что-то прибавлено или что-то от них отнято — с таким расчетом, чтобы они производили устрашающее впечатление. Повторяю, что мне показалось. В дальнейшем я не проверил правильности моего восприятия, так как после окончания номера мне было не до того, чтобы рассматривать мотоциклы. Однако я не могу отделаться от впечатления, что эти машины отличались странной, я бы сказал, коварной выразительностью.

Первой выступила женщина. Она стала ездить по стене. Вообразите себе трек ни больше ни меньше как в 90°. То есть это была езда под прямым углом к вертикали.

Машина описывала круги. Иногда казалось, что вместе с седоком она вылетит за край! Усилий воли стоило не отшатнуться в эту се-

кунду. Я делал усилие и не отшатывался, понимая, что это маленькое мужество просто необходимо, чтобы совершенно не пасть в собственных глазах.

Производя вихрь, она проносилась мимо меня. Затем я видел сзади — быстро удаляющаяся фигурка с пригнувшимися плечами.

Так как всякий раз, когда она проносилась мимо, я испытывал испуг, то потом в стремительном улепетывании этой маленькой, щуплой фигурки, оседлавшей тяжелую машину, я усматривал какое-то лукавство. Я даже ожидал иногда, что фигурка на меня оглянется.

Труба, сколоченная из досок, сотрясалась. С ужасом я узнавал в ней просто бочку.

Ко всему, еще стрельба мотора. Великолепный, сухой, высокого тона звук.

Когда номер окончился, я был глухим. И в немой тишине я видел, как мотоцикл, скатившись со стены, остановился и женщина, продолжая сидеть в седле, подняла руку. Затем она сняла очки, и, вместо широкоглазой маски кузнечика, в воздухе, как в зеркале, появилось полное прелести человеческое лицо.

Когда я удалялся от башни, я увидел, что ее опоясывает надпись: «Мотогонки по стене».

Громадные печатные буквы. Башня весело белела в чистом воздухе Парка культуры и отдыха.

В свое время нечто подобное проделывали велосипедисты. Они ездили внутри гигантской корзины. Зрители видели их через прутья.

Конечно, это не было так эффектно, как номер с мотоциклами. Фигура велосипедиста настраивает на юмор. Тем не менее аттракцион был потрясающей новинкой.

В каком году состоялась его первая демонстрация?

В тысяча девятьсот десятом?

Цирк был еще старым. Происшедшие благодаря техническим открытиям видоизменения в жизни города еще не отразились в цирке.

И первым из мира техники проник на арену цирка велосипед.

До этого я помню демонстрацию каких-то электрических чудес. Аттракцион выдавался за научный опыт и носил серьезное название: «Токи Николая Тесла». Но это было фокусничество. Зритель должен был поверить, что перед ним человек, остающийся невредимым, несмотря на то что сквозь него пропускают токи необычайной силы.

Велосипед произвел огромное впечатление. Мне кажется, что именно езда по наклонному треку была первым видом цирковой работы с велосипедом, и только впоследствии циркачи стали работать на выложенном на арене полу из белых полированных досок. К этому времени номер велосипедистов превратился в комический. Так как велосипедный спорт получил широкое распространение, то, для того чтобы велосипед не потерял своего права удивлять, пришлось призвать ему на помощь клоунаду. Обыкновенного — из мира техники — велосипеда не стало. Он распался на свои два колеса. И этой возможностью завладели эксцентрики.

Мотоцикл грозен. С ним не поиграешь. Когда мы думаем о том, что скорость связана с опасностью, то не образ автомобиля возникает

в нашем сознании, а именно образ мотоцикла, стремительно перечеркивающего поле нашего зрения.

Младший брат меланхолического велосипеда кажется злым, нетерпеливым, не поддающимся приручению. Он трясется от злобы, фыркает. Если тот носился, как стрекоза, прозрачный и хрупкий, то этот летит, как ракета.

Я хочу ответить себе на вопрос, в чем секрет особого впечатления, которое производит на зрителя такой аттракцион, как мотогонки по стене... А производит он действительно ни с чем не сравнимое впечатление.

Секрет в том, что в зрелище человека, движущегося по вертикали, есть элемент самой сильной фантастики, какая доступна нашему сознанию. Это та фантастика, которая создается в тех случаях, когда перед нашим земным зрением происходит какое-либо событие, имеющее своей причиной неподчинение закону тяжести.

Такие события составляют предел фантастики. Они наиболее необычайны для нашего земного восприятия, потому что, когда они происходят, перед нами на секунду возникает картина какого-то несуществующего мира с физическими законами, противоположными нашим.

Аромат сказочности мы чувствуем, когда видим прыгуна, делающего сальто-мортале. Безусловно, прыгун самая фантастическая фигура цирка.

Цирк учел силу воздействия на человека всяких зрелищ, в которых нарушаются наши обычные представления об отношениях человека и пространства. Большинство цирковых номеров построено на игре с равновесием: канатоходцы, перш, жонглеры.

Что же получается?

Цирк волшебным языком говорит о науке! Углы падения, равные углам отражения, центры тяжести, точки приложения сил — мы все это узнаем в разноцветных движениях цирка.

Это очаровательно.

Мы видим смелого и сильного человека, который настолько уверен в себе, что решается на то, чтобы оспаривать границы, поставленные ему природой.

1937

МЫ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА

Мы, жители большого города, не слишком ценим одну удивительную возможность, которая предоставлена нам: в любой день каждый из нас может побывать в зоологическом саду.

Мы в центре города.

Десять минут езды на трамвае отделяют нас от фантастического мира. Причем этот мир, не имеющий ничего общего с городом, находится как раз там, где город проявляется в своих самых ярких формах.

Вот мы сходим с трамвая.

Высокие дома.

Скрещения трамвайных линий.

Здесь сильнее, чем где-либо, ощущаешь, что находишься именно в городе. Это одно из наиболее лязгающих мест Москвы.

Трудно допустить, что всего в нескольких шагах от стеклянной будки, где происходит распределение сигналов уличного движения, живут волшебные существа.

Мы входим в ворота.

Сквозь заросли светится пруд.

Пока ничего удивительного! Пока только лебеди! Они даже несколько разочаровывают. Обычно мы представляем себе изогнутые шеи. Лебединая шея! Она оказывается прямой и как бы мохнатой.

Правда, они скользят!

И это скольжение в тени наклонившихся над прудом ветвей создает впечатление тишины.

Нет, лебеди не разочаровывают. Мы оглядываемся на них, когда удаляемся от пруда. Прекрасная птица! Птица легенд, песен, метафор.

На горе стоит слон.

Люди облепили гору.

Слону жарко. Его дыхание слышно, по крайней мере, в пяти метрах. Он переступает с ноги на ногу. Глаз его похож на человеческий. Добрый и как бы смеющийся глаз.

Странно смотреть на слона! Грозное животное. Оно вырывает деревья с корнем. Ни один хищник не нападает на слона. Слон был боевой машиной, устрашающей и разрушительной. И вместе с тем глаз улавливает во внешнем его виде какую-то кротость форм. Чем-то он похож на младенца!

На горе под деревом сидит человек. Обыкновенный человек, в испачканных сапогах, в куртке и картузе. Не укротитель. Просто сторож. Сторож слона. В руках у него тоненькая палочка.

Слон подходит к человеку.

Человек что-то говорит слону. Мы не слышим, что он говорит, но, очевидно, что-нибудь вроде: «Ну, чего тебе?»

Позы человек не меняет. По-прежнему сидит развалившись. Страшное лицо, образина,— непонятное, то ли из резины, то ли из глины, огромное, серое,— висит над ним.

На этом лице появляется выражение. Слону неловко. Он *опять* просит. Он уже просил несколько раз, и ему отказывали. Он не может найти в себе силы удержаться от того, чтобы не попросить еще раз. Он сознает свою слабость, и ему неловко.

Слон просит яблоко.

Тут мы становимся свидетелями действия одной из совершеннейших машин: слоновьего хобота.

Ведь слон вовсе не для нас изгибает хобот! Вовсе не для того, чтобы мы восклицали: смотрите! смотрите!

Он изгибает его именно так, а не как-нибудь иначе, преследуя определенный расчет. Ему надо проникнуть в карман к сторожу. Там яблоко.

Сторож успевает вынуть яблоко раньше и не дать слону. Блестящий румяный шарик, такой свежий в соседстве с серой громадой слона, появляется на секунду и снова исчезает. Сторож прячет его в другой карман.

Слон продолжает стоять.

Тогда сторож ударяет его легонько палочкой по хоботу. Эта увесистая труба в данном случае исполняет функцию носа. Слона щелкают по носу. Щелчок, означающий — *пошел вон!*

И слон отходит чрезвычайно огорченный.

Пингвины.

Они сидят, запрокинув головы и свесив не то ручки, не то крылышки, не то ласты.

Длинное тельце пингвина — столбик, который хочется поднять.

Пингвины смотрят в небо. Темные клювы. Черные? Нет, скорее синие. Темная синева внезапно — на краю льда — открывшегося океана.

Вот луг кенгуру.

Их недавно привезли к нам. Мы их никогда не видели. Но когда мы учили географию, мы с особенным интересом отнеслись к тому, что в Австралии водятся странные животные, которые носят детенышей под животом в сумках и совершают фантастические прыжки. Нам хорошо был знаком образ кенгуру — приподнявшегося на могучих задних лапах, с вытянутым по траве длинным голым хвостом и с круглыми ушами, которые чернеют, как силуэты, на фоне ясного неба. Он еще не прыгнул. Он только встрепенулся, услышав шорох.

Мы с детских лет симпатизируем кенгуру. Вот он впервые перед нами! Хвост! Хвост кенгуру! Он прилег на траву. В таком ракурсе трудно разглядеть его. Мы видим мордочку — нежная, с рыжеватыми, подрагивающими бровями мордочка. Кого напоминает эта мордочка? Собаку! Да, это песья мордочка. Как у маленькой, ничем не замечательной, но милой дворняжки.

Но всех интересуют ноги кенгуру. Разглядывают круп. Действительно, как он развит, если принять во внимание нежность всего туловища и особенно передние лапы! Они кажутся такими слабыми и вялыми.

— Он великолепно прыгает! — объясняет кто-то.

Люди сочувствуют слабому, когда у того внезапно обнаруживаются отличные средства защиты.

С удовольствием смотрят на тонкие ноги косули и восхищаются, когда лань, раскрашенная, как мухомор, уйдя в чащу, вдруг сама превращается в куст и становится неузнаваемой среди листьев и солнечных пятен.

Теперь посмотрим на австралийских страусов. Там собралось много зрителей.

— Что они ловят? — слышатся восклицания.— Что они ловят?

Действительно, это непонятно. Почти перед самым носом у нас страусы схватывают что-то на лету. Это «что-то» для нас невидимо, и мы возмущаемся.

— Что они ловят?

Разевается и со стуком захлопывается пасть.

Необычайно выразительны эти птичьи голоса. Как прав Дисней! Сколько выражения в облике животного! Когда смотришь на страуса, на казуара, на марабу, тотчас же вспоминаешь мультипликации Диснея. Это все диснеевские персонажи. Замечательный художник! Он с изумительным юмором развил тот намек на сходство с человеком, который есть на лице животных. Разве это сходство уже не было известно тем, кто сочинял мифы и басни? Разве оно не фигурирует в народном эпосе?

Вот тигр.

Он смотрит вдаль. Нельзя поймать его взгляда. Как бы вы ни старались встретиться с ним глазами, это вам не удастся. Он всегда смотрит поверх вас.

Куда?

Неизвестно.

Куда-то вдаль.

Причем вам кажется, что он знает о том, что вы ловите его взгляд. Он чуть ли не с отвращением отказывается от этой игры. Его взгляд летит вдаль. Выражение его лица такое, как будто там, где-то очень далеко, куда достигает только его взгляд, он видит нечто, что возмущает его. Он смотрит, затем поворачивается, ходит некоторое время по деревянным доскам и вновь останавливается на том же месте, где стоял секунду назад, и вновь смотрит в том же направлении и с той же силой взгляда.

Какая великолепная морда! Желтая, в белых разводах. Как будто обляпанная известью. Поперечные глаза. Он иногда щурится. Иногда какая-то обида морщит его. Тогда он больше всего похож на кошку.

И усы. Усы твердые и чистые. Два ослепительных пучка. Почти каменной белизны и твердости.

А посмотрите на ламу. Как выразительна лама! Она благостна, успокоенна. Можно подумать, что она возлежит здесь на лугу в ожидании каких-то похвал, которые она, по ее мнению, заслужила.

Идем дальше.

Розовеет огромное брюхо. Это бегемот. Он спит. Какие короткие ножки! Как он смешно, аккуратно сложил их.

Надбровные дуги у него мясисты, выпуклы. И морда его приобретает недоуменное выражение.

Бегемот, как и слон, относится к тем животным, которые умиляют зрителей.

Надо сказать, что умиление является вообще одной из самых частых реакций зрителя, стоящего перед клеткой животного. Почти всегда этот зритель смотрит, улыбаясь. Почти всегда животное ему нравится. Даже хищник вызывает благосклонность. Говорят о его силе. О том, что происходит, когда он ударяет лапой. Сколько он съедает? Дети прыгали и хлопали в ладоши, увидев во рву двух тигров, спавших под березами.

Да, под идиллическими прозрачными березами спали два тигра.

— Под березами спят! Под березами спят! — кричали дети.

Особенное умиление вызывают те из обитателей зоологического сада, которые родились в нем. Умиление с оттенком покровительственности.

В зоологическом саду родился гибрид: помесь львицы и тигра. Превосходный зверь, свежий, юный, необыкновенно величественный.

Детям больше всего нравятся черепахи. Имеется в саду так называемая слоновая черепаха. Она живет одна в маленьком загоне, среди горючих камней и чахлой зелени. Эта черепаха величиной с походную кухню. Именно походную кухню, только без колес, напоминает она. Защитный цвет. Кастрюлеобразное тело. Нечто военное есть в ее очертаниях и вместе с тем наивное.

А чуть подальше — попугаи.

Мне показалось, что я вижу перед собой картину какой-то странной осени. Как будто распадалось передо мной прекрасное дерево. Разлетались в разные стороны его ветви, листья — в каком-то пустом саду, где осталось только солнце.

Подойдя ближе, я увидел множество птиц. Рой маленьких птиц. Это были попугаи. Но какие маленькие! С чем их сравнить? С вазочками? С кувшинчиками?

А раскраска?

Одни были точно покрыты эмалью, другие пушисты, как сирень, третьи... Я не мог подыскать аналогий. Да, это было похоже на дерево. Оно перемещалось с места на место. Летало. Вспыхивало. Исчезало.

Называется это чудо — австралийские попугайчики. Не попугаи, а именно — попугайчики. Потому что это — крохотные птицы. Каждая из них — шедевр миниатюрности. Вот одна села на кольцо сетки. Идет по сетке, помогая себе лбом так, как это делают попугаи. Остановилась на уровне наших глаз. Мы видим узор на ее горле. И раздается реплика:

— Как это трудно сделать!

Это один подросток говорит другому.

Действительно: как трудно сделать такой узор! А изобрести всю раскраску? Создать эту гамму, эти поразительные оттенки...

Кто же этот гениальный мастер?

Природа.

Это в ее лаборатории приготовляется удивительная лазурь, которой раскрашивается грудь павлина. Это она придумала конструкцию прыгуна-кенгуру.

Алмазный фазан.

Фламинго.

Тукан.

Вы видели эту птицу? Тукан! Как трудно было бы ее придумать. В ней одной столько фантазии, сколько в тысяче и одной ночи!

А сойка?

Обыкновенная сойка. О ней так и сказано в табличке, которая висит на ограде: «Сойка обыкновенная». Обыкновенная сойка. Птичка.

Просто птичка. Гнездится в лесах Европы. Полезна. Разносит семена дуба и кедра.

Посмотрите, как она одета, эта обыкновенная сойка. Чей изысканный вкус прибавил к ее коричневому платью две черно-белые, точно полосатые, нашивки?!

Или возьмем чайку.

Уж не будем говорить о том, что чайка — это торпеда, что она — совершеннейшего вида моноплан с низко поставленными крыльями. Обратим внимание на ее цвета. Разве при виде чайки не приходит в голову мысль о модах? И, пожалуй, один из вернейших эпитетов, которые можно применить к чайке,— это эпитет *элегантная*.

Элегантная чайка!

Мы посетили выставку природы, ее стенды.

И опять мы в городе. Мы среди машин. Как трудно сделать машину! Мост. Самолет. Или маленькие приборы. Волшебный глаз микроскопа.

Мы в фантастическом мире техники. Здесь человек проявляет себя мастером такой же силы, как и природа. Он сильнее ее. Он отнимает ее тайны и заставляет ее служить себе. Он укрощает ее, и она все меньше рычит и все больше мурлычет у него в руках, как прирученный барсенок на площадке молодняка в зоосаде.

1937

ТУРКМЕН

Клыч распечатал маленькое треугольное письмо полевой почты. Это не от брата, нет. Не его почерк... Клыч повернул листок, чтобы увидеть подпись. Их было несколько. Ясно, что-то случилось с братом. Это пишут товарищи.

Сегодня Клыч собрался идти в аул к матери. А если в письме известие о смерти Берды?

Нет, лучше не читать письма.

Взгляд Клыча еще раз упал на подпись: трудно разобрать... Но он прочел одну — Никифоров, и еще — Балашов. Ясно — это товарищи брата. И ясно, что они пишут о его смерти. Иначе почему бы вдруг незнакомые люди с фронта стали писать Клычу письмо?

Клыч был один в комнате, но он громко спросил:

— Как я скажу об этом матери?

Но ведь все равно придется сказать, ведь все равно она узнает — не сегодня, так завтра. Клыч расправил листок и стал читать.

Через несколько часов он шел по дороге в аул. Год минул с тех пор, как по этой самой дороге, только в обратном направлении, он шел вместе с Берды. После прощания с матерью тот сказал:

— А теперь пойдем, Клыч.

И они пошли.

— Оглянись,— сказал Клыч,— она все еще стоит.

Брат качнул головой:

— Не надо.

Ему грустно было оглядываться. Клыч понимал это. Там, далеко позади, среди маленьких стен аула стояла мать. Два дня Берды пробыл дома, приехав из офицерской школы. Теперь он возвращался в город, чтобы следовать дальше по назначению.

— Оглянись, Берды,— сказал Клыч.

Берды оглянулся.

— Бедная,— сказал он тихо,— бедная.

Он постоял некоторое время. На его плече тонко развевалась красная ниточка.

— Что это? — спросил Клыч.

— От ее платка,— ответил Берды,— когда прощались...

Они пошли дальше, и уже оставалось совсем немного идти до моста. Когда они были мальчиками, они дальше моста никогда не уходили. Это была граница детства. Бурый от окаменевшей грязи мост над старой дорогой. Клыч взглянул на брата: смотрит ли он на мост.

— Если я быстро побегу...— сказал вдруг Берды и побежал в сторону аула так быстро, что Клыч даже не успел остановить его. Потом он видел, как мать спешила навстречу Берды, как трудно двигались ее колени под красной одеждой. Вдруг она упала, и Клыч подумал, что она умерла. Нет. Берды поднимает ее, и они идут... У Клыча от печали разрывалось сердце, и он отвернулся. Он один пошел по дороге. На мосту он остановился, чтобы подождать Берды. Он смотрел сверху на старую дорогу, глухо поросшую колючкой. Когда Берды вернулся и они пошли рядом, Клыч увидел на гимнастерке брата песок, который осел на него, когда он поднимал мать.

Отношения между братьями обычно бывают грубоваты, нежность обычно скрывается. Но брат есть брат. Это тот парень — брат, который и после долгой разлуки поймет тебя с полуслова, перемигнется с тобой, спросит про давно забытое, смешное, близкое только тебе и ему. Брат смотрит на тебя молча, когда ты окружен людьми, и ты знаешь, что он тревожится о твоих словах и поступках. Он хочет, чтобы ты не уронил себя даже на том пути, который, может быть, непонятен ему. Окончив разговор с людьми, ты вдруг увидишь, что брат удовлетворенно складывает на груди руки. Брат печется о твоей чести. Вот что неповторимо...

Хорошо иметь брата. Он вдруг приходит вечером, приятно накормить его и дать ночлег. Его присутствие никогда не мешает. Ты продолжаешь заниматься своим делом и, может быть, только спросишь его, посмотрев из-за лампы:

— Что ты там ищешь?

— Соль.

— Она там.

— Ага!

Когда ты встаешь из-за стола, закончив работу, брат уже спит; посмотрев на его лицо, ты с нежностью думаешь о том, что он похож на мать.

— К ней нельзя?
— Нет.
— Почему?
— Она заснула.

Клыч стоял в растерянности. Он даже не сразу понял, кто эта женщина в белом халате, которая не позволяет ему видеть мать. Ах да, это врач, Мария Павловна. Правда, она недавно в колхозе. Но ведь он уже несколько раз говорил с ней!

— Где она? — спросил Клыч.
— У меня,— сказала Мария Павловна.
— У вас?
— Вы не волнуйтесь. Ведь мы ее оставили здесь. Если бы опасность...
— Да, да,— согласился Клыч. Мария Павловна уже сказала ему, что обожжены только руки и плечо. Клыч спросил: — Где это у вас?

Тут же он вспомнил, что в коридоре, недалеко от конторы, есть комната, где живет Мария Павловна. Очевидно, там и лежит сейчас мать.

— Вне опасности? — спросил Клыч.
— Рука и плечо,— повторила Мария Павловна.

Клыч улыбнулся ей.

— Вы извините, что я спрашиваю, это потому, что...
— Ну еще бы,— сказала Мария Павловна,— вполне естественно.
— Вас зовут Мария Павловна?
— Мария Павловна.
— Мне показалось, что я забыл.

Мария Павловна сказала Клычу, что он хорошо говорит по-русски. Он хотел объяснить почему.

— Я учился в Москве,— начал он.

Оказалось, Мария Павловна знает об этом.

— Откуда? — спросил Клыч.
— Ваша мама сказала.

Вокруг толпились колхозницы, старые и молодые. Некоторые были знакомы Клычу, других он не знал. Вот старая Аманбиби, вот Огульдавлет, у которой тоже сын на фронте, вот Карага с косами... Одни женщины, мужчин нет. Вот только Назар стоит, кузнец. Ну, это старик.

— Салам! — сказал кузнец, увидев, что Клыч смотрит на него.
— Салам! — ответил Клыч.
— Твоей матери награду дадут! — сказал кузнец.

Все оживились.

— Конечно, дадут. Это уже известно; об этом говорил председатель.

Стали обсуждать, сколько сгорело бы хлопка, если бы мать Клыча не сделала того, что она сделала. А что она сделала, Клыч не представлял себе точно, потому что, спрашивая об этом, он уже переставал слушать. Он видел желтые языки пламени, охватывающие его мать, и эта картина отнимала у мира все краски и звуки. Тушила горящий хлопок? Вытаскивала из пламени мешки?

— Как же это случилось? — спросил Клыч в десятый раз.

И в десятый раз со всех сторон ему стали рассказывать о том, как загорелся хлопок. Опять слушал Клыч о какой-то лампе, которую уронил беззубый Овез.

— Я бы этого беззубого...— сказал Клыч и сжал кулак.

— Нет, нет! — воскликнула одна из девушек, как бы испугавшись за беззубого.— Он так плакал, он так плакал...

И все засмеялись, потому что девушка смешно показала, как плакал беззубый. Засмеялся и Клыч. Всем стало приятно, что Клыч тоже смеется.

— Вы только подумайте,— начал Клыч, обращаясь к Марии Павловне.— Вы только подумайте...

Он замолчал.

— Нет, ничего,— сказал он.

— А что вы хотели сказать?

— Я хотел сказать... Нет, ничего.

Он хотел сказать, что он гордится своим народом, но он подумал, что эта фраза, сказанная без связи со всеми теми мыслями, которые переполняли его, покажется общей.

— Значит, теперь она спит? — спросил Клыч.

— Спит! — сказала Мария Павловна.

Стало тихо. И все повернулись в сторону коридора, как бы прислушиваясь. И едва только шевельнулась тень Марии Павловны, как тотчас же толпа расступилась, как бы одобряя ее намерение пойти к пострадавшей.

— Сейчас,— сказала Мария Павловна, оглянувшись на Клыча.

Он кивнул ей головой.

Через несколько минут она вернулась.

— Идемте... Она вас хочет видеть.

Он остановился на пороге.

Ему показалось, что она сделала движение навстречу ему и что бинты помешали ей. Он никогда не видел ее окруженной такой белизной. До самого пола доставала простыня, которой она была покрыта. Также и лоб ее покрывал протянувшийся во всю ширину подушки белый плат.

Он ужаснулся, подумав, что и голову ее охватывало пламя.

— Нет, это лед,— прошептала Мария Павловна, угадав его мысли.

— Тебе больно? — спросил Клыч.

— Нет.

Ее глаза повернулись в сторону, где стояла Мария Павловна, и Клыч понял, что это благодарный взгляд, как бы говоривший: «Мне не больно, потому что мне помогла эта хорошая женщина».

— Подойдите к ней.

Клыч безотчетно шагнул вперед и потом уже не помнил, как стал на колени перед постелью и положил голову на ладонь матери. Неуловимый запах шел от этой ладони, и, вдыхая его, Клыч видел солнечные пятна у порога кибитки, себя и брата, ожидающими, пока мать снимет с огня обед, старое колесо в углу... «Это запах труда»,—

подумал Клыч. Ладонь шевельнулась, и Клыч поднял голову. Тогда мать провела рукой по его волосам. Она стала гладить его голову; и по движениям ее руки, спокойным и одинаковым, он понял, что она глубоко задумалась. И такая сила исходила от ее задумчивости, что если бы она спросила сейчас о Берды, то Клыч не скрыл бы от нее правды. Он был уверен, что она стойко выслушает горестную весть. И она спросила:

— Берды не вернется?

— Не вернется,— сказал Клыч.

Арба бросала тень на белую стену. Клыч посмотрел на солнце.

— Уже сентябрь,— сказал он, увидев Марию Павловну, которая появилась на крыльце. И ее привлекла тень арбы на белой стене. Она смотрела туда, сходя с крыльца, и потом тоже посмотрела на солнце.

— А где председатель? — спросил Клыч.

— В конторе.

Клыча радовало, что он поедет в город вместе с председателем. Мальчик привел коня и стал запрягать. Конь был белый, почти голубой в свете утра. Когда мальчик откатил арбу, оказалось, что под стеной спала собака. Это рассмешило Марию Павловну.

— А как эти цветы называются? — спросила она. Клыч не знал.

— Мальвы.

Несколько лиловых и синих мальв цвело у края стены.

— Мальвы,— повторила Мария Павловна.— Наверно, есть и туркменское слово.

Вышел председатель.

Он был в синем костюме, с орденом Ленина на груди, в папахе, высокий, бритый, старый, гордый. Он посмотрел издали на коня, сразу пошел туда и начал что-то поправлять, стоя против головы коня. Клыч думал, что сейчас они и поедут. Но председатель пошел по дорожке между строениями и остановился возле мастерской. Бородатый мастер, занятый паянием у порога, встал. От его щипцов поднимался дрожащий пар, и, глядя в том направлении, Клыч видел поля и даль как бы текущими сверху.

— Он помнит меня мальчиком,— сказал Клыч. Ему очень хотелось рассказать Марии Павловне о том, как председатель пришел слушать Клыча, когда он защищал диссертацию. Но он не стал рассказывать, так как она могла подумать, что он хвастался своей ученой степенью кандидата исторических наук.

Председатель вернулся. Они сели на арбу, председатель взял вожжи.

— Якши! — сказал мальчик.

И Мария Павловна сказала:

— Якши!

Клыч спросил:

— Поправится мама?

— Поправится, приезжайте.

— Якши!

— Якши!

Они тронулись, и мальчик отошел в сторону и смотрел с таким видом, точно хотел проверить, правильно ли отъезжают.

Оба молчали. Клыч и председатель. На мосту конь убавил ходу, потом они выехали на прямую дорогу.

То и дело встречались проезжие и прохожие. Шли поодиночке и группами.

Солнце освещало их красочные одежды, отягощенные пылью и сохнущим потом. Они проходили с веселым говором, и были видны их крепкие пальцы на рукоятях инструментов. Люди шли побеждать пустыню. Растущие очертания новой мощной стройки виднелись вдали, среди отблесков огня и солнца. Скоро там заиграют отблески воды, которая так нужна туркменам.

Вся дорога жила этим движением идущих на работу и возвращающихся с работы людей. Их брат в золотой одежде воина лежал в могиле, которую выкопали для него боевые товарищи.

— Я знаю, что я должен сделать, Берды! — беззвучно произнес Клыч.

И человек, которого он уважал больше всех знакомых ему людей, старый крестьянин, державший в руках вожжи, строгий наставник и друг, услышал его мысли.

— Ты должен написать историю туркмен,— сказал председатель.

Он смотрел вдаль на дорогу.

— Пусть это будет книга о славе, к которой привели нас русские братья.

1944

ЗЕРКАЛЬЦЕ

Меред шел спиной к солнцу, и когда он посмотрел в зеркальце, он увидел свое коричневое лицо посреди золотых облаков.

Он нашел зеркальце в пыли. Кто обронил его? Наверно, оно выкатилось из сумки какой-нибудь девушки. Круглое зеркальце, целиком помещавшееся на ладони. Чтобы увидеть свою бороду от начала до конца, Мереду приходилось довольно долго водить зеркальцем сверху вниз.

Меред сегодня приехал в город из аула. Он всегда радовался, когда приезжал в Ашхабад, а в этот раз он был особенно доволен, потому что нашел маленькое зеркальце. Оно ему так нравилось, что он все время держал его в руке, даже тогда, когда оно было в кармане.

Меред шел в гости. Он представлял себе, как будет рассказывать про удивительную находку и вдруг раскроет ладонь. Но так как он с весны не виделся с приятелями, то уже на пороге забыл про зеркальце.

Кроме Мереда, было еще человек шесть гостей, но самым почетным был Меред, потому что он был бахши. Как хорошо ни знали приятели Мереда, все же он был для них необыкновенным человеком, и когда сели пить чай, то хозяин дома усадил Мереда так, чтобы все его могли видеть. Меред пришел со своим дутаром, который теперь стоял позади него, прислоненный к стене.

Чай пили долго. Солнце из дворика не было видно, оно, по всей вероятности, зашло, потому что по синему небу стали вдруг подниматься золотые облака — те самые, которые отражались в зеркальце Мереда.

Меред взял дутар и запел. Он пел песню, которую приятели слышали уже не раз. Но они слушали ее с удовольствием, причем чем дальше пел Меред, тем приятнее им было слушать. Меред пел, откинув голову. Приятели смотрели то на его лицо с полузакрытыми веками, то на пальцы, вокруг которых, казалось, вьется клубок звона. Окончив петь, Меред сказал:

— Песню слушала девушка. Вы видели?

Действительно, по ту сторону дувала стояла девушка. Когда Меред кончил петь, девушка ушла, видимо, застеснявшись... Хозяин дома сказал:

— Это соседка. Она русская...

— Значит, она ничего не поняла,— сказал Меред.— Но я видел, что ей приятно было слушать.

— У нее жених на войне,— сказал хозяин дома.

Старики помолчали. Они поглядывали в сторону дувала, над которым стояла теперь вечерняя звезда.

— Я пел о богатыре Юсупе,— сказал Меред.— И русская девушка слушала меня с удовольствием. Она понимала, что я пою о богатыре. Она слушала мое пение и думала о своем женихе, который тоже участвует в богатырском подвиге. И поэтому мне было приятно петь. Я пел о ее женихе.

Старики рассмеялись.

— Как это так! — сказал один.— Ты пел о Юсупе.

— Это все равно,— сказал Меред,— я пел о богатыре. Ее жених тоже богатырь. Я видел, как она меня слушала. Она смотрела вдаль таким взглядом, как будто видела войну и своего жениха, она мечтала, и лицо у нее горело. В этом сила песни...

Меред угадал. Девушка и вправду, слушая его песню, думала о своем женихе. Ей захотелось опять подойти к дувалу и поблагодарить старого певца. Но она этого не сделала, чтобы не вмешиваться в разговор почтенных туркмен. Каждый народ имеет свои обычаи, которые надо уважать. Она не подошла к дувалу, но про себя сказала:

— Спасибо тебе, седой бахши!

Она вышла за калитку и пошла по пыльной улице. Так как наступил вечер, то пыль не летала, а мягко стлалась под ногами. Темнели деревья, сквозь которые сиял фонарь вечерней звезды. Мысли о женихе не покидали девушку. Может быть, и он сейчас видит вечернюю звезду с какой-нибудь полянки, на которой неподвижно стоят русские полевые цветы.

— Ты тоже богатырь,— тихо сказала девушка, мысленно обращаясь к жениху.— А я потеряла зеркальце, которое ты подарил мне... Помнишь? Маленькое зеркальце... Может быть, это дурная примета? Может быть, что-нибудь случилось с тобой?

Девушка подумала о том, что, наверное, старый бахши знает все приметы. Вот если бы подойти и спросить его:

— Я потеряла зеркальце, которое подарил мне милый, уехавший на войну... Может быть, с ним что-нибудь случилось?

Девушка не верила в приметы, но ей все же было грустно. Маленькое зеркальце, которое подарил ей друг... Как можно было потерять?

И тут она опять услышала пение. Она остановилась и стала слушать. Она не понимала слов, но чувствовала, что старый бахши поет о любви. Теперь воинственный туркменский язык звучал нежно и весело. Девушка слушала, и ей представлялось, что жених идет к ней через пыльную улицу. Вот он останавливается перед ней, и она ему говорит, что она потеряла зеркальце, в которое они оба заглядывали, когда она прощалась с ним.

— Я потеряла зеркальце,— сказала девушка,— но зато старый бахши спел песню, в которой я увидела тебя, как в огромном зеркале.

Меред кончил и вторую песню. Девушка села около арыка, задумавшись. Она не слышала, о чем разговаривали старики, да и не поняла бы, если б услышала.

Окончив вторую песню, Меред вспомнил про свою находку и показал приятелям зеркальце. Хозяин дома воскликнул:

— Меред! Ты пел большую песню, а жизнь в это время сочинила маленькую... Слушайте. Это зеркальце принадлежит девушке, которая стояла только что над дувалом. Она часто смотрела в него, и я думал, что она любуется собой. «Нет,— сказала мне девушка,— я не любуюсь собой, я стараюсь увидеть лицо моего милого. Мы оба смотрели в него, когда прощались. Я смотрю в зеркало, долго смотрю — и лицо милого появляется в нем». Вот что сказала мне девушка. Меред, ты вернул девушке лицо ее милого!

Девушка заснула около арыка, и когда она проснулась, она увидела, что у нее на коленях лежит усыпанное звездами зеркальце. Она взяла его в руки и посмотрела в него. Лицо жениха улыбнулось ей из-под каски, и девушка подумала, что сон продолжается. А это был не сон, а жизнь.

1945

ВОСПОМИНАНИЕ

Мать девочки заснула, а девочка ходила по вагону и разговаривала с пассажирами. Вот она подошла и ко мне.

Я стоял возле окна.

Волосы девочки осветились светом дня. За окном летело огромное пространство Казахстана, летело на юг, так как мы поднимались к северу.

— Это что? — спросила девочка.

— О чем ты спрашиваешь?

— Вот...

Она уперла палец в стекло, указывая на бегущие вместе с горизонтом очертания строений.

— Станция.

— Станция?

— Да. Мы сейчас к ней подъедем.

— Надо будить маму?

— Не знаю... А зачем ее будить?

Оказалось, что мать обещала купить ей яблоко. Такой же свет дня освещал волосы матери, спавшей у противоположного окна.

— Не надо будить маму,— сказал я,— я тебе куплю яблоко.

— Хорошо.

— Вы возвращаетесь в Москву?

— Да... С мамой...

— Папа на войне?

— На войне. Он капитан артиллерии... Сейчас я вам покажу.

Она показала мне фотографическую карточку, которую вынула из маленького портфельчика, лежавшего возле мамы. На карточке они были сняты вдвоем — капитан артиллерии и его дочь. Я думал, что увижу именно капитана артиллерии, но увидел молодого человека в белой рубашке, как видно только что остригшегося. Девочка представляла собой сплошную улыбку, как это почти всегда случается с младенцами, когда их фотографируют.

— Вот видите,— сказала девочка.

Было еще и третье изображение на фотографии: набалдашник тросточки, высунувшийся между головой девочки и локтем молодого человека. И было понятно, что, перед тем как аппарат щелкнул, женщина, которая сейчас спала в потоке света, весело спросила молодого человека:

— А зачем тросточка?

Молодой человек весело ответил:

— Пускай!

И тросточка осталась. Я также представил себе, что было, когда они получили карточку у фотографа. Вероятно, они перешли через улицу и поднялись по ступенькам на бульвар. Там они сели на скамью и, несколько стесняясь прохожих, стали рассматривать карточку. И наверное, кто-то из них сказал:

— Смотри, и тросточка получилась.

Потом они пошли по бульвару, причем дочку, возможно, нес отец. Молодому парню приятно сознавать, что он уже отец ребенка, и он отнимает голубой сверток у матери и несет сам. Вот мать перешла через весеннюю лужу, отражающую розовые дома, и, протянув руку в радужной варежке, ждет мужа, который, ступая с кирпича на кирпич, одновременно смотрит на личико ребенка, вороша вокруг него кружева...

Я расхвалил карточку, и девочка спрятала ее обратно в портфельчик. Она вернулась к окну и спросила, правда ли то, что я куплю ей яблоко. Я сказал, что сделаю это обязательно. Потом я испытывал счастье, которое охватывает человека, когда он ведет ребенка за руку. Это счастье продолжалось, пока мы выходили из вагона, и чуть было не исчезло, когда мы очутились на перроне: девочке захотелось побежать. Нет, я не отпустил ее. Я сказал, что нельзя девочке бегать по перрону, и маленькая недовольная ручка осталась в моей.

Едва мы отошли от вагона, как девочке показалось, что она видит по ту сторону поезда ведро с красными яблоками. Мы поднялись на площадку чужого вагона и спустились по ту сторону.

— Никакого ведра нет,— сказала девочка.

Мы отправились к голове поезда и, когда обогнули паровоз, увидели огромную толпу. Тут были и пассажиры нашего поезда, и железнодорожники, и местные жители. В толпе был виден листок — не больше тех, на которых пишут объявления. Но это был печатный листок с чернеющим заголовком, это была газета. Не знаю, держал ли его кто-либо в руках или он был приклеен к стене,— во всяком случае, этот листок как бы стоял в толпе, и его все видели. Он был окружен толпой, станцией, цистернами, горизонтом — маленький, неподвижный листок, рядом с которым стоял матрос, громко читавший то, что на листке было напечатано. Черная шинель, надетая внакидку, сползла с плеча матроса, открыв голубые полосы тельника и марлю бинта. Матрос читал сообщение о капитуляции германской армии. Я не знал, почему эта честь досталась именно матросу. Может быть, самый вид матроса, особенно величественный среди серых просторов этого края, заставил толпу расступиться и пропустить его к листку. Может быть, кто-либо вручил листок матросу, решив, что торжественная весть должна прозвучать из уст как раз этого героя, принадлежащего к легендарному отряду советского воинства. Как бы там ни было, но все собравшиеся, видно, согласились с правильностью того, что сообщение читает именно этот юноша с рассыпавшимися по плечам лентами. Никто его не перебивал, никто не теснился вокруг него, только стоявшая возле него старая женщина, покрытая копотью мастерских, из которых только что вышла, легонько прикасалась кончиками пальцев к рукаву его шинели, как бы желая спросить:

— Там так написано, сынок? Правда? Так написано?

— Вот теперь надо разбудить маму! — сказал я.— Бежим!

И мы побежали по перрону. Девочка опередила меня, и я видел издали, как она карабкалась на площадку. Не успел я подбежать к вагону, как девочка опять появилась на площадке:

— Нету мамы!

— Она там!

И мы побежали обратно. Теперь толпа гудела, и над ней взлетали шапки.

— Вот мама! — закричала девочка и стрелой понеслась к толпе; тотчас же от толпы отделилось светлое пятно, ставшее через секунду фигурой женщины, распростершей объятия.

Потом мать прошла мимо меня с дочкой на руках. Она держала ее лицом к себе, скрестив руки на ее икрах. Тяжесть ноши заставила ее идти несколько откинувшись, и поэтому я видел ее лицо особенно открытым. Оно сияло и улыбалось среди пляшущих розанов платка, и я подумал о том, как прекрасна сама победа, если только отблеск ее так чарующ.

Когда поезд отправился, в нашем вагоне оказались пассажиры из других вагонов. Как видно, взволнованные люди, начавшие разговор

в одном месте, переходили в другое, сами того не замечая. До позднего вечера поезд представлял собой движущийся митинг. Вот в нашем вагоне появились три молодых офицера.

— Плачет,— сказал один из них.

Мать девочки плакала.

— Спроси, почему,— сказал другой.

— Ну как это — почему! — сказал третий.— От радости.

Тут девочка спросила:

— Почему ты плачешь?

И мать сказала:

— От радости.

— Вот видишь,— сказал третий офицер и улыбнулся плачущей.

И она ему улыбнулась сквозь слезы.

Тут появилась свеча, которую кто-то поставил на край полки. Замерцали ордена офицеров.

— Как зовут?..— спросил первый офицер.

— Меня? — спросила мать.

— Нет, дочку...

— Галя...

— А вас?

— Таня.

— Ну, поздравляю вас с победой! — сказал офицер.

Он шагнул из полумрака и обеих разом обнял и прижал к груди. Чтобы обнять их, он нагнулся, так как они сидели. Обняв, разогнулся и одернул гимнастерку. Звезда ордена Отечественной войны поблескивала на его груди снежными огоньками.

— Галя и Таня! — сказал он.— Ах вы, дорогие мои!

Продолжая смотреть на них, он отступил к стене и прислонился. И если бы в вагон не влетели огни приближающейся станции, на которой ему нужно было сходить, то, я думаю, он простоял бы так невесть сколько, дивясь тому, как прекрасны русские имена, и русские лица, и все то родное, за что он сражался.

1947

ИВОЛГА

Вдруг раздался голос птицы, заставивший меня остановиться. Я сбегала по тропинке и остановилась посреди кустов, которые были выше меня ростом, так что Порфирий Антоныч не мог меня увидеть.

— Где ты?

— Я тут.

— Где?

Я подняла руку с кувшином, сама удивившись тому, как он блеснул. Порфирия Антоныча я покинула у порога избушки, и, как видно, там он и услышал это пение. Теперь он бежал ко мне, придерживая очки.

— Ты слышала?

— Да!

— Что это, а? Опять... Слышишь?

Птица повторяла колено. Порфирий Антоныч, блестя очками, смотрел в чащу дерева. Певчие птицы такие маленькие, что их нельзя увидеть, хотя иногда и кажется, что видишь вертящуюся во все стороны головку.

— Это поразительно! На что похоже? А? На что? Тише...

Она опять запела, и это было похоже на то, как будто в листве покачивался маленький челнок. Тут был и звук пустоты, и звук ветра, и звук дерева.

— Что же это за птица?

— Не знаю!

— То, что ты не знаешь, это ничего, а вот что я, старик...

Пение раздалось в другом месте. Теперь уже внизу, куда сбегала тропинка.

— Перелетела или это другая?

Она запела еще дальше.

— Перелетела!

Еще дальше. Там плыла румяная в лучах солнца сосна. Кажется, что они плывут, но это плывут облака.

— А в школе считалось, что я все знаю! Помнишь? «Порфирий Антоныч все знает». А я даже не знал, какие у нас поют птицы! Правда, когда человек всю жизнь прожил в городе... Да, но ты бежала за водой!

Порфирий Антоныч посмотрел на меня округлившимися глазами, как он делал это в школе, когда сердился:

— Беги!

И я побежала. Еще несколько раз слышалось пение, и я оглядывалась на Порфирия Антоныча. Он мне кивал, давая понять, что тоже слушает, а когда я оглянулась в последний раз, то увидела, что Порфирий Антоныч снял очки и вытирает глаза платком.

Я не видела, как они появились. Когда я вернулась с наполненным кувшином, они уже стояли возле избушки. Восемь бойцов, как я потом подсчитала.

В первую минуту я даже подумала, что это игра света. Солнечные пятна двигались по их плечам и каскам, но я решила, что это моя страстная мечта дорисовывает эти плечи и каски и что на самом деле ничего нет передо мной, кроме кустов и солнечного света. Я знала, что Красная Армия отступает с боями, но при слове «отступление» трудно было не подумать о расставании надолго. Могла ли я допустить, что вдруг увижу наших бойцов? Все ликовало во мне, и с тем большей горечью я ожидала, что видение исчезнет.

Я разняла кусты и шагнула. Порфирий Антоныч что-то сказал мне, чего я не услышала, и протянул руку. Я поняла, что нужно отдать кувшин, и отдала. Много голубых глаз посмотрело в мою сторону. И мне показалось, что они смотрят сквозь дым. Я не знала, что они

выдержали несколько боев, так как вырвались из окружения, но я видела, что они смотрят сквозь дым...

Как ведет себя девочка в порыве радости? Она всплескивает руками, подпрыгивает... Вероятно, я все это и проделала бы, если бы Порфирий Антоныч сразу не взял меня за руку и не притянул к себе:

— Стой смирно!

Может быть, он и не произнес этого, но я замерла, почти приникнув к нему. Моя рука осталась в его руке, и он вместе со своей рукой поднял и мою и остановил на ремне возле сердца.

По этому движению я поняла, что я должна смотреть на что-то, на что сейчас смотрит и он. И только когда кувшин, который переходил из рук в руки, остановился в ладонях одного из бойцов и этот боец, став на колено, нагнулся над травой, я увидела то, на что смотрел Порфирий Антоныч: под деревом лежал девятый боец.

— Пулеметчик,— прошептал Порфирий Антоныч.— Рука, видишь?

Рука раненого лежала на груди, и это была рука черная, как рука рабочего, в масле, блестящая от масла. Как видно, этот пулеметчик хорошо поработал...

Так вот для кого я набирала воду! Но как трудно было этой доброй и веселой воде, вокруг которой только что летали бабочки, делать свое простое дело! Раненый ловил струю, но она проливалась... Я почувствовала, как пальцы Порфирия Антоныча сжали мою руку. Это был мой учитель, который всегда хотел, чтобы я понимала смысл того, что я вижу. И теперь он как бы спрашивал меня: понимаю ли я? В ответ я прижалась к его локтю, и Порфирий Антоныч, наверное, почувствовал, что я киваю головой. Да, я поняла... Я поняла, что перед лицом страданий солдата не велика цена жалости. Мало только жалеть его. Еще нужна клятва! Еще нужно поклясться ему, что и ты, если это понадобится, не станешь щадить своей жизни!

— Балашев,— сказал вдруг тот, который поил,— гляди... А! Гляди, что в лесах творится! И стар и мал... Гляди, девочка в партизанах! А? И старик!

— Мы... мы только сторожим избушку,— сказал Порфирий Антоныч.— Явочное место, и мы...

Порфирий Антоныч даже развел руками:

— Скажи, что мы только сторожим избушку!

И я сказала, что мы только сторожим избушку. Но те двое не слушали. Раненый смотрел на нас, улыбаясь, а товарищ его радовался, что он улыбается. И, чтобы улыбка эта не исчезала, он стал хохотать.

— Гляди, гранаты! У старика-то... А? Граната! А девочка... Гляди! А?

У меня не было гранат, я была обыкновенная девочка в юбке и в кофте, в которой ходила в школу, но ему уже казалось, что и мой вид отличается чем-то воинственным.

— А, Балашев? Нет, ты гляди... Девочка, а? Ну, брат, мы тебя на таких людей оставляем, что...— Он потряс кулаком.— Верно, товарищ старшина?

— Пошли,— сказал тот, кого назвали старшиной.

Он шагнул к раненому, как видно для того, чтобы попрощаться.

— Балашев,— начал он и вдруг позвал вполголоса, как зовут спящего: — Балашев!

Я не видела, что происходит под деревом, потому что огромная фигура старшины стояла впереди меня. Я только видела руку раненого, которая лежала теперь в траве, ладонью вверх.

— Балашев! — позвал старшина еще тише.

Рука поднялась над травой, и старшина, гремя плащом, ринулся к ней. Теперь я могла увидеть раненого, но я закрыла глаза: я испугалась, что увижу картину смерти.

— Во как поет,— сказал раненый.— Во как...

Я открыла глаза и встретилась с его взглядом. Этот взгляд вернулся с вершин деревьев, где только что пропела птица, и теперь улыбался мне.

— Иволга,— произнес раненый с нежностью.

Он опять стал смотреть вдаль. Птица перестала петь, а он все смотрел, все смотрел, все смотрел.

1947

ДРУЗЬЯ

Школьники вошли в маленькую комнату, в которой лежал их больной товарищ. Он уже поправился, но врач велел ему провести в постели еще денек-другой.

— Рассаживайтесь! — сказал хозяин комнаты. Тут же он рассмеялся. Рассмеялись и гости.

Рассаживаться было не на чем. Вся обстановка комнаты состояла из кровати, стула, ночного столика и комода.

Все же расселись: двое сели на стул, двое в ногах больного, двое примостились на подоконнике.

Не удалось устроиться только одному из гостей. Он был менее поворотлив, чем остальные, и в борьбе за места оказался побежденным.

Впрочем, он ничем и не выразил своего недовольства. Как видно, уже одно то, что он находился в этой комнате, делало его счастливым. Он, не спуская глаз, смотрел на хозяина комнаты, и взгляд его был полон любви.

— Пушкин,— спросил он, когда шум улегся,— ты сочинил новые стихи?

— Да, Виленька,— ответил хозяин комнаты.

— Ну, прочти! Прочти же! — воскликнул неповоротливый гость. Теперь его неповоротливость исчезла. Он перебегал от одной группы школьников к другой, размахивая руками, как будто хотел обнять и тех, и других, и третьих. Обнять от радости, что его товарищ сочинил новые стихи.

— Да будет тебе, Виленька,— сказал кто-то.— Ну, читай, Пушкин!

Пушкин уже не лежал, а сидел на постели.

Лучи заходящего солнца косо падали на стену, у которой он сидел, и в этих лучах лицо его казалось золотым.

В руках у него появилась тетрадка. Он перелистал ее и, найдя то, что искал, громко прочел заглавие. С первых же слов школьники поняли, что сейчас они услышат стихи, в которых будет говориться о них. Так оно и оказалось. Пушкин читал стихи о своих товарищах.

Они находились тут же, в комнате, и слушали, не сводя с него глаз.

Все эти мальчики тоже сочиняли стихи, но, слушая стихи Пушкина, они понимали, какая огромная разница между тем, что сочиняли они, и тем, что сочинял их удивительный сверстник. Разница была такая, как между оловянным солдатиком и живым воином на вздыбившемся, с разлетающейся гривой коне.

На этот раз им особенно нравилось то, что читал Пушкин. Еще бы, ведь в этих стихах он вел с ними товарищескую беседу, называя каждого из них по имени! То и дело раздавались взрывы хохота. Школьники узнавали свои смешные черты в том или ином стихе этой веселой песни:

Дай руку, Дельвиг! Что ты спишь?
Проснись, ленивец сонный!

Больше всех восхищался тот, кого называли Виленькой. Поэзию он считал призванием своей жизни, и вместе с тем ничего не было для него труднее, как написать стихотворную строчку. Он сочинял стихи и во время уроков, и по ночам, но, как он ни старался, строчки у него получались такие, что их даже трудно было выговорить. Но упорно жег он свечу в своей комнате. Он верил, что когда-нибудь и у него из-под пера вылетит стих, такой же легкий, такой же звонкий и так же попадающий в сердце, как стих Пушкина.

Пушкин любил Виленьку за его преданность поэзии, за трудолюбие, за непобедимое желание во что бы то ни стало добиться цели.

Ясно было, что стихотворение, посвященное товарищам, не обойдется без упоминания о Виленьке. Все ждали: что же именно скажет Пушкин о злополучном поэте? Всегда есть в среде школьников один, над которым посмеиваются. Хоть и любят, но все же посмеиваются. В школе, где учился Пушкин, посмеивались над Виленькой.

Виленька, наслаждаясь, слушал звонкую речь поэта. О том, что Пушкин, может, упомянет и его, он меньше всего думал. Он вообще забыл о себе, весь отдавшись поэтическому восторгу. Он чувствовал по голосу поэта и по его жесту, что чтение подходит к концу, и очень страдал от этого: ему хотелось, чтобы Пушкин читал вечно!

И вдруг он увидел, что Пушкин смотрит на него. Он понял, что сейчас прозвучат строчки, которые относятся прямо к нему. Он весь превратился в слух. Но услышать помешали ему остальные слушатели. Они разразились таким громким хохотом, что он даже поднял руки к ушам.

Вильгельм, прочти свои стихи,
Чтоб мне заснуть скорее!

Все бросились тормошить Виленьку. Ему повторили то, что прочел Пушкин.

— Вот какие ты стихи сочиняешь! — крикнул кто-то.— Такие скучные, что от них заснуть можно!

— Давайте-ка хором! Хором! — крикнул кто-то другой и запел:

Вильгельм, прочти свои стихи,
Чтоб мне заснуть скорее!

Виленька, как сквозь туман, видел вокруг себя синие мундирчики школьников, их красные воротники. И, словно издали, доносились до него их веселые голоса, певшие хором:

Вильгельм, прочти свои стихи,
Чтоб мне заснуть скорее!

Но тут белая рубашка появилась среди синих мундирчиков. Пушкин, вскочив с постели, подбежал к другу.

— Что я должен сделать, чтобы ты простил меня? — воскликнул он.— Ну, говори! Что же ты молчишь? О, как я себя презираю! Что я должен сделать?

Глаза Пушкина горели. Маленькими руками он комкал рубашку на своей широкой груди. Видно было, что он готов на все.

— Что я должен сделать? Ну, говори!

— Я тебя прощу, если ты...

— Ну?

— Если ты...

— Ну, говори!

— Если ты еще раз прочтешь это дивное стихотворение! Ах, Пушкин, Пушкин, Пушкин...

И Виленька обнял друга.

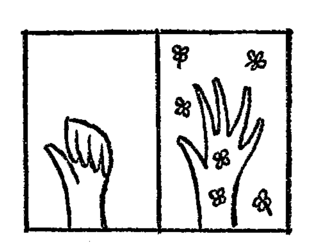
— Ах, Пушкин! — повторял он.— Ведь я знаю, что ты добрый друг! А если судишь меня строго, то ведь это потому, что ты знаешь, как высок долг поэта. Ты и себе строгий судья, а что я перед тобой? Ну, прочти, прочти еще раз! Тебя можно слушать вечно, Пушкин!

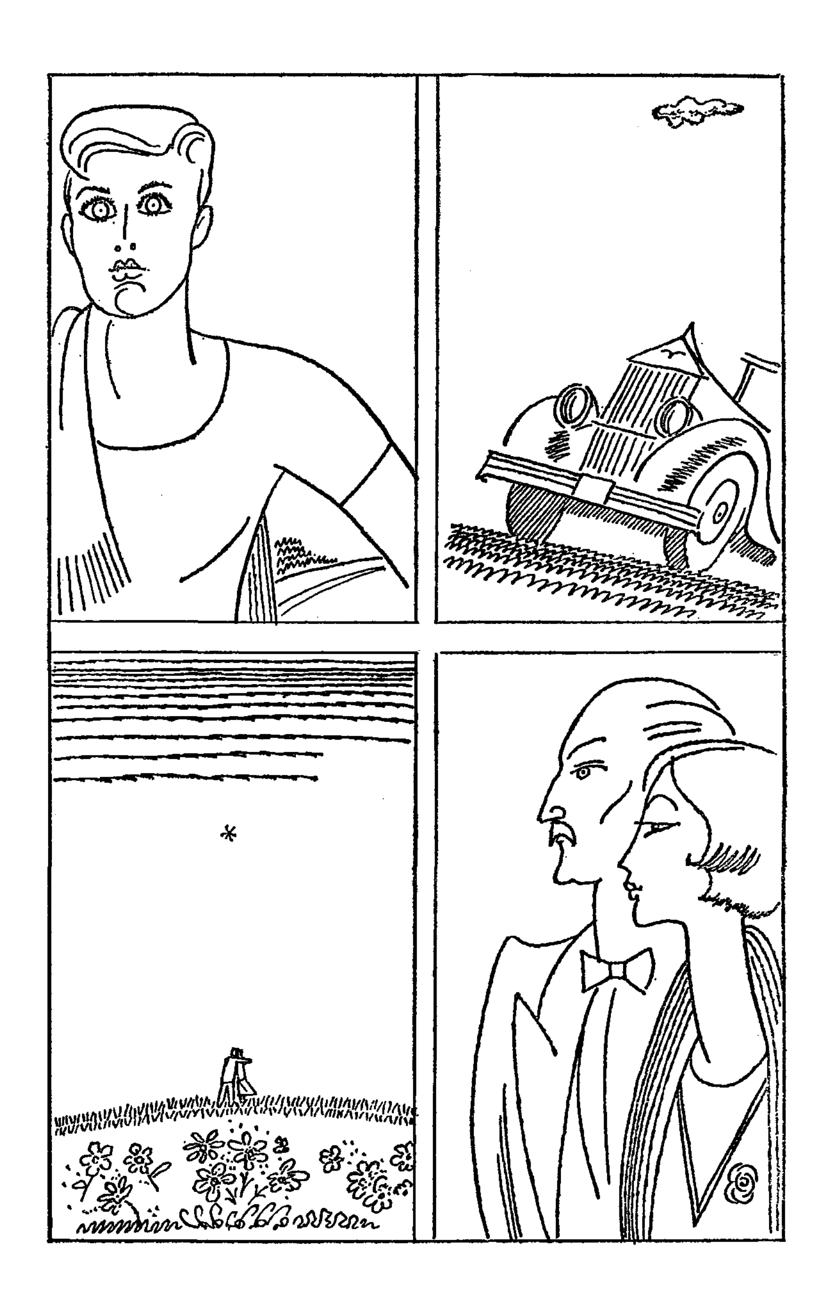
1949

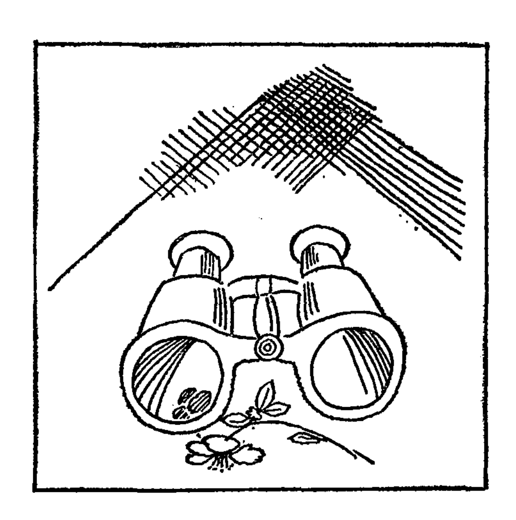


СТРОГИЙ ЮНОША

Пьеса для кинематографа







1

Сад.

Веранда.

На веранде стол.

Четыре прибора.

Нарядная сервировка.

Жаркий день. Движение листвы и теней.

Стрекозиная тень стекол на стенах.

Садом окружен дом.

Он представляет собой небольшое здание, построенное в современном стиле, легкое, белое, с обилием стекол.

Это летняя резиденция доктора Степанова.

В саду, неподалеку от веранды, сидит в плетеном кресле человек.

Возле кресла маленький столик.

На нем коробка с сигарами, пепельница, окурок сигары в пепельнице.

На гравии у кресла газета.

Это Федор Яковлевич Цитронов, друг хозяина этого дома.

Наружность его неприятна.

Представьте себе лицо, на котором постоянно сохраняется выражение, свойственное засыпающему человеку. Нижняя губа готова отвиснуть.

Щеки кажутся набрякшими.

Прибавьте, что человек, который сидит в кресле, не молод. И что он очень много ел и пил и чревоугодничал, как мог, в течение своей жизни.

Всегда он был склонен к тучности. Был срок, когда эта тучность могла проявиться особенно сильно. Но произошла катастрофа,— возможно, физического порядка: может быть, заболевание печени,— и в результате этой катастрофы наступило внезапное похудание, приведшее к тому, что теперь в фигуре этого человека наблюдается некоторая обвислость. Впрочем, каждый, взглянув на него, скажет, что этот человек скорее толст, нежели худ.

2

Сад.
Клумбы.
Неподвижно стоят цветы.
Движутся только большие лиственные массы.
На кухне готовят обед.
Повар. Он в колпаке.
Окна кухни выходят в ту часть сада, где он теряет свою чистоту. Это зады дачи. Здесь нечто вроде птичьего двора.
Ходят птицы.
Ходит цесарка.
Девушка, присев на ступеньку, вертит мороженицу.
В доме чистота, блеск, высокие белые двери со стеклом.
Из окон видны дорожки, посыпанные гравием, беседки, клумбы.
Неподвижно стоят цветы.

3

Река. Юная женщина на берегу.
Это Маша, жена доктора Степанова.
Она только что купалась.
Возвращается домой.
Надевает часы на руку.
Еще влажная рука.
Смотрит — который час.
Она идет мимо дач.
Навстречу ей идут купальщики.
Оглядываются.
Она идет.
Жаркий день.
Дорога.

4

Сад. Сидит в кресле Цитронов.
Маша входит в ворота дачи.
Сидящий и вошедшая издали видят друг друга.

Обнаруживается, что у человека с сонным лицом очень живые глаза.

Женщина идет в легкой одежде.

Она знает, что идет под его взглядом, и испытывает неловкость.

Он знает, что она испытывает неловкость, и это доставляет ему удовольствие.

Она входит на веранду.

Приближается к даче автомобиль.

Цитронов слышит приближение автомобиля.

Поспешно направляется к воротам.

Стоит у ворот.

Автомобиль приближается.

Цитронов машет приветственно рукой.

Въезжает автомобиль.

Это новейшего типа, сильная, комфортабельная, дорогая машина.

Из автомобиля выходит приехавший.

Доктор Юлиан Николаевич Степанов. Известный хирург.

Ему лет сорок восемь. Плотного сложения. Без бороды и усов.

Бежит навстречу Маша.

Цитронов.

Степанов.

Маша.

Степанов привлекает к себе жену. Целует.

Все трое идут по аллее.

Цитронов идет сзади, неся шляпу и трость приехавшего.

5

Дачная станция.

Подходит поезд.

Среди высадившихся молодой человек в белых штанах и белой рубашке.

6

На даче.

В саду.

Слышен свисток поезда.

Маша. Степанов.

Маша. Вот... Это Гриша приехал.

Смотрит на часы. Продолжает:

— Да... Это он. Мы условились, что в четыре.

Стол. Четыре прибора.

Доктор Степанов говорит:

— А он найдет дорогу?

Вмешивается в разговор Цитронов:

— Как это не найдет? Спросит. Вся местность знает, где дача доктора Степанова.

— Нет, нет, Машенька,— говорит доктор.— Ты все-таки пойди. Встреть. Неудобно. В первый раз человек приехал.

Маша уходит.

7

Молодой человек стоит на перроне.

Поезд ушел.

Молодой человек ехал довольно долго. Он как бы стряхивает следы давки, которая была в вагоне. Как бы выравнивает некоторую свою примятость.

Перед ним дачная местность.

Маша вышла на дорогу.

8

На даче.

Доктор Степанов в саду у плетеного кресла, где сидел Цитронов. Там стоит столик, па котором сигары.

Степанов. Федор!

Цитропов откликается:

— Что такое?

Степанов. Ты курил сигары?

Цитронов. Да.

Степанов. Пожалуйста, не смей курить.

Цитронов. Нельзя?

Степанов. Нельзя.

Цитронов. Ты мне как врач запрещаешь?

Степанов. Нет, как хозяин.

Цитронов. Шутишь.

Дорога.

Идет Маша.

На даче.

Цитронов. Я вижу, у тебя испортилось настроение. Почему? Тебе неприятно, что твоя жена пошла встречать этого молодого человека?

Степанов. Дурак!

Идет молодой человек.

9

На даче.

Буфетная.

Блестит кафель.

Домработница.

Поваренок.

Домработница молодая, не без франтовства.

Вынимает из плетеного ящика бутылки. Это коньяк.

Иностранная этикетка.

Идет молодой человек.
Проходит вдоль дач.
Играют в теннис.
Неловкий удар.
Мяч вылетает за ограду.
Молодой человек оглядывается на свист мяча.
Ложбина.
Мяч скатывается в ложбину.
Молодой человек это видит.
Трава. В траве лежит мяч.
Молодой человек спускается в ложбину.
В это время ве́рхом проходит Маша.
Молодой человек поднимает мяч.
Посылает мяч игрокам.
Маша завернула за угол.
Разминулись.

10

На даче.
У выхода на веранду.
Воздушная среда сада.
Стоит столик.
Блестит лакированная поверхность столика.
Слышно, что идет человек с подносом, на котором стекло.
Звенит стекло.
Это Цитронов.
Он опускает поднос на столик.
На подносе бутылка, широкие бокалы, хрустальная миска, в которой осколки льда, стакан с соломинками, сифоны.
Поставив поднос, Цитронов отдувается.
Все-таки это тяжелая ноша.
Принимается откупоривать бутылку.
Столб блеска на бутылке.
Цитронов. Постепенно я превратился в твоего лакея, Юлиан. Черт с тобой. Я не обижаюсь. Ты великий человек.

11

Идет молодой человек.
Приближается к даче.
Его поражает великолепие, открывшееся перед ним.
Он замедляет шаг.
Он несколько ошеломлен.
Ограда.
Купы деревьев.
Молодой человек смотрит через ограду.
Чужой богатый дом за оградой.

Молодой человек видит садовника, пестующего клумбу.

Людей, поливающих автомобиль из шланга.

Молодой человек готов отказаться от того, чтобы войти в этот сад.

Ворота.

Молодой человек смотрит.

Из ворот выходит Цитронов с двумя овчарками.

Молодой человек останавливается.

Свирепое равнодушие псов.

Цитронов. Вам кого?

Молодой человек не успевает ответить.

Издали кричит Маша:

— Гриша, Гриша!

До того, как она позвала, она шла быстро, почти бежала.

Позвавши, она пошла медленно.

Молодой человек оглянулся.

Она приближается к нему.

Он стоит смущенный и взволнованный.

Есть тип мужской наружности, который выработался как бы в результате того, что в мире развилась техника, авиация, спорт. Из-под кожаного козырька шлема пилота, как правило, смотрят на вас серые глаза. И вы уверены, что когда летчик снимет шлем, то перед вами блеснут светлые волосы. Вот движется по улице танк. Вы смотрите. Под вами трясется почва. Вдруг открывается в спине этого чудовища люк, и в люке появляется голова. Это танкист. И, разумеется, он тоже оказывается светлоглазым.

Светлые глаза, светлые волосы, худощавое лицо, треугольный торс, мускулистая грудь — вот тип современной мужской красоты.

Это красота красноармейцев, красота молодых людей, носящих на груди значок «ГТО». Она возникает от частого общения с водой, машинами и гимнастическими приборами.

Вот такого вида молодой человек стоит сейчас перед Машей, на траве, среди ромашек, в ярком сиянии солнца.

Встреча.

Цитронов удаляется с собаками.

Оглядывается на молодых людей.

12

На даче.

За столом.

Степанов, Цитронов, молодой человек, Маша.

Обедают.

Цитронов. Ну, как вы находите, коньяк хороший?

Молодой человек. Очень.

Цитронов. Это любимая марка Юлиана Николаевича. Ему важные лица присылают.

Молодой человек. Кто присылает?

Цитронов. Важные лица. Почему вы удивились?

Молодой человек. Я не удивился. Я просто не расслышал.

Маша уходит из-за стола.

Степанов встревожен.

Внутри дома.

Маша. Запрети ему так разговаривать с Гришей. Это возмутительно.

Она не хочет возвращаться к столу.

Маша. Зачем ты держишь этого человека при себе?

Степанов. Ну, Машенька, это мой друг.

Маша. Неправда, тебе нравится, что он тебе льстит.

За столом.

Молодой человек. Таких людей, как Юлиан Николаевич, мало.

Цитронов. А таких, как вы? Много?

Молодой человек понимает, что на него ведется атака.

Улыбнувшись, он говорит:

— Да, много.

Маша и Степанов возвращаются к столу.

Цитронов. Оказывается, Юлиан, и в социализме есть много и есть мало.

В саду.

Маша. А ты не прогуляешься с нами?

Степанов. Нет, Машенька, я уж стар. Мне после обеда посидеть хочется.

Двое остались у стола: Степанов и Цитронов.

Идут Маша и молодой человек.

За столом.

Степанов. Что ж, это вполне естественно.

Цитронов. Что естественно?

Степанов. Что ей нравится этот юноша.

Цитронов. Только он беден.

Степанов. К чему ты это говоришь?

Идут молодые люди. Тесней.

Цитронов. Я тебя успокаиваю.

Сад.

Беседки.

Стоит вымытый, сверкающий автомобиль.

Идут молодые люди. Еще тесней.

Цитронов. Она от тебя не уйдет. Никогда. Она привыкла к роскоши.

На кухне.

Повар.

Объедает птичью ногу. Запивает вином.

В спальне.

Домработница прячет в шкаф белье Маши.

Дорогое белье.

Тесно идут молодые люди.

За столом.

Степанов. Ты хочешь сказать, что я ее купил?

Цитронов. Да.
Совсем тесно идут молодые люди.
За столом.
Степанов хватает бутылку.
Цитронов тотчас же вскакивает.
В панике. Отбегает в сторону.
Кричит голосом, в котором страх и мольба:
— Юлик! Юлик!
Сбегает в сад, часто — панически — оглядываясь:
— Юлик! Юлик!
Степанов отпускает горлышко бутылки.

13

Встает.
Уходит.
Высокая белая дверь со стеклом.
Это дверь в библиотеку.
В библиотеке. Стена книг.
Но здесь не затхло. Потому что за окнами сад.
Это соседство создает в комнате воздушность.
Каждая вещь, даже поставленная в дальний угол, отражает небо, ветвь, облако.
Ходит по библиотеке Степанов.
Его гнев еще не улегся.
Курит.
Цитронов у двери.
Тихонько стучит. Говорит:
— Юлик... Пусти меня. Юлик... Не сердись... Я ужасную вещь сказал... Она тебя любит, Юлик... Я знаю... Безумно любит...

14

Возвращаются на дачу молодые люди.
Маша оставляет молодого человека в саду.
Молодой человек один.
Маша в библиотеке.
Маша.
Степанов.
Маша. Гриша уезжает. Можно взять машину? Я его отвезу до станции.
Степанов и Маша выходят в сад.
Идут по саду.
Молодой человек один.
Присоединяется к ним.
Сзади плетется Цитронов.
Степанов говорит:
— Приходите к нам десятого. У нас будет прощальный вечер. Я ведь уезжаю в Лондон. На международный конгресс по раку.

15

Маша возится возле машины.

Молодому человеку очень трудно в данную минуту.

Ему хочется смотреть на Машу.

Но перед ним великий доктор.

Он студент и комсомолец и полон уважения к этому замечательному человеку. Ему нельзя отвернуться и смотреть на Машу. Он слушает доктора и смотрит ему в глаза, но это неестественное и мучительное напряжение.

— Да,— говорит он.— Я знаю. Вы будете доклад делать. А какая тема?

Ему,— почти что виском,— удалось увидеть Машу. В соединении с элегантной машиной она ему кажется особенно милой.

Вмешивается Цитронов:

— Какая тема? Текущие дела, молодой человек. Как вы можете спрашивать, какая тема? Ведь вы не специалист. Тема: воскрешение людей. Юлиан Николаевич буквально людей воскрешает. А вы так небрежно спрашиваете, как будто это доклад в месткоме.

Молодой человек растерян.

Цитронов. Удивительная развязность... Человек находится в доме великого ученого...

Степанов. Пошел вон!

Цитронов стоит.

Степанов. Ты слышишь, что я тебе говорю?

Цитронов удаляется по направлению к веранде.

Степанов. Он, понимаете, усвоил себе манеру хвастаться мною...

Маша. Тебе это нравится.

Степанов. Глупости говоришь.

Прощаются.

Автомобиль уезжает.

16

Некая лужайка вне дачи.

Ромашки.

Стоят на лужайке Степанов и Цитронов.

Отсюда им видна дорога. Это порядочная даль.

Воздух прозрачен. Они видят детали далекого ландшафта, ставшие очень миниатюрными. Маленькие деревья. Маленькие кусты. Маленькие дома. Появляется стремительно скользящий маленький автомобиль.

17

Дорога.

Остановившийся автомобиль.

Водительница и седок возле него.

Какая-то неисправность в моторе.

Молодой человек принимается исправлять.

На лужайке.

Цитронов бежит с биноклем.

Степанов смотрит в бинокль. Крутит шарниры.

Автомобиль и двое молодых людей, видимых в бинокль.

Степанов налаживает видимость.

И от этого происходят изменения очертаний автомобиля и молодых людей.

Вдруг они становятся менее четкими. Заволакиваются туманностью.

И только постепенно картина приобретает прозрачность.

На лугу.

Степанов смотрит в бинокль.

Он большой. Столбы ног.

Большие ступни.

Среди ромашек.

18

У автомобиля.

Молодой человек занят исправлением мотора.

М о л о д о й ч е л о в е к. Мне снилось, что на стадион приехала такая вот машина. И за рулем женщина. Я смотрю издали... кажется, вы. Шляпа такая, похожа издали. Неужели она, думаю.

М а ш а. Ну и что ж... Это я была?

М о л о д о й ч е л о в е к. Нет. Я побежал... Вдруг она выходит из автомобиля... И я вижу: иностранка... Немка, с носом, в очках... Очень некрасивая.

19

На лугу.

Степанов отнимает бинокль от глаз.

— О чем они говорят, интересно.

Поднимает бинокль.

Видит молодых людей, автомобиль.

Молодые люди разговаривают.

Он видит: движутся губы. Маша смеется. Надо полагать, громко.

Но Степанов ничего не слышит. Это для него немое кино.

На дороге.

Автомобиль уезжает.

На лугу.

Степанов и Цитронов покидают луг.

Автомобиль разворачивается на площадке недалеко от перрона.

Молодой человек поднимается на перрон. Оглядывается.

Автомобиль удаляется.

Молодой человек смотрит.

Маша останавливает машину, кричит:

— Так не забудьте, Гриша. Десятого вечер.

Он машет рукой.
Автомобиль уезжает.
Гриша стоит на перроне.
Ждет поезда.

20

Гриша Фокин возвращается домой.
Вечер.
Он живет в большом доме, в коммунальной квартире, вместе со своей старой матерью.
Молодой человек поднимается по лестнице.
Комната.
Он входит.
Рабочий стол.
Книги.
Сын зовет:
— Мама!
Матери нет.
Открывается дверь в коридоре. Выглядывает мать.
Говорит:
— Гриша! Я тут.
Она у соседки.
Комната соседки.
Зеркало.
Соседка сидит перед зеркалом.
Смотрит в зеркало.
Мать в дверях.
Подходит сын.
Видит, что соседка сидит перед зеркалом.
Соседка.
Зеркало.
Соседка говорит:
— Здравствуйте, Григорий Иваныч.
Сын. Почему вы так часто в зеркало смотрите, Катя?
Соседка. Потому что я некрасивая.
Сын. Это ничего, Катя. Красота — понятие диалектическое. Оно возникает только между двумя. Никогда не известно, какой человек один, сам по себе: красивый или некрасивый. А когда приходит к человеку другой человек и говорит: «Я тебя люблю», то первый сразу становится красивый. Понимаете?
Соседка. Да?
Сын. Ну конечно!
Соседка. А ко мне уже пришел человек и сказал: «Я тебя люблю».
Сын. Значит, вы уже красивая.
Соседка. Да?
Сын. Ну, конечно.
Берет зеркало.

Смотрит.
Спрашивает:
— Мама, а я красивый?
Мать. Ну конечно.
Сын. Но мне еще не сказали: «Я тебя люблю».
Соседка. Но все-таки вы красивый.

21

Утро.
На стадионе.
Ходы. Переходы.
Лестницы.
Дорожки.
Площадки.
Трава.
Деревья.
Афиши.
Цифры, написанные известью на песке.

22

Происходит тренировка.
Группа молодых людей. Отдыхают. Девушки и юноши.
Яркий летний день.
Высокие деревья.
Огромное небо.
Внизу на площадке группа прыгунов с шестом.
Среди них Гриша Фокин.
К группе отдыхающих поднимается молодой человек с диском. Дискобол.
Фокин видит снизу: идет Дискобол.
Фокин смотрит.
Медленно поднимается по лестнице Дискобол.
Дискобол. Он обнаженный. Только короткие трусы на нем.
1-й молодой человек. Он составил третий комплекс «ГТО».
Группа отдыхающих. Разговор.
Загорелый. В руках тяжелый каменный диск.
Девушка. Гриша Фокин.
2-й молодой человек. Кто составил?
Третий. Какой же это комплекс?
1-й молодой человек. Моральный.
Сидит Дискобол.
Как будто не слушает.
Третий. Что это значит?
Девушка. Неужели ты не понимаешь?
Третий. Нет.
Первый. Комплекс душевных качеств. Какие душевные качества должен выработать в себе комсомолец?

Дискобол перекладывает диск на другую сторону. Как будто не слушает. Сидит, несколько облокотившись. Загорелое тело блестит на солнце.

Первый. Например?

Девушка. Неужели ты не понимаешь?

Первый. Скромность. Это во-первых. Чтобы не было грубости и развязности. Дальше: искренность. Чтобы говорить правду. Дальше: великодушие...

Второй. В каком смысле?

Девушка. Неужели ты не понимаешь?

Первый. Чтобы не радоваться ошибкам товарища.

Дискобол сидит.

Первый. Щедрость. Чтобы изжить чувство собственности.

— Затем сентиментальность.

Дискобол. Ах, и сентиментальность?

— До известной степени. Чтобы не только марши любить, но и вальсы.

Девушка. Дальше, дальше, ну?

— Жестокое отношение к эгоизму.

Девушка. Правильно.

— Ну, и целомудрие.

Дискобол. Как целомудрие?

Девушка. Неужели ты не понимаешь?

Гриша Фокин на кругу. Солнце. Трава. Ромашки.

Дискобол сидит.

Второй. Так ведь это буржуазные качества.

Первый. Нет, это человеческие качества.

Второй. Что это значит — человеческие?

Девушка. Неужели ты не понимаешь?

Первый. Буржуазия извратила эти понятия. Потому что была власть денег.

Девушка *(быстро)*. А раз теперь власти денег нет, то все эти чувства получают свою чистоту. Неужели ты не понимаешь?

23

Подъезжает к стадиону автомобиль.

Автомобиль останавливается.

Выходит Маша.

С высоты смотрит молодой человек в бинокль.

Подзывает девушку.

— Лиза! Иностранцы приехали.

Сенсация.

Смотрят теннисисты.

Смотрит севший на параллельные брусья легкий атлет. Он вытирает руки платком.

Группа отдыхающих. Головы повернулись на крик молодого человека с биноклем.

— Что такое?
Девушка. *Иностранцы приехали.*
Маша на территории стадиона.
Автомобиль стоит. Кукла в окне.
Дискобол видит Машу.
Общий интерес к идущей по территории стадиона незнакомке.
Она вела машину.
Она очень элегантна.
В автомобиле сидит доктор Степанов.
Маша оглядывается.
Посылает мужу рукой приветствие.
Солнце. Пространство. Маша стоит, подняв руку.
Доктор Степанов не отвечает. Маша скандализована тем, что он не отвечает.
Еще раз повторяет жест.
Маша с поднятой рукой.
Доктор Степанов закуривает.
Маша возвращается к автомобилю.
— Ты что... сердишься?
Молчание.
— Неужели ревнуешь? Как тебе не стыдно.
Молчание.
На стадионе наблюдают эту сцену.
Дискобол и Фокин.
Фокин в халате.
Дискобол. Это что? Она?
Фокин вспоминает сон. У него сильно бьется сердце. Он ничего не может ответить.
Девушка *(сверху)*. Почему ж ты стоишь, Гриша? Тебе надо подойти. Неужели ты не понимаешь?
Стоят Дискобол и Фокин.
Дискобол. Какое моральное качество по твоей теории ты в данную минуту вырабатываешь? Застенчивость? По-моему, трусость.
У автомобиля.
Маша *(в сердцах)*. Пожалуйста. Поедем обратно.
Доктор *(с раздражением)*. Нет, уж теперь неудобно. Поскольку все видели.
Дискобол идет по полю.
В большом пространстве движется темная сверкающая фигура атлета.
Мерно размахивает рукой, которая кажется прямой оттого, что в ней тяжесть диска.
Девушка возле Фокина.
Фокин весь устремлен вперед.
Идет Дискобол.
У автомобиля.
Доктор Степанов.
Маша оглядывается на приближающегося Дискобола.

Тот идет. Подошел. Кланяется.

— Вы приехали, чтобы увидеть Гришу Фокина?

Маша. Да.

Дискобол. Он знает, что вы приехали. Он вас видел. Но он прячется.

Маша. Прячется?

Дискобол. Да. Ему страшно на вас смотреть, потому что он вас любит.

Девушка. Фокин.

Фокин отталкивает Девушку.

Ринулся.

Уже он стоит в группе возле автомобиля.

Фокин. Что он сказал? Что ты сказал? Маша...

Дискобол. Я сказал, что ты любишь... вот... гражданку...

Доктор Степанов. Маша, я думаю, что разговор глупый.

Маша. И весь стадион знает об этом?

Фокин. Нет, нет, Маша... Никто не знает. Только он. Мой друг.

Маша садится за руль.

Скандал. Доктор Степанов возмущен.

Он говорит:

— Странно. Очень странно. Как во сне. Подходит голый человек и говорит, что кто-то любит мою жену.

Уезжает автомобиль.

Стоит Фокин. Обескураженный.

Смотрит вслед удаляющемуся автомобилю.

Подальше стоит Дискобол.

Девушка подбегает.

Дискобол говорит:

— Ведь я прав. По его теории комсомолец должен говорить правду. Вот я сказал правду.

Фокин стоит.

Автомобиль удаляется.

Дискобол зовет:

— Гриша!

Тот недвижим.

Дискобол опять:

— Гриша!

Тот недвижим.

Дискобол еще раз:

— Гриша!

Тот недвижим.

Девушка. Он ничего не слышит. Неужели ты не понимаешь?

Тогда Дискобол разворачивается и кидает диск.

Диск падает у ног Фокина.

Тот недвижим.

24

Перед нами стоит доктор Степанов.

Обращаясь к невидимому собеседнику, он говорит по-английски. Интонации и жесты его несколько напыщенны.

Он как бы изображает оратора.

Это происходит в библиотеке.

Маша сидит за столом.

Перед ней листы и раскрытые книги.

Оторвавшись от работы, она слушает мужа.

Маша. Что это ты сказал?

Степанов. Достопочтенные джентльмены! Заканчивая свой доклад, я хочу перечислить моих коллег, помощников и аспирантов, участвовавших в работе, результаты которой только что были предложены вашему вниманию, достопочтенные джентльмены. На первом месте должен поставить я имя моей жены... Это я скажу на международном конгрессе в Лондоне.

В саду.

Сидит в плетеном кресле Цитронов.

В библиотеке.

Маша за столом.

Степанов берет лист.

Говорит:

— Эти страницы ты помечай римскими цифрами. И потом, достопочтенная леди, вы спутали. Мы имеем в виду не Бруна Вебера, а Вальтера Вебера...

25

В саду.

Цитронов встает.

Смотрит на окна библиотеки.

В окне Степанов.

Кричит:

— Хочешь сигару, Федор?

Цитронов. Очень.

Направляется к веранде.

Степанов стоит на веранде, протянув сигару.

Цитронов. У тебя, я вижу, улучшилось настроение. Вы что? Помирились?

Степанов. Да. Мы решили больше его не принимать у нас. Ты подумай... Имя Маши треплется по всему стадиону. Этому надо положить предел.

Цитронов. А вечер? Завтра вечер. Ведь вы его приглашали.

Степанов. Подумаешь... Можно отменить приглашение.

26

Театр.

Театральная костюмерная.

Портной. Он старичок.

Шьет.
Идет по театру Дискобол.
Это оперный театр.
Утро в театре.
Слышна ария репетирующего тенора.

27

Дискобол слушает.
Ходы. Переходы.
Балерины репетируют.
В коридоре встречает Дискобол балерину.
Она шла на сцену.
Она в пачках.
Балерина видит перед собой красивого юношу.
Дискобол видит перед собой красивую девушку.
Оба останавливаются.
Затем она исполняет роль его проводника.
Куда они идут?
Сейчас это выяснится.
Театр днем.
Ходы. Переходы.
Поет тенор.
Дверь в подземелье театра.
Щелочка. Балерина и Дискобол. Он заглядывает.
Потом благодарит балерину.
Дискобол входит в комнату.
Это костюмерная мастерская.
Дискобол стоит в дверях. Говорит:
— Дядя!
Оглядывается старичок.
Это портной. Он радостно улыбается. Кивает головой.
Говорит:
— Здравствуй, Коля!
Дискобол входит, садится.
Говорит:
— Дядя, мне нужен фрак.
Шкафы. Ряд шкафов.
Племянник и дядя идут вдоль шкафов.
Дядя открывает один из них. Висят фраки.
Старичок говорит:
— Но ты вернешь, Коля. Я ведь отвечать буду. Я, Коля, преступление делаю.
Дискобол рассматривает фраки. Ноль внимания на дядю.
Старичок. Я, Коля, преступление делаю.
Старичок с фраком. Фрак на столе. Все дополнение к фраку.
Старичок достал большую коробку.
Дискобол покуривает.

Старичок, упаковывая фрак, говорит:
— Это из «Травиаты» фрак. Я, Коля, преступление делаю.
Дискобол ноль внимания на дядю.
Берет пакет.
Идет к дверям.
Старичок за ним:
— Слышишь, Коля? Это из «Травиаты» фрак.
Закрывается за Дискоболом дверь.
Театр.
Выходит из театра Дискобол с пакетом.
Высоко в одном из окон театра появляется балерина.
Надо полагать, она смотрит на юношу.
Дискобол оглядывается.
Балерина в окне.
Слышны очень отдаленные звуки репетирующего оркестра.
Переулок.
Дискобол появляется в переулке.
Раскрытое окно в первом этаже.
Дискобол подходит к окну. Стучит в стекло откинутой створки.
В окне появляется мальчик.
Дискобол оборачивается.
Взмахивает рукой, указывая мальчику на дом.
Мальчик смотрит.
Дом. В этом доме живет Гриша Фокин. Его окно.
Свешивается с подоконника белая спортивная фуфайка.
Мальчик кивает головой.
Дискобол кладет коробку на подоконник. Затем указывает мальчику на белеющий вдали циферблат башенных часов.
Мальчик кивает головой.

28

В комнате Гриши.
Он собирается бриться.
Раскладывает бритвенные принадлежности.
Мать ставит стакан с водой.
Сын. Все-таки я не знаю, мама, идти или не идти.
Мать. Ты сам говорил, что комсомолец должен быть решительным.
Сын. Да... Но ведь они уехали со стадиона, не сказав мне ни слова.
Лестница. Поднимаются по лестнице Дискобол и та девушка, которая была на стадионе.
Она возбуждена.
Она что-то говорит Дискоболу.
Он идет на ступеньку впереди. Но она его останавливает. Поэтому восхождение совершается несколько сумбурно.
Девушка говорит:

— Нужно, чтобы исполнялись все желания, тогда человек будет счастлив. Неужели ты не понимаешь? А если желания не исполняются, тогда человек делается несчастным. Нельзя подавлять желания. Подавленные желания вызывают горечь. Есть такая теория. Хочется сесть на ступеньку — садись.

Девушка садится на ступеньку.

— Хочется встать — встань.

Девушка встает.

29

В комнате Фокина.

За шкафом. Мать завязывает сыну галстук.

Распахивается дверь.

Входят Девушка и Дискобол.

Девушка. Это так просто. Хочется подпрыгнуть — подпрыгни.

Подпрыгивает.

Мать выглядывает из-за шкафа. Ничего не понимает. Почему подпрыгивает девушка?

Девушка. Хочется опрокинуть стакан — опрокинь.

С запальчивостью фанатика опрокидывает стакан.

Опрокинутый стакан.

Вода на клеенке.

Девушка, опрокинув стакан, немедленно садится — усталая, как балерина. Обмахивается.

Говорит:

— Фу, как я устала от своей разнузданности!

Сын выходит из-за шкафа.

Видит стакан, лежащий набоку, воду на клеенке.

Спрашивает:

— Что с тобой происходит?

Девушка. Человек не должен подавлять желаний. Захотелось вылить воду, вот я и вылила.

Сын. Так. Тебе захотелось вылить? А может, тебе и вытереть захочется?

Девушка *(развалившись)*. Нет, еще не хочется.

Фокин (*с легкой угрозой*). Ах, не хочется?

Девушка *(вскочила)*. Хочется. Хочется.

В дальнейшем вытирает стол.

Дискобол смотрит на Гришу.

Спрашивает:

— Ты так и пойдешь?

Фокин. Как «так»?

Дискобол. Тебя не пустят в таком виде. Там все будут во фраках. Это советские аристократы.

Фокин не отвечает.

Уходит.

30

Фокин стучит в дверь зеркальной соседки. Та открывает. Увидев расфрантившегося Фокина, отступает назад. Всплескивает руками.

Фокин в комнате у соседки.

Зеркало.

Фокин смотрит в зеркало.

Находит, что здесь темно.

Берет зеркало.

Выходит на площадку.

Соседка за ним.

Фокин передает соседке зеркало.

Соседка держит перед ним зеркало.

Здесь светло.

Фокин, не успев отразиться, видит в зеркале Цитронова.

В комнате.

Цитронов в дверях.

Он обводит всех взглядом.

Видит мать,
Дискобола,
Девушку,
Фокина.

Дискобол стоит, сложив на груди руки, они готовы скреститься. Рукава завернуты. Под легкой тканью рубашки угадывается выпуклое сплетение мускулов.

Девушка стоит с ним рядом. Тяготеет к его локтю. Как бы уходит от опасности за его локоть.

Цитронов.

Он в шляпе. С тростью.

Обращаясь к Фокину, говорит:

— Доктор Юлиан Николаевич Степанов и его супруга Мария Михайловна отказывают вам от дому. Эта формула вам понятна?

Мать восклицает:

— Почему отказывают?

Цитронов бросает презрительный взгляд в сторону матери. Затем говорит:

— Просят вас больше не бывать.

Фокин *(тихо)*. Хорошо.

Стоит Дискобол, скрестив руки. Девушка рядом. Тяготеет к локтю.

Цитронов. Вы сами сказали, что таких, как доктор Степанов, мало, а таких, как вы, много. Это верно?

Фокин. Да.

Дискобол от возмущения весь приходит в движение. Девушка еще дальше уходит за локоть.

Цитронов. Стало быть, вы согласны, что социализм — это неравенство?

Фокин. Говорите проще. Уравниловки, конечно, не должно быть.

Цитронов. Чего не должно быть?

Фокин. Уравниловки.

Цитронов. Это не философский термин.

Ф о к и н. Нет, философский.

Девушка выходит из-за локтя. Подходит к Фокину и целует его. И, сделав это, объясняет Дисколу, глядя на него снизу:

— Мне захотелось его поцеловать. Надо исполнять желания. И опять уходит за локоть.

Ф о к и н. Кто вас послал?

Ц и т р о н о в. Доктор Степанов и Маша.

Ф о к и н *(хрипло)*. И Маша?

Ц и т р о н о в *(смакуя паузу)*. Да, и Маша.

Фокин стоит с опущенной головой.

Цитронов держит трость. Можно подумать, что он хочет подкинуть тростью опущенную голову юноши.

Ц и т р о н о в. Ну? Почему ж вы опустили голову? Хочется на вечер? Да? Там красиво у нас,— правда? За оградой. Цветы. А сегодня будут гости, будет праздник, будет концерт. Будет Маша сверкать в бальном платье. Как приятно сидеть за ужином напротив любимой. Она ест пирожное, вы смотрите на нее, и вам кажется, что каждый ее глоток похож на поцелуй. Но у вас и фрака нет. У вас есть фрак? Нету? Ну, ладно. Я заболтался.

Прощайте, молодые люди.

Прощайте, серенький...

Живите своей серенькой жизнью...

Д е в у ш к а *(ее прорвало)*. Это фашистское освещение коммунизма. Неужели вы не понимаете?

Дискобол отталкивает Девушку. Сдерживает гнев. Говорит:

— А вы кто такой?.. Как вы смеете так разговаривать?

Ц и т р о н о в. Я? Я подчеркиватель неравенства.

Дискобол сжимает кулаки.

Говорит, обращаясь к Девушке:

— Как ты говоришь, Лизочка? Надо исполнять желания? А если у меня есть желание дать этому человеку по морде?

Д е в у ш к а. Не подавляй желания. Бей.

Дискобол наступает на Цитронова.

Ц и т р о н о в *(подняв ладонь)*. Но, но...

Фокин хватает Дискобола за руку.

Это очень сильная хватка.

Порыв Дискобола пресечен.

Дискобол застывает.

Цитронов уходит в дверь.

Д и с к о б о л. Чужая ограда.

Ах ты подлец! Подчеркиватель неравенства — ты слышал? Это, значит, неверие... полное неверие в нас... в молодых... в наши силы, умы... в культуру. Ты понял?.. Гришка, как он смеет? Мы тоже будем великими... Как он смеет? Пусти меня. Его надо убить...

По лестнице идет мальчик с пакетом.

Входит в дверь.

Площадка. Некоторое время она пуста.

Мальчик выходит из дверей.

Спускается по лестнице.

Площадка. Некоторое время она пуста.

Вдруг распахиваются двери. Вылетает вытолкнутый Дискобол.

Затем вылетает Девушка.

Затем вылетают фрак, манишка.

Фрак повисает на перилах.

Дискобол *(потирая лопатки)*. Я нарочно послал фрак. Чтобы он понял. Чтобы ему стыдно стало.

Оборачивается на дверь. Кричит в чрезвычайной обиде:

— Дурак, размазня! Эх, ты. Я тебе покажу. Надо бороться за свое... Э-эх... Если бы я был на его месте... Я бы отбил Машу у этого профессора. Комсомолец должен быть смелым.

Выходит на площадку Фокин. Говорит:

— Все дело в том, что Маша меня не любит. Не любит, и кончено. Его любит. А меня нет. Вот и все. Комсомолец должен быть точным.

Дискобол. А хочешь — я надену фрак и пойду на бал?

Девушка. Ой, да. И принеси пирожных. Он так аппетитно говорил о пирожных.

Дискобол. Слышишь, Гриша? Надену фрак и буду целоваться с Машей...

Фокин срывает фрак с перил, размахивает им.

Дискобол. Гришка! Что ты делаешь? Это фрак из «Травиаты».

Фокин кидает фрак на Дискобола.

32

Вечер на даче у доктора Степанова.

У въезда автомобили. Новейшего типа, сильные, комфортабельные дорогие машины. Куклы в окнах, зверьки, розы.

В саду.

Фонари. Столики.

Бутылки в запотевших от холода ведрах. Снеговые салфетки. Пирамиды фруктов. Грани хрусталя.

Цветы, упавшие на гравий.

Чуть втоптанные в гравий цветы.

Летают мотыльки вокруг фонарей.

Падают на скатерть.

Гости.

Группа иностранцев.

Среди них семья: муж, жена и сын-подросток. Он в смокинге, подстриженный, со вздернутым носиком, блондин, с вихорком на макушке — подвижной, но послушный. Рвется вперед, но оглядывается на родителей.

Появляется Маша.

Маша идет по саду. Одна.

Все смотрят на Машу.

Вид Маши, ее ход, движение складок ее платья — так странно, так красиво, так необычно, что подросток не выдерживает и, выбежав вперед, хлопает в ладоши.

Маша приглашает гостей в залу.

Зала.

Рояль.

Гости.

Доктор Степанов и Маша.

Сад. Слышны звуки рояля.

Через ограду лезет Дискобол.

Он во фраке. Атлет. Сажень в плечах. Сверкают лаковые ботинки. Он перелез.

Он идет.

Звуки рояля.

Дискобол садится за столик. Скатерть. Бокал. Мотылек ходит по кругу бокала.

В зале.

Играет пианист.

Гости.

Входит в зал Дискобол.

Маша его видит.

Он видит Машу.

Маша заволновалась.

Играет пианист.

Маша встает.

Идет к Дисколу.

Пианиста раздражает движение.

Он перестает играть.

Маша, услышав тишину:

— Что?

С т е п а н о в. Ты нам мешаешь, Маша. *(К пианисту.)* Извините, пожалуйста.

Пианист продолжает играть.

Маша смотрит на Дискобола.

Дискобол смотрит на Машу.

Маша улыбается.

Дискобол улыбается.

Пианист перестает играть.

М а ш а. Что?

С т е п а н о в. Ты нам мешаешь, Маша. *(К пианисту.)* Извините, пожалуйста.

Пианист продолжает играть.

К Маше сел мотылек на плечо.

К Дисколу сел мотылек на плечо.

Пианист перестает играть.

М а ш а. Что?

С т е п а н о в. Ты нам мешаешь, Маша.

Маша. Что?
Появляется Фокин.
Кричит:
— Что это значит — «она мешает»? Она — сама музыка.
Гости столбенеют.
Фокин подходит к Маше. Говорит:
— Она — сама музыка. Маша...
Она поднимается ему навстречу.
Фокин говорит:
— Вот ее движение. Слушайте.
Он поднимает ее руку.
Рука поет.
Он гладит ее по голове.
Говорит:
— Вот ее осанка. Слушайте.
Волосы поют.
Он кладет ей голову на грудь. Говорит:
— Вот ее сердце. Слушайте.
Сердце поет.
— Вот ее поцелуй. Слушайте.
Он целует ее.
Поцелуй поет.
Пианист падает головой на рояль.
Подросток стоит, высоко подняв цилиндр.
А Дискобол в саду.
Он берет поднос с пирожными.
Появляется Цитронов.
Он бежит за вором.
Вор с подносом лезет через ограду.
Выбегает публика.
Все стоят полукругом.
Отпрянули.
Боятся.
Вор сидит на ограде.
Цитронов бросается за ним.
Вор, как Чаплин, кидает в него пирожными.
Кремовые пирожные.
Лицо Цитронова залеплено кремом.
В зале.
Фокин у ног Маши.
Целует ее, обнимает.
Вся она поет. Мелодия Маши.
Слезы текут по ее лицу.
Слезы падают на лицо Фокина.
Музыка.
Фокин просыпается.
Он спит под березами.
Дождь.
У него лицо мокрое от дождя.

Вдали дача.

Отъезжает автомобиль.

Закрываются ворота.

Сторож, садовник.

Сторож говорит:

— Бал отменили. Еще с утра. Хозяина вызвали на операцию... Кто-то важный заболел.

33

Гриша Фокин возвращается домой.

Раннее утро.

Мать спит за ширмой.

В комнате, оказывается, гость. Дискобол.

Дискобол. Ты где был?

Фокин не отвечает.

Дискобол. Ну, ясно.

Голос матери из-за ширмы:

— Гриша!

Сын. Спи.

Молчание.

Дискобол. Я, Гриша, приходил сегодня вечером к Ольге. Я хотел поговорить с ней. Но, оказалось, она больна. Меня к ней не пустили. Тогда я пришел сюда. Тебя не было, я решил ждать и просидел всю ночь.

Фокин. О чем ты хотел говорить с Ольгой?

Дискобол. О докторе Степанове... Гриша, послушай меня... Я хотел спросить Ольгу, не совершает ли доктор Степанов страшного преступления против нашего общества... Против общества, которое вскоре будет бесклассовым.

Фокин. Ну, ну, говори. Я знаю, что ты хочешь сказать...

Дискобол. Знаешь? Я хочу сказать о самом главном законе, который ляжет в основу всех законов бесклассового общества...

Фокин. Какой это закон?

Дискобол. Не может быть власти человека над человеком... правда?

Фокин. Правда.

Дискобол. Ведь он... этот великий человек... Он злоупотребляет своим величием... Он прислал к тебе человека, который издевался над тобой... Прислал собаку, чтоб травить тебя... Ты подумай. Ведь это так... Ведь ты не знаешь... А, может быть, она... Маша... любит тебя...

Фокин. Нет.

Дискобол. Нет? Ты убежден, что нет?

Фокин. Убежден.

Дискобол. Неправда. Просто от большого уважения к нему... ты уговариваешь себя... что она тебя не любит... Чтоб устраниться и не мешать ему жить... Ты хороший комсомолец... вот в чем дело. Если

партия заботится о нем, то ты не считаешь себя вправе нарушать его счастье. Это так, Гриша, так...

Фокин. Молчи. Слышишь, молчи.

Дискобол. Как жаль, что заболела Ольга... Она все знает. Она объяснила бы все... Есть ли это власть человека над человеком, или нет...

Фокин. Это чистая власть. Он не банкир... Он великий ученый, он гений... Ты слышишь?

Дискобол. А власть гения остается?..

Фокин. Власть гения? Поклонение гению? То есть науке? Да. Остается. Для меня — да. Для комсомольца. Да. Я согласен на все... Я устраняюсь... Слышишь? Да... Вот я говорю тебе... Да... Влияние великого ума... Это прекрасная власть.

Дискобол. Ах, как жаль, что больна Ольга... Она бы все объяснила мне...

Голос матери из-за ширмы:

— Гриша!

Сын. Ну, что тебе?

Мать. Ты говоришь, что таких, как ты, много, а он один?

Сын. Да.

Мать. Ты тоже один!

Сын. Для тебя.

Мать. Да.

Сын. Ты мать. Ты должна думать, что твой сын лучше всех.

Мать. Да, ты лучше всех.

Сын. Для тебя, для матери. А для страны?

Мать. Гриша! Но ведь и страна состоит наполовину из матерей.

Сын *(к Дисксболу)*. А ты знаешь? Кажется, старушка права.

Стук в дверь.

Тревожный стук в дверь.

Вбегает Девушка.

— Товарищи! Ольга умирает... Ребята приходили. Ее в клинику увезли.

Дискобол. Что ты говоришь?

Мать. Какая Ольга, Гриша?

Дискобол. Ну Ольга. Член ЦК комсомола. Помните... была у нас. Такая красивая.

34

В палате.

Больная.

Ее лицо.

Возможно, она кореянка.

Или татарка.

Или казачка.

Или метиска — происшедшая от смешения азиатской и русской крови.

Глаза оттянуты к вискам. Скуластость.

Лицо это красиво той удивительной филигранной, кукольной древней красотой, которая бывает свойственна людям желтой расы.

Теперь это лицо искажено страданием. Смерть рассматривает его. Низко наклонившаяся смерть.

35

Палата.
Больная.
Персонал.
В приемной.
Толпятся молодые люди.
Реплики:
— Немедленная операция.
— Бедная Ольга!
— А кто будет делать операцию?

36

Операционная.
Она оборудована по последнему слову техники.
Идут приготовления.
Хирург Степанов моет руки.
Абсолютно спокоен.
Рядом моет руки ассистент.
Степанов говорит:
— Что вам привезти из Лондона, Иван Германович? Шляпу?
Ассистент. Шляпу. Можно шляпу. Хорошо. Шляпу.
Палата.
Больная.

В приемной.

Пожилой человек — по виду рабочий — пьет воду. У него дрожит рука. Рядом с ним сидит молодой моряк. Пожилой человек прячет голову на груди моряка.

Группа: Дискобол, Девушка.
Девушка. Это ее муж, неужели ты не понимаешь?
Операционная.
Последние приготовления.
Степанов стоит, подняв руки. На них надевают перчатки.
Он в маске.
Столик. Шприц.
Лицо больной.

В приемной.
Все сидят.
Неподвижность.
Часы.
Небольшая комната.
Цитронов в халате.

Столик. Бутылка коньяку. Стакан.
Два персика на тарелке.

В приемной.
Люди.
Часы.
По отдаленной лестнице пробегает женщина в белом.
Пожилой человек прячет голову на груди моряка.
Дискобол. Девушка.
Девушка берется за локоть Дискобола. Что-то хочет сказать ему. Она ничего не сказала, но он отстраняет ее и говорит:
— Тише!
Часы.
Операционная со стороны двора. Громадные окна.
Пролетает птица. Тень птицы на окне.
Круглый цветник во дворе. Цветы.
Лицо больной в маске.
Пожилой человек встал.
Его хватают за руки. Он отбрасывает схвативших. Опрокидывается стакан. Моряк видит стоящую вдали женщину в белом.
Неподвижное лицо женщины в белом.
Дискобол бросается вперед:
— Она умерла?

37

Операционная.
Человек в халате несет больную на руках.
Она маленькая. Он громадный.

В комнате, где сидит Цитронов.
Степанов вбегает.
Кричит:
— А какой размер шляпы? Спроси, какой размер шляпы... Спроси скорей.
Цитронов. Успокойся, Юлиан.
Подает ему персик. Тот съедает персик, как обезьяна.
Изо всей ладони ест персик. Течет сок. Вынимает рукой косточку изо рта.
Цитронов подает ему второй персик.
Он его также съедает. Говорит:
— Я обязательно заеду в Копенгаген. Копенгаген. Копен-гаген. Кто съел второй персик? Федор. Ты подлец! Подлец! Подлец! Ты съел второй персик?
Цитронов. Успокойся, Юлиан.
Подает ему стакан с коньяком.
Степанов пьет, обливаясь.
Цветник.
Цветы.
Качаются цветы.

Плачущее лицо моряка.
Моряк идет к лестнице.
Там стоит женщина в белом.
Он останавливается перед ней.
Она ладонью стирает слезы с его лица.

Часы.
Солнечный луч на часах.
Солнечный луч на волосах больной.
Девушка. Хочется подпрыгнуть — подпрыгни.
Степанов говорит ассистенту:
— Буду я вам шляпы возить, действительно. Буду я по магазинам бегать, действительно. Я, член Английской академии.
Ассистент. Да мне и не надо шляпы. Я лысый.

В приемной.
Моряк к женщине в белом:
— А температура?.. Какая температура?
Женщина в белом *(стирая слезы с его лица)*. Она жива.
Моряк. А я могу здесь подождать?
Женщина в белом. Она жива.
Моряк. А можно профессору поднести подарок?
Женщина в белом. Она жива.

38

Лестница, ведущая к Грише Фокину.
Фокин за столом.
Перед ним листки, чернильница. Он пишет.
Распахивается дверь.
Дискобол.
Вбегают в комнату Дискобол и Девушка.
Дискобол. Гриша! Он воскресил ее. Она жива, Гриша. Я видел, она умирала... Гриша... Она жива.

Палата.
Спит больная.
Спокойное лицо больной.

Комната Фокина.
Фокин.
Дискобол.
Девушка.
Дискобол. В твоем третьем комплексе «ГТО»... среди качеств, которые должен вырабатывать в себе комсомолец, должно быть перво правило,— знаешь какое?
Фокин. Я написал...
Читает:

— «Комсомолец должен равняться на лучших. Лучшие — это те, кто творит науку, технику, музыку, мысли... Это высокие умы... Те, кто борется с природой, победители смерти...»

Д и с к о б о л. Правильно.

Д е в у ш к а. Хочется жить — живи!

39

Улица.

Здание клиники.

Стоит автомобиль.

У руля Маша.

Палата.

Больная.

Светло.

Множество цветов.

Среди цветов маленькая голова больной. Над ней веером цветы. Голова больной — как головка веера.

У постели доктор Степанов.

Лица из персонала.

Молодые люди — юноши и девушки,— пришедшие навестить.

Сверкающий моряк.

Позументы на нем, пуговицы. Круглая, светловолосая, низко остриженная голова.

Доктор говорит:

— Я по роду своей деятельности — гуманист. Я вижу вокруг себя очень много страдания. Стариков, которые боятся смерти, матерей, плачущих над детьми...

Обращается к моряку.

Тот немедленно встает.

— Мне рассказывали, как вы плакали. Вот видите... вы, моряк... в каком вы чине, если перевести на старое?

Моряк *(встает)*. Адмирал.

С т е п а н о в. Вот видите. Адмирал, а плакали, как серна. Так вот... к чему я это говорю... К тому, что уничтожение капитала еще не говорит об уничтожении несчастий. Ведь это так. Жизнь человека состоит из чередующихся смен радости и печали. Это верно?

Б о л ь н а я. Верно.

С т е п а н о в *(к моряку)*. Верно?

М о р я к *(встает)*. Верно.

С т е п а н о в. И человек только тогда человек, когда он и радуется и страдает. Вам покажется обаятельным никогда не задумывающийся человек?

Б о л ь н а я. Нет.

С т е п а н о в. Но если человек задумался, значит, он или сомневается в чем-то, или надеется на что-то... В бесклассовом обществе будут задумывающиеся люди?

Б о л ь н а я. Будут.

Степанов. Когда в мире нет денежного тумана, нет разделения на богатых и бедных, то и страдание становится законной частью человеческой жизни. Так я думаю. И мне кажется, что я не ошибаюсь. И я думаю, что уметь переносить несчастья есть высшая человечность. *(К моряку.)* Верно?

Моряк *(встает)*. Верно.

Степанов. Да вы не вставайте. Что вы встаете?.. Откуда у вас такая учтивость? Такие хорошие манеры? А? Вы кто по происхождению?

Моряк. Крестьянин.

Степанов. Фантастическая вещь.

Доктор Степанов встает. Все встают.

Улыбающаяся больная.

Степанов. Ну вот. Скоро вы встанете. Читать вам можно. Что-нибудь легкое, приятное, возвышенное... Я вам пришлю... Хотите Гамсуна?

Больная достает из-под подушки листки.

Говорит:

— У меня уже есть. Спасибо. Легкое, приятное и возвышенное чтение... Я вам прочту, чем начинается. Эпиграф, хотите?

Читает:

— *«Если же ты любишь, не вызывая взаимности, то есть если твоя любовь как любовь не порождает ответной любви и ты путем твоих жизненных проявлений как любящий человек не можешь стать любимым человеком,— то твоя любовь бессильна, и она — несчастие».*

Степанов. Вот это хорошо. Замечательно. О любви. О неразделенной любви... То есть о самом волшебном соединении счастья и несчастия. В бесклассовом обществе будет неразделенная любовь?

Моряк. Будет.

Степанов. Это откуда вы прочли? Из Гамсуна? Да? Вот видите. Я угадал, что вы любите Гамсуна.

Больная. Нет, это не Гамсун.

Появляется та же цитата на экране.

И подпись

К. Маркс.

Степанов. Фантастическая вещь.

Больная. У нее листки в руках. Вынимает из-под подушки листки. Много листков.

Белизна цветов, белизна этих листков, белизна подушек и темное личико больной, и на этом темном личике — белизна улыбки.

Она говорит:

— Это знаете что? Это прислал мне мой друг, комсомолец... Третий комплекс «ГТО». Комплекс душевных качеств, которые должен вырабатывать в себе комсомолец.

Голоса:

— Прочти первый параграф.

— Первый параграф.

Больная читает:

— *«Равенства нет и не может быть. Само понятие соревнования уничтожает понятие равенства. Равенство есть неподвижность, соревнование есть движение... Равняйся на лучших. Первое правило».*

Больная прерывает чтение.

Откидывает улыбку в сторону Степанова и говорит:

— Первое правило касается вас, доктор Степанов.

Степанов слушает.

Все улыбаются.

Больная читает:

— *«Равняйся на лучших. Кто же лучшие? Лучшие те, кто изобретает машины, борется с природой, творит музыку и мысли. Отдавай дань восхищения высоким умам, науке».*

Степанов. Кто это пишет? Поэт?

Больная. Один мой друг. Будущий инженер. Студент. Гриша Фокин.

40

Доктор Степанов выходит из клиники.

Ступени.

Автомобиль.

Маши в автомобиле нет.

Степанов удивлен.

Где же она? Странная неожиданность.

Пустой автомобиль.

Странно.

Доктор Степанов видит:

стоит группа прохожих.

Они смотрят.

Произошла авария на соседней улице.

Оборвался трамвайный провод.

Толпа.

Стоят трамваи.

Стадо трамваев.

Движение остановилось.

Это своего рода театр.

Громадные масштабы.

Дома, устья улиц, переулков.

Зрители. Смотрят с крыш. Из окон. С балконов.

Толпятся на улице.

Высоко на цоколе сидит мальчик. У него осколок зеркала в руке. Он ловит солнце.

Из рук мальчика вылетают лучи. Он поворачивается. Вспыхивает звезда в руках мальчика.

Стоит автомобиль у ступеней. Пустой.

Доктор Степанов приближается к месту происшествия.

Видит: возвышается аварийная башня. Несколько человек на ней.

Где же Маша?
Где-нибудь в толпе.
Мальчик с зеркалом увидел Степанова.
Естественно, этот гражданин привлекает внимание мальчика: солидный, крупного сложения гражданин.
Он направляет в него солнечную стрелу.
Доктор Степанов ослеплен.
Маша стоит в толпе.
Смотрит на аварийную башню.
Там, на площадке, работают люди. Они в брезентовых грубых куртках, которые делают их громадными, как делает громадным человека вся одежда водолаза.
Они в рукавицах.
Работая у провода, они держат лица поднятыми.
Смотрит Маша.
Один на башне поворачивает голову.
Ему жарко.
Он снимает шапку. Падает на потный лоб светлая прядь. На темном от жары лице светятся серые глаза.
Это Гриша Фокин.
Маша смотрит.
Фокин смотрит.
Увидели друг друга.
Мальчик на цоколе.
Степанов увидел Машу. Почему у нее сияющее лицо?
Она смотрит на башню.
Степанов хочет понять, что заставляет сиять Машу.
Он смотрит туда, куда смотрит Маша.
Мальчик наводит луч на лицо Степанова.
И ослепляет его.
На башне Фокин.
На башне Дискобол.
Фокин отводит глаза. Пусть она не думает, что он увидел ее.
Степанов стоит, закрыв глаза руками, в позе человека, в которого плеснула волна.
Хохочущий мальчик на цоколе.
Маша увидела Степанова.
Подходит к нему.
Идут вместе.
На башне. Оборачивается Фокин.
На улице. Оборачивается Маша.
Оборачивается Степанов.
Мальчик посылает луч.
Ослепляет Степанова.
Опять ничего не видит Степанов.
Она его ведет под руку.
Хохочущий мальчик.
У автомобиля.
Фокин видит с башни маленький автомобиль и две фигурки.

Степанов. Я ничего не вижу. У меня синие цветы в глазах. Иван-да-марья.

Маша целует его в один глаз, говорит:

— Иван.— Целует в другой, говорит: — Да-марья.

Фокин смотрит.

Мальчик ослепляет его. Фокин ничего не видит.

Уезжает автомобиль.

По карнизу идет голубь. На расстоянии руки от мальчика. Мальчик протягивает руку.

Роняет зеркало.

Голубь улетает.

Идут по улице устранившие аварию Фокин и Дискобол.

Дискобол. Ты почему такой веселый?

Фокин. Веселый? Это тебе кажется.

Осколки зеркала на тротуаре.

Фокин поднимает осколок. Смотрит.

Говорит:

— Веселый, но все-таки с оттенком грусти.

41

У крыльца дома, где живет Гриша Фокин, стоит доктор Степанов.

Приближается, увидавши издали Степанова, Дискобол.

Они здороваются.

Входят в парадное.

Лестница, ведущая к Грише Фокину.

Девушка смотрит с площадки.

Перегнулась.

Удивительный гость поднимается по лестнице.

Доктор Степанов.

Шаги идущих. Девушка лежит животом на перилах. Вся — слух. Вся — внимание. Потом, как бы вскрикнувши неслышимо, бросается в дверь.

В комнате Гриши Фокина.

Гриша Фокин, Девушка.

Девушка — страшным шепотом:

— Идет.

Оба взволнованы.

Фокин. Я спрячусь. Слышишь? Меня нет... Мне будет трудно устоять... Я не хочу с ним мириться.

Степанов и Дискобол поднимаются по лестнице.

Шкаф. Повис ущемленный рукав шубы.

Входит Степанов.

Говорит:

— Здравствуйте!

Молчание. Доктор Степанов обводит комнату взглядом.

Видит: стол,
полку с книгами, чертежи,
кушетку, шкаф с торчащим рукавом.

Говорит:
— А хозяин? Где хозяин этого дома?
Д и с к о б о л. Где Гриша?
Д е в у ш к а. Его нет.
С т е п а н о в. Жаль, я пришел просить прощения. Скажите ему... Он замечательный молодой человек. Он говорил, что таких, как он, много, но доказал, что таких, как он, мало. Вот... И мне стыдно. Так и скажите. Доктору Степанову стыдно. А это очень неприятно, когда взрослому человеку стыдно.
Д и с к о б о л. Зачем вы так говорите?.. Он поклоняется вам.
Молчание.
С т е п а н о в. Скажите ему... Мы уезжаем в Лондон. И мы устраиваем вечер. И просим его прийти к нам...
Д е в у ш к а. Он не придет.
С т е п а н о в. Почему?
Д е в у ш к а. Неужели вы не понимаете?
Молчание.
С т е п а н о в. Я ведь прошу прощения.
Д и с к о б о л. Он придет. Что ты говоришь глупости. Он мечтает об этом... Ведь он так любит... *(Запинается, понял, что говорит лишнее.)*
С т е п а н о в. Ну, ничего... Машу любит. Я знаю. Ведь вы же сами мне сказали об этом. Помните? Вы были голый.
Д е в у ш к а. Все равно он не придет. Вы его обидели...
С т е п а н о в. Скажите, что и Маша его очень просит прийти.
Д е в у ш к а. И Маша?
С т е п а н о в. И Маша.
Д е в у ш к а. Вот жаль, что его здесь нет... А! Ладно. Хочется открыть шкаф — открой.
Открывает шкаф.
В шкафу Фокин.
Ф о к и н. Я не приду. Комсомолец должен быть гордым.
С т е п а н о в. Человек стоит в шкафу и говорит о гордости. У комсомольца должно быть чувство юмора...
Ф о к и н. Скажите Маше, что я не приду.
Степанов спускается по лестнице.
В комнате.
Дискобол закрывает дверь шкафа.
— Сиди, дурак... сиди.
Отчаянный стук в дверку шкафа изнутри.

42

На даче.
Идут приготовления к приему гостей.
Официанты накрывают столы в саду.
Снеговые салфетки.
Пирамиды фруктов.
Грани хрусталя.
Оживленная деятельность на кухне.

Горы пирожных.
Зала.
Музыканты в зале.
Располагаются.
Высокая белая дверь со стеклом.
К ней ведет соломенная дорожка.
Шаги.
Ступает по дорожке Цитронов.
Цитронов. Во рту сигара.
Высокая белая дверь.
Стеклянная ручка двери.
Это дверь в Машину спальню.
Спальня.
Маша одевается.
Шаги.
Маша слушает.
В коридоре. Дверь.
Цитронов. Сигара в руках.
Деталь спальни.
Туалетный столик.
Зеркальные створки.
Флаконы.
Хрустальные сосуды.
Пудреница.
Но Маши не видно.

Цитронов в столовой.
Видит Машины перчатки на столе. Берет их.
Подносит к лицу.

Опять возникает та же деталь спальни.
Флаконы.
Флаконы.
Флаконы.
Но Маши не видно.
Цитронов отбрасывает перчатки.
Смотрит в сад.
Купы листвы.
На фоне их — статуя.
Каменная девушка.
Спальня.
Новая деталь.
Разбросанные части одежды.
Но Маши не видно.
Цитронов у двери.
Со злобой швыряет сигару.
Сигара на полу у двери.
Маша выходит из дверей.
Одета.

Цитронов в библиотеке. Сидит в кресле. Глубоко ушел в него. Голова опущена. Подбородок лежит на груди. Руки висят по обе стороны поручней. Кресло как бы держит его под мышки.
Слышна из залы музыка.
Маша вышла из ворот.
Слышна музыка.
Приближается к воротам Степанов.
Идет Степанов.
Видит: идет Маша.
Встречаются.
Маша.
Степанов.
Стоят.
Идут.
Она начинает удаляться.
Он стоит.
Спрашивает:
— Ты вернешься?
Пауза.
Лицо Маши. Она улыбается мужу.
Говорит:
— Ну, конечно.

43

Лестница, ведущая к Грише Фокину.
Маша поднимается по лестнице.
Маша в коридоре.
Сенсация среди соседей.
Выглядывают.
Девочка в коридоре.
Комната.
Гриша спит на кушетке.
Обед ждет его на столе.
Девочка выбегает на площадку.
Двор.
На дворе дети.
Девочка кричит с площадки:
— Лялька! Лялька! Иди к нам. Скорей!
Девочка со двора спрашивает:
— Зачем?
— У нас в коридоре духами пахнет.
Над спящим Гришей.
Книги. Рабочий стол.
Мать будит сына:
— Гриша! Гриша! Проснись!
Сын спит.
Мать *(громче)*. Гриша! Вы знаете, он сегодня всю ночь занимался. *(Еще громче.)* Гриша! Вставай!

Сын спит.
М а т ь. Нет. Теперь он не проснется. Гриша!
Трясет сына за плечо.
Сын спит.
М а т ь. Хоть из пушки пали.
Сын спит.
М а ш а *(тихо)*. Гриша!
Сын просыпается.

44

На даче.
Веранда.
Коньяк. Бокал. Сифон.
Степанов стоит. Думает.
Наливает воду из сифона.
Несколькими толчками.
Не глядя на сифон.
Нажимает еще раз.
Уже нет воды.
Отходит от стола.
Высокая белая дверь со стеклом.
Дверь в Машину спальню.
Соломенная дорожка.
Ступает по дорожке. Степанов.
На полу у самой двери лежит потухшая сигара.
С т е п а н о в *(кричит)*. Федор!
Цитронов с салфеткой поспешно идет по саду. Между столами.
Степанов на веранде.
Цитронов перед ним. Видит — странное лицо Степанова.
Съеживается. Оседает. Роняет салфетку.
— Когда Маша одевалась, ты стоял у ее дверей?
Цитронов молчит.
С т е п а н о в. Гадина! Ты осмеливаешься думать о ней.
Степанов берет бутылку за горлышко.
Ц и т р о н о в. А ты знаешь, зачем она одевалась? Она к нему пошла.
Степанов кидает в Цитронова бутылкой.
Звон разбивающейся бутылки.
Мокрое пятно на стене.
Бежит по саду Цитронов. Мокрый. Панический. Опрокидывает столы, пирамиды фруктов, горы пирожных.
Он убегает за пределы дачи.
Он убегает далеко.
Он сидит на траве.
Трясущийся. Мокрый.

45

Маша и Гриша.
— Зачем вы пришли?
— Не надо?
— Нет.
— Какой вы строгий.
Маша спускается по лестнице.

Сын сидит за столом над книгой. Он с размаху сел за стол. Мать стоит над обеденным столом.
Маша спускается по лестнице.
Сын проносится мимо матери бурей.
К дверям.
Сын на площадке. Распахнутые двери.
Маши уже нет на лестнице.
Она идет по переулку.
Сумерки.
Крыльцо.
Она на крыльце.
Она идет.
Оглянулась.
Увидела его.
Стоят оба.
Начинают сходиться.
Она останавливается под балконом.
Балкон над ней.
Раскрытая дверь.
Зажженный свет.
Там в комнате играют на рояле.
Она стоит под балконом.
Подходит он.
Игра прекращается. На балкон выбегает человек. Перевешивается через перила.
Кричит:
— Кто там? В чем дело?
Видит их внизу.
Поднятые их лица.
Кричит:
— В чем дело? Почему вы стоите? Как только сядешь играть, сейчас начинают слушать.
Они стоят под балконом.
Сумерки темнеют.
Вид на них с балкона.
Удаляются.
Опять звуки рояля.
Темнеют сумерки.
Звуки прекращаются.
Человек выбегает на балкон.

Кричит:

— Ушли. Ну то-то! А? Играть для влюбленных? Я не желаю. Встречи. Разлуки. Прощанья. Весь район влюбляется под мою музыку. Я не желаю.

Те двое ушли.

Перекресток.

46

Издали слышен рояль.

Она. Я хочу предложить вам одну идею. Можно?

Он. Давайте.

Она. Еще немного пройтись.

Они идут.

Слышен рояль.

Она. Я вам хочу предложить одну идею. Можно?

Он. Давайте.

Она. Там скамейка есть чудная. Я видела. Посидим.

Они идут.

Слышен рояль.

Приближаются к скамье.

На скамье сидит пара.

Балкон. Музыкант выбегает.

Перевешивается через перила.

Кричит:

— Никого нет? Можно играть!

Звуки рояля.

Те двое остановились у моста.

Она. Я вам хочу предложить одну идею. *(Медленно.)* Можно?

Он смотрит на нее.

Ее лицо перед ним.

Он *(медленно)*. Давайте.

Они целуются.

47

На даче.

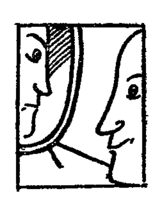
Вечер.

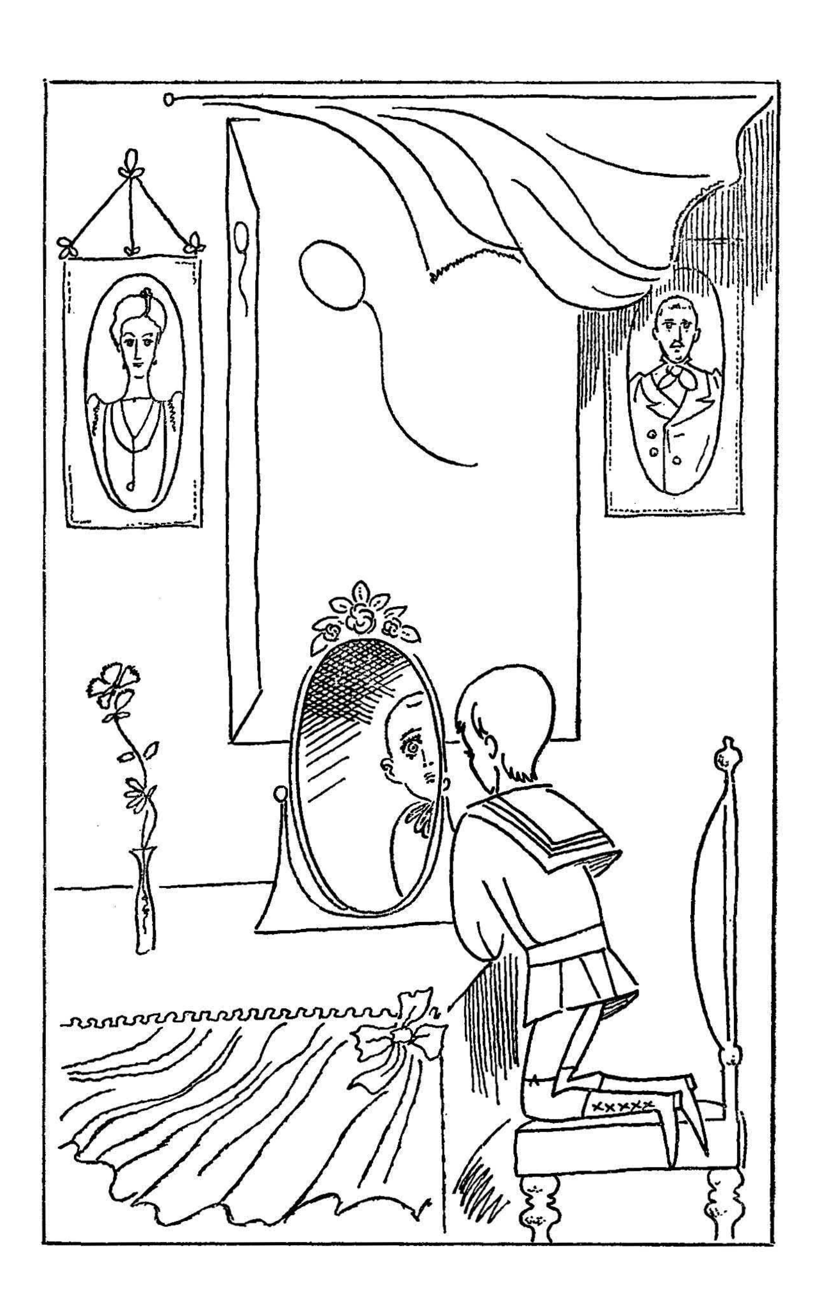
Гости. Маша выходит к гостям. Ее ход, движение складок ее платья, ее весь вид — так удивительны, странны и красивы, что гости переглядываются, а один — молодой иностранец — не выдерживает и тихо — как бы про себя — ударяет в ладоши.

Одесса
Май — июнь 1934

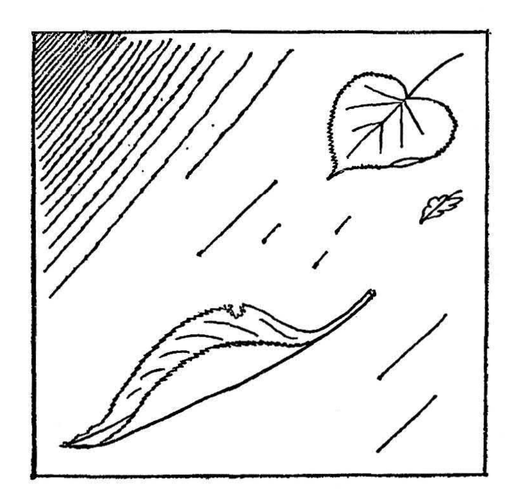


НИ ДНЯ БЕЗ СТРОЧКИ





ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ДЕТСТВО



Прежде чем предложить вниманию читателя эту книгу, я хочу рассказать историю ее возникновения. Это необходимо, поскольку книга необычна — какие-то отрывки! — и может оказаться не только не понятой читателем, но даже вызвать раздражение.

Книга возникла в результате убеждения автора, что он должен писать... Хоть и не умеет писать так, как пишут остальные.

Однажды я как-то по-особенному прислушался к старинному изречению о том, что ни одного дня не может быть у писателя без того, чтобы не написать хоть строчку. Я решил начать придерживаться этого правила и тут же написал эту первую «строчку». Получился небольшой и, как мне показалось, вполне законченный отрывок. Произошло это и на следующий день, и дальше день за днем я стал писать эти «строчки».

Мне кажется, что единственное произведение, которое я могу написать как значительное, нужное людям,— книга о моей собственной жизни.

В прошлом году распространился слух, что я написал автобиографический роман.

В ресторане Клуба писателей, через который я проходил, вдруг, подняв неожиданно на меня лицо, Тараховская, автор детских стихов и взрослых, конечно, эпиграмм, спросила меня:

— Это правда, что вы написали автобиографический роман?

Я сказал, что нет, она огорчилась — по лицу было видно, что огорчилась.

— Боже мой, а говорят, такой замечательный автобиографический роман.

И мне самому стало жаль, что я не написал романа. Я очень нежно, благодарно попрощался с ней.

Я вспоминаю только один из фактов. Еще со всех сторон я слышал о моем романе.

Что же, очевидно, хотят, чтобы я именно написал, если верят в слух, если сами распространяют. Может быть, нужно написать, если этого хотят современники? Причем просто подсказывают форму — автобиографический роман... Этим, кстати, показано понимание характера моих писаний.

Попробовать?

Ну вот начало.

Я шел в гимназию по главной улице города, которая называлась Дерибасовская,— вдоль магазинов с их витринами, кстати говоря, очень богатыми и нарядными, вдоль платанов, вдоль зеленых скамеек, вдоль часов магазина Баржанского, таких широких в диаметре и висевших так невысоко над улицей, что и вправду можно было идти вдоль них.

Часовой магазин Иосифа Баржанского.

Часы над улицей.

Стрелки кажутся мне величиной в весла... Нет, это все...

Я сейчас выскажу мысль, которая покажется, по крайней мере, глупой, но я прошу меня понять.

Современные прозаические вещи могут иметь соответствующую современной психике ценность только тогда, когда они написаны в один присест. Размышление или воспоминание в двадцать или тридцать строк — максимально в сто, скажем, строк — это и есть современный роман.

Эпопея не представляется мне не только нужной, но вообще возможной.

Большие книги читаются сейчас в перерывах — в метро, даже на его эскалаторах,— для чего ж тогда книге быть большой? Я не могу себе представить долгого читателя — на весь вечер. Во-первых — миллионы телевизоров, во-вторых — в колхозах — надо прочесть газеты. И так далее.

Вот я уже не просто пишу, как писал первые страницы, а сочиняю. Это началось в тот же момент, когда я подумал, что в конце концов из записей этих может получиться книга. Я уже правлю, пишу одно и то же...

Надо обязательно написать что-либо целиком, закончить. Может быть, о переводных картинках? Может быть, о брате из Политехнического института Петра I?

Пусть я пишу отрывки, не заканчиваю — но я все же пишу! Все же это какая-то литература — возможно, и единственная в своем смысле: может быть, такой психологический тип, как я, и в такое историческое время, как сейчас, иначе и не может писать — и если пишет, и до известной степени умеет писать, то пусть пишет хоть бы и так.

Некоторым может показаться, что я в этих отрывках гоняюсь за какой-то индивидуалистической ерундой, как-то хочу выпятить себя, свое отношение к миру. Это не так. Я хочу, чтобы у нас писали хорошо. И у меня есть надежда, что я могу кое-как помочь в этом отношении. О, ни в коем случае эта книга не является выпадом против кого бы то ни было!

Главное свойство моей души — нетерпение. Я вспоминаю, что всю мою жизнь я испытывал мешавшую мне жить именно заботу именно о том, что вот что-то надо сделать и тогда я буду жить спокойно. Эта забота рядилась в разные личины — то я предполагал, что это «что-то» — это роман, который надо написать, то это хорошая квартира, то очередное получение паспорта, то примирение с кем-либо,— на самом же деле это важное, что надо было преодолеть, чтобы жить спокойно, была сама жизнь. Таким образом, можно свести это к парадоксу, что самым трудным, что было в жизни, была сама жизнь — подождите, вот умру, и тогда уж буду жить.

Между тем я всегда был оптимистом и очень любил жизнь. Я до сих пор помню то наслаждение, которое я испытывал, вдыхая запах свежеокрашенных зеленой краской дощечек, на которых я собственноручно выводил белилами имена лошадей, над чьими стойлами должны были красоваться эти дощечки... Масляная краска вдувала в тело здоровье. По всей вероятности, так пахнул именно скипидар. А лошади? Видел ли я их? Не помню. Лошадей я и не приметил. Я видел только дощечки цвета луга и белые, почти колбасками возвышавшиеся над плоскостью дощечки буквы. Я исполнял эту работу, как любитель, как мальчик, которому разрешили делать нечто сверхжеланное...

Ничего не должно погибать из написанного. А я писал карандашом на клеенке возле чернильницы — причем в чужом доме, писал на листках, которые тут же комкал, на папиросной коробке, на стене. Не марал, а именно писал вполне законченно, работая над стилем. Хорошо бы вспомнить, что писал.

Помню отрывок об Эдгаре По — как его несут подобранного в сквере с волочащимся по земле краем пальто. Помню по поводу писем Ван-Гога — какой он скромный, как в своей скромности уговаривает он брата, что, в конце концов, и он мог бы заниматься живописью — подумаешь! Помню о том, что моя заветная мечта — сделать сальто-мортале. Еще целый ряд отрывков. Есть где-то в папках Гершель, поднимающийся с гостем в обсерваторию, затем мое, гимназиста, удивление по поводу того, что латынь это не что иное, как язык древних римлян. Еще раньше — отрывок о том, как умер от скарла-

тины гимназист Володя Долгов и мы пришли на похороны,— как мы шли по переулку, и казалось, церковь идет нам навстречу. Там же об окне, раскрытом среди зимы, по которому вьется, вылетая из него, занавеска, чем-то напоминающая рыдание — образ смерти. Еще много отрывков, картин, набросков, мыслей и красок.

Нужно сохранять все. Это и есть — книга.

Иногда приходит в голову мысль, что, возможно, страх смерти есть не что иное, как воспоминание о страхе рождения. В самом деле было мгновение, когда я, раздирая в крике рот, отделился от какого-то пласта и всунулся в неведомую мне среду, выпал на чью-то ладонь... Разве это не было страшно?

Все более убеждаюсь, что эти записи ничего не стоят.

Я болен; у меня болезнь фразы: она вдруг на третьем или четвертом звене провисает... Я почти конкретно вижу это выгнувшееся книзу брюхо.

Может быть, мне диктовать?

Мне хочется, чтобы фраза бежала, а не сочинялась так, когда следующая ее часть как бы отскакивает от предыдущей.

Если уж начинать писать книгу о своей жизни, то следовало бы первую главу посвятить тому удивительному обстоятельству, что я не был все время одинаковым, а менялся в размерах. Даже не мешало бы вспомнить и о том, что меня вообще не было.

Я иногда думаю о некоем дне, когда некая девушка направлялась на свидание с некиим молодым человеком. Я не знаю ни времени года, когда совершается этот день, ни местности, над которой он совершается... Я не вижу ни девушки, ни молодого человека. Тем не менее оттого, что они в этот клубящийся в моем воображении день направлялись друг другу навстречу, произошло то, что в мире появился я.

А если бы свидание не состоялось? Должен был бы я все же появиться от другой пары людей? Именно я?

Я, естественно, не помню, как я родился, момента рождения. Было бы вообще глупо даже подступать к этому вопросу, если бы не наше, не покидающее нас удивление по поводу того, что мы не помним этого момента и наше желание хотя бы немного — в памяти нашей приблизиться к нему.

В самом деле, что именно первое воспоминание? Вероятно, то, что мы принимаем за первое воспоминание, уже далеко не первое. Первые воспоминания остались в памяти, может быть, в виде тех кошмаров, которые посещают нас иногда среди глубокого ночного сна, когда мы просыпаемся в ужасе и ничего не можем вспомнить из того, что происходило с нами, хотя сердце так сильно и так быстро бьется, что, очевидно, ужасное происходило с нами еще в этой секунде, в которой мы успели проснуться. Не может быть, чтобы эти первые восприятия мира не были нестрашными. Первые моменты самостоятельного дыхания, первые ощущения собственного веса, первые зри-

тельные, слуховые и осязательные ощущения... Мозг мой уже работал, работали, очевидно, и органы памяти, и не может быть, чтобы в памяти об этих первых моментах ничего не осталось; очевидно, осталось в очень шатком виде, в виде осколков, не имеющих формы, не являющихся картинами, а некими... я даже не могу определить... некиими продолжающимися в глубине сознания воплями.

Удивительна работа воспоминания. Мы вспоминаем нечто по совершенно неизвестной нам причине. Скажите себе: «вот сейчас я вспомню что-нибудь из детства». Закройте глаза и скажите это. Вспомнится нечто совершенно непредвиденное вами. Участие воли здесь исключено. Картина зажигается, включенная какими-то инженерами позади вашего сознания. Черт возьми, воля почти не во мне! Скорее, она рядом! Как мало, таким образом, она влияет на целого меня! Как мало я, сознательный, я, имеющий желания и имя, занимаю место во мне целом, не имеющем желаний и имени! Я почти рядом с собой. Я разговариваю, а весь я принадлежу в это время природе, и она не знает, что я, разговаривая, сижу на диване в кабинете. Я электрическое нечто в потоке электричества по всей вселенной, в потоке материи.

Одно из крепко засевших в нас желаний есть желание припомнить первое наше впечатление о мире, в котором мы начали жить.

Я постоянно делаю усилия в этом смысле... Иногда мне кажется, что я вспомнил, что вот оно, это первое впечатление. Однако вскоре убеждаюсь, что вряд ли картина, за которую я ухватился, есть именно первая, которую я увидел отчетливо. Все признаки ее говорят мне, что она появилась уже перед более или менее разбирающимся во внешнем мире сознанием. А первая? Какая же была первая? Вспомню ли я ее когда-нибудь? Возможно ли ее вспомнить?

Наука говорит, что в раннем младенчестве мы видим мир опрокинутым. Если это так, то, значит, и я видел мир опрокинутым. Этой картины опрокинутого мира я не помню, и, следовательно, первые впечатления, полученные мною от мира, навсегда для меня исчезли. Приходится поэтому довольствоваться более поздними, считая их первыми.

Я ем арбуз под столом — причем я в платье девочки. Красные куски арбуза... Вот что встает передо мной, как наиболее раннее воспоминание. До того — темнота, ни одной краски.

Первое, что я помню,— это меня несут, взяв из ванны. Меня несет женщина со старыми, вяло свисающими локонами... Кто она? Тетя? Как могу я помнить, какие у нее локоны? Как я могу знать, что они старые? Да еще вяло свисают? Что-то я придумываю сейчас, на ходу. Но почему же я придумываю именно это, а не что-нибудь другое? Почему эти картины рождаются одновременно? Какая-то причина этому есть! Очевидно, какой-то частью сознания я схватил и ту картину, которая кажется теперь придуманной.

Я родился в 1899 году в городе Елисаветграде, который теперь называется Кировоград. Я ничего не могу сказать об этом городе такого, что дало бы ему какую-либо вескую характеристику. Я прожил в нем только несколько младенческих лет, после которых оказался живущим уже в Одессе, куда переехали родители. Значительно позже, уже юношей, я побывал в Елисаветграде, но и тогда увидел только южные провинциальные улицы с подсолнухами. Пел петух, белели и желтели подсолнухи — вот все мое восприятие города, где я родился.

О моем отце я знаю, что он был когда-то, до моего рождения, помещиком. Имение было порядочное, лесное, называлось «Юнище». Оно было продано моим отцом и его братом за крупную сумму денег, которая в течение нескольких лет была проиграна обоими в карты. Отголоски этой трагедии заполняют мое детство. Я вспоминаю какую-то семейную ссору, сопровождающуюся угрозами стрелять из револьвера,— и ссора эта возникает, как вспоминаю я, из-за остатков денег, тоже проигранных... Впрочем, в Елисаветграде имеется у нас еще достаток: мы ездим на собственном рысаке, живем в большой полной голубизны квартире. Отец, которого в те годы я, конечно, называл папой, пьет, играет в карты. Он — в клубе. Клуб — одно из главных слов моего детства.

— Папа в клубе.

Общее мнение, что папе нельзя пить — на него это дурно действует. И верно, я помню случай, когда папа ставит меня на подоконник и целится в меня из револьвера. Он пьян, мама умоляет его прекратить «это», падает перед ним на колени...

Не раз появляется у меня в воспоминаниях револьвер. Это не потому, что мой отец отличался какой-то особой склонностью убивать,— вовсе нет, просто в ту эпоху оружие такого рода стало впервые доступным обыкновенным, не связанным с войной людям, револьвер стал некоей изящной вещицей, игрушкой, продавался в магазинах. Мужчине всегда в некоторой степени свойственно желание попетушиться, а тут еще под рукой такая штучка, как револьвер, почему же не схватить его, если для этого нужно только открыть ночной столик?

Итак, я стою на подоконнике, отец в меня целится. Это, конечно, шутка — однако ясно: отцу нельзя пить. Об этом известно клубменам и другим знакомым, известно родственникам, теще, теткам. Считается, что в трезвом виде папа обаятельнейший, милейший, прелестный человек, но стоит ему выпить — и он превращается в зверя.

Отца я, можно сказать, помню совсем молодым. Пожалуй, ему нет еще и тридцати лет, когда я уже знаю, что это мой отец. Наружности не помню. Помню какой-то отрывок из того, что родители называют именинами папы: я в дверях, и папа входит в двери из комнаты, куда хочу войти я, там в комнате на столе сладости, разноцветные, густо, необыкновенно нарядно блестящие бумажки от шоколадных конфет. Папа возвращается, берет что-то со стола и вручает мне. Передо мной, как вспоминаю я теперь, стоит молодой человек, низко и мягко постриженный, я вижу, как молодо поворачивается его плечо...

Неотчетливо помню я также и маму. Она хорошо рисовала, ее называли Рафаэлем. Правда, никогда я рисунков маминых не видел, так что и насчет ее рисования, и насчет того, что ее называли Рафаэлем,— может быть, это какое-то иное воспоминание, приплывшее ко мне из чужой жизни.

Хоть в моей памяти и не удержалось реальной об этом картины, тем не менее непреложно, что мама моя была красивая. Говор стоял об этом вокруг моей детской головы, да и вот передо мною ее фотография тех времен. Она в в берете, с блестящими серыми глазами — молодая, чем-то только что обиженная, плакавшая и вот уж развеселившаяся женщина.

Ее звали Ольга.

В детстве говорили, что я похож на отца. Между тем в ту пору, когда я уже научился понимать, что зеркало отражает именно меня,— научился, если можно так выразиться, смотреть в зеркало — я, наоборот, увидел сходство с матерью, а не с отцом. Я сказал об этом открытии, надо мной смеялись. Мнение, что я похож на отца, утвердилось настолько крепко, что, повторяю, надо мной смеялись! Но сколько я ни бросал взглядов в зеркало, каждый из них говорил мне, что я прав — из моего лица смотрело на меня лицо мамы. Из моего загрязненного всякими нечистыми помыслами лица мальчика — прекрасное лицо матери! Не знаю, почему только я один видел в те годы это сходство, но действительно только один я его видел. Однако понемногу и другие стали восклицать:

— Похож на маму!

И другие увидели, что, кроме сходства с отцом, в моем лице начинает жить также и сходство с матерью. Это с годами, это когда из мальчика я стал превращаться в юношу... Чем таинственней, чем ближе к первой любви становилась жизнь моей души, тем явственней проступало сходство с матерью. Чем убежденней чувствовал я, что стою у волшебного порога какого-то иного существования, связанного с женщиной, тем дольше задерживались на моем лице нос, губы, очи именно матери.

И затем, вступив в жизнь, я не представлял себе себя иначе, как похожим на мать.

По старому стилю я родился 19 февраля — как раз в тот день, в который праздновалось в царской России освобождение крестьян. Я видел нечто торжественное в этом совпадении; во всяком случае, приятно было думать, что в день твоего рождения висят флаги и устраивается иллюминация.

С утра я получал подарки. Помню синеватый дым от пистолетных выстрелов, помню переводные картинки какого-то особого свойства, помню подаренные мне кем-то — только подумать! — золотые пять рублей. Они долго сохранялись в маленьком кожаном кошелечке; ужасно сложные и непонятные чувства вызывал этот мощный золотой кружок среди грязноватых складок кожи! На нем было маленькое же изображение царя с выделявшимся чистым блестящим лбом. Пять рублей были в то время очень большой суммой. Ее

можно было положить как основу для самого яркого мечтания — купить велосипед, поехать за границу... не помню судьбы этой суммы. Кажется, ее одолжили у меня взрослые и не отдали.

Что такое иллюминация? Это фонари из грубого стекла — одна полоса красная, другая зеленая, третья желтая. Не полоска, а вернее, грань — фонари, как кажется мне, были шестигранные. В них вставленная в гнездо с зубчатыми краями горела свеча. Это был очень мутный свет — сквозь стекла, испачканные в сараях! Тем не менее, когда они висели целыми дюжинами на протянутых между деревьями проволоках — это что-то значило — во всяком случае для детской души.

Ни с чем не сравнимое горе я испытал ребенком лет четырех в связи с отъездом домой гостившего у нас моего двоюродного брата. Его звали Володя, и он был студент какого-то института, дававшего право носить на плечах квадратные, изгибающиеся по плечу погончики из металла, бархата и большой блестевшей золотом буквы с цифрой. Студент был блондин, довольно полный, с котлообразной, но красивой головой. Это более поздние впечатления, в тот раз я воспринимал только великолепие какого-то существа — великолепие, которое я, разумеется, не мог анализировать, но которым я наслаждался и физически и душевно, наслаждался, ликуя каждой частицей своего существа, как даром богов, как гигантским, оказавшимся в моем распоряжении куском чего-то волшебного, чего в раю много, а у нас бывает только в виде одной сразу исчезающей улыбки или еще чего-либо, тотчас же из жизни улетающего в воспоминание.

О, какая сцена была в моем детстве! Вот мы идем с бабушкой из парка — с одной стороны я, с другой моя сестра. Бабушка воспринимается как некий серый треугольник между нами. Мы идем из прелестного в своих сумерках парка... Вот уже улица, вот уже серые барабаны зданий.

— Что такое? — говорит бабушка.— Ой, что такое?

И мы, мальчик и девочка, тоже удивлены.

— Ой, ой, правда, что такое?

Дело в том, что день обычный, не праздник. Почему же горит иллюминация?

И тогда я, маленький мальчик, подхожу к городовому. Услышав мой вопрос, почему, собственно, иллюминация, городовой прикладывает руку в белой перчатке к козырьку и говорит:

— Наследник родился.

Парикмахерская на Успенской улице. Здесь как-то захолустно. Даже идешь к порогу по булыжникам, между которыми трава.

Отец говорит парикмахеру, с которым у него какие-то неизвестные, но короткие отношения:

— Подстригите наследника.

Я, вероятно, совсем маленький мальчик, стричься меня еще водят. После сказанного я иду по коврику к креслу и зеркалу, возле которых ждет меня парикмахер, весь в белом, как вафля.

— Подстригите наследника!

Мне это тягостно слушать. И почему-то стыдно. И почему-то помню я до сих пор эту тягость. Какой же я наследник? Чего наследник? Я знаю, что папа беден. Чего же наследник? Вообще папы, его повторение?

Просто словечко, приобретенное в данном случае не папой. Так уж принято было тогда говорить о сыне-наследнике. Чего наследник? Я был один, один в мире. Я и сейчас один.

Среди булыжников росла трава. Булыжники синели. Как давно я не видел булыжника, как давно не держал в руках. Он всегда был нагрет и всегда оставлял на руке пыль, которую отряхивали ударами ладони о ладонь. Он меня постриг, этот вафля-парикмахер, и я до сих пор помню, как холодно голове после стрижки, каким широким становится воротник и как два толстых пальца парикмахера, как два ствола, влезают за воротник, чтобы вынуть, как им кажется, остатки волос.

Она приехала из Сибири, ее звали Галька. Очевидно, она была совсем еще молодая. Я помню нечто в темных тонах, отдельную прядь темных же волос.

В Одессе была зима — и, главное, необычно холодная для Одессы. Я помню окна, за которыми снег. Сестру-гимназистку не пустили в это утро в гимназию. Мы сидим в темной, хоть за окнами снег, столовой (они выходят в стену, окна) и заняты каким-то детским рукоделием — кажется, делаем какой-то театр. В руках у меня кусок обоев, от которых, сказал бы я, делается на ладонях и пальцах оскомина, и столбики разноцветных карандашей. Я ими рисую на обоях покрытые снегом ели, сугробы снега, дорогу...

Приехавшая из Сибири тетя добродушно участвует в рукоделии с сестрой-гимназисткой.

Я не помню, чтобы у нас устраивали елку. Всегда наши радости по поводу елки были связаны не с елкой, устроенной у нас в доме, а с елкой у знакомых. Там, в чужом доме, бывали бал, дети, конфеты, торты. Впрочем, я, кажется, деру сейчас из стихов и рассказов... Во всяком случае, мы и дома получали подарки — книги, широкие дорогие книги.

Конечно, запах хвои — это навеки, и мягкие иголки ее тоже. Хвоя имела право засорять паркет, она накоплялась во все большем и большем количестве, в углу, под елкой, пересыпалась в другие комнаты, смешивалась со стеклом украшений, которые в конце концов тоже валились на пол, похожие на длинные слезы, и кончалось все это тем, что елку уносили из дому, взвалив на плечи, как тушу.

После Катаева, Пастернака мало что можно добавить к описаниям елки, рождества.

Господин Орлов пошел с дочкой на елку в гости, и там, когда дети танцевали, елка опрокинулась, в результате чего дочка Орлова

сгорела. В тот день, когда ее похоронили, он пошел в цирк. Мы, дети, ужасались, когда нам рассказывали об этом, но взрослые оправдывали Орлова — он, говорили они, очень горевал и именно поэтому пошел в цирк. Одно из самых сильных переживаний — это как раз Орлов в цирке после похорон дочки. Мне и теперь кажется, что я вижу его несколько раскоряченную фигуру в первом ряду кресел над желтой ареной, усы под носом и кружки пенсне.

Вероятно, это и была первая любовь. Мне хотелось подражать этой маленькой девочке. Она как-то наклонялась корпусом то в одну, то в другую сторону — надо полагать, приводя в порядок какую-то часть одежды,— я делал то же самое движение, причем наедине с собой и без нужды.

Мне было, я думаю, пять лет. Девочка, пожалуй, была постарше, но не слишком. Как ее звали по имени, не помню. Помню фамилию — Архарова.

Помню сумерки на улице, перед оградой какого-то садика — там, где была третья гимназия, в районе, на мой взгляд, чудесном, не совсем еще загородном, но уже близком к морю, уже с виллами, с розами, клетками попугаев на балконах.

Сумерки, но мы, дети, еще на улице. Вероятно, поблизости взрослые, но мы с ними не общаемся. Мы сами по себе — дети. И среди нас Архарова. Какая же она? Нет, я никогда не извлеку из этих сумерек ее лица. Да и не требовалось тогда видеть лицо, чувство слагалось из каких-то других предпосылок — вот хотелось, например, так же, как и она, наклониться то вправо, то влево, чтобы подтянуть одежду.

Я помню какие-то балясины, тонущие в траве... Может быть, это были перила террасы? И там, говорили, живет старая дама, у которой много кошек. Ни старой дамы, ни кошек я не видел. Мы туда не подходили — близко к дому. Особенно значительным он становился в сумерки, когда бывало наиболее страшно, что вдруг появятся кошки и старая дама. Одно из окон на повороте цоколя, серо, как после дождя, поблескивало над садом...

В конце концов неважно, чего я достиг в жизни,— важно, что я каждую минуту жил.

Однажды, когда я был маленьким мальчиком, легши спать, я вдруг услышал совсем близко от себя какой-то звук — глухой, но очень четкий, одинаково повторяющийся. Я стал теребить одеяло, простыню, убежденный, что из складок выпадает, может быть, жук или какая-нибудь игрушка, машинка. Я заглянул под подушку... ничего не обнаружилось. Я лег, звук опять дал о себе знать. Вдруг он исчез, вдруг опять стал раздаваться.

— Бабушка,— обратился я к бабушке, с которой спал в одной комнате.— Ты слышишь?

Нет, бабушка ничего не слышала. И вдруг, как будто извне, при-

шло понимание, что это я слышу звук моего сердца. Это понимание не удивило меня и не испугало. Признание правильности того, что во мне бьется сердце, пришло ко мне с таким спокойствием, как будто я знал об этом факте уже давно, хотя с этим фактом я столкнулся только что и впервые.

Однажды мой отец принес домой или купленную им, или подаренную ему маленькую обезьянку.

Мы были маленькие, ложились рано — отец же принес, по всей вероятности, этот подарок или покупку из клуба, и, таким образом, обезьянка оказалась для нас появившейся вместе с утром, с солнцем. Теперь мне кажется, что на ней была какая-то одежда — синие штаны? — но вернее всего он был только в своей собственной шерсти, этот маленький золотой зверек. Какая-то шутка вилась вокруг него — не то папа стал его владельцем, потому что был пьян, не то обезьянка оказалась у него в результате пари — словом, чем-то, сам того не ведая, зверек был и унижен, и осмеян, и оскорблен.

На руках у кого-либо мы так его и не увидели. Непостижимо, как принес его папа! Он все время был в отдалении от нас — причем в отдалении, непреодолимом для нас, не гимнастов — в отдалении, перед которым громоздились то углы растворенных окон, то сразу целые пучки деревьев, то вдруг вся улица... Он удалялся от нас прыжками, гигантскими, как арки, и когда нам казалось, что дворник вот-вот схватит его по соседству с дымовой трубой, вдруг из соседней улицы раздавался полный восторга крик:

— Мартышка! Смотрите, мартышка!

Никто уже не может вместе со мной вспомнить эту картинку из моего детства. Никто не может, бывший в ту пору старше меня, рассказать мне, чем окончилась история обезьянки. Для меня лично вид крыш, дымовых труб, вид того, что открывается нам с так называемого птичьего полета, вызывает в памяти другую картинку. Не картинку, а картину — огромную, в раме неба, когда высоко-высоко, куда трудно-трудно смотреть, почти как на солнце маячит золотая точка воздушного шара.

В детстве мне ни разу не удалось запустить змея. Я ни к кому, правда, не обращался за инструкцией — я знал, что необходимо некое соединение ниток, так сказать, у морды змея, именуемое путой, но какое именно соединение следует сделать, я не знал. Между тем от состояния этой злосчастной путы и зависело — полетит змей или будет бежать скача по земле, рогатый в эту минуту, как козел.

Да, на козлов были похожи эти мои нелетающие змеи. Да, да у них были рожки—концы планок, торчавшие в прорвавшейся наверху бумаге. Хвост змеи казался бородой такого злого и глупого козла.

Страдания эти мои происходили на Михайловском поле.

Возможно, что я собираюсь описать именно первое мое посещение театра.

Мы, то есть я и моя сестра, были приглашены богатыми Орло-

выми в театр на «Дети капитана Гранта». Эта пьеса показывалась тогда в Одесском городском театре с шумным успехом. Я не помню всего по очереди — помню только с того момента, когда я, сидя в том, что названо ложей, оглядываюсь и вижу золотистую, освещенную снизу стену, которая тут же начинает казаться мне не стеной, а уже летним солнечным садом, по которому прогуливаются фигуры в необыкновенных, как представляется мне, турецких одеждах. Это занавес. Это еще не театр. Это еще только занавес.

Сегодня, 30 июля 1955 года, я начинаю писать историю моего времени. Когда оно началось, мое время? Если я родился в 1899 году, то, значит, в мире происходила англо-бурская война, в России уже был основан Художественный театр, в расцвете славы был Чехов, на престоле сидел недавно короновавшийся Николай II... Что было в технике? Очевидно, еще не знали о мине, которой можно взорвать, не приближаясь к нему и неожиданно, броненосец. Мина эта стала известна позже — в русско-японскую войну. Тогда же стал известен пулемет, впервые примененный японцами и называвшийся митральеза...

Итак, мое время началось примерно в дни, когда появилась мина и появился пулемет. Гибель броненосцев в морском бою, черные их накренившиеся силуэты, посылающие в пространство ночи прожекторные лучи,— вот что наклеено в углу чуть не первой страницы моей жизни. Цусима, Чемульпо — вот слова, которые я слышу в детстве.

Мина казалась ужасным изобретением, последним, что может придумать направленный на зло мозг, дьявольщиной.

— Мина Уайтхеда.

Кто-то произносит это над моим ухом — может быть, произносит книга... Она, мина, скользит под водой, попадает с безусловностью неумолимо — и броненосец валится среди синей ночи набок, посылая белый луч, чем-то похожий на мольбу.

Вот начало истории моего времени. Для меня оно пока что называется Мукден, Ляоян — называется «а папу не возьмут на войну?».

Когда я был маленьким, в мире еще уделялось немало внимания фейерверкам. Редко какой праздник обходился без целого апофеоза из ракет, римских свечей, бураков, шутих... Из этого разноцветно взрывающегося, стреляющего, пестро и огненно вращающегося материала организовывались даже законченные зрелища в честь текущих или исторических событий. Так, я помню большой фейерверк по поводу гибели русского крейсера «Варяг» в японскую войну.

Придя на место праздника на другой день, серым утром, можно было увидеть скелет его — палки, проволоки, веревки. В этом скелете можно было узнать очертания броненосца, который вчера, среди взлетающих синих и зеленых ракет и вертясь пунцовым огнем так называемого солнца, сгорал у всех на виду.

Можно было также находить пустые гильзы ракет — синие трубки, пахнувшие гарью, которые очень хотелось заставить жить еще раз. Нет, они были мертвы — просто картонны, пустые, постукивая, катились, подброшенные носком ботинка...

Где-то в каких-то полуподвалах таились пиротехники — по всей вероятности немцы, умевшие все это делать. Я никогда не видел пиротехника, последнего из удивительных людей перед появлением авиаторов.

Ракета представляла собой при первом взгляде на нее синюю картонную трубку, насаженную просто на щепочку вроде тех, какими подпирают цветы. Этой щепкой ракета вкапывалась в грунт, чтобы пустить ее, вы поджигали фитиль, еле видимый, торчавший из донышка трубки.

В пасмурный летний день — и тем более летний, что он был пасмурный, когда зелень прямо-таки красовалась на сером фоне,— мы с бабушкой стояли в парке над панорамой порта и распростертого до горизонта моря и смотрели на то интересное и новое для нас, что происходило в порту. Мое внимание останавливалось, главным образом, на некоей лошади — черной, которую вели под уздцы. Конечно, слово «гроб» фигурировало в нашем переговаривании с бабушкой, поскольку мы смотрели на похороны, но я не помню гроба. Наверно, был и катафалк,— вернее всего даже лафет, поскольку похороны были военные, но я смотрел только на лошадь. Я не знал тогда, что есть обычай вести за гробом военного его боевого коня, и, увидев это впервые, стал весь принадлежать этому зрелищу. Я не видел на таком расстоянии ни глаз лошади, ни губ, ни гривы, как рельефа волос,— просто двигался силуэт лошади, даже не силуэт, а, скорее, какое-то ватное ее изображение, из черной ваты, глухо черное.

— Генерал Кондратенко,— то и дело повторяла бабушка.

Хоронили генерала Кондратенко, чей прах привезли из Маньчжурии, где он погиб на войне с японцами.

Вскоре похороны исчезли из поля нашего зрения. Невидимо для нас они проследовали из порта в город и пошли затем по улице, которая впоследствии стала называться улицей Кондратенко. Мы остались с бабушкой в парке среди серого, я бы сказал, полного, круглого воздуха, рассекаемого острыми листьями некоторых деревьев и, наоборот, получавшего еще большее округление от кругло ложившихся на него сережек некоторых деревьев — мелких-мелких сережек, собранных в висюльки и венчики кремового цвета с каким-то треугольным присутствием зеленого.

— Генерал Кондратенко,— то и дело повторяла бабушка.

Дворец главнокомандующего находился на бульваре, на углу бульвара и той дуги, которая у входа на бульвар, дивной дуги из великолепных, в стиле русского ампира, зданий.

Дворец и был одно из этих зданий — вот именно, как раз у конца дуги — или начала? Нет у дуги ни конца, ни начала.

У входа во дворец шагал часовой, иногда входивший в полосатую будку. Вот какие древности мне известны — полосатые будки.

Я шел с кем-нибудь из взрослых. Еще не подойдя, я поглядывал на взрослого. Смотрит ли он на часового? На будку? Смотрит, конечно.

— Дворец главнокомандующего,— говорит взрослый.

И взрослым, как детям, импонируют такие вещи, как командование, часовые.

Я был сыном акцизного чиновника, и семья наша была мелкобуржуазная, так что мятеж броненосца «Потемкина» воспринимался мною, как некий чудовищный по ужасу акт. И, когда броненосец «Потемкин» подошел к Одессе и стал на ее рейде, все в семье, в том числе и я, были охвачены страхом.

— Он разнесет Одессу,— говорил папа.

«Потемкин» для нашей семьи — взбунтовавшийся броненосец, против царя, и хоть мы поляки, но мы за царя, который в конце концов даст Польше автономию. Употреблялось также фигуральное выражение о неоставлении камня на камне, которое действовало на меня особенно, потому что легко было себе представить, как камень не остается на камне, падает с него и лежит рядом.

Я не помню, как он появился у берегов Одессы, как он подошел к ней и стал на рейд. Я его увидел с бульвара — он стоял вдали, белый, изящный, с несколько длинными трубами, как все тогдашние военные корабли. Море было синее, летнее, белизна броненосца была молочная, он издали казался маленьким, как будто не приплывший, а поставленный на синюю плоскость. Это было летом, я смотрел с бульвара, где стоит памятник Пушкину, где цвели в ту пору красные цветы африканской каны на клумбах, шипевших под струями поливальщиков.

Мне было тогда шесть лет. Я хочу себе дать отчет в том, что я тогда понимал и чувствовал. Я, конечно, не понимал, почему на броненосце произошел мятеж. Я знал, правда, что этот мятеж против царя. Чувствовал я, как я уже сказал, страх.

То, что происходило в городе, называлось беспорядками. Слова «революция» не было.

Стараясь понять, что мне грозит, я приходил к выводу, что, безусловно, злые люди, вроде разбойников, хотят всех поубивать, ограбить и что, пожалуй, хуже всего придется детям, которых эти разбойники особенно ненавидят.

Поразительно: ведь я слышал выстрелы «Потемкина»! Их было два, из мощных морских девятидюймовок. Один снаряд попал в угол дома на Нежинской, другой — я не запомнил куда. Изображение этого поврежденного угла дома я потом видел на фотографии в «Ниве».

Оба выстрела пронеслись над моей головой — два гула, заставившие меня пригнуть голову. До этого я никогда не слышал орудийного выстрела. Мне показалось, что над моей головой летит что-то длинное, начавшееся очень далеко и не собирающееся окончиться.

Подумать, что в тот момент, когда я переживал недоумение, ужас, где-то на залитой солнцем палубе стояли комендоры с усиками, заглядывали в артиллерийские приборы, спорили среди развевающихся лент, шутили... Я нес кулек с вишнями в ту минуту. Меня послали за вишнями, и вот я возвращался по лестнице черного хода.

Дома — страх, разговоры почти шепотом. Затем эпопея с перенесением тела убитого Вакуленчука в порт, кажется, на Платоновский мол. Имя Вакуленчук я услышал тогда, оно не потом вспомнилось, оно прозвучало в нашей столовой и остановилось под потолком.

Убитый матрос лежит в порту. Это грозит нам бедствиями. Это было жарким летом, когда цвели каштаны и продавались вишни. И меня послали за вишнями как раз в тот час, когда «Потемкин» дважды выстрелил по городу. Он не хотел стрелять по городу, он метил в городской театр, где заседал военный совет под председательством генерала Каульбарса, но промахнулся, и оба выстрела пришлись по городу.

В качестве испугавшихся возможной бомбардировки города «Потемкиным» мы бежали на станцию Выгода — одну из ближайших от Одессы, но уже в степи, уже во владениях немцев-колонистов. После короткого путешествия в поезде мы ехали в бричке. Тогда впервые я познакомился с бескрайностью степи, с ее жарой, с ее лиловатостью. Мне скорее не понравилось все это; по всей вероятности, я воспринимал эти картины сквозь тошноту, вызванную укачиванием брички, стоявшим в зените солнцем, тревогой, непривычным распределением часов еды. Подпрыгивающие крупы лошадей, раскачивающиеся хвосты с блуждающей у их корня шлеей, мухи, летящие вместе с бричкой, как бы стоящие в воздухе в виде люстры, черные четырехугольники полей на горизонте — как могло это не казаться болезнью, не вызывать тошноты?

Это состояние непривычности, тошноты, тоски продолжалось и тогда, когда я уже оказался в хате у немца, возле окна... Там, за окном, так же тошнотворно, как и все, что я видел, вели себя куры. То они шли медленно, вытягивая перед собой белые лапы, то вдруг, увидев что-то, быстро бросались бежать; опять шли, опять бежали; опять шли, опять бежали... Жара пела, звенела, разговаривала, открывала глаза, закрывала глаза.

Село жило своей жизнью. Оно, может быть, и не знало, что Одесса осаждена. Тут жили сонные, огромные, страшные люди, которых звали Фридрих, Бруно, Юстус, Бруно, Фридрих, Юстус. Они подходили к окнам и смотрели на нас; не стесняясь, перешептывались, толкали друг друга локтями. Где-то за мной в глубине комнаты лежит мама со своей дамской прической, где-то лежит папа.

А потом зато вечер! О, вечер был такой чудесный! Такой чудесный был вечер! Такой чудесный!

Они посадили меня на молодого жеребца с дурным характером. Этих двух мальчишек смешило, что у меня ничего не получается из верховой езды. Они хотели, чтобы я упал, чтобы лошадь сбросила

меня, понеся, и чтобы я просто убился насмерть. Из всей езды моей на описанном жеребце я помню только выбегающую буквально у меня из рук длинную узкую шею животного... Я съезжал то в один, то в другой бок. Седла не было, я сидел на остром хребте — причем страдал и от того, что причиняю коню боль.

Два мальчика, один повыше, другой пониже — карапузик, но храбрый и мужественный, на лестнице героизма стоящий выше меня на много ступеней,— бежали за мной, бежали по бокам, бежали впереди, ожидая, когда я свалюсь.

Жеребец понесся в сторону табуна, из которого он недавно был откомандирован. Табун виднелся мне в виде волнистой тени на горизонте. Ясно, он в конце концов сбросит меня. Я держусь, но не пора ли самому бежать с этого тела — чужого, ненавидящего меня, чувствующего мою слабость тела?

Как-то мне удалось сойти. Я сошел. Он тотчас же гордо отпрянул от меня, хлестнув меня освободившимися поводьями, и унесся, разбрасывая землю, сверкая вдруг золотым крупом... Мальчики хохотали, мне было стыдно — я был не воин, не мужчина, трус, мыслитель, добряк, старик, дерьмо... Вот тогда, в этот закатный час в степи под Вознесенском, и определился навсегда мой характер.

Приходит в голову уже из одной и той же сферы — матрос Грос, 1905 год, пожар порта, Каульбарс, поездка в Мангейм, директор гимназии, футбол. Приходят в голову разные ходившие в парке насекомые (некоторые прикрывались буквально щитами, изнемогая под их тяжестью), приходят в голову морские офицеры с крестообразными черно-золотыми кортиками, гулявшие с дамами в белопенных шляпах, приходит в голову маэстро Давингоф, дирижировавший оркестром в кафе на бульваре, сидя верхом на белой лошади.

Приходят в голову лиловые цветы — маленькие лиловые кипарисы, названия которых я так никогда и не узнал, спускавшиеся от меня направо по откосу вниз к лугу, пока я, и папа, и еще кто-то третий шли к Аркадии куда-то не то в больницу к кому-то, не то в частный дом, который оказался весь наполненный солнцем и стоящими поперек стеклянными дверями.

Я слышал звук взрыва бомбы, которую бросил анархист в кафе Дитмана в Одессе в 1905 году. Все испуганно переглянулись в это мгновение: я, бабушка, папа, мама, сестра, знакомый, знакомая. Звук, сперва быстро взлетевший кверху, потом как бы стал оседать и расширяться. Все это, правда, в одну десятую долю секунды.

Все спутано в воспоминаниях о той эпохе. Городовой зарубил саблей офицера в театре. Хоронят офицера с венками, на которых надпись: «За что?»

Убили пристава Панасюка. Идет дождь. Погром. Сперва весть о нем. Весть ползет. Погром, погром... Что это — погром? Погром, погром... Затем женщина, дама, наша соседка вбегает в гостиную и просит спрятать ее семейство у нас.

Велят вешать, если за дверью христиане, икону на двери. Утром

я вижу в Театральном переулке над входом в какой-то лабаз комнатную икону: между карнизом окна второго этажа и балкой над дверью. Сыро и пасмурно после дождя.

Однажды, выйдя на железный балкон, куда выходил наш «черный ход», и посмотрев в сторону двора, я увидел идущим через двор по направлению к нашей лестнице откуда-то возвращающегося папу.

Он, которого я привык видеть с усами, был теперь без них, он сбрил усы. Лицо его показалось мне толстым, мясистым — красное, как мне показалось, мясистое лицо под соломенным канотье!

Это была сенсация — Карл Антоныч сбрил усы!

Долго обсуждалось это обстоятельство — семьей, соседями, всем двором, приходившими в гости знакомыми. Папа и сам почти не отрывал лица от зеркала, а когда мы, дети, обступали его, надувал щеки, строил рожи, чтобы сделать себя еще более смешным!

Золотое детство! Уж такое ли оно было золотое? А близость к еще недавнему небытию? А беззащитность перед корью, скарлатиной? А необходимость учиться, ходить в гимназию, знать уроки? А кашель, к которому все прислушивались? А отвращение к некоторым видам пищи, которые как раз и нужно было есть? Например, яйца. О, я однажды увидел под стеной разбитое яйцо, из которого вытек некий призрак птенца... Мог ли я после этого есть яйца?

Они продавались в так называемых табачных лавках, где продавались еще и марки, и гимназические тетрадки. Ракета стоила, кажется мне, рубль. По виду это была синяя трубка, насаженная на щепочку вроде тех, какими подпирают цветы. Этой щепочкой снаряд вкапывался в грунт... Имели фитиль — черный скрюченный хвостик, торчавший из донышка трубки. Чтобы запустить ракету, его-то и поджигали — но я никогда не видел, как это делается, я видел только праздник, только пожар, ликование, только павлиньи хвосты, я слышал только пальбу и только свист уносящейся кверху ракеты, свист в полной тишине синей бархатной ночи, свист, терявшийся в вышине некоей высоко взлетевшей светящейся точки... Только это, только их волшебство знал я о ракетах — а самой ракеты я никогда не держал в руках.

Табачная лавка находилась тут же при выходе из дому, налево от ворот. Хозяин ее был Исаак.

— Пойдите к Исааку.

Или:

— А у Исака нет?

На вывеске у Исака было написано огромными, величиной в стул буквами только одно слово «Табак». Это были стандартные вывески для всех лавок такого рода — вероятно, по образцу недалекой от Одессы Турции,— я бы сказал, вывески довольно красивые.

Исак стоял за сравнительно высокой узкой конторкой и, открыв крышку, вынимал марки. Марки хранились бережно — это было что-то вроде денег, валюты. Маленькое синее изображение царя. Стоила

марка семь копеек. Ребенка часто посылали за марками. Как хорошо и долго я помнил эту цену, помнил именно эту цену — семь копеек. Вот и теперь помню. Теперь на детях не лежит обязанность покупать марки.

Исак был круглолицый, с шелковистой молодой бородкой, приветливый. Магазин у него был маленький — собственно, лавочка, табачная лавочка, однако чистый, поблескивающий лакированным деревом прилавка и конторки — верно, входя сюда, можно было тотчас же почувствовать, как Исак и его жена Маня любят свою лавку и хотят, чтобы покупателям нравилось побывать в ней.

Детское воспоминание сохранило Маню.

Маня была тоже молодая, томная, с беспорядочными, но нарядными волосами и говорила с еврейским распевом — ласковым и почти в каждой фразе заканчивавшимся вопросительной нотой.

— А-а? Арифметическую? Нет, в линейку-у?

Хотя лавка называлась табачной, но в ней, как всегда в ту эпоху, кроме всего, что относилось к курению, продавались тетради, марки, письменные принадлежности, листы разноцветной глянцевой бумаги для прикалывания кнопками для письменных столов, переводные картинки, которые, кстати говоря, обычно содержались целыми листами с мутно-лиловыми пятнами еще не переведенных картинок в общей тетради. Это все, конечно, кроме табачных изделий. Табачные изделия — это были папиросы, коробки с табаком, гильзы. Что самое удивительное, это то, что можно было купить в табачной лавке также и ракету.

— Исак,— спросил я однажды,— у вас продаются и ракеты?

Хотя я был мальчик, но я, как и все вокруг, называл Исака по имени.

— Есть римские свечи,— сказал Исак.— Ракета стоит один рубль, это римская свеча.

Как я вздрогнул, когда услышал это название! Почему именно свеча? Почему римская?

— Это какие?

— Откуда мы знаем какие-е? — отозвалась Маня.— Тебе подарили на именины пять рубле-ей, а ты хочешь на ракеты-ы? Исак, ты слыша-ал, ему бабушка подарила пять рубле-ей?

Весь двор знает, что мне бабушка подарила пять рублей. В парикмахерской, куда я пошел, меня послали постричься, я по требованию Жоржа, хозяина, даже раскрыл портмоне, которое мне тоже подарила бабушка, и вынул из него золотую монету, показал всем, чтобы увидели все присутствующие.

Я шагнул через ступеньку на другую (всего их было две) и вошел в магазин. Что он ярко освещен, я понимал еще на улице, приближаясь к крыльцу, так как его окна и дверь виднелись на довольно большом расстоянии в виде желтых световых, преграждающих мне путь плоскостей. Войдя, я по-настоящему оценил качество освещения — магазин, казалось, просто моется в свете. Правда, он вдруг начинал казаться ванной, все продававшееся в нем можно было при-

нять за то, что плавает в еще не тронутой воде ванны: мыло, мочалку, игрушку... Тем не менее это был магазин гастрономический.

Покупать в этом магазине называлось покупать у немца.

Мне было запрещено выходить во двор.

— Он играет с мальчишками.

Я был сын того, кого называли барином и кому городовой отдавал честь. Правда, отец был бедный человек, тем не менее барин. Мне нельзя было играть с детьми не нашего, как тогда говорили, круга — с мальчишками.

Однажды в жаркое после обеда, когда я думал, что отец спит, я решил все же выйти во двор. Я сделал это не сразу, но как бы для того, чтобы уменьшить преступление, сперва выпил в кухне кружку воды из-под крана — холодной воды из эмалированной синей с белыми пятнами кружки, похожей, конечно, на синюю корову. До сих пор помню ненужный унылый вкус воды.

Как только я сделал несколько шагов от крыльца, как был окликнут высунувшимся в окно отцом. Я должен был вернуться, как приказал отец, и был отцом высечен — если можно назвать этим словом наказание, когда бьют не розгами, а просто ладонью, однако по голому заду.

Он был очень зол. Отец — вероятно, потому, что проигрался, как в подобном рассказе Чехова, в этот день или по другой причине. Я помню, что я почти вишу в воздухе в позе плывущего и меня звонко ударяют по заду.

Больше и дальше я ничего не помню. Лучше всего в этой истории это то, что я все же счел нужным преуменьшить преступление, а также и то, что кружка была похожа на синюю корову.

В другой раз я подвергся физическому наказанию со стороны отца, когда ехал с ним и с мамой в купе вагона второго класса тогда еще царской железной дороги из Крыма.

Мы были в Крыму, мы были в Крыму! Там на веранде художник с патлами и в пенсне стриг пуделя, выходившего из его рук все более худым, все более голым, все более дрожащим; там белел в лунном свете дворец Воронцова в Алупке с как бы утирающими морды мраморными львами, на которых меня садили верхом, от чего тайно для всех было больно моему половому органу... Мы были в Крыму! Мы были в Крыму!

В магазине Колпакчи на Екатерининской улице продавались детские игрушки. Наиболее привлекали к себе внимание — да просто вы окаменевали, глядя на них! — волшебные фонари. В них была всегда вложена пластинка с изображением — с торговой, так сказать, целью: посмотрите, мол, как это делается. Бледная туманная пластинка из матового стекла, которая... Нет, это очень неясное описание! Он был заряжен, волшебный фонарь, вот как надо сказать, заряжен, и если бы можно было зажечь лампу, стоящую в нем, и если бы в помещении было темно, то можно было бы тут же и пустить его в действие —

пластинка появилась бы на стене в виде румяного зеленого карминового светящегося изображения какой-нибудь известной всем детям сказки.

Волшебный фонарь был игрушкой, о которой даже не следовало мечтать. Вероятно, это стоило очень дорого. Он стоял, блестя своей черной камерой, как некий петух, глядящий поверх всех. Мы не мечтали о нем. Мы покупали пистоны. Пистолеты у нас уже имелись. Они были куплены на именины — кому осенью, кому весной, кому летом. Это были черные, по всей вероятности, латунные, пахнущие горелым от частой стрельбы изделия, приятно и больно отяжелявшие детскую руку. Пистоны продавались в крошечных кругленьких коробочках из желтого, как бы мокрого, во всяком случае, сморщенного картона. Они лежали в коробочке розовой горкой, требующей долгого кропотливого описания.

Продавались большие листы, на которых было напечатано изображение миноносца в разных, так сказать, видах, причем именно так, чтобы, вырезав эти изображения и склеив по отмеченным линиям те или иные части изображений, можно было в конце концов получить некий объемный миноносец, своего рода модель. Мне никогда не удавалось добиться этого окончательного результата — даже приблизиться к нему. А между тем оказалось, что это не так уж трудно. Изображения эти выглядели чрезвычайно аппетитно. Казалось, только возьмись за ножницы, и через какой-нибудь час на столе будет полулежать перед тобой, как в доке, серое тело миноносца... Но куда там! Умения и терпения хватало, может быть, только на то, чтобы вырезать какой-нибудь кубик боевой башни. Все сминалось затем, расшвыривалось по столу в виде комков бумаги, приклеивавшейся к рукам, повисавшей на кистях рук... И вы плакали, и хотелось, чтобы вас пожалели!

Очевидно, во мне всегда было желание творить самому, все изобрести самому, ни с каким не примириться чертежом!

Когда я в совсем маленьком возрасте рисовал, как мне казалось, русских солдат в бою с японцами, то тогда мне никак не казалось, что я рисую нечто неправильное: я был убежден, что рождающиеся под моим карандашом линии есть именно линии, изображающие солдат.

Взрослые, наблюдавшие, как я рисую, видели совсем не то, что видел я. Мне даже представляется, что я поймал какое-то юмористическое переглядывание взрослых. Да и кроме того, я помню до сих пор замеченное мною тогда колено одного из стреляющих солдат — оно было просто некиим прямым углом, двумя соединившимися под прямым углом линиями. Словом, было все же у меня презрение, сказавшее мне, что я рисую ерунду...

Это была тетрадка размером приблизительно в открытку, более все же квадратная, чем открытка, толстенькая, увесистая тетрадка, почти книжечка.

Сейчас, на восприятие взрослого, мне представляется, что она состояла из десятков двух примерно довольно плотных листьев, из

которых каждый был, я бы сказал, гравюрой с той или иной известной картины.

Так, я почти убежден, что на одном из них была гравюра с «Клятвы в зале для игры в мяч» Давида.

Да, да, безусловно, это были гравюры — помню тонкие параллели штрихов, серые массы изображений, эту темноту всего поля, в которое приятно и заманчиво вглядываться и вдруг узнавать среди темных и клубящихся масс события какую-то освещенную далеким солнцем тропинку, по которой идет ребенок.

Итак, гравюры. Целая книжечка гравюр.

Но зачем бы дарить ребенку в день именин такой подарок? Разве это интересно — гравюры?

Я любил вырезать из картона доспехи. Лучше всего удавались набедренники в виде, как и полагается, некоего пояса с нишеобразным вырезом под животом. Это удавалось, но дело не шло дальше примерки, когда мои бедра оказывались охваченными действительно хоть и картонным, но все же похожим на рыцарский, набедренником. Но ведь нужно было и скрепить этот набедренник где-то на пояснице, чтобы он не спадал! Вот этого и нельзя было сделать. Возможно ли сшить картон? Тут и заканчивалась эта, по существу, игра в вооружение.

Я до галлюцинации запомнил один из моментов, когда я занят этой игрой. Сумерки в столовой — в той столовой на Греческой, выходящей в стену, в окно Орловых! — и я держу голубеющий в сумерках картон. Боже мой, вот сейчас я протяну руку, картон опять окажется в моей руке — и мгновение повторится!

У входа в погреб, куда еще достигало солнце, работал столяр. Очень важно, что именно солнце — в нем золотились стружки. Как крепок всегда союз между ними и солнцем! Как оно любовно относится к стружке! Иногда, когда не смотришь на них, а увлечен разговором, вдруг покажется, что прямо-таки нимфа появилась возле верстака!

Я не помню, над чем трудился столяр. Важно, что вдруг завязывалась между нами дружба. Я был мальчик — не выше верстака, и столяр казался мне старым. По всей вероятности, это был солдат японской войны. Все еще жило ее отголосками. Был он с усами, с крестом, видным в щель рубахи, русский, в синей в белую горошину рубахе. Меня восхищало то обстоятельство, что он рисует по доске, восхищал толстый его карандаш, который он брал в рот, слюнил. Взметывался то и дело также аршин, тоже желтый, как спички, как солдат, как солнце...

Столяр, работавший в подвале, смастерил мне нечто вроде модели солдатской винтовки — вернее, ее профиль, вырезанный из белой, чуть желтоватой сосновой доски. Трудно мне описать сейчас то восхищение, которое охватило меня, когда я впервые взял эту штуку в руки — все имелось: и приклад, хорошо приходившийся мне под щеку, и длинная ложа, и выступающий кусок ствола над ложей, и

мушка, и некий намек на затвор с курком... Правда, все это было никак не мощно синевато-черное, как у настоящей винтовки, а наоборот, бледно и даже со следами линий, проведенных густым столярным карандашом,— тем не менее у меня было ощущение настоящего обладания именно винтовкой.

Я не помню, каковы были подступы к тому, что разыгралось в следующую минуту, но тут же, едва я успел чуть не в первый раз прицелиться еще там в подвале, на пороге подвала появился подросток, незнакомый мне, лица которого я даже не успел увидеть, и, взяв у меня из рук подарок столяра, ушел вместе с ним — так, как будто это вообще была его вещь, даже не оглянувшись на меня и даже не допуская, как видно, мысли о том, что я могу попытаться протестовать.

Таким образом, я не больше минуты был обладателем вещи, показавшейся мне такой прекрасной. Какой-то удивительный розыгрыш сделала со мной судьба на пороге подвала с лежащим на нем прямоугольником солнечного света.

Я мог в детстве, как это часто случается с детьми, выколоть глаз. И то хорошо, что этого не случилось! Однако помню некий взмах длинной щепки, в результате которого на мгновение все перед моими глазами делается блестящим, и я кричу:

— Ну вот, выбил глаз! Выбил!

Особенного гнева по адресу того, кто, как я предполагаю, выбил мне глаз, я не ощущаю. Не то что особенного гнева, а вообще гнева — да и вообще никакого представления о вине того передо мной у меня нет. Так случилось — и все. Сцена происходит у крана во дворе, через несколько минут я уже в аптеке, и на глазу у меня появляется толстая повязка с мягким, как тесто, содержимым, которое издает одновременно и приятный и противный запах.

Я мальчик, сын родителей, которому чуть не выбили глаз. Я очень сильная фигура детства. Обо мне говорят в парикмахерской, в дворницкой, в греческой мясной лавке, в богатых квартирах и в бедных. Рассказывают вернувшимся со службы отцам, рассказывают только что приехавшим из других городов родственникам.

Мы решили с мальчиком, который чуть не выбил мне глаз, скрыть истинные обстоятельства дела — я просто бежал и наткнулся на что-то. Однако обстоятельства раскрылись, и мама мальчика прижала меня к груди, и, нагнув надо мной желтую шапку волос, ласково смотрела на меня, и говорила, что я хороший мальчик. Между тем я не помню, чтобы мною руководило именно благородное побуждение. Так было проще — не выдать товарища, иначе начались бы морализирования, и это отразилось бы также и на дальнейшей нашей возможности играть во дворе и пользоваться свободой.

Глаз у меня остался целым, и я забываю радоваться каждый день, что у меня два глаза с радужными оболочками, со зрачками, у которых меняется диаметр вплоть до размеров солнца, с ресницами, которые ведут совершенно не зависящую от меня жизнь,

иногда, может быть, разговаривают, простираясь над моими глазами, как ветви, и иногда кажутся мне снизу простирающимися, как ветви, надо мной...

Эти записи — все это попытки восстановить жизнь. Хочется до безумия восстановить ее чувственно. Я стою на чердаке, почти поджигаемом солнцем, перед двумя мальчиками, которые заставляют меня, совсем маленького мальчика, повторять за ними какие-то слова матерной ругани. Я повторяю, но они требуют все повторять и повторять. При этом они хохочут. Чердак, как и всегда это происходит с чердаками, когда мы попадаем туда летом, почти, как я уже сказал, горит, дымится,— да, да, по углам, где постройка несколько разрушена и где видны целые груды солнца, прямо-таки курится дым — синий дым!

Во дворе пахло канифолью. Этот запах шел из раскрытого сарая, где стояли бочки с неизвестным нам, детям, содержимым. Запах казался не то что приятным, а каким-то серьезным, на основании чего ему прощалось отсутствие именно приятности... Этот запах был желт, как желто было лежавшее на камнях двора и кирпичах стены солнце,— да, да, желтый солнечный запах. По двору ходила томная Витя Койфман с пухлыми губками, с незагорелым приятно-бледным лицом.

Потом мы взбирались по лестнице с риском упасть и видели через пока что всего лишь вырубленные в стене строящегося флигеля двери внутренность уже готовой комнаты, тоже всю в желтизне солнца.

— Упадешь! — крикнула мне снизу Витя Койфман, подняв лицо, которое я видел плоско под собой, как будто сидел на пальме и смотрел на прибежавшую из деревни негритянку.— Смотри, упадешь!

Крича это, она смеялась, как будто, если бы я упал, это было бы смешно. Она смеялась, потому что я был мальчик, а она девочка, и между нами появился стыд. Стыд было другом, а не врагом. Со стыдом был приятно быть вдвоем. Он многое рассказывал, многое делал такое, что, пожалуй, он был наиболее милым другом в те годы.

Когда я был маленьким, во дворы приходили довольно часто китайцы, продававшие шелк. Эти китайцы были еще с косами. Традиционный тех времен наряд китайца, состоящий из синих шаровар, синей же кофты, загнутых черных туфель — и коса! Она была черная, блестящая, твердая, как бы с большой затратой труда вылепленная из смолы. Китаец был красив, прищурен, мужествен, несмотря на косу,— возможно, даже тем более мужествен, что именно с косой: какая-то странная, сказочная мужественность!

Он входил во двор с тюком, который был подвешен к железному аршину, который носильщик держал через плечо. Тюк висел, таким образом, на спине китайца. Привлекала чистая аккуратная внешность тюка — его изящная компактность, его немалый вес, ограниченный хорошей формой...

Однажды на именины мне подарили несколько удивительных подарков. Вероятно, это были не русские игрушки, настолько они отличались от всего того, что заполняло углы моей детской. Об одном из них даже и колебаться не приходится — японская трава, так он назывался, и это было не только название, и в самом деле это была японская трава.

— Стакан теплой воды,— сказал кто-то.— Да, да, пожалуйста...

Появился стакан теплой воды с секунду покачивающимся уровнем. Все стояли вокруг стола. Это были еще именины, разгар их — именины мальчика, когда в комнатах стоит голубой дым от выстрелов из пистонного пистолета и запах пороха. Именины мальчика, который не перестает в этот день пребывать посередине какого-то круга вещей, какого-то круга людей.

Стакан теплой воды взяли из женской руки и поставили на стол, увеличив круг вещей именно стаканом воды. Мальчик не выпускает, кроме того, из рук пистолета. Также окружают его еще и крохотные кружочки пистонов...

Господин с черной бородой, которого, возможно, фамилия Макеев, держит в руках коробочку не больше спичечной, так же как из спичечной, выдвигает он из коробочки еще ящичек...

Одним из взрослых, которым хотелось быть больше всего, был Ричард Грос.

Я возвращаюсь домой, и за столом, за которым все сидят и пьют чай, сидит также и один из взрослых, которым мне хотелось бы быть больше всего.

Едва войдя в комнату, я уже вижу его белую матросскую голландку. Из воротника, красиво легшего на оба плеча, растет, как прекрасный стебель, его белая шея.

Мы возвратились втроем, как и ушли,— я, бабушка, сестра; возвратились из парка, куда ушли гулять, как и каждый день; ничего не произошло неприятного... И вместе с тем я стою посреди комнаты, в которой только что очутился, растерянный, с сердцем, наполненным неизвестным мне до тех пор чувством.

Там, в парке, бабушка читала нам сказку о драконе и о принце, добывающем живую и мертвую воду.

Дракон по-польски — смок.

Он преграждал дорогу к живой и мертвой воде, этот смок. О, как хорошо я слышу это звучащее из невероятной дали слово — смок! О, как явственно вижу я себя чуть не оглядывающегося на это летающее вокруг меня слово.

Все в этот день происходило среди падающих листьев — так что среди падающих листьев происходила и наша Одиссея.

Мы то и дело следили то за одним, то за другим проплывавшим поблизости листом. Иногда, когда они проплывали возле лица, я слышал, как они поскрипывают. Тогда я не подумал, что они скрипят,

как корабли, это мне теперь приходит в голову. А, впрочем, может быть, я и тогда подумал об этом!

Некоторые, если бы их рассматривать распластанными, были бы похожи на готические соборы.

Они неслись на нас из голубого неба, цепляясь за подоконники и меняя направление.

Бабушка с ее поэтической душой понимала всю красоту происходящего. Как грустно вдруг становилось видеть ее лицо.

Бабушка занята своим делом — может быть, штопает, может быть, шьет, а я перелистываю книгу, до которой мне нет другого дела, кроме того, что я иногда вижу в ней изображения, озадачивающие меня до дрожи. Я не умею читать, тем не менее знаю, что вот покрытые черными знаками пространства — это для чтения; это, я знаю, страницы, буквы, и это читают.

Книгу, которую я перелистывал тогда, я встречал в нашем доме и позже, в годы, когда я уже вырос настолько, чтобы понимать многое и многое. Книга эта — может быть, и вы, читатель, хорошо знаете ее! — это приложение к «Ниве», вышедшее в тот год, когда заканчивалось столетие — нечто вроде сборника исторических материалов, подводящих как раз итоги столетия. Она так и называлась — «Девятнадцатый век». Нетрудно представить себе, сколько замечательных там было изображений, если книга подводила итоги такого века, как девятнадцатый.

Когда я отмечаю свое неумение писать, то я имею в виду составление фразы. Мне очень трудно написать фразу одним, так сказать, махом — в особенности если фраза создается для определения каких-либо отвлеченных понятий. Она вдруг обламывается, и я повисаю, держась, скажем, за какой-либо кусок придаточного предложения...

Я успокаиваю себя тем, что я, мол, поляк и русский язык все же чужой для меня, не родной. Возможно, что причина именно в этом.

Я помню, как отец однажды пожелал проверить мои успехи в чтении по-русски. (Учила меня бабушка, отец выступал в данном случае как верховный судья.)

— Иван! — кричит отец, рассердившись.— Иван!

Я произношу Ива́н, с ударением на первом слоге, по-польски, в каковом языке не может быть ударения на последнем слоге.

— Иван!

— И́ван! — повторяю я.

— Иван! Иван! Иван!

Нет, я все же произношу — И́ван. Боясь, как бы в гневе не ударить меня, отец прекращает экзамен, я плачу. Я был еще маленький поляк, и мне было трудно повернуть в себе на новый лад то, что я воспринял с кровью.

Дешевое издание, однотомник. Это большого формата, толстая, с разъезженным переплетом книга. Нетрудно представить себе этот переплет, откинув верхнюю крышку которого видишь решетчатую уличку коленкора...

Книга называлась «Пушкин». Я еще не умею читать, я еще не знаю, что значит — поэт, стихи, сочинение, писатель, дуэль, смерть; это Пушкин — вот все, что я знаю.

Какую первую книгу я прочел? Пожалуй, это была книга на польском языке — «Басне людове» («Народные сказания»). Я помню, как пахла эта книга,— теперь я сказал бы: затхлостью — как расслоился угол картонного переплета, как лиловели и зеленели мантии седых королей, как повисали на горностаях черные хвосты... Это была история Польши в популярных очерках — о Пясте, о Локетке, о Болеславе Храбром, о Казимире Кривогубом. С тех пор мне и кажется, что изображения могут гудеть. Эти картинки гудели.

У Данте в одной из песен Чистилища рассказывается о высеченном в скале и движущемся барельефе. Он изображает милосердие Тита, этот барельеф. Он не то разговаривает, не то движется,— во всяком случае, это изображение живет. Данте, чтобы убедиться, не обманывает ли его зрение, несколько отступает в сторону, смотрит на барельеф со стороны. Да, движется! Колоссальный барельеф, высеченный в скале. Вот какая фантазия была у Данте: он представил себе движущуюся сцену — величиной в скалу.

Я помню нерадость, недоумение в тот день, когда мне подарили басни Крылова. Это была небольшая в красном с золотом переплете книга известной «Золотой библиотеки» Вольфа. Там на переплете в золотом овале были изображены склонившиеся друг к другу лбами и читающие вдвоем книгу мальчик и девочка. Я до сих пор помню, как поистине металлически блестело в этом овале золото!

Басни Крылова были хорошо иллюстрированы — графически, реально, но очень прозрачно. Медведи, мужики, лисицы, гуси. Под каждой картинкой, или по обе ее стороны, или на листе, соседнем с картиной, были напечатаны стихотворения, которые в данном случае, удивляя меня, назывались баснями. Я прочел одно, другое, третье — и меня охватила скука, переживание которой я помню до сих пор. Во-первых, это было написано на языке, совсем непохожем на тот, на котором все разговаривали вокруг. Во-вторых, речь шла о животных, которые действовали то как животные, то как люди, а разговаривали все время, как люди. Эта путаница сразу дала себя почувствовать. Потом так же лев разговаривал, например, с лисицей. И эта путаница, географическая, дала себя почувствовать... Присутствие на картинке льва, слона, змеи заставляло ожидать событий. Причем событий страшных, загадочных, кровавых. А когда я начинал читать, то вместо событий начиналась какая-то скучная история о том, как музыканты никак не могли рассесться, чтобы начать наконец играть. Детская фантазия не понимала, почему надо привлекать такое существо, как лев, не для того, чтобы он кого-то растерзал или чтобы когонибудь вырвали у него из лап.

Эти ненастоящие львы, медведи и лисицы басен, которые символизировали человеческие качества, ничего общего не имели с животными, например, сказок Гауфа или братьев Гримм...

В этот магазин вела узкая дверь в довольно толстой стене, что делало момент входа в него особенно, если можно так выразиться, аппетитным. Кажется, даже звякал при открывании дверей колокольчик...

Это был книжный магазин, причем в соседней комнате помещалась маленькая библиотека польских книг, которые выдавались на дом.

Книги были польские, хозяин магазина и библиотеки — поляк, его жена — полька, продававшиеся в магазине картинки — польские, все было польское,— даже запах, чем-то похожий на запах костела, возвышавшегося рядом с магазином, здесь, на Екатерининской улице.

За книгами в магазин меня посылала мама. Я проходил маленькую библиотеку и спрашивал у жены хозяина, старушки, есть ли книга, которую хочет получить мама.

— «Прокаженная»,— произносил я название романа.

Нет, никогда «Прокаженная» не оказывалась в библиотеке. Она все была на руках. Когда маме содержание этого романа рассказывала знакомая, у мамы текли слезы...

— Нет, мальчик, «Прокаженной» нет.

Ряды книг громоздились один над другим до потолка — разные книги, новые, истрепанные, некоторые в ярких нерусских обложках. От книг пахло тем запахом, который остался в моих воспоминаниях, как один из приятнейших запахов, какой удалось мне услышать, хотя, по правде говоря, это был запах несколько затхлый, мышиный.

— Есть «На серебряном шаре» Жулавского. Возьми, мама будет довольна.

И я беру «На серебряном шаре». Взгляд на обложку дает мне понять, что действие романа, очевидно, происходит на луне: большой шар луны, сделанный художником действительно в виде серебряного, восходит над горизонтом, и несколько человек, истомившись среди кустов и бросая длинные тени, смотрят на него с печалью.

Уходя из магазина, я задерживаюсь, чтобы посмотреть на открытки, которые здесь продаются и держатся лицом к покупателю благодаря какому-то проволочному сооружению. Тогда открытки коллекционировались и изготовлялись поэтому с особенным искусством, чистые цвета, хороший картон... Репродукция блестела, оставаясь четкой во всех подробностях. Вот, например, пожар... Большое здание, уже превращающееся в скелет, чернеющий на фоне пламени, снопы искр и маленькие золотые каски пожарных, величиной с булавочную головку, но видимые даже тогда, когда уже у дверей я оглядываюсь на них в последний раз.

— «На серебряном шаре»? — спрашивает мама.— Что это? Наверное, какая-нибудь глупость. Надо было «Прокаженную».

— Ну нет «Прокаженной»,— говорю я.

— Какая-нибудь глупость.

Однако голубеющая обложка с серебряной луной и длинными тенями людей привлекает ее. Она спрашивает не столько меня, сколько самое себя:

— Что это?

Открывает, начинает читать.

— Нет, ничего,— говорит она через минуту.— Ничего, ничего.

— Изобретатель, который... Ничего.

Оказалось потом, что это грустная книга о группе людей, полетевших на луну и утративших возможность вернуться и все тоскующих о земле...

Однажды мои родители, побывав в театре, вернулись под очень сильным впечатлением спектакля. Они все принимались рассказывать мне, что же именно они видели.

В первый раз я услышал это имя от родителей, которые, побывав в театре на каком-то произведшем на них сильное впечатление спектакле, все принимались рассказывать мне, что же именно они видели.

— Бьют часы,— говорила мама,— и входит смерть. Ах, как страшно! Она с косой! Да, да, с косой и...

Дальше я не слушал, так как образ смерти с косой заполнял мое воображение. Пока я освобождался от него, мама уже заканчивала пересказ вспомнившегося ей пассажа. Боковым, так сказать, слухом успевал я услышать, правда, еще какие-то страшные вещи о римском папе, который не хочет следовать за смертью, упирается, и смерть злорадно хохочет и все же тащит его.

— Нет, пойдешь! Упирается! Ха-ха-ха! Пойдешь, пойдешь!

С каким-то особым значением, как нечто тоже страшное, родители произносили название пьесы.

— Данте Алигьери,— вдруг говорила мама, и по спине у меня пробегали мурашки страха. Тем не менее мне хотелось еще раз услышать, и я переспрашивал:

— Как?

И мама повторяла.

Когда я просил объяснить, что это значит, мама не умела этого сделать. Очевидно, ей и самой не все было ясно. Очевидно, спектакль был некоей инсценировкой по мотивам «Божественной комедии»; очевидно, двигавшаяся по сцене фигура Данте среди ужасов ада не называлась другими действующими лицами по имени... Вот поэтому и трудно было маме, как неподготовленному зрителю, соединить название спектакля с этой фигурой, она не могла сказать мне, что это имя поэта.

Папа, который был библиотекарем Коммерческого собрания, разрешал мне забираться с ногами в кресло — в это удивительное кожаное оливкового цвета кресло, о котором говорила вся Одесса,— и читать, что я захочу и сколько захочу.

А, бывало, он еще заказывал для меня мороженое!

С ногами в кресле, глотая мороженое, я читал Куприна. Я читал «Морскую болезнь». Я не понимал тайн этого рассказа, так как был невинен, но роскошь жизни постигалась мною особенно полно только потому, что я с несомненностью ощущал неизбежность постижения мною в конце концов еще некоей тайны, о которой говорили книги, мороженое, кресло, собственные ноги и горы заката за окном — о, целые горы заката!

Я давно не перечитывал этих рассказов. Где они? Только в истрепанных за годы книгах, которые можно обнаружить лишь случайно, у знакомых.

Я помню, как замирала от восхищения моя сестра даже тогда, когда только пересказывала их содержание.

— Баскервильская собака,— говорила она, глядя мне в глаза своими расширенными,— понимаешь, эта собака...

Я не помню сейчас, что она делала, эта собака. Кажется, одним из ужасов, одной из тайн было то, что у нее из пасти вырывалось светящееся дыхание.

Еще мальчиком, при переходе из одного класса в следующий, я получил в качестве награды книгу, которая называлась «Чудо-богатырь Суворов». Это была толстая, дорогая книга в хорошем, красивом переплете, почти шелковом, с изображением, в котором преобладал кармин, какого-то мчащегося воина с пикой, казака. Она мне очень понравилась, эта книга. По всей вероятности, она была составлена в патриотическом духе, снижающем французов — Массену и Макдональда и других молодых героев и поднимающегося жестокого старика Суворова.

Как мне помнится, я мог провести прямую черту как вертикальную, так и горизонтальную по бумаге карандашом или пером — без линейки. Она была всякий раз абсолютно прямой и абсолютно параллельной как нижней стороне листа, так и боковой.

Отец, давший мне переделить какую-то ведомость, сказал:

— Вот тебе линейка.

И я, помню, ответил:

— Мне не надо линейки.

Отец рассердился. Тогда я провел линию, подчеркивающую какую-то колонку цифр, и отец, помню, ничего не сказал от удивления, только раскрыл брови.

Это была юность, сила и будущее.

Теперь я даже не могу провести прямой мысли — как явствует из этого отрывка.

Холода, бывало, уйдут еще не слишком далеко, и поэтому какая-то настороженность не покидает мира, но уже чисто и сухо. И среди этой прибранности природы — пока что только двора, где я провожу каникулы,— приближается пасха.

Еще несколько дней, и поперек постелей лягут толстые башни только что выпеченных куличей, прикосновение к которым напоминает ладоням прикосновение к песку; еще несколько дней, и в доме появятся гиацинты...

Мы католики, так что это не совсем наша пасха; наша пасха в Варшаве, в Париже, в Риме. Тем не менее у нас есть костел, и восковая кровь на челе Христа, и то нарушение как порядка дня, так и

порядка души, которые свойственны великому празднику. Однако хозяева положения, конечно, православные. У них колокола с их гигантскими лопающимися пузырями звука, у них разноцветные яйца, у них христосование... У них солдаты в черных с красными погонами мундирах и горничные с белоснежными платочками в руке, у них Куликово поле со зверинцем. Впрочем, Куликово поле принадлежит всем.

На Ланжероне был спуск к морю не только по дороге — можно было сбежать и обрывами.

Они густо поросли бурьяном, эти обрывы, были засыпаны отбросами, на них спали внезапно выскакивавшие на нас опасные собаки. Тем не менее они вели к морю, которое тут же, буквально за разбитым ящиком, строило свои громыхающие кубы, параллелограммы, свои треки, палатки — в сверкающей бирюзе и иногда в таких длинных лучах, что некоторые, появляясь на сотую долю секунды, заставляли вас вскрикивать.

Впрочем, и тут плавали, подпрыгивая к берегу и тут же отпрыгивая от него, консервные банки, старые башмаки, листки из календаря... Можно было увидеть и седло, распустившее по воде все свои кожаные водоросли.

Однажды, сбежав, я увидел акробатов, которые, купаясь, также и тренировались. Несколько молодых людей делали великолепные сальто-мортале, взлетали друг другу на плечи — там круглились их икры,— перепрыгивали друг другу через головы.

Каждый прыжок заканчивался тем, что две ступни опять оказывались на песке и сквозь пальцы протискивался золотой песок.

Одежда их — обыкновенные штаны и белые кучки рубашек — лежала тут же, в песке. Потренировавшись, они убегали в море. Все это было окружено возгласами — теми стеклянными возгласами, которые можно услышать только на берегу моря в жаркий день.

Безусловно, это не были первоклассные акробаты больших цирков. Те были окружены выдающимися по цвету и форме вещами — халатами, зонтиками, на песке валялись бы пестрые бутылки... Нет, эти юноши и мальчики были, если не любители, то какая-то бедная труппа сродни тем, которые в моем детстве выступали во дворах под шарманку,— сродни тому шару, той синей спине и той стоящей на шаре девушке, которых написал Пикассо.

Итак, я совершенно утратил способность писать. Писательство, как писание подряд, как бег строчек одна за другой, становится для меня недоступным. Я сочиняю отдельные строчки. Это возможно, когда человек пишет стихи,— проза, статья, драма так не могут быть создаваемы. Я не сочиняю, размахиваясь вперед, а пишу, как бы оглядываясь назад,— я не сочиняю, штрихуя, строя, соображая, а вспоминаю: как будто то, что я только собираюсь написать, уже было написано. Было написано, потом как бы рассыпалось, и я хочу это собрать — осколки опять в целое. Словом, или надо развязать, как говорится, комплекс, или надо кончать дело.

Прощай, дорога на Ланжерон, прощай!

Там, у самого начала, стояла не парадно-белая, скорее, гипсовая, а не мраморная арка — как бы часть какого-то виадука. Там, под этими известняковыми сводами, ютились лавочки — скорее, просто продажа чего-то: кваса, пряников, может быть, дешевых ракет.

Прощай, дорога на Ланжерон, прощай!

Сначала папа и двоюродный брат Толя и еще какой-то господин играли у Робина на бильярде и пили пиво. Мне ужасно было приятно смотреть, как они пьют пиво. Мне вовсе не хотелось самому выпить, наоборот, пиво всегда говорило мне о касторке, но, видя, как они топят в стаканах усы, потом вздрагивавшие под тяжестью пены, я завидовал им — мне скорее хотелось стать взрослым.

Неся продолговатую картонную коробку, группа быстро шла по гравию. По тому, как они размахивали руками, как быстро переставляли ноги, как говорили разными голосами, чувствовалось, что совесть у них не чиста, что это — жулики.

Впереди ждал их деревянный непокрытый стол, окруженный толпой детей, среди которых стоял и я.

Они подошли к столу, один сел на табуретку и вынул из кармана книжечку с отрывными по пунктиру листками. Другие занялись коробкой. Через несколько мгновений мы увидели куклу, которая, чуть выйдя из раскрытой и поставленной торчком коробки, так и остановилась в позе шагнувшей. Солнце ярко освещало ее. Это была обыкновенная кукла, правда — из дорогих, все же обыкновенная кукла с широко раскрытыми голубыми глазами, с несколько разведенными руками, с льняными локонами. Ее сочленения, слышали мы, повизгивают, ресницы ее лежали бархатными черточками, платье, как кажется мне, из тюля просвечивало на ее розовом теле.

Не знаю, как смотрели на куклу девочки, по всей вероятности, с восхищением, мальчикам она, конечно, была противна, но выиграть ее хотели тем не менее и мальчики: ее можно было и продать и выменять, это было дорогостоящее имущество.

Итак, кукла разыгрывалась. Я никогда не забуду, как поднялся один из жуликов с сине-красным карандашом в руках и объявил условия лотереи. Они заключались в том, что нужно было угадать, как зовут куклу. Кто угадает, тот выиграл, но за право назвать какое-то имя полагалось уплатить пять копеек.

Пять копеек — это много. За пять копеек можно было купить большую порцию мороженого в вафлях — кружок, который хватало есть надолго, стакан хлебного квасу стоил, например, две копейки.

Я еще застал ярмарочного характера зрелище. Так, я видел, как кидали мяч в картонную на шарнирах фигуру японского солдата, заставляя ее при попадании не то повалиться вверх тормашками, не то... не помню! Словом, с солдатом происходило нечто незадачливое, вызывающее хохот. Видел я также, как лазили на столб за спрятанными на самой верхушке этой довольно-таки высокой мачты подарками; кажется, там на площадке, которую так трудно было

достигнуть, обычно лежали часы. С мачтой был связан и один из потрясавших воображение тогдашней публики номер — прыжок с высоты вниз. Эта мачта, этот шест был высотой этажей в десять. Внизу, куда нацеливался прыжок, устраивалось углубление; в нем была вода... Номер был, безусловно, опасный, хотя бы потому, что техника прыжков в воду в те времена была еще развита недостаточно. Впрочем, какие там прыжки в воду! Акробат прыгал не больше как в мелкий кювет. О, он прощался с женой, этот смельчак! Да, да, именно так; прощался с женой! В центре огромной толпы, окружавшей место действия, стояли две фигурки — одна в цирковом плаще, другая в порыжелых одеждах мадонны — и, обняв друг друга, склоняли на мгновение головы один на плечо другого... Кажется, играл небольшой военный оркестр. Помню колоссальность толпы, ее гудение; она была раздражена ожиданием, да и опасалась, не отменят ли прыжка, не заставят ли улететь уже носившуюся в сером полном майского дождя небе смерть. Несколько развлекал толпу вымпел, бежавший в этом же сером небе вымпел, укрепленный на мачте...

— Прощается! — неслось по толпе...— с женой прощается!

Задние не видели этого, но теперь уж было ясно, что не обманут — прыжок состоится, смерть не улетит восвояси. Вот она, вот! С косой! Верно, верно, блеснула коса!

Блеснула, правда, молния, а не коса, тем не менее акробат готов умереть.

Сперва я опишу тир. Как стреляли два господина по бутылкам. Потом по шарику. Потом пошли пить пиво. И как мне хотелось быть взрослым...

Почему хотелось быть взрослым? Не нравилось детство? Почему оно не нравилось? Наиболее часто занимались стрельбой именно по бутылкам. В результате некоего приспособления бутылки продвигались по заднему плану вдоль стены — как бы вереницей одна за другой, чем-то напоминая живые существа несколько угрожающего вида. Стреляли, таким образом, по движущимся бутылкам, что еще больше придавало им жизнь. Иногда приятно было думать, что их наказывают, эти живые, чем-то недовольные существа.

Все вместе называлось словом «тир». Он находился налево от входа в парк, почти вдвигался в голубое пространство неба и моря. В тире было до половины светло, только до половины, куда достигал падавший в открытые во всю ширь двери солнечный свет. Большинство фигур и бутылки поблескивали в летнем сумраке. Стреляли из тонких с черными гранеными стволами монтекристо. Выстрел щелкал. Однако пахло порохом — сладко и чуть-чуть железно...

В детстве, когда этого как раз так хотелось, мне ни разу не пришлось выстрелить. Я только смотрел, как это делали другие, мог смотреть часами. Сперва шуршал под ногами приближавшихся гравий, потом два господина, перебрасываясь веселыми репликами, останавливались на пороге. Это был не порог, собственно,— скорее грань, вот именно грань между жарой и прохладой. Два господина — чаще всего это были именно два господина — останавливались.

— Давай?

— Ну, давай.

Они бросали папиросы, падавшие в грядку на самом краю голубизны, и не успевали протянуть руку, как в ней уже оказывались монтекристо — уже заряженные монтекристо, стройные, как олений рог.

— Ну, ну? — говорил один господин.

— Ну, ну? — говорил другой.

Жевахова гора была видна с бульвара в виде не слишком далекой, но все же синеватой гряды. Все же это была даль — не столько, впрочем, географическая, сколько житейская, бытовая — с чего вдруг окажешься на этой горе!

Туда, в сторону горы, шел поезд, ведомый маленьким паровозом, который называли паровиком. Маленький, бойкий свистящий паровозик, пять-шесть зеленых вагонов...

Какая чудесная вещь — свобода воспоминаний! Какая прелесть в том, что они появляются, как им угодно,— и никак мы не можем заставить себя вспоминать именно это, а не другое. Ха, ха, разумеется, есть точная закономерность этого возникновения, но — дудки — мы ее никогда не поймем.

Так вспоминаю я, как вышли мы в море на яхте «Увлечение». Мы — это знаменитый одесский врач-сифилидолог Егор Степанович Главче, его приемный сын Андронька и я, маленький мальчик Юра. Долго следовало бы описывать яхту. Она плоская, вы почти не возвышаетесь над водой,— длинная, плоская, узкая, летящая. Нет, это настолько плохое описание, что оно сворачивается. Воспоминания не последует — только опишем, как при нашем возвращении горела вдали огнями Одесса, покинутая нами утром, как, казалось, перебегают с места на место огни, исчезают, опять загораются, как дышит и ходит все это поле огней... Нет, и это воспоминание, как видно, не получится!

Как тихонько под самыми пальцами, которые вы опускали в воду, рокотало и бежало море — рокотало и бежало, темное, бежало навстречу нам низко, низко под бортом яхты, на расстоянии локтя — еще одного локтя, потому что вы сидели облокотившись...

Доктор Главче повел меня и Андроньку вечером на выставку. Он был одет в черный блестящий, так называемый альпаговый пиджак, белый жилет, серые в полоску штаны, и на голове у него была из твердой соломы невысокая шляпа — так называемое канотье. По тем временам это был щегольской и вполне приличный наряд. Доктор Главче был низко под машинку острижен, у него была черная борода — недлинная и небольшая, черный опрокинутый книзу острием треугольник. Он говорил кругло и четко. Был он также в пенсне, которое носили тогда близорукие в отличие от теперешних очков.

Из кармана он вынимал чистый белый платок, которым иногда, сняв канотье, вытирал макушку, которая оттого, что волосы были

низко острижены, теряла черноту и становилась серой. Он был плотен, даже кругл, белый воротничок на нем ярко блестел.

Летний вечер был светел и пахнул цветами, которые стали теперь в сумраке особенно заметными,— белые лилии, белые розы, невесомые среди сумерек. Вдали в море через равные промежутки времени зажигался свет маяка — то красный, то зеленый. По всей вероятности, это ровное чередование происходило от вращения фонаря с разными стеклами, но, не зная этого или не думая об этом, можно было представить себе, что это некто, стоящий к вам спиной, поглядывает на вас из-за спины то красным, то изумрудным глазом.

Мы отправились на выставку пешком. Это было недалеко от центра города, на территории парка. Мы шли так, что в середине шел доктор Главче, а по бокам — я и Андронька. Доктор Главче был в хорошем настроении, шутил, выделывал разные щелчки пальцами, играл тростью. Все сулило нам вечер чудес.

Тот мир был совсем иной. Маленькое, все в клумбах, плоскогорье парка отделялось от спуска в порт — да просто от самого порта с пароходами, морем, волнорезом, маяком — старой порыжевшей каменной стеной с арками в ней. Из стены и многолетних наслоений на ее камнях росли нежно дрожавшие под ветром цветы. Шорох гравия никогда не прекращался здесь под стеной. Сюда подходили смотревшие на море и отходили, здесь играли дети...

В Одессе мы катались по морю на плоскодонках. Это большие, тяжелые лодки без киля, а именно с плоским дном — нечто вроде воза, снятого с колес и брошенного на волны. Они были грубо окрашены в красное и синее и приводились в движение благодаря веслам, огромным, тяжелым, привязанным к уключине с такой мощью, как привязывают, по крайней мере, быков. На дне лодки всегда было много воды, и в этой луже плавали тряпки, красные остатки креветок, бутылка. Плоскодонка скользила, неслась по волнам. Что-то было из греческих мифов во внешнем виде этих лодок. Помню до сих пор, как будто видел вчера, похожие на груши коричневые икры бегущих за лодкой, чтобы вскочить в нее, рыбаков.

Лодка называлась «Тузик». Это скорлупка. Однако с килем. Ее ребра виднелись изнутри — серо-белые, как кости. Два весла, одно слева, чуть ближе к носу, другое справа — ближе к корме, иноходь.

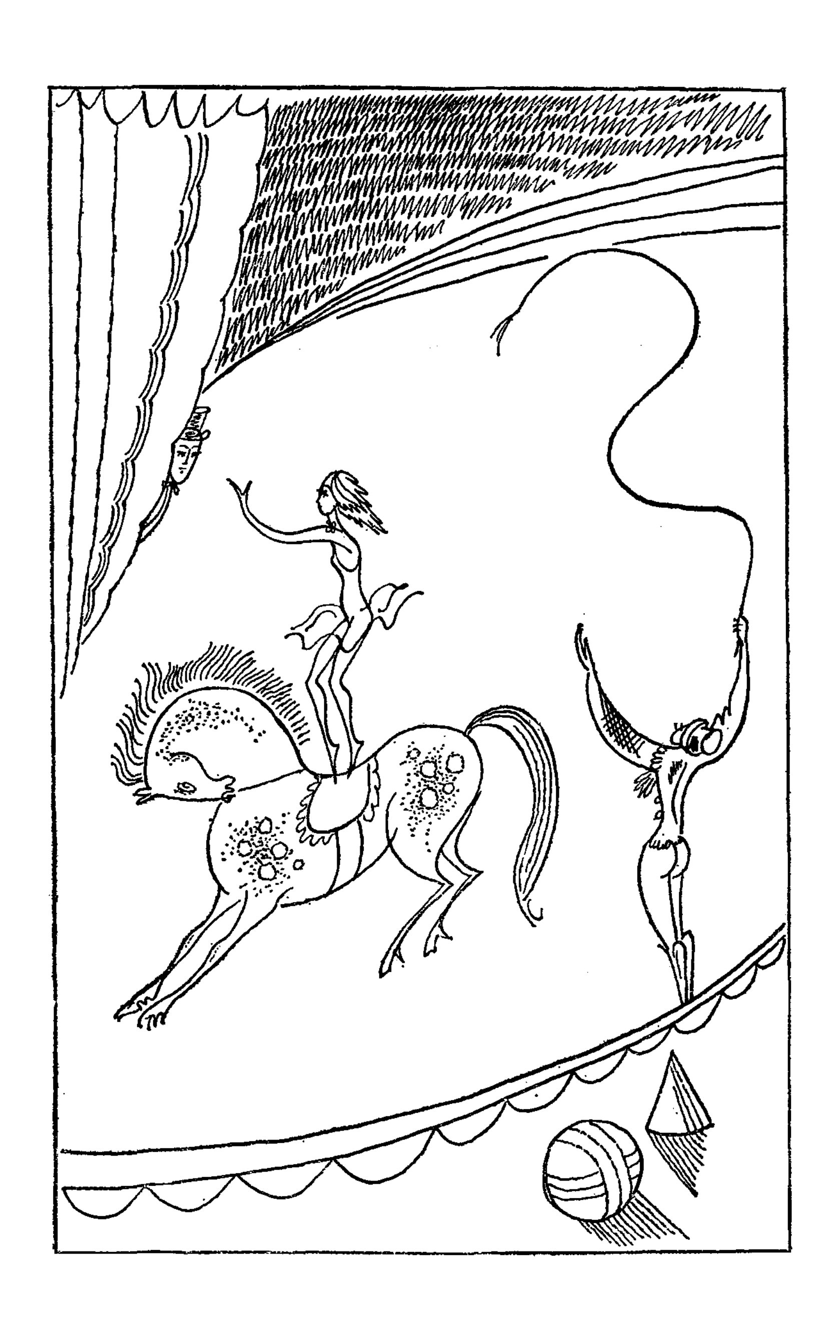
Обычно он ожидал нас в порту недалеко от целого леса свай, в одном и том же месте. Он был привязан к тумбе на набережной, веревка то и дело соприкасалась с водой; разъединяясь, они, казалось, целуются. Мы подтягивали лодку к набережной, шагали в нее. Она давала крен — в одну сторону, в другую. Мы брались за весла, которые в первые мгновения кажутся особенно круглыми.

Да, ведь имелся еще руль. От руля к рулевому шли веревочки — в каждую руку по веревочке. Они проходили под локтями, из-за спины, так как рулевой, как известно, сидит спиной к рулю.

Обычно мы плавали в порту. Порт этот — громадина, это море — особенно для «Тузика» и двух мальчиков. Пароход, стоящий на якоре, был, когда мы гребли под ним, по крайней мере, стеною для нас. Да, да, гигантская стена, порыжелая снизу, все более чистая кверху и на самом верху уже элегантно чистая.

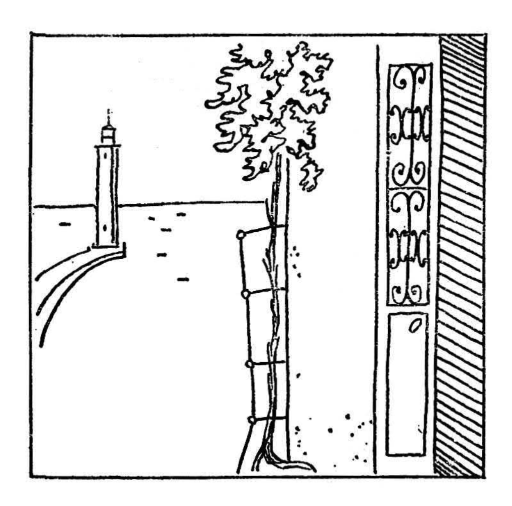
Идя по Французскому бульвару по левой его стороне по направлению от 3-й гимназии, вдруг видели вы по левую руку переулок... В нем были и неуютные краски загона, коровьи грязно-коричневые краски, и один из заборов провисал в нем, наваливаясь как бы брюхом на прохожего, вместе с тем был этот переулок озарен синевой видного вдали моря. И так хотелось свернуть в этот переулок... Но всегда я спешил куда-то, всегда спешил! Так и никогда не свернул я в этот переулок. Я думаю, что и до сих пор выглядит он так же. Так же провисает забор и так же видно вдали поверх ромашек и широких лопухов море.





ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ОДЕССА



И я хотел бы пройти по жизни назад, как это удалось в свое время Марселю Прусту.

С чего он начинает? Не помню. Кажется, с того, как показывают волшебный фонарь и как он видит движение светящегося сквозного разноцветного изображения на стене, по двери, по ручке двери — как тело рыцаря Голо совпадает с ручкой двери и т. п. Или с прогулки, когда они, дети, гуляют с отцом и уходят, как кажется им, на очень далекое расстояние от дома... Вдруг они оказываются в каком-то совершенно незнакомом им месте, и вдруг отец, как визитную карточку из кармана (или как фокусник карту?), вынимает из темноты калитку их же дома.

С чего бы начал я? Все меня возвращает память к тому дню ранней осени, когда я с бабушкой пришел в гимназию держать экзамен в приготовительный класс. Может быть, и начать с этого?

Все это, честно говоря, я пишу все же, как литератор, а не как человек, который выдает, зовет что-то обратно. Что? Жизнь? Тот день, когда поймали на Дерибасовской вора? Я побежал на крики во двор, и там, почти распяв, держали молодого человека, очень бледного, красивого, одетого, как все. С тех пор я думаю, что воры красивые, что они безумны... Это произошло на том квартале Дерибасовской, который уже близок к краю обрыва над портом, где улица спускается вниз, но еще очень чистая, нарядная, красиво мощенная нерусским камнем, где высокие арки подъездов больших богатых

домов, где дом компании Пате с зажигающимся по вечерам и гаснущим — зажигающимся и гаснущим — петухом.

Мне кажется, что я поглупел. Что же, возможно — склероз. Однако творческие мысли о будущей пьесе в порядке. Поглупение в том, что уже давно не приходят мне в голову мысли необычного, высшего порядка. Да и были ли они когда-либо мыслями именно такого порядка? Если представить себе поток мыслей Гегеля или Фрейда, то мое мышление — как разговор в метро по поводу того, «как мне доехать туда-то или туда-то», не выше.

Надо написать повесть о душе, которая брошена в мир, в ужас и хочет оптимизма, о самом себе — начиная опять-таки с первого прихода в гимназию.

Русскому языку и арифметике меня учила бабушка. Вспоминая об этом сейчас, я не могу понять, почему обстоятельства сложились так, что в семье, где были мать и отец, занятия со мной в связи с предполагавшимся моим поступлением в приготовительный класс гимназии были поручены именно бабушке, старой женщине, да еще польке, и не совсем грамотной в русской речи, путавшей русские ударения.

Я переписывал из книги, писал диктовку, учился четырем правилам арифметики. Я не помню, как проходили уроки, сохранились только воспоминания о деталях — о том, что я сижу за обеденным столом, лицом к окну и балконной двери, о виске бабушки с сухими, уходящими за ухо волосами...

Держать вступительный экзамен в приготовительный класс одесской Ришельевской гимназии привела меня бабушка. Помню, как мы стояли во дворе под деревьями, с которых падали листья. Они плавали в воздухе, эти желто-красные осенние листья, казалось, поскрипывали, проплывая мимо вас.

Кроме меня, еще многих мальчиков привели держать экзамен. Они распределились на группы, кто тоже, как и мы с бабушкой, под деревьями, стоя, почти прислонясь к стволам, кто на скамейках и вокруг них, кто... обязательно эти три примера! Хорошо, пусть три — кто прогуливаясь по двору со старшими взрослыми братьями или отцами,— маленькие, умные мальчики в очках, полных сверкающих микроотражений осени, сада, города.

Бабушка привела не литератора, а тоже маленького мальчика. Он не видел всего того, что вспоминает сейчас литератор. Может быть, этого всего и не было! Нет, было все же! Безусловно, была осень и падали листья... Безусловно, проплывая мимо меня, они поскрипывали боками, как корабли. И, как корабли, они описывали, оплывая меня, круг — два-три витка спирали и тихо садились на асфальт, под обочину, где их было уже множество, целый погибший флот. Иногда ветерок поворачивал некоторые из них носом в другую сторону... Нет, все же это видел мальчик — литератор только вспоминает теперь и привлекает из других воспоминаний, а видел именно тот самый мальчик, которого привела бабушка.

Значит, она все же привела литератора, поэта, хоть еще и совсем

маленького. И в самом деле, где же грань? Где же он начал видеть? Где же он был просто мальчиком, а потом вдруг стал поэтом? И в то утро — о, безусловно! — он и смотрел и видел.

Сейчас мне не совсем понятно, почему собственно потребовалось вмешательство бабушки: ведь я был достаточно взрослым мальчиком — мало того, еще и мальчиком со всеми качествами, присущими возрасту: как раз, например, страстью к бродяжничеству! По всей вероятности, бабушка была послана, так сказать, для отчета. Как бы там ни было, этот день, который навсегда, среди немногих, остался в моей памяти живым и сияющим, соединен именно с бабушкой — да просто принадлежит ей,— ее день, день ее памяти.

Как мы шли в гимназию, не помню. Вероятно, сперва по Греческой (выйдя из дому — мы жили на Греческой, угол Польской), потом свернули на Ришельевскую, с Ришельевской в том месте, где командует здание театра, на Дерибасовскую и, пройдя всю Дерибасовскую, пошли затем направо, по Садовой, где командует здание почты и где на самом конце улицы и стоит гимназия. Другого пути, пожалуй, выбрать и нельзя было. Следовало бы мне, конечно, сказать, если уж я упоминал, что над какими улицами командовало, что на Дерибасовской командовали часы-великаны у магазина Баржанского. Они висели, если можно так выразиться, поперек вашего хода и низко над вами, так что, поднимая голову, вы довольно ощутительно видели, как большая стрелка совершала прямо-таки прыжок в следующую минуту.

Итак, мы подошли к зданию гимназии — двухэтажное желтое здание, старинное, с небольшими окнами в толстых стенах, построенное, может быть, еще при Павле, когда Одесса была еще совсем молодым городом. Да, как раз угол — оно стоит на углу, угол Садовой и Торговой. Здесь, в эту минуту, я, кажется, нахожусь впервые в жизни.

Каким-то путем мы узнаем, что экзаменующиеся собираются во дворе.

— Вам туда надо, во двор,— сказал швейцар,— если на экзамен, то во двор.

И он держал руку в указующем направлении — но указывал сквозь стены: для себя понятно, а для меня с бабушкой совсем непостигаемо. Рука в рукаве, даже обвисшем от тяжелых позументов, показалась мне чуть не рукой Петра Великого.

— Вот туда,— повторил швейцар, указывая на далекие в конце коридора окна, в которых двигались деревья.

Мы сделали вид, что поняли, и опять вышли на улицу. Если б не волнение, то в конце концов нетрудно было бы сообразить, куда именно направил нас швейцар даже сквозь стены, но мы мыкались по улице, сердясь друг на друга. Дело наладилось, когда, увидев тоже, как видно, какую-то бабушку с внуком, шедших довольно уверенно в конец улицы, мы пошли за ними.

— Вы тоже на экзамен? — спросила бабушка.

Та, идущая впереди бабушка, не услышала, но внук оглянулся, и ясно было, что тоже на экзамен: лицо его было испуганное, с застывшей улыбкой.

— Что? — спросил мальчик.

— Ты на экзамен? — спросила бабушка.

— Да, да, на экзамен,— ответила та бабушка, маленькая, в гофрированном белом воротничке — пожалуй, даже не бабушка, а тетя. Она не пригласила нас идти вместе с ними, а наоборот, быстро взяв мальчика за руку, пошла еще обособленней,— и все четверо мы шли как бы врассыпную.

Мы открываем калитку в широких деревянных воротах, переступаем через низ этих ворот и оказываемся в некоем коридоре, хоть и под открытым небом, но все же коридоре между двумя какими-то стенами. Коридор асфальтовый и разворачивается шагах в двадцати от оставленной нами позади калитки в целый асфальтовый двор уже не под узкой полосой голубого неба, как коридор, а под широким, далеко уходящим над деревьями, небом. Вот мы уже вошли во двор, безусловно имевший форму квадрата; асфальтированный, чуть синеватый от изношенности асфальта двор... Он по квадрату же был обсажен акациями, с которых, как и со всех деревьев в этот день, падали листья.

Деревья и под ними мальчики. Мальчики, бабушки, матери, отцы, старшие братья. Деревья роняют листья, листья накапливаются под ними, мальчики стоят под деревьями на листьях, прислонившись к наклонным, далеко улетающим ввысь стволам.

Наконец позвали и меня. Последний взгляд на бабушку, оставшуюся под деревом, и я уже на железной лестнице; раз-два-три, грохочущая железом лестница кончается, дверь, коридор... Еще с несколькими мальчиками я оказываюсь в не такой уж большой комнате; скорее, наоборот, это небольшая комната и даже узкая — правда, с тремя окнами. Так это класс? Да, да, это класс! За окнами, я вижу, улица, противоположные дома, вершины деревьев такие же желтые, как и то, под которым осталась бабушка. В классе светло, четырехугольники света кое-где лежат в целости, кое-где они поломались, упав на углы, на парты. Да, я ведь впервые вижу парты... Так это парты? Парты! Прежде я только слышал о них от сестры, раньше меня поступившей в гимназию. И за партами сидят мальчики!

Довольно трудно мне разобраться в том, что происходит, я все же волнуюсь. Ого, еще как волнуюсь! Происходит экзамен. Перед доской, о которой мне тоже рассказывала сестра,— да, да, классная доска! Так это она? Она! — перед классной доской почти во всю стену — черной, но в меловой пыли, даже в окутывающем ее меловом тумане стоят двое — старый и маленький. Старый — это учитель, он экзаменует; маленький — это экзаменующийся. Старый в форме — форменной тужурке, тоже в меловой пыли и с куском мела в руке, маленький — в матросской куртке.

Ничто не изменит моего убеждения в том, что тогда, когда, стоя во время экзамена в приготовительный класс гимназии и почти роняя мел из пальцев, уже готов был согласиться со вставшей передо мной во всем своем ужасе судьбой, что я экзамена не выдержал, так как решить задачи не могу,— что тогда совершилось чудо — я ведь задачу решил!

Когда я начал учиться в гимназии, мне было лет одиннадцать. Всего одиннадцать лет отделяло меня от моего несуществования в мире, и уже я был в форменной фуражке, в тужурке, в кожаном поясе с металлической бляхой посередине живота. Уже я стоял перед географической картой двух полушарий, смотрел на лиловые многоугольники колоний, на раковину Мадагаскара, читал и понимал слово Великобритания... Уже я писал готические немецкие буквы, уже думал о героях истории, которые были до меня — до моих одиннадцати лет. Как я воспринимал то обстоятельство, что я живу еще немного, начал жить еще очень недавно. Я этого обстоятельства вообще не воспринимал. Скорее, другие мне говорили, что я маленький. Сам я, повторяю, этого не чувствовал, об этом не размышлял. Я не думал о том, что можно быть каким-нибудь другим, кроме того, кем я был. Если мне хотелось быть взрослым, то я не думал о физических изменениях, а только о тех возможностях, которые даны взрослому,— не готовить уроки, есть сколько хочешь пирожных. Я был человек, просто человек, не зная о себе, что я маленький, что только недавно явился в мир, что расту, узнаю, постигаю и тому подобное. Именно — я был просто человек.

Я не любил, когда меня заставляли надеть башлык. Это меня выводило в ту колею, где я начинал чувствовать себя более маленьким, чем я был, более слабым, болезненным. Ворс башлыка я до сих пор чувствую на щеках и на губах. От него, от этого грубого ворса, приходилось почти отплевываться, во всяком случае, отдувать его от щек в этот морозный ветреный день.

Кажется, были башлыки еще и с позументами.

Болезни все время вились возле нас, гимназистов. Я помню, как я и какой-то из моих одноклассников сидим высоко на железной ступеньке лестницы, ведущей к нашему коридору, дверь в которой еще закрыта, поскольку мы мальчики старательные и пришли раньше других, и перечисляем, кто из товарищей болен корью. Темно в этом закутке почти еще по-ночному и страшновато: может быть, она сидит рядом с нами, корь, в платке и со скулами, выглядывающими из овала платка, как два камня.

Я не могу восстановить в памяти, когда именно я болел корью — в гимназические годы или раньше. Тогда берегли во время этой болезни глаза заболевшего, закрывали днем ставни. Я лежал в нашей большой столовой в квартире на Греческой улице — неуютной, невыгодно обширной, выходящей окнами в стену комнаты. Лежал на кровати, поставленной под закрытой двустворчатой дверью, за которой, я знаю, передняя и парадная дверь. Лечит меня доктор Гартен-

штейн, высокий, в сером, с хорошей, седоватой, но молодой бородой. Я болел нетяжело. Мне вдруг начинает казаться, что я заснул и сплю и вижу сон — и до сих пор я думаю, что с тех пор я не проснулся и эти многие годы, которые прошли с тех пор,— все это мой сон.

Чуть подлиннее. Чуть подлиннее.

Кроме обыкновенной формы, еще надевались так называемые мундиры. Синие узкие в девять пуговиц мундирчики, у которых был стоячий воротник с серебряными галунами. Мундиры были необязательны, их имели только более или менее богатые мальчики. У меня такого мундира не было.

Безусловно, эти сумерки относились уже к весне... Хоть и ранняя, но уже весна, уже плыли в небе гигантские льдины облаков, уже светились там голубые проруби.

Я шел по Ришельевской улице, потом свернул на Успенскую, потом спустился по Успенской. Я — маленькая фигурка, совсем маленькая: гимназист, по всей вероятности, первого класса. Я иду к Саулу Гершковичу. По фамилии можно подумать, что это сын бедных родителей. Нет, это сын буржуа.

Вот передо мной анфилада его квартиры, белые двери, белые широкие окна с тем же ледоходом облаков. Сумерки, но ламп еще не зажигают, и это чудесный час — особенно в богатой квартире, где кресла в чехлах, где конь рояля — да, да, черный блестящий конь! — где золотой блеск на обоях.

Все, конечно, встречают меня ламентациями по поводу того, что я бледный.

Вероятно, я был в те времена очень жалким на вид — болезненный, бледный, маленький. Но что-то привлекало ко мне людей. Я ведь еще был и бедный. И все же приглядывались ко мне и звали в богатые дома.

Орловы жили хоть и в богатом, но все же полуподвале. Во всяком случае, к любому из их окон можно было подойти непосредственно по камням двора и, остановившись, отразиться, если оно было закрыто, во весь рост. Летом, стоя перед открытым окном, я видел внутренность комнаты несколько сверху, а для находившегося там, за окном, был довольно внушительным силуэтом человека, которого видят снизу.

Они были действительно богатые люди и почему жили в полуподвале — мне непонятно. Впрочем, как я уже сказал, полуподвал этот не был жилищем для бедняков. Наоборот, это была многокомнатная квартира, светлая, выходившая на две стороны — во двор и на улицу, и никак не дававшая жившим в ней почувствовать, что она полуподвал.

Жили они в этой, все же не совсем полноценной квартире, по всей вероятности, потому, что пожелали по каким-то причинам жить именно в этом доме и пока что в ожидании лучшей квартиры согласились на полуподвал.

Совершенно верно, они ведь, когда я вспоминаю о них, живут и в другой квартире — на втором этаже, с длинным узким балконом,

с рядом светлых во весь фасад окон, которые мне ничего не стоит увидеть — только закрыть глаза!

Однако пока что Орловы — это полуподвал, это окна вровень двору, это богатая жизнь, которую все же я могу рассматривать несколько сверху.

Уже мне не хочется вспоминать детство. Может быть, только костел на Екатерининской улице, небольшое готическое здание с архитектурной розой над порталом, с непрочными ступенями, по которым ступали мои сандалии.

Я думал, что после окончания гимназии я куплю велосипед и совершу на нем поездку по Европе. Первая война еще не начиналась, еще все было очень старинно, солдаты в черных мундирах с красными погонами, зверинец на Куликовом поле с одним львом, говорящая голова в зеркальном ящике в балагане. Еще бывала первая любовь, когда девочка смотрела на тебя с балкона и ты думал, не уродлив ли ты. Еще отец девочки, моряк в парадном мундире, гремя палашом, шел тебе навстречу и отвечал тебе на поклон, отчего ты бежал во весь дух, сам не зная куда, обезумевший от счастья. Еще продавали из-за зеленого прилавка квас по копейке за стакан, и ты возвращался после игры в футбол, неся в ушах звон мяча.

Я не купил велосипеда и не совершил путешествия по Европе. Горел Верден, Реймский собор, в котором в свое время бракосочеталась с французским королем дочь Ярослава Мудрого. Появились первые танки, и впервые аэропланы стали сбрасывать бомбы. Однако в музеях по-прежнему висели необыкновенные картины, прекрасные, как деревья на закате. Во сне я иногда вижу свое пребывание в Европе, которого никогда не было. Чаще всего мне снится Краков в виде стены, идущей кверху вдоль дороги, старой стены, с которой свисают растения, стучащие по ней ветками и шелестящие цветами. Я еще люблю вспоминать. Я мало что знаю о жизни. Мне больше всего нравится, что в ней есть звери, большие и маленькие, что в ней есть звезды, выпукло и сверкающе смотрящие на меня с ясного неба, что в ней есть деревья, прекрасные, как картины, и еще многое и многое.

Какое емкое явление — век! В нем успевают вместиться много поколений, событий, изменений лица культуры.

Лев Толстой, видевший зарю Некрасова, Тургенева, Достоевского, прожив восемьдесят два года, уже жил в эпоху, когда появились кинематограф и авиация. Трудно представить себе его переживание, когда он смотрел, скажем, на какого-нибудь авиатора — он, видевший рыжее, такое музейное для нас, страшноватое сукно севастопольских матросских шинелей. Ведь он был современником русско-японской войны! Это значит, что он успел узнать и о прожекторах, и о митральезах, и о минах Уайтхеда — он, в Севастополе решавший для себя вопрос, кланяться перед ядрами или нет.

Я помню день смерти Толстого. Большая перемена в гимназии, в окна класса падают солнечные столбы сквозь меловую пыль, стоящую в воздухе от того, что кто-то стирает написанное на доске, и вдруг чей-то голос в коридоре:

— Умер Толстой!

Я выбегаю, и уже везде:

— Умер Толстой! Умер Толстой!

И в мою жизнь уже много вместилось! Например, день смерти Толстого и, например, тот день, вчера, когда я увидел девушку, читавшую «Анну Каренину» на эскалаторе метро — привыкшую к технике, скользящую, не глядя, рукой по бегущему поручню, не боящуюся оступиться при переходе с эскалатора на твердую почву.

Могу сказать, что великая техника возникла на моих глазах.

Именно так: ее еще не было в мире, когда я был мальчиком... Были окна, за которыми не чернели провода, не горели электрические фонари, окна совсем не похожие на те, в какие мы смотрели теперь: за ними была видна булыжная мостовая, проезжал извозчик, шел чиновник в фуражке и со сложенным зонтиком под мышкой, силуэтами вырисовывались крыши на фоне заката, и если что-либо представлялось глазу нового, невиданного, то это была водосточная труба, сделанная из цинка. В дождь из нее широким веером хлестала вода, и звезды цинка, став мокрыми, были очень красивыми. Правда, цинк был новинкой, о нем много говорили, на водосточные трубы из цинка смотрели, останавливаясь, поднимая голову, устремляясь взглядом ввысь, вдоль трубы, сильно выделявшейся среди камня стены светлым серебряным цветом.

— Цинк,— произносилось значительно.

Чувствовалось приближение чего-то.

Появилось электрическое освещение.

Я помню, как в нашу квартиру сходился народ, чтобы посмотреть, как горит электрическая лампочка,— стояла целая толпа с поднятыми головами и полуоткрытыми ртами.

Это было чудо.

Когда я хочу отчетливо почувствовать, что произошло с техникой, я говорю — останавливаю свое внимание на том обстоятельстве, что я, родившийся через семьдесят девять лет после смерти Наполеона — то есть между этим событием и моим рождением стоит всего один лишь старик,— живу в современности, где один из создателей кибернетики говорит, что принципиально возможна передача человека по телеграфу.

Я, например, с отчетливостью помню появление первых электрических лампочек.

Это были не такого типа лампы, какие мы видим теперь — разом зажигающиеся в наивысшей силе света, а медленно, постепенно достигающие той силы свечения, которая была им положена. Как будто так... Возможно, я путаюсь в воспоминаниях, и на память мне прихо-

дит не домашняя лампа, а какая-то иная, увиденная мною в ту пору; пожалуй, домашние лампы уже в самую раннюю эпоху своего появления были так называемыми экономическими — то есть загорающимися сразу.

Во всяком случае, я помню толпы соседей, приходивших к нам из других квартир смотреть, как горит электрическая лампа.

Она висела над столом в столовой. Никакого абажура не было, лампа была ввинчена в патрон посреди белого диска, который служил отражателем, усилителем света. Надо сказать, весь прибор был сделан неплохо, с индустриальным щегольством. При помощи не менее изящно сделанного блока и хорошего зеленого, круто сплетенного шнура лампу, взяв за диск, можно было поднять и опустить. Свет, конечно, светил голо, резко, как теперь в какой-нибудь проходной будке.

Но это был новый, невиданный свет! Это было то, что называли тогда малознакомым, удивительным, малопонятным словом — электричество!

Звук шнура, бегущего по блоку, легко мне до сих пор восстановить в ухе. До сих пор легко мне увидеть с десяток лиц, поднятых кверху, и взгляды, устремленные к светящемуся центру, к испускающей свет стеклянной груше под потолком.

И строжайший запрет мне: не поворачивать то и дело выключатель!

Он, как и теперь, черный, среди обоев. Но дети сейчас совершенно равнодушны к нему, и нельзя себе представить ребенка, которому захочется то и дело поворачивать выключатель.

Я помню себя стоящим в толпе на Греческой улице в Одессе и ожидающим, как и вся толпа, появления перед нами вагона трамвая, только сегодня впервые начавшего у нас функционировать. Он появится из-за угла Канатной, но этого угла с позиции, на которой мы стоим, не видно, он слишком отдален, да еще и скрыт в перспективе некоторой горбатостью Строгановского моста — и таким образом мы увидим вагон только тогда, когда он будет уже на середине моста.

Все убеждены, что движение трамвайного вагона необыкновенно быстро, молниеносно, что даже и не приходится думать о том, что можно успеть перебежать улицу.

Трамвай показался на мосту, желто-красный, со стеклянным тамбуром впереди — шедший довольно скоро, но далеко не так, как мы себе представляли. Под наши крики он прошел мимо нас с тамбуром, наполненным людьми, среди которых был и какой-то высокопоставленный священник, кропивший перед собой водой, также градоначальник Толмачев в очках и с рыжеватыми усами. За управлением стоял господин в котелке, и все произносили его имя:

— Легоде.

Это был директор бельгийской компании, соорудившей эту первую трамвайную линию в Одессе.

Я не помню, как я освоился с тем, что вот вижу перед собой трамвай, вот езжу на нем... Освоение это не заняло много времени. Вскоре

после первой с ним встречи я уже, совсем не переживая этого, ездил на нем, платя, как и все, пять копеек, стоя на задней площадке и ловчась схватить мчащуюся навстречу ветку.

Лихорадочное трепетание мысли, вот-вот готовой открыть тайну полета машины тяжелее воздуха, я видел отраженной в фотографиях, в турниках, слышал в разговорах... она никак не открывалась, эта тайна. Машины не поднимались в воздух, вызывая насмешки репортеров. Я искренне сочувствовал этим осмеянным людям — первым конструкторам авиации, поджарым, худым, в кепках с пуговицей на макушке, в свитерах и с торчащими из карманов кожаных штанов гаечными ключами, которые тогда назывались французскими.

Вдруг разнеслось известие, что машина, сооруженная некими братьями Райт, поднялась-таки в воздух и пролетела порядочное расстояние. Братья были американцы, одного звали Вильбур, другого Орвиль. Они демонстрировали свои полеты в Париже, и я помню фотографию, на которой их машина огибала Эйфелеву башню. Она не только летала, она могла огибать: это была управляемая машина.

Больше всего привлекал мое внимание павильон авиации. Привлекал внимание! Околдовывал меня! Лишал дара речи! Не отпускал меня!

Что такое павильон? Это колоссальная постройка, относительно легкая, поскольку она — многоэтажная пустота, поскольку это один зал...

Я вошел в огромный сарай — поистине огромный, в котором свободно носились ласточки... Огромный, наполненный золотистым летним полумраком сарай, где сперва глазам моим пришлось осваиваться с темнотой и где они вдруг мгновенно и резко увидели несколько необычного вида предметов с колесами и с крыльями. Это были так называемые аэропланы, привезенные из Европы на выставку в Одессу, в этот сарай, или павильон, стоявший на отшибе территории выставки у заднего ее выхода, на пустыре среди нескошенной травы бурьяна и желтой куриной слепоты.

Они стояли так, что когда я вошел, то каждый из них был обращен ко мне головой, лбом-мотором, пересеченным пропеллером.

Было объявлено, что Эрнест Витолло спрыгнет на парашюте — разумеется, из воздушного шара, так как о другом способе подняться на воздух еще не было и речи.

Было объявлено, говорю я. Но что это было — афиша или объявление в газете? Не помню... Не было, конечно, тогда и радио. О, и телевизора, конечно! Словом, повторяли: Витолло, Витолло! Как спрыгнет? А что это? Как это спрыгнет? Витолло!

Воздушный шар засветился в небе вдруг днем, ярким голубым днем посередине неба.

Между прочим, парашют продолжал быть новинкой долгое время, и я помню, что уже когда я был писателем, уже в советское время, уже во время новой техники, я был на аэродроме, пойдя туда тоже во имя того, чтобы дивиться парашюту, и видел, как перед людьми проходил некий, тоже приезжий парашютист, немец, показывавший парашют на своей спине, как в цирке показывают какую-нибудь коробку фокусника, чтобы убедить публику, что ее не обманывают...

Мы были уверены с Андронькой, что нам удастся спрыгнуть на некоем парашюте, который мы сами соорудим. Теперь я уже не могу рассказать, какую, собственно, конструкцию мы имели в виду. Представлялось очень простым сделать нечто вроде большого зонта — твердого круга со стропами из простых веревок, сходящимися к одной точке, чуть ли не просто к узлу, который, прыгая, мы будем держать в руке.

Мы стояли на площадке третьего этажа железной лестницы, идущей зигзагами по стене дома и висящей над двором. Этот двор, частью в асфальте, частью в булыжниках, частью просто земляной, тут же под нами — всего лишь с третьего этажа мы смотрим на него! И вместе с тем мы с полной серьезностью рассуждаем о прыжке на него с парашютом, да просто с зонтом.

Мы не произвели этого опыта не потому, что раздумали после зрелого размышления, а по какой-то другой, по всей вероятности, материальной причине. Головы тогда сильно были заняты летанием, и эта мечта — летать — была очень властной, одолевающей. Я видел тогда прыжок с парашютом, совершенный приезжим воздухоплавателем Эрнестом Витолло, разъезжавшим по миру именно с демонстрацией этих, казавшихся феноменальными, прыжков. Он спрыгнул с воздушного шара, поднявшегося довольно высоко, до сходства с желтым, сияющим пятнышком. Как он отделился от шара, никто не успел разглядеть — я стоял с толпой на Пушкинской улице,— и только вдруг, ахнув всем городом, мы увидели ни с чем не сравнимое появление из ничего, из тишины над нашими головами, в синем небе маленькой тоже желтой и сияющей раковины, медленно и косо плывшей в сторону Биржи... Так этот первый прыгун с парашютом прыгал прямо над городом, не страшась всяких возможных опасностей.

Затем — Макс Линдер. Трудно вам передать, как был знаменит Макс Линдер! Духи, папиросы, галстуки, ботики, покрой, прически, манеры назывались его именем.

— Макс Линдер! — слышалось на улице.— Макс Линдер!

Это был маленький, изящный, вертлявый молодой человек — хорошенький, черноглазый, с тоненькими усиками, которого мы всегда видели одетым с иголочки. Цилиндр Макс Линдера! Как много он занимал внимания тогда.

Он был настолько невелик ростом, что, взобравшись на ограду кафе, я увидел его цилиндр сверху. Совершенно верно, он был совсем

маленький, крошка, маленький франт в цилиндре, в черной крылатке, хорошенький, с усиками.

Его ждали в кафе, и вот он прибыл.

— Макс Линдер! Макс Линдер!

Я вишу, ухватившись за узор ограды, и в моей сведенной ладони еще и скомканные листья, потому что ограда чем-то увита, каким-то плющам.

Это происходит вечером, в эпоху, когда еще не применяются прожектора для уличных целей, когда электричество еще не слишком ярко. Усики Макса Линдера блестят так, как блестели бы, освещай их попросту свеча. Он розовощек, и глаза его блестят.

Его встречают аплодисментами, он входит между каких-то поручней и исчезает для меня навсегда. Ну что ж, во всяком случае, я его видел живого, Макса Линдера!.. Он покончил с собой одновременно со своей молодой женой. Чаплин называет его учителем. Макс Линдер, между прочим, отмечает огромный композиторский дар Чаплина. Мы убедились в справедливости этого мнения.

— Макс Линдер!

Его имя было широко известно. Оно стало нарицательным. Быть Макс Линдером значило быть франтом.

Я отыскивал этот иллюзион — именно отыскивал, а не привычно направлялся к нему. Я только знал, что он на Градоначальнической. Вот кирха, надо обойти кирху. Я обошел, побаиваясь темноты за плечами ее статуй. Весной — и этой весной тоже — появятся цветы в палисаднике перед кирхой, цветы на узких кустах...

Город по ту сторону кирхи был мне неизвестен. Там мне было страшно идти. Почему? Не классовый ли страх более бедных районов?

Так или иначе, но я нашел этот иллюзион. Он назывался «Гигант». По теперешним временам это было обыкновенное кино, по тогдашним — действительно необычно большое...

Сегодня сокращенно, в художественных образах я видел во сне всю свою жизнь.

Однажды, будучи маленьким гимназистом, я пришел к главному врачу — разумеется, не по собственному почину (вот еще!), а исполняя волю именно гимназического начальства, считавшего, что мне необходимы очки.

Я до поразительной отчетливости помню наполненное закатным солнцем парадное, площадку, загибающийся марш лестницы, дверь. И как раз запомнилось, что в эти мгновения я думал о моей жизни — словом, как и теперь думаю! С тех пор прошло более сорока лет — но ощущение, скажу, такое, как будто прошло всего лишь полчаса. Я думал в этом парадном о том, что быть человеком трудно. Мне только лет десять — и я уже встревожен! Помню затем, как врач говорит, что мне нужно беречь глаза. Смешно, уже сорок лет назад мне нужно было беречь глаза! Сам осмотр глаз в памяти не остался. Но зато помню, как я иду по Дерибасовской мимо иллюзиона Розенблита и передо мной в осеннем воздухе движется перед самыми глазами

светящееся кольцо. Это уже я в очках, прописанных мне врачом. Я даже помню, как звучит мой голос, когда я говорю товарищам об этом кольце. Боже мой, помню и голоса товарищей! Это происходит вечером, происходит, как я уже сказал — осенью, и от того, что вокруг слякоть и падают капли, призрачное кольцо выигрывает в блеске...

Бабушка уже в третий раз будит меня.

— Да, да, сейчас,— отвечаю я,— сейчас...

Однако нужно вставать все же. И я встаю. В комнате еще ночь, горит, как будто ее и не тушили, лампа. В коридоре — там вообще ночь, без лампы, даже еще с привидениями.

Я моюсь ледяной, зимней водой под краном. Здесь, в кухне, тоже ночь, но в окнах, может быть, потому, что лампа здесь слабее, я вижу как будто признаки все же дня — пока еще темно-синего, как железо.

Какие-то гудки вдали, от которых делается печально, настолько печально, что печаль эта кажется непоправимой. А тут еще нужно идти в гимназию!

После стакана чаю становится легче. Кусок хлеба с маслом, об которое пачкаешь пальцы. Как крепко спят за белой дверью папа и мама! Кажется, что их вообще нет — такая тишина за дверью. Только вытянутые губы замочной скважины — единственное, что живет в этой двери. Может быть, вообще нет ни папы, ни мамы — я один? Ни бабушки, ни сестры — один? Кто я? А? Кто я? Тот, на кого я смотрю в еще темное, как вода, зеркало, не отвечает. Там лицо, в зеркале нечто удивительное — лицо с двумя... С чем — с двумя? Что это, глаза? Почему их два — а смотрит на меня кто-то один, я? С чем сравнить глаза? Они молчат и смотрят. Молчат, а кажется, что говорят. Что это?

Есть папа и мама, есть и бабушка, есть и сестра... Есть день, который уже стоит на всех улицах, в переулках, даже в парадных, когда я выхожу из дому — белый, грязноватый день в ноябре, исчерченный ветками, но чем-то приятный. Не тем ли, что на афише нарисован клоун — и что он — суббота, оканчивающаяся цирком?

Маршрут был неизменно один и тот же. Выйдя из ворот нашего дома на Карантинной, я шел налево до пересекающей Греческой, затем направо по Греческой, по Строгановскому мосту и все по Греческой вверх до Ришельевской. Здесь направо — один квартал по Ришельевской — и налево: Дерибасовская.

Это был главный отрезок пути. По величине и по значению. Дерибасовская была главной улицей Одессы, лучше других отделанная и с лучшими магазинами.

Я почти всегда спешил, боясь опоздать, и насколько помню, опоздал только один раз за восемь лет учения.

Путь был обставлен ритуалами, пронизан суеверием, заклятиями. Так, например, следовало не пропустить некоторых плиток на тро-

туаре, во что бы то ни стало ступить на них. Или стоявший на Дерибасовской огромный старый дуб следовало обойти вокруг... Иначе в гимназии могли бы произойти несчастия — получение двойки или в этом роде.

В магазине кожаных изделий Чернявского стояла модель лошади. Может быть, и не модель, а просто чучело. Да, пожалуй, именно чучело, уж очень, как на живой, торчали на ней отдельные шерстинки.

Это была поджарая с тонкой шеей лошадь — каких у нас я не видел, по всей вероятности, так называемый гунтер, охотничья лошадь. Она была оседлана. По обе стороны висели стремена — по обе стороны картонных, как казалось, боков. Ужасно хотелось сесть в седло, вдеть ноги в эти стремена. Мне кажется, что я до сих пор вижу глаз этого гунтера, огромную, блестящую черным пуговицу...

Я не имел ни малейшего представления о том, как создаются стихи. Я был гимназист — стихи мы учили наизусть: Пушкина, Лермонтова, Плещеева, басни Крылова, Дмитриева, силлабические стихи Кантемира, стихи Майкова.

Майкова— «Кто он?» — о Петре Великом, как он скачет по глухим местам в районе строительства Петербурга и, встретившись с крестьянином, разговаривает с ним.

Я помню:

Выученное наизусть декламировали, стоя у кафедры лицом к классу.

Ехал всадник, пробираясь
к светлым невским берегам.

— Прочтите стихи.

И мы, морщась и моргая от желания вспомнить и прочесть до конца, читали.

Басню декламировали с выражением, немного бабьим, поучительным, пожалуй в стиле Малого театра (хоть мы, будучи одесскими мальчиками, мало что о нем знали).

Когда я был гимназистом, фамилия Маяковский была мне уже известна, но не как фамилия поэта, а как страшное слово — это была фамилия очень строгого преподавателя.

Он преподавал историю.

Обычно грозой гимназии бывали преподаватели латинского языка. Это понятно. Латынь — это предмет, требующий ежедневного, неукоснительного изучения, требующий ни на мгновение не исчезающего внимания... Стоит не сообразить, куда вдвинут хотя бы ничтожнейший шурупчик из этого языка-машины, как вся машина в скором

времени рушится, погребая под собой несчастного школьника. Отсюда и страх перед латинистами. История как раз предмет, если можно так выразиться, длительный, льющийся, обходящийся без того, чтобы внимание было постоянно напряженным. И тем не менее преподаватель, которого звали Илья Лукич Маяковский, вселял в нас тот ни с чем не сравнимый гимназический страх, который имеет свойство, уже будучи понятным, все еще жить в нас и проявляться, например, во сне, когда мы уже далеко ушли от гимназического возраста.

Страшный преподаватель как раз выглядел красиво: в ярко-синем мундире, желтолицый, как монгол, и с косыми, по-монгольски же, скулами, но не худой, а гладкий, с черной бородой — нечто вроде Бориса Годунова.

Вот он входит в класс. Когда сорок мальчиков одновременно встают, причем откидывая специально для этого приспособленную доску парты,— звук получается довольно внушительный: похоже на короткий порыв ветра. Маяковский вносит в комнату, где сорок мальчиков, свои черные глаза, синее пятно своего мундира и ту тишину, которая наступает в испуганном классе...

Для меня было совершенно неожиданным услышать на первом уроке латинского языка, что на этом языке говорили римляне.

— Язык наших предков римлян,— сказал директор гимназии, обычно преподававший латынь именно в первый год ее изучения — во втором классе.

Теперь мне кажется странным, почему директор назвал римлян нашими (то есть русских мальчиков) предками... Это, впрочем, неважно, он выразился общо — предками, имел он в виду, нашей цивилизации. Но «римляне говорили по-латыни» — это было неожиданно, удивительно!

Как? Вот эти воины в шлемах, со щитами и с короткими мечами — эти фантастические фигуры, некоторые с бородами, некоторые с лицами, как бы высеченными из камня,— говорили на этом трудном языке?

По-латыни, знал я, говорит во время богослужения ксендз. Ксендз был фигурой из мира тайн, страхов, угроз, наказаний — и вдруг на его же языке говорят воины, идущие по пустыне, держа впереди себя круглые щиты и размахивая целыми кустами коротких, похожих на пальмовые листья мечей? Это было для меня одной из ошеломляющих новинок жизни.

Я не знал еще о переходе латыни к церкви из Древнего Рима.

От него свежо пахло одеколоном, бородка была чистая, солнечная. Клянусь, он искренне казался мне красивым... Этот синий мундир, эта изящно поворачивающаяся небольшая голова! Я ловил себя на том, что мне хотелось бы, когда я вырасту, быть таким, как он, как «Штрипка»!

Он преподавал латынь.

У него была голова Петра I на небольшом, причем апоплексическом туловище. Он был, пожалуй, более щекаст, чем Петр. Он носил какой-то особенно синий, скорее, голубой, чем синий мундир с ярко выраженными полами, которые развевались, когда он шел по коридору сквозь мед солнечного света.

Знания его по литературе, конечно, были ничтожными. Он вызывал, спрашивал, ставил отметки. Как он преподавал — не помню.

Учение уже подходило к концу, седьмой класс. Мы уже царствовали в классе — преподаватели ко многим подлизывались.

Теперь мне кажется, что он был похож не только на Петра I, но еще на толстую, с серьезно недоумевающим взглядом девочку. Вот я закрываю глаза, и он сидит на кафедре с черными блестящими, откинутыми назад волосами, с маленькими розовыми комками ручек и напластованиями какого-то недоумения на лбу.

Математику преподавал Николай Васильевич Акимович. Он был в чине статского советника — на синих петлицах его тужурки сидело, значит, по звезде. Об этих звездах только и скажешь, что они сидели. Пушистые, из тоненькой серебряной нити — верно, они сидели, как сидят снежинки.

Акимович был наш знакомый — папы и мамы.

— Статский! — вдруг слышалось в передней папы.

Это пришел, значит, Акимович.

Чаще всего это было связано с тем, что вечером будут играть в карты. Обедали. Жутко было видеть преподавателя, так сказать, замиренным. Седая борода вдруг оказывалась в кулаке. Он начинал вдруг смотреть на меня. Ну, нет, не с тем, чтобы к чему-то притянуть меня! Наоборот, он шутил!

— Статский,— говорит папа,— а пива выпьем?

Меня посылали за пивом. Акимович уже был под хмельком. Он пытался сострить по поводу того, что я иду за пивом. В общем, это был человек добрый, не сухарь, не мучитель — наоборот, хороший, его любили...

Где продавалось пиво? Кажется, в тех же бакалейных лавках, где продавалось и все. Пиво Енни!

— Нет, нет, только не Енни! — кричал папа вдогонку.— Санценбахера!

Маленький отрезок цветущей улицы вел к бакалейной лавке. Угол, выступ большого дома, ступеньки вниз. Сбегаешь. Вот она лавочка! Вот бакалейщик... нет, жена бакалейщика! Она по ту сторону бочек с крупой, с мукой, с рисом. В каждой бочке большой деревянный, сухой-сухой совок.

Французский язык преподавал Витман, по имени-отчеству Пантелеймон Карлович. Не совсем обычное имя не только для русского, но и для француза. Считалось, что он эльзасец. Он был превосходный

человек, не вступавший с гимназистами ни в какие конфликты, без тени формализма, чиновничества и прочего, что у других преподавателей рождало просто садизм.

Мы все очень боялись директора. Он действительно был какой-то страшный. По внешности это был сухопарый, с козлиной бородой, высокий изможденный господин, ходивший по сияющим коридорам, как-то летя.

Иногда он внезапно, что всегда было похоже на завершение некоего грозного порыва, входил в класс.

Фрр!

Это встают сорок мальчиков. Сорок лиц смотрят на дверь. Он стоит мгновение в дверях, как коршун — если бы коршун был высок и взвивался на дыбы.

Тук-тук-тук-тук...

Это мы садимся.

Он идет высокий и прямой, но с тенденцией сгорбиться как бы под ношей сознания того, как скверны, как подлы мы — ученики. О, он был очень театрален. Каждый шаг его был рассчитан, должен бы пугать.

Зачем он, например, пришел?

Преподавал гимнастику в гимназии борец Пытлясинский. Это был экс-чемпион мира, старый конь, вернее — бык, хотя и не бык, скорее, кит, поставленный на хвост. И не кит! Просто старый борец, ходивший не в трико на полуголом теле, как это бывает на арене, а в дешевом штатском костюме, в тройке — и что он борец, было заметно по нечеловеческой ширине плеч, выпуклым икрам, маленькой голове.

Мы были знатоками цирка, появление Пытлясинского ожидалось нами сенсационно.

— Пытлясинский!

Он появился перед шеренгой, выйдя из маленькой ниши в стене, окружавшей двор; вышел упруго, как ходил на арене, привычно атлетическим шагом, пружинисто. Он был необыкновенен, странен, заманчив, и вместе с тем лицо у него было простое, солдатское, лицо польского крестьянина — с борцовскими скулами и усиками, но такие же скулы и усики могли быть и у матроса.

В ту эпоху были еще последние годы перед рождением спорта в его современном виде, этой международной новинки, которой суждено было впоследствии так ярко засверкать перед миром. Тем более не имела широкого распространения гимнастика — в школах. Пожалуй, и соколиная гимнастика появилась позже того дня, когда экс-чемпион мира стоял перед нашей шеренгой. Я описываю эпоху 1910—1912 годов. Кажется, впрочем, уже вертят пражские сокола свои деревянные бутылки с крашеной нашлепкой на тонком горлышке...

Как бы там ни было, но царский режим еще не знал в точности, что это гимнастика и зачем она. Вот решили привлечь к преподаванию ее — бывшего борца, попробовать. И он не знал, как это делается,

и он вышел к нам со смущенным выражением. И тут он открыл страницу моей жизни, настолько удивительную, что, перелистывая книгу, я то и дело останавливаюсь именно на ней: Пытлясинский стал учить нас прыгать.

Принесли две высокие неподвижно вставленные в крестовины штанги, принесли длинный, с двумя тяжелыми мешочками по концам, шнур. В штангах были идущие кверху фабрично просверленные отверстия — в одно из них борец воткнул прошедший насквозь деревянный катышек, такой же воткнул и в противоположно стоявшую штангу...

Мы поняли.

— Шнур! — пронеслось по шеренге.— Шнур!

И шнур повис на катышках, протянутый между штангами, как повисает лента финиша. Два мешочка, тяготея к земле с обеих сторон, натянули его до блеска.

Ракетки выдавались в так называемой грелке инструктором Иваном Степановичем, который вынимал их из шкафа, подхватывая вываливавшиеся одновременно баскетбольные мячи, какие-то большие тапочки, большие кожаные перчатки.

Он не любил выдавать ракетки — самый ценный товар из своего хозяйства. Ему представлялось, что обязательно ракетка будет повреждена, оказавшись в руках этого неосторожного грубого гимназиста... В самом деле вдруг сверкнувшее золото струн сообщало ракетке вид какой-то особой ценности, принадлежности к какому-то особому миру красоты...

Выдавались также два мяча, очень шаровидные, очень тугие — два маленьких белых шара с затаенной в них страшной силой удара и полета, которые тотчас же оказывались на струнах, тотчас же начинали подпрыгивать, отчего струны пели.

Иван Степанович, хоть и был инструктором по спорту на этой гимназической площадке, был все же в преподавательском персонале и ходил в учительской тужурке и фуражке.

— Осторожно,— предупреждал он, провожая взглядом ракетку,— смотри, осторожно!

По ту сторону двери грелки стояло лето во весь рост трав, цветов, деревьев. Тень тополя летела на меня, как дирижабль...

Попечитель Одесского учебного округа был Щербаков. Это был горбун, которого я видел один раз в жизни — он вошел в многоугольнике синего мундира, далеко, как все горбуны, выбрасывая руки, ниже всех, кто шел вместе с ним, но шире, именно так — многоугольная фигура с маленьким плугом груди под самым подбородком.

Он присутствовал при уроке. Ученики отвечали, он слушал. Все время я видел кисти его рук — то впереди его лица, когда они походили на две половины незатворенных и ходящих под ветром ворот, то разбросанными в разные стороны, когда...

Этот отрывок так и останется неоконченным. Сиди, горбун, за

зеленым столом с двумя жирафами пуговиц мундира, с синим бархатом петлиц, покрытых пылью, и со звездами статского советника среди этой пыли, звездами-сороконожками.

Да здравствуют краски!

Протопоповых было два брата, один в более высоком классе. По всей вероятности, это были болгары. И Ляхницких было трое. Сперва в нашем классе был только один — как раз Володя... Два старших его брата были в старших классах. Но постепенно все братья соединились, так как два старших все отставали и отставали. И вот трое Ляхницких сидят у нас на задних партах, все похожие друг на друга, хохочущие обезьяньими ртами. Война. Один окончил гимназию досрочно, стал офицером, нес в Одессе караульную службу. Вдруг узнаем мы, что он застрелился во время дежурства — выстрелил себе в рот. Потом белогвардейщина. Протопопов погиб на Дону за власть помещиков и капиталистов. Где Володя Ляхницкий — это неизвестно мне, скрыто от меня, но я вижу его в виде быстро извивающейся по листу линии... Вот, вот смотрите! Вот уже человечек появляется на бумаге, вот собака, вот шарж на Сережу Протопопова, который, конечно, рисует лучше меня!

Из всех красок самая красивая — кармин. И название ее прекрасное и цвет. Почему она называется — кармин? Это какие-то моллюски? Что может быть приятней, как держать в руке кисточку, которая только что зачерпнула кармину! Вот сейчас он начнет ложиться на александрийскую бумагу, рождая лепесток мака — язычок, почти шатающийся на бумаге, как под ветром...

Меня сейчас интересует только одно — научиться писать много и свободно. Пусть это будет о краске кармин или о маке, пусть это будет...

Пусть это будет рассказ об уроке рисования в гимназии, когда мы, сидя в актовом зале, рисуем с натуры чучело ястреба. Учитель рисования, Иван Архипович Архипов, пшеничный блондин в почти голубом мундире, который развевается на нем, ходит среди нас и говорит каждому слова одобрения.

— Эва, наливает! Глядите-ка, эва! — восклицает он, останавливаясь возле Коли Данчева.

Он особенно любил Колю Данчева.

Коля Данчев — болгарин. В Одессе их много, болгар — целая колония. Кроме Данчевых — Рашеевы, Болгаровы, Гулевы, Увалиевы. Данчев небогатый, однако все же помещик, мы дразним его по поводу именно его принадлежности к богатым. У него крупный, часто подвергающийся насморку нос, он сильный мальчик — даже несколько развинченный, какими бывают как раз сильные мальчики...

Я всю ночь рисовал и писал акварелью эту картину для украшения программки, которую завтра на концерте, предполагалось, преподнесут кому-то из высокопоставленных приглашенных. Мне ка-

жется сейчас, что я рисовал богатыря, рубящего мечом медведя. Самокиш-Судковского? Васнецова? Очевидно, я рисовал и писал красками неплохо, если эту программку на другой день предполагалось преподнести знатному гостю... Не помню, как я рисовал и писал. Помню, что я устал, что слипались глаза... Помню лицо богатыря с бородой под шлемом. Помню, что сижу за обеденным столом, один, в спящей квартире — один, сзади, за спиной, окна, выходящие во двор, ночь. И лицо богатыря под шлемом, и страх нанести ошибочный штрих тонкой кисточкой, берущей блестящую зеленую или кармин. Сзади окна, а чуть дальше Строгановский мост над поросшими травой улицами порта, еще дальше пароходы, пришедшие из Италии, Англии, спят в каютах негры. И где-то спит в своей комнате, которую я никогда не видел, Поля Аушева, гимназистка с белым твердым лицом, с белым твердым носиком, небольшого роста — с глазами, которые сейчас смотрят на меня из-за обоев.

Поля Аушева! Она несколько лет спустя, выросши, стала актрисой, плохой актрисой районного, как бы теперь сказали, театра. Тем не менее я ждал того часа, когда, поднимаясь по Греческой улице, я пройду мимо ее окна — по ту сторону улицы — и увижу ее в окне, всегда садившуюся к этому часу к окну и отвечавшую мне на поклон.

Милеев рисовал, подражая Врубелю. Собственно, не рисовал — писал акварелью. Небольшие листки александрийской бумаги, на них изображения чего-то вроде Берендеева царства, как его изображают в опере или на выжигательных шкатулках. Сходство с Врубелем усматривалось, вероятно, в том, что на листках, густо покрытых красками, было смешано лиловое с белилами. Белила, как известно, чужды акварели, и наличие их казалось поэтому экстравагантным, левым. Вот и Врубель! Разумеется, мы, сидевшие в классе, мало разбирались в именах современных нам художников; о Врубеле говорил учитель рисования, выделявший среди нас Милеева именно как последователя Врубеля. В этом альянсе учителя с учеником было нечто раздражающее — в особенности это касалось меня: я чувствовал, что жреческое высокомерие, которое проявлял Милеев по отношению к нам, ни на чем не основано. Наоборот, я чувствовал, что он бездарный и что нет ничего легче, как выехать и показаться гением, как раз подражая левому.

Он серьезно верил, что он гений. До сих пор помню, как рассматриваются его картины, похожие, как я теперь понимаю, на оперные эскизы. Это был десятый, сотый отголосок того Врубеля, который и сам не кажется замечательным,— Врубеля принцессы Грезы.

Я этого Милеева видел уже во времена, когда гимназия осталась далеко позади. Он был отечный, надутый, больной, дающий классический тип именно непризнанного человека. Конечно, я спрашивал его, что он теперь делает, чем занят; он отвечал мне что-то, что по содержанию и по тону было направлено, главным образом, на то, чтобы парировать какую-то мою атаку на него, которой вовсе и не было.

В классе нашем, между тем, были поистине одареннейшие два художника — причем не проявлявшие себя в каких-либо акварелях, где можно в конце концов быть и неточным, производя все же впечатление, а работавшие пером. Это были иллюстраторы, карикатуристы — как теперь думаю я, блестяще владевшие этой манерой — трудной манерой, требующей настоящего мастерства. Ведь им было всего лишь по семнадцати лет! Одного звали Сережа Протопопов, другого — Володя Ляхницкий. В них было прелестно то, что каждый из них говорил именно о другом, что вот как раз он хорошо рисует, а я как раз — ерунда. Сережа Протопопов был некрасив той чарующей некрасотой, которая выдает гения: он шепелявил, хохотал маломестительным ртом, что заставляло его по-старушечьи морщить свое молодое лицо... Володя Ляхницкий был обезьяновидный мальчик, тоже любивший хохотать — тут уж во весь весьма поместительный рот — от уха до уха,— любивший разыгрывать, но вместе с тем и показывавший то и дело доброе и большое сердце.

— Вот! Вот как Сережка рисует! — восклицал он, потрясая рисунком со стекающими школьными чернилами.

Я дивился им обоим, и когда я теперь думаю о тех деятелях в области таланта, которых я знал, то я готов прийти к выводу, что те двое, два странных, юных, небрежных, хохочущих мальчика — мастера,— что именно они вьются где-то и летают где-то с трубами на углах хартии моей жизни — жизни художника.

Сережа Тодорович был одним из красивейших в классе. Пожалуй, он был несколько полноват для юноши... Правда, правда, мы иногда посмеивались над его толщиной, хлопали его по заду. Нет, все же красивый: этот профиль с филигранным носом, эти выпуклые голубые глаза...

Мы сидели на одной парте. Он учился плохо, списывал у меня письменные работы, получал за это единицы. Он хохотал, не терял веселого расположения духа. Его даже не слишком расстраивал вечный триппер. В почти голубой форме, с лакированным дорогим поясом, изящно полный, живущий в хорошей квартире, где папа был прокурор, он в общем процветал, был счастлив.

Он был нежно глуп, вот что я о нем сказал бы,— нежно глуп.

Скшиван был болезненный мальчик, очень болезненный, что проявлялось иногда у всех на виду, когда вдруг во время урока с ним происходила дурнота, оканчивавшаяся рвотой. Он был поляк, звали его Фаддей — то есть по-польски Тадеуш — с характерной для поляков фигурой губ, как бы постоянно сложенных для причмокивания, бледный с желтоватостью на скулах, в отношении волос — пегий.

Директор, вообще хам и еще щеголявший хамством, относился к Скшивану с какой-то даже подчеркнутой вежливостью — не знаю почему; тот не принадлежал к богатому семейству или бюрократи-

ческому семейству... Возможно, здесь играла роль какая-нибудь интимная причина, какая-нибудь далеко стоявшая от гимназии и гимназистов женщина, близкая директору...

Один из сидевших на первой парте в среднем ряду — по фарватеру, так сказать, впереди меня — был Сперанде. Это был маленький, миниатюрно сложенный мальчик, очень быстро и притом так заманчиво бегавший, что каждому хотелось его поймать. За ним постоянно бегали в коридорах и во дворе — бегали гимназисты разных возрастов, а иногда и некоторые из учительского персонала. Так и остался в моей памяти Сперанде убегавшим от кого-то... И все кричат со всех сторон:

— Спирка! Спирка! Скорей! Спирка!

И Спирка с визгом проносится в разных направлениях, влетая в голубое пространство между двух акаций, перепрыгивая через деревянную ступеньку и даже, что запрещалось, выбегая на улицу, где сразу же и преследуемый и погоня окаменевали. Уже шагом, отдуваясь, возвращались они во двор...

Он был, вероятно, маленький грек, этот Сперанде, Спирка. Впрочем, масть его была желтая, носик острый — может быть, и не грек! Так и бегает в моей памяти Спирка, наверно, давным-давно убитый на Дону среди белогвардейцев, или, наоборот, среди солдат латышской дивизии. Возможно, он и живет где-нибудь в Афинах, служит, может быть, в греческой полиции или имеет лавочку — и тоже, может быть, как и мне, снится ему иногда гимназия, тот уголок, полный влетающих в него благоуханий, где гимназисты, расхватывая шинели, толпились, ругались, целовались, зная, что сейчас выбегут на улицу и полетят на крыльях акаций.

Куда шел Лукашевкер? Что ж, домой, завтракать. Это было как раз в полдень, чуть позже, когда солнце поворачивалось под куполом. Лукашевкер понес свое полное тело впереди меня, поскольку уже попрощался со мной. Понес свое толстое тело в форме гимназиста среди клумб и стеклянных шаров этого великолепного барского палисадника — понес его по направлению к парадному, прохладно и богато черневшему по ту сторону клумбы с ее скульптурой лилий и гладиолусов.

Несколько лучше, чем сейчас, чувствовал я себя в те минуты, когда входил в квартиру Гришки Зильберберга вместе с ним, с Гришкой Зильбербергом — шел к нему в гости...

Я чувствовал себя, вероятно, очень хорошо, поскольку я был совсем юн, мальчик — здоровый мальчик, хорошо учившийся и чувствовавший, что впереди много интересного. Зильберберг-отец был богатый человек: у Гришки, например, была собственная комната. Нас встретил беспорядок в этой комнате — я сказал бы, желтый, деревянный, не мучительный, а скорее привлекательный беспорядок. Мне кажется, что даже была в комнате оставшаяся от детства лошадка на двух желтых деревянных дугах для того, чтобы на ней кататься.

Полное ничтожество даже в гимназическом плане. Правда, красивый парнишка, с золотистыми волосами и черноглазый. Фамилия его была Шиян.

— Павка Шиян!

Так фонетически и выскакивает он иногда из самых неинтересных складок сознания — только фонограмма, запись даже не его голоса, а чьих-то других голосов, зовущих его:

— Павка!

И вдруг появилось и изображение... Солнечный день, спуск по Греческой, от Пушкинской к Польской, мимо ворот и кондитерской Мелисарато — солнечный под деревьями кусочек улицы, и мы на этом или, вернее, в этом кусочке — нас несколько, мы молодые, которых не могу назвать всех.

Это очень давно, очень! Другой строй, другой мир! Это война, это царь, это ризы, это иконы, которые везут в экипаже, большие темные лики по соседству с лампасами и кителем полицмейстера, это синие купола подворья, это матросы с усиками, с бочкообразными грудными клетками...

Это два матроса, которые идут по спуску мимо кондитерской Мелисарато навстречу нам.

— Подлец! — говорит Павка Шиян одному из них.— Подлец!

Павка Шиян два или три дня тому назад стал офицером.

Золотая голова, золотые погоны, золотая тужурка...

— Подлец!

— Виноват,— говорит тот с усиками, красавец, чистый, розовый, с ласковыми усиками.— Ваше благородие, виноват.

Оба стоят навытяжку, зрелые люди...

Мы поджидали его появления и когда видели, что вот он уже близко, занимали позиции с таким расчетом, чтобы и продолжая свой путь он встретил на нем каждого из нас — одного, потом другого, потом третьего — и каждый из нас, три мальчика, мы стояли во фронт, отдавая ему честь.

Генерал с чрезвычайной серьезностью и вежливостью отвечал нам. Генеральская шинель вдруг под влиянием ли ветра или от какого-либо движения показывала свою красную подкладку, и это было как раз в то мгновение, которое нас радовало больше всего. У генерала были не слишком седые усы с подусниками, что делало его похожим на Александра II. Его фамилия была Игнатьев, может быть, это был какой-либо родственник автора «50 лет в строю». Впрочем, если бы это было так, то он был бы граф, а графом этот генерал не был.

Некоторых я помню настолько отчетливо, что кажется, мы только что расстались.

Вот по залитому солнцем Строгановскому мосту мы идем с Гришкой Берберовым. Куда — не знаю; может быть, уже откуда-то... На мосту никогда не бывает тени. Только от пешеходов, очень черная круглоголовая тень...

Внизу за прутьями ограды — порт! О порте потом. О порте потом. Сейчас о Берберове. Он сын парикмахера, бедный, худой, в веснушках, греховный, познавший многие тайны, с мужским выпуклым взглядом еврей. У него впалая грудь, над которой висит взрослый нос; у него африканская фамилия... Гришка Берберов гимназист с весом, второгодник. О, главное, познавший тайны, познавший тайны...

Мы останавливаемся над портом, смотрим вниз. Там в мерцающей глубине булыжники, среди них трава.

— Идем, идем,— говорит непоэтический Берберов.— Идем.

— Куда? Может быть, он ведет меня познавать тайны?

Когда я только поступил в гимназию и совсем маленьким мальчиком, хоть и в форме, ходил по коридорам, дивясь на взрослых гимназистов, вдруг стало известно, что как раз один из старшеклассников — Ольшевский — покончил с собой, застрелившись из револьвера. Каково было понять это? Во всяком случае, акт воспринимался с внутренним уважением. Мы, приготовишки, между прочим, вдруг подкрались к дверям класса, к которому принадлежал самоубийца, и закричали: «Ольшевский!» — так сказать, пугая товарищей погибшего... Дурачки! И как это мы умудрились представить себе бедного юношу в виде привидения! Почему застрелился, не помню. Впрочем, мы и не поняли бы, если бы узнали, что причина, скажем, сифилис. Тогда это было частым явлением. Когда-нибудь я расскажу, как уже в более позднем возрасте один из моих товарищей, грек, сын булочника, поняв, что он заболел сифилисом, пал при всех нас, в общем, циниках, на колени и молился, прося бога о чуде — исцелении... Я видел эту язву, этот страшный твердый шанкр, через воронку которого столько жизней свергло себя в неизвестный край. Я еще расскажу об этом и также о том, как великий Главче, корифей-венеролог в тогдашней России, не признал язвы за сифилитическую, дав понять при этом, что некоторые врачи наживаются даже и тут — на этом страхе, порой обходящемся в смерть.

Мне было одиннадцать лет, и я сидел в цирке на чемпионате французской борьбы. Так как было лето и цирки уже не работали, то этот цирк был некоей комбинацией цирка и кино, то есть был еще и огромный висящий впереди меня экран. Кроме того, ряды стульев были расставлены и на арене с расчетом, чтобы зрители могли смотреть на экран. Очевидно, борьба происходила на какой-то эстраде перед экраном, этого восстановить в памяти я не могу.

Дело и не в этом. Дело в том, что я, чтобы лучше видеть, то и дело поднимался — вернее, приподнимался, кому-то, вероятно, мешая. И в одно из таких приподниманий я, маленький гимназист, болезненный, способный, неглупый и в общем нетребовательный к миру индивидуум, был остановлен сзади тяжкими руками кого-то.

— Если вы еще раз позволите себе подняться,— услышал я,— я выведу вас из цирка.

Меня потрясло ощущение колоссального количества накопленного против меня гнева в этом человеке, которого я еще не видел. Я его увидел. Это был известный в Одессе пристав Радченко. Он был даже по-своему красив в своей серой шинели и с черными усами. Тут воспоминание кончается. Я только помню ощущение обиды, которая была, очевидно, и у студентов-террористов, только в другом масштабе.

Не успели мы освоиться с тем, что один из нас попал в эти страшные лапы, как тут же стало известно, что он и побежден. В зимнее утро, только-только вставши ото сна, только-только раскутавшись в швейцарской, довольно тягостно было услышать, что Володя Долгов умер.

Да, да, от скарлатины. Что могло быть страшней этого слова? Звук «скарла» заставлял меня содрогаться. На других языках это иначе. По-немецки, например, шарлях. Там нет этого «скарла», которое представлялось просто некоей одушевленной фигурой, некоим гением, приходившим в спальню за детской душой.

Я пишу о времени, когда не было пенициллина. Скарлатина была бичем детства, первых классов гимназии. Еще был крупп — нечто еще более страшное, еще более заставлявшее нас содрогаться, но это было связано с деревней и пребыванием где-то очень за темными окнами, в которые, сидя у лампы, даже и не очень хотелось смотреть.

Я не помню, как выглядел Володя Долгов. Его смерть — событие ранних лет моей жизни, событие из жизни первоклассников, мальчиков лет по одиннадцати... Тем не менее это событие незабываемо. Надо не надо, оно всплывает в моей памяти во всей своей значительности и торжественности.

Он был из относительно высоких мальчиков. Это я помню — высокий. Помню его в виде высокого голубоватого пятна — это он стоял поблизости, когда я разговаривал с кем-то. Голубоватое пятно — это потому, что мы были в серых форменных костюмах. Боже мой, что можно помнить, если это всего лишь первый класс! Еще никто не успел подружиться и не рассмотрели друг друга, и вдруг — смерть. Что это — смерть?

Ты опять, Добродеев, всплываешь в темном пространстве закрытых век. Причем, кроме тебя, в этом пространстве я вижу еще кости Строгановского моста... Вот ты выбегаешь из твоего трактира бритый, подвижной, с голой головой — скорей похожий на ксендза, чем на хозяина трактира, где носятся волны чайников, оседающие то тут, то там,— волны чайников с травой, рыбами и птицами.

Помнишь ли ты меня, Добродеев? Я был тогда мальчиком, и ты как-то заметил меня — во всяком случае, смеялся вместе со мной по забытому мною поводу... Чайники летали, и с них не сыпалась тра-

ва и не сползали рыбы. Я стал писать на языке, на котором писал Пушкин и на котором царь поздоровался со мной, сидя на лошади.

Все хорошо, Добродеев. Скоро я буду черепом, и меня не отпоют в костеле на Екатерининской, куда ты хоть и православный, а заглядывал потому, что хотел увидеть, как идет из темноты платок Марианны, которую ты любил.

Одесские богачи. Я не видел ни одного из них. Я только слышал их имена: Бродский, Гепнер, Хари, Ашкинази, Пташников, Анатра... Еще многие, которых я не помню.

Это были банкиры, хлебные экспортеры, темные, преступные...

Коммерческое собрание помещалось в одной из фешенебельных частей города в превосходном особняке — серый, двухэтажный дом, негромоздкий, с флагштоком над главной, выходящей из угла, дверью. Я запомнил внушительно, богато-мрачноватый вид этого особняка в пасмурное утро, когда, направляясь в гимназию, я издали, с параллельного квартала, бросал на него взгляд.

Это был клуб для карточной игры, самая настоящая обираловка, но замаскированная под приличие, под внушительность — даже под благотворительность... Я, например, учился на счет Коммерческого собрания, был его стипендиатом.

Меня никогда не интересовала экономика. Все мое существование в экономике выражалось в том, что я покупал в булочной хлеб, в магазине обуви — ботинки, в театральной кассе — билеты. Мне не приходило в голову, что такое положение вещей, в котором я получаю за что-то деньги и за что-то их отдаю, зависит от каких-то причин, которые могут изменяться и которые надо почему-то изменять. Это положение вещей казалось твердым, даже не подлежащим обсуждению, твердо ли оно,— казалось раз заведенным, давно заведенным, правильным, счастливо найденным, идеальным. В самом деле, что могло быть для воображения более достойным одобрения, чем, скажем, бакалейная лавочка? Она была освещена желтым светом керосиновой лампы, бросавшей на плиты тротуара желтые прямоугольники, иногда скошенные и предвещавшие французскую живопись; она всегда помещалась в углу большого с кариатидами дома, и, чтобы спуститься в нее, нужно было сбежать по нескольким ступенькам, отчего делалось весело; в ней можно было купить почтовую марку, переводные картинки, фунт крупы, огурцы, ракету.

Это были очень вкусные штучки, вроде, я сказал бы, огурчиков из теста. Именно так: гофрированные тестяные огурчики... Но с чем можно сравнить это тесто? Ведь это не было тесто, как в пирожке,— мягкое, белое, ватно-тянущееся... Нет, оно было, во-первых, зернистое, во-вторых, жирное и, кроме того, что сочилось жиром — этот жир был еще и сладкий.

Называлось это — чибрики.

Их продавали обычно какие-то подозрительные чернощекие люди — из болгар или турок, преступные, грязно поглядывающие... Чибрик посыпался пудрой.

Кондитерская Исаевича помещалась при выходе из сквозного двора костела на Ришельевскую улицу. Какая-то часть той сладости, которая присутствовала в причастии, в обряде похорон с их гиацинтами, кружевными сборками и мухами на лице покойника — была также и в самом духе кондитерской.

В ней продавались маленькие, узкие пирожные на польский манер с плотно склеенными сладостью дощечками теста. Пирожное стоило три копейки — но только для учащихся, для остальных — четыре. Туда шли после уроков со всех сторон гимназисты и гимназистки. В маленьком полутемном помещении было полно народу. По ту сторону прилавка, на фоне двух узких, еле заметных окон, возвышались хозяин и хозяйка.

Они знали, что мы курили. Этого нельзя было не знать: синий дым прямо-таки валил из дверей уборной! У меня осталось тягостное впечатление от той уборной. Я учился курить, не желая этого — наоборот, желая быть тихоней, послушным...

Когда Севе Орлову понадобилось сделать операцию аппендицита, его положили в так называемую Евангелическую больницу — в то обольстительное для взгляда маленькое белое здание в саду, среди ирисов и роз, которое стоит в начале Французского бульвара и мимо которого, когда ни проходишь, всегда останавливаешься, привлеченный то запахом цветов, то прелестным отражением неба в одном из не подозревающих о собственной красоте окон, то просто мыслью о том, что это лучшая больница в городе и вряд ли в таком красивом, чистом, среди цветов здании можно не вылечиться от самой страшной болезни.

Сева Орлов был болезненный юноша, маленький, мелкий, уже в те юные годы не обходившийся без очков. Незаконный сын Орлова, он представлялся нам всегда на грани каких-то семейных стычек, какого-то изгнания из дому. Разумеется, мы преувеличивали, Сева был полноправным членом семьи. Тем не менее тот факт, что его положили в лучшую больницу в городе, показался нам каким-то особым благодеянием со стороны Орлова.

От гимназистов требовалось усердное выполнение обязанностей, связанных с принадлежностью к церкви.

Я был католиком, тем не менее и мне надлежало соблюдать в этом смысле дисциплину. Так, обязан был я каждое воскресенье посещать костел.

Вот оно, одно из этих воскресений.

Я вхожу за ограду, иду по широким синеватым плитам, которые звенят под ногами. Вот ступени, я поднимаюсь, и вот я среди полумрака и прохлады каменных, а может быть, и железных сеней костела...

Здесь стоят, наклонив лбы, нищие; здесь властвует эхо; здесь я обнажаю голову.

Костел поет мне навстречу. Орган, голоса мальчиков, тонкие колокольчики. Это размашистые, гигантские взмахи звуков. Я вижу вдали, где алтарь, целую толпу, часть которой движется, часть неподвижна: это люди и статуи. Люди в черно-белом; статуи текут желтым цветом масла. Мощно лежит среди них солнечный свет, падающий сверху. Он не лежит, он стоит среди них, как корабль в полной оснастке.

Там поют люди и орган. Поют колокольчики.

Я вхожу и первым вижу то, о чем забываю всякий раз...

Когда я входил в костел, я видел стоявшие вдоль стен на высоте второго этажа статуи ангелов — почти детей, во всяком случае не старше меня, в легких хитонах, сквозь которые просвечивали их тела. По мере моего продвижения вперед, к алтарю, образовывались ракурсы, в результате которых ангелы один за другим все более и более отворачивались от меня, а последний уже, казалось, уткнулся в стенку и плачет, скорбя обо мне, но не имея права простить меня.

Высокий, красивый ксендз, весь, конечно, в черном — сутана, шарф и свисающие кисти шарфа... Также был он брюнет, скорее длиннолицый, румяный, разумеется — бритый. Черные сверкающие глаза его иногда становились теплыми, улыбающимися и смотрели каждому из нас в глаза понимающим взглядом старшего товарища, молодого мужчины. Было о чем нам переглядываться в эти весенние дни, когда на подоконниках была рассыпана сирень, когда шумнокрылый ангел появлялся из страниц учебника, когда где-то и кто-то стучал каблуками, где-то и кто-то пел...

Я помню, сидит налево от меня, под окном, превратившись для меня в силуэт, испанец Кальсада, Колька Кальсада. Как раз перед ним кафедра, за которой сидит ксендз — ксендз Эрисмани. Тот что-то сказал, испанец; ксендз что-то ответил; оба смеются. В книжке, которую держу я, рисунки Доре — гигантские, как мне кажется, композиции: Авессалом, зацепившийся за дерево волосами, Навин под темным облаком, сквозь которое косо валится лира солнца, какой-то самоубийца, бросающийся грудью на воткнутый рукояткой в землю меч. Эти картины гудят, поют — а ксендз улыбается испанцу, и тот берет в руки сирень то лиловую, то голубую, то белую, которая почти стучит по подоконникам краями своих крохотных колокольчиков.

Обязательно заканчивать.

Начнем с короткого, чтобы легче закончить.

Когда я побрился впервые? Дня, когда именно побрился, не за-

помнил. Помню, что еще до того, как начал бриться, подстригал усы ножницами — вернее, не усы, а то, что росло на верхней губе. Подстригал, стараясь проделывать это как можно тщательней, для чего поплотнее прижималось лезвие ножниц к обрабатываемому месту — и этот холодок металла возле носа помню до сих пор.

Домашние посмеивались над этим. В особенности — с лукавством юной женщины — сестра. Она единственная в семье считала мою наружность приличной. Родители не одобряли. Надо сказать, что понятие красивого мужчины или женщины сильно изменилось с тех пор, как родители мои были молоды. Некрасивость мужчины не есть что-либо такое, что подлежит особому обсуждению,— это во-первых; во-вторых, сейчас красота мужчины видима женщинами в другом. Сейчас невозможна трагедия Айвенго, который был некрасив. В эпоху, когда мои родители были молоды, существовала эстетика хорошеньких мужчин. Сестра, уже принадлежавшая к новому поколению, чувствовала, что красота в ином.

Самыми красивыми мужчинами представляются мне декабристы, русские аристократы, влюбленные в Наполеона и дравшиеся с ним на поле Бородина. По всей вероятности, мы далеки от точного представления о красоте какого-нибудь молодого русского князя в его кавалергардской кирасе!

Из знаменитых имен моего детства я помню имя Яна Кубелика. Это был прославленный скрипач, чех, приехавший в Россию на гастроли. Я его не слышал и не видел, потому что родители на концерты не ходили, да и ходи они на концерты, тоже меня маленького не взяли бы. Однако имя это задело мое детское внимание, потому что его часто повторяли дома, за столом. Оно было сенсационно, так как он был небывалый скрипач, как говорили за столом, первый в мире. Мне нравилось, что он именно «Кубелик»; я не воспринимал эту фамилию как чешскую, и потому она звучала странно, интересно.

Сенсация усилилась, когда распространился по Одессе слух, что некий студент, прослушав концерт Кубелика, застрелился и что Кубелик прислал на его гроб венок.

Кубелик — слышу я в далеком прошлом — Кубелик; вижу скрипку и венок.

Осип Мандельштам, описывая в своем «Шуме времени» концерт Кубелика, говорит, что маэстро был лилипут.

Правда — ведь он был Кубелик, то есть, хоть я его и не видел, безусловно, маленький, из теста.

Из знаменитых имен было также имя Ивана Заикина, борца. Теперь нет борцов в том цирковом виде, в каком они были тогда. Теперь борьба — еще и спорт, а тогда была только зрелищем, и ее показывали в цирке. Тогда не было, между прочим, и стадионов. В футбол, например, играли почти на пустырях, иногда вытягиваю-

щихся горбом и с полевыми цветами среди, разумеется, не подстриженной, как теперь, под ковер травы.

Борцы выступали в трико, большие, белые, похожие на женщин. Иван Заикин был одним из сильнейших мировых борцов. Перед его именем сообщалось, что он волжский богатырь. Я помню как раз случай, когда он был побежден. Он плакал, растирая по лицу слезы, и кричал, что он побежден неправильно, что он постоит за Россию (очевидно, его победил иностранный борец) и еще что-то в патриотическом духе. Вероятно, все это было подстроено, как всегда в цирковых чемпионатах того времени,— мне и тогда почувствовалось притворство. Как теперь вижу, как он ходит по арене, растирая слезы и потом кладя ладони на половинки зада.

— Братцы, я не выдам России! Не выдам!

На завтрак мне давали пять копеек. Это мало, но не так уж мало, поскольку на эту сумму можно было купить, скажем, бублик, яблоко и стакан чаю. Или котлету, на которую уходила, впрочем, вся сумма. Котлета, правда, была хорошая, пухлая, между двумя кружками белого хлеба, хорошо пачкавшимися жиром котлеты. Никогда не забуду, что стакан чаю стоил копейку. Все-таки стакан горячего, сладкого чаю!

Разумеется, это было мало — пять копеек. Мало, потому что начинало хотеться есть к первой перемене... На ней уже покупалось, скажем, яблоко. На второй перемене съедали, скажем, бублик. К большой перемене, во время которой и полагалось, собственно, есть, уже ничего не оставалось. А между тем к большой перемене привозили завтрак богатому Агаркову. Когда мы вбегали в зал, судок с этим завтраком уже стоял на столе. Иногда даже два судка. Они были плоские, две серебряные черепахи — тем более черепахи, что из обоих из-под крышек торчали начала ложек и вилок. При виде этих судков аппетит, конечно, разгорался... Однако от силы, как говорится, оставалась копейка на стакан чаю — запомнившийся мне на всю жизнь граненый и желтый от налитого чаю стакан за копейку, без блюдечка, который приходилось держать пальцами сверху, пока он обжигал паром ладонь. Благословляю тебя, стакан гимназического чая, не покидай моей памяти, не покидай!

И вот чаще всего я не тратил своих пяти копеек на завтрак. Я их откладывал, чтобы к концу недели иметь тридцать копеек. К этим тридцати копейкам еще с большим трудом добывались двадцать, и в субботу я шел в цирк, купив билет, который для гимназистов стоил именно пятьдесят копеек. Как добывались недостающие двадцать — это тема для другого рассказа. Замечу только, что у меня была бабушка, у которой было много серебряной монеты и которая меня любила. Однажды на именины она даже подарила мне золотые пять рублей, маленькое солнце которых, выглядывавшее из-за коричневых складок кошелька, я тоже никогда не забуду, как не забуду и бабушки, лежавшей в гробу, как в легкой лодке.

Цирк всегда виднелся сквозь падающий снег. Ну, что ж, всегда была зима, когда был цирк! И я шел сквозь падающий снег, поражаясь снежинкам. И правда, они походили на сооружения техники. Некие гигантские концентрические восьмиугольники, останавливавшиеся у меня на реснице и не разрушавшиеся, хоть я и дул на них снизу. Поражало меня также, что снежинка, проплывая между фонарем и стеной, бросала на стену тень в виде, по крайней мере, маленького облака. На стене цирка висели афиши с изображением желтых львов и красного укротителя, которое, казалось, двигалось, потому что на нем были и круги, и взвившийся бич, и подкинутые задние ноги льва.

В тот вечер, о котором я хочу рассказать, должен был выступать в цирке чудо-мальчик. Что должен был делать чудо-мальчик, в афише сказано не было. Просто извещалось, что выступит чудо-мальчик, и все. Я сам был мальчик, и существование какого-то чудо-мальчика вывело меня из равновесия. Я сам был, черт возьми, чудо-мальчик. В самом деле, я то и дело слышал о том, какой я способный и какой я умный.

Рассказ, который я обязан написать и который собираюсь написать уже много лет, следует начать с описания шедшего в тот вечер снега. Это был особый снег, особый его сорт — я назвал бы его филигранным, тот сорт, когда образуются снежинки в виде крохотных изделий, совершенно, разумеется, бесполезных, тем не менее абсолютно точных — неких концентрических восьмиугольников, неких разносторонних крестов с вылетающими из углов лучами, неких звезд с поперечными перекладинами на каждом луче... Эти тельца, зацепленные вами на ходу, не разрушаются, хоть и феноменально легки: наоборот, долго висят на реснице, поддевшись на нее, скажем, крайним восьмиугольником,— и вам приходится долго моргать, чтобы свалить эту мохнатую махину, да и то, упав, скажем, на рукав, она все еще сохраняет некоторую форму. В самом деле, уж как, казалось бы, легка, а, пролетая между фонарем и освещенной стеной, бросает тень, в которой вы находите сходство даже с облачком.

Освещенная стена, афиша... Я прочитываю все те слова, которые сейчас, через десять минут, как только войдут в полную силу света висящие над ареной лампы, превратятся в клоунов, в мандолины, в маленьких собачек, в бубенчики, в лошадей, в узкие тела, летающие между трапециями. Вот только во что превратится Володя Зубрицкий, я не могу себе представить.

«Володя Зубрицкий,— написано на афише,— чудо-мальчик».

Я сам еще мальчик, хоть и гимназист, и существование какого-то «чудо-мальчика» воспринимается мною чуть ли не с раздражением.

«Чудо-мальчик»! Что это такое? Ладно, посмотрим.

На арену вынесли большую грифельную доску — поменьше, чем в гимназии, однако в хорошем четырехугольнике и на подставке, и с тряпкой в меловой пыли на нижнем ребре. Трудно было предположить, в чем будет состоять этот следующий номер программы при таком аксессуаре. Впрочем, я успел заглянуть в чью-то программу по соседству и прочесть, что выступит чудо-мальчик.

Чудо-мальчик пошел по песку арены, чуть утопая в нем атласными белыми башмаками. Почти рядом с ним, немного отставая, шел студент в черной тужурке, в пенсне, с усами и с бородкой.

Чудо-мальчик сейчас был просто довольно полным мальчиком, блондином с челкой, и не только в белых атласных башмаках, но и в таком костюме — матросском, только в коротких штанах и с воротником не синим, как у матросов, а с розовым, тоже атласным и розовым якорем на рукаве.

Мальчиком и многие годы потом, уже взрослым человеком, из всех зрелищ я больше всего любил цирк.

Да и не только в качестве зрелища воспринимал я цирк — нет, отношение было сложнее, еще и мысли о славе переплетались у меня с цирком: я представлял себе, что буду знаменитым цирковым актером, именно прыгуном! Также и пробуждавшаяся чувственность находила свои тайные воплощения в образах цирка... Кому бы ни принадлежали ноги в трико, кто бы ни был обсыпан по бархату золотыми блестками, на чьем лице ни играла бы застывшая малиновая улыбка — все это говорило о том, что в мире есть какая-то великая тайна, которую я скоро постигну, ради которой живу.

Желтая арена цирка, скажу, была дном моей жизни!

Стоит вспомнить, как горды мы в юности. Эта гордость основана на сознании своей красоты и силы — если вы даже и не красивы и не сильны! Да, да, красоты и силы, так как молодость по существу красива и сильна. Может быть, потому именно, что предчувствуешь все же, что кто-то прильнет к тебе — только к тебе, отдастся тебе, полюбит тебя!

Пожалуй, гордость — одно из главных переживаний юности... Я помню себя очень гордым — в серой шинели гимназиста, у которой черный каракулевый воротник, с лицом, которое пышет, с бровями, мягкость которых я сам ощущаю,— поистине соболиные брови мальчика!

И вот я сижу в цирке в субботний вечер. Билет куплен на деньги, сбереженные в течение недели от пятачков на завтрак. О, это никак не умаляет гордости! Боже мой, я силен и красив — я юн! — а то, что у меня нет денег,— разве они есть у полубога?

Я хорошо учился, был, как определяли взрослые, умным мальчиком, но в те детские — вернее, уже отроческие годы, никаких предвестий о том, что я буду писателем, я в себе тогда не слышал. Мне хотелось стать циркачом, и именно прыгуном. Уметь делать сальто-мортале было предметом моих мечтаний. Я пытался научиться этому в гимнастическом зале гимназии, учеником которой я состоял. Однако ничего не получилось, поскольку отсутствовали соответствующие приспособления, которые и не требовались при школьном курсе гимнастики, куда не входила акробатика. Я и не знал, что требуются приспособления, относя этот фантастический прыжок к каким-то таин-

ственным возможностям, заключенным в некоторых людях. Я им завидовал, этим людям. Я их видел в цирке — мальчиков, девочек в белых башмаках, толпу детей, выбегавшую из малиновых ворот кулис на арену и чуть не с хохотом проделывавших передо мной то, что я не мог бы проделать даже в самом необыкновенном сновидении.

Я, между прочим, и теперь иногда сообщаю знакомым, что в детстве умел делать сальто-мортале. Мне верят, и я, вообще не любящий врать, рассказываю даже подробности.

Может быть, эта мечта уметь делать сальто-мортале и была во мне первым движением именно художника, первым проявлением того, что мое внимание направлено в сторону вымысла, в сторону создания нового, необычного, в сторону яркости, красоты.

Я приобрел этот билет путем непосредственной затраты сил физических и душевных — ждал в очереди, верил, что дождусь, вдруг терял веру... Я честно добился его, этого листка тонкой бумаги с лиловым штемпелем!

Вот он у меня в руках. Да, тонкая, почти просвечивающая желтоватая бумага, да, лиловый штемпель... Но это право попасть в этот плюшевый рай, в этот рай мрамора, ступеней, золота, матовых ламп, арок, коридорчиков, эха, хохота, блестящих глаз, запаха духов, стука каблуков — мало ли чего!

Цирк в детстве произвел на меня колоссальное впечатление. Мне иногда хочется сказать, что желтая арена цирка это и есть дно моей жизни. Именно так — дно жизни, потому что, глядя в прошлое, в глубину, я наиболее отчетливо вижу этот желтый круг с рассыпавшимися по нем фигурками людей и животных в алом бархате, в блестках, в перьях и наиболее отчетливо слышу стреляющий звук бича, о котором мне приятно знать, что он называется шамбарьер, а также крик клоуна: «Здравствуй, Макс!» — и ответ на него: «Здравствуй, Август!»

Вихрь клоуна — бело-малиново-золотой вихрь с неподвижным камнем белой маски среди этого вихря — в любой момент, стоит мне только подумать, взлетает в моей памяти. Тогда клоуны говорили как бы по-английски. Они были в белых чулках и блестящих золотом туфлях. Они давали друг другу пощечины, звеневшие на весь цирк, механизм которых трудно было и очень хотелось постигнуть.

Это было трио: двое мужчин и девушка. Да нет, не двое мужчин, а два мальчика, и не девушка — а девочка. Вот они крутят передо мной сальто. Вот же они, вот! Да вот же, неужели не видите? Никто не видит! Вижу только я, и вижу в том несуществующем пространстве, которое клубится перед моими глазами и называется память.

Крутя сальто, девочка превращалась в видение, ошеломлявшее меня, хотя ничего особенного в это время с ней не происходило кроме

того, что она крутила сальто и у нее развевались волосы: я был тогда всего лишь мальчиком и представлял себе, что для любви нужно совершение более грандиозных вещей, чем просто развевающиеся волосы.

Я влюбился в акробатку-девочку. Если бы не разлетались ее волосы, то, может быть, и не влюбился бы. Если бы не разметались волосы и если бы белые замшевые башмаки так не выделялись,— то на песке, то в воздухе, то в круге сальто... Никто не знал, что я влюблен в девочку-акробатку, тем не менее мне становилось стыдно, когда она выбегала на арену. Как она была одета? Не помню. Помню только белые замшевые ботинки, твердо, как на детях, надетые и застегнутые по боку белыми же круглыми пуговицами, и помню только разлетающиеся волосы. Я, возможно, и сам не знал, что я влюблен. Мне было только стыдно — причем стыдно за нее, стыдно, что она именно такая — вызывающая во мне приятное, незнакомое, приятное чувство.

Однажды шел снег, стоял цирк, и я направлялся в эту магическую сторону. Там было кафе, в здании цирка, где собирались артисты. Из кафе вышло трое молодых людей, в которых я узнал акробатов, работавших с девочкой. Один из них сплюнул — с некрасивым лицом и в кепке; невысокого роста, какой-то жалкий на вид, нездоровый, с широким ртом молодой человек. Он сплюнул, как плюют самоуверенные, но содержимые в загоне товарищами молодые люди — длинным плевком со звуком — сквозь зубы. «Почему же их три? — подумал я.— Это, наверно, их товарищ, тех двух, которых мне было сейчас приятно видеть, поскольку они работали с нею». И вдруг я узнал в третьем — ее. Этот третий, неприятный, длинно и со звуком сплюнувший, был — она. Его переодевали девочкой, разлетающиеся волосы был, следовательно, парик. Однако я до сих пор влюблен в девочку-акробатку, и до сих пор, когда я вижу в воспоминании разлетающиеся волосы, меня охватывает некий стыд.

Цирк Ефимовых был прекрасный цирк. Мы хорошо изучили все его номера: сибирских стрелков, партерных акробатов Сальтонс, трио воздушных гимнастов, клоунов Танти и клоунов Розетти... Выступали также две наездницы: мадмазель Клара и Мария Сербская. Мадмазель Клара была так называемая парфорсная наездница — то есть она проделывала свой номер, в общем находясь на широком атласном седле: стояла на нем, садилась на него, прыгая через длинные ленты, которые поперек ее пути держала униформа, и опять возвращалась на седло.

Тогда пренебрежительно говорили — униформа! Но никакого пренебрежения не испытывали по отношению к этим людям в золотозеленых мундирах, стоявших в две шеренги у выхода на манеж. Наоборот, их очень любили и уважали. Ведь в основном униформу составляли те же артисты! Я помню, как приятно было узнать в комнибудь из этих молодцов молодого Танти и молодого Сальтонса...

Мария Сербская тоже была парфорсная наездница. Она появилась вдруг, без предварительного извещения в афишах, что будет показан новый номер... Она вдруг вынеслась на худой остроносой лошади, и

мы еще не справились с впечатлением от первого описанного ею круга, как она уже упала. Упала на красный плюш циркового круга и покатилась в ноги партеру, кубарем среди рассыпающейся одежды и сладостно блеснув телом. Публика ахнула, но она тут же выпорхнула из своей смертной ямы и, выбежав на арену, сделала подряд несколько раз то, что на цирковом и балетном языке называется комплиментом... Она собиралась опять взлететь на атласное свое седло, но в это время униформа ловила бегавшую по арене и не хотевшую даться в руки лошадь. Стало понятно, что номер не состоится — вина была не в наезднице, а именно в лошади, и, рассыпав еще целую коробку комплиментов, Мария Сербская убежала за кулисы.

Мы с удовольствием слушаем рев зверей, доносящийся к нам во время представления из конюшен. Нет пары, которая не переглянулась бы, слушая этот рев. Он раздается вдруг — не то зевок, не то некое титаническое «а, здравствуйте!». Можно сказать, цирк наполнен каким-то ветром, каким-то эхом, когда в третьем отделении выступают хищники.

Во втором антракте устанавливают клетку, которую приносят по частям и со звоном скрепляют. Это загибающиеся в сторону, обратную от зрителя, копья. Дети знают, что тут мера, еще более затрудняющая зверю возможность выпрыгнуть.

Второй антракт заполняет арену движением, которое нам очень хочется охватить взглядом и которое как раз не поддается этому: тут и галунные куртки униформы, и длинные копья ограды, и деревянные креслица с напечатанными на них весьма наивными, если учесть предстоящее, цветами, и сам укротитель, пока еще в сером халате. Вот раздается звонок — целая река звона бежит над нами,— и когда мы входим, то арена уже готова... Она желта более, чем когда-либо, потому что, знаем мы, сейчас вбегут львы!

Я видел как-то в цирке номер, который тогда назывался «Мотофозо». Пожалуй, если сейчас напомнить Арнольду об этом номере, то он опишет его в точности...

Мото-фозо — это человек-кукла. Не какая-нибудь экстравагантная кукла — страшная или комическая — нет, это просто молодой человек во фраке и в цилиндре, просто юный франт с голубо-розовым, как у куклы, лицом и с синими, нарисованными почти до щек ресницами. Ну и конечно, как у кукол же, неподвижные, хотя и лучащиеся глаза. Его, этого франта, выносили на арену. Он был кукла. Это все видели. Настолько кукла, что, когда униформа, вдруг забыв, что это кукла, переставал ее поддерживать и отходил, она падала. Причем под общий панический возглас цирка падала назад, навзничь. Ее, сокрушенно покачав головой, опять поднимали.

Проделывался целый ряд конфликтов, рассчитанных как раз на то, чтобы создавалось впечатление куклы, и номер заканчивался тем... Тем заканчивался... О, по приказу детства он заканчивался тем, что куклу несли по кругу партера, останавливаясь то перед од-

ним мальчиком, то перед другим, то перед отшатнувшейся в застенчивости девочкой — и мы могли чуть ли не целовать его в щеки, этого старшего мальчика в белом жилете; его ресницы не дрожали, не дрожали ноздри, но все же прелестная душа улыбки, маска смеха дружески общалась с нами, на миг как бы появляясь на застывшей маске.

Где ты, мой старший брат — сказка?

Вдруг под звуки галопа он срывал с головы цилиндр и высоко поднимал его над головой, и от радости, что ожил, воздымаясь кверху — цилиндр, перчатка, еще что-то (плащ?),— он убегал с арены, прямо-таки весь засыпанный детскими ладошками — мало того, даже пятками, потому что некоторые малыши от восторга валились на спину!

У него всегда были деньги, и он поэтому мог позволять себе кое-что. Так он купил билеты для себя и для меня в цирк.

— Пойдешь?

Конечно, я пойду.

— Только спроси маму.

Подтрунивает. Пожалуйста, это меня не обижает, поскольку мне не приходится бояться, пустят меня в цирк или не пустят — безусловно, пустят, а потом я не вижу ничего позорного в том, что я моложе его. Он студент, я гимназист второго класса. Разница, конечно, огромная, но почему же в таком случае он, я бы сказал, даже ищет моего общества?

Может быть, он вообще не слишком смелый человек, и ему мое общество не представляется опасным в том смысле, что я его не обижу.

Он назывался «дядька Манжели». Его имя было другое, совсем другое — но мы называли его так из-за сходства его с дрессировщиком лошадей Манжели, которого мы видели по субботам в цирке.

Вот, собственно, и все о «дядьке Манжели». Нет, нужно хотя бы несколько строк еще: это был грек, родственник Мелисарато, с черными смазанными бриллиантином усами и с бриллиантами на пальцах, а может быть, на шее и даже, может быть, в усах...

Вот и все о «дядьке Манжели».

Могу сказать, что видел зарю футбола. Мы, гимназисты, шли по французскому бульвару и сворачивали в переулок, где виднелась вдали воздвигнутая с целью рекламы гигантская бутылка шампанского... Пусть не подумает читатель, что путь этот проходил среди именно урбанистических красот — так может подумать читатель в связи с названием бульвара и этой рекламной бутылкой — нет, наоборот, Французский бульвар — это скорее в пригороде Одессы, гигантская же бутылка стояла за серым забором, среди лопухов, бурьяна, и рекламировала не саму продажу шампанского, а просто указывала, что поблизости его склад.

А может быть, ее привез торговец шампанским из Франции и потом просто не знали, куда ее поставить... Поставили в переулке — о,

даже просто в проезде, пыльном, узком, между заборами, но, как кажется мне, все же прелестном, поэтическом, поскольку это было на берегу моря и по сторонам переулка, на высоте его, можно было увидеть и вырезной балкон, и откуда-то свисающую розу.

Пыль, солнце склоняется к западу, воскресение... В середине переулка толпа, давка. Там широкие деревянные ворота, которые вот-вот вдавятся вовнутрь, лопнут под натиском желающих проникнуть на... на стадион? Нет, тогда еще не употреблялось это слово. Просто — на матч!

Посередине поля стояла полуразвалившаяся стена, я шел вдоль нее среди бурьяна, чертополоха... Стена метров в тридцать длиной, так что я успевал побывать в тени, в которой так полно, такими чашами розовели чертополохи. Где-то на высоте в стене были дыры в тех местах, где до разрушения были окна. Эти дыры в некоторых случаях были огромными, сливавшимися с небом, иногда, наоборот, они заросли чем-то шатающимся под ветром... Я редко смотрел наверх, поскольку рядом со мной вились ленты разговора о футболе, о футболистах.

Мы шли на поле Спортинг-клуба, чтобы посмотреть на очередной матч.

— А кто беки? — слышал я рядом.

— Борька Мизерский и...

Кто еще, кроме Борьки Мизерского, я не успевал услышать, так как те двое уже обогнали меня. Но я и сам знал, что второй бек — Тихонюк.

В те годы, на заре футбола, беками назывались двое игроков защиты (тогда игроков защиты было именно два). Впрочем, название это держалось довольно долго — уже в советском футболе. Беки; полузащита (трое в линию) — хавбеки; нападающие — форварды. Вратарь назывался голкипером. По всей вероятности, я не сообщаю ничего нового знатокам футбола.

Футбол только начинался. Считалось, что это детская забава. Взрослые не посещали футбольных матчей. Только изредка можно было увидеть какого-нибудь господина с зонтиком, и без того уже известного всему городу оригинала.

Трибун не было. Какие там трибуны! Само поле не было оборудованным — могло оказаться горбатым, поросшим среди травы полевыми цветами.

По бокам стояли скамьи без спинок, просто обыкновенные деревянные плоские скамьи. Большинство зрителей стояло или, особенно по ту сторону ворот, сидело. И что за зрители! Повторяю, мальчики, подростки.

Тем не менее команды выступали в цветах своих клубов, тем не менее разыгрывался календарь игр, тем не менее выпускались иногда даже афиши.

Мои взрослые не понимали, что это, собственно, такое — этот футбол, на который я уходил каждую субботу и каждое воскресение.

Играют в мяч... Ногами? Как это ногами? Игра эта представлялась зрителям неэстетической — почти хулиганством: мало ли что придет в голову плохим ученикам, уличным мальчишкам! Напрасно мы пускаем Юру на футбол. Где это происходит? На поле Спортинг-клуба, отвечал я. Где? На поле Спортинг-клуба. Что это? Ничего не понимаю, говорил отец, какое поле?

— Спортинг-клуба,— отвечал я со всей твердостью новой культуры.

Эти мои записи имеют ту для меня пользу, что все же учат меня владению фразой. И, вообще, они приучают меня писать, от чего был очень далек когда-то. Сесть за стол, взяться за перо было бы мне очень трудно — о, почти невозможно, как из бодрствования, не заснув, шагнуть в сновидение!

Я ни на что не хочу жаловаться!

Я хочу только вспомнить, как стоял Гриша Богемский в белой одежде — «спортинга», позируя Перепелицыну для фотографии перед матчем. Он стоял поближе к грелке, если смотреть со стороны теннисных площадок, на том участке по дороге к грелке, который примыкает к забору, но весь в траве, весь ровно зеленый, хоть и в тени, хоть и под забором. Гриша Богемский, повторяю, был в белой одежде спортинга. Так ли это? Спортинга? Просто в белой одежде. Если бы спортинга — на груди у него виднелся бы синий знак клуба, этот небольшой синий с белым щиток. Это, во-первых, щиток, а, во-вторых, вряд ли разрешили бы ему на гимназические состязания прийти в клубной форме... Он и сам не пришел бы! Итак, просто белая одежда — белая, тонко-тонко нитяная рубашка и белые трусы. Тогда то, что теперь называют майкой, футболкой, называли просто рубашкой, хотя это была та же майка, футболка, обтягивающая туловище, а сейчас на Богемском кажущаяся мне прямо-таки гипсовой... На ногах у него черные чулки, завернутые на икрах неким бубликом и оставляющие колени голыми, а также и бутцы — старые, сильно разбитые, скрепленные, как скрепляют бочки, в обхват по подъему кожаными завязками. Самое удивительное — это всегда меня удивляет, когда я вижу Богемского или о нем думаю,— это то, что он не смуглый, не твердолицый, а, наоборот, скорее рыхловатой наружности, во всяком случае, он розовый, с кольцами желтоватых волос на лбу, с трудно замечаемыми глазами. Иногда на них даже блестят два кружочка пенсне! И подумать только — этот человек с неспортсменской наружностью — такой замечательный спортсмен! Уже помимо того, что он чемпион бега на сто метров, чемпион прыжков в высоту и прыжков с шестом, он еще на футбольном поле совершает то, что сделалось легендой... И не только в Одессе — в Петербурге, в Швеции, в Норвегии! Во-первых, бег, во-вторых, удар, в-третьих — умение водить. Гораздо позже я узнал, что это умение водить называется дриблинг. О, это было одним из самых захватывающих зрелищ

моего детства, кричавшего вместе со всеми в эту минуту, вскакивавшего, аплодирующего... Лучше всех водил Богемский! Не то что лучше всех, а это был выход поистине чемпиона!

И, странно, пока Петя наводит на него коробочку своего аппарата, он стоит с видом просто какого-нибудь репетитора... Нет! Нет, нет, приглядись, дурак! Что же, разве ты не видишь необыкновенного изящества его облика, его легкости, его — секунда! — и он сейчас побежит, и все поле побежит за ним, публика, флаги, облака, жизнь!

Такой игры я впоследствии не видел. Я не говорю о качестве, о результативности — я говорю о стиле. Это был, говоря парадоксально, не бегущий форвард, а стелющийся. В самом деле, если смотреть на поле, так сказать, как на картину, а не как на действие, то мы видим бегущих футболистов в виде фигурок в основном с прямыми торсами — именно так: при быстром движении ног, при некоей колесообразности этого движения торс футболиста остается выпрямленным. Богемский бежал — лежа. Может быть, этот стиль в свое время повторил единственно Григорий Федотов, столь поразивший своих первых зрителей.

Я собирал деньги на приобретение бутсов. Нужно было внести пять рублей — в этот миг я уже получил бы их. Затем следовало бы внести еще три рубля.

Магазин этот помещался на углу Садовой и Дерибасовской. Хозяин был маленький стройный еврей — столбик, который не мог не нравиться и тем, что допускал кредит, и тем, что он был хозяин бутсов.

Вот с пятью рублями я вхожу в магазин. Столбик вырастает за прилавком. Он помнит, что я уже приходил к нему, да, да, ну как же, помнит; да, да, даю в рассрочку; совершенно верно, если внести пять рублей сейчас, то получите бутсы.

— Вот, пожалуйста. Пять рублей.

Я протягиваю руку, которая держит пятерку. Пятерка царского времени — синяя, довольно широкая, от подержанности ставшая атласной кредитка. Как я мог собрать столько! Не успеваю я протянуть пятерку, как вспыхивает ослепительный белизной полукруг — о, из мира по ту сторону прилавка ко мне! Бутсы! Это хозяин достал бутсы!

Вы знаете, что такое бутсы?

Нет, вы не знаете, что такое бутсы!

Мы доехали только до третьей гимназии, дальше пошли пешком. Скамья возле аптеки, красные кресты в окнах... Можно также любоваться на огромные бутыли с крашенной розовым и желтым водой... Они символизируют микстуру... Возле крыльца железная, торчащая из земли штучка для того, чтобы посетитель не лез с грязными ногами на крыльцо и потом в аптеку, а сперва чтобы счистил грязь с

подошв. А крыльцо — каменное; стертые почти до тонкости блинов две или три каменные ступеньки.

Мимо аптеки! Дальше!

Поперек хода — сквер. Мы не смотрим на него, он сильно вбок от нас; видят его наши локти. Это Лидерсовский бульвар. Так ли это? Память, ты еще существуешь? Лидерсовский бульвар.

Я устал! Боже мой, смилуйся надо мной! Мы идем пять или шесть подростков — идем на футбол.

Я не научился плавать, ездить на коньках. Однако я был хорошим футболистом, хорошим легкоатлетом: в частности, в прыжках и в беге на сто метров. Прыгал также с шестом, что страшно, фантастично — в ином мире физики.

Почему удача в одном виде спорта и неудача в другом? Все-таки трусость: плавать надо над глубиной, которая может поглотить, ездить на коньках — можно упасть и разбить голову, можно сломать голову.

А футбол? Ведь такой же опасный бой!

Все это неважно; важно, что спорт пахнул травой. Будь благословен, горький запах! Будь благословен, сладкий цвет! Будьте благословенны, стебли, желтые венчики, будь благословен мир!

Площадка, пожалуй, уже начинала свежо зеленеть. Да, да, уже, безусловно, появлялась новая трава!

Бутсы удивительно белели на этой зелени. Их можно было видеть, главным образом, быстро перемещающимися: по середине поля, по краям, в углах. Белые, быстро перемещающиеся башмаки.

Площадка уже зеленела в эти дни весны.

У нас это были уже дни весны! Они пахли горьким запахом именно травы. О, подождите! Подождите! Сейчас я услышу этот запах, сейчас услышу!

Во время Олимпийских игр Одесского учебного округа состоялся, между другими состязаниями, также и финальный матч на первенство футбольных гимназических команд, в котором принял участие и я, как один из одиннадцати вышедших в финал одесской Ришельевской гимназии.

Я играл крайнего правого. Я загнал гол — один из шести, вбитых нами Одесской 4-й гимназии, также вышедшей в финал.

После матча меня качали выбежавшие на поле гимназисты разных гимназий. Как видно, моя игра понравилась зрителям. Я был в белом — белые трусы, белая майка. Также и бутсы были белые при черных с зеленым бубликом вокруг икры чулках.

Однако инспектор учебного округа Марданов, царской красоты армянин из воска и черной пакли, обратил внимание на то, что этот маленький футболист, то есть я, несколько бледен. Не вредно ли для его здоровья играть ему в футбол?

Через несколько дней в грелке на футбольной площадке меня выслушивал врач. Он сказал, что у меня невроз сердца и мне играть в футбол нельзя. Я сразу как бы почувствовал себя тяжело больным. Почувствовал, как бьется сердце, как ни с того ни с сего хочется сесть, посидеть.

Этот Марданов сыграл в моей жизни роковую роль, так как из-за него я почувствовал впервые, что есть невозможность, запрет.

Трудно себе представить, что все это было со мной. Как много было впереди — даже та сцена, когда... Мало ли какая сцена была впереди!

Мы возвращались уже среди сумерек. Цветы уже все казались белыми — и они были очень неподвижными, эти маленькие белые кресты, кресты сумерек.

Наши ноги в футбольных бутсах ступали по ним. Мы просто не видели их. Это теперь, вдруг оглянувшись, я увидел целый плащ цветов — белый упавший в траву рыцарский плащ.

Со спортивной площадки мы иногда возвращались не по Французскому бульвару, а через Ботанический сад. Это значило, что путь наш будет короче, но значило также, что путь будет полон опасностей. Ботанический сад, или, как назывался он среди мальчиков,— Ботаника, ничего общего с наукой ботаники не имел. Может быть, было когда-либо время, когда там росли и расцветали какие-либо цветы или деревья, посаженные во имя науки и знания, но этого времени никто из нас, гимназистов, разумеется, не помнил. Также не помнили об этом времени и взрослые. Лес? Нет, для леса это было слишком жидко, да и торчали в середине этого леса деревянные остатки балагана. Сад? Нет, для сада это было слишком голо, слишком песочно, пыльно. Пустырь с дико разросшимися деревьями? Пожалуй, так. Во всяком случае, это была глушь, и проходить через нее было страшно. Нам, гимназистам, страшно в особенности: там на гимназистов охотились. Кто? Мальчики, жители ближайших улиц или просто прятавшиеся там, уже отверженные, мальчики.

Одна из особенностей молодости — это, конечно, убежденность в том, что ты бессмертен — и не в каком-нибудь нереальном, отвлеченном смысле, а буквально: «никогда не умрешь!» И это несмотря на свойственную молодости меланхолию, несмотря на мысли о самоубийстве...

Безусловно, я никогда не умру, думал я в молодости. Пока я стану взрослым, пока пройдут годы, что-нибудь изобретут, что не даст людям умирать. Это «пока пройдут годы» представлялось какой-то золотистой городской далью, каким-то городом будущего с обложки фантастического романа, и там, в этой дали, люди уже давно бессмертны! Интересно, что бессмертие представлялось именно

как результат какого-то открытия, изобретения. Какие-то большие машины, молнии тока шириной в дерево...

Странно, никто из писателей не отмечает этой уверенности молодых в бессмертии.

В Одессе в те времена февраль, особенно конец его — о, это уже была весна! Во всяком случае, продавали фиалки; во всяком случае, спускаясь по маленьким скалам какого-либо Большефонтанского берега, вы вдруг из-за скалы могли уже увидеть не серый хаос зимнего моря, а само море — синее и свежее, как глаз!

Фиалки продавались букетиками — пять, шесть цветков, которые повисали вокруг вашей руки на тонких стеблях. Цвет фиалок был густо лилов, бархат времен пажей... Фиалка казалась теплой, пальцы ваши, побывавшие, прежде чем взять букет, в воде,— были холодными... Так в молодости начиналась весна. ...И вскоре вышел в свою неповторимую прогулку Эдуард Багрицкий.

Сестра, которая хотела показать себя в его глазах живой, умной, интересной (она и была такой), играя мыслями, словами, глазами, выразила ему недоверие в том смысле, что, по всей вероятности, он не бывал в каких-то особенных дальних и дивных странах — а просто обманывает, чтобы показаться более интересным... Он хохотал, что получалось у него обаятельно, поскольку он хохотал именно как победитель — как добрый, красивый и действительно бывалый мужчина — и не только подтверждал правду своих слов, а мало того, еще и обещал побывать в одной из дальних и дивных стран в самом недалеком будущем.

И вот через несколько дней он исчез. И вдруг приходит открытка с крытым желатином изображением порта в пальмовых листьях и пароходных трубах.

Открытка адресована сестре — девочке! — и на открытке на той, так сказать, стороне, где пишутся послания, послание ей же, сестре:

— Ричард был в Бомбее!

Что ж, открытка была действительно из Бомбея!

Я стою в толпе на булыжной мостовой и вместе со всеми слушаю несущееся из окна пение.

Поет артист, которого мы не видим. Где он? Никто в толпе этого не знает. Перед нами только труба, направленная на нас своим раскрашенным в золото и красное раструбом. Да, это труба, но я сказал бы, что передо мной нечто вроде огромного колокольчика; совершенно верно, труба эта похожа на сорванный в траве лилово-красный, чудовищно увеличенный и наклонно поставленный колокольчик.

Из него и раздается пение.

— Карузо! — сообщает появившийся в толпе чиновник со сложенным зонтиком, который он держит под мышкой — черный, чем-то напоминающий птичью ногу зонт.— Ария Канио. Это Карузо.

Где же он, если это он, Карузо?

Труба не неподвижна. Нет, она не перестает пребывать в движении — но трудно понять это движение, трудно определить, трудно назвать. Она ходит, оставаясь на месте,— то подается вперед, то опять уходит.

Которые повыше видят нечто, что называют диском.

— Вот, вот,— говорит чиновник,— записывают на диск. Голос артиста записывают на диск, и вот мы слышим.

В окне появляются хозяева граммофона — несколько взрослых и несколько детей. Они узнают в толпе чиновника, машут ему рукой, зовут его к себе. Он отвечает, что да, да, сейчас придет, и семенит к крыльцу. Переулок короткий, булыжный, между булыжником трава, чиновник поднимается на железное крыльцо тоже среди травы и рядом с водопроводной трубой, серый цинк которой покрыт белыми цинковыми звездами...

Классическую музыку я впервые узнал уже в зрелые годы. Понял ее, полюбил еще позже. Что же было музыкой до того? Знал и любил все же Шопена. В основном музыкой были известные концертные вальсы, опереточная музыка, марши танго, танцы типа краковяк и все остальное, что играли в садах и на граммофонных пластинках.

В садах играли военные духовые оркестры. В детстве было даже не столько интересно слушать, сколько смотреть, как играют — как движется оркестр, как дирижирует молодой щуплый капельмейстер. Они играли в так называемых ротондах — в деревянных полукруглых помещениях, с одной стороны открытых — как бы в половине барабана. Это называлось также и раковиной. Там на досках пола, под ножками пюпитров, валялись опавшие листья, гравий, всякий сор, занесенный туда с дорожек сада мальчишками,— и это было образом запустения, конца чего-то... чего? Пока, в те годы, всего лишь каникулы.

Я приехал давать свой очередной урок маленькому ученику на дачу, где он жил с родителями.

Они жили на Куяльницком лимане.

Жаркий день, желтый жаркий день в дынных корках, в чаде жарящейся рыбы, криках кухарок и разносчиков, взвизгиваний ножей... Подумать только, и среди этого полного равнодушия к чему бы то ни было умственному, среди этой атмосферы чувственного благополучия, начинавшегося от обсуждения того, как хорошо варится кукуруза, и кончавшегося лежанием кверху животом дорогой кошки,— мне, маленькому гимназисту, приходилось давать урок по геометрии и по придаточным предложениям, причем такому же захваченному чувственностью мальчику...

Как было приятно в эпоху первой любви, выйдя на поляну перед дачей, увидеть вдруг девочку в другом платье — не в том платье, в котором привык ее видеть, а в другом, новом, как видно, только что сшитом. Пожалуй, оно было синее, отделанное тесьмой. Это появление возлюбленной в новом платье усиливало любовь, чуть не до

сердцебиения, чуть не до стона. Странно было даже приближаться к ней, и она, тоже восхищенная собой, оставалась стоять недалеко от черного дерева, с отчетливо видимыми издали локонами. Между нами было пространство осенней, в кочках земли, на которой ни с того ни с сего вдруг начинали кувыркаться листья.

Иногда думаешь, как коротка жизнь. Это неправда, я живу долго. Как, например, далек тот день, когда я, выйдя на бульвар, шел вдоль ребра его, нависшего над портом, вглядываясь в серое море, в панораму порта и ища следов того, что произошло этой ночью. Этой ночью турецкий броненосец ворвался в порт и, открыв стрельбу, потопил нашу канонерскую лодку, а также повредил французское коммерческое судно. 1915 год? Вот как давно это было, первая империалистическая война! Для нынешних моих современников, и не слишком уж молодых — да просто для зрелых людей нашей эпохи! — то, что я вспоминаю сейчас, как свидетель, представляется, по всей вероятности, таким же отдаленным прошлым, как мне представлялись, скажем, рассказы моих старших современников о взятии Шипки!

Снаряд, попавший во французское судно, пробил каюту горничной. Говорили, что вместе с этой горничной был убит и повар. Нам, гимназистам, это известие дало повод для игривых разговоров. В те же дни, в такое же серое утро, я видел, как хоронили эту горничную и этого повара. Короткая, но густая процессия поднималась по Польскому спуску. Помню матросов с помпонами на беретках и великолепного капитана в синей двухэтажной пелерине и каскетке с блестящим козырьком. Шел также священник в кружевном одеянии.

Я смотрел с моста, и два узких гроба казались мне лежащими на процессии — два узких серебряных гроба, похожих на двух жуков, сложивших длинные крылья.

Я остановился смотреть на шествие по пути в гимназию. Надо было торопиться, но я все смотрел вслед синей спине капитана, вслед двум гробам — неизвестной мне горничной-француженки и повара. Утро было серое, впереди был гимназический, полный тревоги день — впереди была жизнь, полная дней жизнь...

Ученик Шнайдерман сказал, что тот, кто подписывается на военный заем, способствует кровопролитию. Худой, рыжий, смешной, любивший мои стихи Шнайдерман...

Коля Лукин донес на Шнайдермана. Нет, сам он не считал это доносом. Это был его долг — Коля Лукин был из монархической семьи, сам поклонник царя. Шнайдермана, помню, исключили чуть ли не на другой день. А до конца гимназии оставалось только полгода. Так восемь лет грозили Шнайдерману не быть засчитанными ни во что. Сейчас, когда я вызываю из прошлого этот образ, юноша, слышу, опять говорит мне, как говорил тогда:

— Помни, стихи должны быть с содержанием. Ты хорошо пишешь, но настоящие стихи — это о борьбе.

Да, да, он был революционером, этот юноша. Мы этого не знали. Знали те, кто его исключил перед самым концом гимназии, когда были отданы на учение уже восемь лет.

Тут и пропадает след Шнайдермана. Как он вышел в двери класса в последний раз, не помню. Прощался ли с нами, тоже не помню. Потом отыскивается его след. Он комиссар, коммунист на Дону! Так вот почему писать стихи с содержанием! Так вот почему он был против кровопролития!

А дальше его след кровав. Его расстрелял один из атаманов, как еврея и коммуниста.

Что до директора, исключившего Шнайдермана, то после революции был слух, он стал пастухом. Латинист, он удалился под сень акаций; говорят именно так: читал, пася стадо, римских классиков. Его тоже расстреляли. Все же нашли, и он понес кару. Что с Лукиным? Этого я не знаю. Кажется, он досрочно поступил, как многие в тот год, в военное училище. Вероятно, сложил голову за царя — за тот портрет, который висел в кабинете директора: маленький ангелок в мерлушковой папахе стоит на мураве и рядом с ним барашек, тоже мерлушковый, белый-белый.

Я многое видел в своей жизни. Например, однажды в степи под Одессой мне удалось застигнуть одно из редких для нашего земного наблюдения зрелищ — так называемый зеленый луч. Как известно, за этим зрелищем гонялись по земному шару мечтатели — по крайней мере воспетые в романах. Оно редко по той причине, что для его возникновения необходимо соединение многих условий: данного состояния атмосферы, данного качества погоды, данного угла наблюдения...

Я был на так называемых «кондициях» в довольно большом имении немца-колониста. Кондиции — это то же, что репетиторство. Но в летний сезон, когда репетитор еще и живет там, где учит, это — «кондиции».

Я шел из имения Луца в Доманевку. Дорога рассекала степь от моих стоп, так сказать, до горизонта. Вблизи дороги стояли полевые цветы самых разнообразных размеров, формы, окраски — колокольчики голубые, розовые, желтые, какие-то вытянутые кверху лиловые колбаски, целые горсти синих крохотных венчиков, ромашки с желтыми своими подушками, на которых, казалось, спят невидимые больные какого-то иного мира. Все это жгуче благоухало почти ничем — воздухом? Далью? Небом?

В воздухе стояли и даже как бы летали задним ходом стрекозы. Трепет синих стеклянных крыльев, собственно, и был воздухом степи. Иногда большая, живая, невероятная стрекоза оказывалась на мне. Ее хвост трещал на моем плече, скрипел — скрюченный, похожий на растительный стручок, хвост. Я успевал увидеть глаза, вызывавшие неодолимое желание разодрать их, глаза-капли, возможно,

видевшие и меня. Стрекоза улетала и летала рядом со мной — казалось, стоя в воздухе, как бы даже упираясь лапками, чтобы не лететь.

Я шел в Доманевку купить карамели.

Так как это произошло по пути на бульвар, расположенный над морем, то всех нас, участвовавших во встрече, охватывало пустое, чистое голубое пространство. Сперва шли по направлению к морю только мы двое — я и Катаев; поскольку мы именно шли, куда-то направлялись, то не очень уж смотрели на пространство вокруг... И вдруг подошел третий. Тут и обнаружилось, сколько вокруг нас троих голубизны и пустоты.

— Познакомься, Юра,— сказал Катаев и затем добавил, характеризуя меня тому, с кем знакомил: — Это тот поэт, о котором я вам говорил.

Имени того, кому он представил, он назвать не осмелился; я и так должен был постигнуть, кто это.

Тот протянул мне руку. Я подумал, что это старик — злой старик; рука, подумал я, жесткая, злая. На нем была шапочка, каких я никогда не видел,— из серого коленкора. Да, он был также и с тростью! Он стоял спиной к морю, к свету и был поэтому хоть и среди голубизны, но силуэтом,— и поскольку силуэт, то бородка, видимая мне в профиль, была такая же, как и ручка трости: твердая, загнутая, злая.

Этот старик еще прожил много лет — целую жизнь! Написал много прекрасных страниц, получил из рук короля награду за то, что писал. И недавно этот старик умер — Иван Бунин.

Шенгели говорил мне как-то, что он хотел бы жить на маяке. Ну что ж, это не плохая фантазия! А что там, на маяке? Какой формы там жилище? Что это — комната, несколько комнат, маленькая казарма? Ничего нельзя себе представить! Я не был на маяке, я только видел, как он горит. Мало сказать видел — вся молодость прошла под вращение этого гигантского то рубина, то изумруда. Он зажигался вдали — сравнительно не так уж далеко: километрах в двух, что при чистоте морского простора — ничто! — зажигался в темноте морской южной ночи, как бы вдруг появляясь из-за угла, как бы вдруг заглядывая именно на вас. Боже мой, сколько красок можно подыскать здесь, описывая такое чудо, как маяк — такую древнюю штуку, такого давнего гостя поэзии, истории, философии...

Теперь маяки, кажется, светятся неоном.

Шенгели вообще удаются всякие, так сказать, морские, береговые размышления — это потому, что их питают у него воспоминания юности. Он жил в Керчи. Он говорил мне, что по происхождению он цыган. Вряд ли. Очень талантливый человек.

Вдали оранжево-топазовая,
Величественная река
Колышется, в зеркале показывая,
Расплавленные облака.

Это не слишком хороший отрывок (дань Северянину, которому нельзя подражать) — да я еще и наврал что-то. У него прелестные именно морские стихотворения — о каком-то капитанском домике в Керчи и т. п. Чистые, точно поставленные слова, великолепные эпитеты и, главное,— поэзия! Есть у него неприятные странности, за которые держится. Например, поклонение Брюсову. Впрочем, это его дело.

Я помню, Георгий Аркадьевич, как вы стояли в углу сцены, над рампой, в Одессе, в Сибиряковском театре, в черном сюртуке, с черными кудрями, страстный, но негромкий — как показалось мне, небольшой, о, чудесная фигурка, Георгий Аркадьевич! — да, да, странно, непохоже на других красивый, вот именно — черный, с медовым тяжелым блеском глаз — и читали стихи. Помню только строчку:

И в глуши исповедален...

Нет, наверно, не так! Что это значит — в глуши исповедален?

Это было в Одессе, в ясный весенний вечер, когда мне было восемнадцать лет — когда выступал Северянин — маг, само стихотворение, сама строфа. Верно, рифмы прямо-таки появлялись на нем, как появляются на человеке жуки, или ветки, или блики!

Правда, я был тогда очень молод; правда, это было весной в Одессе... Эти два обстоятельства, разумеется, немало способствовали усилению прелести того, что разыгралось передо мной. Заря жизни, одесская весна — с сиренью, с тюльпанами — и вдруг на фоне этого вы попадаете на поэзо-концерт Игоря Северянина — поэта, которого вы уже давно любите, необыкновенного Северянина,— написавшего о редко встречающемся на берегу моря городском экипаже.

По всей вероятности, я еще сохранял тогда связь с Сибиряковыми, у которых несколько раньше был репетитором. Только этими сохранившимися связями я могу сейчас объяснить то, что я сидел в ложе на этом поэзо-концерте. Ложа Сибирякова. Ясный вечер, которого я не помню — но, безусловно, ясный вечер, потому что, во-первых, весна, а во-вторых, мне, когда я вспоминаю об этом концерте, все кажется, что он происходил днем...

Да, да, ясный вечер в мае, в Одессе...

Я шел навстречу потоку, так что несколько раз я отскакивал от бегущих на меня.

Был голубой одесский день с кое-каким золотом — деревьев? Куполов?

Поток движется на меня — по тротуару и по мостовой, и главное в потоке — автомобиль, в котором стоит во весь рост довольно высокая фигура, но облезлая фигура, перетянутая через туловище по диагонали красной лентой с огромными на ней белыми облупившимися, как стена кухни, буквами. Еще не вижу, что написано, еще не вижу, еще не вижу — и вот вижу! Министр-социалист!

Это прибытие в Одессу Керенского.

Люди бегут за ним, рядом, впереди. Он стоит, засунув руку за борт френча. Она в перчатке. Правда, правда, вспоминаю — в перчатке! Это потому, говорили, что от рукопожатий у него что-то случилось с рукой.

— Ура! Ура!

Он стоит со своей лентой и перчаткой неподвижно в автомобиле. Лицо у него немного собачье, облезлое, с нависшими по обеим сторонам губ колбасами щек.

Я записал в охотничьем журнале:
«Четырнадцатого июля — ничего».

А 14 июля пала Бастилия.

Это из сонета Максимилиана Волошина. Я познакомился с ним в Одессе. В Одессе были немцы (нет, память изменяет мне), французы, сменившие немцев, потерпевших поражение и занятых уже собственной революцией. Еще некоторое время — и в Одессу приедет Григорьев. Максимилиан Волошин бежит в Крым.

Он отнесся к нам, молодым поэтам, снисходительно. (Некоторые из нас стоили признания мастера.) Он выступил в литературном кружке со стихами, которые в общих чертах я помню до сих пор.

В Угличе, сжимая горсть орешков
Детской окровавленной рукой,
Ты лежал, и мать, в сенях замешкав,
Голосила в страхе над тобой.

Кажется, так. О Димитрии.

Волошин был упитанного сложения, с большой рыжеволосой головой — не то напоминавшей чалму, не то нечто для сидения, словом вызывавшей какие-то турецкие ассоциации. Однако он был в пенсне. Читал он стихи превосходно, это была столичная штучка. Из Одессы уходят оккупанты... Это, верно, даже не французы, это греки с мулами, которых они кормят горохом. Это маленькие черномазые солдаты в зелено-желтом, травянистом хаки, в пилотках, которые, кстати, в нашей армии еще не носили. Осень? Весна? Лето? Зима? Не знаю. Все в тумане прошлого. Однако фигура поэта-символиста возвышается в этом тумане довольно рельефно. С рыжей кудлатой бородой и кудлатой же головой. Кому он сочувствовал? Чего он хотел для родины? Тогда он не отвечал на эти вопросы. Он ответил позже, когда, умирая в Советском Крыму, завещал поставить вместо надгробия скамью на двоих — небольшую скамью, на которой могли бы объясняться в любви юноша и девушка.

По Екатерининской улице навстречу мне двигалось странное шествие. Первым я увидел осла, его большую голову. Он был в упряжке и вез некую фуру, на козлах которой сидел зуав и рядом с ним грек в травянистого цвета военной своей одежде. Фура была как бы сплетенной из прутьев, на которые было натянуто что-то разодравшееся в нескольких местах и потому пропускавшее внутрь фуры солнечный свет.

Вокруг фуры маячило еще несколько солдат в разных пришедших в негодность одеяниях, но я не приглядывался к ним. Трудно было остановить внимание на чем-либо после того, как я увидел, что свет, проникающий сквозь рубища фуры, падает на покойника. В фуре стоял гроб — ногами по движению, то есть в спину вознице,— и в гробу лежал мертвый солдат, с лицом как бы даже зажженным упавшим на него лучом. Солдат неизвестно чьей короны... Я не знаю, куда направлялось шествие, и не знаю, что соединило, по крайней мере, полдюжины национальностей вокруг лежавшего в гробу...

В город вступили части под командованием атамана Григорьева. Хоть он и назывался атаманом, поскольку раньше предводительствовал просто некоей бандой, он теперь был военачальником красных, организованным, подчинившимся приказам из центра. Он говорил о себе, что он выбил стул из-под Пуанкаре, имея на то основание в том смысле, что уход французских войск из Одессы под натиском его отрядов можно было считать концом интервенции, признание которого привело к смене во Франции министерства.

Самого Григорьева я не видел. Я видел его отряды, отчего у меня осталось впечатление огромных красных не то бантов, не то лоскутов, прикрепленных к серым папахам, желтых гробов, в которых несли по Дерибасовской убитых солдат этих отрядов, грузовиков, в которых, сверкая геликонами, стояли и играли военные оркестры и еще чего-то, что я не совсем понимал,— может быть, света милосердия, которыми иногда сияли лица этих солдат.

Семья наша материально разрушилась, отец не служил, потому что той службы, которую он исполнял прежде, не было, не играл в карты, потому что клубы уже давно существовали лихорадочно, то закрываясь, то открываясь...

Я не знал, что я переживаю инкубационный период болезни, и не понимал, что же происходит со мной. Почему меня вдруг начинает так знобить? Почему вдруг, охваченный внезапным изнеможением, я ищу, где бы сесть — немедленно сесть, иначе я упаду? Я прихожу домой, и все, кажется, хорошо — пьют чай, едят колбасу, хлеб с маслом, самовар кипит, на чайнике знакомая гарусная покрышка... Почему же я так раздирающе грущу? Боже мой, и не знаю, о чем грущу! Беру кусок колбасы, кладу на хлеб.

— Спасибо, мама!

Ставлю перед собой чай в стакане на блюдце и вдруг чувствую, что вижу все через розовый свет, что он клубится передо мной, что уже осталось только одно, что я еще буду в состоянии сделать, только одно оставшееся мне осуществление — лечь!

И я лежу, улыбаясь от ощущения благополучия, которого нет. Подумать только, я даже улыбаюсь врачу, который говорит, что если

бы я походил еще день-другой, то умер бы от прободения кишок. Я улыбаюсь врачу, который говорит, что у меня тиф.

— Облако,— говорит врач.— Тиф это облако. Тифос — по-гречески облако. Вы в облаке.

Почему он со мной так говорил? Это был очень модный в Одессе, очень хороший, знаменитый, дорогой врач. Надо мной сидела, как мне казалось, туша, лезшая ко мне в тело — в печень, в живот — руками. Круглолицая туша, которую я, поэт, легко сравниваю с Азефом. Туша с жирным, блестящим и от здоровья и чревоугодничества, как бы не бритым, не успевшим побриться лицом.

— Тифос. Облако. Вы в облаке.

Он говорил со мной так потому, что ненавидел меня за то, что я поэт.

Уже почти не о чем писать. Я, конечно, мог бы писать романы с действующими лицами, как писал Лев Толстой или Гончаров, который, кстати говоря, прорывался уже в неписание, но мне делать это было бы уныло.

Время тлеть.

Я видел, как умерла моя сестра — самый момент смерти. Лицо откинулось на подушке и мгновенно стало темнее, как если бы кто-то положил на него ладонь. Она ныла перед смертью, в ночь, и нам казалось, что она поет. Еще раньше она спросила нас, принесли ли гроб. Еще раньше был консилиум, на котором вполголоса разговаривали доктора и когда можно было понять, что речь идет о прободении кишок.

Когда она умерла — через секунду — выбежала мама и, топая ногой о пол, кричала:

— Умирает! Умирает!

Как будто кто-то был виноват в этом, как будто можно было это остановить...

Потом она лежала в желтом, блестящем, как может блестеть паркет, гробу, протягиваясь ногами ко мне, головой от окна, со сложенными под грудью руками — маленьким изделием из воска, пронизанного солнцем, даже как бы курящимся от солнечного луча, застрявшего в этом маленьком кораблике ее двух сплетенных уже не ею, а вмещавшимися людьми рук.

Ксендз полупел по-латыни, напирая на слово «мизерере», которое я, латинист, услышал впервые при таких обстоятельствах.

Потом гроб несли в дверь, на площадку, по лестнице и так далее. На кладбище я не был, так как еще и сам не выходил из дому после тифа, от которого умерла и она. Ко мне, как мне помнится, пришел Эдуард Багрицкий, и был полуморозный день с розовыми окнами... И мы читали стихи.

Это называлось колево. На небольшой тарелке было наложено нечто вроде коричневой каши, посыпанной сахарной пудрой. Это было принадлежностью похорон.

— Колево,— слышалось то с одной, то с другой стороны. Очень было важно, имеется ли колево, где оно, когда его дадут есть. Тарелка появлялась где-то в гуще толпы такого же цвета, как церковь над толпой, как земля под ней.

Опытный глаз видел среди коричневых кусочков цукаты. Словом, это было то, что в центральной полосе называется кутья.

Я как-то попробовал один раз этого колева. С тех пор помню сладкий, но не приторный, благородный его вкус. Ложечка задержалась в воздухе, я раскрыл губы, ложечка клюнула, и сладкий песок ссыпался мне на язык. Колево давалось всем. Очевидно, рассчитывала на его остатки какая-нибудь старушка, особенно поработавшая для похорон.

Я не допускал мысли о собственной смерти. Казалось невозможным, что защита семьи — мамы, бабушки, самого вечера вокруг стола — окажется бессильной перед этим вторжением. Первая смерть, которую я увидел вблизи, была смерть бандита, упавшего под пулями на улице. Это была медленная, сильная, шумная смерть, собственно — умирание. Этот человек лежал, раскинув руки, на спине, как сечевик у Гоголя, невдалеке от ювелирного магазина, который он пытался ограбить. Он был в синем. Грудь его вздымалась горой. Я так и не увидел конца. Ярко светило солнце, шла, толпилась толпа. Кончалась его единственная, один раз данная ему жизнь, на миллионы, на сотни миллионов, на миллионы миллионов лет, жизнь. Я помню эту вздымающуюся гору груди, этот целый мир, эту целую самостоятельную гигантскую вселенную — может быть, больше нашей, больше всех миллионов — уже потому, может быть, больше, что она отдельная, самостоятельная.

Кто же я? Кто? Этот вопрос надо разрешить, ответить на него. Какое мое миросозерцание? В юности я был дикарь. Когда после смерти моей сестры понадобилось в определенный, еще недалекий от дня смерти срок отслужить в костеле панихиду, я отправился в костел к ксендзу, чтобы вести с ним соответствующие переговоры. Ксендз, показалось мне, без должной симпатии относился к неимущим. Я шумно, пожалуй, даже ударяя кулаком по столу, выразил свое возмущение. Ксендз, сперва пришедший в ужас, отвечал мне затем довольно-таки хулигански. Так мы разошлись — причем, уходя, я пригрозил ксендзу не больше не меньше как расстрелом.

Потом все же звенели колокольчики погребальной мессы и ксендз печально, надтреснуто произносил возгласы скорби и смирения...

Впрочем, и я тогда был верующим. Когда бабушка, ожидалось, должна была умереть от воспаления легких, я падал на колени и просил бога не допустить этого. Была весна, ранняя весна, близилась пасха, уже поздно темнело, и еще при голубоватом дне зажигались не слишком яркие огни той эпохи.

Александр Михайлович Дерибас был уважаемым человеком в Одессе — знаток города, его истории, старожил и, кроме того, еще и директор Публичной библиотеки. Это был высокий старик, с белой

длинной бородой и губами, складывавшимися при разговоре так, что видно было его происхождение: француз.

Однажды мы, молодые поэты, пригласили его выступить на вечере, который мы посвятили Бодлеру. Эдуард Багрицкий прочел со всей свойственной ему огненностью «Альбатроса», и потом кто-то провозгласил, что сейчас выступит Александр Михайлович Дерибас, который прочтет нам одно из стихотворений по-французски.

Мы бурно приветствовали вышедшего на кафедру старца. Он сложил губы по-французски и стал читать длинные строки александрийского стиха.

Иногда порт заполнялся серыми военными судами. Большой броненосец, и вокруг него суета мелкоты, вплоть до катеров... Тогда, в эти дни пребывания эскадры в Одессе, по городу, покоряя девушек, разгуливали военные матросы (обыкновенных матросов в Одессе и без того было много — а это были именно военные матросы, в погончиках на белых плечах голландок).

В ту эпоху и в армии и во флоте носили усы. Матросы особенно щеголяли этим украшением — своими маленькими, лакированно-блестящими, в большинстве случаев черными (поскольку флот набирался на Украине) усиками. Лица у них были смугло-румяные, груди красиво выпуклые, усики шелковистые... Иногда напрашивается обобщение, что именно матросы на первых порах были физической силой революции.

Я знал интеллигентного матроса, который, говоря со мной о коммунизме, привлек в качестве метафоры синюю птицу счастья из Метерлинка,— Анатолия Железнякова, того самого матроса, которому был поручен разгон (так сказать, техническое его исполнение) Учредительного собрания. Он, как известно, подошел вдруг к председательствовавшему Чернову и сказал:

— Пора вам разойтись. Караул хочет спать.

Караул был из матросов.

Он был очень красивый человек, Железняков, светлой масти, утонченный, я бы сказал — в полете. Он был убит на Дону в битве с Деникиным — убит в то время, когда, высунувшись из бойницы бронепоезда, стрелял из двух револьверов одновременно. Так он и повис на раме этой амбразуры, головой вниз и вытянув руки по борту бронепоезда, руки с выпадающими из них револьверами. Это мне рассказывал очевидец.

Сперва я только смотрел на эти несколько окон, за которыми виднелся хлеб на столах,— смотрел издали, с другой стороны улицы. Потом я решил пойти туда, в студенческую столовую. Три-четыре ступеньки, передняя, светлая от падающего из самой столовой света, полотенце извилисто от частого употребления, висящее на гвозде.

Больше всего мне хотелось поесть этого нарезанного хлеба, торчащего из мисок. Я сел перед одной из мисок. В листке меню были карандашом написаны названия блюд и цены. Я решил, что съем перловый суп и котлеты.

Он появился на пороге в бушлате, полы которого качнулись и вновь качнулись... И вновь качнулись, пока он ставил винтовку прикладом у ног — не зная, как ее поставить, где,— не зная, как ставят винтовку в таких случаях: в случаях, когда входят в дом за излишками.

— Излишки есть? — спросил он строго, но он был украинец, и тот воздух, который вылетает из уст человека вместе со звуками, был мирным.

Тут же он понял, что излишков нет. Ему нужны были не те излишки. Он думал, что перед ним откроется богатая квартира,— нет, не то: перед ним было бедное нагромождение мебели.

На батарею приезжал ко мне Стадниченко. Ах, какой он был красивый парнишка! Тогда сильно одобрялись темные сросшиеся брови, он обладал именно такими. С темными сросшимися бровями, с широкой, не слишком выпуклой, но сильной грудью, с румяными губами, с горящим взглядом юноши...

...Кроме того, я просто любил его, как товарища. В гимназические годы мы долгое время сидели с ним на одной парте. Сейчас, когда я служу на батарее, мы не слишком еще далеко отошли от тех лет. То и дело мы рассказываем друг другу о встречах с преподавателями и товарищами по классу.

— Видел Фудю! — хохочет Стадниченко.— Он в сандальях!

— В сандальях! — хохочу я.— Фудя в сандальях!

Фудя — это инспектор нашей гимназии, придурковатый чиновник, кривогубой речи которого умела подражать вся гимназия.

Я служу на батарее среди матросов. Великолепные матросы, революционно настроенные, разговаривающие о Ленине,— самые настоящие матросы революции, которых описывал в своем «Хождении» Алексей Толстой... Я до сих пор помню имена некоторых, их лица, их голоса. Был матрос по фамилии Школьник, украинец, с тонкими, не тугими усами еще царской армии, в бушлате, в бескозырке с георгиевскими лентами, красавец, самолюбивый, как все матросы,— иногда до слез самолюбивый, и вместе с тем буйный. Помню Недвецкого, которого звали Юрий — Юрий Недвецкий,— кажется мне, поляк, во всяком случае по-польски элегантный.

Я обедал у Даши, прислуги Стоговых. За восемь, как мне помнится, рублей она давала мне первое и второе — две тарелки вкусной, жирной, с чесноком и красным перцем еды.

Обедал я не у Даши на кухне, а рядом у Мелисарато, моих друзей, у них в столовой, когда они уже пообедали. Я не знаю, откуда и почему пошло это — почему вдруг, имея дом, родителей, я отъединился таким странным образом... Я мог ведь отдавать эти восемь рублей домой! И как, с другой стороны, мирились с тем Мелисарато, что я ем у них в столовой не их обед? Не с ними? Все в тумане.

Собственно, не в тумане. Наоборот, очень ярко существуют для

меня эти три часа дня, когода я поднимаюсь по железной, довольно изящной лестнице и с некоторой ступеньки, поднявшись лбом до уровня окна, кричу. Нет, просто произношу:

— Даша!

— Иди,— отвечает женский голос.

Потом вдвигается в комнату тарелка с зеленым содержимым и еще тарелка с двумя кусками душистого хлеба. Я уже у Мелисарато. Они пообедали только недавно, еще не убрали крошек. Еще, возможно, стоит нечто беленькое с горчицей — беленькое, испачканное в горчицу, как в свежий кал, что не имеет слишком аппетитного вида. Мелисарато — греки, южный народ, неопрятный. С каким аппетитом я ем! Как это все вкусно. Это тоже все греческое, южное. Мощный, как тело быка, лежит зеленый перец, испеченный целиком, лежит в борще, выставив бок, как бык, похищающий Европу.

— Вкусно? — спрашивает, появляясь, Даша.

— Да, да, очень,— отвечаю я, уже и в те годы страдая от учтивости.

Дело было лунной ночью, это я помню. В ту эпоху, между прочим, как-то заметней было, что ночь именно лунная. Вернее, в нашу эпоху по сравнению с той, лунная ночь совершенно не отличается от обыкновенной. Вдруг неожиданно для себя обнаружишь где-то в красноватом от отблесков неона небе круг луны — не сияющий, плоский, белый и, уж во всяком случае, не колдовской. Вот, собственно, и весь эффект нынешней лунной ночи. Клянусь, уже много лет, как я не видел лунного света на земле с черной тенью, скажем, стены — много лет не видел силуэта кошки в лунном свете! Даже странно подумать, что эти эффекты были. Как будто мы даже были все вместе дети, которых мир не только пугал, но даже развлекал! А лунный свет на пороге сеней! А лунный свет в садике! А город — весь со своими крышами, трубами, деревьями, далекими балконами — в лунном свете! Куда это все исчезло! Мне скажут, поезжайте на дачу, поезжайте в маленький город. Нет, и там этого нет! И на дачах красные отблески, крик радио и маленькая, круглая, очень высокая, почти потерявшая для нас, людей, свою ценность луна. Теперь она только влияет на приливы и отливы. Просто хоть рассказывай молодым, как выглядел плющ на белой стене в лунном свете, как можно было увидеть лунный блеск на спине ползущего по дорожке майского жука, как в мире становилось при лунном свете тихо — та тишина, о которой Гоголь сказал, что так тихо, будто даже все спит с открытыми глазами.

Так вот лунной ночью шел я с молодым человеком по одесским улицам. Молодой человек был выше меня ростом, носатей, губастей, весь громче и с зажигавшимися в глазах звездами. Он читал наизусть стихи, призывая меня слушать даже толчками в грудь.

Как известно, Багрицкий начинал в Одессе. Я был моложе его — не столько годами, сколько, скажем, что его стихи уже много раз печатались, я напечатал одно-два... Однако он полюбил меня, и мы дружили. Теперь, кстати говоря, я с особенным чувством останавли-

ваюсь на том обстоятельстве, что он меня полюбил — ведь вот увидел все же что-то такое в начинающем.

— У, Юрка молодец! — говорил он другим.

А что за молодец? Ничего во мне не было от молодца. Я писал под Игоря Северянина, манерно, глупо-изысканно... Но смотрите, все же увидел что-то!

Я ходил с Багрицким по городу. Он, конечно, главенствовал во всех случаях — и когда оценивалось то или иное стихотворение, и когда решалось, куда пойти, и когда стоял вопрос о примирении с кем-либо или о ссоре.

Однажды мы остановились перед подошедшей к нам группой поэтов, почти всей группой одесских поэтов, которые тоже ходили по городу. Город был южный, и по нему приятно было ходить. Город был южный, мы были молодые, была весна, и мы ходили по городу. Итак, к Багрицкому (я не в счет; именно — к Багрицкому) подошла почти вся группа одесских поэтов. Представьте себе пустоту площади с виднеющимися кое-где желтыми язычками тюльпанов, и в этой пустоте — вернее, на ее фоне, имея позади себя на некотором расстоянии развевающееся пламя тюльпанов,— стоит человек пять молодых людей и девушек. Они стоят во весь рост, узкие, красивые — причем лица девушек до половины затенены шляпами, и в этой тени светятся глаза... Представьте себе это и еще подумайте о том, что эти молодые люди и девушки пишут великолепные стихи. Было чему запомниться на всю жизнь? Было чему!

Молодежь, присутствующая на этом вечере, может сказать мне, что я, как это всегда бывает с вспоминающими молодость, преувеличиваю... Почему это великолепные стихи? Это вам теперь так кажется, что великолепные... Нет, не кажется. Именно великолепные! Потому что не будь их стихи великолепными — то и не было бы этого вечера.

— Сегодня надо быть в университете,— говорит Багрицкий.

— Да, да, приглашали,— вспоминают все.— В университете, да.

Можно предположить, что имелся в виду какой-то литературный вечер в университете... Нет, студенты пригласили нас побывать у них днем, между прочим, просто в одной из аудиторий почитать им стихи, поговорить с ними.

И вот мы в университетской аудитории. Это аудитория из небольших, она набита битком, силуэты студентов видны даже наверху, у голубых окон. Распоряжается профессор, высокий, черный, кривой на один глаз, похожий на турка,— один из известных одесских профессоров-филологов. Я не помню подробностей, не помню, кто из нас имел успех, кто не имел успеха, однако мне запомнилось не то чтобы презрительное, но какое-то надменное выражение лица профессора. Он, привыкший говорить со студентами о Мильтоне, Гомере, Данте, Байроне, вынужден был в эти минуты видеть перед собой не более как одесских мальчиков — просто одесситов, которые, видите ли, тоже взялись за писание стихов. Иногда мне казалось, что он и самих стихов не слушает, а все переваривает это обстоятельство, что вот, мол, вокруг каких-то молодых одесситов вьются стихи...

Мне вовсе не хочется, чтобы в моем воспоминании этот профессор был отрицательным персонажем. Он и не заслужил этого. Это был самый обыкновенный профессор — необыкновенно было то, что перед ним стояла целая группа хороших поэтов: пойди оцени такое явление спокойно, пойди не восстань против него! И где-то еще скребли кошки этого буржуазного профессора по той причине, что молодые поэты, сиявшие перед ним, были на стороне революции — с матросней, с кавалеристами в буденовках, с чекистами. Как бы там ни было, он восставал против нас и — что, безусловно, бросалось в глаза — оберегал своих студентов от наших чар.

— Байрон,— то и дело слышалось из его уст,— Байрон, когда он...

И следовало что-нибудь о Байроне против нас.

— Непревзойденный Данте...

И что-нибудь против нас о Данте.

— Сонеты Петрарки...

— Сонеты Петрарки? — переспросил Багрицкий.— А хотите, я напишу сонет сразу, начисто?

Конечно, Багрицкий не собирался вступать в соревнование с Петраркой... Его привела в раздражение вышеуказанная надменность профессора, разозлила снобистская манера, с которой он произнес «Петрарки» с растягиванием звука «а».

— Да, да,— кивал поэт своей лохматой головой,— вот здесь, на доске, при всех напишу сонет без помарки.

— Ну, ну, хорошо,— сказал профессор,— вы как петушок, который...

— Какой там петушок! — взорвался Багрицкий.— Он меня похлопывает по плечу!

Это было невежливо по отношению к известному профессору, но в ту эпоху великой переоценки ценностей, кто там следил за тем, что вежливо, а что не вежливо.

— Без помарки! Сонет в пять минут без помарки!

— Ах, даже в пять минут? — засмеялся профессор.

— В пять минут! Сейчас я объясню им, что такое сонет.

Стоя лицом к студентам, Багрицкий — уже с мелком в руке — повел объяснение. Объясним и мы нашим студентам, что такое сонет. Сонет — это стихотворение, написанное с соблюдением особой, довольно трудной формы. Оно состоит из двух четверостиший и двух трехстиший — всего четырнадцать строк. Рифмующиеся звуки первого четверостишия должны повториться и во втором. В трехстишиях рифмы хоть и не повторяются, но расставляются в определенном порядке. Дело даже не в рифмах, дело в содержании стихотворения: оно должно быть таким, чтобы соответствовать такому распределению мыслей: в первом четверостишии тезис, во втором антитезис, в двух трехстишиях вывод, положение, которое хочет доказать поэт.

— Понятно? — спросил Багрицкий.

— Понятно! — ответил амфитеатр.

— Теперь дайте мне тему.

— Камень,— сказал кто-то.

— Хорошо, камень!

И атлет пошел на арену.

— Может быть, какая-нибудь халтура и получится,— начал профессор,— но...

Тут же он замолчал, так как на доске появилась первая строчка. В ней фигурировала праща. Профессор понял, что если поэт, которому дали тему для сонета «камень», начинает с пращи, то он понимает, что такое сонет, и если он владеет мыслью, то формой он тем более владеет. Аудитория и профессор впереди нее, с серьезностью сложивший на груди руки, и мы всей группой чуть в стороне от доски смотрели, как разгоралось это чудо интеллекта. Крошился мел, Багрицкий шел вдоль появляющихся на доске букв, заканчивал строку, поворачивал, пошел вдоль строки обратно, начинал следующую, шел вдоль нее, опять поворачивал... Аудитория в это время читала — слово, другое, третье и целиком всю строчку, которую получала, как подарок,— под аплодисменты, возгласы, под улыбку на мгновение оглянувшегося атлета.

— Тише! — восклицал профессор, поднимая руку.— Тише!

Сонет, написанный по всей форме, был закончен скорее, чем в пять минут. На доске за белыми осыпающимися буквами, маячил образ героя с пращой, образ битвы, образ надгробного камня.

Через несколько дней произошло то, что профессор усомнился, так сказать, в правильности проделанного Багрицким эксперимента.

— Это заранее было подготовлено,— сказал он,— кто-то выкрикнул из аудитории заранее придуманную вами тему, и вы...

— Ну, хорошо,— как сейчас слышу глухой голос Багрицкого,— давайте сейчас, вот здесь, я напишу на другую тему. Ну на какую? Тогда был камень, давайте теперь пусть будет вода.

— Э! Хитрый, хитрый! Как раз противоположное! Это вы тоже придумали раньше! Вода, камень! Хитрый! У вас написан сонет на тему «вода»!

Багрицкий махнул рукой, и мы пошли.

— Багрицкий! — раздался издали зов, когда мы прошли шагов пять — десять.

— Багрицкий!

Это звал профессор.

— Багрицкий!

И еще громче:

— Багрицкий, ну, хоть оглянитесь!

Багрицкий шел, не оглядываясь.

— Ну хоть оглянитесь, мой друг! Ну, хоть оглянитесь!

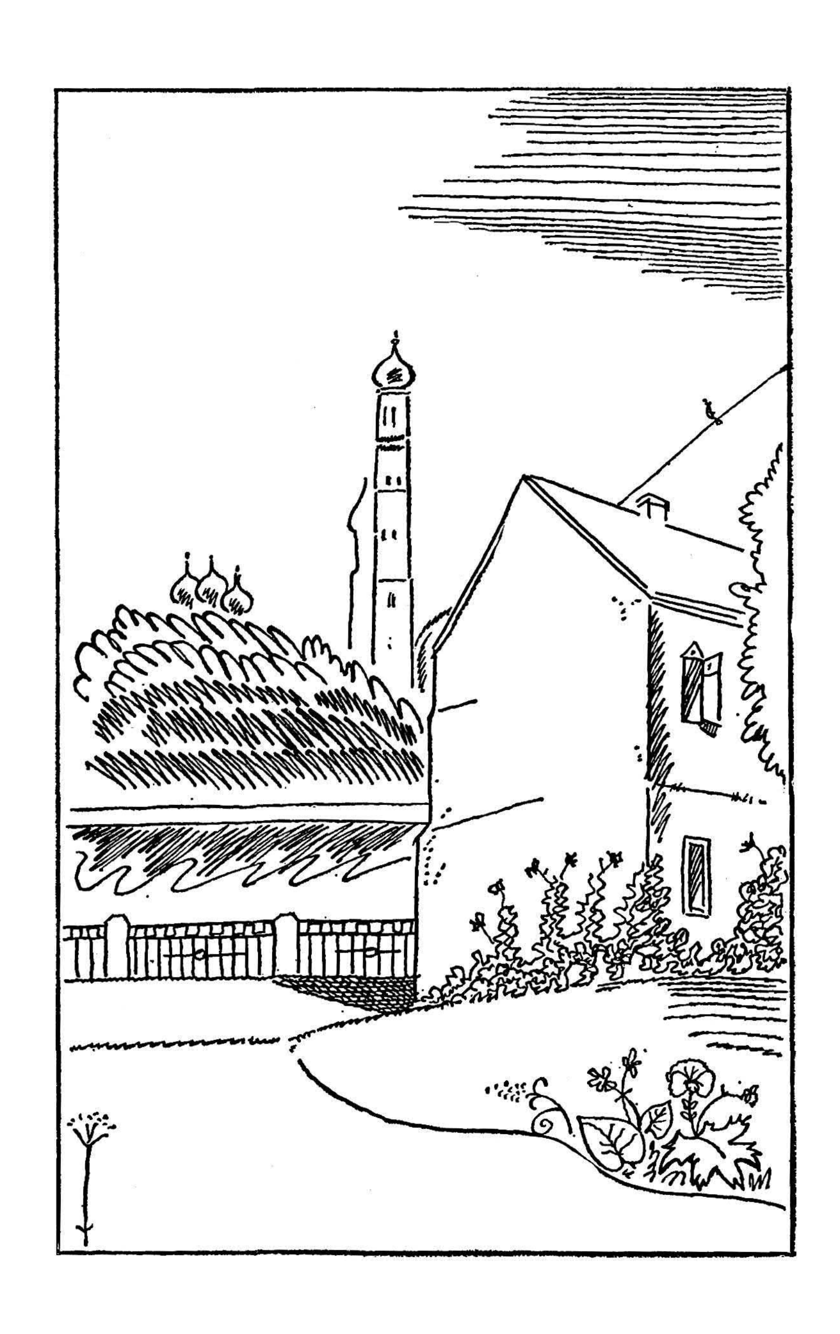
Багрицкий оглянулся и помахал профессору рукой.

— Простите меня! — кричал профессор.— Я верю вам! Верю! Хоть и трудно поверить, но верю! Трудно поверить, трудно! Непревзойденный Данте...

Багрицкий, не дослушав, повернулся и пошел дальше.

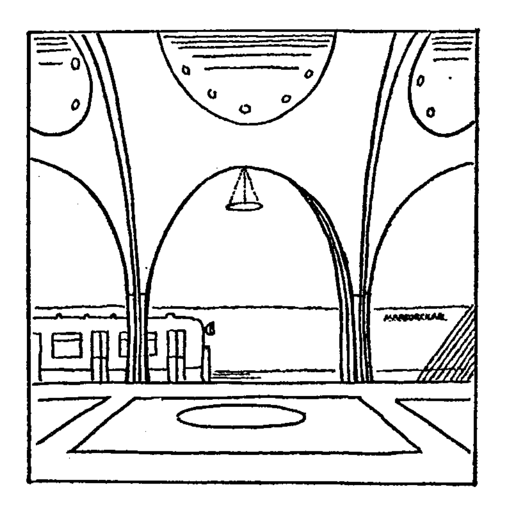
Все дальше и дальше. Все дальше и дальше.





ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

МОСКВА



Я еще успел увидеть Сухареву башню, стоявшую на площади, главным признаком которой сейчас является больница имени Склифасовского.

Она, как я прочел теперь, была высотой в тридцать сажень, готической. Впечатления от ее высоты не помню. Во всяком случае, она была большая. Также не помню впечатления от готики. Она была красивая, сказочная, розовая, и по ее переходам, видным с площади, мог бы ходить кот в сапогах.

У ее подножия и дальше по площади в тот год, когда я приехал в Москву, в начале нэпа, шла частная торговля с лотков, с рук, пищевая и вещевая. Я запомнил хлеб с изюмом, большие, похожие на суздальские церкви, штуки хлеба.

Как исчезла эта башня, я тоже не помню. Вдруг освободилось просторное и скучное место. Даже нельзя было отыскать стеклышка, через которое также можно было бы увидеть прошлое с Петром Великим и Лейбницем у него в гостях.

Я видел Красные ворота, от которых теперь осталось название, присвоенное станции метро, выходящей на площадь, через которую очень трудно пройти.

Это была маленькая триумфальная арка мясного цвета с белыми гипсовыми фигурами, как мне кажется, в стиле барокко. Я ее помню в зимний день, буро-красную среди белизны плотного снега мостовых и крыш.

Кто вступал через эту арку? Войска Елизаветы Петровны? Этого я не видел, хотя эти сроки очень сжаты. Подумать только, я родился через семьдесят девять лет после смерти Наполеона! И после того, как я родился, имея позади себя не так уж далеко просто сказку, в каких-нибудь сорок лет развилась великая техника, изменившая мир до возможности определить его как новую планету.

Одно из самых дорогих для меня воспоминаний моей жизни — это моя работа в «Гудке». Тут соединилось все: и моя молодость, и молодость моей советской родины, и молодость, если можно так выразиться, нашей прессы, нашей журналистики...

Я поступил в «Гудок», кстати говоря, вовсе не на журналистскую работу. Я служил в так называвшемся тогда «информационном отделе», и работа моя состояла в том, что я вкладывал в конверты письма, написанные начальником отдела по разным адресам рабкоров. Я надписывал эти адреса... До этого у меня уже была некая судьба поэта, но так как эта судьба завязалась в Одессе, а сейчас я прибыл из Одессы, из провинции, в столицу, в Москву, то приходилось начинать все сначала. Вот поэтому я и пошел на такую работу, как заклеивание конвертов.

Однажды — я уж не помню, какие для этого были причины,— начальник отдела Иван Семенович Овчинников предложил мне написать стихотворный фельетон по письму рабкора. И я написал этот стихотворный фельетон... Что-то в нем было о Москве-реке, о каком-то капитане, речном пароходе и его капитане, который останавливал пароход не там, где ему следовало останавливаться по расписанию, а там, где жила возлюбленная капитана. Фельетон, как мне теперь кажется, был сделан неплохо.

— Как его подписать? — спросил я моих товарищей по отделу.— А? Как вы думаете? Надо подписать как-то интересно и чтобы в псевдониме был производственный оттенок... Помогите.

— Подпиши «Зубило»,— сказал Григорьевич, один из сотрудников, толстый и симпатичный.

— Ну, что ж,— согласился я,— это неплохо. Подпишу «Зубило».

Когда я думаю сейчас, как это получилось, что вот пришел когда-то в «Гудок» никому не известный молодой человек, а вскоре его псевдоним «Зубило» стал известен чуть ли не каждому железнодорожнику, я нахожу только один ответ. Да, он, по-видимому, умел писать стихотворные фельетоны с забавными рифмами, припевками, шутками. Но дело было не только в этом.

Дело было прежде всего в том, что его фельетоны отражали жизнь, быт, труд железнодорожников. И огромную роль тут играли рабкоры. Это они доставляли ему материалы о бюрократах, расхитителях, разгильдяях и прочих «деятелях», мешавших восстановлению транспорта, его укреплению, росту, развитию. Вместе с рабкорами создавались эти фельетоны. Жалобе рабкора, его правильной мысли, наблюдению, пожеланию придавалась стихотворная форма — и на

газетной полосе появились злободневные вещи, находившие живой отклик у читателя.

Сегодня сердечным словом хочется вспомнить рабкоров тех лет, очень часто безымянных, всех горячих и смелых людей, помогавших в те времена строительству транспорта.

Зубило был, по существу, коллективным явлением — созданием самих железнодорожников. Он общался со своими читателями и помощниками не только через письма. Зубило нередко бывал на линии среди сцепщиков, путеобходчиков, стрелочников. Это и была связь с жизнью, столь нужная и столь дорогая каждому журналисту, каждому писателю.

От его друзей и собеседников пахло гарью, машинным маслом, они держали в руках большие фонари, и от фонарей падала на снег решетчатая тень. Его обдавало паром от маневрировавших паровозов, оглушало лязгом металла. Бородачи в полушубках наперебой приглашали его к себе в гости. И он был счастлив! Он и до сих пор щеголяет иногда в беседе знанием железнодорожных терминов, до сих пор рассказывает о путешествиях в товарных составах, когда стоял на площадке, навстречу дула метель, а ему было тепло оттого, что тормозной кондуктор, обращаясь к нему, всякий раз говорил:

— Слышь, друг!..

Обстоятельства сложились так, что Зубило расстался с «Гудком». Жизнь транспорта он знает теперь только по газетным сведениям, фотографиям и кинолентам. Она стала удивительной, грандиозной, эта жизнь! Новая, совершенная техника, новый быт. И новые люди! На экране телевизора порой проносится такой состав, что всплескиваешь от восторга руками, порой громоздится такой мост, что, кажется, закружится голова от его масштабов. Светлые жилые дома, школы, столовые. И великолепные лица людей — в окошках локомотивов, у станков, у чертежных столов, в сиянии торжественных вечеров и в копоти будней. И делается радостно при мысли о том, что и ты был вместе со всеми в начале славного пути, что и ты шел вместе с теми, кто прокладывал дорогу к этим сегодняшним дням...

Вскоре после того как я приехал в Москву, однажды, осенним вечером, гуляя с тем же Катаевым по Москве и как раз поднимаясь по Рождественскому бульвару мимо монастыря, мы увидели, что навстречу нам идет — то есть в данном случае спускается мимо Рождественного монастыря — высокий, широко шагающий человек в полупальто, меховой шапке и с тростью.

— Маяковский,— прошептал Катаев.— Смотри, смотри, Маяковский!

Я тотчас же согласился, что это Маяковский. Он прошагал мимо нас, этот человек, весь в желтом мутном свете тумана,— прошагал мимо фонаря, когда показалось, что у него не две, а с десяток ног, как всегда это кажется в тумане.

Я не был убежден, что это Маяковский, также не был убежден в этом и Катаев, но мы в дальнейшем все больше укреплялись в той

уверенности, что, конечно же, это был Маяковский. Мы рассказывали знакомым, как встретили на Рождественском бульваре Маяковского, как он шел сквозь туман и как от тумана казалось, что его ноги мелькают, как спицы велосипеда... Вот как хотелось нам быть в общении с этой фигурой, вот каков был общий интерес к этой фигуре!

Я все хочу вспомнить, когда же впервые остановилось мое внимание на этом имени... Нет, не тогда, когда в Одессу приехали футуристы! Я в ту эпоху еще не поэт, я еще живу интересами спорта, только начинающегося в нашей стране футбола. О, это было далеко от литературы — эти игры на зеленой спортивной площадке с узкими флажками на четырех ее углах,— не то что далеко, а даже враждебно! Мы были спортсменами, бегунами, прыгали с шестом, играли с шестом — какая там литература! Правда, я перевел тогда вступление к «Метаморфозам» Овидия и получил за это пять по-латыни... Но я еще глух к тому чуду, которое происходит рядом со мной,— к рождению метафоры Маяковского. Я еще не слышу, что сердце похоже на церковку и что можно пытаться выскочить из самого себя, опираясь о ребра.

Очевидно, большому поэту мало быть только поэтом. Пушкин, вспомним, тоскует оттого, что декабристы хоть и заучивают его стихи, но не посвящают его в свои планы; автор «Божественной комедии» населяет ад своими политическими врагами; лорд Байрон помогает греческим повстанцам в их борьбе против турок.

Так же и Маяковский: и его не устраивало быть только поэтом. Он стал на путь агитации, родственный путь политического трибуна. Вспомним: сперва это юноша в бархатной нерусской блузе, это художник с уклоном в левое искусство, пишущий стихи, явно внушенные французской живописью,— да просто с упоминанием ее мастеров:

Автомобиль подкрасил губы
У блеклой женщины Карьера...

И вспомним также, что в то же время — это юноша, задумавшийся о революции, это юноша в тюрьме, снятый на полицейских карточках в профиль и фас.

Предполагалась некогда экранизация «Отцов и детей». Ставить должен был В. Э. Мейерхольд. Я спросил его, кого он собирается пригласить на роль Базарова. Он ответил:

— Маяковского.

Я видел фильмы раннего, совершенно еще немого кино, в которых играет Маяковский. Это, собственно, не фильмы — от фильмов сохранилось только несколько обрывков — странно воспринимать их: трепещущие, бледные, как растекающаяся вода, почти отсутствующие изображения. И на них лицо молодого Маяковского — грустное, страстное, вызывающее бесконечную жалость, лицо сильного и страждущего человека. Игра Маяковского напоминает чем-то игру Чаплина. Это близко: то же понимание, что человек обречен на грусть и несчастия и та же вооруженность против несчастий — поэзией.

Впервые я увидел Маяковского в Харькове, во время выступления его в театре с чтением недавно написанной им поэмы «150 000 000». Мы с Валентином Катаевым сидели в ложе и с неистовым любопытством ждали выхода на сцену того, чье выступление только что возвестил председатель. На сцене не было ничего, кроме столика, за которым сидел президиум — по всей вероятности, люди из городского комитета партии, из редакций, из руководства комсомола. Пустая огромная сцена, в глубине ее голые стены с какими-то балконами.

Не только я и Катаев — два молодых поэта — охвачены волнением. Назад мы не оглядываемся, так что не можем определить, что переживает весь театр, но те, что сидят за столиком,— люди бывалые, да еще и настроенные, как это чувствуется, скептически,— вперились, видим мы, глазами туда, в тайну кулис.

Я был уверен, что выйдет человек театрального вида, рыжеволосый, почти буффон... Такое представление о Маяковском могло все же возникнуть у нас: ведь мы-то знали и о желтой кофте, и о литературных скандалах в прошлом!

Совсем иной человек появился из-за кулис!

Безусловно, он поразил тем, что оказался очень рослым; поразил тем, что из-под чела его смотрели необыкновенной силы и красоты глаза... Но это вышел, в общем, обычного советского вида, несколько усталый человек, в полушубке с барашковым воротником и в барашковой же, чуть сдвинутой назад шапке. Тотчас же стало понятным, что этот человек хоть и знаменитый поэт, но вышел сейчас не пожинать лавры, а вышел работать. Позже я увижу Маяковского во время его выступления в Москве в Политехническом музее — и тогда образ именно работающего человека еще усилится: он будет снимать на эстраде пиджак и засучивать рукава.

Необходимо, чтобы читатель понял характер славы Маяковского. И теперь есть у нас известные писатели, известные артисты, известные деятели в разных областях. Но слава Маяковского была именно легендарной. Что я подразумеваю под этим определением? То и дело вспоминают о человеке, наперебой с другими хотят сказать и свое... Причем даже не о деятельности его — о нем самом!

— Я вчера видел Маяковского, и он...

— А знаете, Маяковский...

— Маяковский, говорят...

Вот что такое легендарная слава. Она была и у Есенина. По всей вероятности, если основываться на свидетельствах современников, легендарным в такой же степени был Шаляпин. И, уж, безусловно, вся страна, да и весь мир смотрели вслед Максиму Горькому...

Эта легендарность присуща самой личности. Может быть, она рождается от наружности? Скорее всего, рождается она в том случае, если в прошлом героя совершалось нечто поражающее умы. Горький пресекал эту славу («Что я вам — балерина?»)... Что ж, и никто из

тех, кого я назвал, не заботился о ней специально, она сама шла за ними. Кстати, и Маяковский никогда не кривлялся, не позировал. Я помню, как он однажды, увидев чье-то восторженно уставившееся на него лицо, сказал хоть и с юмором, но все же раздраженно:

— Смотрит на меня и что-то шепчет.

Появление его фигуры — на каком пороге она ни появилась бы — было сенсационным, несло радость, вызывало жгучий интерес, как раскрытие занавеса в каком-то удивительном театре. Фигура — высотой до верхнего косяка двери, в шляпе, с тростью.

Я был молод в дни, когда познакомился с Маяковским, однако любое любовное свидание я мог забыть, не пойти на него, если знал, что час этот проведу с Маяковским.

Общение с ним чрезвычайно льстило самолюбию.

По всей вероятности, он знал об этом, но своим влиянием на людей,— вернее, той силой впечатления, которое он производил на них,— он распоряжался с огромной тонкостью, осторожно, деликатно, всегда держа наготове юмор, чтобы в случае чего тотчас же, во имя хорошего самочувствия партнера, снизить именно себя. Это был, как все выдающиеся личности, добрый человек.

Он с удовольствием, когда к этому представлялся повод, говорил о своей матери.

Помню, какая-то группа стоит на перекрестке. Жаркий день, блестит рядом солнце на поверхности автомобиля. Это автомобиль Маяковского — малолитражный «шевроле».

— Куда, Владимир Владимирович? — спрашиваю я.

— К маме,— отвечает он охотно, с удовольствием.

Автомобиль он купил, кажется, в Америке. Это было в ту эпоху необычно — иметь собственный автомобиль и то, что у Маяковского он был, было темой разговоров в наших кругах. В том, что он приобрел автомобиль, сказалась его любовь к современному, к индустриальному, к технике, к журнализму, выражавшаяся также и в том, что из карманов у него торчали автоматические ручки, что ходил он на толстых, каких-то ультрасовременных подошвах, что написал он «Бруклинский мост».

Вот мы идем с ним по Пименовскому переулку, помню, вдоль ограды, за которой сад. Я иду именно вдоль ограды, он — так сказать, внешней стороной тротуара, как обычно предпочитают ходить люди большого роста, чтобы свободней себя чувствовать.

Я при всех обстоятельствах, в каждом обществе, где бы мы ни пребывали вместе, неиссякаемо ощущаю интерес к нему, почтительность, постоянное удивление. У него трость в руке. Он не столько ударяет ею по земле, сколько размахивает в воздухе. Чтобы увидеть его лицо, мне надо довольно долго карабкаться взглядом по жилету, по пуговицам сорочки, по узлу галстука... Впрочем, можно и сразу взлететь.

— Владимир Владимирович,— спрашиваю я,— что вы сейчас пишете?

— Комедию с убийством.

Я воспринимаю этот ответ в том смысле, что пишется комедия, в которой происходит, между прочим, и убийство... Оказывается, что это еще и название комедии!

Я почти восклицаю:

— Браво!

— Там приглашают в гости по принципу «кого не будет»,— говорит он.

— Как это?

— Приходите: Ивановых не будет... Приходите: Михаила Петровича не будет... Любочки тоже не будет... Приходите...

Маяковский пил мало — главным образом, вино того сорта, которое теперь называется «Советским шампанским», а в те годы называлось шампанским «Абрау-Дюрсо».

Когда я однажды крикнул официанту:

— Шампанского!

Маяковского сказал:

— Ну, ну, что это вы! Просто скажите — «Абрау»!

Хотя пил мало, но я слышал от него, что любит быть подвыпивши, под хмельком. Однако это никак не был пьющий человек. Помню вазы с крюшоном. Вот крюшон действительно пользовался его любовью — но это сладкая штука, скорее прохладительная, чем алкогольная — с апельсинными корками, яблоками, как в компоте. Может, и пил когда-либо в петербургский период, но это, так сказать, вне моего внимания.

Иногда он появлялся на веранде ресторана «Дома Герцена», летом, когда посетители сидели за столиками именно здесь, у перил с цветочными ящиками, среди листьев, зеленых усиков, щепочек, поддерживающих цветы, среди самих цветов, желтых и красных,— по всей вероятности, это была герань...

Все издали уже видели его появившуюся в воротах, в конце сада, фигуру. Когда он появлялся на веранде, все шепталось, переглядывалось и, как всегда перед началом зрелища, откидывалось к спинкам стульев. Нокоторые, знакомые, здоровались. Он замедлял ход, ища взглядом незанятый столик. Все смотрели на его пиджак — синий, на его штаны — серые, на его трость — в руке, на его лицо — длинное и в его глаза — невыносимые!

Однажды он сел за столиком неподалеку от меня и, читая «Вечерку», вдруг кинул в мою сторону:

— Олеша пишет роман «Ницше»!

Это он прочел заметку в отделе литературной хроники. Нет, знаю я, там напечатано не про роман «Ницше», а про роман «Нищий».

— Нищий, Владимир Владимирович,— поправляю я, чувствуя, как мне радостно, что он общается со мной.— Роман «Нищий».

— Это все равно,— гениально отвечает он мне. В самом деле,

пишущий роман о нищем — причем надо учесть и эпоху, и мои способности как писателя — разве не начитался Ницше?

Это не то что было вчера,— как говорят в таких случаях,— а буквально это происходит сейчас. Буквально сейчас я вижу этот столик чуть влево от меня, на расстоянии лодки, сифон сельтерской воды, газетный лист, трость, уткнувшуюся в угол скатерти, и глаза, о которых у Гомера сказано, что они как у вола.

Я несколько раз предпринимал труд по перечислению метафор Маяковского. Едва начав, каждый раз я отказывался, так как убеждался, что такое перечисление окажется равным переписке почти всех его строк.

Что же лучшее? Не представление ли о том, что можно, опираясь о ребра, выскочить из собственного сердца?

Я столкнулся с этой метафорой, читая «Облако в штанах», совсем молодым. Я еще не представлял себе по-настоящему, что такое стихи. Разумеется, уже состоялись встречи и со скачущим памятником, и с царем, пирующим в Петербурге-городке, и со звездой, которая разговаривает с другой звездой. Но радостному восприятию всего этого мешало то, что восприятие происходило не само по себе, не свободно, сопровождалось ощущением обязательности, поскольку стихи эти «учили» в школе и знакомство с ними было таким уроком, как знакомство, скажем, с математикой или законоведением. Их красота поэтому потухала. А тут вдруг встреча с поэзией, так сказать, на свободе, по своей воле... Так вот какая она бывает, поэзия! «Выскочу,— кричит поэт,— выскочу, выскочу!»

Он хочет выскочить из собственного сердца. Он опирается о собственные ребра и пытается выскочить из самого себя!

Странно, мне представились в ту минуту какие-то городские видения: треки велосипедистов, дуги мостов — может быть, и в самом деле взгляд мой тогда упал на нечто грандиозно-городское... Во всяком случае, этот человек, лезущий из самого себя по спирали ребер, возник в моем сознании огромным, заслоняющим закат... Так и впоследствии, когда я встречался с живым Маяковским, он всегда мне казался еще чем-то другим, а не только человеком: не то городом, не то пламенем заката над ним.

В его книгах, я бы сказал, раскрывается целый театр метафор. От булок, у которых «загибаются грифы скрипок», до моста, в котором он увидел «позвонок культуры».

Я как-то предложил Маяковскому купить у меня рифму.

— Пожалуйста,— сказал он с серьезной деловитостью.— Какую?

— Медикамент и медяками.

— Рубль.

— Почему же так мало? — удивился я.

— Потому что говорится «медикамент», с ударением на последнем слоге.

— Тогда зачем вы вообще покупаете?

— На всякий случай.

Я был влюблен в Маяковского. Когда он появлялся, меня охватывало смущение, я трепетал, когда он почему-либо останавливал свое внимание на мне... Что касается моего внимания, то оно все время было на нем, я не упускал ни одного его жеста, ни одного взгляда, ни одного, разумеется, слова. Я уже как-то писал о том, что хоть я и был молод в то время, когда общался с Маяковским, но если мне предстояло любовное свидание и я узнавал, что как раз в этот час я мог бы увидеть в знакомом, скажем, доме Маяковского, то я не шел на это свидание,— нет, решал я, лучше я увижу Маяковского...

Я был моложе Маяковского — основательно, лет на десять — и только начинал тогда, правда, хорошо начинал, ему нравилось. Знал ли он о моем восторженном отношении к нему? Во всяком случае, между нами порой среди той или иной собравшейся группы литераторов устанавливался бессловесный контакт, когда мне было неописуемо приятно чувствовать, что какая-нибудь реплика, не направленная прямо ко мне, все же, по существу, рассчитана на мое внимание, ждет моего согласия, моей оценки.

Он был очень строг со мной, как и со всеми, высказывал свое мнение о моих вещах, если они ему не нравились, не золотя пилюли:

— Читал ваш рассказ. Никогда подобной скуки не читал!

Но и хвалил. Как радостно было, когда он хвалил! О, я помню, мы сидим в артистическом кабачке, пьем вино и едим раков, и он за что-то хвалит меня, а я наверху счастья. Вокруг танцуют пары, и через плечо девушки смотрят именно на Маяковского, на знаменитость, и я горжусь, что сижу с ним,— сидим только вдвоем, только вдвоем,— горжусь и ликую... Едим раков. Когда снимаешь с них покрытие, то и дело укалываешься, и Маяковский говорит метрдотелю:

— Хоть бы вы им маникюр сделали, что ли.

Он очень любовно, очень по-товарищески относился к тем, кто был с ним заодно в литературных взглядах, вкусах. Свирепо нападавший на противников, он был прямо-таки нежен с единомышленниками, участлив к ним, внимателен, как врач. Неожиданность такого превращения — из яростного гладиатора на трибуне в ласкового друга среди близких ему по духу людей — чрезвычайно украшала его образ. Я тоже разделял его взгляды и вкусы. И помню, однажды играли в карты... Было много играющих, шумно, дымно. Я проигрался и сказал сидящему рядом, что проиграл также и деньги, предназначенные для отправления другу, лечившемуся в Крыму. Проигрался и Маяковский — был возбужден, в ажиотаже... Мог ли я подумать, что он услышал эту мою сказанную соседу фразу?

Утром раздался звонок.

— Это Маяковский говорит. Послали другу деньги? А то могу одолжить.

Недоброжелатели считали его грубым, а он был добрым и, как я сказал уже, даже нежным.

Удивительно, что этот поэт, начинавший как футурист, писавший в общем для немногих, после Октябрьской революции так страстно стал рваться к массам, к читательской толпе. Почти постоянно он был в разъездах, выступал в разных городах страны, на заводах, в универ-

ситетах, в военных частях. Он не мог жить без этого общения с массами, оно радовало его, воодушевляло, молодило.

— Новое сейчас прочту им, новое,— помню, говорит он, расхаживая за кулисами Политехнического музея в Москве, набитого гудящей молодежью.— Студенты! Им надо прочесть новое! Волнуюсь!

И засучив рукава — об этом засучивании рукавов уже много вспоминали, но нельзя не вспомнить,— и засучив рукава, как будто собираясь работать, уже сняв пиджак и оставшись в своей «свежевымытой сорочке», шел к выходу на эстраду!

На эстраде он был великолепен. Уже не говоря о замечательных стихах и замечательном их чтении, само общение его с публикой захватывало. Блестящее остроумие реплик на наскоки тех или иных слушателей, неожиданные замечания, вызывавшие бурю аплодисментов, мощные высказывания о поэзии, вызывавшие тишину в аудитории,— все это было единственно, неповторимо, впечатляло в высшей степени, заставляло дивиться таланту этого человека, его интеллекту, темпераменту.

Маяковский был высокий, вернее, большой, потому что не астеничен, как большинство высоких, а, наоборот, сильного телосложения. У него была крупная голова, гармонически подходившая к большой фигуре, твердый нос, тоже немаленький, который часто свистел насморком — Маяковский говорил, что, как южанин, он то и дело простуживается в Москве,— выдающийся вперед подбородок.

Глаза у него были несравненные — большие, черные, с таким взглядом, который, когда мы встречались с ним, казалось, только и составляет единственное, что есть в данную минуту в мире. Ничего, казалось, нет сейчас вокруг вас, только этот взгляд существует.

Когда я вспоминаю Маяковского, я тотчас же вижу эти глаза — сквозь обои, сквозь листву. Они на меня смотрят, и мне кажется, что в мире становится тихо, таинственно. Что это за взгляд? Это взгляд гения.

Это был король метафор. Однажды играли на бильярде — Маяковский и поэт Иосиф Уткин, которого тоже нет в живых. При ударе одного из них что-то случилось с шарами, в результате чего они, загремев, подскочили...

— Кони фортуны,— сказал я.

— Слепые кони фортуны,— поправил Маяковский, легши на кий.

Среди тысячи созданных им метафор он создал одну, которая потрясает меня. Говоря о силе слов, он сказал, что той силе слов, которой «рукоплещут ложи», он предпочитает ту их силу, от которой «срываются гроба шагать четверкою своих дубовых ножек». Так мог сказать только Данте.

Я помню разодравшее сердце чувство осиротения, которое испытал я, когда мне сказали, что час тому назад Маяковского не стало.

— Как? Боже мой, навсегда? Это навсегда?

Я через некоторое время увидел его мертвого. Он лежал на диване, под стеной, со смертельными тенями на лице, укрытый простыней. Вечером я стоял на грузовике, на котором везли его в гробу в Клуб

писателей — в гробу, краска которого липла к рукам. Это было в апрельский вечер, холодный, с маленькой луной в небе — и я этого никогда не забуду.

Маяковский не был, как известно, членом партии. Но он был всей душой коммунистом. Когда он читал стихи, направленные против врагов новой жизни страны — против всякого рода врагов, от Чемберлена до бюрократа или взяточника,— в его руках, казалось, сверкал меч.

Мне приснился сон, в котором я разговаривал с Маяковским с глазу на глаз. В комнате никого не было, мы сидели очень близко друг от друга... Я вижу его лицо перед собой и говорю о том, что, уже помимо тех поистине великих поэм, которые он написал, вот эта книга (я держу в руках книгу) — вот эта книга, говорю я, вот эта книга... Не помню, что я говорю, но в словах моих восхищение! Я говорю также, что мог бы написать о нем книгу. Это ему приятно. Я говорю с особой значительностью, так как подсознательно все время ощущаю, что он умер. Лицо у него доброе, грустное, и мне даже кажется, что в глазах у него слезы.

В день его смерти, когда, уже вечером, мы собрались в Гендриковском переулке, где теперь музей, а тогда была квартира Бриков, вдруг стали слышны из его комнаты громкие стуки — очень громкие, бесцеремонно громкие: так могут рубить, казалось, только дерево. Это происходило вскрытие черепа, чтобы изъять мозг. Мы слушали в тишине, полной ужаса. Затем из комнаты вышел человек в белом халате и сапогах — не то служитель, не то какой-то медицинский помощник,— словом, человек посторонний нам всем; и этот человек нес таз, покрытый белым платком, приподнявшимся посередине и чуть образующим пирамиду, как если бы этот солдат в сапогах и халате нес сырную пасху. В тазу был мозг Маяковского.

Гамлет сильный, усталый человек — что-то вроде Маяковского. Впервые в жизни я видел Гамлета в Одессе. Играл Слонов. Я был гимназистом невысокого класса. Ничего не понял, ничего не понравилось, за исключением того, что в финале пьесы один из трупов катится, поворачиваясь по ступенькам с боку на бок.

— Что вы читаете, милый принц?

— Слова, слова, слова.

Вот так бы и назвать эту книжку:

Ю. ОЛЕША
Слова, слова, слова.
Ю. ОЛЕША
Думаю, значит — существую.

В Москве два памятника Маяковскому: один — статуя, к которой он, по всей вероятности, отнесся бы строго, и другой — станция метро его имени, от которой он, влюбленный в индустриальное, несомненно, пришел бы в восторг.

Это очень красивая станция — со стенами из стальных арок, где сталь, в основном оставленная, так сказать, в натуре, в качестве цвета, местами выкрашена в сурик. Соединение этих двух цветов напоминает машины, оно именно очень индустриально.

Однажды эти арки показались мне гигантскими прорезями для рук в некоем жилете. В следующее мгновение я уже знал, что представляет собой эта станция.

— Стальная кофта Маяковского,— сказало мне воображение.

Вот как хорошо: он, носивший желтую кофту футуриста, теперь может предстать перед нами в стальной кофте гиганта.

Я еще попрощаюсь с тобой торжественно, выбрав специальную обстановку, а пока прощание на воспоминании. Я купил в магазине жареную курицу и, неся ее за ногу, отколупывал отдельные куски мякоти, отрывал крылья, извлекал плуг грудной кости... Словом, понятно, я ел курицу на ходу. Потом, испугавшись, что целая курица для одного это слишком много, я курицу в ее уже завершающемся виде выбросил вправо от себя на мостовую. Так как был вечер и улица не слишком главная, темноватая, то этого никто не увидел. Она всплеснула белизной и исчезла. Я пошел дальше, направляясь домой — то есть в типографию «Гудка» на улицу Станкевича.

Вот одно из черновых прощаний, дорогая жизнь. Между прочим, уже, как говорится за кадром, могу вспомнить маленькую деревянную комнату в типографии, где я жил. Впрочем, за кадром этого вспоминать нельзя.

Рядом, за фанерной стеной моей комнаты, в такой же деревянной комнате, жил Ильф.

Это были узкие, однако веселые и светлые клетушки — может быть, больше всего было похоже на то, как если бы я и Ильф жили в спичечных коробках.

Я жил в одной квартире с Ильфом. Вдруг поздно вечером приходит Катаев и еще несколько человек, среди которых Есенин. Он был в смокинге, лакированных туфлях, однако растерзанный — видно, после драки с кем-то. С ним был некий молодой человек, над которым он измывался, даже, снимая лакированную туфлю, ударял ею этого молодого человека по лицу.

— Ты мне противен с твоим католицизмом! — все время повторял он.— Противен с твоим католицизмом.

Потом он читал «Черного человека». Во время чтения схватился неуверенно (так как был пьян) за этажерку, и она упала.

До этого я «Черного человека» не слышал.

— Друг мой, друг мой, я очень и очень болен,
Сам не знаю, откуда взялась эта боль.
То ли ветер свистит над пустынным и диким полем,
То ль, как рощу в сентябрь, осыпает мозги алкоголь...

Это было прекрасно. И он был необычен — нарядный и растерзанный, пьяный, злой, золотоволосый, и в кровоподтеках после драки.

Когда я приехал в Москву, чтобы жить в ней — чтобы начать в ней фактически жизнь,— слава Есенина была в расцвете. В литературных кругах, в которых вращался и я, все время говорили о нем — о его стихах, о его красоте, о том, как вчера был одет, с кем теперь его видят, а о его скандалах — даже о его славе.

Враждебных нот я не слышал в этих разговорах, наоборот, чувствовалось, что Есенина любят.

Это было вскоре после того, как закончился его роман с Айседорой Дункан. Он побывал с ней в Америке, вернулся — и вот теперь говорили, что этот роман закончен. Вернувшись из Америки, он напечатал, кстати, в «Известиях» впечатления о Нью-Йорке, назвав их «Железный Миргород». Мою радость по поводу этого хорошего названия я помню до сих пор; и до сих пор также помню газетный лист с этим подвалом — вернее, утро, когда я стою с газетой, разворачиваю этот лист и вижу заголовок.

— «Железный Миргород»,— громко прочитываю я, как видно, приглашая кого-то тоже порадоваться хорошему заголовку.

Я совсем еще молод, совсем.

Сегодня последний день солнцестояния. Очень жарко, и можно повторить все, что записано в прошлом году примерно под той же датой июня.

Некоторые смотрят как из тумана, другие еще хуже: как бы вошли в тесто. Таким украшением на корке пирога смотрел на меня вчера в ресторане Анатолий Мариенгоф. Боже мой, красавец и щеголь Мариенгоф?

— Что поделывает Некритина?

— Ждет вашей пьесы.

Слова! Некритина была изящная — вернее, извилистая — женщина с маленькой черной головкой, актриса, игравшая среди других также и в моей пьесе. Они живут в Ленинграде, у них повесился достигший отрочества сын. Мариенгоф, автор воспоминаний об Есенине (пожалуй, единственных), поэт-имажинист, в последнее время сочиняет пьесы, из которых каждая фатально становится объектом сильной политической критики, еще не увидев сцены. Так от этих пьес остаются только названия — обычно запоминающиеся и красивые— «Заговор дураков», «Белая лилия», «Наследный принц». В нем все же изобразительность со времен имажинизма — сильна. Но насколько выше, насколько неизмеримо выше был их, имажинистов, товарищ — Есенин!

Вот так бы я мог встретиться в коридоре ресторана и с Есениным. Так же он посмотрел бы на меня из тумана или с корки пирога. Нет, очевидно, могло только так и произойти, как произошло. Он ушел молодым, золотым, с плывущими по воздуху нитями волос. Я видел его всего несколько раз в жизни. Помню, как в комнате Ильфа на Сретенке он читает «Черного человека». Как это было грандиозно! Он был в смокинге и в лаковых лодочках, из которых одну то и дело сбрасывал с ноги...

Я видел знаменитого шахматиста Капабланку. Тогда он был экс-чемпионом мира после матча с Алехиным.

Мы вошли с Ильфом в помещение какого-то клуба на Большой Лубянке, где, как нам было известно, Капабланка должен был выступать в сеансе одновременной игры. Сеанс, когда мы вошли, был в разгаре. Между двумя рядами столиков, за которыми сидели участники сеанса и на которых были установлены желто-черные доски с фигурами, уже в некоторых случаях сошедшимися в целые толпы, продвигался, останавливаясь перед каждым очередным столиком и делая свой ход, молодой, хоть и не маленького роста, но толстенький брюнет с бледным смуглым лицом — скорее некрасивым, несколько бабьим и с хоботообразно вытянутыми самолюбиво-чувственными губами. Сразу было видно, что это южанин, причем житель совсем незнакомого нам тропического юга с бананами и низкими звездами.

Он держал короткие руки в карманах под нерасстегнутым и поэтому чуть приподнявшимся на животе пиджаком. Подойдя к столику, он задерживался на мгновение и тут же, воздушно взявшись за фигуру, переставлял ее. Иногда на полпути к следующему столику оглядывался на предыдущий... Множество пар глаз смотрело на него снизу. Он был небрежен и свободен, даже казался сонным, только хоботок его губ пребывал в некотором шевелении: то сокращался, то вытягивался.

Он был в черном костюме, и галстук на белой сорочке тоже лежал черный, и было в его фигуре что-то старомодное, отдельное, просящееся скорее в иллюстрацию, чем в фотографию — гениальное.

В Харькове? Да, да, в Харькове. Кто-то мне сказал:

— Вот это Мандельштам.

По безлюдному отрезку улицы двигались навстречу мне две фигуры — мужская и женская. Мужская была неестественно расширившаяся от шубы явно не по росту, да еще и не в зимний день. На пути меж массивом шубы и высоким пиком меховой же шапки светлел крошечный камушек лица... Мандельштам был брит, беззуб, старообразен, но царственной наружности. Голова у него была всегда запрокинута, руки всегда завершали или начинали какой-то непрактический, не житейского порядка жест.

Европа Цезарей! С тех пор как в Бонапарта
Гусиное перо направил Меттерних,
Впервые за сто лет и на глазах моих
Меняется твоя таинственная карта!

Я хотел бы написасть о Мандельштаме целое исследование, портрет. Есть ли портрет — исследование? Безусловно.

Мандельштам для нас, одесситов, был прежде всего петербургский поэт.

Анны Ахматовой настоящая фамилия — Горенко. Она родилась под Одессой, на хуторе Нерубайском (как теперь говорят — на Одесщине). Мне приятно думать, что мы из одного края с ней. Ее рисо-

вал Альтман. Горбоносая, худая. О ней писал Мандельштам: о ее голосе, что он «души расковывает недра», о ней самой, что она по его представлениям похожа на Рашель — вот так, говорит он, как сидит сейчас перед ним Ахматова, «ложно-классическая Федра, сидела некогда Рашель!». Я считаю ее одним из виднейших поэтов в русском созвездии XX века. Когда я был гимназистом, она уже пользовалась славой. Войдя в известность как писатель, я все никак не мог познакомиться с ней. О себе я очень много думал тогда, имея, впрочем, те основания, что уж очень все «признали» меня. Наконец в Ленинграде, в Европейской гостинице, под вечер, когда я вошел в ресторан и сел за столик, ко мне подошел писатель П. и сказал:

— Идем, познакомлю с Ахматовой.

Я подошел. У меня было желание, может быть, задраться. Во всяком случае, она должна, черт возьми, понять, с кем имеет дело. Я сел за столик. Не знаю, произвело ли на нее впечатление мое появление. Я, как почти со всеми тогда, кривлялся. И вдруг она заговорила. Она заговорила о том, в частности, что переводит «Макбета». Там есть, сказала она, строки, где герой говорит, что его родина похожа более на мачеху, нежели на мать, и что люди на его родине умирают раньше, чем вянут цветы у них на шляпах. Все это ей нравится, сказала она. Вернее, не сказала, а показала лицом. Возможно, что, зная о моей славе, она тоже занялась такими же, как и я, мыслями: дать мне почувствовать, кто она. Это выходило у нее замечательно. Я чувствовал себя все тем же мальчиком, гимназистом. Мне тоже очень понравились эти строки из «Макбета» — понравилось еще больше проявление ее вкуса. Эти строки я запомнил, и часто они приходят мне на память.

Я замечаю, что многие умнее меня, творящие не слишком большое, даже совсем не творящие, а просто склонные размышлять. Так, сегодня психиатр Беркович (брат того Берковича, который прославился тем, что вступал в спор с Маяковским на его диспутах и иногда, между прочим, побеждал его к добродушному удовольствию того) — так вот этот психиатр говорил сегодня умно о детерминизме Льва Толстого в «Анне».

Очень удивительно, без берегов и каких бы то ни было отталкиваний от чего бы то ни было, говорил Гайдар. Он меня любил и высоко ставил.

Я видел Станиславского несколько раз в жизни. В первый раз тогда, когда Московский Художественный театр справлял, по всей вероятности, свое тридцатилетие. Я написал тогда пьесу «Три Толстяка», которая была принята Художественным театром, и поэтому, в качестве автора театра, я присутствовал на этом юбилее — как на торжественном спектакле, так и на банкете. На спектакле, когда читались театру приветственные адресы, Станиславский и Немирович стояли очень близко, рядом — вернее всего выразиться, купно: каждый старался не стать впереди другого. Они немного топтались на месте, старание не стать впереди другого было заметно, и иногда поэтому получалось если не нелепо, то, во всяком случае, комично...

Позже, на банкете, вдруг, наклонясь, чтобы не задеть висящие, вернее, стоящие, в воздухе во множестве воздушные разноцветные шары, идет в черной паре, и седой, и осклабясь, прямо ко мне Станиславский с бокалом. Вот он передо мной. Я еле успеваю встать. Рядом, помню, сидят Эрдман, Булгаков...

Он, держа бокал, как для чокания, говорит мне лестные вещи о моей пьесе, я что-то отвечаю. Все подвыпивши: стоят шары, как некие лианы; подняв усатую губку, страдальчески и томно улыбается молодая Еланская...

За изобретением системы Станиславского (может быть, и как одна из причин ее рождения) ощущается постоянная и грустная мысль автора-актера о том, что спектакль всегда оказывается хуже самой драмы. Великие актеры, понимал Станиславский, умели уничтожать это превосходство драмы, но можно ли удовлетвориться такими частными, одиночными случаями? И он взялся за осуществление поразительного замысла: дать всем актерам возможность достигнуть уровня великих.

Когда репетируют эту пьесу, я вижу, как хорошо в общем был написан «Список благодеяний». Тут даже побольше можно применить слова: какое был он замечательное произведение! Ведь это писал тридцатидвухлетний человек — это во-первых, а во-вторых, это писалось в Советской стране, среди совершенно новых, еще трудно постигаемых отношений.

Мой Маржерет, которого Мейерхольд пустил носиться по сцене не больше не меньше как с плеткой в руке, ничуть не бледнее Фейлана исландского драматурга.

В одном из вариантов этой пьесы я говорил о сердце, что оно мускул. У исландца то же определение. Так на разных точках земного шара сидят художники, видящие одинаково.

В Средней Азии особенно оценили меня за строчку, в которой сказано, что девушка стояла на расстоянии шепота от молодого человека. Это неплохо — на расстоянии шепота!

Однажды мы сидели с Валентином Катаевым в ложе еще не перестроенного, старого театра Вахтангова и смотрели мою пьесу «Заговор чувств».

Там была маленькая аванложа, и когда мы туда вошли в антракте, то увидели сидевшего одиноко в этой маленькой комнате, в углу, под обоями, большого черного всклокоченного человека. Тут же появился артист Русланов (сын Сергеенки, жившего при Толстом, его биографа) и представил нас неизвестному, оказавшемуся Владимиром Григорьевичем Чертковым.

Естественно, меня взволновало присутствие знаменитого друга Толстого на представлении моей пьесы.

— Вам понравилось? — спросил я.

Он — так вот эта прославленная прямота! — ответил:

— Извините, я глух.

Но он сказал это так, что ясно было,— он никак не хочет ни уколоть, ни посмеяться, ни показать пренебрежение. Просто он сознал-

ся. Тогда-то и долетел до меня звук какого-то не известного мне инструмента из далеко ушедших в прошлое рощ и лужаек Ясной Поляны.

Катаев со своей склонностью к сарказму все острил на ту тему: что вот, мол, глухи к твоему творчеству великие, глухи...

У меня есть убеждение, что я написал книгу «Зависть», которая будет жить века. У меня сохранился ее черновик, написанный мною от руки. От этих листов исходит эманация изящества. Вот как я говорю о себе!

Читал «Белеет парус одинокий». Хорошо. Катаев пишет лучше меня. Он написал много. Я только отрывочки, набор метафор. О гиацинтах и у него. Бледная, но сильная стрела гиацинта. Неплохо.

На черной страде разъезжались ноги, низко летела ледяная крупа, я бежал против ветра — бежал, потому что против ветра меня гнал еще какой-то ветер.

Какая большая предстоит работа, какая большая занятость!

(Сюжет)

Учитель пения (Цветков) страстно мечтал о том, как бы прочесть всей школе какую-нибудь трагедию Шекспира. По его мнению, никто из этой молодежи не знаком с Шекспиром. (Одна сказала, что видела в Москве «Коварство и любовь». Цветков. Вот видишь, это как раз Шиллера!)

Дело не в том, знают ли они Шекспира или не знают,— дело в страстном желании самого Цветкова, чтобы именно из его уст пролился перед ними этот мир образов.

Он, как-то говоря со школьниками, высказался в том смысле, что если уж придется ему когда-либо и в самом деле выступить перед ними с чтением шекспировской трагедии, то не мешало бы обставить эту «встречу молодежи с Шекспиром» особенно торжественно. (Если пьеса в стихах, то он говорит:

— Двенадцать барабанщиков позвать!

Пьесу писать пятистопным белым ямбом, стараясь делать так, чтобы стих не был заметен,— вздыматься он начинает только иногда, в особенно эмоциональных местах.)

Идея о торжественной встрече (двенадцать пионеров с барабанами) смешит и увлекает молодежь (Цветков бросил ее в шутку, между прочим), и, когда наконец наступает взлелеянный Цветковым в мечтах вечер читки,— он уже приступил, прочел самое начало,— вдруг под общий хохот и аплодисменты раздается дробь барабанов, и предводительствуемые Тоней входят двенадцать пионеров с барабанами. Тоня одета в некий театральный костюм (раздобыла в местном театре), который ей представляется «шекспировским» (широкая шляпа с пером, колет с перевязью, на которой меч, сапоги с низкими отворотами); пионеры становятся шеренгой, Тоня рапортует Цветкову.

Читка сорвана.

Огорчение старика.

Тоня (она, когда училась пенью в младших классах, была его любимой ученицей) потрясена тем, что так огорчила старика. Огорчение действительно роковое (и внутреннее и физическое), возможно, он даже покидает городок, идет пешком... Тут может иметь место сцена, когда Тоня, догнав ушедшего Цветкова в какой-нибудь железнодорожной сторожке, просит прощения, и затем у них разговор о молодежи, о культуре.

Тоня (она простая, веселая, влюбчивая) обещает старику, что сама сделает доклад о Шекспире. Тот в восторге: «Да, да, ты сделаешь доклад, а затем я прочту трагедию».

На этом кончается первое действие, оставляющее зрителя в ожидании событий в этой связи — доклад школьницы Тони о Шекспире.

В дальнейшем — гитлеровские войска в этом маленьком городке, война. И то, что происходит с Тоней. Происходит героическое, показывающее ее самое как лицо из Шекспира, шекспировскую героиню. Это — ее «доклад о Шекспире».

Основная мысль пьесы: каждый может ознакомиться с Шекспиром, важно самому быть героем.

Тут возможно следующее. В той же самой школе, которая наполовину разрушена, поселились фашисты. Какой-нибудь пожилой, обрюзглый фельдфебель из штурмовиков любит цветы (разводил их у себя на родине). Он спрашивает Тоню, оказавшуюся в саду школы в ходе развития действия:

— А что здесь цветет весной?

— А не все ли вам равно? — спрашивает Тоня.— Ведь весной вас все равно здесь не будет!

Оскорбленный в лучших чувствах («Нехорошо, я так мирно спросил тебя о цветах!»), фельдфебель велит повесить Тоню; и ее вешают.

И вот среди немецких солдат исподволь слагается легенда о советской девочке, сказавшей такие гордые и красивые слова в лицо страшному фельдфебелю (его свирепая слава распространена на многие гарнизоны)... Эта легенда полна уважения к девочке и народного сочувствия к ней. (Противопоставить фашиствующим командирам солдатскую массу.)

Соединением, расположившимся в этом районе, командует полубезумный офицер (его тема — мировое господство германской расы). Ему становится известно, что образ гордой школьницы потряс его солдат, что слагается легенда... Это бесит его, и однажды, ворвавшись в трактир, где как раз полупьяные и испуганные солдаты рассказывали эту легенду, он велит сопровождающим его автоматчикам открыть по солдатам огонь. И они гибнут — все сидевшие в трактире,— повисают на перилах, остаются у столов, падают на лестнице.

У командира (он в хорошем чине) гостит его друг по Берлину, знаменитый фашистский драматург (зовут Ганс Кафка), посланный Гитлером на войну, чтобы написать «эпопею о гибели России». Он в разговоре с командиром о русской культуре, истории, о русских сказаниях приводит легенду о граде Китеже.

Командир, почти хватаясь за пистолет, кричит в исступлении:

— Это ты сам придумал, сам! Врешь! Врешь! Они не могут создавать ничего прекрасного! Врешь!

(Для пьесы.)

Тогда немецкий солдат спрашивает Цветкова (тот по заданию партизанского отряда оказался в городке), откуда он так хорошо знает немецкий язык. Старик говорит, что этому помогло, по всей вероятности, долгое, продолжавшееся почти всю жизнь, знакомство с одним немецким генералом.

Солдат невольно вытягивает руки по швам.

Сказав эти слова, чрезвычайно внушительно прозвучавшие именно для немецкого солдата (знакомство с генералом!), старик берет с рояля свечу (сцена происходит ночью в полуразрушенной школе) и идет с ней в темнеющую глубь зала.

— Вот этот генерал! — произносит старик.

Рука его поднята, и в ней свеча с бегущим пламенем. В этом мечущемся свете видит солдат маску Бетховена с застревающими среди завитков волос тенями.

В дальнейшем надо стараться вести эти записи все же так, чтобы получалось нечто законченное. Если этой законченности нет, то что же они представляют собой? Имеет ли интерес такая неоконченная запись? Что это? Зачем это? Просто блеск какой-то породы, жилы? И никто не идет дальше вдоль этого сиреневого зигзага, какого-то аметиста?

Маленькие гномы, которых поляки называют краснолюдками и о которых так хорошо писал Гейне, исполняли, по преданию, эту работу по находке и гранению камней. Они заняты были этим в Богемских горах. Они носили красные, синие, зеленые шапочки, у них были румяные, но немного в жилках лица весельчаков и чревоугодников, длинные белокурые бороды при отсутствии усов. Иногда они отправлялись в какие-то непонятные людям шествия...

Гейне пишет, что по сохранившимся свидетельствам гномы довольно охотно общались с людьми и производили самые разнообразные волшебства, полезные для людей. Разрыв между людьми и краснолюдками произошел не по вине последних; наоборот, виноваты как раз люди с их грубостью и эгоизмом. Например, гномы пришли однажды посмотреть на какой-то праздник в деревне; они уселись на длинной ветке дерева — все в ряд, и смотрели себе на праздник. Кто-то из людей, какой-то грубый парень, подпилил ветку, и все краснолюдки упали вместе с ней под хохот деревни. Так постепенно охладели гномы к людям, которых прежде любили, которым служили своим волшебством.

Вероятно, это было в конце осени. Скорее всего, именно так, конец осени. Сперва я подумал: не в конце ли зимы? Нет, эта смесь снега с черными пятнами земли, эти голые деревья — хоть такой

пейзаж бывает и в конце зимы, но тогда вдруг пролетит над серыми грудами туч голубой проблеск, кусочек чистого неба... А тут — нет, тут уныло все было затянуто в серое и мокрое. Осень!

Навстречу мне идут три слепых музыканта. Один несет флейту, завернутую в зеленый фартук, другой — скрипку, сильно отражающую солнце, у третьего на боку гармоника... Нет, вижу, это не гармоника, нет! Показалось! Это жилетка на музыканте, лихая, расстегнутая красная жилетка, расшитая серебряными пуговицами!

Когда умер Игорь, я имел намерение попросить Меркурова сделать надгробье в виде мраморной доски с изображением на ней мальчика, гребущего в лодке.

Я не привел в исполнение этого намерения, так как все мои высокого порядка связи с людьми стали в ту эпоху, из-за моего образа жизни, падать. В том числе упала связь и с Меркуровым.

Меркуров был огромный человек с черной — очень черной; черной, как ночь; почти полной звезд бородой. По всей вероятности, носить большую бороду было обыкновением у скульпторов по причине их любви и уважения к Родену. (Роден, говорят, был карлик с бородой, гном.) Я хорошо знал раньше его жену Стеллу. Теперь они оба умерли. Я еще напишу о Меркурове, который снимал последнюю маску с Льва Толстого и рассказывал мне об этом.

Прости меня, Игорь!

Я присутствовал при том, как скульптор Меркулов снимал посмертную маску с Андрея Белого. В зале Дома литератора, который тогда назывался Клубом писателей, было еще несколько человек, и мы все столпились у гроба, в котором лежал поэт обезображенный и, казалось, униженный тем, что голова его была залита гипсом и представляла собой некий белый довольно высокий холм.

Меркуров, поскольку работал с гипсом, был в халате, и руки его были по-скульпторски испачканы в белое.

Он разговаривал с нами, и было видно, что он чего-то ждет. Поглядывал на часы, отодвигая стянутый тесемками рукав. Вдруг он подошел к белому холму и щелкнул по его вершине пальцем, постучал, отчего холм загудел.

— Готово,— сказал он и позвал: — Федор!

Подошел Федор, тоже в халате,— помощник — и снял холм, что не потребовало затраты усилий — он снялся с легкостью, как снимается крышка коробки. Я не помню, что мы увидели — если начну описывать, то это не будет воспоминание, а нечто сочиненное. Увидели просто лицо мертвого Андрея Белого.

— Вот и маска,— сказал Меркуров.

Маска была еще, так сказать, внутри этого куска гипса, еще, так сказать, в обратном виде, и мы ничего не поняли из того, что понимал скульптор, смотревший во впадину в куске гипса, как смотрят в миску.

— Вы ведь снимали маску со Льва Толстого? — спросил кто-то из нас.

— Снимал.

— Ну и что? — вырвалось у спросившего.

— Сильно прилипла борода.

Я вовсе не хочу порочить скульптора, приводя этот как бы цинический ответ. Он совсем и не был в эту минуту циником. Просто он ответил профессионально.

У Меркурова в ателье целая стена была увешана копиями масок, снятых им со знаменитых людей. Я не видел этой стены ни наяву, ни во сне.

Когда с человеком случается инфаркт, его настолько нельзя беспокоить, что одежду не снимают с него, а тут же разрезают. Возможно, что людям следовало бы время от времени прибегать к подобному абсолютному отдыху, к абсолютной неподвижности.

Организм сам подсказывает человеку, как поступить. Просто человек так подвластен условностям, что ему неловко было бы предпринять какое-либо лечение, не похожее на общепринятые: «о, нет, не беспокойте меня, я буду абсолютно неподвижно лежать три дня!»

Кстати, о том, что организм сам подсказывает. Как раз Зощенко держится противоположного мнения. Он говорит, что организм, хоть и может подсказать, но для него самого существуют неясности. И, скорее, организм из желания помочь вам может вас погубить. Так, если вам не очень хочется идти в дом, в который вы все же идете, то организм может распорядиться так, что вы на лестнице умрете от удара. Эту теорию свою Зощенко называет — «мозг-дурак».

Зощенко очень щедрый человек, из тех благотворителей, которые помогают именно тайно — как называл это Лев Толстой, делают добро без адреса. Без адреса в том смысле, что не оставляют как раз своего адреса. Правда, катастрофа, происшедшая с Зощенко, вряд ли позволила ему остаться таким же благотворителем. Это грустный человек, человек, чаще всего повторяющий фразу Ницше о «жалкой жизни, жалких удовольствиях»... Вместе с тем он ценит ритуал, аккуратен, видит и любит маленькие предметы. Работоспособен. Он, когда мы встречались в Ленинграде, проявлял ко мне любовь, интерес. Ему со мной, как и мне с ним, было хорошо. Между прочим, он умеет тачать сапоги и шить. У меня порвались штаны, и он великолепно исправил повреждение. По этому поводу, помню, я сказал приехавшему тогда в Ленинград и появившемуся в моем и Зощенки обществе Фадееву:

— Ты думаешь, что важное событие в текущем моменте нашей литературы — это то, что ты приехал в Ленинград? Ошибаешься, важнее это то, что писатель Зощенко починил штаны писателю Олеше.

Вошли две девушки, одна покрупней, другая мелкая — обе расфуфыренные, как будто собрались на вечеринку, и с порога начали искать кого-то глазами. Я почувствовал, что меня. Так и оказалось.

— Олеша здесь? — спросила которая покрупней, переврав, конечно, фамилию:

— Алеша здесь?

— Да, да, я.

Они двинулись ко мне упругим шагом — в подбритых бровях, в локонах. Тем не менее обе были в белых халатах, и одна держала на руках ящик со стеклянными пробирками разных калибров — ящик-дикобраз, весь в стеклянной щетине...

Помню, я сказал им навстречу:

— Служба крови.

Верно, они пришли брать на исследование мою кровь. Обе сели: одна — спустив ноги по левую сторону кровати, другая — по правую. Которая покрупней взяла из ящика шприц.

— Протяните палец. Нет, этот.

Укол довольно болезненный. Потом ваша кровь взбегает в стеклянном столбике, и вы удивляетесь, что она так ярка. Потом ватка, потом стеклышко, потом ваша кровь в виде пятна, потом девушка дует в трубку.

Вы острите. Обе девушки молчат. Вы хорошо острите. «Служба крови», например, это хорошо. Нет, они молчат. Они видят ужасное существо с гноящимися глазами, с руками в шелушащейся коже; вы были смертник — они это знают. Упруго встав, они идут к другой кровати, а вы вздыхаете и вот-вот заплачете.

По-моему, я увидел этого горбуна только вечером моего первого дня после операции. Сперва что-то громко стучало с более или менее правильными промежутками — стучало где-то, безусловно, вне комнаты, где я лежал, но я не знал, что этот стук доносится из коридора. Очень громкий, но все же изящный, сухой стук, щелкание. Меня мучил этот стук, впрочем, как все мучило — как мучило само мое существование. Потом стук неожиданно прекратился, и тут же я понял, что это было. Кто-то, не замеченный мною при своем входе в комнату, говорил теперь уже недалеко от меня об игре в домино. А, так вот что это — домино! Как же разрешают в больнице так громко щелкать?

Не менее громко, но так же изящно и сухо звуча голосом, человек говорил о том, что он играл в домино. Он сопровождал рассказ шутками, несмешными, привычными, скорее — просто фигурами красноречия, в свое время рассчитанными на юмор, а теперь вызывавшие во всем существе муку.

Вдруг мне удалось увидеть говорящего. Это был горбун в темном больничном халате. Так вот почему он говорил изящно и сухо — горбун, вот почему, это их свойство!

Он был молод, с большим тонким плугообразным носом — как и у многих горбунов. Волосы были причесаны назад, руки совершали, вращая кистями — большими, как у горбунов,— большие движения, вызывающие в сознании представления об открывающихся шлюзах. Он был чист, мне казалось, сух, элегантен. Все это, конечно, от вечернего света, от вечерних теней — как я мог бы лежать иначе! — но тут в больнице это лежание именно ногами вперед приобрело какой-то осо-

бый зрительный смысл. Все я видел по ту сторону ног, ступней, моих ступней, возвышавшихся надалеко, только протяни руку, приподнимись — но я не мог ни приподняться, ни протянуть руку.

Умирающего Мусоргского привезли в больницу, где мог лечиться только определенный круг военных. Его не хотели принять, кто-то помог, и композитора положили под именем чьего-то денщика. Так он и умер под чужим именем.

Набил оскомину тот факт, что Моцарт был похоронен в могиле для нищих. Так и любое известие о том, что тот или иной гений в области искусства умер в нищете, уже не удивляет нас — наоборот, кажется в порядке вещей. Рембрандт, Бетховен, Эдгар По, Верлен, Ван-Гог, многие и многие. Странно, гений тотчас же вступает в разлад с имущественной стороной жизни. Почему? По всей вероятности, одержимость ни на секунду не отпускает ни души, ни ума художника — у него нет свободных, так сказать, фибр души, которые он поставил бы на службу житейскому.

Кто этот старик, по-бабьи повязанный, бредущий без цели, вероятно уже примирившийся с нищетой и даже греющийся в ней? Это автор «Данаи» — в золотом дожде! Кто этот однорукий чудак, который сидит на лавке под деревенским навесом и ждет, когда ему дадут пообедать две сварливые бабы: жена и дочь? Это Сервантес.

Кто этот господин с бантом и в тяжелом цилиндре, стоящий перед ростовщиком и вытаскивающий из-за борта сюртука волшебно незаканчивающуюся, бесконечно выматывающуюся из-за этого щуплого борта турецкую шаль? Это Пушкин.

Делакруа пишет в дневнике о материальных лишениях Дидро. Философ думал, что это его удел — жить в конуре. Вмешательство Екатерины помогло ему уже на старости лет зажить безбедно — в хороших апартаментах, с мебелью и т. д.

Я вспомнил об этой записи у Делакруа, когда шел сегодня по Пятницкой, рассчитывая, хватит ли у меня денег на двести граммов сахара, и имел ли я поэтому право купить газету. Три года тому назад, когда жил в этом же районе, было то же самое: я иногда заходил на улицу, чтобы у кого-нибудь из писателей одолжить трешницу на завтрак. Если прошли три года с тех пор, а все то же, то и я могу думать, что это не случайность, а именно удел.

Самое дурно меня характеризующее здесь — это сравнение с Дидро. Впрочем, для меня нет никакого сомнения в том, что во мне все же живет некто мощный, некий атлет — вернее, обломок атлета, торс без рук и ног, тяжко ворочающийся в моем теле и тем самым мучающий и меня и себя. Иногда мне удается услышать, что он говорит, я повторяю, и люди считают, что я умный... Меня слушает Пастернак, и, как замечаю я, с удовольствием. Пастернак, написавший горы — горы прекрасных стихотворений, прозы, переводов из Шекспира, из Гете, Пастернак, потрясший Ахматову сравнением дыма с Лаокоо-

ном; он слушает меня, автора не больше как каких-нибудь двухсот страниц прозы; причем он розовеет, и глаза у него блестят! Это тот гений, поломанная статуя ворочается во мне — в случайной своей оболочке, образуя вместе с ней результат какого-то странного и страшного колдовства, какую-то деталь мифа, из которого понять я смогу только одно — свою смерть.

Шопен действует на нас как-то особенно, безусловно, вызывает то, что называется сладкой грустью. Безусловно, он возвращает мысли к картинам молодости — нам, старым, а молодых, вероятно, настраивает на мысли о любви, которая не сулит счастья.

Подумать, он умер всего тридцати семи лет, а сколько создал мелодий. Они вьются в нашем слухе, как живые, иной жизни, существа.

Большинству людей он известен как автор похоронного марша. Вернее, большинству людей известен его похоронный марш, об авторе которого не думают. Какими только оркестрами он не исполняется! Я видел драные тусклые трубы, из которых он лился на похоронах жертв революции, над утлыми лодками гробов, в которых лежали желтолицые матросы.

Идешь в толпе по черно-белому снегу ранней весны, и он на огромных ластах движется, покрывая нас,— этот марш, это гигантское рыдание, вырвавшееся сто лет, больше, тому назад из узкой груди молодого человека.

Иногда сквозь реальные обстоятельства моей жизни, сквозь ее обстановку — сквозь вещи и стены моего дома,— проступают образы какой-то другой жизни: тоже моей, но совершающейся не всегда ощутимо для меня, не всегда, так сказать, у меня на виду. Вдруг проступает какая-то комната, голубая от сумерек и от стен, крашенных масляной краской. Чистая комната с игрушками посередине, с кроватками вдоль стен, с фризом на масляной стене, тоже изображающим игрушки. Детская? Чья? У меня никогда не было детей. Вдруг на мгновение чувствую я, что это дети моей дочери. У меня никогда не было дочери!

Да, но я пришел к дочери. Я отец и дедушка. Я в гостях у дочери, у внуков, в воскресенье, когда меня ждали к обеду. Может быть, я пришел обедать. Скорее всего, не пришел по какой-то причине... Но зато я принес торт! Боже мой, как я помню этот квадрат торта, который неловко нести!

Пусть не думает читатель, что эта книга, поскольку зрительно она состоит из отдельных кусков на разные темы, то она, так сказать, только лишь протяженна; нет, она закруглена; если хотите, это книга даже с сюжетом, и очень интересным. Человек жил и дожил до старости. Вот этот сюжет. Сюжет интересный, даже фантастический. В самом деле, в том, чтобы дожить до старости, есть фантастика. Я вовсе не острю. Ведь я мог и не дожить, не правда ли? Но я дожил, и фантастика в том, что мне как будто меня показывают. Так как с ощущением «я живу» ничего не происходит и оно остается таким же, каким было в младенчестве, то этим ощущением я воспринимаю себя,

старого, по-прежнему молодо, свежо, и этот старик необычайно уж нов для меня — ведь, повторяю, я мог и не увидеть этого старика, во всяком случае, много-много лет не думал о том, что увижу. И вдруг на молодого меня, который внутри и снаружи, в зеркале, смотрит старик. Фантастика! Театр! Когда, отходя от зеркала, я ложусь на диван, я не думаю о себе, что я тот, которого я только что видел. Нет, я лежу в качестве того же «я», который лежал, когда я был мальчиком. А тот остался в зеркале. Теперь нас двое, я и тот. В молодости я тоже менялся, но незаметно, оставаясь всю сердцевину жизни почти одним и тем же. А тут такая резкая перемена, совсем другой.

— Здравствуй, кто ты?

— Я — ты.

— Неправда.

Я иногда даже хохочу. И тот, в зеркале, хохочет. Я хохочу до слез. И тот, в зеркале, плачет.

Вот какой фантастический сюжет!

Что я видел в своей жизни? Начну с того, что я видел только что. Через асфальтированный путь, по которому я шел вдоль Кремлевской стены — точнее, поперек этого пути, быстро продвигался воробей. Он был один на асфальте, среди большого куска блеска, едва затемненного одним лишь опавшим листом,— один маленький воробей, быстро и как-то вбок подпрыгивающий по серому тону, способному отразить большой ливень.

Он тут же достиг зеленого откоса и исчез в высокой траве и полевых цветах.

Вот что я видел только что.

Гораздо раньше я видел, как лежал, дыша целой горой груди, раскинув руки, смертельно раненный, умирающий бандит. Это было на Дерибасовской улице, когда мне было восемнадцать лет. Я не хочу, чтобы читатель искал в моей книге каких-либо наперед задуманных аналогий, смысловых перекличек. Если они получатся сами, то хорошо, их дело — сознательно же я более всего далек от желания как-либо плоско философствовать, начиная с воробья и перескакивая на бандита.

С достоверностью можно утверждать, что подавляющее большинство людей не уделяет какого-либо особого внимания звездному небу.

Часто ли вы видите человека, который, подняв голову, смотрит на звезды? Или бывало ли с вами так, чтобы в то время, когда вы сами смотрели на звезды, кто-либо подошел к вам и, догадавшись, какой звездой вы именно восхищаетесь, разделил с вами восхищение?

Пожалуй, в основном люди, живущие в городах, не предполагают, что вид неба в целые периоды года почти одинаков, что это неподвижный узор. Скорее всего, думают люди, что вечерами оно выглядит иначе, что каждый вечер взлетает и рассыпается в небе новая звездная ракета.

Иногда и сам идешь, забыв о небе, и оно над тобой как надвинутая на лоб голубая шапка с блестками.

Может быть, книга эта, которую я сейчас пишу, есть не что иное, как рассказ о том, как я все собирался попасть когда-нибудь в обсерваторию.

Когда я думаю о пещерных людях, они представляются мне стоящими во времени ближе ко мне, чем, скажем, люди средневековья.

Почему это? Может быть, потому, что они голые, грызущие кости, страдающие от холода, страха — без огня: то есть они более люди, именно люди, реальные люди, а не те, средневековые, в их фантастических одеждах, с их спорами на религиозные темы.

Странным кажется также относительно быстро наступившее в развитии человека, его, так сказать, понимание одежды, появление вкуса к ней.

В самом деле, римские тоги — некоторые были алые, некоторые с золотой полосой по подолу; в самом деле, красивые волосы готских королей, их короны; в самом деле, стремительные уже чуть ли не по десятилетиям изменения покрова, цветов, самой сущности одежды в средние века и на заре новых — уже почти рождение моды. Хотя бы красные капюшоны в соединении с таким же красным воротником с зубчатыми краями и закрывающим плечи; хотя бы туфли пажей с длинными носками и их трико на одной ноге, скажем, лиловое, на другой, пестрое, полосатое или в звездах.

Из всех надстроек раньше всего появилось художество, внимание к красоте, умение ее создавать и ей служить. Еще Гомер сравнивает убранные волосы с гиацинтом, и, пожалуй, так специально и завивали свои волосы греческие дамы — гиацинтообразно.

Когда, начитавшись Морозова, я с апломбом заявил критику Дмитрию Мирскому, что древнего мира не было, этот сын князя, изысканно вежливый человек, проживший долгое время в Лондоне, добряк, ударил меня тростью по спине.

— Вы говорите это мне, историку? Вы... вы...

Он побледнел, черная борода его ушла в рот. Все-таки перетянуть человека тростью тяжело физически, главное, морально.

— Да, да, Акрополь построили не греки, а крестоносцы! — кричал я.— Они нашли мрамор и...

Он зашагал от меня, не слушая, со своей бахромой на штанах и в беспорядочно надетой старой лондонской шляпе.

Мы с ним помирились за бутылкой вина и цыпленком, который так мастерски приготовляют в шашлычных, испекая его между двумя раскаленными кирпичами, и он объяснил мне, в чем мое, а значит, и Морозова невежество. Я с ним согласился, что древний мир был, хотя многие прозрения шлиссельбуржца до сих пор мне светят.

Как бы там ни было, но то, что он создал свою систему отрицания древнего мира, гениально. Пусть сама система и невежественна, но сам факт ее создания, повторяю, гениален, если учесть то обстоятель-

ство, что Морозов был посажен в крепость на двадцать пять лет, то есть лишен общения с миром, по существу, навсегда.

— Ах, вы меня лишили мира? Хорошо же! Вашего мира не было!

Ведь и проложить дороги было чудом соображения и техники!

Дорог не было. Овраги, грязь, волнистость почвы — груды камней, вместо прямого пути извилины, сделанные природой, заросли, вот по какому пути двигались люди. Даже греки с их государственным устройством и искусством. Трудно собрать в воображении воедино греческую тогу, стихи Сафо, архитектуру Акрополя, изящество мифов, Сократа и суд над ним — трудно собрать это воедино с отсутствием дорог. Все же их не было. Как торговали? Даже как воевали? Как могли идти строем? Шли толпой, когда одна часть отряда появлялась из-за пригорка, другая — вязла в болоте. Что двигалось по волнистой, в расселинах и нагромождении камней дороге? Телеги в упряжке? Всадники? Ничего не поймешь.

Появившиеся дороги римлян были таким могущественным изобретением, что они сохранились до сих пор.

Кто их строил? Рабы? В чем они жили? Бараки? Под открытым небом? А если шел дождь? Как себе все это представить. Хорошо, о рабах не слишком заботились, били плетками, покупали, но как в таком случае они могли работать производительно? Как их кормили? Приезжали кухни? Откуда? Как они выглядели? Брали еду с собой? Питались плодами растущих поблизости деревьев? Как они их сразу же не объедали? Ничего не поймешь.

Чем строились дороги? Римская лопата, кирка, лом, были ли они? Для выравнивания нужны катки. Что такое римский каток?

Можно ли представить себе множество рабов, которые скребут чуть ли не руками — а чем же? Хватит ли на всех орудий? — потеют, хотят есть, кричат, дерутся, мочатся, испражняются, умирают.

Кто их конвоирует и стережет? Как кормится конвой, на чем спит? Ничего не поймешь.

Хочу ли я славы? Нет. Хотелось бы не славы, а путешествия по миру. Даже странно представить себе, что есть иной мир, есть, например, бой быков. Тореадор, проделав какой-то пассаж борьбы с быком, оборачивается вдруг спиной к быку, как бы забывает о нем и, подбоченясь, идет по направлению к ложе президента. Он не знает, что делает за его спиной бык — может быть, мчится на него на своих маленьких, шатких ножках!

Видел вчера в «Новостях дня» на Сретенке иностранную хронику. Бегут худенькие фигурки индонезийцев в касках и с автоматами, горит, раздуваясь огнем и дымом, огромный костер из сжигаемых бумаг и предметов, выброшенных из многоэтажного дома... Это разгром межнациональной комиссии по миру во Вьетнаме.

Современное кино снимает хронику очень эпично, с применением приемов художественной кинематографии (ракурсы, крупные пла-

ны). Серо в воздухе от дыма, в нем мелькают каски, серый воздух, серый асфальт, черные мечущиеся полотнища дыма.

Я искал эту хронику ради того, чтобы увидеть включенный в нее кусок из испанской жизни — бой быков (что этот кусок включен, я узнал из газеты). И вот начинается этот кусок. Надпись или диктор, не помню, сообщает, что в Испании до сих пор сохранился бой быков и что сейчас будет показана хроника такого боя в цирке в Мадриде и с участием знаменитого матадора.

Сперва я увидел кусок цирка, залитого солнцем некоего колизея, который, будучи показан в ракурсе, чем-то был похож на торчком поставленный кусок арбуза с кишением косточек-людей. Потом мелькнули крупным планом две почти голые, шевелящие веерами и залитые солнцем испанки. Потом средним планом я увидел пикадора верхом на лошади, которую, поджидая быка, он заставлял стоять почти на месте и сжато, пружинисто перебирать ногами. Черный бык среди пустоты арены бежал спиной ко мне с двумя воткнутыми в него шпагами в лентах, напоминая поврежденное насекомое, никак не умеющее подобрать волочащиеся надкрылья. И тут кадр заполнился почти во всю свою величину двумя фигурами — быка и матадора! У меня от страха и восторга стало стучать сердце. Так вот что делают эти матадоры, эти «эспада»! Он очень близко к быку — во всяком случае, в соприкосновении с его телом,— он опутан его телом, которое бежит вокруг него, преследуя полотнище, которым тот, знаменитый матадор, играет. Я чувствовал в эти несколько мгновений, пока колыхался передо мной этот темный, как бы тяжело дышащий кадр с быком и матадором, приведенными в движение, тайные и очень мощные силы души. Я был и женщиной, влюбленной в матадора, и, наоборот, как раз больше всего презирал в эту минуту женщин, и все время у меня стучало сердце, и я готов был кричать вместе с этим древним цирком.

Ну и ответил бы мне на это Маяковский, который, видя бой быков, жалел, что к рогам быка не прикреплен пулемет, который стрелял бы по зрителям!

Франклин начал сознательно жить уже культурной, почти нашей современной жизнью, в ту эпоху, когда в России был Петр, потом Анна, Елизавета. Подумать только: франклиновские правила нравственности, его типография, громоотвод — и елизаветинское вырывание языков!

Когда читаешь тенденциозно подобранные факты, личность кажется поразительной. Это своего рода «мирный» Наполеон. Та же всеобъемлющая энергия, только направленная на мирные цели.

Вдруг наталкиваешься на его злорадство по поводу приверженности индейцев к алкоголю и вследствие этого их вымиранию... Вот и историческая ограниченность! Индейцев он называет жалким племенем и высказывается в том смысле, что было бы лучше, если бы «Провидение заменило их трудолюбивыми хлебопашцами»... Кем же? Плантаторами с их рабством?

Для рождающегося нового мира буржуазии действительно открыватель, вождь. Кстати, это ему принадлежит выражение «са ира».

Когда французы спросили его о его взгляде на дела их революции, он сказал:

— Са ира!

(Ничего, мол, дело пойдет!)

Более всего увлекательное для меня чтение — о французской революции. Что-то есть близкое моей душе в этих событиях. Странно, что, читая почти всю жизнь о французской революции и особенно любя это чтение, я тем не менее точного представления о предмете — если бы, скажем, экзаменоваться — не знаю. Только толпа передо мной — в полосатых штанах, с пиками; только желтые стены тогдашних парижских домов; только силуэты сидящих на фоне окон членов конвента... только пятна, краски — Бонапарт со своей фантастической наружностью, колышущаяся шляпа Барраса...

На днях как раз умер большой знаток всего этого — Тарле. Кстати говоря, от его писаний, хоть в некрологе он и назван большим художником слова, не остается того именно художественного, поэтического впечатления, какое остается, например, после чтения Тьера, Милле, Луи Блана, Гейсера. Скорее, ощущение компиляции.

Тьер против Робеспьера и, гениально пиша свою историю именно как писатель, он изображает его отвратительным, кровожадным, душой террора, любимцем женщин, чистехой, ханжой, любителем апельсинов. Луи Блан, наоборот, поклонник Робеспьера и говорит, что как раз те, кто его свалил, были вождями террора, и когда читаешь Блана, становится жаль Робеспьера, особенно в ту минуту, когда, раненный в челюсть пистолетной пулей жандарма Меда, он лежит в ратуше, на столе, всеми покинутый, и вытирает кровь кобурой пистолета,— представьте себе прикосновение к ране кожаной и, по всей вероятности, шитой металлическими нитями кобуры. Это властитель Франции, уже начавшей потрясать мир.

У Тьера фаворит Наполеон. От описания его Египетской экспедиции осталось у меня впечатление, как если бы мне рассказали прямо-таки волшебную сказку о юном герое, кому доступно одинаково как ведение войны, так и мысли, опережающие век!

После одной из операций против турок, закончившейся их полным разгромом, Клебер обнимает Бонапарта за талию — за эту узкую талию эпохи Революции, опоясанную высоким шарфом — и говорит:

— Генерал, вы велики, как мир!

Уезжая из Египта брать в руки власть над Францией, Бонапарт оставит своим заместителем этого Клебера. Следует помнить, что у французской стороны нет флота, уничтоженного Нельсоном, они обречены пребывать в Африке, может быть, и до конца жизни. Нелегко стать во главе этой армии. Клебер, влюбленный в Бонапарта, ставится во главе ее и вскоре падает мертвым под кинжалом фанатика.

Редко какое чтение так увлекательно, как чтение о Наполеоне. Он в каком-то салоне, будучи молодым генералом, в период ухаживания за Жозефиной, разыгрывал какие-то импровизации, изображая

черта, строя гримасы, сверкая зубами. Свидетельница, в чьих воспоминаниях описана эта сцена, сообщает, что ему очень удавались эти импровизации, поскольку со своим темным лицом и белыми зубами он как раз походил на черта.

Его обычно изображают белолицым. Стендаль пишет о ровной и, как он замечает, производящей здоровое впечатление бледности. Ипполит Тэн в книге «Наполеон» (она у нас мало известна) говорит, что этот род был в прошлом, по всей вероятности, сарацинским. На Корсике, говорит он, много сарацинских погребений. Наполеон представляется Тэну сарацином, арабом. У него темное лицо (как об этом пишет упомянутая дама), и, только творя легенду, его делали белым. От того, что он араб, происходит и жестокость его по отношению к Европе, равнодушное проливание им крови европейцев. Размышление, во всяком случае, талантливое.

Впрочем, Стендаль, бывший рядом с ним, так сказать, сослуживец, говорит, как уже сказано, о бледности. Что мы знаем об этом! Во всяком случае, братья кажутся черномазыми, итальянцы. Голова работы Кановы в Эрмитаже прелестна по европеизму, изящна, мечтательна, грустна, обреченно-туманна.

— Смотри,— сказал мне Катаев,— в ней нужно узнать Наполеона, правда?

Да, она туманна, эта мраморная голова, и черты, известные вам, проступают не сразу. Сперва это только грустный, понимающий свою обреченность человек.

После него — Канова, Россини, Байрон. После него фаланга — великолепных побед юности. Бетховен? Бальзак? Лермонтов? Можно сказать, эта таинственная судьба взывала именно к юности, брала юность под защиту, благословляла ее. Так ли это? А ведь если бы не брат, он не захватил бы власти. Стоит ли смешивать юношу Лермонтова с юношей, велевшим порубить саблями три тысячи египтян на берегу Нила? Может быть, эти юноши и окружили это итальянское черномазое лицо венком?

Нет, все же это он вызвал на собрание герцогов и королей в каком-то немецком городе поэта Гердера, и, когда тот явился чуть ли не в домашних туфлях, за неимением других, император в течение нескольких часов разговаривал только с ним и только ему оказывал внимание. Нет, все-таки это было чудо — глубоко европейское — вот именно атлантическое, все в колорите не слишком далеких расстояний, названий столиц, народов, гор, рек.

Мы еще вернемся к нему. Он все время шумит где-то за нами. До сих пор шумит!

Самое привлекательное для моего внимания за всю мою сознательную жизнь была оглядка на существование за моей спиной Наполеона. Чем так привлекает эта судьба? Она есть не что иное, как символ человеческой жизни с ее молодостью, устремлением в будущее и концом, все еще устремленным куда-то — в закат, в даль острова Святой Елены.

Читать о Наполеоне, по всей вероятности, приятно по той при-

чине, что от этого чтения рождается ощущение бессмертия. Эта победа молодости вызывает представление о нескончаемой протяженности в будущее, о бессмертии. От этого именно нравятся нам более молодые знаменитые, успехи молодых, а не старых. Те все равно умрут, уже в морщинах и с желтыми глазами, а эти, возможно, начинают эру бессмертия.

Я никогда не видел пирамид. Как странно, что они есть. Как странно, что под ними давал сражение Бонапарт. Только представим себе мундиры офицеров времен Французской революции среди желтизны пустыни.

Всю жизнь взгляд устремлялся в закат. Трудно представить себе что-нибудь более притягательное для взгляда, чем именно эта стена великого пожара.

Так ли бедно нужно сравнивать закат?

Греки видели как раз пожар, в котором гибнет Фаэтон. По всей вероятности, закат принадлежит к тем проявлениям мира, которые могут быть сравнены с чем угодно. Там громоздится город, растут башни, прокладываются длинные дороги. Иногда это Библия, видение Иезекиля с гигантской гитарой лучей, иногда птица-лира, иногда тихий воздушный флот, удаляющийся с приветом от нас в страну друзей, которые нас оставили.

В старости есть некий театр. Безусловно, мне что-то показывают. Ведь я мог бы и не дожить до старости! Мне скажут, что я также мог бы не дожить и до любого года. Верно, но любой год в молодости и зрелых годах мало чем отличается от другого года, от целых десятков лет... А старость это совсем новое, резко ново. И я это вижу! Отсюда ощущение, что тебе что-то показывают, что ты в театре.

Вчера меня просто отогнал от своего киоска газетчик-еврей. Я вмешался в неправильную, как мне показалось, его торговлю. Он задерживал девушку, хотевшую купить Горького.

— Восемь рублей,— говорила девушка.

— Тут еще копейки,— говорил он, вставляя свою лиловую голову в страницы.— Копейки...

— Копейки! — закричал я.— Как вам не стыдно! Девушка хочет купить книгу, а вы с копейками!

Он меня просто стал гнать.

— А ты что? Вон! Пошел вон!

Еще бы, стоит старик в оборванной одежде.

— Вон!

Девушка сияла между нами, улыбался Горький.

— Старик, ты на краю гроба,— сказал я,— как же ты...

— Вон! Пошел вон!

Он так полиловел, что я думал — умрет. Я ему показался пьяным стариком, христианином, шляющимся, может быть, в запретный с его, еврея, точки зрения час.

— Вон! — услышал я, уже удаляясь.— Вон!

Конечно, театр! Думал ли я, мальчик, игравший в футбол, думал ли я, знаменитый писатель, на которого, кстати, оглядывался весь театр, что в жаркий день, летом, отойду от киоска, прогнанный, и поделом.

Существовало мнение (в XIX веке), что паук умеет ходить по воздуху. Это верно, нить, которую он прядет, не заметна в воздухе — и кажется, он прямо-таки шагает в пустом пространстве. Что это — Паук? Что это за удивительная машина? Попробуйте представить его себе величиною в наши машины — каких только частей вы не увидите, каких только сочленений! И из машины этой тянется вырабатываемая ею нить!

Он похож на восьмерку, этот паук, на грязно написанную кем-то восьмерку!

Иногда видишь весом в несколько тонн муху, повисшую на паутине. Да, да, именно в несколько тонн, если представить себе все масштабы драмы увеличенными до наших размеров. Синее в серебре тяжкое тело мухи висит в непонятных для нас путах... Как же они крепки, если в дни, когда они еще только прядутся, мы их прямо-таки не видим — только вдруг что-то блеснет!

У входа на Большой Каменный мост — пикет, не пропускающий в ту сторону, к центру, поскольку еще проходят через Красную площадь демонстрации.

На правом фланге пикета начальник его — майор милиции, большого роста, могучего сложения, с длинным, очень интересным, странным для глаза лицом. Не то это артист со следами грима, не то какой-то двойник генералов двенадцатого года. Шитый воротник парадного мундира, синий мундир, розовое лицо, голубые глаза. Хоть и как бы свирепый, но, видно, добрый. Выше всех на голову — не одного человека, а именно всех: всей шеренги, всей толпы, виден со всех сторон, голова большая, с несколько чрезмерно длинным и прямым затылком, придающим ей некую чурбановидность.

Задание его — никого не пропускать. Его осаждают, из которых большинство подвыпившие. Требует показать паспорт. Если живешь в том направлении и близко, пропустит.

Витте приводит рассказ о том, как Вильгельм II, будучи еще наследным принцем, однажды, когда императора Александра III провожали из Берлина, бросился отнимать у казака плащ, который тот держал готовый подать императору. Он сам решил подать его императору!

Это давняя идея поклонения избранному, поклонения вождю, властителю. Идея беспрекословной дисциплины, радостного уничиженного служения старшему.

Василий Васильевич Шкваркин рассказывал мне о так называемом «цуке», как он применялся в Николаевском кавалерийском училище, где он учился. Старший юнкер мог заставить сделать младшего

самые невероятные вещи. Младшие вовсе не протестовали, наоборот, с воодушевлением выполняли все нелепости, очень часто доставлявшие им и физические страдания.

— Как же так! — сочувствовал я младшим,— ведь это ужасно! Как же на это соглашались?

— Юра,— сказал Василий Васильевич картавя,— никто ведь не заставлял их подчиняться цуку. Когда юнкер только поступал в училище, его спрашивали, по цуку ли он будет жить или ему не хочется по цуку?

— И он мог не согласиться?

— Боже мой, ну, разумеется, но если он отказывался от цука, то его могли не принять в какой-нибудь приличный полк. Тогда уж на задворки!

Вот и жара. Солнце заходит в абсолютной тишине и неподвижности света, некий штиль небесного океана.

Кинематографисты подхватили кем-то неквалифицированно рассказанную версию, будто бы принадлежащую Эйнштейну, о невращении земли вокруг оси. С покачиванием голов и переглядыванием невежд говорят об этом за столиком «Националя».

Как я постарел! Как страшно я постарел за эти последние несколько месяцев! Что со мной будет? Сегодня ел черешню без обычного ощущения упоения. Даже и эти медленно катившиеся шарики вдруг сразу рванули с места — и догоняй их!

А прежде хотелось сравнивать их — форму, вкус; хотелось воображать воробьев, которые клюют их, думалось, что это дождь — черешня, чуть сладкий свежий-свежий дождь!

Я, кажется, становлюсь графоманом. Ура! В последнее время что-то стало происходить с моим почерком — то я писал одним, то другим: прямым, наклонным, очень наклонным. Иногда я вдруг терял способность писать пером, чернилами. Мог писать только карандашом. И странно, от карандаша почерк становился четким, круглым и прямым, почти откинутым назад, от пера — тотчас же строки начинали становиться грязными, стертыми, отталкивающего вида. И, кроме того, многое исчезало бесследно — буквально слезало с листа! О, какая это была мука!

Затем присоединился факт, еще более расшатавший и без того расшатанную технику писания — я бросил курить. Тут уж совсем разладилась связь между головой и рукой. Казалось, навсегда утрачено то чудо — владение скорописью! От того, что я писал, не куря, тяжко стучало сердце... Помню, в Голицыне, написав фразу, я вскакиваю, выбегаю на эту дачную, пыльную, зеленую с гусями и козами дорогу. Какая мука! Боже мой, какая мука! Доходило до того, что я писал в день не больше одной фразы. Одна фраза, которая преследовала меня именно тем, что она — только одна, что она короткая, что она родилась не в творческих, а в физических муках. Казалось, она подернутая рябью, бежит за мной, зацепляется за дерево, разглажи-

вается на шерсти козленка, опять бежит, наклеивается этикеткой на четвертинку. Это был бред, это было разговаривание с самим собой, мука, жара — некурение и утрата владения письмом...

Что за колдовство все-таки! Почему, когда пишу для себя, пишу легко и хорошо — когда для печати, мусолю, вымучиваю?

Легко представить себе какой-нибудь день во Флоренции или в Венеции в очень давнюю эпоху. Лето, синева неба, золото соборов, статуи... Скажем, тот же Давид на площади Синьории. Возможно, идет через площадь Микеланджело, о котором юный Рафаэль сказал, что ходит «мрачный, как палач». Менялы, солдаты, торговцы, ремесленники, дети, женщины с золотыми сеточками в прическе. Словом — люди, те же люди, ничем не отличающиеся от нас, такие же люди на паре ног, с парой глаз, с парой рук, с соринками, влетающими в ветреный день в глаз, и как те, которые стояли вчера у входа на Большой Каменный мост.

И вот эти люди убеждены, что солнце движется вокруг земли. Никому не приходит в голову допустить, что это только оптический обман. Все живут в такой системе мышления, когда земля именно в центре мироздания.

Что же, считает себя какой-либо князь от этого невеждой? Или какой-нибудь Пико ди Мирандолла? Или какая-нибудь молодая мать, которая позирует Тициану, считает себя от этого менее счастливой? Менее ли она красива от этого? Еще не проявил великого чуда ориентировки ксендз в Польше. Еще наиумнейшие убеждены, что есть поющие сферы,— что же, думают ли эти люди, сокрушаются ли они о том, как они отстали, на каком низком уровне стоит у них образование? Нет! В том-то и дело, что каждый век рассматривает себя как стоящего на вершине! Так когда-нибудь и на сегодняшний наш день, как я сегодня на день Флоренции, оглянется кто-нибудь и, как я, представит себе, что в ту эпоху — подумать только — люди жили всего пятьдесят лет! Ну что ж, скажет он, разве они были менее счастливы или менее красивы, чем мы, живущие триста лет?

Удивительно, что Савонаролла организовал себе помощь из детей. Отряды маленьких доносчиков, конфискаторов, уничтожателей ценностей. Потом, когда горит костер, в котором, между прочим, погибают и картины Боттичелли, дети и старики пляшут вокруг.

Когда Кеплер предложил издателю свое астрономическое сочинение и тот отказался, последовала реплика Кеплера, которую стоит приводить всегда, когда она ни вспомнится.

Я могу подождать читателя еще сто лет,— так примерно сказал Кеплер,— если сам господь ждал зрителя шесть тысяч лет.

Другими словами, этот человек счел себя первым зрителем того, алмазного театра, который показывается там, в небе. И ведь это верно — если он первый увидел чертеж, механизм, коллизию этого зрелища, то он и был первым зрителем. До него смотрели, не понимая.

Он был одним из последних астрологов. Между прочим, им был составлен гороскоп для Валленштейна.

Небесные тела, доказал Кеплер, движутся по фигурам конического сечения — кругу, эллипсу, параболе, гиперболе. Ревизовано ли это современной астрономией?

Фразу Кеплера о небесном театре запомнил Делакруа. По всей вероятности, он узнал ее из того же источника, что и я. Он по другому поводу называет этот источник. Это Эдгар По. У него есть космогония — «Эврика». Там Эдгар приводит фразу Кеплера.

Эта книга «Эврика» — несказанно великолепна, поэтична, гениальна. На полях книги, имевшейся у меня, взятой мною в библиотеке, то и дело замечания современного читателя, человека, знающего предмет. И замечания эти сплошь подтверждение догадок По, восхищение ими.

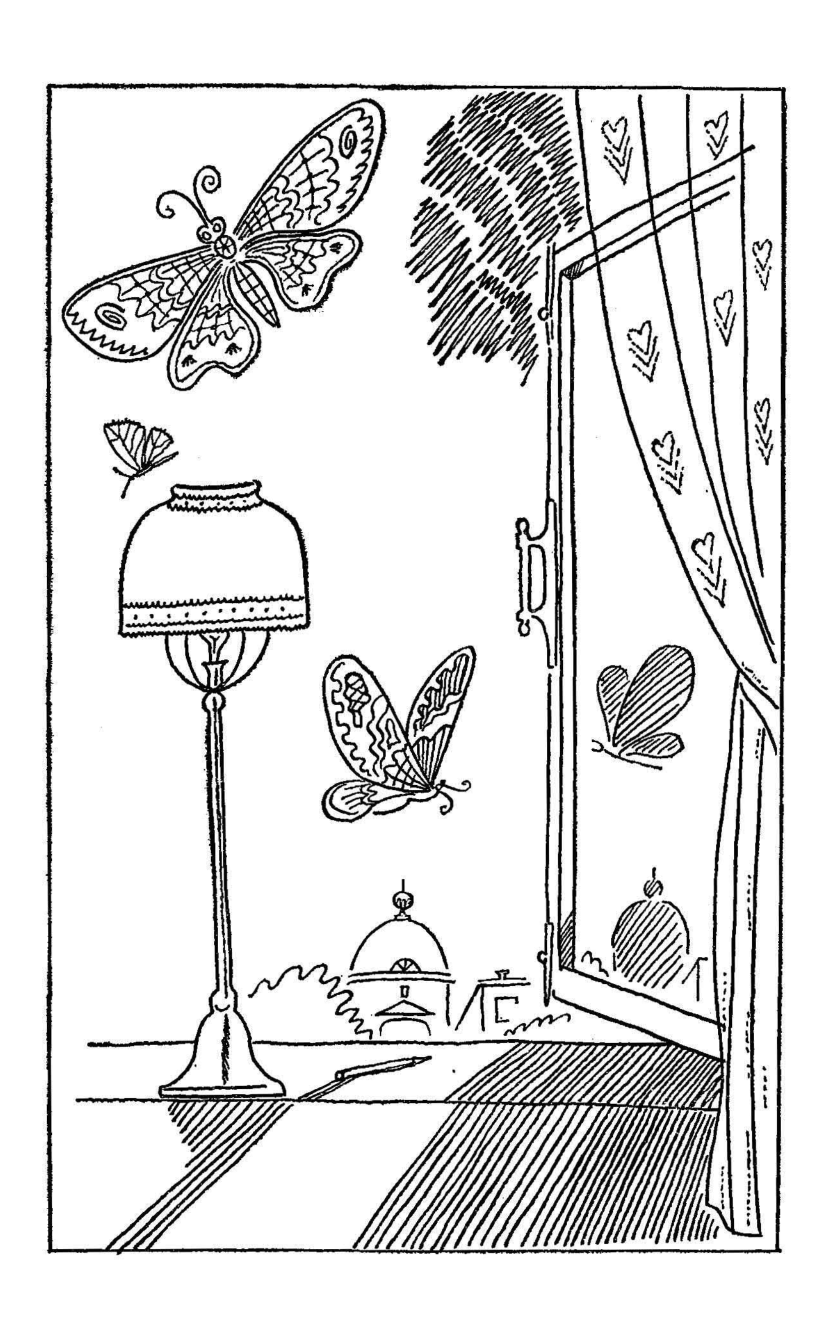
Когда я хотел перейти Арбат у Арбатских ворот, чей-то голос, густо прозвучавший над моим ухом, велел мне остановиться. Я скорее понял, чем увидел, что меня остановил чин милиции.

— Остановитесь.

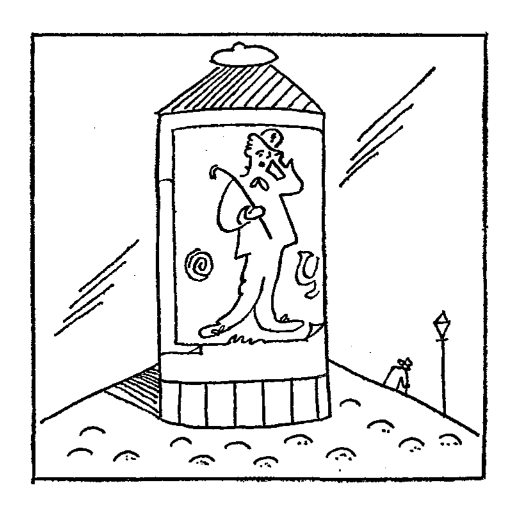
Я остановился. Два автомобиля, покачиваясь боками, катились по направлению ко мне. Нетрудно было догадаться, кто сидит в первом. Я увидел черную, как летом при закрытых ставнях, внутренность кабины и в ней особенно яркий среди этой темноты — яркость почти спектрального распада — околыш.

Через мгновение все исчезло, все двинулось своим порядком. Двинулся и я.





ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
ЗОЛОТАЯ ПОЛКА



Золотая полка — это та, которая заводится исключительно для любимых книг.

Я давно мечтаю об этом — завести золотую полку. Это та полка, на которую ставятся только любимые книги. В мечтах мне рисуется именно полка — никак не шкаф, а именно одна полка, один, если можно так выразиться, этаж шкафа. Где раздобыть такую? Пожалуй, нужно заказать столяру. Почему я ограничиваюсь только мечтой? Что, трудно и в самом деле позвать столяра, потолковать с ним, описать ему, что я именно имею в виду. Нет, все же не зову, и мечта остается неисполненной. Может быть, это происходит потому, что не так легко золотой полке стать реальностью — все же это золотая полка, которых не так уж много на свете. Во всяком случае, я не видел такой ни в одном доме.

Иногда мне представляется простая из четырехугольных форм полка, иногда, наоборот, я вижу кое-какую вычурность — не только кое-какую, пустяк: скажем, какие-нибудь витые столбики по концам.

Может быть, я не завожу этой полки из-за отсутствия в продаже золотой бумаги? Верно, теперь ее не продают... Помню эти золотые с тисненым рисунком листы, которые так украшали детство. Для чего они продавались? Кажется, они применялись при изготовлении елочных игрушек. Лист был величиной в нормальный лист писчей бумаги, и обратная его сторона — в данном случае хочется сказать подкладка — была белая. Белая и какая-то странная — как бы чуть-чуть пушистая, чуть-чуть... Как уже сказано, на ней был тисненый рису-

нок, нечто вроде цветов на замерзшем окне; только цветы либо серебряные, либо голубые, а этот узор был золотой. Но по рисунку это были как раз эти цветы.

Парадоксально — но наиболее замечательные книги, которые мы в течение жизни постоянно перечитываем, забываются, не удерживаются в памяти. Казалось бы, должно быть наоборот — книга, произведшая на нас впечатление, да еще читанная не однажды, должна была бы запомниться во всех подробностях. Нет, этого не происходит. Разумеется, мы знаем, о чем в основном идет в этой книге речь, но как раз подробности для нас неожиданны, новы — не только подробности, но и целые куски общей конструкции. Безусловно, так: замечательную книгу мы читаем каждый раз как бы заново... И в этом удивительная судьба авторов замечательных книг: они не ушли, не умерли, они сидят за своими письменными столами или стоят за конторками, они вне времени.

Шелли говорит, что удивительное свойство греков состоит в том, что они все превращали в красоту — преступление, убийство, неверие, любое дурное свойство или деяние. И это правда — в мифах все прекрасно! Непослушание Фаэтона превращается в огненное падение его коней, в миф о закате. В красоту превращена месть богов по отношению к Ниобее: ее детей уничтожают стрелами — беспощадно, одного ребенка за другим. Как это ни страшно, но событие по форме прекрасно, в особенности когда мы постигаем, что стрелы — это солнечные лучи.

Тут напрашивается мысль, что искусство,— если художник все превращает в красоту,— где-то в глубине безнравственно. Ведь в самом деле, описывая, скажем, смерть героя, художник заставляет его умирать как можно более выразительно, уводит это печальное событие в область красоты. Разве это не безнравственно? Не заключена ли безнравственность, например, в предсмертном бреде Андрея Болконского, приобретающем вид воздвигающегося над ним здания иголок, каковой бред есть именно изобретение Толстого в области красоты? В самой попытке изобразить, украсить бред больного не заключена ли безнравственность?

А, может быть, вводя страдание в область красоты, художник тем самым платит страдающему за его муки какой-то высшей ценой?

Когда-то я, описывая какое-то свое бегство, говорил о том, как я прикладываю лицо к дереву — к лицу брата, писал я; и дальше говорил, что это лицо — длинное, в морщинах и что по нему бегают муравьи.

Он был еле виден во мраке своего окошечка, мерцал в нем. Тем более сильно ощущалась виноватость. Он ударял два раза костяшкой среднего пальца по подоконничку, грехи этим отпускались. Я поднимался с колен.

Данте замечательно изображает первое появление ангелов по пути целой группы душ, поднимающейся по чистилищу. Грешники

видят их внезапно. Их два. Один спускается пониже, другой остается наверху. Оба садятся на камни. У них такие лица, говорит Данте, что их можно сравнить с мечами, отражающими солнечный свет.

От Чистилища исходит таинственная, ни с чем не сравнимая, поэзия. Об этом я буду еще писать и писать.

(О Данте.) Сперва о нем знаешь только то, что знают все: автор «Божественной комедии», умер в изгнании — на паперти в Равенне, любовь к Беатриче; «горек чужой хлеб и круты чужие лестницы». Ну и, конечно, с детства не покидает воображения фигурка в красном с зубчатыми краями капюшоне, спускающаяся по кругам воронки...

И вот, собравшись с духом, вы начинаете читать, прочитываете, и перед вами — чудо! Вы никогда не думали, никогда не допускали, что это так превосходно, так ни с чем не сравнимо. Вас обманывали, когда говорили вам, что это скучно. Скучно? Боже мой, здесь целый пожар фантазии!

Уже не говоря о точной и нежной поэзии, о грустных фразах, об удивительных эпитетах...

Будем помнить: Данте спускается в ад живой — не в качестве тени, а именно живой, таким же человеком, каким был у порога ада, на земле. Все остальные — тени, Данте — человек. Тень также и Вергилий — проводник Данте по аду. Густав Доре, иллюстрировавший «Ад», впрочем, в рисунке не делает разницы между Данте и тенями. Тени имеют тот же облик, они не клубятся, ничто сквозь них не просвечивает. И сам автор не описывает их как-либо особо, он их только называет тенями в том смысле, что они уже умерли, не люди. Доре, правда, изображает Вергилия чуть могущественнее, чем его гостя, как если бы рядом с человеком стояла, скажем, статуя. Во всяком случае, Данте порой приникает к Вергилию, ищет у него на груди защиты.

Бесы, то и дело попадающиеся на пути Вергилия и Данте в виде отдельных групп — своего рода пикетов, дозоров,— сразу же замечают, что Данте живой, что он человек. У-у, как им хочется его схватить! Однако не решаются: мешает присутствие Вергилия — для них загадочное, не ясное, но какое-то, безусловно, ответственное, властное. Если бы не Вергилий, Данте несдобровать! Данте это понимает и смертельно боится бесов, которые на него прямо-таки ярятся.

И вот оба они, и мертвый поэт и живой, вдруг сбились с пути. Вергилий встревожен, что касается живого поэта, то тот в ужасе: в самом деле, ведь провожатый его в любую минуту — отозванный почему-либо высшей силой — может исчезнуть! Он останется один! Один в аду — где сами имена ужасающи: город Дит, «злые щели»!

Так сказать, ориентиром для Вергилия служил мост. Вот тут он и должен быть, этот мост. Моста, однако, нет. Может быть, с самого начала было взято неверное направление? Пикет бесов — просто подлая пьяная банда — оказывается тут как тут.

— Тут есть поблизости мост? — спрашивает Вергилий.

— Есть! — отвечает один из бесов. Надо помнить, между прочим, что они крылатые. Представьте себе эту дюжину крылатых уродов, которые, отвечая Вергилию, перемигиваются. Да, да, именно так Данте и пишет: они перемигиваются!

— Есть мост! Есть! Вот там! Туда идите!

Моста нет и там (он вообще разрушен), но бесам хочется навести на обоих путников панику, окончательно сбить их с пути. У бесов, кстати говоря, имеются клички. Как у воров и убийц — клички! И они издают похабные звуки. Изображают, говорит Данте, «трубу из зада».

Данте видит эти перемигивания бесов, точно оценивает смысл их поведения — однако что поделаешь! Вергилий следует по пути, указанному бесами, и не находит моста...

У меня нет под рукой книги, и я не могу вспомнить, чем окончилось приключение... Я только приведу ту необычайную мотивировку, которую изобрел автор для объяснения, почему не оказалось моста. Он обвалился во время того землетрясения, которое произошло в аду, когда туда спустился Христос!

Какая мощь подлинности!

Не удивительно, что, встречая Данте на улицах Флоренции, прохожие отшатывались в священном страхе:

— О, боже мой, он был в аду!

Мне бы хотелось приблизить этого великого автора к русскому читателю. Конечно, не только из желания оказать ему исключительно, так сказать, информационную услугу, сделать его более образованным, взялся бы я за эту задачу — еще хочется поделиться с ним тем прекрасным, которое сейчас у меня на руках... Что может быть более радостного, чем делиться прекрасным!

Рай, по Данте,— это лес. Переход от Чистилища к Раю незаметен. Вдруг становится светлей и безопасней. Изображен ручей, почти река, которая бежит среди леса. Беатриче появляется на колеснице, запряженной грифонами, в бело-зелено-красной одежде, окруженная старцами. Данте видит все это отраженным в реке. Он встречает ее, стоя на берегу по ту сторону реки. Она благодарит его за то, что он любил ее, но укоряет за суетность, которую он проявлял на земле,— за политиканство.

В аду, по Данте, находятся не только грешники — в нем заключены также и те, кто не близок к Христу в силу, если можно так выразиться, исторической несовременности: черти древности, например.

Также и новорожденные младенцы, не успевшие принять крещение, находятся в аду. Но только тот ад невинных — не тот ад, в котором находятся грешники. Это особое место в аду, город Лим, место вечных сумерек, унылого покоя.

В этом городе Лиме помещает Данте также и великих поэтов древности.

Кроме цеховых организаций, к которым мастера прямо-таки обязаны были принадлежать, существовали еще и братства — своего рода вольные союзы мастеров, объединявшихся в данном случае не склонностью к религиозному способу воспринимать жизнь, по любви к благотворительности.

По правилам этих братств, когда умирал кто-нибудь из «братьев», его тело охранялось в течение ночи.

Можно представить себе, как они дули вино в эту ночь!

Сегодня в «Литературной газете» известие о смерти Михаила Лозинского. Он перевел несколько трагедий Шекспира, перевел «Божественную комедию». С его именем у меня связана одна из радостей моей жизни — в его переводе я прочел впервые Данте.

Я не помню, видел ли я его когда-либо. Наверно, видел, знакомился — но не могу восстановить, какой он — Лозинский. Вот он уже в раю. Имею ли я право так распоряжаться? Поэты, кстати, по Данте, пребывают ни в Аду, ни в Чистилище, ни в Раю. Они — нигде, в городе, который называется Лим, среди сумерек. Данте встречает там группу поэтов, среди которых Гомер — «с мечом», говорит Данте.

Вечная память поэту, пересказавшему на другом языке великое произведение!

Я рад, что мое восхищение автором «Божественной комедии» разделяет такой великолепный писатель, как Оскар Уайльд.

Правда, великолепный писатель!

Мне нет никакого дела до его манифеста, который без страха чего-либо потерять можно и не читать.

Он сочинил «Портрет Дориана Грея» о плохом человеке, который неизменяемо оставался молод, в то время как его изображение на портрете превращалось в старика, тем более страшного, что оригинал, как уже сказано, был плохим человеком, совершал преступления.

Он написал сказку «День рождения инфанты» — о трагедии мальчика-карлика, влюбившегося в принцессу, и сказку «Звездный мальчик» — о злом мальчике, который не любил своей матери за то, что она некрасивая, а между тем она, нищенка, была прекрасна душой.

Целый ряд замечательных статей об искусстве (в их числе о Данте) вышел из-под его пера.

Он умер преследуемый обществом, отбывший тюрьму, в нищете, в Париже, снимая жалкую комнату у хозяина, который единственный возложил на его гроб венок, хоть умерший и задолжал ему много по неплатежу за комнату.

Его портрет изображает человека с тяжелым лицом, маленькими глазами — некоего англичанина конца викторианской эпохи. Этот англичанин, между прочим, написал пьесу по-французски — знаменитую «Саломею», где царь, следя за танцем своей приемной дочери, вожделеет к ней, по поводу чего его жена, мать Саломеи, отпускает нелестные для него остроты — хоть с ревностью, но и с высокомерием, с сознанием своей власти над ним.

Нельзя, конечно, говоря об Уайльде — именно о «Портрете Дориана Грея»,— не вспомнить об Эдгаре По. Конечно, уайльдовский

роман родился из «Вильяма Вильсона» Эдгара. Та же тема добра и зла в виде двойников. Это он, Эдгар, первый решил эту тему таким образом: двойники.

Опять похолодание, северный ветер, тучи — вернее, именно то, что совершенно точно называется «облачностью». Эти не по сезону перемены действуют на психику с такой силой, что, проснувшись в такое внезапно оказывающееся холодным и пасмурным утро, вдруг с раздирающей грустью начинаешь думать о жизни, подводить итоги, ничего не ждешь. Такое сильное действие, как если бы вдруг постарел на десять лет. И вдруг в облачности маленькой голубой просвет, и кажется... Нет, еще ничего не кажется, еще нет просвета!

Вчера прогуливался по Горького с Ливановым. Его умные мысли о Гамлете. Говорит,— я ведь пять лет работал над этой ролью!

— Возьми Лаэрта, Полония... Какие сами по себе величественные фигуры! А перед Гамлетом они ничто!

— Величественные?

Совершенно правильно он мне ответил, что Полоний вовсе не комический персонаж, ограниченно льстящий, подслушивающий и т. п. Его любил, надо это помнить, покойный король. Что касается Лаэрта, то это, по крайней мере, Сид.

А перед Гамлетом он фат! Не больше как фат! А Горацио? Ведь это Эразм Роттердамский. И Гамлет учит его! Вот кто он такой, насколько он выше всех!

Ливанов снимается сейчас в фильме в роли Ломоносова. Устал — говорит,— вчера сжигали мне лицо.

Вот наконец просвет. Только не голубой, так как очень близко к солнцу, а нечто вроде светового пятна, все расширяющегося, все рассветляющегося и вот уже пропускающего сквозь себя пучок лучей...

Деревенский цирюльник дал ему свой тазик, чтобы тот надел его вместо шлема, отыскали какие-то валявшиеся на чердаке латы, копье, отыскали кобылу, о которой сказали, что она окажется великолепным рыцарским конем... Нет, все это не так! Он сам увидел в тазике шлем, латы не отыскивались — он благоговейно поднял их из чердачной пыли, Россинанта он сам выбрал в качестве рыцарского коня. В том-то и дело, что никто не навязывал Дон-Кихоту этой мании, скорее он навязал ее окружающим. Во всяком случае, он навязал ее Санчо Пансо.

Густав Доре очень помог популяризации знаменитых книг среди поколений, начинающих жить. Редко кто представляет себе Дон-Кихота иначе, чем изобразил его Доре. Или Гаргантюа. Или Ад.

Кто его первообраз? Рембрандт?

Да, ведь он иллюстрировал еще и Библию! И сказки Гриммов! И еще что-то, о чем я сейчас забыл... «Потерянный и возвращенный

рай»! Что же, это офорты на меди? Неужели непосредственно иглой рисовались эти потрясающие композиции? Или это сперва рисуется карандашом на бумаге?

Можно представить себе этот Париж, этого мосье Доре, который в домашней куртке, думая о предстоящем сегодня вечером в Фоли-бержере канкане, сидит у рабочего стола с доской, поставленной от колен к ребру стола и рисует огненную могилу Фаринаты. И Данте с испуганным серьезным вниманием, оглядывающегося на эту могилу. Надо иметь гениальную фантазию, чтобы решить, например, наружность Гаргантюа в том плане, что это толстозадый младенец — не только когда он еще голый и дует в зад своим баранам, но и потом, когда он уже в трико и щупает своих нянек.

Интересно, что мы, писатели, оцениваем Доре выше, чем поступают с ним в этом смысле его собратья художники. Они почему-то морщатся. Впрочем, это морщился не Пикассо, а доморощенные кубисты.

Доре получал огромные гонорары. Тысячи франков за доску. А сколько таких досок... да, да, еще и «Потерянный рай»! В «Потерянном рае»! Очевидно, я привожу неверные цифры. С такими ни одно издание не могло бы себя оправдать.

> «...ум мой порождает столько беспорядочно громоздящихся друг на друга ничем не связанных химер и фантастических чудовищ, что, желая рассмотреть на досуге, насколько они причудливы и нелепы, я начал переносить их на бумагу, надеясь, что со временем, быть может, он сам себя устыдится».
>
> *Монтень*

Плохо дело, если ошибки даже в главных словах, которые все время видишь у себя, так сказать, в мозгу. Еще ничего, если выпадают буквы в скорописных словах, а вот, повторяю, дело дрянь, если строят рожи даже и эти слова, которые прежде стояли величественно, как броненосцы на рейде.

Кстати, в этой новой книге не «Монтэнь», а через «е» — «Монтень». На фоне портрета видно начертание «Монтань». Что же — «гора»?

По поводу этой фамилии вспоминаю, что у моей сестры была гимназическая подруга — Ирина де-Монтань Руж... Боже мой, я помню какие-то ее шумные появления у нас в доме, смех, рюш, скидывание перчаток, ха-ха-ха и какой-то взгляд в мою сторону... И все это в облаке сплетни, греха, в облаке ее прелестной и горькой славы содержанки какого-то богача...

Он мудрец, Монтень. Странно читать эти тонкие рассуждения в книге, написанной в шестнадцатом веке! Впрочем, я поддаюсь здесь обманчивому впечатлению, что качество человеческого ума улучшается в прямой зависимости от увеличения календарного счета. Во-первых, этот счет увеличивается не так уж быстро — неполных

пятьсот лет от Монтеня, так ли уж это много? — а во-вторых, еще в Греции и Риме были произнесены слова, умнее которых как раз в продвигающемся вдаль календаре времен, может быть, и не было сказано.

Очевидно, развивается только ум, касающийся овладения материальным миром, техника, наука. Ум, касающийся овладения самим собой, не изменяется.

Для Монтеня то, что мы называем словом «Эгмонт»,— недавняя трагедия, разыгравшаяся в Брюсселе... Может быть, не так уж это и давно было? Может быть, именно то, что отрубали головы, а не, скажем, расстреливали, относит некоторые события на более дальние расстояния в нашем представлении?

Монтень приводит примеры тех случаев, когда люди перед лицом смерти с ничем не поколебимым самообладанием дают распоряжения о том, как поступить с их телом. Так Жижка, вождь чехов, требует, чтобы, когда он умрет, сняли с него кожу и натянули ее на барабан. Император Максимилиан, отличавшийся при жизни крайней стыдливостью (никогда при слуге не ходивший за нуждой, говорит Монтань), распорядился надеть на его труп подштанники (может быть, он был гермафродит?). Соображение, возможно, справедливое: император был очень красив — «отличался необыкновенной телесной красотой»,— говорит Монтань. Приводятся также примеры, когда тщательно составляется ритуал собственных похорон.

Монтень мало проявляет себя как человек верующий. Хотя бы в этих рассуждениях о том, что будет после смерти, он меньше всего говорит о душе. Это тем страннее, что эпоха, окружавшая его, не только то и дело напоминала о религии, а еще и наполняла сознание устрашающей стороной религии.

В главе «О запахах» Монтень позволяет себе великолепную шутку о том, что в молодости он приносил домой на своих пышных усах поцелуи.

Я думал, что Монтень — это высокие овцеподобные парики, икры, обтянутые чулками, кривые башмаки. Нет, это гораздо раньше! Это вскоре после Варфоломеевской ночи. Он, как уже можно понять, с усами, в колете, без какого бы то ни было парика; наоборот, лысый. Тогда уж совсем поразительно! У нас — Иоанн Грозный, может быть — Годунов...

Я его еще не читал, только прочел несколько страниц. Уже, кажется, надо сказать, создается впечатление, что энциклопедисты начались с него...

Как страшно сказал Монтень о том, что если вы прожили год и видели смену времен — зимы, весны, лета, осени,— то вы уже все видели! Ничего нового вы уже не увидите!

Это похоже на то, как говорил Ильф,— «идемте, здесь больше уже ничего не покажут».

Между прочим, мне уже, кажется, ничего не покажут. Например, я почувствовал, что та продолговатость во времени, продолговатость вдаль, с которой всегда воспринималась поэзия, теперь исчезла. Она стала закрытым кругом. Также не ощущаю я и продолговатости истории, когда читаю, например, о Наполеоне.

Впрочем, возможно, усталость, отсутствие чистого воздуха. Когда заговорщики душили Павла, он вдруг увидел одного в конногвардейском мундире, он решил, что это сын, Константин. Он закричал:

— Пощадите, монсиньер! Воздуху! Воздуху, монсиньер!

Это не был сын.

Этот Константин странная личность. Герцен пишет, что он нравился солдатам, народу. Он сам признается, что после смерти Александра, когда он видел Константина шагающим по коронации рядом с Николаем — втянув уши в плечи, в желтый воротник литовского полка,— то он видел в нем своего героя. Тут же он восклицает, что герой его был очень дурен собой, такого даже и в Ватикане не сыщешь (в галерее статуй римских императоров времен конца).

Затем этот роман Константина с Польшей. Он, например, аплодировал польским войскам под Остроленкой, бившим русских. Потом брак на польке.

Он умер от холеры. Поляки называли его «старушек».

Стоит обратить внимание на то, что Монтень, кроме всего, еще и поэтический критик. То и дело встречающиеся у него цитаты из римских и греческих поэтов свидетельствуют не о схоластической начитанности, не о желании автора отдать дань увлечению именно классицизмом, а о том, что автор искренне любит поэзию.

Он ее и оценивает с исключительной тонкостью!

Вот бы и мне написать такую статью, в которой мотивированно, а значит, и увлекательно для читателя нашли бы место цитаты из русских поэтов — не одна, не две, а целая река цитат!

Я бы привел поразительные строки из Есенина:

Счастлив тем, что целовал я женщин,
Мял цветы, валялся на траве
И зверье, как братьев наших меньших,
Никогда не бил по голове.

Две первых строчки еще не представляют собой чего-нибудь исключительного; наоборот, они могли бы встретиться и у другого поэта — мять цветы, валяться на траве, целовать женщин и быть от этого счастливым,— тут еще никакой поэтической глубины, это обычно. Но считать себя счастливым от того, что не бил зверей по голове,— это необычно, это может открыть нам в нас только поэт. И только поэт может назвать зверей нашими младшими братьями.

Сколько еще хотелось бы привести подобных цитат! Нет ничего приятней, кстати, чем делиться с кем-либо красотой, чем указывать читателю на те или иные красоты, которые он по неопытности, да, наконец, просто по незаинтересованности, может и не заметить.

Он жил до Наполеона. Интересно, что бы он высказывал о нем? А, что «если» — это детское слово, игра!

Совершенно прелестная статейка о Катоне, цель которой устроить, как говорит Монтень, соревнование между четырьмя поэтами, восхвалявшими Катона. Он приводит четыре стиха, с большим искусством комментируя их.

Меня иногда тянет сделать примерно то же — найти повод, чтобы привести ряд замечательных русских строчек. Обратить на них внимание всех. Я это не забываю сделать, где только предоставляется возможность. И сейчас сделаю это. Какое, например, Мандельштам находит определение для полуострова в стихотворении, где перечисляются как раз эти географические формы:

И полуостровов воздушны изваянья.

Мне кажется, это очень хорошо сравнить полуостров с изваянием. Вспомним, Микеланджело хотел сделать статую именно из скалы... Также у Данте в Чистилище изображен высеченный в скале барельеф.

Кстати, Монтень упоминает о царе древности (Камбиз?), который в гневе вызвал на поединок скалу.

Читал «Вертера» и горько рыдал, вспоминая и свою жизнь. Странно, я был молодым! Его видишь — высокий, в синем фраке, в сапогах, в желтых панталонах. Гуляя, вернее — мечась ночью в бурю по окрестностям, потерял шляпу. Ездит верхом. Что-то зрительно вроде, как мне кажется, Ленского. Нет, это просто провоцирует лошадь и сапоги. И тогда почему Ленского, а не Онегина? Нет, глупо.

Написано великолепно. Не роман в письмах, а сборник писем одного к другому — Вертера к Вильгельму. Вдруг незадолго до гибели вмешивается текст издателя, мало чем отличающийся от текста Вертера. Все чуть-чуть натуралистично, особенно последняя сцена. Сама по себе ситуация очень отдельная, натуралистическая, поэтому единственная в своем роде, фотографическая. Не обобщено. Между тем при том, что в основе любовь, страсть, поэзия, хотелось бы обобщения.

Словом, что там говорить! Превосходно!

Бонапарт возил «Вертера» в итальянскую кампанию в походном сундуке. Можно себе представить, какой это имело успех!

Упоминается Оссиан: Вертер его читает вслух Лотте. Мне было читать скучно. Что была за мода на Шотландию? Вальтер Скотт, Оссиан... И тут же любовь и вкус Бонапарта к Оссиану. Туманная пелена, бегущая луна, большие женщины с распущенными волосами.

— Любимая, уже написан Вертер!

Попробуем от руки. Кстати говоря, и в эпоху, когда писал Гоголь — нет, пожалуй, позже — ну, скажем, в эпоху Герцена, уже пребывавшего в Лондоне, можно было услышать обсуждение, кто чем пишет. Один говорил, что пишет, конечно, стальным пером! Другой: «что вы, что вы! Я только гусиным! Разве можно что-нибудь написать стальным?» Словом, подобно тому, как теперь обсуждают — рукой или на машинке. Как будто «это важно»! «Разве пишут рукой? — спросил Микеланджело,— пишут головой!»

Интересно выяснить, когда он и на самом деле состоялся, этот переход на стальное перо! Скажем, пером писал, например, Стендаль? Гюго? Лев Толстой — чем начал, гусиным?

Как оно выглядело? Где впервые появилось? В Бирмингаме?

Гусиные перья, это мы забываем, тоже не представляли собой некоей, так сказать, стихийной вещи — наоборот, это были в некоем роде фабричные изделия: их оттачивали специальные мастера, придавали им удобную и простую внешность — чуть ли не коротких, величиной в наши автоматические ручки, трубочек без всяких именно перьев на концах.

Совершенно неважно, разумеется, чем пишешь. Ведь можно и диктовать! А когда из уст великого человека вылетают какие-либо образы — ведь он их не пишет; они — в воздухе!

Правда, иногда ощущаешь связь между рукой и головой в связи с белеющей перед тобой страницей. Правда, письмо рукой — это письмо, если можно так выразиться, цепью; это бог... Что касается работы на машинке, то я каждый раз затрачиваю много силы на то, чтобы приподнять и передвинуть всю махину; возможно, это влияет на ход работы — скорее, надоедает, скорее, чувствуешь желание отдохнуть...

Я знал нескольких графологов. Один, по фамилии Зуев-Инсаров, промышлял своим искусством, сидя за столиком в кино «Уран» на Сретенке. Очень многие из пришедших в кино и прогуливавшихся пока что в фойе останавливались у столика и заказывали графологу определить их характер по почерку. Зуев-Инсаров, молодой, строгий брюнет в черном пиджаке и, как мне теперь кажется, в черных очках писал свои определения на листках почтовой бумаги.

Он и мне тогда составил характеристику — по-моему, правильную.

Кое-что из этого искусства я начал постигать. Мне, например, понятно, что, если человек, быстро пиша, не забывает неведомо для себя проделывать удивительные по сложности соединения отдельных букв в единый, если можно так выразиться, полет, то такой человек, очевидно, обладает умением организовывать... У поэтов такие соединения бывают чрезвычайно красивыми. Приглядитесь к почерку Пушкина — кажется, что плывет флот!

Понятно также, что если каждая буква стоит отдельно, то обладатель почерка — высокого о себе мнения. В самом деле, даже в скорописи человек успевает бросить каждую букву отдельно, как бы

помня о каждой, как бы очень ценя каждую... Образец такого почерка есенинский. Я видел зелеными ализариновыми чернилами переписанные им самим строфы. Каждая буква округла, почти кружок — каждая отдельно зеленеет на белой бумаге, как куст на снегу.

Другого графолога звали Веров. У него была косая бородка, он был всклокоченный, нищий... Он мне сказал, что если ему дадут даже листок, напечатанный на пишущей машинке, то и то он определит характер печатавшего. Сказал также, что по почерку он может определить не то что характер, а сколько у человека комнат в квартире.

Я не помню, при каких обстоятельствах я увидел первую пишущую машинку. Возможно, что это чудо уже стало более или менее привычным к тому времени, когда я уже мог заглядывать в окна. Во всяком случае, не помню какого-либо дня удивлений и восклицаний по поводу этой машинки.

Возможно, что я увидел ее в окне пароходства Трапани, на углу Карантинной и Строгановского моста. Тогда это называлось только одним именем — Ремингтон. Барышня, умевшая работать на машинке и продававшая этот свой труд, называлась ремингтонистка. У Льва Толстого в Ясной Поляне одна из комнат так и называлась — ремингтонная. Там печатались, так сказать, «на машинке» «Воскресение», «Хаджи-Мурат», «Живой труп», «Диавол» и многое другое. Ничего себе, пища для первых шагов этого маленького Молоха!

Что-то не помнится, чтобы появление пишущей машинки в какой-то степени было предсказано, как это бывает с другими чудесами в этом роде. Также, пожалуй, не было предсказано и появление кинематографа. С кинематографом тоже связано имя Толстого. Он относился к изобретениям с одобрением, даже, как говорят, хотел написать для какой-то тогдашней фирмы сценарий. Смотрите, каким он был новатором! Кстати, на заре своего появления кино запечатлело из очень немногих именно Льва Толстого — как бы благодаря за поддержку. Как бы там ни было, хвала! Мы можем видеть сквозь трепет тогдашней съемки, почти что сквозь какую-то неисчезающую рябь воды экипаж Толстого, подкатывающий к вокзалу, и в этом экипаже господина в черном сукне, в черной шляпе с огромным количеством седины на этом сукне и вокруг лица... Это Лев Толстой... Бегут студенты, карабкаются на столб. Все усиленно, по воле бегущей ленты, машут локтями — Толстой, Софья Андреевна, студенты, городовые... Экипаж щегольски заворачивает, и все исчезает... Подумать только, что я мог бы увидеть и живого Толстого. Почти мои сверстники его видели. Одна дама рассказывала, как однажды, когда она была девочкой, они ехали с мамой в трамвае, и об одном сидевшем впереди старике мама прошептала, что это Толстой... Трамвай шел по теперешней Кропоткина — по тогдашней Пречистенке. Вдруг старик встал, чтобы выйти из трамвая. И дама говорит.

— Пока он шел к выходу, весь трамвай стоял.

Стоя написать рассказа нельзя. А я ведь чаще всего пишу стоя. Впрочем, Гоголь писал именно стоя. Анненков чудесно вспоминает о встречах с Гоголем в Риме в то время, когда писались «Мертвые души». Он как раз написал главу о Плюшкине — ту, следовательно, где сад, где береза, как сломанная колонна, где упоминание о красавице именно третьей сестре, где доски моста, ходящие под проезжающим экипажем, как клавиши... Гоголь, вспоминает Анненков, был в восторге от написанного — и вдруг пустился по римскому переулку вприсядку, вертя над головой палкой нераскрытого зонтика.

Гоголь писал, стоя за конторкой.

Как они, Гоголь, Пушкин, заслонили собой почти всех, кто писал одновременно! Того же Анненкова, Аксаковых, еще многих, которые заслонены для меня и до сих пор... Боже мой, Герцена! Герцена, который писал, что у Николая был быстро бегущий назад лоб.

Герцен писал великолепно (в чисто изобразительном смысле). Тут я найду цитату, где описана старая простуженная обезьяна, жившая в детстве Герцена, на углу печки.

Из книг, посвященных обзору собственной жизни, разумеется, самая лучшая «Былое и думы». Какая удивительная книга написана на русском языке! Эстетической оценки ее как будто нет в нашей критике.

Великие фигуры Пушкина, Лермонтова, Гоголя заслонили от нас целый ряд писателей тех времен. Заслонили и Герцена (я как раз говорю об эстетической стороне).

(Читая Толстого.) Я никогда не вижу наружности Андрея Болконского. Он, по Толстому, красивый брюнет — маленького роста, с маленькими руками. Впечатления нет. Безухов толстый, большой, в очках. В сцене гнева он схватывает с умывальника мраморную доску и готов убить того, против кого гнев. Физическая сила. Впечатление есть. Вероятно, он в коротких панталонах и в чулках. Углы воротника возле щек. Наибольшее впечатление от Сперанского. Неприятный смех, белые руки. И это его «нынче хорошее вино в сапожках ходит»,— когда, закупорив невыпитую бутылку, уносит ее от гостей. По силе подлинности обед у Сперанского, может быть, первая картина в романе.

Как теперь читают «Войну и мир»? Мы, я помню, постепенно приходили к этому сроку — по лестнице, что ли, возраста. «Тебе нужно прочесть «Войну и мир»,— говорил кто-то. Я прочел ее в эпоху первой любви. Хотелось, чтобы девушка, которую я любил — вся в лунном свете (о, можно было отдельно взять в руки волос ее локона и отдельно легший на него луч!),— и хотелось, чтобы она «не изменила» мне, как Наташа «изменила» Андрею. Она как раз изменила! Я из «Войны и мира» вырвал пучок страниц — тех, где любовь Наташи к Андрею и похищение ее Анатолем,— и послал ей: чтобы успокоить ее. Удивительно, ведь это и в самом деле было в моей жизни — я со всей верой допустил, что человека можно успокоить литературой!

Прочитав, например, записки Шаховского о первых днях в Москве после того, как оттуда ушел Наполеон, чувствуешь, что чего-то не досказал Толстой, не передал каких-то особенностей того года, тех дней, того стиля. Все это было более картинно, как все древнее. Вот именно, это было более, если можно так выразиться, старинно, более древне, более отодвинуто в сказочное...

Мне кажется, что Толстой сделал неправильно, избрав героем Левина, как он есть, с его мудрствованиями, антигосударственностью, поисками правды, и не сделав его писателем. Получается, что это просто упрямый человек, шалун, анфан-террибль, кем, кстати говоря, был бы и сам Толстой, не будь он писателем. Иногда Левин кажется самовлюбленным, иногда просто глупым... Все это оттого, что он не писатель. Кто же он в самом деле, если не писатель? Такой особенный помещик? Что же это за такой особенный помещик? Если он умен, философ, видит зло общества, то почему же он не с революционерами, не с Чернышевским — почему он, видите ли, против передового (а ведь Левин, честно говоря, не очень сочувствует освобождению крестьян)? Если он умен, то почему же он не писатель, не Лев Толстой? Кто же он? Чудак? Просто чудак?

Как обстоит дело у Толстого с имущественным отношением к жизни? В ранних дневниках нет каких-либо свидетельств, которые говорили бы о пренебрежении его к материальной стороне существования. Скорее, он был скуп. Что это за приходо-расходы в дневнике великого человека? Есть высказывание Толстого о Наполеоне, где он снижает величие последнего, ставя ему в вину именно его приходорасходность, «суетливость» — как он определяет. Замечает ли Толстой, что и у него не кристальная сущность в этом смысле? Брат его был кристальным, Николенька, не суетливым, без имущественных оценок жизни. Вспомнить только, сколько нравственной работы стоило Толстому так называемое опрощение, отказ от издательских прав... В самом деле, почему должна была возникнуть особая роль жены, с которой ему пришлось бороться? Если хотел опроститься, то и сделал бы это — так уж ли это трудно! С самого начала жил бы так, чтобы не нужно было опрощаться, отказываться от чего-то. Это необязательно? Верно, необязательно, но и необязательно в таком случае ходить вокруг да около того, что тебе не достижимо, чего ты не можешь!

Как некоторые высокие достижения техники или медицины — определяются словом чудо, и есть поэтому чудеса техники или медицины, так могут быть определяемы тем же словом и высшие достижения литературы — таким образом, можем мы говорить и о чудесах литературы.

К чудесам литературы относится, мне кажется, то описание неба над головой идущих ночью в ущелье солдат, которое есть в одном из кавказских рассказов Толстого. Там сказано, что та узкая извилистая полоска ночного неба, полная звезд, которую видели над собой

шедшие между двух отвесных стен ущелья солдаты, была похожа на реку. Она текла над головами солдат, как река, эта темная мерцающая бесконечностью звезд полоска.

Стоило бы подобрать сотню таких чудес. Зачем? Чтоб показать людям, как умели думать и видеть другие люди. Зачем это показывать? Чтобы и те, кто не умеет так думать и видеть, все же уважали себя в эту минуту, понимая, что поскольку они тоже люди, то они способны на многое.

Начальника станции, в комнате и на постели которого умер Лев Толстой, звали — Озолин. Он после того, что случилось, стал толстовцем, потом застрелился.

Какая поразительная судьба! Представьте себе, вы спокойно живете в своем доме, в кругу семьи, заняты своим делом, не готовитесь ни к каким особенным событиям, и вдруг в один прекрасный день к вам ни с того ни с сего входит Лев Толстой, с палкой, в армяке,— входит автор «Войны и мира», ложится на вашу кровать и через несколько дней умирает на ней. Есть от чего сбиться с пути и застрелиться.

Одно из поразительных, если можно так выразиться, обстоятельств «Войны и мира» — это то, что Пьер Безухов, никому не открывавший своей тайны (любовь к Наташе), открывает эту тайну пьяному и пошлому оккупанту в горящей Москве... Именно так: они сидят в чужом доме, пьют вино, и Пьер рассказывает этому майору Рамбалю о своей любви. Майор, как ни пошл, ни пьян, как ни груб (в результате того, что в данном случае еще и завоеватель) относится с пониманием к тому, что говорит Пьер, понимает, что Пьер говорит именно о чистой любви.

— Да, да,— восклицает он,— ле нюаж! Облака!

Если бы я делал сценарий для фильма «Война и мир», я начал бы с этой сцены: Рамбаль и Пьер в чужом доме, начал бы с этого признания Пьера. Это сократило бы роман почти вдвое. Эти «нюаж» и были бы монтажным поводом для краткого изображения того, что было до 1812 года — изображения Наташи и всего, что связано с ней.

Странно, что существует на виду, так сказать, у всех стиль Толстого с его нагромождением соподчиненных придаточных предложений (вытекающие из одного «что» несколько других «что», из одного «который» несколько следующих «которых»), по существу говоря, единственно встречающийся в русской литературе по свободе и своеобразной неправильности стиль,— и до сих пор, одновременно с требованием, направляемым к молодым писателям, писать так называемо правильно, никто не дает объяснений, почему же Толстой пишет неправильно? Необходимо было бы (и странно, что до сих пор этого не сделали) составить диссертацию о своеобразной «неграмотности Толстого». Кто-то заметил, что Толстой знал о нарушениях им синтаксических правил (то и дело он говорит о том, что у него «дурной слог»), но вовсе не ставил себе в необходимость избегать этих нарушений — он писал так, сказано в этом замечании, как будто

до него никто не писал, как будто он пишет впервые. Таким образом, и стиль Толстого есть проявление его бунта против каких бы то ни было норм и установлений.

Согласие на синтаксические неточности дало ему возможность легче справляться с трудностями изложения мыслей и описания вещей или обстоятельств; другие писатели эпохи Толстого были чрезвычайно связаны запрещением, например, допускать соподчиненные «что» или «который»; оставаясь в рамках синтаксиса, они искали других путей для составления фразы, и тем значительней их работа, что они эти пути находили. Впрочем, так ли уж важен синтаксис, когда пишет Толстой. Только он, кстати говоря, и писал этим своим толстовским, неправильным языком, и никто этой манеры не позволил себе унаследовать.

Зачем я все это пишу? Чистая графомания! Он рассказывал о «Сиде», в котором мне нравится особенно, что в сражении Родриго взял в плен «двух царей». Другой сказал бы «трех». Тут строгость вкуса. Это не цари, конечно,— вероятно шейхи или в этом роде, но по-французски и для него, Родриго,— цари. И хорошо, что «цари», великолепней, четче, точнее!

Об этих деталях. Мне кажется — и эта мысль мне доставляет удовольствие, что я замечаю у других художников некоторые детали, мимо которых другие наблюдатели проходят, но это детали, бывшие для художников тоже очень важными, тоже для них очень заметными. Вот я думаю, например, что «два царя» были приятной, очень важной деталью для Корнеля. У меня есть подтверждение того, что моя перекличка с художниками имеет в этом смысле место. Так, я обратил внимание, что Чаплин в своем сценарии называет нашу современность «веком преступлений». Никто не выделял этой фразы в сценарии, выделял ее только я. И вот, рассказывая о своей встрече с Чаплиным в Лондоне, режиссер Герасимов вдруг при мне же, не зная, что это мне близко, говорит, что Чаплин, по его словам, и весь фильм поставил ради этой фразы.

(Тургенев.) Какая вершина художественности «Живые мощи»! Что за рассказ! Весь в том колорите солнца, смешанного с темнотой помещения, который и есть — лето; весь в описаниях летних вещей и обстоятельств — меда, ос, лучей, лесных животных. Там и сон, о котором рассказывает Лукерья, летний — смерть с желтыми глазами появляется на ярмарке. Но лучшее в рассказе — это внезапная радость, охватывающая Лукерью, когда она вспоминает, как однажды вбежал в ее мученическую келью заяц. Сел на задние лапы, посидел, поглядывая на нее...

— Как офицер! — говорит Лукерья, вспоминая красоту свою, вспоминая любовь.

Чехов восторгается тем, как изобразил Тургенев конец Базарова. Нам трудно дать себе отчет о первом, свежем звучании этой повести, где изображен нигилист — причем изображен так обаятельно.

— Аркадий, не говори красиво!

Это было сказано впервые... Повторенное тысячи раз и повторяемое до сих пор это было сказано тогда — подчеркнем себе — впервые.

Самоотверженная любовь к науке, приводящая к гибели героя, повторяется потом, кстати говоря, и у Чехова: смерть Дымова в «Попрыгунье». Не под влиянием ли того восхищения, которое вызвал у Чехова конец Базарова?

У Пушкина есть некоторые строки, наличие которых у поэта той эпохи кажется просто непостижимым.

Когда сюда, на этот гордый гроб
Придете кудри наклонять и плакать.

«Кудри наклонять» — это результат обостренного приглядывания к вещи, несвойственного поэтам тех времен. Это слишком «крупный план» для тогдашнего поэтического мышления, умевшего создавать мощные образы, но все же не без оттенка риторики — «и звезда с звездою говорит».

Не есть ли это воспоминание о портретах Брюллова — это «кудри наклонять»? Или передача того мгновенного впечатления, которое получил поэт, посмотрев на жену, которую знаем мы в кудрях? Во всяком случае, это шаг поэта в иную, более позднюю поэтику. Ничего не было бы удивительного, если бы кто-либо даже и знающий поэзию стал бы не соглашаться с тем, что эти два стиха именно Пушкина.

Что вы! Это какой-то новый поэт! Блок?

Мы имеем, в конце концов, право выбрать из всего Пушкина строки, которые нам нравятся более всего.

И пусть у гробового входа...

Пять раз подряд повторяющееся «о» — «гробового входа». Вы спускаетесь по ступенькам под своды, в склеп. Да, да, тут под сводами — эхо!

При одном счастливом прочтении строчек «Там упоительный Россини, Европы баловень, Орфей!» я заметил, что слово «Орфей» есть в довольно сильной степени обратное чтение слова «Европы». В самом деле, «евро», прочитанное с конца, даст «орве», а ведь это почти «орфе»! Таким образом, в строчку, начинающуюся со слова «Европы» и кончающуюся словом «Орфей», как бы вставлено зеркало!

Мы еще не умеем читать, но эту книгу уже держим в руках.

Когда я был ребенком, Пушкина издавали, как и теперь иногда — в виде однотомника. Тогда это была размером в лист, толстая книга

с иллюстрациями — они были расположены по четыре на странице в виде окна, что ли, пожалуй, именно в виде окна, где каждая створка — картинка.

Были иллюстрации и во всю страницу. Например, плавучая виселица к «Капитанской дочке». О, как было страшно смотреть на эту иллюстрацию!

Николай эпохи Пушкина вовсе не такой, как изображают в иллюстрациях, в кино, на сцене. Он был без усов. Есть бюст работы Витали, современный Брюллову, Пушкину, Глинке, где Николай изображен с резко выраженным именно безусым римским лицом. Усы, по всей вероятности, появились позже — когда они появились в Европе. Так что образ Николая, выкатывающего грозный глаз из-за уса, безусловно, придуман для усиления образа «загнанности» Пушкина.

Может быть, лучшие строчки поэта, написанные на русском языке, это строчки Фета:

В моей руке — какое чудо! —
Твоя рука.

Там дальше — «а на земле два изумруда, два светляка»,— но довольно и этих двух!

Между прочим, в тех такой старый и такой обобщенный смысл, что их можно взять эпиграфом к любой книге, где действуют люди. К «Войне и миру», например, к «Божественной комедии».

Он сидит на портрете, похожий на еврея, даже на раввина, с неряшливой бородой, в которой, кажется, он скребет пальцем.

Странно представить себе, что это великий русский лирик. Он был кирасиром, охотником на медведя. Это у него на охоте медведь нанес раны Льву Толстому.

За фигурами Пушкина и Лермонтова скрыт Фет. Между тем он не меньше — как лирик, просто он писал иначе.

Какие замечательные фамилии в пьесах Островского. Тут как-то особенно грациозно сказался его талант. Вот маленький человек, влюбленный в актрису, похищаемую богатыми. Зовут Мелузов. Тут и мелочь и мелодия. Вот купец — хоть и хам, но обходительный, нравящийся женщинам. Фамилия Великатов. Тут и великан и деликатность. Перед нами соединение непосредственности находки с отработанностью; в этом прелесть этого продукта творчества гениального автора; фамилии эти похожи на цветки...

Вдову из «Последней жертвы» зовут Тугина. Туга — это печаль. Она и печалится, эта вдова. Она могла бы быть Печалиной. Но Тугина лучше. Обольстителя ее фамилия Дульчин. Здесь и дуля (он обманщик) и «дульче» — сладкий (он ведь сладок ей!).

В самом деле, эти звуки представляются мне грядкой цветов. Может быть, потому, что одному из купцов Островский дал фамилию Маргаритов?

От «Фрегата Паллады» у меня осталось упоительное впечатление отличной литературы, юмора, искусства. Я уж не говорю о самом материале романа — о том, как изображено в нем кругосветное путешествие: оно изображено настолько хорошо, что хочется назвать эту книгу лучшей из мировых книг о путешествиях.

Он имел свою каюту, Гончаров. На острове Мадейра его носили на носилках под палантином, и он пил, как он подчеркивает, настоящую мадеру.

Как сильна наша литература, если такой великолепный писатель, как Гончаров, ставился литературными мнениями и вкусами чуть ли не в конце первого десятка!

В «Обломове» изображена женщина, у которой утомленный своим безумием герой (а лень и бездеятельность Обломова вовсе не «национальны», а характеризуют его как именно душевнобольного, каким, как известно, был и сам автор), ищет успокоения. Эта женщина — замечательная фигура, и ее, как мне кажется, повторил Толстой, изображая жену того офицера в «Хаджи-Мурате», в которой рождается вдруг влюбленность по отношению к Хаджи-Мурату.

Воспоминания А. Панаевой написаны по-детски, в писательском отношении очень слабы. Так пишут письма, ни одного ясного портрета. Лучше других получился, пожалуй, Тургенев. Она к нему относится недружелюбно. Насколько лучше, кстати говоря, изобразил Тургенева, например, Кони (сцена в Париже, в доме Виардо, когда Тургенев собирается идти завтракать — в каком-то прохудившемся, к удивлению автора воспоминаний, пальто с недостающими несколькими пуговицами.

В нее, судя по тому, что она пишет, был влюблен Добролюбов! Умирая, просит ее, чтобы она положила ему на лоб руку.

В воспоминаниях есть появление Гоголя. Перед ним на обеде стоит особый прибор, особый розовый бокал для вина. Почти ничего не произносит, молчит — потом уходит спать.

Гоголь для всей группы (Некрасов, Тургенев, Панаев) почти патриарх. Между тем ему нет сорока. Сколько ж им в таком случае?

У Гоголя в «Вие» об отце панночки сперва сказано, что ему сорок лет. В другом месте о нем Гоголь говорит:

— Старец заплакал.

Не может быть, чтобы даже молодой Гоголь считал сорокалетнего человека старцем. По всей вероятности, он забыл, что дал отцу панночки всего сорок лет.

Известие Панаевой о богатстве Некрасова воспринимаешь все же как неожиданное. Он был очень богат. Вернувшись после игры, сообщает Панаеву, что от сегодняшнего выигрыша у него

осталось только тридцать тысяч — а был в выигрыше около полутораста!

После обеда шел одеваться, чтобы ехать в клуб. Ездил в карете.

Воспоминания И. Панаева о той же эпохе и тех же лицах написаны неизмеримо выше: по-мужски, по-писательски.

Однажды мне попала в руки книга Шеллера-Михайлова, какой-то роман из собрания сочинений этого писателя, изданных «Нивой». Я стал читать этот роман — некую историю о денежно-наследственной неудаче в среде не то чиновничьей, не то профессорской... Бойко написано — но ни следа очарования, магии. Свадьбы, векселя, интриги, вдовьи слезы, прожигающие жизнь сынки... И вдруг, перейдя к одной из очередных страниц, я почувствовал, как строчки тают перед моими глазами, как исчезает комната — и я вижу только то, что изображает автор. Я почти сам сижу на скамейке, под дождем и падающими листьями, как сидит тот, о ком говорит автор, и сам вижу, как идет ко мне грустная-грустная женщина, как видит ее тот, сидящий у автора на скамейке...

Книжка Шеллера-Михайлова была по ошибке сброшюрована с несколькими страницами того же, «нивского» издания сочинений Достоевского. Страницы были из «Идиота».

Я не знал, что читаю другого автора. Но я почти закричал:

— Что это? Боже мой, кто это пишет? Шеллер-Михайлов? Нет! Кто же?

И тут взгляд мой упал на вздрогнувшее в строчке имя Настасьи Филипповны... И вот еще раз оно в другом месте! Кажущееся лиловым имя, от которого то тут, то там вздрагивали строчки!

Колоссальна разница между рядовым и великим писателем!

Иногда Рогожин мыслит не менее «по-барски», чем Мышкин. Купеческое, простонародное исчезает. Когда Мышкин рассказывает ему о «глазах», смотревших на него на вокзале, Рогожин спрашивает:

— Чьи же были глаза-то?

Уж очень это в соответствии с бредовым (в данном случае) мышлением Мышкина — «чьи глаза?».

Он не должен был здесь спрашивать. Поскольку это действительно он смотрел на князя на вокзале, то правильней было бы, если бы он промолчал; может, испугался бы.

Впрочем, великий художник всегда прав.

Между прочим, работая сейчас над репликами для той или иной сцены моей переделки, я иногда ухожу, если можно так выразиться, по строчке в сторону от того, как предложено Достоевским. Ухожу довольно далеко (мне в таких случаях кажется, что я добиваюсь большей театральной выразительности) и каждый раз, как бы ни думал, что ушел правильно, все же возвращаюсь обратно к покинутой строчке Достоевского. Он всегда оказывается более правым!

В парикмахерской Дома литераторов встретил человека, которого внешне знал давно и который оказался тем самым заместителем директора Вахтанговского театра, от чьего имени я и получил письмо. Сказал, что Ремизова приехала и что в отношении «Идиота», насколько он знает, все остается по-прежнему.

Сегодня, значит, должны быть от Ремизовой сведения.

Если дело завяжется, придется достать «Идиота» и быстро прочесть. Достану у Казакевича.

В дневниках, задуманных специально для того, чтобы из них получилось нечто такое, что будет вскоре печататься и представит для читателя интерес, есть что-то глуповатое.

Лучший из дневников — это дневник некоего Пигафетты, секретаря, что ли, экспедиции Магеллана. Собственно, это мореходные записи, в которых имеются и личные переживания. Между прочим, этот Пигафетта записывает, как однажды, когда все спустились на берег для встречи с туземцами, которые пришли производить обмен, у него не оказалось ничего такого на руках, за что можно получить дары туземцев — никаких стекляшек или чего-нибудь в этом роде. Однако у него имелась игральная карта — валет. Товарищи над ним смеялись (очевидно, накануне шла игра в карты, Пигафетта проигрался, отдал все «драгоценности», которые были приготовлены для обмена, и потом поднял с пола карту...). И вот этому Пигафетте за его валета дали больше, чем остальным,— чуть ли не корову, кроме кур и овец. Как этот валет показывает нам весь колорит корабельной жизни этих открывателей!

Я никогда не думал, что так вплотную буду заниматься Достоевским (пишу инсценировку «Идиота»). Все же не могу ответить себе о качестве моего отношения к нему — люблю, не люблю.

Основная линия обработки им человеческих характеров — это линия, проходящая по чувству самолюбия. Он не представляет себе более значительной силы в душе человека, чем именно самолюбие. Это личное, мучившее его качество он внес в человека вообще — да еще и в человека — героя его произведений... Нельзя себе представить, чтобы Ганечка, столь мечтающий о разбогатении, не полез в камин Настасьи Филипповны за горящими деньгами. Тем не менее он хоть и падает в обморок, но не лезет. Наличие самолюбия, более сильного, чем жажда денег, восхищает Настасью Филипповну.

Впрочем, повалить в обморок здорового и наглого мужчину и как раз на грани исполнения мечты — это очень хорошо, очень изобретено!

Я ждал, как будет реагировать Настасья Филипповна на это падение Ганечки, так сказать, житейски. Она восклицает:

— Девушки, дайте ему воды, спирту!

Тоже очень хорошо!

С каким недоуменным презрением отнесся бы автор к моему похваливанию! Однако в письме к княжне Оболенской (просившей у него разрешения переделать в пьесу «Преступление и наказание»)

он пишет, в ответ на ее похвалы, что ради вот таких отзывов писатели, по существу, и создают свои произведения.

Н. Н. Вильям-Вильмонт говорил мне, что в замысле «Идиота», как свидетельствует сам автор, присутствовала также и тема Данте (хождение по кругам ужасов). Я еще ничего не читал по «Идиоту», не читал также уже имеющихся многих инсценировок — прочту потом, когда закончу инсценировку. Мне кажется, что так правильней: решить все с ходу, на свежий глаз, непосредственно, доверившись собственной фантазии.

Повторяется ли еще у кого-либо из русских писателей такой же колорит, как у Достоевского? Нет, он ни на кого не похож, Достоевский (пока что я говорю только о внешнем колорите)! Он желто-лиловый, он весь как комната Сони — которая была без углов, только одна неизвестно откуда идущая и куда уходящая стена. Вероятно, желтая — ведь мы видим ее только вечером при свече; вероятно, лиловая — ведь она наполнена платьем девушки из шелка и с тюрнюром!

Гане — двадцать семь лет. Чувствуются намеки на то, что он красив, щеголь. В сцене у Настасьи Филипповны он, разумеется, во фраке. Что за фраки той эпохи? И вообще щеголь той эпохи — что это? Где будет искать материала Акимов, который, по всей вероятности, будет декоратором спектакля?

Настасья Филипповна, по всей вероятности, одета так же, как и Анна Каренина. Так ли это?

Петербург «Идиота» это совсем не Петербург «Анны Карениной». Ничего нового я не скажу, что первый фантастичен, второй реалистичен. Однако и Достоевский вполне реалистически сообщает о мчащихся по петербургским улицам рысаках, что они «звонко достают подковами мостовую». (...Ой, нет! Если прислушаться, то в этом описании есть отголосок «Невского проспекта» — оно, конечно, сродни и лампе диавола, и вытягивающим ноги лошадям экипажей. Все это проверить.)

Мне часто приходит в голову мысль о том, что неплохо было бы пересказать на особом листе — верней, листов понадобится несколько — все те сюжеты литературных произведений, которые поразили меня. Надо в конце концов это сделать!

Сколько таких сюжетов? Довольно трудно ответить сразу, не приступив к самому выписыванию. Двести? Пожалуй, двести. Нет, меньше. Сто! Сразу — сто? Первым вспоминается «Принц и нищий». Нет, нет, ничто не вспоминается отдельно — врывается целый вихрь!

Некоторые эффекты в литературе подготовлены необыкновенно искусно.

В «Принце и нищем» есть линия, соединяющая юного короля в его бедствиях с некиим молодым дворянином, судьба которого схожа

с судьбой короля: он тоже оказался вне права на свою собственность... Правда, король оказался вне права на престол, а дворянин всего лишь на полагающуюся ему часть земельного наследства, тем не менее их сближает один и тот же гнев против несправедливости. Молодой дворянин полюбит мальчика. Как и прочие, он считает заявление мальчика о том, что он король, проявлением безумия. Но молодой дворянин относится к ним снисходительно, делает вид, что признает мальчика и в самом деле королем. Однако в связи с тем, что молодой дворянин соглашается на признание, как ему представляется, мании мальчика, возникают для него и некоторые неудобства — так, например, король не разрешает ему вместе с собой обедать...

— Пока я обедаю, ты должен стоять за моим стулом и прислуживать мне.

В результате молодому дворянину приходится есть свой обед уже остывшим. Неудобство, кажется, устраняется следующим образом. Молодой король попадает в руки полубезумного религиозного фанатика, который, услышав, что мальчик называет себя королем, сыном Генриха VIII (секвестрировавшего церковные имущества), решает заколоть мальчика, чтобы отомстить его отцу — вернее, памяти его отца, так как Генрих VIII уже умер Молодой дворянин спасает мальчика от расправы изувера.

— Что ты хочешь в награду за спасение короля? — спрашивает мальчик.

— Разрешения сидеть в его присутствии,— отвечает молодой дворянин.

Юный король торжественно провозглашает, что отныне Смайльсу Гендону (так зовут молодого дворянина) и его потомкам даруется право сидеть в присутствии короля Англии.

Друг короля счастлив: теперь, по крайней мере, ему не нужно будет стоять за спиной мальчика во время обеда и он будет есть его горячим.

— Да, да, очень хорошо,— отмечаем мы, читая книгу хоть и в десятый раз! Но вместе с тем, как это всегда происходит при чтении именно замечательных книг, как бы впервые.— Да, очаровательная история. Как многократно и по-разному она запоминается.

Мы, таким образом, вполне удовлетворены этой историей как таковой, как законченно существующей в повествовании, не подозревая, что... впрочем, слушайте дальше!

Незадолго до окончания романа Смайльс Гендон вдруг разлучается со своим любимцем: как-то и куда-то тот исчезает. Наш герой горюет некоторое время, но вскоре его печаль уступает место весьма важной озабоченности, связанной с тем, что в Лондоне назначена коронация нового короля — юного и, как говорят, доброго... Я упаду ему в ноги, думает Смайльс Гендон, и попрошу у него защиты против моих обидчиков, лишивших меня наследства.

Он спешит в Лондон... Вот он входит в собор, где сейчас начнется коронация, и видит, что и в самом деле король юн и, кажется, добр.

Наш герой приближается к тому месту, где стоит король, и в ошеломлении узнает в нем своего друга, с которым еще недавно переживал общие беды.

— Он? Неужели он? Так он был королем? На самом деле королем? А я считал его безумным! Нет, нет, я ошибаюсь! Это не тот мальчик! Не может быть, чтобы...

Тут молодой дворянин вспоминает о дарованном ему тем мальчиком праве... и, притянув к себе кресло, садится на виду у всех. Общее возмущение, его схватывают.

— Не троньте его,— раздается голос с трона,— этот человек имеет право сидеть в присутствии короля Англии.

Вот чего мы не подозревали! История, которая и сама по себе представлялась нам достаточно украшающей повествование, еще, оказывается, была и подготовкой к блистательному финалу...

Мне кажется, что весь этот ход является одним из лучших сюжетных изобретений в мировой литературе, стоит в первом их десятке.

...Неужели в данном случае Марк Твен, сочиняя об остывающем обеде, уже знал о финале? Или финал внезапно родился из этого остывающего обеда?

Как это много — провести такой ход! Какое несравненное мастерство!

Кроме «Принца и нищего» и книг о Томе Сойере и Гекльберри-Финне, Марк Твен написал еще ряд прекрасных книг — хотя бы такие, как «Жизнь на Миссисипи» и «Янки при дворе короля Артура». Также вышло из-под его пера множество рассказов и статей на разные темы, всегда связанные с критикой капиталистического строя, американского мещанства. Однако главная ценность творчества Марка Твена, величие этого творчества именно в том, что он написал «Принца и нищего» и эпопею Тома Сойера — то есть создал книги, ставшие знаменитыми книгами для детей, для юношества, по впечатлению, произведенному ими на поколения, равные «Робинзону Крузо», «Путешествию Гулливера» и «Дон-Кихоту», романам Жюля Верна, сказкам Андерсена. Не так легко было добавить к этой немноготомной, гордо замкнутой библиотеке новые книги... Марк Твен добавил их, и это делает его фигуру в литературе уникально великолепной.

По внешнему виду он похож на джентльменов времен войны Севера и Юга — грива волос, широкие усы, сюртук, кажущиеся измятыми брюки... Вспоминаешь также давние иллюстрации к жюльверновским романам. Член «Пушечного клуба»? Глаза смеются... Сейчас он скажет шутку. Он так и воспринимается некоторыми как юмористический писатель.

Ну что ж, юмор разлит по мировой литературе, начиная от древних писателей. Напрасно нет музы юмора. Впрочем, все девять представляют его. Даже Мельпомена, муза трагедии. И даже муза истории Клио.

Как сила воображения, как сила анализа, как умение называть вещи по-иному, бросать краски — так же свойственно великим писателям чувство юмора. Серьезный Бальзак, серьезный Золя, патетический Гюго, страшный Эдгар По блистают, когда хотят, юмором.

Не будем говорить о Диккенсе, о Чехове, о Гоголе — этих гениях юмора...

Мне кажется, например, что умение изображать наружность действующих лиц несколькими штрихами, кратко, мгновенно разом, как это делают великие писатели, зависит в сильной степени от наличия у них как раз чувства юмора.

Смешно, я как будто защищаю юмор... Он не нуждается в защите. Я говорю это, чтобы придать вес мнению о Марке Твене, как о юмористическом писателе, которое звучит несколько поверхностно в устах тех, кто неглубоко знает этого писателя. Да, юмор играет огромную роль в произведениях Марка Твена, но и у тех, великих, он применяется для того, чтобы высмеять плохое или украсить хорошее. Он и мил миру, Марк Твен, юмором — поистине бессмертным.

Еще о юморе его... Это ему, Марку Твену, принадлежит, пожалуй, одна из самых смешных фраз, прозвучавших когда-либо. Когда вдруг пресса стала распространять неверные известия, что он умер, он сообщил в прессе же: «Слухи о моей смерти несколько преувеличены».

Марк Твен не юмористический писатель, а крупнейшее явление в мировой литературе, один из светочей ее, так как он бросил свой гений на службу человеку, на укрепление его веры в себя, на помощь тому, чтобы душа человека развивалась в сторону справедливости, добра и красоты.

Я помню то сильное впечатление, которое произвел на меня «Орленок» Ростана в постановке Одесского театра при участии Виктора и Мариуса Петипа. Первый играл герцога Рейхштадтского, сына Наполеона, второй — Меттерниха. Сидишь в красной ложе, окруженный девочками и дамами, смотришь на почти кремовых оттенков сцену, на золотые ножки стульев, на герцога в таком же кремовом мундире и в черных лаковых ботфортах... Как можно не чувствовать блаженства!

Меттерних волочит бедного Орленка к зеркалу... Тот держит в руках канделябр — горят, дымясь, почти падающие свечи! Меттерних волочит его к зеркалу, чтобы показать ему, каким слабым, жалким, вырождающимся выглядит он, носитель крови Габсбургов... Юный герцог, поняв правду в словах мучителя, бросает канделябр в зеркало. Звон разбитого стекла, тьма. Этого нельзя забыть!

Собственно, мы знаем «Орленка» не Ростана, а Щепкиной-Куперник. Пьеса — в стихах, и, как это всегда бывает при стихотворных переводах, переводчика в ней много!

Ростан очень нравился, когда жил и творил. Им увлекся Врубель. Образ принцессы Грезы — один из трепетавших в моем юном сердце. «Сирано» заставлял плакать. Я о себе думал, что я Сирано,— тогда, в эпоху первой любви.

«Я попаду в конце посылки!»

Строки из этой баллады, которую Сирано импровизирует во время дуэли на шпагах, довольно часто повторялись в юности. Мне и до сих пор нравится этот носатый кавалер, прыгающий в кресло, этот карлик с огромным носом, поэт, храбрец, фехтовальщик... В юности я подражал Ростану (опять-таки Щепкиной-Куперник) — сочинял комедию в стихах.

Ростан на фотографии — в коротком мундирчике Академии с пальмовым шитьем на воротнике, с усами, торчащими, как пики, чахоточный...

Когда читаешь драматургическое произведение, то с особенным интересом ждешь, как будет реагировать действующее лицо на то или иное событие, призванное его ошеломить. Не восклицаниями же должен ограничиться, изображая такую реакцию, талантливый драматург.

— Да? Да неужели? Да что вы говорите?

Я однажды прямо-таки подкрадывался к такому месту... Тень Банко появляется перед Макбетом. В первый раз Макбет только испуган, молчит. Он опять к трону — опять тень! Молчит. Тень и в третий раз...

«Ну,— подумал я,— как же будет реагировать Макбет?»

Трудно представить себе более точную реакцию.

— Кто это сделал, лорды? — спрашивает Макбет.

Зная, как шатко его положение, он имеет основание подозревать лордов в чем угодно. Возможно, они и устроили так, что появилось привидение,— кто-нибудь из них переоделся или переодели актера.

— Кто это сделал, лорды?

А лорды даже не понимают, о чем он спрашивает.

Обычно говорят о нелюбви Толстого к Шекспиру. Однако уже по тому, как пересказал Толстой содержание первой сцены «Короля Лира», видно как раз обратное: Шекспир ему нравится. «Тут могла бы получиться прелестная сценка,— то и дело говорит Толстой,— но Шекспир со свойственной ему грубостью погубил ее». Как может не нравиться писатель, у которого такие широкие возможности то и дело создавать или хотя бы только задумывать прелестные сценки?

Гофман, изображая в рассказе некоего студента, говорит, что этот студент принадлежал к людям, которым во всем не везло... Да, если он ронял хлеб с маслом, то бутерброд падал у него всегда намазанной стороной на землю. Можно возразить Гофману, что бутерброд всегда падает намазанной стороной.

Кто он был, этот безумный человек, единственный в своем роде писатель в мировой литературе, со вскинутыми бровями, с загнутым книзу тонким носом, с волосами навсегда поднявшимися дыбом? Есть сведения, что, пиша, он так боялся того, что изображал, что просил жену сидеть с ним рядом.

Гофман необычайно повлиял на литературу. Между прочим, на Пушкина, Гоголя, Достоевского.

У Герцена есть восторженная статья о нем.

Он появился, мне кажется, ни на кого не похожим. Он не только фантаст, но полон жанром, бытом, подлинностью.

Иногда он путается. Говорят, что он писал пьяным.

Музыка царит в его произведениях. Кавалер Глюк появляется из прошлого, живой перед ним, Гофманом, и слушает исполнение «Ифигении в Авлиде». Дирижеры, театральные занавесы, загримированные актрисы толпятся на его страницах.

Он, может быть, первый изобразил двойников, ужас этой ситуации — до Эдгара По. Тот отверг влияние на него Гофмана, сказав, что не из немецкой романтики, а из собственной души рождается тот ужас, который он видит...

Может быть, разница между ними именно в том, что Эдгар По трезв, а Гофман пьян. Гофман разноцветен, калейдоскопичен, Эдгар в двух-трех красках, в одной рамке. Оба великолепны, неповторимы, божественны.

У него был кот, которого он любил. Этот человек сильно пил, теряя с каждым днем человеческий облик. Вот однажды, вернувшись домой пьяным, он отвел душу на коте. Он его сжег. Как будто так? Всегда эта история с первым любимым котом не запоминается по своей неясности (а может быть, по моему недомыслию, не умеющему в этой истории разобраться)... Словом, кот, умерщвленный им, возвращается к нему в виде другого, которого он внезапно увидел на стойке в кабаке. Он ему очень понравился, этот новый кот.

— Можно мне взять вашего кота?

— Можно.

Он приносит кота домой. Вдруг замечает, что на груди у него (кот абсолютно черный) белое пятнышко. Он находит, что пятнышко имеет форму виселицы. Так и есть: на другой день он видит, что оно не только похоже на виселицу, а еще за ночь виселица стала четче. Это его пугает и раздражает.

Он пьет все хуже. Его бедная жена страдает от того, что он пьет. Однажды он спустился в погреб, чтобы нацедить из бочонка вина. Жена пошла вместе с ним — просит, чтобы не пил... Вдруг, когда кружка наполнилась, кот, увязавшийся за ним в погреб, неловко прыгнул и вытолкнул у него из рук кружку. Он схватил топор, чтобы нанести удар коту, однако удар пришелся по жене и оказался смертельным. С дьявольской аккуратностью он вынул из стены ряд кирпичей и спрятал в нишу труп жены, поставив его во весь рост, поскольку так было наиболее удобно в связи с размерами ниши. Потом с такой же дьявольской аккуратностью замуровал нишу... В дальнейшем он радуется, что в доме стало тихо, что исчез, между прочим, и кот, который казался ему, со своей виселицей, привидением... Однако соседи удивились долгому и непонятному отсутствию хозяйки. Пришла полиция; осматривают дом; спускаются в погреб.

Он настолько уверен в своей неуязвимости, что ему даже хочется задраться с полицией. Он говорит:

— Может быть, она там? — и стучит по кирпичам, за которыми труп.

Вдруг раздается чудовищный крик. Разбирают кирпичи — и в нише видят полуобъеденный скелет женщины, на голове которой сидит кот, орущий своим окровавленным ртом.

Не заметив, он замуровал кота вместе с телом жены.

Можно ли представить себе более мощный сюжет? Кроме того, в рассказе — Америка: бары, полиция, кирпичные стены, подозрения, таинственные убийства...

Этот рассказ Эдгара По в одной из своих статей пересказывает Достоевский.

Мало что написано лучше, чем та сцена, когда Кэвор («Первые люди на Луне») и его спутник, ведомые селенитами, подходят к мосту над гигантской и, как ощущают они, индустриального характера пропастью и, увидев, что мост не шире ладони, инстинктивно останавливаются... Конвоиры с тонкими пиками, не зная, что причина остановки только в том, что мост слишком узок, рассматривают эту остановку как неподчинение, бунт. Они начинают покалывать своими тонкими пиками Кэвора и спутника — ну-ка, идите, в чем дело? А те не могут идти по самой своей природе! Безвыходность положения усиливается еще и тем, что если бы даже наши два земных жителя и попытались объяснить селенитам, почему именно они не могут вступить на такой узкий мост, то те все равно не поняли бы, поскольку у них, как видно, отсутствует ощущение и страх высоты. Тут Кэвор и его спутник (раздраженные, кстати, покалываниями) решают, что лучшее, что можно предпринять при таком положении, это начать драться... Подхватывают валяющиеся под ногами золотые ломы и крошат селенитов направо и налево.

Чудо!

Это похоже на Данте: селениты — бесы, переход по узкому мосту — одна из адских мук. Причем та же сила подлинности, что и у Данте,— *подлинности фантастического.*

Он был всю жизнь моим любимым писателем. И как грустно, что я не доложил ему о своей любви. Мне не посчастливилось сделать это, хотя, кроме первого посещения Москвы (когда он разговаривал с В. И. Лениным), он посетил ее также в 1934 году. Но я тогда был в Одессе.

Как не восхититься теми мастерскими интонациями, которые есть, например, в «Невидимке»!

— Твое лицо мне видимо, а тебе мое — нет,— говорит Невидимка полицейскому полковнику Эдаю, глупо решившему, что он сильнее Невидимки, поскольку обладает револьвером.

Он величествен, Невидимка. Почему? О, об этом можно писать и писать!

Потом он лежит на берегу моря, избитый матросами,— они пускали в ход лопаты! — и постепенно на глазах у толпы становится видимым — все более человеком, все более жалким. Был фильм о Невидимке. Уэллса ли сценарий? Фильм хуже романа, беднее по существу. В фильме невидимость приобретается вследствие медицинских впрыскиваний, делающих человека невидимым, но одновременно обрекающих его на безумие. Так что причина безумия Невидимки в фильме — физиологическая, низшего порядка. В романе он стервенеет, сходит с ума от одиночества, от того, что он один против всех,— причина, следовательно, историческая, высокая. Это роман, как мне кажется, об анархистах, потрясавших ту эпоху, когда он был написан. Да, да, безусловно, так, художественное отображение анархизма... (В «Похищенной бацилле» он изображает анархиста уже непосредственно; герой повествования, анархист, похищает в лаборатории бациллу холеры, чтобы заразить весь Лондон.)

У него есть рассказ («Зеленая калитка») о человеке, который однажды в детстве, открыв некую встретившуюся ему по пути зеленую калитку, очутился в неизъяснимо прекрасном саду, где на цветущей лужайке играла мячом пантера... Хотя произошло это в далеком детстве, на заре жизни, но воспоминание о чудесном саде настолько завладело душой героя, что вот идут годы, а он все ищет зеленую калитку. Теперь он уже зрелый, достигший высокого положения человек (он министр!), но лучшее, к чему постоянно возвращается его душа,— это мечта отыскать калитку. Однажды ему кажется, что он видит ее... Вот она, вот эта калитка! Он открывает, шагает — но нет за калиткой сада с играющей на лужайке пантерой: там мрак! Оказывается, он шагнул в шахту, в которую и провалился.

Рассказ, следовательно, о разладе между чистыми устремлениями юности и последующим попаданием, что ли, в плен житейской суете, заставляющей терять эту чистоту... «Зеленая калитка», мне кажется, могла бы оказаться среди рассказов, которые отбирал для «Круга чтения» автор «Записок маркера».

Наличие такого рассказа среди творений автора фантастических романов о технике представляет интерес в том смысле, что характеризует его воображение поэтическое. Ведь в том-то и дело, что осмыслить рождавшуюся в мире великую технику и писать о ней взялся именно поэт! От этого фантастические романы Уэллса стоят перед нами, как некие мифы новой эпохи, мифы о машине и человеке.

Если мы говорим, что в капиталистическом мире техника подавляет человека, то лучше всего это подавление, этот страх человека перед машиной выражен, конечно, автором «Борьбы миров» — романа, где есть сцена, в которой смятенный человек в пиджачке и

кривом галстуке, прижавшись к какой-то жалкой городской стене, с ужасом смотрит на приближающееся к нему сквозь развалины стальное щупальце марсианина...

Обычно в противовес чересчур уж сильному возвеличению Уэллса выдвигают Жюля Верна: ведь именно тот первым заговорил в литературе о технике! Может быть, это и так, но куда, скажем, капитану Немо до Невидимки! Жюльверновский герой — схема, уэллсовский — живой человек... Что может быть более условным, чем фигура Паганеля? Чуть ли не комический персонаж из оперетты Оффенбаха! Когда-то я работал над инсценировкой для театра «Детей капитана Гранта» и должен был отказаться от работы по той причине, что герои никак не оживали на сцене... Нужно было изобрести для них всю систему диалога, весь характер словаря, и, когда я пытался сделать это, тогда происходили нарушения системы романа по другим линиям... Мне скажут, что есть же инсценировки жюльверновских вещей, тех же самых, скажем, «Детей капитана Гранта»... Есть, но в них нет живых людей, это феерии. Этим словом можно и определить романы Жюля Верна: да, это феерия на темы техники. Смешно было бы умалять гений Жюля Верна, однако человеческая сторона его не интересует: он даже иногда подчеркивает это, делая своих героев очень часто чудаками, эксцентриками (члены Пушечного клуба, тот же Паганель) или мелодраматическими злодеями (Айртон)... Отсюда романы Жюля Верна не приобретают тех свойств, которыми, наоборот, отличаются произведения Уэллса: свойств подлинности, свойств эпоса. Мы никогда не забудем, читая Жюля Верна, что все это выдумка; при чтении же, скажем, «Борьбы миров» мы вдруг подпадаем под действие странного представления: вдруг начинает нам казаться, что и в самом деле было такое событие, когда марсиане пытались завоевать Землю.

Это скромный человек, бывший о себе, как о писателе, не слишком высокого мнения. Л. Никулин присутствовал при одном разговоре, когда Уэллс сказал, что гений — это именно Горький...

— А у меня всего лишь хорошо организованный мозг.

Он немного сродни тем людям, которые появляются в фантастических романах Уэллса — в «Невидимке», в «Первых людях на Луне»... Маленькие английские клерки в котелках и с тоненькими галстуками, разбегающиеся во все стороны от появившегося из мира будущей техники дива или, наоборот, сбегающиеся, чтобы посмотреть на это диво и погибнуть. Что ж, он родился именно в эту эпоху. Если ему сейчас шестьдесят с чем-то лет, то он мог стоять вместе с теми велосипедистами, которые обступили упавший с неба шар Кэвора. Да, в ту эпоху он был мальчиком и жил в Англии. Мы знаем кое-что из его биографии. Так, нам известно, что его мать была опереточная актриса; так, известно также, что он начал с участия в мимическом ансамбле в Англии и вместе с ансамблем этим приехал на гастроли

в Америку. Что же это за такой ансамбль, который вызывает интерес настолько, что его даже приглашают на гастроли в другую часть света? Тут мы ничего не можем себе представить, поскольку в наше время уже не было таких ансамблей.

Итак, Чаплин сродни человечкам Уэллса. Это знаменательно — он тоже напуган техникой, как и они, он тоже из-за машины никак не может наладить своего счастья.

Дело серьезное. Я, кажется, ничего не сделал, ничего не умею делать. Эта куча, которая лежит в углу комнаты, есть ли это литературное наследство?..

Абрам Роом видел в Брюсселе чаплинские «Огни рампы». Всю жизнь я смотрю на этого человека с завистью, с восхищением. Правда, он на редкость свободен. Пожалуй, здесь он хохотал бы — он-то, Чаплин, свободен? Да он зависит от публики! Он может выпустить фильм, который не будет иметь успеха, и тогда конец ему, разорение! Какая ж это свобода?

Абрам Роом был в гостях у бельгийской королевы. Сидели за круглым столом, пили очень хороший чай, ели маленькие бутерброды с сыром, колбасой, вареньем.

— Кто служил за столом?

— Лакеи.

Тут это звучит особенно веско. Королева!

Сегодня чуть-чуть морозно. Вот именно — чуть-чуть. Это чуть-чуть скользит по земле в виде серебряных крупинок, останавливается на земле еле заметным узором льда — светится в небе по фону синевы еще чем-то: каким-то неуловимым движением чего-то...

Одним из последних слов Мирабо были слова о том, что солнце — если оно не сам бог, то, во всяком случае, его двоюродный брат. Когда читаешь о смерти великого или, по крайней мере, известного в истории человека, всегда хочешь понять, отчего он умер, с нашей точки зрения. Тогда многое называлось горячкой или подагрой. Почти от всего делалось кровопускание. Мирабо умер в несколько дней. Не поймешь от чего. Удар? Нет, он до конца говорил значительно. То, что теперь называется инфаркт? У него была огромная голова, багровая, с отеками, как винный мех.

Случилось со мной что-то или ничего не случилось?

Мне не хочется видеть зрелища, которые дается мне возможность увидеть,— новые, еще не виданные мною зрелища: так я не пошел на китайскую оперу, от которой, послушав ее, пришел в восторг Чаплин. Так я не рвусь на международные футбольные матчи. Так я не пошел на выставку Пикассо.

Очевидно, что-то случилось. Что? Постарение? Возможно. Иногда мне кажется, что это исчезновение интереса к новому, отказ воспринимать это новое происходит от того, что я заинтересован сейчас только в том, чтобы создавать собственные вещи.

На новый фильм Чаплина, если бы его у нас показывали, я бы, пожалуй, рвался...

Какой был интерес ко всему, когда я был молод и только начинал свою литературную деятельность. Я помню, как с Ильфом мы ходили в кино, чтобы смотреть немецкие экспрессионистские фильмы с участием Вернера Крауса и Конрада Вейдта и американские с Мэри Пикфорд или с сестрами Толмэдж. Кино «Уран» на Сретенке, мимо которого я сейчас прохожу с полным равнодушием, даже не глядя на него...

Первый раз я видел Чарли Чаплина в картине, показавшейся мне необыкновенной — да, да, именно так: все было ново, до сих пор невиданно — и сюжет, и прием, и герой, и, главное, юмор... Он тоже был нов, юмор, а между тем мы, зрители кино тех времен, были не мало изощрены по этой части. Нет, такого юмора еще не было! Странный, очень смешной человечек, как показалось мне тогда, с большой волосатой головой портного, проходя мимо шедшего с раскрытой книгой и о чем-то замечтавшегося поэта, кладет ему на страницу разбитое тухлое яйцо. Тот как раз захлопывает книгу. Ужас, вонь, главное — разочарование: только что были стихи, вдруг такая гадость! Почему Чарли Чаплину не пришло в голову сыграть Эдгара По? Там нет комического? Можно было бы найти. Эта маленькая картина, которую я вспомнил, шла в Одессе в кино «Одеон», когда мне было восемнадцать лет и я переживал свою первую любовь. Мне не было слишком много дела до проплывавших на экране теней, вернее, угловато двигавшегося на ней человечка, но, как видите, он остался в памяти. Помню, что, когда я увидел первое появление на экране уже всемирно знаменитого Чаплина, я сразу узнал в нем того же человечка.

По поводу мнения иностранных критиков о том, что нашей литературе чужда выдумка... Однажды, в юности, получив очередную книжку «Мира приключений» (я вспоминаю не тот «Мир приключений», который выходил в советское время, а давний — приложение к журналу «Природа и люди»), я прочел в ней рассказ какого-то неизвестного русского писателя со следующим сюжетом (подчеркиваю: неизвестного русского писателя, фамилия которого мне даже не запомнилась!).

Инженер (тоже с русской фамилией) конструирует «машину времени», способную двигаться как в будущее, так и в прошлое. Однажды, когда, занятый вычислениями, он находился в кабинете, его два сына проникли в мастерскую, где снаряд его стоял уже в законченном виде... Услышав голоса, он бросается в мастерскую, но, увы, поздно: в мастерской пусто, нет ни машины, ни сыновей, улетевших с ней! Куда они улетели? В будущее? В прошлое? Инженер в отчаянии. И вот начинается сооружение некоего магнита, который обладает силой, так сказать, вытягивания машины из пространств времени, где бы она ни находилась — в прошлом или в будущем.

Слушайте, что придумал этот писатель... Многие годы инженер

конструирует свой магнит. Вот он закончен... инженер поворачивает рычаги и в страхе отступает: перед ним с грохотом рушится наземь римлянин: в бороде, в латах... Молчание, оба вглядываются друг в друга.

— Отец,— шепчет римлянин.

Имя сына срывается с уст инженера...

— Это ты?

— Да, это я!

— А где же брат?

Следует пауза, во время которой, видя смятение сына, инженер начинает догадываться о случившемся. И сын произносит:

— Отец, я был Ромулом.

Таким образом, действие магнита было той молнией, при разряде которой был, как известно, взят на небо великий Ромул — в свое время братоубийца.

Гениальный сюжет именно в отношении выдумки! Причем к выдумке как таковой русский автор добавил еще и человечность.

От рождения мальчика держали в условиях, где он не знал, как выглядит мир,— буквально: не видел никогда солнца!

Какой-то эксперимент, причуда богатых... И вот он уже вырос, уже он юноша — и пора приступить к тому, что задумали. Его, все еще пряча от его глаз мир, доставляют в один из прекраснейших уголков земли. В Альпы? Там на лугу, где цветут цикламены, в полдень снимают с его глаз повязку... Юноша, разумеется, ошеломлен красотой мира. Но не это важно. Рассказ сосредоточивается на том, как поведет себя это никогда не видевшее солнца человеческое существо при виде заката. Наступает закат. Те, производящие царственный опыт, поглядывают на мальчика. И не замечают, что он поглядывает на них! Вот солнце уже скрылось... Что происходит? Происходит то, что мальчик говорит окружающим:

— Не бойтесь, оно вернется!

Вот что за писатель Грин!

Его недооценили. Он был отнесен к символистам, между тем все, что он писал, было исполнено веры именно в силу, в возможности человека. И, если угодно, тот оттенок раздражения, который пронизывает его рассказы,— а этот оттенок, безусловно, наличествует в них! — имел своей причиной как раз неудовольствие его по поводу того, что люди не так волшебно сильны, какими они представлялись ему в его фантазии. Интересно, что и он сам имел о себе неправильное представление. Так как он пришел в литературу молодых, в среду советских писателей из прошлого — причем в этом прошлом он принадлежал к богеме,— то, чтобы не потерять уверенности в себе (несколько озлобленной уверенности), он, как за некую хартию его прав, держался за ту критическую оценку, которую получил в свое время от критиков, являвшихся проповедниками искусства для искусства. Так с гордостью он мне сказал:

— Обо мне писал Айхенвальд.

Я не знаю, что о нем писал Айхенвальд. Во всяком случае, он от-

носил себя к символистам. Помню характерное в этом отношении мое столкновение с ним. Примерно в 1925 году в одном из наших журналов, выходивших в то время, в «Красной ниве», печатался его роман «Блистающий мир» — о человеке, который мог летать (сам по себе, без помощи машины, как летает птица, причем он не был крылат: обыкновенный человек). Роман вызывал общий интерес — как читателей, так и литераторов. И в самом деле, там были великолепные вещи: например, паническое бегство зрителей из цирка в тот момент, когда герой романа, демонстрируя свое умение летать, вдруг, после нескольких описанных бегом по арене кругов, начинает отделяться от земли и на глазах у всех взлетать... Зрители не выдерживают этого неземного зрелища и бросаются вон из цирка! Или, например, такая краска: покинув цирк, он летит во тьме осенней ночи, и первое его пристанище — окно маяка!

И вот, когда я выразил Грину свое восхищение по поводу того, какая поистине превосходная тема для фантастического романа пришла ему в голову (летающий человек!), он почти оскорбился.

— Как это для фантастического романа? Это символический роман, а не фантастический! Это вовсе не человек летает; это парение духа!

Никакая похвала не кажется достаточной, когда оцениваешь его выдумку. Тут прямо-таки даешься диву. Хотя бы рассказ о человеке, который должен был, вследствие того, что был инсургентом, покинуть город, где жил и где осталась его семья, и поселиться на противоположном конце той дуги, которую образовал берег залива между двумя городами, и как однажды прискакал к этому человеку из покинутого города друг с сообщением, что семья его во время пожара стала жертвой огня и что если он хочет застать жену и детей еще в живых, то пусть немедленно садится на его, друга, коня, скачет туда, на ту сторону залива, на тот край дуги. Друг сходит с коня, протягивает поводья — но инсургента нет! Куда он девался? Он его зовет, а потом ищет... Нет его! Что ж, гонцу ничего не остается, как опять сесть на коня и возвращаться. Вернувшись, он, к удивлению своему, встречает инсургента уже в городе — выходящим из больницы.

— Я успел с ними попрощаться.

— Постой,— спрашивает друг в ошеломлении,— ты шел пешком? Как же ты мог оказаться здесь раньше меня? Я скакал по берегу двое суток...

Тот, оказалось, шел не по дуге залива, а пересек его по воде!

Вот как силен, по Грину, человек. Он может, даже не заметив этого, пройти по воде. Причем тут символизм, декадентство?

Иногда говорят, что творчество Грина представляет собой подражание Эдгару По, Амброзу Бирсу. Как можно подражать выдумке? Ведь надо же выдумать! Он не подражает им, он им равен, он так же уникален, как они.

Наличие в русской литературе такого писателя, как Грин, феноменально. И то, что он именно русский писатель, дает возможность нам не так уж уступать иностранным критикам, утверждающим, что

сюжет, выдумка свойственны только англо-саксонской литературе: ведь вот есть же и в нашей литературе писатель, создавший сюжеты настолько оригинальные, что, ища определения степени этой оригинальности, сравниваешь их даже с первозданностью таких обстоятельств, как, скажем, движение над нами миров.

В последние годы своей жизни Грин жил в Старом Крыму, недалеко от Феодосии. Я там не был, в этом его жилище. Мне только о нем рассказывали. Его комната была выбелена известью, и в ней не было ничего, кроме кровати и стола. Был только еще один предмет... На стене комнаты — на той стене, которую, лежа в кровати, видел перед собой хозяин,— был укреплен кусок корабля. Слушайте, он украсил свою комнату той деревянной статуей, которая иногда подпирает бушприт! Разумеется, это был только обломок статуи, только голова (будь она вся, эта деревянная дева, она легла бы сквозь всю комнату — может быть, сквозь весь дом и достала бы сада!) — но и того достаточно: на стену, где у других висят фотографии, этот человек плеснул морем!

Хочется писать легкое, а не трудное. Трудное — это когда пишешь, думая о том, что кто-то прочтет. Ветка синтаксиса, вернее — розга синтаксиса все время грозит тебе. А писать легко — это писать так, когда пишешь, что приходит в голову как по существу, так и грамматически.

Как нравится Метерлинк! Его «Втируша». (Хорошо ли переведено — Втируша?), его «Слепые»! Слепые, которых вел зрячий священник, вдруг начинают чувствовать, что что-то случилось — это умер их поводырь: умер среди них, но некоторое время они не знают, что случилось именно это.

У него опущенные вниз, несколько лукавые усы богатыря. Он фламандец. Станиславский увидел его впервые в шоферской куртке, в кепке, у автомобиля. Он один из первых автомобилистов. Он написал об этой тогда еще новой машине целое эссе... Это первое впечатление человека от той новой техники, которую хочется назвать техникой во имя скорости.

Его называют декадентом. Но он был теплым, веселым любителем природы, животных, был — со своим автомобилизмом — одним из первых поэтов именно такого рода техники, которая, будь он декадентом, должна была бы его ужаснуть.

В годы вскоре после Версальского мира появилось несколько замечательных немецких романов. Их называли экспрессионистскими. Фамилии авторов были — Верфель, Перуц, Мейринк. Эти романы были, можно сказать, фантастическими. Однако это не была фантастика, резко расходящаяся с бытом, с житейским, подобно, скажем, фантастике Гофмана. В этой экспрессионистской фантастике фигурировал реальный город, реальные люди, однако происходило нечто странное, что заставляло реальных людей попадать в жуткие положения. Пожалуй, больше всего это было похоже на Достоевского,

которого, кстати, экспрессионисты считали своим духовным отцом. Да, именно на Достоевского с его сценами вроде лестничной клетки, на которой мечется Раскольников. Это фантастика, рождающаяся от колебания света и теней, от возникновения на пути преграды, угла, поворота, ступенек...

Под очарование этих писателей довольно трудно было не поддаться — особенно начинающему, не воспитывающемуся на русской литературе, приехавшему из европообразной Одессы.

Я замечаю, что я сейчас избегаю изложения каких-либо зародившихся во мне серьезных мыслей — как видно, опасаюсь, что не получится. Может быть, просто устал.

Начал читать «Гедду Габлер». Молодой глуповатый ученый женился на дочери генерала Габлера — некоей, как сразу показано, демонической женщине, которая своим выходом за него замуж принесла ему, как ей это представляется, жертву. Он говорит своей тетке, воспитавшей его, что Гедда не согласится на мещанскую жизнь. Кстати, комната, в которой начинается действие, вся в цветах (здесь герои появляются после возвращения из свадебной поездки)...

Зачем это пересказывать? Содержание всем известно.

Финал действия с пистолетами несколько неожидан, резок. Гедда получается уж слишком страшной.

Когда я был маленьким, то и дело я прочитывал эти слова на афишах — «Гедда Габлер». Кажется, ее играла Комиссаржевская.

Томас Манн тонко подмечает в одном рассказе, что во время деревенского бала дети продолжали отплясывать даже тогда, когда музыка уже не играла.

Подробность в стиле русских писателей.

До некоторых размышлений Томаса мне не дотянуть, но в красках и эпитетах я не слабее.

Умер Томас Манн. Их была мощная поросль, роща — с десяток дубов, один в один: Уэллс, Киплинг, Анатоль Франс, Бернард Шоу, Горький, Метерлинк, Гамсун, Манн.

Вот и он умер, последний из великих писателей.

Томасу Манну принадлежит «Волшебная гора». Там есть такой момент. Некий работающий с медиумом мистик, по просьбе нескольких проживающих в санатории независимых, умных и богатых людей, вызывает дух недавно скончавшегося там же, в санатории, молодого человека. Дух появляется не сразу... Вдруг начинает проступать в воздухе призрак молодого человека.

Кто-то, увидев, вскрикивает.

Тогда один из присутствующих спокойно говорит:

— Я его уже давно вижу.

Самое трудное, что дается только выдающимся писателям,— это именно реакция действующих лиц на происшедшее страшное или необычайное событие.

Да, там, в «Волшебной горе», есть необычайные вещи. Хотя бы основной прием: он перенес лихорадящий мир, человечество, во вся-

ком случае, Европу, в санаторий чахоточных, в Давос — сжал, обобщил, обострил все мысли и тревогу мира до предела небольшой группы людей, действительно обреченных на смерть.

Там молодой человек, влюбленный в женщину, случайно видит у доктора, который тоже влюблен в эту женщину и пользуется у нее успехом, рентгеновский снимок ее легких — и это заставляет молодого человека особенно страстно почувствовать любовь к ней и ревность к этому всемогущему сопернику, умеющему видеть ее легкие.

Я не люблю Бернарда Шоу. Все — наоборот, кривляние, фокусы. Что бы он там ни проповедовал, по чему бы ни бил — мне все равно. Есть только одно ценное для меня качество у писателя: он — художник, вдохновенный художник. Герцен тоже проповедовал и бил — но для этого ему не нужно было фокусничать и говорить наоборот: он действовал, как художник.

Уайльд мне гораздо милее Шоу. Даже не то слово: милее! Он неизмеримо выше. Без Уайльда мировая литература, кажется мне, была бы беднее, без Шоу — она осталась бы такой же, как и была.

Я уж не говорю о великом Уэллсе!

Живого Шоу я видел. Это было в Москве в 1931 году (кажется) на приеме, устроенном в его честь Госиздатом. Шоу сидел за столом, покрытым белой скатертью, в головах стола, и ел малину, схватывая ее в миске тонкими пальцами. Он был по тогдашней европейской моде без галстука — просто в летней рубашке с расстегнутым, хорошо накрахмаленным воротом.

В числе гостей был Маяковский, которого за столом я не помню, но запомнил входящим где-то вдали коридора в дверь, потом идущим по угловатому коридору по направлению к комнате, где стою я. Он идет в шляпе и с тростью и видит меня. Глаза его, белые белки и черные круги радужной оболочки, видны в темноте коридора — и мне делается приятно и страшно.

Карел Чапек — великолепный писатель, высокое достижение чешской нации.

Он рано умер... До нас доходили сведения, что это случайная смерть, внезапное заболевание, которое можно было пресечь, если бы раньше принять меры...

Писатель одним из первых обратил внимание на машину — художественное внимание, как это сделал Уэллс в своей «Борьбе миров»... На машину и ее значение в жизни человека — на машину как на явление философское, историческое, нравственное. Его перу принадлежит вдохновенное произведение именно о машине и о человеке — «R. U. R.». Это пьеса, где действуют впервые получившие художественную реальность «роботы». Ему первому пришло в голову сделать действующими лицами искусственных машинообразных людей. Они действуют среди живых людей, их повелителей и одновременно роковым образом зависимых от них. Карел Чапек одним из первых ввел в мировую литературу новый персонаж, еще не ясный, фантастический, но странно яркий, загадочный и интересный.

Мы знаем, что наш Алексей Толстой заимствовал у Чапека сюжет пьесы, разумеется, переработав его, и написал на этот сюжет свой «Бунт машин». Тем более возвеличивается образ Чапека, его поэтическая сила, что другой художник, тоже ярко индивидуальный, вдохновляется его замыслом, останавливается на нем, очаровывается им.

Тема машины не покидает Чапека, он думает о ней, он все время во власти ее, как и следует передовому художнику эпохи. Вот именно, подчеркнем это: Чапек был передовым художником эпохи — этот одареннейший славянин... Когда, скажем, Марсель Пруст — мы не хотим снижать значение этого писателя — искал утраченное время, оглядывался назад, томясь, грустя, любя его — это утраченное время, Чапек следил за временем, идущим вперед, вглядывался в него и увидел, что главное в этом времени — взаимоотношение человека и машины...

Он написал «Войну с саламандрами». Это роман о фашизме, о политической системе, превращающей людей в машины, в рабов. Там действуют саламандры, но мы понимаем, что под видом саламандр Чапек выводит обезличенных, вызывающих жалость людей, которые утратили полноценность, будучи поставлены в условия фашистского государства с его «тушением гения», с его унифицированием человеческой души, с его требованием к человеку именно быть бездушной машиной.

Роман блистательно фантастичен — причем в том высшем, искуснейшем смысле фантастики, когда она становится похожей на подлинность, как это наблюдаем мы у Данте или у автора «Борьбы миров». В романе целая серия выдумок, находок, изобретений... Он — весьма выдающееся произведение предвоенной эпохи, своеобразное, оригинальное, напоминающее Рабле, Свифта.

Произведения Чапека пронизывают юмор здоровый, грубый, румяный — юмор сына славянской культуры... Мы знаем целый ряд его рассказов, очерков, миниатюр на жанровые темы, на темы искусства. Они юмористичны в том плане, как писал Чехов, в плане, когда юмор становится конструктивной силой, организующей материал наиболее выразительно, наиболее поучающе...

Не мешает сейчас, когда вспоминается историческое имя Карела Чапека, перечесть советским читателям его книги. Они издавались у нас с любовью к этому замечательному писателю, большими тиражами.

Иногда он очень тонок, изыскан... Ему ведомы все тайны мастерства, он на уровне мировых писателей — этот Карел Чапек, наш брат по корням языка, высокий ум и талант, высокая душа которого всегда принадлежали угнетенным.

Художественная сила Хемингуэя исключительна. Почти на каждой странице выпущенного Гослитиздатом двухтомника его произведений — а этих страниц больше тысячи — имеется нечто такое, что способно, нам кажется, задержать на себе восхищенное внимание читателя.

Как превосходна, например, та сцена из романа «Прощай, оружие!», где полевая жандармерия выхватывает из толпы, бегущей вместе с отступающей итальянской армией, старых и заслуженных офицеров, которые не могут в данном случае не отступать, и демагогически, если можно так выразиться, их расстреливает... Не будет смелостью сказать, что это написано близко к уровню знаменитых военных сцен «Войны и мира» — скажем, той сцены, когда Багратион под Шенграбеном идет впереди полка...

В другой книге есть эпизод ссоры между врачом полевого госпиталя и артиллерийским офицером. Оба — оттого, что окружены страшной обстановкой госпиталя после боя,— находятся в истерическом состоянии, оскорбляют друг друга, и в конце концов врач в ярости выплескивает в глаза офицера блюдечко йода. Темп этой сцены, ее ракурсы, колорит так странно хороши, что даже не можешь дать себе отчета, читаешь ли книгу, смотришь ли фильм, видишь ли сон, присутствуешь ли при совершающемся на самом деле событии. Или, как, например, не признать великолепным место из романа «Иметь и не иметь», показывающее нам медленное движение по течению некоего судна, которое никем не управляется, поскольку четверо его пассажиров убиты, а капитан тяжело ранен и умирает. Они перебили друг друга. Это отнюдь не романтические причины, а следствие жестокости, алчности, страха... Представив себе судно мертвецов, читающий эти строки, но не знающий романа, отнесет подобный эпизод к прошлому, к романтическим же костюмам — нет, трупы и умирающий на этом судне одеты в пиджаки, плащи, волосы их расчесаны на пробор и блестят, возле них валяются револьверы, а судно не что иное, как моторная лодка... Тем большей жутью веет от такой картины, что она именно современна и возникла в общем из процветающего в Америке чудовищного явления — гангстеризма.

Как художник, Хемингуэй, изображая эту картину, проявляет поистине мощь. Моторную лодку мертвецов, пишет он, сопровождали маленькие рыбы разных пород, и когда сквозь пробоины, образовавшиеся в результате стрельбы, падала капля крови, рыбы тотчас бросались к ней и проглатывали ее, причем некоторые, будучи менее проворными, в момент падения капли оказывались по другую сторону лодки и не успевали полакомиться.

Хотелось бы также пересказать, как он изображает, например, появление льва в рассказе «Недолгое счастье Фрэнсиса Макомбера», или хозяйничание в закусочной тех же гангстеров в узких пальто и похожих на эстрадных эксцентриков в рассказе «Убийцы», или смерть мальчика в рассказе «Рог быка».

Чудесны автобиографические рассказы Хемингуэя, где нежно описана скромная фигура его отца, который был деревенским врачом и лечил индейцев.

В этих рассказах уже намечается тема рыбной ловли, занимающая в творчестве писателя весьма большое место, проявляясь почти во всех его произведениях. На войне, в трудные минуты, он вспоминает, как он удил некогда в юности рыбу — совершает мысленное

путешествие вдоль этой реки юности, на родине. У него есть рассказ «На Биг-ривер», в котором ничего не происходит, кроме того, что молодой человек, автор, расставляет палатку, готовит себе завтрак и потом ловит форель. Конечно, любовь к рыбной ловле — личное дело Хемингуэя, но, изливаясь на бумагу, эта любовь уже предстает перед нами как любовь вообще к миру, превращается в несравненные изображения природы, человека, животных, растений и уже становится поэтому делом литературы.

Между прочим, приходит в голову мысль, что повесть «Старик и море», в основном написанная на тему о невозможности бедняку в капиталистическом мире «иметь», есть еще и отражение той же любви Хемингуэя к рыбной ловле, каковая любовь, смешавшись с грустью о невозвратности молодости, превратилась в повесть о ловле гигантской рыбы.

Хемингуэй с чрезвычайной неприязнью относится к богатым. Стоит ознакомиться хотя бы с изображением яхтовладельцев в романе «Иметь и не иметь». Показная культурность, признание одной лишь силы денег, разнузданная чувственность, холод сердца — вот какими чертами определяет Хемингуэй тех, кому в мире, где «не имеют», удалось «иметь». Отвратительная чета американских миллионеров в рассказе «Недолгое счастье Фрэнсиса Макомбера»... И есть также у Хемингуэя статья под названием «Кто убил ветеранов войны во Флориде». Это очень яркий документ, характеризующий Хемингуэя именно как человека, ненавидящего богатых, власть имущих. С дантовской силой изображает он в этой статье результаты преступления, содеянного предпринимателями и администрацией почти небрежно, почти на ходу.

Симпатии Хемингуэя на стороне тех, кто «не имеет». Его друзья — простые люди, скромные мастера своего дела, которых в Америке так много. Оцените, с какой теплотой, с какой отдачей художественного внимания описывает он негров, индейцев. Один из лучших, на мой взгляд, рассказов его — «Индейский поселок» — посвящен как раз восхвалению души индейца, ее чистоты. Этот индеец, слыша, как страдает, как мается его неудачно рожающая жена, не может вынести той жалостливости, того сочувствия к страдающей, того сознания своей вины, которые охватывают его, и перерезает себе горло.

Несомненно, Хемингуэй с его критикой богатых, с его любовью от всего сердца к бедным, с его органическим непризнанием расизма является одним из передовых писателей Америки.

Писательская манера Хемингуэя единственна в своем роде.

Иногда представляется, что он мог бы и вычеркнуть некоторые строки... Зачем, например, описывать, как подъехала машина такси и как стоял на ее подножке официант, посланный за машиной? Для действия рассказа это не имеет никакого значения. Или есть ли надобность останавливать внимание на том, что группа индейцев, не участвующая в сюжете, разворачивающемся на вокзале, покидает вокзал и уходит садиться на свой поезд? Важно ли давать подробную картину того, как бармен составляет коктейль: сперва налил то,

потом налил это, потом ушел, потом вернулся, принес бутылку, опять налил и т. д.? Если бы, скажем, этим коктейлем отравили героя, тогда выделять такое место имело бы смысл... Нет, эта сцена вне сюжета. Имело бы также смысл останавливаться на ней, если бы, скажем, автор хотел рассказать нам, как приготовляются коктейли. Нет, и этой цели Хемингуэй не ставит себе. Право, другой бы вычеркнул подобные места... Однако Хемингуэй их не вычеркивает — наоборот, широко применяет, и странное дело, их читаешь с особым интересом, с каким-то очень поднимающим настроение удовольствием. В чем дело? Дело в том, что и мы, читатели, бывает, нанимаем такси, и нам случается ждать нужного поезда, и для нас иногда приготавливают коктейли. Отсюда и удовольствие. Мы начинаем чувствовать, что наша жизнь мила нам, что это хорошо — нанимать такси, ждать поезда, пить коктейль. Несомненно, такая манера, состоящая в том, что, кроме ведения сюжета, писатель еще как бы боковым зрением следит за мелочами жизни — за тем, как герой, допустим, бреется, одевается, болтает с приятелем,— такая манера, скажем мы, несомненно, жизнеутверждающа и оптимистична, поскольку, как мы уже примерно сказали, вызывает у нас вкус к жизни. Честь первого применения этой манеры принадлежит, безусловно, Хемингуэю. Теперь ее применяют многие писатели Запада, в том числе Ремарк, Сароян, Фолкнер, замечательный польский писатель Ярослав Ивашкевич.

Диапазон Хемингуэя весьма широк. Хемингуэй в состоянии задеть любые струны души читателя. Да, вызвать слезы... Разве мы не плачем, читая сцену умирания Кэт в романе «Прощай, оружие!»? Действительно, как нам жаль ее! Как трогает нас ее желание справиться с родами, родить... как раздирает нам сердце появляющееся у нее на пороге смерти чувство виновности в чем-то — в том, что она не справилась, умирает. Это очень высокая в художественном отношении сцена, шедевр.

Может Хемингуэй задеть и струны умиления, нежности. Прочтите рассказ «Вино Вайоминга», где изображена принимающая гостей немолодая чета.

Совершенно превосходен уже упомянутый нами рассказ «Рог быка». Из ничего, из реплик на протяжении двух-трех страничек возникает живой, существующий образ мальчика. И нет предела жалости, вызванной у нас автором,— жалости к мальчику, погибшему в результате наивности, отчаянной, напрасной смелости и мальчишеского задора.

Вызвать жалость, нежность к хорошим людям, сочувствие им Хемингуэй считает для себя необходимым.

Когда хочешь определить, где корни творчества Хемингуэя, на ум не приходит ни английская, ни французская, ни американская литература. Вспоминаешь именно русских писателей: Тургенева, Чехова и Льва Толстого. В особенности Лев Толстой был его вдохновителем. Уже само стремление Хемингуэя разрушить литературные каноны стоит в какой-то зависимости от творчества автора «Войны и мира», выступившего среди крепких литературных тради-

ций с новой формой, для которой так и не нашли определения, назвав облегченно эпопеей.

Нелюбовь к литературщине, возможно, возникла у Хемингуэя сама по себе, как и у других писателей той эпохи, когда он начинал. Но, найдя эту нелюбовь уже у Толстого, он не мог не преклониться перед ним.

— Это очень хорошая повесть,— говорит он в «Зеленых холмах Африки» о «Казаках» Толстого. И еще раз повторяет: — Это очень хорошая повесть.

Большой писатель не подражает, но где-то на дне того или иного произведения писателя, внимательно относившегося при начале своей деятельности к кому-либо из уже ушедших писателей, всегда увидишь свет того, ушедшего. Так, порой на дне творчества Хемингуэя видишь свет Толстого — «Казаков», «Севастопольских рассказов», «Войны и мира», «Фальшивого купона»... Если сказать точнее, то этот свет есть любовь Хемингуэя к Толстому.

Это, разумеется, беглые, поверхностные заметки... Да и как ни пиши, но если пишешь о таком явлении силы мысли и силы воображения, какое представляет собой крупный художник, то все равно останешься дилетантом.

Я никогда не занимался рыбной ловлей. Вероятно, это очень интересно. Можно представить себе, как приятно после города, труда и ссор вдохнуть запах реки... Я видел, как стоит в воде пузатенький поплавок, наполовину красный, наполовину белый. Он стоит на совершенно ровной блестящей поверхности, которая слепит глаза.

Рыбную ловлю описал Хемингуэй — без всяких прикрас, минуту за минутой, жест за жестом, предмет за предметом, мысль за мыслью. Потом у него любовь к рыбной ловле, смешавшись с грустью о невозвратности молодости, превратилась в повесть о ловле гигантской рыбы.

В Одессе ловили рыбу не в реке, а в море. Там тоже фигурировали поплавки, но среди моря они как-то не выделялись. Рыбаки, высоко подобрав штаны, ходили по краю моря, нагибаясь под нависшими скалами. Потом появлялся на дачных дорогах куда-то спешивший, быстро идущий чернявый человек все в тех же подобранных штанах, босой и с ветвью бычков в руке, которые он спешил продать. Бычок — это маленькое чудовище с огромной головой, поистине бычачьей, но с веерами возле ушей... Катаев хорошо описывал в своем «Парусе», как на одесском базаре мадам Стороженко продает бычки и как она их покупает у поставщиков — этих самых чернявых людей, быстро идущих по дачным дорогам босыми ногами и жадно ожидающих зова из окон.

Нужно ли такое обилие красок, как у Бунина? «Господин из Сан-Франциско» — просто подавляет красками, читать рассказ становится от них тягостно. Каждая в отдельности, разумеется, великолепна, однако, когда читаешь этот рассказ, получается такое впечатление, как будто присутствуешь на некоем сеансе, где демонстриру-

ется какое-то исключительное умение — в данном случае определять предметы. В рассказе, кроме развития темы и высказывания мыслей, еще происходит нечто не имеющее прямого отношения к рассказу — вот именно этот сеанс называния красок. Это снижает достоинства рассказа.

В конце концов мы, писатели, знаем, что все на все похоже и сила прозы не в красках.

Бунин замечает, что, попадая на упавший на садовую дорожку газетный лист, дождь стрекочет. Правда, он стрекочет, лучше не скажешь. То есть и не надо говорить лучше, это, выражаясь языком математики, необходимое и достаточное определение... Но есть ли необходимость выделять из повествования такую деталь, которая сама по себе есть произведение искусства и, конечно, задерживает внимание помимо рассказа?

Мы стоим перед вопросом, как вообще писать. В конце концов рассказ не есть развертывание серии эпитетов и красок... Есть удивительные рассказы, ничуть не наполненные красками и деталями. Однако Гоголь широко применял сравнения. Тут и летящие на фоне зарева лебеди с их сходством с красными платками, тут и дороги, расползшиеся в темноте, как раки, тут и расшатанные доски моста, приходящие в движение под экипажем, как клавиши, тут и поднос полового, на котором чашки сидят, как чайки... Гоголь трижды сравнивал каждый раз по-иному предмет, покрытый пылью: один раз это графин, который от пыли казался одетым в фуфайку, тут и запыленная люстра, похожая на кокон, тут и руки человека, вынутые из пыли и показавшиеся от этого как бы в перчатках.

В одном из этих отрывков Бунин пишет о том, что когда встречал пятидесятилетнего человека, то перед тобой было даже как бы страшное существо. Теперь, пишет Бунин, он сам уже в этом возрасте. Подписано: «Приморские Альпы, 1925 год».

Я встретил его тогда в Одессе на Екатерининской в году... 1915-м! То есть тогда ему было сорок лет. Позже, когда на собрании артистов, писателей, поэтов он стучал на нас, молодых, палкой и уж, безусловно, казался злым стариком — ему было всего лишь сорок два года.

Но ведь он и действительно был тогда стариком! И мало того: именно злым, костяным стариком — дедом!

Надо ли так писать, как Бунин? Зачем такое количество красок?

Он пессимист, злой, мрачный писатель. Хорошо, деревня была страшной в его времена, но когда читаешь изображаемые им ужасы, то кажется, что он подделывается под тех, кто ужасался искренне — для того чтобы, как говорится, выйти в люди.

Чего он хочет? Не знаю. Помещики ему, безусловно, милы. Кулаки — нет, а помещики — милы. Что же, он думает, что уничтожение ужасов произойдет от помещиков?

Даже Чехов с его пессимизмом верил в то, что через двести лет «жизнь будет прекрасной». У Бунина нет никакой веры. Тоска по ушедшей молодости, по поводу угасания чувственности...

Его рассуждения о душе, сливающейся с бесконечностью или в этом роде — кажутся иногда просто глупыми. Пресловутый «Господин из Сан-Франциско» — беспросветен, краски в нем нагромождены до тошноты. Критика буржуазного мира? Не думаю. Собственный страх смерти, зависть к молодым и богатым, какое-то даже лакейство.

Умение точно описать — действительно поразительное. Однако молодая девушка, дочь господина из Сан-Франциско, с ее нежными прыщами на оголенной спине — пришла из толстовского «После бала».

Читал великолепные вещи Бунина. В «Лирнике Родионе» в описании, как одет слепой лирник, сказано, что холщовая его рубаха, связана на горле красной, по-славянски, лентой.

Краски удивительно точны. Так, например, стрекочет по лежащей на земле газете. Таких красок, из которых ни одна не заставляет переспросить себя, задуматься о ее точности, бесконечное количество. В крестьянском рассказе, где в центре умирающий крестьянин, непонятно, каким образом рождаются эти краски. Кто их видит?

Очень часто фигурирует воспоминание о женщине, которая не любила — грустное, раздирающее сердце, но с такой же точностью выраженное воспоминание.

В «Лирнике Родионе» — великолепная народная украинская песня о сироте и мачехе.

Иван Бунин из мелкопоместных, обедневших, на краю разорения помещиков. Эпоха уже с декадентами, Блоком, Врубелем, «Миром искусства» — и вскоре с войной.

Восторженные воспоминания об охоте. Огненные собаки, ветер, свистящий и гудящий в дуло ружья, помещики в расстегнутых поддевках, мертвый волк на полу гостиной с оскаленными зубами и проливающий розовую кровь.

У Чехова красок, по крайней мере, в сто раз меньше. Почему? Он не мог их увидеть? Или не считал возможным называть? В рассказе «Тина» от героини пахнет сладким запахом жасмина, и все — а рассказ невероятно ярок. Чехов, между прочим, неким образом модернизировал анималистические краски: он может сказать, например, о мусоре, сдуваемом ветром с мостовой, что этот мусор улетал так быстро, как будто ему было стыдно за себя и он хотел поскорее скрыться.

Образных выражений такого порядка у Бунина уже не встретишь ни одного.

Чехов гораздо сильнее Бунина. Почему?

Если б не расцветшие деревья, то было бы похоже на март. Серое грязно движущееся небо — вот именно: с облаками, похожими на телеги, неясность в отношении температуры, зябкость... Словом, так же плохо, как этот отрывок.

В музее Чехова лежит его воротник, галстук, наружный платок, кашне... Галстук, между прочим, голубой, готовая бабочка с длинными полосками для обхвата шеи. Платок мало чем отличается от со-

временных, также и кашне могло бы лежать в витрине на Столешниковом.

Уход, отсутствие некоей жизни, которая была и которой теперь нет, ощущается здесь с такой силой, что минутами тишина в этом доме становится почти реальным телом.

Все суждения, которые я слышу из уст любителей живописи, кажутся для меня всегда новыми, я перед ними мал, смотрю снизу вверх. Это всегда для меня новое, которое нужно знать — я всегда в школе, когда я разговариваю со знатоками о живописи. Ничего подобного я не испытываю, когда я разговариваю о литературе или когда читаю о ней. Пусть даже это будет мнение великих писателей — Льва Толстого, Пушкина и т. д. Тут для меня нового нет, я это все знаю и сам — тут я не в школе, я если и в школе, то среди учителей.

Кого же я люблю из художников? И на это не могу ответить. Восхищение тем или другим из них носит у меня не чистый характер восхищения именно живописью. Я присоединяю ассоциации исторические, литературные. Цвет, линия — что меня останавливает? Тициан? Рафаэль? Не знаю. Я знаю кое-что о живописи, но не могу судить о ней. Когда мне говорят — Микеланджело, то я с большим интересом думаю не о его произведениях, а о том, что он писал «Суд» лежа на подмостках на спине и краска капала ему на лицо. Когда думаю о Ван-Гоге, то не вижу куст сирени, а человека, который отрезает себе бритвой ухо.

Конечно, нельзя не понимать того чуда, что, например, Боттичелли в своих линиях современен нам по мышлению.

Маленькие картинки Леонардо в том алтаре, в который вделаны они в Эрмитаже, трудно оценить мне, который первым делом хочет не поверить, что писал Леонардо, потом любуется только алой шнуровочкой на груди мадонны...

Она выходит между натянутыми влево и вправо створками зеленого, как оказалось, занавеса, босая, с одеждой, унесенной ветром в сторону. Мне кажется, что «ангел Рафаэля, так созерцает Божество»,— это об ангелах, которые, подперев подбородки, созерцают Сикстинскую. Пушкин, не побывавший за границей, знал, разумеется, эту картину по копиям.

Там оптическое чудо. Ангелы, облокотившись о что-то земное, смотрят вперед и, хотя она идет позади них, убеждены, что они ее видят.

Золотые тона тициановских картин... Что это — Венеция? Кто ее строил? Почему она воплощенная сказка? Люди ходили в масках. Кто это придумывал? Кто придумал гондолы? Пение на гондолах?

Венецианки золотые. Славянки? Надо прочесть историю Венеции. Бонапарт осматривал каналы с точки зрения нападения на нее. Она вся голубая рябь, в которой отражается золото соборов. Впрочем, я этого всего не видел. Однако есть Каналетто. У него, кстати говоря, она не так сказочна, как ее представляешь. Широкая даль.

Там жил Байрон. У Эдгара По есть непонятный рассказ о Венеции. В Венеции служил в каком-то посольстве Руссо. Как много было сказочных, странных и знавших эти свои свойства стран — Венеция, Тулуза. Какое-то свойство человеческого сознания, проявлявшееся тогда,— наряжаться в странные одежды, строить филигранные дома, сочинять любовные кодексы. Более высокая, черт возьми, степень культуры в сравнении с нами. Во всяком случае, изящней!

Подумать только — и среди всего этого Тициан, Джорджоне с их Флорами и Ледами. Какое-то божественное варварство, какой-то рай!

Здания со статуями о чем-то рассказывают. В немоте этих фигур со свитками, мечами, циркулями ясно слышишь рассказ, повествование. Они рассказывают историю.

Подойдем к этому старцу ближе. Глаз у него нет, есть только их вырез, но кажется, что видишь глаза, которые смотрят кверху. Он держит циркуль. Кто это, Архимед?

Много, много статуй. На их плечи падают листья, а вечером ляжет лунный свет.

Вот юноша, опустивший впереди себя меч, как бы пересекая кому-то путь. Острие меча на расстоянии ладони от меня абсолютно неподвижно. Не может не тревожить нас эта абсолютная вечная неподвижность статуй, опущенных носов, лбов, пальцев, чье расположение говорит о беседе, о споре, о бурном доказательстве. Здание со статуями действует на нас озадачивающе. Что-то хочется понять, остановившись возле них. И понимаешь: эти здания говорят, они рассказывают что-то. Что? Историю.

Идешь по лугу, приближаясь к статуям. Они белы, некоторые лицом на тебя, другие по краям в профиль. Как это красиво. Подходишь ближе и видишь, что по ним ползают и бьются крылами насекомые, что у сандалий некоторых на углу цоколя лежит ореховая скорлупа. Если повезет, увидишь выглянувшую из-за ноги Софокла ящерицу. Какая тишина! Какая тишина!

Есть в «Третьяковке» бюст Екатерины Второй работы Шубина. Ее лицо туманно, смотрит как бы действительно из дали времени, прекрасное (что не соответствует действительности) лицо.

Она была, по всей вероятности, маленькая, но осанистая. Вокруг лак паркетов, бриллианты, свечи, арапчата, игральные карты, тоже маленькие, из атласа как бы в пудре. Все это, вероятно, было очень красиво. Ордена мерцали на сановниках и генералах при свете свечей.

Суворов вбегает в такой зал и швыряет в арапчонка шляпой. Шляпа некоторое время, упав, скользит по паркету. Арапчонок улепетывает.

Екатерина предсказала возвышение и цезаризм Бонапарта. Вставала в шесть часов утра, сразу же садилась к столику писать. Письменная женщина, привычка, любовь к писанию, графомания. Любимое блюдо — свинина с кислой капустой, немецкое.

Как трогателен Ван-Гог, когда он пишет своему брату, торговцу красками, насчет того, что и он, брат, мог бы научиться живописи — не такая уж это, в конце концов, трудная штука! Здесь и отказ от взгляда на себя как на нечто необыкновенное, и извинение за свой, как может показаться почти каждому, легкий хлеб.

Так же трогательно восхищение его художниками, от которых теперь не осталось даже имени. Какие-то современные ему голландские художники, которых он считал гораздо выше себя, сравниться с которыми для него было бы пределом мечтаний...

— Вот если б я писал, как такой-то!

Он не только великий художник, он и замечательный писатель: прочитайте, как описана им его картина «Ночное кафе».

Сперва отрезал себе ухо, написал свой портрет без уха — потом застрелился.

На всю жизнь осталась в памяти тень рояля на полу кафе — не менее ярко, чем черные копья Веласкеса в «Сдаче Бреды». Вместе с тем это рисунки сумасшедшего — эти человеческие фигурки в ночном кафе кажутся подмигивающими и с расплывающимися улыбками.

Мне кажется, что советскому читателю следовало бы прочесть «Дневник» Делакруа. Книга вышла в 1950 году — давно, надо полагать, ее заметила критика, о ней, наверно, писали — что ж, запоздало, но тем не менее хочется заговорить о ней и нам...

Эжен Делакруа — это тот художник, который написал очень популярную картину «Свобода ведет народ Франции», отразившую Революцию сорок восьмого года. Помните, что та картина, на которой на первом плане парижский гамен с пистолетом почти рядом с титанической женской фигурой во фригийском колпаке... Впереди труп молодого рабочего, вокруг фигуры восставших с ружьями наперевес, клубы дыма, огонь. Не то баррикада, не то атака...

Когда читаешь «Дневник» Делакруа, прямо-таки чувствуешь рядом движения физического тела. Это не дневник, а сама восстановленная заклятиями ума жизнь. Тем страшней замечать мне, что книга прочитана уже до середины. Он еще пишет свои записи; он хоть и болеет, но еще, как и все мы, думает, что этого — смерти — с ним не случится... А мне стоит перевернуть некий массив страниц, и вот его уже нет, этого Делакруа, так любившего поесть и писать красками!

Это сильный ум, причем рассуждающий о вопросах нравственности, жизни и смерти, а не только об искусстве.

Он удивительно интересно говорит, между прочим, о Микеланджело. Тот был живописцем, по мнению Делакруа, все же живописцем, а не скульптором. Его статуи повернуты к нам фасом, это контуры, заполненные мрамором, а не результат мышления массами. Нельзя себе представить, замечает Делакруа, Моисея или Давида сзади. Может быть (это мы уже скажем от себя), у Микеланджело были как раз прорывы в иное, не свойственное его веку, туманное, романтическое мышление, которое именно Делакруа и мог бы заметить? Может быть, Микеланджело уже видел те клубящиеся фигу-

ры, которые впоследствии появились под резцом Родена? Во всяком случае, хочется защитить Микеланджело даже от Родена! Во всяком случае, хочется защитить Микеланджело даже от Делакруа! Вспомним, кто был тот. Даже одна маленькая деталь его биографии способна потрясти: незадолго до смерти он нарисовал в своем доме на стене, сопутствовавшей поворотам лестницы, смерть, несущую гроб.

Но закончим ли сегодняшнюю запись на этом мрачном слове? Лучше вспомним что-нибудь приятное. Что же? А вот что. Однажды, когда я возвращался по улицам темной, блокированной английским крейсером Одессы, вдруг выбежали из-за угла матросы в полутемных лентах и, как видно, совершая какую-то операцию, тут же вбежали в переулок. Затем один выбежал из переулка и спросил меня, в тот ли переулок они попали, как называется... И я помню, что он крикнул мне, спрашивая:

— Братишка!

Я был братишкой матросов. Как только не обращались ко мне за жизнь — даже «маэстро»! «Браво, маэстро!» — кричал мне болгарин Пантелеев — концертмейстер, на каком-то вечере поэтов в Одессе, но, когда мне бывает на душе плохо, я вспоминаю, что именно этот оклик трепетал у меня на плече:

— Братишка!

Не стал читать страницу из «Дневника» Делакруа, представляющую собой целую статью об искусстве, чтобы не прочесть ее кое-как, на ходу... Все меньше остается этого «Дневника», ему уже около шестидесяти лет, все, что он пишет сейчас, великолепное по уму и тонкости. Иногда можно обвинить его в желании по-писательски подвести под концовку или в этом роде — именно показать себя писателем... Ну что ж, и это у него получается превосходно. Так, восторгаясь одной из картин Рафаэля и чувствуя вместе с тем ее несовершенство, он пишет, что «Рафаэль грациозен, даже прихрамывая». Конечно, это явная «фраза», «концовка», но как хорошо!

Был у Казакевича, который всегда на высоте ума, образования, темперамента. Мог бы он написать хорошую пьесу? Именно этот вид литературы — даже странно чудо создания события называть литературой! — является испытанием строгости и одновременно полета таланта, чувства формы и всего особенного и удивительного, что составляет талант.

Когда сочинял свою музыку Моцарт, весь мир был совершенно другой, чем в наши дни. Он сочинял при свечах — может быть, при одной толстой, которую нетрудно вообразить со стелющимся, когда открывают дверь, языком; на нем был шелковый зеленый кафтан; он был в парике с буклями и с косой, спрятанной в черный шелк; он сидел за клавесином, как будто сделанным из шоколада; на улице не было электрического света, горели... мы даже не сразу можем представить себе, что горело! Факелы? Фонари с ворванью?

Короче, это было еще до Наполеона. Нет, еще до Великой Французской революции, когда редко кому приходило в голову, что существование королей — удивительно. Совсем, совсем иной мир!

И вот то, что сочинил Моцарт, мы в нашем ином мире, который отличается от того, как старик от ребенка, помним, повторяем, поем, передаем друг другу... Беремся за рычаги наших машин, включаем ток, чтобы золотая сеточка, которую создавал его мозг, никак не исчезла, чтобы она существовала всегда и была передана в следующий иной мир...

Он дергался в детстве, был, как теперь говорят, припадочный. На портретах он красив, скорее, он был носат, да и маленького роста. Вероятно, наиболее выразительной была его внешность, когда он был вундеркиндом: маленький, носатый, в конвульсиях. Странно представить себе, что в его жизни были и кабачки, и попойки, и легкомысленные девушки, и драки... В Праге, на премьере «Дон-Жуана», он предложил в последнем акте Дон-Жуану перед приходом статуи спеть куплеты Керубино из «Свадьбы», чтобы рассмешить пражцев, любивших «Свадьбу». Я не читал писем Моцарта, сохранились ли они?

Прослушиваю все время Девятую Бетховена.

Как мог Лев нападать на это произведение — Лев, с его любовью к героическому, с его небом над умирающим Андреем? Это ведь то же самое. Вероятно, от зависти — вернее, не от зависти, а от требования, чтобы не было каких-либо других видений мира, кроме его...

Это симфония об истории мира на данном, как говорится, этапе. Там литавры и барабан стреляют, как пушка именно тех времен — короткая с двойным звуком выстрела пушка, одну из которых потом полюбил Бонапарт. Расстрел роялистов на паперти Сен-Роха. Может быть, все это есть в Девятой. Во всяком случае, это история. Зачем бы тогда эти пушки? Это ж не иллюстрация.

Вместо огромной толпы музыкантов, старых, обсыпанных пеплом, в обвислых жилетах людей, вместо груды нотных тетрадей, вместо целого леса контрабасов, целой бури смычков и еще многого и многого — хотя бы грохота пюпитров, кашля в зале и писка настраиваемых инструментов — вместо всего этого у вас в руках элегантно посвистывающая при прикосновении к ней пластинка, черная с улетающим с нее каждую секунду венком блеска. Результат тот же: та же бетховенская симфония, истинное реальное воплощение которой в конце концов неизвестно; это и вышеописанный хаос оркестра, и пластинка, и рояль самого Бетховена, а еще перед этим просто ветер или звук кукушки и переход Наполеона через Альпы.

О, этот компиляторский зуд! Прочтя или узнав о чем-то, тут же хочется пересказать. Этим буквально страдал Стендаль. Он пересказывает целые сочинения.

Мне хочется пересказать о Гекторе Берлиозе, который был неудачно влюблен в оперную певицу; смотрел на сцену, когда она пела, как зачарованный; приехал в Петербург; болел под конец жизни психически — черной меланхолией.

Хочется пересказать о Листе, у которого в каждом городе, куда он приезжал играть, в конце концов обязательно приобреталась любовница, каковую, покидая город, во избежание ламентаций, запирал на ключ. Гейне называет его гениальным Иванушкой-дурачком, говорит, что это он сам себе присылал на концерты венки. Такой уж ли дурачок? Он, кстати говоря, полюбил русских композиторов, популяризировал в Европе Глинку.

Играл он на двух роялях — не одновременно, разумеется, а переходя от одного к другому, причем они стояли, если можно так выразиться, спиной друг к другу... Это делалось для того, чтобы публика могла видеть его со всех, так сказать, сторон.

Под старость он стал монахом. Или аббатом? Во всяком случае, есть портрет его, где он сидит в рясе, старый, сложив на коленях кисти рук и запрокинув лицо — старое, беззубое лицо с откинутыми назад волосами.

Сейчас он называется Ференц Лист, он венгр.

Живого Шаляпина я не слышал. Только в пластинках. Это очень приятно слушать, именно — физически. Иногда как будто слышен колокол, иногда кажется, что не один человек поет, а хор. Но только физически — для уха, в том смысле, как понимал удовольствие от музыки Стендаль. Модулировка, выражение, так называемая игра — все это в пределах обычной театральной условности, рычания, многозначительности. Конечно, когда театрально плачет огромного роста здоровый с прекрасным голосом человек, то это, во всяком случае, любопытно.

Он умер в Париже относительно молодым — шестидесяти лет. Похоронен на Пер-Ляшез под плитой с надписью — лирический артист, что на французский манер означает оперный артист.

О нем много легенд.

Эта легендарность присуща самой личности. Может быть, она рождается от наружности? Скорее всего, рождается она в том случае, если в прошлом героя совершилось нечто поражающее ум. Так, Горький был бродягой, так, Шаляпин вышел из народа, так, Маяковский был футуристом.

Как бы там ни было, это была необыкновенная слава.

Я постарел, мне не очень хочется писать. Есть ли еще во мне сила, способная рождать метафоры? Иногда хочется проверить себя в этой области. Когда-то Римский-Корсаков писал, что вдруг его охватил страх по поводу того, могут ли еще в нем рождаться мелодии. Он проверил, поставив себе целью написать нечто, зависящее именно от мелодий, и убедился, что они еще рождаются в нем...

Римского-Корсакова я представляю себе только по портрету (Се-

рова? Репина?), на котором он похож на покойника — с длинной просвечивающей бородой и хрупким лбом.

Он был морским офицером и совершил кругосветное плавание.

Я помню то сильное впечатление, которое произвела на меня «Шахерезада» — спетая мне частями художником Соколиком в Одессе, когда мы все были юны.

— Слышишь, это перекликаются корабли? — говорил Соколик.— Слышишь?

Действительно, перекликались корабли. Я тогда впервые познал существование симфонической музыки, вошедшей в мое сознание каким-то еще не постигаемым мною, но уже поразившим меня обстоятельством.

Нет, я не умею и не хочу писать.

Я лежал у ее подножья, и она пела. Гора пела глубокую, гудящую, тремолирующую песнь, и я знал, что она светится окнами на разной высоте, желтыми ночными окнами, на которых чернеют нестрашные кресты...

Диван был ковровый, голова моя терлась о ковровую решетку, и, уходя в коридоры сна, я слышал, как поет гора музыку вальсов и романсов — вероятно, кружа за окнами человечков и останавливая в неподвижности некоторые задумавшиеся лица.

Писать можно начиная ни с чего... Все, что написано — интересно, если человеку есть что сказать, если человек что-то когда-либо заметил.

Какое царственное письмо написал Чайковский по поводу переложения молодым Рахманиновым для четырех рук «Спящей красавицы»! Он, автор произведения, которое другой автор перекладывает в иную форму, укоряет этого автора в чрезмерном поклонении авторитету (то есть ему самому, Чайковскому), в отсутствии смелости и инициативы. Другими словами, ему понравилось бы, если бы Рахманинов отнесся к его произведению разрушительно!

Кто-то сказал, что от искусства для вечности останется только метафора. Так оно, конечно, и есть. В этом плане мне приятно думать, что я делаю кое-что, что могло бы остаться для вечности. А почему это в конце концов приятно? Что такое вечность, как не метафора. Ведь о неметафорической вечности мы ничего не знаем.

Я твердо знаю о себе, что у меня есть дар называть вещи по-иному. Иногда удается лучше, иногда хуже. Зачем этот дар — не знаю. Почему-то он нужен людям. Ребенок, услышав метафору, даже мимоходом, даже краем уха, выходит на мгновенье из игры, слушает и потом одобрительно смеется. Значит, это нужно.

Мне кажется, что я только называтель вещей. Даже не художник, а просто какой-то аптекарь, завертыватель порошков, скатыватель пилюль. Толстой, занятый моральными, или историческими, или экономическими рассуждениями, на ходу бросает краску. Я все направляю к краске.

Я помню, Катаев получал наслаждение от того, что заказывал мне подыскать метафору на тот или иной случай. Он ржал, когда это у меня получалось. С каким внутренним отзвуком именно признания, одобрения пересказывает Толстой бодлеровские «Облака», хотя и хочет показать их «никчемность». С каким также восхищением рассказывает он о «муравских» братьях Николеньки — тоже, по существу, метафоре.

На старости лет я открыл лавку метафор.

Знакомый художник сделал для меня вывеску. На квадратной доске размером в поверхность небольшого стола, покрытой голубой масляной краской, карминовыми буквами он написал это название, и так как в голубой масляной краске и в карминовых буквах, если посмотреть сбоку, отражался, убегая, свет дня, то вывеска казалась очень красивой. Если посмотреть сильно сбоку, то создавалось впечатление, как будто кто-то в голубом платье ест вишни.

Я был убежден, что я разбогатею. В самом деле, у меня был запас великолепных метафор. Однажды даже чуть не произошел в лавке пожар от одной из них. Это была метафора о луже в осенний день под деревом. Лужа, было сказано, лежала под деревом, как цыганка. Я возвращался откуда-то и увидел, что из окна лавки валит дым. Я залил водой из ведра угол, где вился язык пламени, и потом оказалось, что именно из этой метафоры появился огонь.

Был также другой случай, когда я с трудом отбился от воробьев. Это было связано как раз с вишнями. У меня имелась метафора о том, что когда ешь вишни, то кажется, что идет дождь. Метафора оказалась настолько правильной, что эти мои вишни привлекли воробьев, намеревавшихся их клевать. Я однажды проснулся от того, что лавка трещала. Когда я открыл глаза, то оказалось, что это воробьи. Они прыгали, быстро поворачивались на подоконнике, на полу, на мне. Я стал размахивать руками, и они улетели плоской, но быстрой тучкой. Они порядочно исклевали моих вишен, но я не сердился на них, потому что вишня, исклеванная воробьем, еще больше похожа на вишню,— так сказать, идеальная вишня.

Итак, я предполагал, что разбогатею на моих метафорах.

Однако покупатели не покупали дорогих; главным образом, покупались метафоры «бледный, как смерть» или «томительно шло время», а такие образы, как «стройная, как тополь», прямо-таки расхватывались. Но это был дешевый товар, и я даже не сводил концов с концами. Когда я заметил, что уже сам прибегаю к таким выражениям, как «сводить концы с концами», я решил закрыть лавку. В один прекрасный день я ее и закрыл, сняв вывеску, и с вывеской под мышкой пошел к художнику жаловаться на жизнь.

Тепло, мокро. Это похоже на апрель, но только нет того полета, который охватывает тебя в апреле, нет внезапного появления в небе голубизны, нет ледка, тающего, как сахар...

У Владимира Нарбута есть чудесные строчки об апреле.

Благословение тебе, апрель,
Тебе, небес козленок молодой.

«Небес козленок молодой» — это очень, очень хорошо. Правда, он потом исправил на «тебе, на землю пролитый огонь»... Конечно, нельзя сравнить, насколько небес козленок молодой лучше на землю пролитого огня.

Это стихотворение вообще великолепно. Какое-то странное, только поэту понятное, но волнующее нас настроение.

Мне хочется о вас, о вас, о вас
Бессонными стихами говорить.
Над нами ворожит луна-сова,
И наше имя и в разлуке — три.

Так, видя весну (апрель), он видит знаки Зодиака — агнец, сова... Знаю, знаю, что сова не знак Зодиака. Но почти, но могла бы быть. Во всяком случае, он населяет весеннее небо зверями.

О, эти звериные метафоры! Как много они значат для поэтов!

Велемир Хлебников дал серию звериных метафор, может быть, наиболее богатую в мире. Он сказал, например, что слоны кривляются, как горы во время землетрясения.

Он (Хлебников) не имел никаких имущественных связей с миром. Стихи писал на листках — прямо-таки высыпал на случайно подвернувшийся листок. Листки всовывались в мешок. Маяковский приводит свидетельство о том, что, читая кому-либо стихи, Хлебников чаще всего не считал нужным даже дочитывать их до конца. Говорил: «Ну и так далее!» Сын математика, он занимался какой-то мистической смесью истории и математики — доказывал, например, что крупные события происходят каждые двести семнадцать лет. (Я видел эти его вычисления изданными — они назывались «Доски судьбы», на плохой, желтоватой, но чем-то приятной бумаге времен военного коммунизма: большие афишные буквы и прямо-таки целая сирень цифр.)

Читать его стихи стоит большего труда — все спутано, в куче, в беспорядке. Внезапно появляется несравненная красота!

Походы мрачные пехот,
Копьем убийство короля,
Дождь звезд и синие поля
Послушны числам, как заход.
Года войны, ковры чуме
Сложил и вычел я в уме,
И уважение к числу
Растет, ручьи ведя к руслу.

Или (в обращении к поэту-символисту Вячеславу Иванову, знатоку греческой и римской поэзии):

Ты, чей разум стекал, как седой водопад,
На пастушеский быт первой древности...

Когда получаешь общее впечатление от его стихов, видишь в нем именно славянина, причем славянство захвачено им от Севера до Адриатики.

Однажды, когда Дмитрий Петровский заболел в каком-то странствии, которое они совершали вдвоем, Хлебников вдруг встал, чтобы продолжить путь.

— Постой, а я? — спросил Петровский.— Я ведь могу тут умереть.

— Ну что ж, степь отпоет,— ответил Хлебников.

Степь отпела как раз его самого! Мы не знаем, где и как он умер, где похоронен... Недавно умер и Петровский — казак с трубкой в зубах, вечно державшийся за эту трубку и никогда, казалось, не поворачивавшийся к вам лицом, а всегда поглядывавший на вас из-за плеча, из-за трубки.

Очень богато представлены звериные метафоры у чувашского поэта Якова Ухсая. Мне как-то дали для рецензирования его большую поэму «Перевал», и я нашел там чудеса в этой области. Солнце, говорит он, на закате так близко от земли, что даже заяц может достать до него прыжком. Корову он сравнивает с ладьей, бегущую лошадь, видимую вознице, с ручьем... картофель у него похож на бараньи лбы, рожки ягнят — восковые, рога барана — как колеса... и, наконец, ботинки франта кажутся ему желтыми утятами!

У Жюля Ренара есть маленькие композиции о животных и вообще о природе, очень похожие на меня.

Когда-то я, описывая какое-то свое бегство, говорил о том, как прикладываю лицо к дереву — к лицу брата, писал я; и дальше говорил, что это лицо длинное, в морщинах и что по нему бегают муравьи.

У Ренара похоже о деревьях: семья деревьев, она примет его к себе, признает его своим... Кое-что он уже умеет: смотреть на облака, молчать.

Мне всегда казалась доказанной неделимость мира в отношении искусства. В разных концах мира одно и то же приходит в голову.

Я уже давно собираюсь написать о звериных метафорах. Под этим термином я подразумеваю такое образное выражение, в котором фигурирует животное — причем оно может фигурировать либо так, что оно призвано для создания образа, так что в нем, так сказать, образ.

В животном любого вида таятся неиссякаемые художественные возможности. Среди его перьев скользит по его клюву, мерцает в глазах, сидит в сжатой его лапе...

Мне, например, кажется, что я мог бы из пасти любого животного вытаскивать бесконечную ленту метафор, так сказать, о нем о самом.

И не только из пасти тигра. Из клюва сойки, чайки. Как-то я услышал, как кто-то из компании, шедший по набережной, сказал о летящей чайке, что она элегантна.

— Элегантная чайка.

Все засмеялись, а мне кажется, что это правильно сказано о чайке.

Еще чайка — самолет. Ну, это как раз рядом.

Когда через узкую дверцу входишь в самолет, видишь чехлы, надетые на кресла, и слышишь дезинфекционный запах. Это вызывает воспоминание о больнице. Воспоминание это пугает. В самолете довольно широкий проход между двумя рядами двойных же кресел, прижатых к стенкам. Проход, я бы сказал, не слишком более узкий, чем в автобусе. Идешь по этому проходу, поднимаясь кверху, так как передняя часть самолета довольно высоко приподнята по сравнению с остальным телом.

Не зная, кто я, меня приняли за более старого человека, чем я есть на самом деле, и просили меня не волноваться, когда я узнал, что мне придется уступить свое место впереди женщине с ребенком. Я сказал, что я и не волнуюсь.

Воздух в окнах был серый. Уже началась осень. До этого я пережил раздражение в связи с тем, что отправление самолета несколько раз откладывалось, а также в связи с тем, что прочел идиотскую новеллу Стефана Цвейга, купленную на вокзале в киоске, и поэтому все неприятные ощущения сгущались. Я занял место у окна — обыкновенное, почти автомобильного типа окно в аккуратной деревянной отшлифованной раме. Усевшись, я увидел в окне ту часть самолета, которую мне было суждено в дальнейшем видеть уже постоянно во весь путь и соединять с которой мне пришлось все те напряженные мысли, которые приходят человеку во время полета. Эта часть состояла из того, что я назвал бы крышей и что на самом деле является крылом, а также из некоей подобной быку вещи, которую я не знаю как назвать с первого раза и хочу попробовать описать еще раз.

В один из таких сентябрьских дней я вышел на балкон, чтобы... посмотреть, чисто ли небо. Не помню. На балкон, выходивший во двор с маленьким, окантованным в аккуратный камень садиком посередине.

В сентябре там цвело что-то яркое, алое, скомканное...

(Пожалуй, я писал прежде — в тех рукописях — лучше. Что это за эпитет — скомканное? Не точно. Я понимаю, в чем дело, понимаю, что мне хочется передать — но это не «скомканное»... К черту!)

Я ни разу ни в детстве, ни в юности, ни позже в зрелые годы — словом, ни разу во всю жизнь не слышал пенья соловья... Для меня это была ложь, условность — когда я сам говорил о соловье или читал у других.

И как-то раз, уже совсем в зрелые годы, когда я жил в Подмосковье, днем, точнее в полдень, когда все было неподвижно среди птиц и растений, вдруг что-то выкатилось из тишины — огромное звенящее колесо — и покатилось... За ним сразу другое колесо, за этим еще... И сразу же это прекратилось.

Эти колеса были, безусловно, золотыми, они были выше деревьев, катились стоймя, прямо и, вдруг задребезжав, мгновенно исчезали — как не было их!

Я посмотрел на того, кто стоял рядом со мной. Тот кивнул в ответ. Он услышал вопрос, который я не задавал ему, только хотел задать: не соловей ли?

И, кивнув, он ответил:

— Соловей.

Видели вы птицу секретаря?

Она довольно высокого роста, так с человека. Она как бы в желтых коротких панталонах, в белых чулках, во фраке, в жилете, в очках и с пером, заложенным за ухо. Она быстро и деловито ходит по клетке, несколько раздраженно, взволнованно, как секретарь, что-то напутавший и собирающийся оправдаться перед начальником, если тот его только примет.

По всей вероятности, представители какой-то английской торговой компании, оказавшись в Африке или в Австралии, увидели эту птицу, так сказать, впервые, поразились ее сходству именно с секретарем и с хохотом дали ей это имя.

Можно было бы назвать ее Меттерних.

Она поедает змей.

Голоса ее я не слышал.

Они идут покачиваясь, и так как они не слишком поднимаются над землей, то когда идешь по ту сторону травы, а они шествуют по эту, то кажется, что они едут. Гоготание — это сравнительно громкий звук — во всяком случае, ясно чувствуется, что это какая-то речь, да, да, какой-то иностранный язык. Клювы у них желтые, как бы сделанные из дерева — сродни ложкам. Они деловито проезжают мимо вас, безусловно разговаривая между собой и именно о вас, да, да, они кидают на вас взгляды, когда проезжают мимо. Можно поверить, что они спасли Рим. Они прелестно выглядят на воде. Нагнув голову, они вдруг поднимают столько воды, что могут одеться в целый стеклянный пиджак. Теперь они уже не едут, а скользят — всей своей белой подушкой по синей глади. Вдруг они сходятся все вместе, и тогда кажется, что на воде покачивается белый крендель.

Тут разыгралась звериная драма. Большой, рыжий, в зрелых годах кот, с почти волочащейся по земле, как у бизона, шерстью, повадился охотиться на голубей, которых берег хозяин. Поставили капкан на него, он попался. Однако хоть и с ущемленной ногой, он пошел домой, волоча с собой присоединившееся к этой ущемленной ноге все тяжелое, громоздкое и страшное сооружение капкана...

Драма состояла в том, что кот, не раз задиравшийся с полуовчаркой Чайкой и оставлявший ее в дураках и рассерженной, на этот раз, задравшись, из-за поврежденной ноги оплошал, и полуовчарка его разорвала.

Я хорошо знал этого высокомерного, почти с брезгливостью не принимавшего моих заигрываний кота. Трупа я, к счастью, не видел. Вероятно, раны в соединении с рыжей шерстью выглядели страшно и недосягаемо красиво. Это их, зверей, дело; нас не касает-

ся, что они разрывают друг друга. Странно, что он был побежден собакой — этот зверь, о котором у Брема сказано, что он силен и хорошо вооружен. Правда, нога была повреждена капканом.

Я видел вскоре после драмы полуовчарку-победительницу. Она валандалась по саду со щенком, подпрыгивавшим за ней. Щенок подбрасывал толстый задик, смотрел на меня снизу — с высоты не выше цветов, среди которых я его остановил,— анютиных глазок. Овчарка-мать смотрела себе вдаль, оглядывалась на щенка. Никто бы не догадался, что она разорвала недавно живое существо. Наоборот, она казалась симпатичной собакой, и я, позвав «Чайка, Чайка», гладил ее по плоскому лбу — с горячей, как мне показалось, шерстью и вызывающей сухость в ладони. Цвели анютины глазки, иногда похожие на военные японские маски, довольно высоко стоял жасмин, самый красивый цветок на свете, стучал дятел, которого я никогда не видел, хоть он и стучится ко мне давно.

Я однажды шел из гостей по темной лестнице, ночью, и вдруг услышал движение, которое быстро ко мне приблизилось. И в тот момент, когда вернее всего было ожидать нападения, удара чем-нибудь смертельным, моей руки коснулось что-то теплое. Это тоже меня испугало, но побежавший от руки испуг уже по дороге к мозгу превратился в умиление и радость. Я понял, что это маленькая собачка Джек, живущая в этом парадном и знающая меня. Так, вместо наибольшего врага, которого я по законам должен был встретить, я встретил наибольшего друга.

Маленький черный Джек погиб под грузовиком.

Один американец, проведший всю жизнь в Африке, где он охотился на зверей, из которых затем сооружал чучела для Колумбийского университета, написал книгу об этой своей жизни. Там есть удивительные вещи. Я еще вернусь к этому предмету, а сейчас, чтобы закончить воспоминание, передам его тревоги по поводу того, можно ли убивать гориллу. Этот вопрос волновал тогдашнее, только недавно встретившееся с гориллой общество. В самом деле — уж очень похож этот зверь на человека! Да и зверь ли!

Словом, тревога заканчивается успокоением в том смысле, что убивать гориллу можно. Следует описание охоты на гориллу. Они появляются на вершине горы — огромные, каменноподобные силуэты — охотники в страхе... Однако у горилл нету этой черной палки, из которой появляется огонь. Горилла убит, его свежуют — будут делать чучело, и он будет вскоре стоять в стеклянном кубе, рыжий, в длинных волосах, чем-то напоминающий кокосовый орех, с отвисшей от навязанной ему чучельником челюстью и показывая злые десны.

Я стал гладить кота, лежавшего на сундуке в чужой квартире. Как видно, его никто не гладил с достаточным чувством — он поддался ласке, ему понравилось. Чистый, изящный, сильный — он встал и выгнул спину. Затем он несколько раз с дружественным вни-

манием взглядывал на меня — не только со вниманием: с одобрением тому, что вот я пришел из темноты, неизвестный человек, и стал гладить его. В темноте передней на уважительной высоте висела при этом треугольная его морда с глазами, светившимися таким зеленоватым светом, каким светятся в летнюю ночь планеты.

Погладив, я ушел. Он пошел за мной — сперва по сундуку, потом мягко скинул себя с сундука и побежал по коридору. Мне было приятно думать, что на несколько минут я привязал к себе нечто вроде тигра.

Умер хозяин лисицы — журналист Миклашевский. Почему хозяин лисицы? Он воспитал лисицу — дикую, случайно оказавшуюся у него. В последние годы на Гоголевском бульваре появлялся человек, на руках у которого находилась лисица. Она сидела спиной к движению и смотрела, таким образом, через плечо несущего. Дети бежали за ними. Человек садился на скамью, лисица продолжала смотреть через его плечо; дети толпились поэтому по ту сторону скамьи. Она чувствовала себя не совсем в своей тарелке. Глаза у нее были, как у девочки, чуть, впрочем, светлее, чем бывает у девочек, и чуть, я бы сказал, немотивированней.

Миклашевского я знал лично. Он рассказывал мне, как в день, когда у них в доме зажгли елку, лисица сидела вместе с детьми и, как зачарованная, смотрела на елку. Можно представить себе эти глазки с отражающимися в них огоньками свечек!

В последний раз я видел Миклашевского в «Литгазете» с год тому назад. Знал я его мало. Человек, любящий животных,— поэт.

Сегодня во второй половине дня началась весна.

Кошка вышла из маленького чердачного окна на листы крыши, освещенные луной. Она прошла, исчезнув через тень от трубы на мгновение, через тень от трубы, потом опять пошла вниз по листам, по покатости, сама бросая впереди себя корчащуюся тень, дошла до желоба и пошла вдоль него, бросая тень уже позади себя, и скорее треугольную, чем корчащуюся. Здесь она шла, имея сбоку после некоторого пространства вершины деревьев с листвой, которая хоть от тихого ветра сыпалась вдруг сверху целой лавиной и потом уходила опять кверху, уже не желая сравниваться с целой лавиной.

Кошка, идя вдоль желоба, нагнулась над чем-то лежащим в нем, шевельнула это что-то лапой, держа комок головы опущенным, отчего он стал каким-то бедным; потом она шла довольно долго по листам, освещенным желтым, гладким лунным светом, и, войдя в тень от более высокого дома, упавшую на крышу маленького, исчезла в ней, даже не дав никому заметить, какого она цвета.

По скошенному лугу ходили большие вороны и что-то ели. Это правда: они кажутся зловещими — какие-то духовные лица времени Людовика XVI, ханжи, мучители. Впрочем, вглядываясь обыкновенным взглядом, видишь просто сильную, здоровую птицу — и проникаешься к ней симпатией.

Они вдруг взлетали над лугом и летели, ища какого-нибудь другого, более богатого участка... Они летели низко, как видно, для того, чтобы увидеть то, что им нужно было увидеть. Их поджатые лапки проносились над лугом, крылья работали правильно, как новая машина,— тах, тах, тах...

Я шел за одной, уходившей от меня вперед. Сперва она не слышала или не боялась — потом взлетела, и взмахи ее крыльев как бы бросали мне: «ах, оставь меня, оставь — не приставай!»

Я пошел в зоопарк, поставив себе целью увидеть только тигра. Ведь и эти картины, как и те, из масла, утомляют, когда видишь их сразу много! И тут, вдоль клеток, как и там вдоль рам, нельзя пробегать, лишь бы увидеть!

Итак, только тигра. Да, но тигр не сидит же в одной из первых клеток. Это гвоздь, это целое отделение, это финал третьего акта — тигр. Он вдали, и надо довольно долго идти к нему. Вот и пришлось мне все же увидеть кое-кого и кроме тигра. По мелкоте у входа я только скользнул глазами. Кто-то крохотный сидел возле своей будки. Силуэт ушек величиной в анютины глазки. Тяжело, точно на гигантской пробке, повернулся гриф...

Илья Сельвинский великолепно описал тигра.

Морда тигра у него и «золотая», и «закатная», и «жаркая», и «усатая, как солнце». (Солнце, глядите, «усатое». Вот молодец!) Он говорит о тигре, что он за лето выгорел «в оранжевый», что он «расписан чернью», что он «по золоту сед», что он спускался «по горам» «драконом, покинувшим храм», и «хребтом повторяя горный хребет». Описывая, как идет тигр, Сельвинский говорит, что он шел, «рябясь от ветра, ленивый, как знамя»; шел «военным шагом» — «все плечо выдвигая вперед».

Он восклицает о тигре:

— Милый! Умница!

«Ленивый, как знамя», это блистательно, в силу Данте. Чувствуешь, как хотел поэт, увидев много красок, чувствовал, что есть еще... еще есть что-то. Глаза раскрывались шире, и в действительно жарких красках тигра, в его бархатности поэт увидел «ленивое знамя».

Вот черт возьми! Здороваешься, разговариваешь с человеком, не оценивая, что этому человеку приходят мысли, может быть, третьи, четвертые, пятые по порядку от тех мыслей, которые были заронены теми...

Самый красивый из земных звуков, которые я слышал,— это рыканье льва!

Что это? Как будто взрыв — во всяком случае, есть затухающий раскат... Во всяком случае, хочется назвать этот звук пороховым.

Что за гортань, рождающая такой мощи и вместе с тем сдержанности, такой, я бы сказал, ненарочитости звук? Он не посылается львом далеко, а как бы только появляется вокруг пасти. Он как будто отбрасывает его, как короткое, изорванное пламя.

Я вхожу в цирк опоздав, и передо мной, на желтой арене, девочка в юбке, подбрасывающая нечто вроде кеглей, жонглерша, и, пока я смотрю на ее откинутое лицо с подпрыгивающими за кеглями глазами, вдруг раздается из-за кулис рыкание льва. Доносится не только сам он, но и эхо его, дуновение, заставляющее сердце радоваться и чувствовать нежность к этому мягколапому, цвета песка, с гневными складками на лбу, чудовищу.

Чего только не приходит в голову, когда стоишь перед клеткой обезьяны!

Когда европеец увидел ее впервые? Пожалуй, нет ни упоминаний о ней, ни тем более ее изображений в том, что дошло до нас от азиатских царств, от Греции и Рима.

Обезьяна, слухи о которой вдруг, после конца Рима и всей той эпохи, которую мы называем древним миром, стала для Европы загадочным, почти бесовским существом, как-то перестали доходить до Европы. В самом деле, трудно представить себе обезьяну в нашем орнаменте, средневековом орнаменте даже у мавров. Чуть ли не в триумфе. Какой-то вал лег между золотым древним миром и Европой. Трудно представить себе идущий в Риме или в Афинах снег. Скажем, что он и шел там чрезвычайно редко. Да, но идет же он все время во Франции в эпоху, скажем, Меровингов — на севере Франции, на юге, идет в Германии — и в Италии, поскольку Генрих стоит на снегу именно босой, именно на снегу. Вдруг стал идти снег!

В этот раз я стоял в зоосаду перед клеткой шимпанзе. Я давно знаю это черное тело, этот черный овал, который я часто вижу издали сквозь щели в толпе. На этот раз я решил смотреть на него вблизи.

Первая мысль о том, что это зверь необычайной силы и как страшно было бы попасть к нему в лапы, когда к тому же приподнимается в ярости его верхняя губа, показывая зубы и розовые десны. Вторая мысль о том, как отдельно, как ни при чем лежит на досках его просторной клетки осенний лист, занесенный сюда ветром или сторожем. Третья мысль... Мыслей множество!

Когда я подходил к клетке, он шел на меня, похожий не то на банкира, который сейчас сядет за свое бюро, не то на бандита, который собирается напасть на банкира.

Большая, толстая серая бабочка, почти в меху, вдруг появилась у подножья лампы. Она тотчас же прибегла ко всем возможностям мимикрии, вероятно, почувствовав что-то грозное рядом — меня. Она, безусловно, сжалась, уменьшилась в размерах, стала неподвижной, как-то сковалась вся. Она решила, что она невидима, во всяком случае, незаметна. А я не только видел ее, я еще и подумал:

— Фюзеляж бабочки!

То есть я увидел еще и метафорическую ее ипостась — другими словами, дважды ее увидел...

Мне никто не объяснил, почему бабочки летят на свет — бабочки и весь этот зеленоватый балет, который пляшет возле лампы летом, все эти длинные танцовщицы. Я открываю окно во всю ширь, чтобы они хоть случайно вылетели, я тушу лампу... Я жду пять минут — уже как будто их нет в комнате... Куда там! Зажигаю лампу, и опять вокруг лампы хоровод сильфид — равномерно приподнимающийся и опускающийся, точно они соединены невидимым обручем,— иногда постукивающий по стеклу абажура... Почему это так? Что этот свет для них?

Что это такое все же — мое появление в мире, мое существование в нем и необходимость из него уйти?

Подумать, в миллионах лет и пространств существует хрусталик и моей жизни.

Кроме меня, живут разнообразнейшие живые создания. Например, тот странный жучок, который перебирается с кочки на травинку, когда бывает момент, когда он вдруг встает почти отвесно и когда понятно, почему он именно перебирается, а не быстро движется — он щит, крохотный щит, который тяжело поднимать на почти невидимых ножках. Как он называется, этот жук-щит? Я иногда думаю, что и ему дана жизнь — та же жизнь, что и мне, именно та же, потому что вряд ли существуют иные формы жизни, кроме единственной — жизни в смысле ощущения «я живу».

Из зверей на свободе я видел только... неужели только мышь и крысу?

Пожалуй, именно так. Не случилось же мне встретить в сосновом дачном лесу медведя! Не видел я также никогда ни несущегося по горизонту зайца, ни суслика, ни барсука.

Приходится довольствоваться мышью и крысой. С крысой у меня была встреча, заставляющая меня верить в легенды, связанные с этим зверем. В белую ночь возвращался я подвыпивший домой, в Европейскую гостиницу, и увидел бегущую на меня вдоль стены и, как видно, спасающуюся от какой-то травли крысу. Вдали, откуда бежала крыса, хохотали и улюлюкали шоферы... Я размахнулся ногой, чтобы ударить по крысе так, как ударяют по футбольному мячу. Тут же я потерял равновесие и упал, постыдно, по-пьяному, вызвав еще большее улюлюкание. Крыса, невредимая, пронеслась дальше, исчезая среди оград и кустов. Поднявшись к себе в комнату, я увидел на штанах пониже колена пыльный, осыпающийся от прикосновения след тонкопалой крохотной ступни. Возможно, таким образом, что причиной моего падения было также и то, что меня толкнула крыса.

Александр Степанович Грин в одном из своих рассказов изображает целую историю вмешательства крыс в жизнь человека. Там говорится, что крыса по собственному желанию может принять вид лю-

бого существа. И в этом рассказе внезапно появляющийся перед героем хорошенький, изысканный мальчик, старающийся всей своей ласковостью отвратить героя от шага, как раз нужного и полезного ему, герою — является крысой.

Я наблюдал однажды за крысой, которая не знала, что за ней наблюдают. Нас разделяло толстое стекло магазинной витрины, она меня не слышала, жила полной жизнью. Обычно и она нас боится, и мы ее боимся — а тут нас разделяло стекло. Правда, мне все же стоило труда заставить себя смотреть, правда, все же душа уходила в пятки. Вот я и должен сказать, что ничего страшного передо мной не было: среди коробок с этикетками и бутылок, руша кое-что при своих движениях, перебегал с места на место, принюхивался, останавливался обыкновенный коричневый с черными блестящими глазками дикий зверек.

Мне никто не верит, что мое впечатление было именно таким.

— А хвост? — спрашивают.— У нее страшный хвост!

Нет, по-моему, и хвост нестрашный. Самый обыкновенный, длинный хвост зверька, какой мы видим на картинках и у хорька и куницы. Возможно, что наш страх перед крысой рождается от того, что она мгновенно исчезает, увидев нас. Исторически известно, что крысы способствовали распространению чумы — вот еще и отсюда страх древний, по воспоминаниям.

Ультрамариновая ваза с узким высоким горлом стоит в поле нашего зрения. Однако и не ваза, если можно увидеть чуть повыше этого синего горла и маленькую корону.

Хвост еще и не раскрыт. Он раскроет его, когда захочет. Он чуть не ждет, чтобы мы попросили его раскрыть. Иногда он его вообще не раскрывает. Хвост он волочит за собой как вязанку ветвей, довольно сухую и неказистую, причем некоторые ветви толсты — толще его синей, в блестящих синих чешуйках шеи.

Он топчется на широких лапах.

Древний мир восхищался павлином. На него смотрели цари, царицы, полководцы, сенаторы. Сейчас он потерял свое значение как украшение жизни. Впрочем, в Европе его роль исполнял и сейчас исполняет лебедь. Павлин мне и меньше нравится, чем лебедь; моя европейская, более северная душа чурается павлина, с которым ей как-то жарко; какая-то мигрень души появляется, когда видишь павлина.

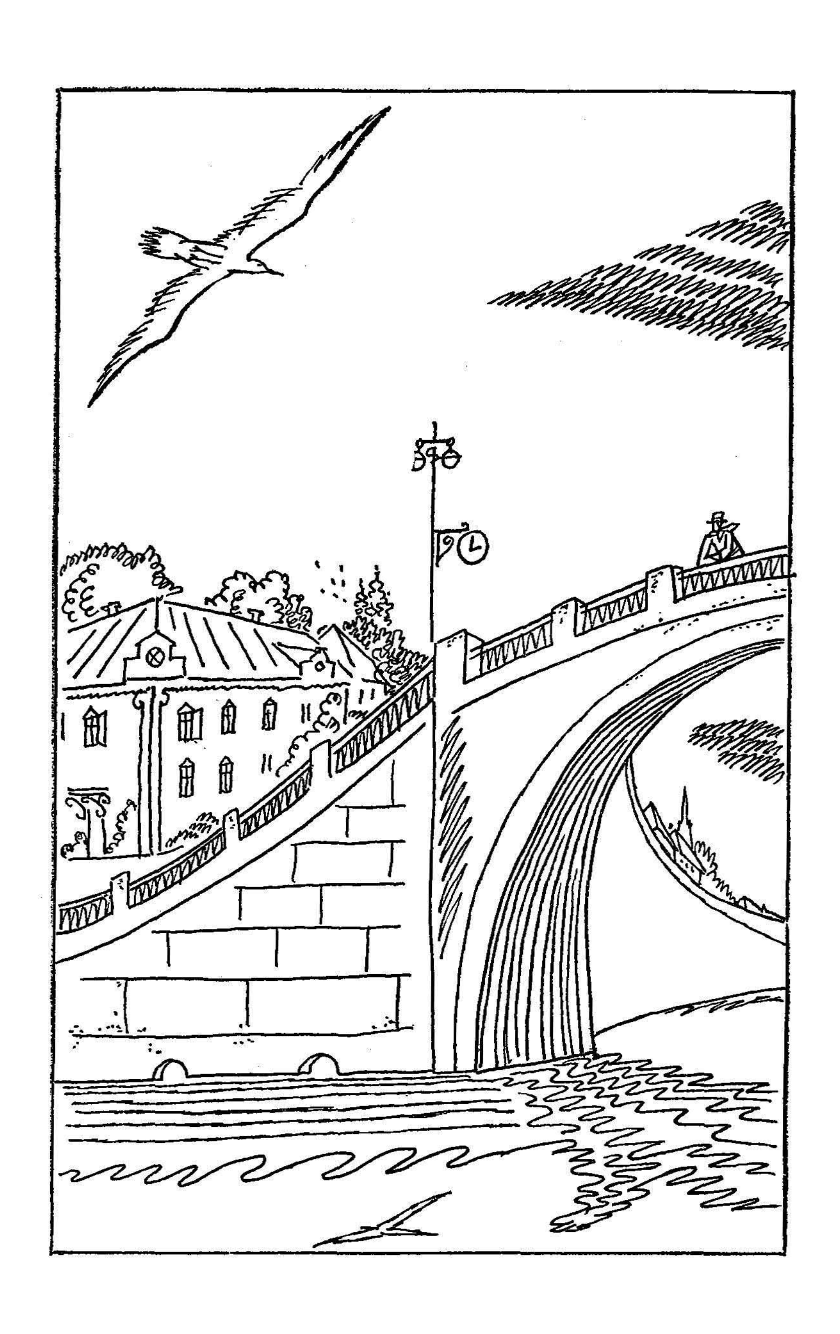
Павлин — это восток. Он так же гол без полумрака, без сумерек, как и здания Альгамбры, как орнамент Эль-Регистана, как стихи восточных поэтов, как четкие, без дыма восточные фонтаны, чьи струи скорее вызывают представление о драгоценных камнях, чем о воде.

Лебедь, уплывающий в зеленоватый полумрак, где тина и ива, таинствен; павлин стоит среди солнца, ясный, покорный, жесткий, как власть деспота.

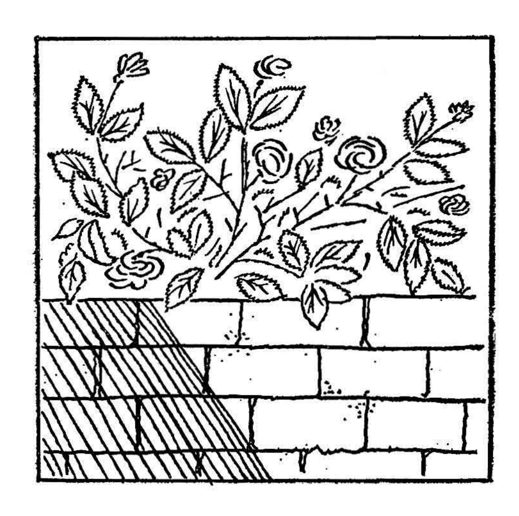
Эта собака уже, наверно, очень выросла. Она меня, когда была маленькой, очень любила — настолько любила, что прыжками своими прямо-таки не давала мне ступить шагу. Это пудель, который, по уверению Брема, предпочитает обществу собак общество людей. Я ее еще увижу, эту собаку, и убежден, что она меня узнает и опять проявит свою любовь.

Да здравствуют собаки! Да здравствуют тигры, попугаи, тапиры, бегемоты, медведи-гризли! Да здравствует птица секретарь в атласных панталонах и золотых очках! Да здравствует все, что живет вообще — в траве, в пещерах, среди камней! Да здравствует мир без меня!





Часть пятая
УДИВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕКРЕСТОК



Из Замоскворечья мне нужно было в центр. Вот я и решал, по какому мосту идти — по Каменному или по Москворецкому?

Оба варианта были одинаково приемлемы, так как я стоял на углу Лаврушинского переулка. Он выходит на Кадашевскую набережную примерно в ее середине, и от этого места расстояние одно, что в сторону Каменного моста, что в сторону Москворецкого.

Вопрос сводился к тому, по какому мосту интереснее идти. Я подумал, что если я пойду по Москворецкому, то Кремль будет как бы выплывать на меня... Да, это похоже на то, как будто на вас выплывает гигантский белый лебедь, чья шея — колокольня Ивана Великого, а спина — соборы с золотыми перьями куполов. Я уже готов был выбрать Москворецкий мост, как вдруг мне представилось чрезвычайно заманчивым увидеть этого лебедя уплывающим вдаль из таинственного полумрака сада — картина, которая открывается перед нами, когда мы идем по Каменному мосту. Не свернуть ли в эту сторону, налево?

Солдат, который подошел ко мне, вероятно, потому и подошел, что у меня был вид человека, хорошо знакомого с местностью: в самом деле, человек стоит на углу среди торопящихся прохожих и спокойно поглядывает то в одну, то в другую сторону.

Был ли это солдат?

На нем не было погон, пилотка была без звездочки,— но то, на чем не было погон, все же было гимнастеркой, а пилотка все же

была пилоткой — хорошо пригнанной к его голове, старой, выгоревшей, видавшей виды пилоткой.

Если даже теперь он и занимался каким-нибудь другим делом, то все же это был солдат, и никакого другого имени нельзя было подобрать к его лицу, фигуре, походке, развороту груди, на которой голубизной и желтизной полевых цветов светились ленточки воинских наград.

Когда он приближался ко мне, я с волнением ожидал его вопроса. Что меня спросит солдат?

Только что я думал о том, как красив Кремль, и это размышление о прекрасном выключило меня из повседневности. Да, мне показалось, что нас только двое на перекрестке — солдат и прохожий. Какого ж вопроса я мог ожидать? Только такого, который можно услышать на дорогах войны. Вот я и ожидал, что прозвучат какие-то суровые слова, имеющие отношение к трудностям жизни.

— Скажите, пожалуйста, где здесь Третьяковская галерея?

Вот что меня спросил солдат. И это включило меня в повседневность. Я понял, что передо мной обыкновенный советский человек, который был солдатом, а теперь трудится. У него свободный день, и он хочет посетить Третьяковскую галерею. Я указал ему на видневшуюся в глубине переулка кирпичную ограду. Он поблагодарил и направился в переулок.

Тут же группа детей, которая остановилась возле меня несколько раньше, сдвинулась с места и пошла вслед за солдатом. Как видно, они хотели задать мне тот же вопрос, что задал солдат. Теперь они знали, где Третьяковская галерея.

Но этого не знала старая женщина, подошедшая ко мне несколько позже. Я указал на кирпичную ограду также и этой женщине.

Простояв на перекрестке около часу, я понял, что это удивительный перекресток.

Не удивительно то, что на углу переулка, в котором расположена картинная галерея, спрашивают об этой галерее, а удивительно то, что вас спрашивают почти все, кто приближается к переулку. Целый отряд советского народа идет в «Третьяковку» — и, очевидно, в любой день. Все же я чувствовал себя выключенным из повседневности, когда стоял на этом углу? Или это была очень необыкновенная повседневность...

Да, это именно так: это была необыкновенная повседневность, наша советская повседневность с золотым Кремлем, с людьми войны и труда, с прекрасным искусством и с дымами строительства — голубыми, румяными и радужными.

Эти дымы стояли над чертой реки, когда я покидал удивительный перекресток.

Сейчас, идя по мосту или пересекая сквер, редко когда не станешь свидетелем сцены фотографирования каким-либо любителем группы его друзей.

Группа поставлена так, чтобы фоном ее был Кремль.

Фотографирующий стоит почти на мостовой.

Да, просто — на мостовой!

Иногда оказывается даже на ее середине. Милиционер делает вид, что не видит. Проносящиеся машины берут чуть по диагонали.

Никак она не находится, эта выгодная точка!

Группа терпеливо ждет. Тем более что можно смотреть просто вдаль... Смотрят вдаль, а там синяя улица реки, и другой мост, и третий, и высотное здание, и над всем белая чайка, летящая сюда, к мосту...

— Снимаю! — кричит фотографирующий. Однако в ту же секунду глаза почти всей группы вскидываются кверху, встречая мощно вступившую в пространство над мостом роскошную птицу, и снимать, конечно, нельзя.

— А! — Фотографирующий в досаде даже хватается за козырек кепки.— Да ну вас!

А сам восхищенно смотрит вслед чайке, уже перелетевшей мост, уже бросившей тень на реку, уже делающей ослепительный вираж над молодыми деревьями набережной... Безусловно, как только будут сняты друзья, начнется охота за чайкой — бескровная охота художника!

Как радует то обстоятельство, что появляется все больше и больше фотографов-любителей. С аппаратом на груди, или на боку, или в руках вы можете сейчас увидеть и подростка, и солидного рабочего, и полковника... Пожалуй, даже в воскресенье почти все идущие тебе навстречу поблескивают на тебя черным и блестящим, как жук, глазом объектива.

Почему это обстоятельство радует? Потому что оно говорит о том, что все большее количество советских людей приобщается к миру красоты, науки— к художеству, к точным знаниям. Человек, занимающийся фотографией,— и оптик, и геометр, и художник.

Но ни один из фотолюбителей, снимая, вероятно, не думает о том, какой богатый материал для истории представят его снимки через много, много лет. В них, этих снимках, будущий историк увидит, как изменилось лицо великой страны социализма.

Пусть же фотолюбители работают много, стараясь работать хорошо, разнообразно, запечатлевая людей, их быт, их труд, их путь к светлому будущему среди событий, среди природы, среди их великой истории.

Выпало много снегу, он еще идет, земля, деревья, строения — на всем снег... И небо в снегу, так как он становится видим на довольно большой высоте.

Словом, происходит то, чего я не умею описать. Что это — серебро? Мельхиор? Лес похож на собрание дорогой посуды? Не знаю!

Сейчас в городах снег убирают. В Москве появляются грузовики с какими-то техническими добавлениями, и снег поглощается некоей железной пастью.

Я помню время, когда в Москве снег укладывали в сугробы на краях тротуаров, и в них отражалось солнце. Тогда на нем зажига-

лись искры — пунцовые, зеленые, желтые. Ночью их обливал лунный свет. Ездили в санях. Сани были очень маленькие, узкие, шаткие; кучер казался огромным, лошадь — величиной с тех лошадей, что на памятниках. Сидя в санях с женщиной, вы зацеплялись ее волосами, они были и на вашей щеке. Все вместе неслось со стремительной быстротой, казалось, вот-вот опрокинется. Однако вы касались рукой бархата полости, закрывавшей ваши ноги, и женщина была так близко к вам, как будто постоянно находилась в ваших объятиях...

Всегда забываешь, что в конце ноября именно морозы. Почему-то относишь их к более поздней зиме. Нет, именно в ноябре. К морозу, кстати говоря, можно отнестись с меньшим страхом, если подумать о нем не с точки зрения литературы о зиме, живописи, не с точки зрения также и житейского отношения к холоду, а представив себе мороз как химическое явление. Представив себе, что все эти сугробы, заиндевевшие пальто, все эти листья на окнах, красные носы, замерзшая река,— есть ничто иное, как результат именно научного обстоятельства, и что все это происходит в колбе. Впрочем, это рассуждение согретого нормальной домашней жизнью человека, человека в пальто.

Необычайно красиво выглядит на морозе это ярко-желтое пламя, которое вырывается из каких-то шлангов, участвующих в ремонте подземных труб. Оно не вырывается даже — оно вылетает; нет, нужно сказать еще точнее: быстро льется по воздуху? Бежит быстрой волной? Яркое почти до звона, желтое пламя — вдруг видишь его отдельные куски, как будто появляется на мгновение солома... Завитки пламени исчезают мгновенно — но все же они существуют мгновение — и от этого действительно мгновенного существования получается впечатление чуда, ангельского меча. Человек в громадной, почти до пояса, железной каске заведует этим пламенем — это почти щит, эта маска с маленькими злыми глазками. За ней, правда, доброе, усталое, как бы сплетенное из веревок лицо мастера.

С моей эспланады виден купол неба в алмазном блеске зимы. Серп луны, чуть пониже — звезда. Какая? Где-то я писал о морозе, неподвижном, как стены. Это хорошо сказано. Ужасно пессимистические отрывки, в которых указанное описание. Неужели, старея, становишься более спокойным? Кто заботится об этом?

С эспланады видна Москва, окружающая меня, стоящего как бы посередине, на вершине пика. Сейчас, зимним вечером, это ряды огней — один за другим, вдаль. Иногда расплывающееся пятно неона.

Очень теплый декабрь — на нуле. Я, вообще говоря, люблю тот период года, когда дни уменьшаются. Вид города, уже проснувшегося, но в темноте и огнях,— очарователен. На часах — девятый час, но за окнами ночь, хотя уже и встрепенувшаяся — с маленькими светящимися абажурами в далеких окнах... Чувствуешь себя в эти ночные утра моложе, бодрее, деловитей.

Под падающим и задерживающимся на земле снегом скрыта черная скользота. Люди грохаются всей силой тяжести прямо на легкие. Вдруг представишь себе в сгустке пальто, валенок, платка этот алый пульсирующий куст — и делается страшно.

В переулке парень с гитарой в руке догоняет ушедших вперед нескольких парней. Бежит, размахивая гитарой, которая почти оранжевого цвета, и ярко видна поэтому среди снега. За парнем сперва бежит, потом идет девочка — с двумя связанными на спине косичками и в маленьких лыжных штанах.

— Ты куда, Виктор? Куда?

— В гости! — кричит парень, не оглядываясь.— В гости!

Очевидно, сестра. А может, просто кто из дворовых девочек, которых не может не восхищать этот умеющий играть на гитаре и балагурить парень.

Когда я впервые увидел часы? Не помню. Не подлежит же сомнению, что был момент, когда я обратил внимание на этот странный движущийся предмет. Не помню этого момента.

Помню, однако, как меня учили определять по часам время. Большая стрелка казалась более дружелюбной; та, маленькая, не заигрывала со мной, ушедшая в себя, упорная и знающая свое дело.

Часы, пожалуй, менее других предметов техники, видоизменялись за время их существования в моей жизни. В то время, как, скажем, резко изменился телефонный аппарат, из большого ящика на стене превратившийся почти в трубку, которую даже можно переносить с места на место, часы остались примерно такими же, какими они были и триста лет тому назад. Может быть, потому, что часы, кроме значения в обиходе, имеют значение еще как предмет роскоши, драгоценности, подарок. Они не изменились, скажем, подобно тому, как не изменились браслеты, ожерелья. Может быть, им и не надо меняться. Сразу была найдена удобная форма: тикание времени сразу же научились сосредоточивать рядом с собой, тут же, на груди, на руке.

Впрочем, появление ручных часов было революцией.

Я никогда не имел часов, не покупал их, и никогда мне их не дарили. Я иногда говорю красивые слова о том, что мои часы на башнях.

Правда, какое чудо эти башенные часы! Посмотрите на часы Спасской башни. Кажется, что кто-то плывет в лодке, взмахивая золотыми веслами.

Одним из могущественных предметов для метафоризации именно были башенные часы. Они, входя в описание, уже сразу придают ему поэзию, придают ему даль, высоту, панораму. Можно говорить и о башне, и о птицах вокруг нее, и про облака, подальше от нее, и о деревьях и крышах внизу. Сколько метафор о времени приходит в голову, когда смотришь на такой циферблат над городом. Можно сказать, что это ты сам сидишь в лодке и размахиваешь золотыми веслами жизни.

Разумеется, Эдгара По привлекали башенные часы. Он описал маленький городок, где бюргеры ежедневно, когда приближался полдень, вынимали из жилетных карманов свои маленькие часы, чтобы сверить их с теми большими на ратуше.

Прямо-таки неисчислимое количество раз в течение дня подходят ко мне на улицах люди и спрашивают:

— Скажите, как мне на улицу Горького?

Или:

— Будьте ласковы, вот нам в парк культуры...

Или:

— На нем мы до парка культуры доедем?

Это о речном трамвае, который они видят с Каменного моста. Остановились у парапета и смотрят как очарованные.

Я поехал бриться на один из трех вокзалов: кажется, попал на Северный.

Ждал в очереди, поглядывая в зеркало. Я был тогда объемистым, с широкими плечами, темноволосым, с бледным, но сильным лицом.

Почему я должен был обязательно побриться (даже понесся на вокзал, не найдя в городе, по случаю воскресенья, открытых парикмахерских)?

Не помню. Помню, что ехал в трамвае, стоял на задней площадке. И там поглядывал на отражение в стеклах. Темноволосый, с мрачным, но молодым взглядом.

«Блям, блям, блям! — стучал вагоновожатый своей педалью.— Блям, блям!»

Трамвай катился вниз, как кажется мне, по Покровке. Нет? По Покровке!

«Блям, блям, блям!»

Вот показывается башня Казанского. Тогда высотных в этом месте не было. Башня Казанского. Мост, по которому бежит поезд, как бы поставив над собой дым в виде быстро бегущего к небу столба. Наконец — площадь...

Приехали! Потом зеркало, и я встречаюсь с собой взглядом и хмурю брови, потому что сам себе нравлюсь.

По новому стилю это что же — благовещение?

В этом дне всегда было что-то прелестное, какое-то соединение весны и молодости.

Не приходится сомневаться, что я стар.

Нет, благовещение, пожалуй, двадцать пятого марта. Во всяком случае, у Всех скорбящих не звонят.

Пасхальный стол украшался гиацинтами — на длинных стеблях и подпорках. Гиацинты были розовые и лиловатые, с цветами похожими на лодки,— целая кавалькада лодок, спускающаяся сверху вниз к вазону. Целая кавалькада розовых или лиловатых лодок, спускающихся по спирали вниз — огибая по спирали стебель... Так? Не так?

Я купил на рынке букет душистого горошка и с этой удивительной ношей на руках шел через центральные улицы города.

Так как букет, как я уже сказал, был куплен на рынке, то он не был как-либо специально завернут — просто на руках у меня лежали, полурассыпавшись, ветки, покрытые цветами, кривые, образующие несколько углов ветки и танцующие на них цветы. Верно, когда я не боковым, а, так сказать, нижним зрением иногда смотрел на букет, то мне казалось, что я вижу хоровод девочек в развевающихся синих, красных, бледно-голубых, белых и почти что в горошинку юбках.

— Смотрите-ка, ваш букет ему так понравился, что... Вовка! Ну что вы скажете!

Погруженный в свои мысли, я не заметил, что мальчик, ждавший, пока мама купит ему мороженое, вдруг увидел человека с букетом, потянулся за букетом.

Увидевшие сцену смеялись.

— Даже забыл мороженое! — сказал один.

Убегая от ливня, я перескочил через первый попавшийся порог. Сейчас выяснится, что я вбежал в кафе, а пока что я стою, имея перед собой какие-то два окна, и отряхиваюсь. Ливень ходит столбами за окнами, прямо-таки столбами! Похоже на орган.

О том, что убит Киров, я узнал утром в Одессе, в Лондонской гостинице. Это было двадцать лет тому назад. Понимаю ли я смысл этой фразы? Нет, не понимаю. Двадцать лет — это сердцевина жизни, фактически сама жизнь... Так ли это? Никитенко в дневнике пишет, что это треть жизни. Смотря какая треть... Это средняя треть, самая вкусная. Так ли это? Самая ли вкусная?

Кстати говоря, производя все эти рассуждения, я забываю, что сейчас я живу в третьей (по Никитенко) трети своей жизни.

Нет, все же я ничего не понимаю! Очевидно, время есть величина непостоянная. Очевидно, она движется то ускоряясь, то более медленно. Иногда, по всей вероятности, двадцать лет протекает скорей, чем один день. Во всяком случае, я заметил с совершенной отчетливостью, что ранние утренние часы движутся скорее, чем наступающие после одиннадцати — двенадцати часов. Я однажды сел за стол в шесть часов и, встав на мой взгляд через час, увидел, что на часах уже двенадцать. То есть я просидел за столом шесть часов, совершенно этого не почувствовав. А в течение шести часов не утренних, а наступающих во второй половине дня и обедают, и отдыхают, и одеваются к приходу гостей, и ждут гостей...

Как бы там ни было, прошло двадцать лет. Это было вчера!

Сегодня (27 апреля 1954 года) хоронили Лидию Сейфуллину. В гробу она, кукольно-маленькая при жизни, лежала так глубоко, что я хоть и затратил усилия, но никак не мог увидеть ее лица. Она вся была покрыта цветами, как будто упала в грядку. Совсем маленький гроб, который несли среди других Лидин, Ступникер, Арий Давыдо-

вич. Вставили в автобус сзади, как это всегда делается. В небе проглянула синева...

Сейфуллину я видел с месяц назад в том же месте, чуть дальше, во дворе Союза писателей. Она шла навстречу мне быстрым шагом не только не мертвой, не только не больной — но даже молодой женщины. При ее миниатюрности обычно даже я, глядя на нее, посылал взгляд сверху. Так же сверху послал я его и при этой встрече — и встретил блеснувший серпом взгляд, полный молодых чувств дружбы, юмора... Именно так она показалась мне молодой!

Да будет благословенным ее успокоение! Мне кажется, что она любила меня как писателя, понимала. В последние годы я не встречался с ней на жизненном пути. Почему-то иногда думал я о ней как о существе уже погибшем, замученном алкоголем и неразрешающимися страстями. Нет, эта встреча во дворе Союза сказала мне, что я ошибаюсь: она явилась мне никак не погибшей — наоборот, как сказал я, молодой! Как синева сегодня, проглянула мне молодость души сквозь старую, порванную куклу тела. Так и ушла она для меня навсегда — весело сверкнув на меня серпом молодого взгляда, как бы резавшим в эту минуту все дурное, что иногда вырастает между людьми.

Надо помнить, что смерть это не наказание, не казнь. У меня, вероятно, под влиянием владевшего мною некогда алкоголизма, развилось как раз такое отношение к смерти: она — наказание.

А может быть, так оно и есть? Тогда за что? Тогда и рождение — наказание со своим еще более трудно объяснимым «за что?».

Целый ряд встреч. Первая, едва выйдя из дверей,— Пастернак. Тоже вышел — из своих. В руках галоши. Надевает их, выйдя за порог, а не дома. Почему? Для чистоты?

В летнем пальто — я бы сказал: узко, по-летнему одетый. Две-три реплики, и он вдруг целует меня. Я его спрашиваю, как писать — поскольку собираюсь писать о Маяковском. Как? Не боясь, не правя? Он искренне смутился — как это вам советовать! Прелестный. Говоря о чем-то, сказал:

— Я с вами говорю, как с братом.

Потом Билль-Белоцерковский с неожиданно тонким замечанием в связи с тем, что у Мольера длинные монологи и странно, что актеры «Комеди Франсэз», которых он видел вчера по телевизору, не разбивают их между несколькими действующими лицами. Долгий монолог его самого по поводу того, ложиться ему на операцию или не ложиться.

Потом Всеволод Иванов. (Это все происходит перед воротами дома.) Молодой. Я думал, что он в настоящее время старше. Нет, молодой, в шляпе. Сказал, что написал пьесу в стихах. Как называется, почему-то не сказал.

Встретил Мартинсона. Сказал, что только что говорили обо мне. Где? На радио. Оказывается, он играет в инсценировке «Трех Толстяков». Это меня очень обрадовало. Инсценировку делал не я и каче-

ства ее не знаю. Играют, оказывается, Яншин, Бабанова. Очень радостно! Я бы сам и не стал делать, не хочется возиться со старым — но приятно, что опять встречаешься с замечательными артистами, которые тебя помнят.

И тут же, посередине Горького в «Зиме», как в огромной лакированной комнате, прокатил Катаев... Я склонен забыть свою злобу против него. Кажется, он пишет сейчас лучше всех — тот самый Катаев, к которому однажды гимназистом я принес свои стихи в весенний ясный, ясный, с полумесяцем сбоку, вечер. Ему очень понравились мои стихи, он просил читать еще и еще, одобрительно ржал. Потом читал свои, казавшиеся мне верхом совершенства. И верно, в них было много щемящей лирики... Кажется, мы оба были еще гимназисты, а принимал он меня в просторной, пустоватой квартире, где жил вдовый его отец с ним и с его братом — печальная, без быта, квартира, где не заведует женщина. Он провожал меня по длинной, почти загородной Пироговской улице, потом вдоль Куликового поля, и нам открывались какие-то горизонты, и нам обоим было радостно и приятно.

Ветреный день. Стою под деревом. Налетает порыв. Дерево шумит. Мускулистый ветер. Ветер, как гимнаст, работает в листве.

Сегодня в «Известиях» есть два места очень приятных для воображения. Оказывается, в счетных радиоэлектронных машинах имеются так называемые «запоминающие трубки». Это уже довольно далеко на пути к роботу!

Второе: в арфе та толстая массивная часть из дерева, та часть рамы, которую артист держит прижатой к груди, которую как бы обнимает, называется колонной. В «Известиях» описано, как старый мастер на фабрике музыкальных инструментов, занимающийся этим шестьдесят лет, пишет на колонне арфы золотой краской лепесток. Пожалуй, еще не так близко до робота!

...Подумать только, среди какого мира живешь и кто ты сам! А я ведь думал, что самое важное — это не ставить локти на стол!

Год очень короткая единица, очень короткая — взмах ресниц. На этом основании мне кажется, например, несколько преувеличенным тот ужас, который мы вселяем себе, говоря о звездных пространствах, световых годах и т. п. Если год так короток, то нужно ли так ужасаться расстоянию в несколько миллионов световых лет! Все же зерно этих чудовищных измерений — год, земной, человеческий год, взмах ресниц. Несколько миллионов взмахов ресниц — это хоть в возможностях, скажем, великана, но все же человека. Может быть, это все и не так далеко, в конце концов!

В одной статье о междупланетных путешествиях — печальное и возвышенное рассуждение о том, что поскольку человеческой жизни далеко не будет хватать при самых больших скоростях на то, чтобы

достигнуть даже и не слишком отдаленных звезд, то придется направляться в путь, так сказать, поколениями — один долетит до Луны, скажем; там осядет, произведет поколение; кто-то из этих, родившихся на Луне, полетит выше, будут рождаться поколения для путешествий и на промежуточных между планетами и звездами специально построенных станциях... Так все выше и дальше во вселенную будет распространяться человеческий род, уже в очень давних поколениях потерявший связь с Землей. Это очень торжественно, красиво и безысходно!

Так, в этом году съели вишни и черешни без меня. Я даже не видел, как в этом году продавали их на Центральном рынке — рыжие, голубоглазые грузины с розовыми щеками и украинские женщины без особенных украшений, но с говором мягким и певучим.

До того, как я познакомился с Алексеем Диким коротко, я знал, что есть такой известный режиссер Дикий. И видел его также в качестве артиста. Помню пьесу какого-то скандинавского драматурга, которая называлась «Гибель надежды» и в которой главным действующим лицом был некий моряк — мощный, переживающий трагедию человек, рыжий, веснушчатый, громогласный... Он вдруг вошел в дверь в клеенчатом черном плаще с капюшоном, который блестел от дождя, от бури, от кораблекрушения, и, заполнив весь пролет двери от косяка до косяка, ламентировал о чем-то — прекрасно, яростно, потрясая зрителей, вызывая у них сочувствие почти до слез.

Это был Алексей Дикий.

Когда я с ним познакомился коротко, я чувствовал, что это человек, считающийся только со своей душой, человек, живущий по собственным законам. Эти законы совпадали с законами истинной человечности, истинного понимания добра и зла.

Он был дьявольски талантлив.

Юмор, вкус.

И доброта.

Доброта, чувство товарищества. Некоторые проявления им его душевных качеств доходили до античного характера. Великолепный мужчина, красавец, остроумный, тонко-тонко понимающий корни жизни.

Нет для меня счастливей минут, чем те, которые переживаю я, когда в воскресенье утром вхожу в кондитерскую покупать торт.

Я избрал маленькую кондитерскую для этого, каждую неделю повторяющегося обряда. В больших слишком много покупателей, да и уж очень хорош переулок, в котором помещается именно эта кондитерская: немноголюдный, с несколькими синеватыми плитами гранита в тротуаре, с чудесной оградой перед одним из домов, узор которой как некий почерк знаменитого, давно жившего деятеля — и, главное, переулок этот связан для меня с удивительным переживанием, которое иногда посещает меня и которое я называю «миром без меня»... Да разрешит мне читатель описать это переживание

позже — оно сложно,— а сейчас я буду рассказывать, как я покупал торт.

Продавщицы меня уже знают. Со всех сторон кивают мне завитые блестящие головки. Похожие на то, когда входишь в теплицу: вдруг сквозь просвет в зеленых зарослях видишь покачивающуюся голову змеи или удивительного цветка... Так и здесь — только заросли заменены коробками, вазами. Та же душная, чуть ядовитая, греховная атмосфера.

Я кланяюсь направо и налево. Я тоже знаю их: вот Зина, вот Нюра, вот Лиза. Самая хорошенькая, пожалуй, Лиза. Впрочем, дело вкуса, да и, по правде говоря, все прелестны.

Как и всегда, я возьму земляничный торт.

— Этот или этот?

Этот чуть больше.

— Давайте этот.

Маленькая ручка, повиснув всеми пальчиками по направлению к торту, плывет среди конфектных масс. Взяла торт при помощи другой таким же способом приплывшей ручки — и вот он передо мной, этот кажущийся мне участником волшебных сказок и другом фей земляничный торт!

Всегда бывает в январе несколько дней, похожих на весну — собственно не то, чтобы похожих на весну, а таких дней, которые вдруг приводят тебе на память облик весны.

— Весна,— вдруг говоришь себе,— ах, вот она какая, весна!

Конечно, это не весна. Еще и намека нет на нее. Мороз, твердый снег, но закат странно желт; приоткрывается завеса дали — а ведь зимой дали нет! А тут даль... Лимонно-желтая — и что-то странное происходит с птицами — как будто они что-то увидели.

Вчера вечером телеграмма из «Мультфильма» о том, чтобы прийти получить деньги по договору на «Три Толстяка»; сегодня письмо от образцовского театра с предложением подумать о постановке «Трех Толстяков» в их театре. Подумать, сколько лет они стоят, так сказать, в повестке дня нашего искусства. Я писал их совсем юным — то в маленькой комнате при типографии «Гудка», где жил с таким же юным Ильфом, то у Катаева в узкой комнате на Мыльниковом, то в «Гудке» в промежутках между фельетонами. В комнате при типографии, которая была крохотная,— один пол! — я и писал лежа на полу... Я писал пользуясь типографским рулоном — несколько правда отощавшим, но все же целым бочонком бумаги. Он накатывался на меня, я придерживал его рукой... Другой рукой писал. Это было весело, и тем, что мне весело, я делился с веселым Ильфом. Однажды Ильф разбудил меня среди ночи стонами. Он жаловался на очень сильные, необычные боли в животе. Стало понятно, что нужно раздобыть доктора. Где его раздобыть? Была ночь, молодость, неумелость. Я решил, что выйду на улицу и пойду, ища врача по вывескам. Я вышел. Никитская, Никитские ворота. Вот темный, похожий на уходящий вдаль поезд,— Тверской бульвар... Впрочем, не темно,

нет! Август, ночь августа, еще полной грудью вздыхают деревья — все прекрасно вокруг, прекрасно! Тук-тук, тук-тук — это я иду по бульвару... Тук-тук... Разом подняв с десяток ветвей, указывает мне путь дерево, все говорит мне о том, что я молод, здоров. Тук-тук, тук-тук... никто не встречается! Я один на свете! Я! Тук-тук! Тук-тук... Врач! Вывеска — врач! Я — раз-два — на крыльцо; раз — звоню. И только об одном я думаю — не о том, что больной ждет помощи, а о том, что сейчас я буду шутить...

Сперва я стоял в небольшой очереди с несколькими мужчинами и женщинами, среди которых были и молодые и пожилые — одна, между прочим, хорошенькая, с надутым лицом, в котиковом саке; я подумал о ней, что поскольку очередь военнообязанных, то это, по всей вероятности, медицинская сестра...

Мы упирались в окошечко, проделанное в простенке; что было в окошке, мне не было видно. Я смотрел, главным образом, на надутое лицо молодой женщины, выхоленное, привыкшее к любованию. В стороне от окошечка стояла пальма с листьями, как бы вырезанными из железа и похожими на части жатвенной машины.

Очередь дошла до меня. В окошечке, оказалось, сидит молодой с бледным лицом офицер. Я положил на подоконничек, обращенный в его сторону, повестку и воинский билет. Раскрыв эту мою книжечку и полистав, зажимая между пальцами отдельные ее листы, он вскинул на меня очень учтивый взгляд и сказал, что просит меня подождать, пока он снимет меня с учета.

Я отошел под пальму. За мной проделала свои дела понравившаяся мне воображаемая сестра милосердия — и ушла — я не заметил, когда это случилось, поймав только движение закрывающейся за ней створки выходных дверей. Мгновение мне казалось, что еще качается перед моими глазами колокол ее котивого пальто...

— Товарищ Олеша,— услышал я обращение идущего ко мне из-за кулис человека. Это был офицер из окошечка. Учтиво, но теперь еще и улыбаясь, он говорил со мной не больше минуты, одновременно протягивая мой воинский билет,— говорил о том, что я снят с учета и — для справки, сказал он,— должен знать, что теперь я не военнообязанный.

Так окончились мои отношения с Красной Армией, зарождение которой я видел собственными глазами.

Плохая весна. Серо, без дуновения.

Умер (позавчера, 18-го) Альберт Эйнштейн. Я думал, высокий, вроде нашего Иоффе. Нет, оказывается, маленький, волосатый. Никто из нас, нормально-культурных людей, не знает, что собственно сделал Эйнштейн.

Когда я входил в силу молодости и призвания, как раз в центре внимания была теория относительности. Показывали даже маленький фильм (советский), который, предполагалось, объяснит эту теорию популярно. Он ничего не объяснил — во всяком случае мне. Я запомнил только кадр с медленно поворачивающимся земным шаром.

Эйнштейн предупредил, что нельзя шутить с расщеплением материи.

Вчера рассказывали, что после пробных взрывов остаются отходы, в которых сохраняются опасные свойства распада. Что с ними делать? Американцы бросали их в океан — тоже опасно. Теперь применяются какие-то бетонные мешки, куда эти отходы прячутся. Но и сквозь эти мешки тоже летят излучения.

Сегодня в «Правде» памяти Эйнштейна некролог наших нескольких академиков.

Это не было ни в воскресенье, ни в какой-нибудь праздник. В том-то и дело, что это был будний, обыкновенный день — и не в преддверии каких-нибудь событий в истории или в атмосфере: весны, скажем, или приезда царя — нет, обыкновенный, рядовой день среди давно уже установившегося сезона.

И тем не менее на обед была подана индейка, и было также то сладкое, которое связано чуть ли не со сказками,— сладкое, которое даже опасно есть — не превратишься ли в карлика? Пломбир!

Так, именно сверхпраздничным обедом в обыкновенный день, предстало передо мной впервые богатство, предстал правящий класс.

— Юра, ты останешься обедать? Юра останется обедать! Да, да, останется!

Мне тогда было лет десять, я еще не гимназист. Я еще просто мальчик в синих коротких штанах и черных длинных чулках.

Просто мальчик.

— Мальчик! — кричат неизвестно кому, и я тоже оглядываюсь. Оглянусь ли теперь, когда закричат: «Старик!»

Пожалуй, не оглянусь. Не хочется? Нет, я думаю, в основном тут удивление, что это наступило так быстро... Неужели наступило?

— Старик! Эй, старик!

Нет, это не я, не может быть.

— Старик!

Нет, не оглянусь. Не может быть, чтобы это произошло так быстро.

— Старик! Вот дурак — не оглядывается! Ведь это же я — смерть!

В Малом театре комфортабельно, чисто, гордо, роскошно. Женщина, отнимающая у выхода ваш пропуск, встает перед вами. Как видно, это накрепко приказано ей: когда проверяешь пропуск, вставай. В самом деле, приходят писатели, артисты из других театров, приходят высокопоставленные военные и штатские...

Сидишь за круглым столом, где напротив сидят Марков, Межинский. Межинский читает пьесу.

...Может быть, попробовать устроиться в Малый театр актером? Игра курьеров. А что же, помогли бы устроиться. Получал бы спокойно жалованье. Надевал бы парик, от которого пахнет клеем. Когда-то я загримировался стариком, и юная женщина, которая меня любила (юного же!), ужаснулась:

— Боже, какой ты страшный!

Теперь я постоянно в этом гриме. Впрочем, Суворов стар — урод ли? Весь в голубом, в звездах орденов, с двумя белоснежными вихрами...

Я знаю два определения неизменности вселенной — художественных, доступных любому воображению: одно принадлежит Паскалю, другое — Эдгару По.

Паскаль сказал, что вселенная — это такой круг, центр которого везде, а окружность нигде. Как это гениально! Стало быть, все вместе — Земля, Солнце, Сириус и те планеты, которых мы не видим, и все гигантское пространство между телами — сливаются в одну точку, в которую нужно вонзить ножку циркуля, чтобы описать этот круг. Но ведь мы не видим бесконечных пространств за теми, которых тоже не видим, и еще, и еще, мы не видим — и все это сливается в одну вырастающую бесконечно точку для вырастающего бесконечно циркуля... И все он не приходит в действие, этот циркуль, потому, что точка все растет и сам он растет — и окружность, таким образом, не описывается! Ее нет!

Эдгар По предлагает для представления о беспредельности вселенной вообразить себе молнию, летящую по одному из тех математически крошечных отрезков прямой, из которых составляют окружность вселенной — подобно тому, как из отрезков прямой составлена и любая окружность.

— Эта молния, летящая со скоростью молнии по отрезку прямой, будет лететь по прямой,— говорит Эдгар По,— будет лететь по прямой вечно!

Великий математик, видим мы, был поэтом; великий поэт — математиком!

Маяковский говорит:

...ночи августа
Звездой набиты нагусто!

Как раз осенью небо не набито звездами. Рифма, как всегда, конечно, великолепная (неологизма — «нагусто» — мы даже не замечаем — так закономерен этот неологизм)! Только ради нее и набито небо звездами. Возможно, впрочем, что я дурак и педант — ведь ночь-то описывается тропическая, для глаза европейца всегда набитая звездами!

Когда он вернулся (он побывал и в Мексике) из Америки, я как раз и спросил его о тех звездах.

Он сперва не понял, потом, поняв, сказал, что не видел. Пожалуй, я в чем-то путаю здесь, что-то забываю. Не может быть, чтобы он головою над всеми — не увидел Южного креста!

О, пусть он, этот крест, даже и снобизм, но не мог же он не заметить, что созвездия нарисованы по-иному, что звезды горят иные!

Все это в конце концов бессмысленное ожидание пропуска или паспорта в страну, которая существует не в пространстве, а во времени — в прошлое, в молодость. Такого паспорта получить нельзя, и ожидание, повторяю, бессмысленно, однако обходится в живые куски жизни, которые отбрасываешь, как отбрасывал перед какой-либо обычной поездкой в пространстве. А, ничего, мол, ляжем сегодня пораньше спать, ведь завтра все равно едем!

Ведь мы же сейчас никуда не поедем! Что же отбрасывать жизнь?

А вот поди ж, трудно отказаться от того, чтобы именно ожидать, трудно поверить, что страна, куда хочется отправиться, уже переключена из пространства во время.

Пятьдесят лет Шолохову.

Я однажды долго разговаривал с молодым человеком в кепке со смеющимися глазами где-то на лестнице «Националя», не зная, кто этот молодой человек. Только потом сообразил, что это Шолохов. Очевидно, скромный, вежливый. Он отозвался о моих критических отрывках с похвалой — причем в интервью, так что во всеуслышание.

Сегодня наконец-то впервые в жизни я увидел комету. В 1910 году, когда к Земле приблизилась комета Галлея, мне было десять лет, и меня в день, вернее в вечер, наиболее тревожного ожидания какой-то предполагавшейся катастрофы в связи с этим приближением, мама и папа привезли вместе с моей тоже еще далеко не взрослой сестрой на Николаевский бульвар в Одессе, и там, где уже собралось много народу, я старался увидеть комету, которую потом вспоминали Горький и Блок. Я ничего не увидел, кроме обычного наполненного звездами купола летнего неба. Помню оживленные голоса собравшихся на бульваре людей, помню сладкий запах вина, исходивший из уст мамы, которая перед тем была вместе с папой и еще целой компанией в ресторане — но не помню, чтобы я видел комету... Возможно, что, как все же ребенок, я не умел разобраться в том, что сияло в куполе. Как бы там ни было, кометы Галлея я не видел.

Это первая комета, которую я увидел в своей жизни, та, на которую я смотрел час тому назад из сада Дома творчества в Переделкине, под Москвой, и потом с балкона этого дома. Над вершинами сосен в вечернем — вернее в ночном темном, но чистом небе, между двумя безымянными для меня обыкновенными звездами, виднелось нечто вроде гигантского капсюля, обращенного утолщенной частью вниз, бледно светящегося — настолько бледно, что свет этот моментами, казалось, вовсе исчезал. Зная предварительно, что комета состоит из ядра и хвоста, можно было и здесь увидеть ядро и хвост. Впрочем, они действительно были видны — и ядро и хвост. Но ожидаешь, что комета окажется очень яркой, как на цветных вставках в энциклопедических словарях, в данном случае ее свечение оказалось почти призрачным.

Я старожил, и я не помню такого жаркого сентября. Идешь по Пятницкой с такими ощущениями, как будто, приехав в Одессу, впервые спускаешься к морю. Даже пахнет смолой.

Это, наверно, атомная жара.

Беседа, которую хочется вести, должна быть тонкой, на полутонах, на полусловах. Скульптор Абрам Малахин симпатичен, умен, тонок и любит меня.

Он как-то показывал мне фото проекта памятника Ермоловой работы скульптора, которого он считает своим учителем — Матвеева. Великолепное фото, на котором черная ниша, из ниши этой выходит женщина в длинном платье. Таинственно, эпично, как в «Божественной комедии».

В связи с тем, что вечером объявили по радио о прохождении искусственного спутника над Москвой завтра утром в шестом часу, я лег, не раздеваясь и заказав себе проснуться в четыре часа. Я проснулся в пять. Сперва даже трудно было представить себе, как это можно сейчас встать и выйти на улицу. Однако встал и вскоре был на улице. Я решил пойти к Каменному мосту и ожидать появления спутника на нем, поскольку над мостом много неба, только внизу отороченного зданиями. Небо было еще ночное, хоть и лунное, с длинными полотенцеобразными, но прозрачными облаками. На юге быстро и стрельчато мерцала какая-то крупная звезда, которую, к стыду своему, я не мог узнать. Были рассыпаны и по всему небу редкие звезды, то потухавшие за полосами облаков, то опять свежо и уверенно появлявшиеся из-за них. Я смотрел на северо-запад, где, согласно сообщению, должен был взойти спутник — на северо-запад, имея ориентиром высотное здание на Смоленской площади. Я слишком в виде одной точки понимал сторону света, северо-запад, упустив из виду, что это четверть купола. Когда я не сделал и сотни шагов, я увидел идущих навстречу мне нескольких мужчин, оживленно разговаривавших, и понял, что я опоздал,— эти люди, ясно было, уже видели спутник. Так и оказалось.

— Опоздали,— сказал один из них.

Пока я смотрел на северо-запад, как в точку, просто держал в поле зрения высотный дом на Смоленской, спутник, взошедший на более широко понимаемом северо-западе, то есть в одной из точек целой четверти небосвода, двигался над моим правым плечом, чуть дальше его еще вправо.

— Какой он? — спросил я.— Вот как эта звезда?

— Да,— ответил один из мужчин.

Значит, он довольно большой на вид. Все-таки непонятно, как может быть видим шар величиной в те, которые лежат на цоколях в садах,— на расстоянии в тысячу километров и быть еще ярким. Впрочем, тут не стоит браться что-нибудь понимать.

Почему именно случилось, что я родился не в те дни, когда была открыта Америка, а в дни, когда появился искусственный спутник!

Как все меняется! Как все меняется! Совсем другие сейчас голоса дикторов, чем, скажем, год-другой назад. Я помню еще диктора Про.

— Вел передачу Про.

Это был первый диктор радиопередачи. Помните:

— Вел передачу Про.

Он еще жив. Очень, очень старый человек — в бесформенной шапочке, с бесформенным румянцем. Все это от старости. Он увидел меня из окна какого-то транспорта и узнал. Мы раскланялись.

Не такой уж обычный, черт возьми, ветеран! Шутка ли, первый диктор.

Я помню, как некогда бежал по площади, чтобы не пропустить какого-либо слова, раздававшегося из черной точки репродуктора... Это были первые встречи с этим чудом. Мокрый снег летел на Советской площади, репродуктор был похож на только что прилетевшую и севшую на столб ворону, и «вел передачу Про».

Сегодня в «Правде» траурное извещение о смерти Федора Гладкова.

Я его видел с месяц тому назад. Он выглядел очень плохо, я подумал о смертельной болезни. Он сказал, что у него какой-то спазм в пищеводе — он не сказал, что в пищеводе, а как-то иначе — и что поэтому плохо проходит пища. Очевидно, это был рак пищевода, мысль о котором мне тогда и пришла в голову.

Он был приличный человек, не стяжатель, не хищник. «Цемент» написан несколько декадентски, однако это первая вещь о советском труде. Впоследствии он стал писать хорошо, твердо. Он был умен, ядовит, всегда интеллектуально раздражен.

Он был близок с Малышкиным, моим соседом; там, у Малышкина, я часто видел его, и у меня от этих встреч остался веселый его облик.

Позже, при встречах в Лаврушинском, у нашего дома, он всегда был приветлив со мной, дружествен, и я чувствовал, что мы оба писатели-профессионалы.

Он, как мне кажется, любил меня. Когда-то очень давно, когда я, как говорится, вошел в литературу, причем вошел сенсационно, на каком-то банкете, он подошел ко мне — в конце концов, чтобы посмотреть на меня! — и сказал:

— Какой вы молодой!

Он был уже знаменитым автором «Цемента».

Я с серьезностью, уважением и грустью переживаю вашу смерть, Федор Васильевич!

Жаль молодости, как можно пожалеть, что не увидишь милых, красивых, веселых, хохочущих друзей — целой толпы мужчин и женщин, которые исчезли вместе с молодостью... Они еще живы, но никто из них уже не то, что был тогда, уже не блестят их волосы, глаза; уже не острят мужчины, не толпятся у телефона в маленьких салонах ресторанов, вызывая девушек. Может быть, ничего уже не хотят.

Одно из ощущений старения — это то ощущение, когда не чувствуешь в себе ростков будущего. Они всегда чувствовались; то один, то другой вырастали, начинали давать цвет, запах. Теперь их совсем нет. Во мне исчезло будущее!

Все-таки абсолютное убеждение, что я не умру. Несмотря на то, что рядом умирают — многие, многие, и молодые, и мои сверстники — несмотря на то, что я стар, я ни на мгновение не допускаю того, что я умру. Может быть, и не умру? Может быть, все это — и с жизнью и со смертями — существует в моем воображении? Может быть, я протяжен и бесконечен, может быть, я вселенная?

Я думаю сейчас о Льве Толстом. Он постоянно размышлял о смерти. Теперь вспомним, в чем выразилась для него смерть. Он заболел воспалением легких, и, когда на другой или на третий день ему стало плохо, он начал дышать громко, страшно, на весь дом. Это так называемое теперь Чейн-Стоксово дыхание, то есть симптом смерти при парализующемся центре дыхания, названный так по имени двух описавших его врачей — Чейнса и Стокса. При этом симптоме Лев Толстой умер. Сияла ли у него в сознании в эти моменты его встреча со смертью, была ли она то, о чем думал всю жизнь. Думается, что нет. Он просто был лишен какого бы то ни было сознания, просто не знал, что с ним происходит. А до этих мгновений он был еще живой, протягивавший руки к лекарствам. Ничего общего не было между его смертью и смертью Ивана Ильича с его «пропустите» вместо «простите», с этой очень земной, очень здоровой чепухой, которую придумал Лев Толстой, думавший много о смерти и представлявший ее иногда в виде какого-то света, забывая в конце концов, что свет в таком смысле — это понятие поэтическое, а не физиологическое, которое должно идти рядом со смертью. Два врача, Чейнс и Стокс, знали о смерти точные вещи, физиологические, что она не свет, а, скажем, прекращение деятельности центра дыхания, для умирающего, по всей вероятности, никак не уловимое. Я думаю о Льве Толстом в ночь на 20 декабря 1959 года.

Умер Александр Вертинский.

Я помню его первые выступления, когда он появился в одежде Пьеро — только не в белой, как полагается, а в черной, выходя из-за створки закрытого занавеса к рампе, освещавшей его лиловым светом. Он пел то, что называл «ариетками Пьеро» — маленькие не то песенки, не то романсы: вернее всего, это были стихотворения, положенные на музыку, но не в таком подчинении ей, как это бывает в песенке или в романсе — «ариетки» Вертинского оставались все же стихотворениями на отдаленном фоне мелодии. Это было оригинально и производило чарующее впечатление. Вертинский пел тогда о городе — о том его образе, который интересовал богему: об изломанных отношениях между мужчиной и женщиной, о пороке, о преданности наркотикам... Он отдавал дань моде, отражал те настроения, которые влияли в ту эпоху даже на таких серьезных деятелей искусства, как Александр Блок, Алексей Толстой, Маяковский.

Безусловно, Вертинский уже тогда показал себя очень талантливым человеком. Успех у публики он имел огромный.

Затем Вертинский оказался в эмиграции — жил в Париже и в Шанхае, оставаясь артистом в прежнем своем жанре исполнителя стихотворений-песенок. Но теперь он пел о покинутой родине, о тоске

по ней. Он принадлежал к тем эмигрантам, которые жили мечтой о возвращении, которых волновал образ изменившейся, ставшей другой и, как они понимали, более прекрасной родины. Младший по рангу, он все же стоял в ряду таких эмигрантов, как Рахманинов, тот же Алексей Толстой, позже Шаляпин и Иван Бунин.

Теперь темой Вертинского стало слово «домой»... Гастролируя в тогдашней буржуазной Румынии — может быть, в Аккермане, он смотрит на соседнюю, совсем близкую русскую землю, с грустью и любовью называет ее «горькой» и, захваченный тоской по родине, воспоминаниями о прошлой жизни в России, создает великолепные строки о двух ласточках, которые, как две гимназистки, провожают его на концерт.

Александр Вертинский вернулся на родину, стал советским артистом, стремясь к тому, чтобы соединить свой жанр с современными советскими темами. Успех и у советского зрителя он имел большой. Он стал работать в качестве артиста кино.

Я хочу вспомнить здесь, в этом некрологе ушедшему артисту и, безусловно, поэту, мнение о нем Владимира Маяковского, не оставшееся у меня в памяти в точности, но сводившееся к тому, что он, Маяковский, очень высоко ставит творчество Вертинского. Я не был близко знаком с Вертинским — все собирался познакомиться и сообщить ему мнение Маяковского — но так и не познакомился и не сообщил. Пусть это мнение станет известным теперь друзьям, товарищам по работе и поклонникам артиста. Похвала сурового судьи Маяковского не пустяк — она может идти первой строчкой в эпитафии любого деятеля искусства.

Вертинский, кажется мне, несмотря на свои, как говорится, срывы, был крупной фигурой русского искусства и, кроме того, неповторимой. Вечная ему память!

Меня поставили в почетный караул в головах по левую сторону. Лежавший в гробу уходил от меня вдаль всей длиннотой черного пиджака и черных штанов. Из лица я видел только желтый крючок носа, направленный туда же вдаль, в длину, и видимый мне сверху, так как мертвый лежал, а я над ним — вернее, над его началом, стоял.

В глазах у меня от напряженного и хочешь не хочешь, а многозначительного стояния было розово, и все силы моей души были направлены на ожидание конца моей смены караула. Что касается физического моего поведения, то, кроме стояния, я еще был занят тем, что поглядывал на крючок носа и черную длинноту тела. Еще я посматривал в конец зала на входящих. Кое-где на мертвом лежали цветы, например белая молодая роза со стрельчатыми, еще не вошедшими в возраст лепестками...

Так окончилось пребывание в моей жизни Вертинского, начавшееся очень давно и длившееся почти всю жизнь. Я его увидел впервые в Одессе, когда он был уже имеющим известность артистом, а я еще только едва окончил гимназию. Меня потрясло его выступление в виде Пьеро, только не в белом, а в черном балахоне в свете лиловато направленного снизу прожектора. Сперва между створок темного занавеса появилась рука, потом вышел сам Пьеро...

Я долго равнял свою жизнь по жизни Вертинского. Он казался мне образцом личности, действующей в искусстве,— поэт, странно поющий свои стихи, весь в словах и образах горькой любви, ни на кого не похожий, не бывалый, вызывающий зависть. Я познакомился с ним в редакции какого-то одесского журнальчика, куда он вошел, наклоняясь в дверях, очень высокий, в сером костюме, с круглой, казавшейся плешивой головой, какой-то не такой, каким, казалось, он должен был оказаться. Он познакомился со всеми, в том числе и со мной, но не увидел меня. С тех пор знакомство в течение всей жизни не стало короче. Я об этом жалею. Он был для меня явлением искусства, характер которого я не могу определить, но которое для меня милее других — искусства странного, фантастического.

Один писатель жаловался мне на то, что, дескать, в наши дни невозможно написать простой рассказ о любви, о нежности, о юноше и девушке, о звездах, он так и сказал: «о звездах».

Он говорил:

— Техника! Только о технике и можно писать. Машины! Машины! Машины! А мне, может быть, хочется писать о звездах.

Я расстался с писателем вечером на бульваре. Над нами сверкало звездное небо. Он удалился. Я стоял, задрав голову. Там шевелилось звездное небо.

Я решил написать рассказ о любви, о нежности, о юноше и девушке, о звездах.

Попробуем.

Я никогда не был на бал-маскараде. Однако помню приятное ощущение, которое переживала рука, когда брала маску. Я имею в виду черную женскую маску. Вернее, полумаску. Она была снаружи черная, внутри белая и гораздо была милее с той, с обратной стороны. Эти белые атласные вдавлины на месте носа и щек казались почему-то формой некой улыбки, причем улыбки молодого красивого лица.

Она падала на стол, когда вы ее бросали, с почти неслышным стуком. Она была сама легкость, само изящество, сама любовь. Она танцевала, пела, смотрела на вас.

Может быть, мало что из предметов было так прекрасно, как маска. Она была женщина, Ренуар, сновидение, она была «завтра», она была «наверно», она была «сейчас, сейчас, подожди, сейчас»...

Иногда, едва вы сомкнули веки, как вдруг в мозг, еще не совсем спящий, вторгается видение — нет, не видение: какая-то ужасная линия, даже, может быть, фраза... Вы переживаете мгновение ни с чем не сравнимого страха. Да и страх ли это? Нет, это уже само несуществование — это уже воздействие на мозг тех клеток, которые пришли в движение, по всей вероятности, по ошибке и которые будут призваны к действию только после смерти.

А иногда в том же мозгу (это как раз происходит к концу ночи, в более поздних сновидениях) появляются видения загородных местностей, ландшафтов несравненной, как бы покинувшей полотна Ве-

ронезе, красоты. Что же в таком случае это? Воспоминания? Образы грусти о прошедшей юности? Я сказал бы даже, что появляется одна и та же местность, и когда я просыпаюсь, то мне кажется, что если поискать как следует, то я найду эту местность где-то в районе Обсерваторного и Стурдзовского переулка в Одессе.

Разве не удивительно, что нашему мозгу представляются именно странные видения? Почему? Кто вызвался нас пугать? Совесть? Или это атавизм, воспоминание о саблезубом тигре, пещерном медведе? Ведь объясняют тот внезапный испуг перед засыпанием, когда человек весь содрогается почти до спазмы мускулов живота, тем, что это есть не что иное, как именно воспоминание о падении с дерева в ту эпоху, когда мы жили на деревьях и, упав среди ночи с дерева, были обречены на гибель...

Этот сад казался продолжением сновидения. Это потому, что я вошел в него в очень ранний час, в воскресенье, летом, когда город спал. Тишина, неподвижность, голубизна даже и недалеких далей, как всегда в летнее утро... Где-то потрескивание вырывающейся из шлангов воды.

Не сад, а маленький под домом садик — чуть лучше, чем обычно, возделанный палисадник. Однако в нем множество посеянных по так называемому мавританскому способу маков — просто в траве; множество табаку. Две-три скамьи из зеленых бревен. В высоту убегает кирпичная стена, как всегда, образуя для цветов и зелени, может быть, самый выигрышный фон. Верно, этот фон беден, но полон мечтательности, полон зова в будущее — даже для такого старика, как я. Железные перильца тоже убегают вверх, там открыта дверь, за которой темнота... Что там? Коридор?

Я вошел в садик с мыслью, что он продолжение сновидения. Нет — просто тишина, утро, неподвижность белых и алых головок среди травы и над травой... Как можно не заговорить с цветами, когда ты один? Все ли будет хорошо — обратился я к цветам. Да, отвечали белые цветы табака. Нет, кидал мне мак. Нет, нет, нет! Так я и ушел из садика с воспоминанием о добром, широком распластанном «да» белого табака и огненных, кидаемых через плечо «нет», «нет», «нет» — мака.

— Нет, нет, не сновидения! Стал бы я этим заниматься, вызывать сны с их бессмыслицей, просто балаганом. Не сновидения, а самое настоящее проникновение в материальный мир прошлого.

— А будущего?

— Из чего же я могу создать будущее? Прошлое оставило отблески, их можно уловить, сконцентрировать, а будущее...

Он улыбнулся:

— Будущее еще на солнце!

Он все возвращался к теме света. Материальный мир создан светом. Называйте это как хотите — квантами, атомами, но это свет, это солнце.

— Все создано солнцем? — спросил я.

— Конечно!

Ему можно было поверить хотя бы потому, что в конце концов он говорил школьные вещи. Ему просто нельзя было не поверить, поскольку он...

Поскольку он держал в руках маленький стеклянный прибор — пожалуй, стеклянный столбик, толщиной в карандаш — вот-вот, больше всего это походило на стеклянный карандаш! Он и вертел им, как вертят карандашом, только от верчения этого карандаша вдруг стал слышаться как бы отдаленный смех не то в лодке, не то в саду...

В этом карандаше нет-нет да и появлялось нечто вроде золотой иголки, нет-нет да и начинал вдруг слышаться отдаленный не то где-то в саду, не то в лодке смех.

— Кто-то вспоминает свою молодость,— сказал он.

Он остановил карандаш, чуть повернул крохотный купол на нем, и все увидели, как девушка, сама чем-то похожая на лодку...

Необыкновенно медленно, как никогда на моей памяти, разворачивается в этом году весна. То зеленое, что виднеется сегодня между домами, из-за домов, еще далеко не то, что называется первой зеленью. Его еще нет, этого зеленого, оно скорее угадывается. Не слышно, например, запаха, характерного для этих дней. Может быть, впрочем, мир не устанавливает со мною контакта? Может быть, с годами теряется возможность этого контакта? Может быть, школьник слышит запах — вот этот школьник, который, как я когда-то, хочет со всей добросовестностью развязаться с заботами, чтобы ни одного дня весны не прожить невнимательно.

Надо выбраться за город. Поеду на какую-нибудь станцию, сойду и буду стоять. Установится ли контакт? Когда-то я хотел есть природу, тереться щекой о ствол дерева, сдирая кожу до крови. Когда-то я, впервые после перерыва оказавшись за городом, взбежал на невысокий холм и, не видя, что вокруг кладбище, упал, чувствуя восторг, в траву лицом — в ножи травы, которые меня ранили, плакал от сознания близости к земле, разговаривал с землей.

Поднявшись, я увидел деревенское кладбище с фанерными крестами, с фотографическими карточками — все в каких-то вьющихся лиловых побегах и с темным дубом, который склонялся над ним и шумел.

Ходишь по городу... Сентябрь, но чисто, спокойно, жарко. В кармане несколько сотен. И, как ни ходишь, не принимает тебя мир. Я всю жизнь куда-то шел. Ничего, думал, приду. Куда? В Париж? В Венецию? В Краков? Нет, в закат. Вот и теперь иду, уже понимая, что в закат прийти нельзя. Очевидно, это была мечта о бессмертии. Не она ли вела монгол на Запад? В закат? Недаром же есть легенда о том, как Чингисхан потребовал бессмертия от своих приближенных.

Качание оси.

Может быть, если б не было эффекта заката, вся история была бы иной. Кто-то правильно сказал мне, что человечество изобрело бы что-нибудь другое — лишь бы мучиться.

Нет ничего прекрасней кустов шиповника! Помните ли вы их, милый читатель? Мой вопрос не слишком невежлив; ведь верно же, что многие и многие проходят мимо множества чудесных вещей, стоящих или двигающихся по пути. Мимо деревьев, кустов, птиц, детских личик, провожающих нас взглядом где-то на пороге ворот... Красная узкая птичка вертится во все стороны на ветке — видим ли мы ее? Утка опрокидывается головой вперед в воду — замечаем ли мы, как юмористично и обаятельно это движение, хохочем ли мы, оглядываемся ли, чтобы посмотреть, что с уткой?

Ее нет! Где она? Она плывет под водой... Подождите, она сейчас вынырнет! Вынырнула, отшвырнув движением головы такую горсть сверкающих капель, что даже трудно подыскать для них метафору. Постойте-ка, постойте-ка, она, вынырнув, делает такие движения головой, чтобы стряхнуть воду, что кажется, утирается после купания всем небом!

Как редко мы останавливаем внимание на мире! Вот я и позволяю себе поэтому напомнить читателю о том, как красив шиповник. В тот день он показался мне особенно красивым. Может быть, потому, что я несколько лет не встречал его на своем пути!

Эти кусты объемисты, с дюжину детей надо соединить в цепочку, чтобы окружить один. Ствол не виден, зато множественны его расчленения — ветки, ветки, ветки...

Что же и в самом деле самое прекрасное из того, что я видел на земле?

Как-то я хотел ответить на этот вопрос, что самое прекрасное — деревья. Может быть, это и правда так — деревья? Некоторые из них действительно прекрасны. Я помню сосну на каком-то холме, пронесшемся мимо меня в окне вагона. Она была чуть откинута назад, что было великолепно при ее высоте, была освещена закатом — причем не вся, а только в своей вершине, где ствол стал от заката румяным, а хвоя глубоко-зеленой... Этот ствол уходит косо, как уходит лестница, в небо. Эта хвоя — венец — темнела в синеве и как бы ходила там, образуя круг.

Сосна пронеслась мимо, навсегда, где-то в Литве, недалеко от Вильно, которое я увидел вдруг с горы. Я запомнил на всю жизнь это дерево, которое, по всей вероятности, и еще стоит все там же на холме, все так же откинувшись...

Береза действительно очень красивое дерево. Я просто, родившись на юге, воспринял ее с настороженностью, с насмешкой, скорее думая о литературных надоевших березах, чем о настоящих.

Некоторые из них очень высоки, объемисты. Белый ствол, прозрачная, ясная листва. Черные поперечные взрезы на коре ствола по-

хожи на пароходы, топоры, на фигуры из диаграмм. В листве сидят чижики, сами маленькие и зеленые, похожие на листы. Одна на пригорке смотрела на меня, как женщина, раздвинувшая вокруг лица края шали...

Надо написать книгу о прощании с миром.

Я очень часто ухожу очень далеко, один. И тем не менее связь моя с некоей станцией не нарушается. Значит, я сам в себе живу? Как же так? Неужели я ношу в себе весь заряд жизни? Неужели весь провод во мне? И весь аккумулятор? Это я — вся моя жизнь? Этого не может быть. Очевидно, при каждом моем шаге с тех пор, как я явился в мир, мною заведует внешняя среда, очевидно, солнце, которое все время держит меня на проводе, на шнуре — и движет мною, и является моей вечно заряжающей станцией.

Оно проступает в виде мутно светящегося круга сквозь неплотную, но почти непроницаемую преграду туч — всего лишь проступает, и, смотрите, все же видны на камне тени. Еле различимо, но все же я вижу на тротуаре свою тень, тень ворот и, главное,— даже тень каких-то свисающих с дерева весенних сережек!

Что же это — солнце? Ничего не было в моей человеческой жизни, что обходилось бы без участия солнца, как фактического, так и скрытого, как реального, так и метафорического Что бы я ни делал, куда бы я ни шел, во сне ли, бодрствуя, в темноте, юным, старым,— я всегда был на кончике луча.



ПРИМЕЧАНИЯ

Произведения Юрия Карловича Олеши (1899—1960) неоднократно издавались в Советском Союзе и за рубежом.

Эта книга — пятое издание избранных произведений Олеши. Три из них — прижизненные: Избранное. М., «Художественная литература», 1935; Избранное. М., «Художественная литература», 1936; Избранные сочинения. М., ГИХЛ, 1956. В однотомники тридцатых годов входили роман «Зависть», цикл рассказов «Вишневая косточка» и киносценарий «Строгий юноша». В последнее прижизненное издание помимо «Зависти» и рассказов из «Вишневой косточки» писатель включил «Трех Толстяков», ряд новых рассказов и раздел «Воспоминания. Статьи. Из записных книжек». В 1965 году издательство «Художественная литература» выпустило «Повести и рассказы» Юрия Олеши. Эта книга, в основном, повторила предыдущее издание 1956 года.

В настоящем издании представлена избранная проза писателя: романы «Зависть» и «Три Толстяка», двадцать шесть рассказов, киносценарий «Строгий юноша» и книга «Ни дня без строчки». Тексты последних прижизненных публикаций сверены с другими изданиями и рукописями, исправлены опечатки и неточности. Проверены и в некоторых случаях уточнены даты написания произведений.

Рукописи Ю. К. Олеши хранятся в Центральном Государственном архиве литературы и искусства (ЦГАЛИ), в отделе рукописей Института мировой литературы АН СССР им. Горького (ИМЛИ), в архиве у жены писателя О. Г. Суок-Олеша (Москва).

ЗАВИСТЬ

(Стр. 13)

Впервые — журнал «Красная новь», 1927, №№ 7 и 8, с заголовками частей: «Записки» и «Заговор чувств». Отдельным изданием впервые: Ю. Олеша. Зависть. М., «Земля и фабрика», 1928 (с рисунками Н. Альтмана и приложением отзывов советской прессы). Черновики романа — в архиве писателя.

Олеша работал над «Завистью» в Москве, куда приехал из Харькова летом 1922 года. Впоследствии он вспоминал: «Прозу начал писать в 1922 г. Работал, не оглашая, марая, «зверея от помарок», пять лет. Написал листов пятнадцать, из которых вышла затем «Зависть» (набросок автобиографии, 1929, ЦГАЛИ). Позже в беседе с читателями Олеша говорил о «Зависти»: «Как всякая первая книга, она явилась результатом очень длительных накоплений.

Первая книга всегда наиболее свежа. Это — результат почти всей сознательной юности» («Литературный критик», 1935, № 12). Таким образом, авторская дата в первом отдельном издании — «Февраль-июнь 1927. Москва» — по-видимому, отражала заключительные стадии работы над романом.

Весной 1927 года Олеша читал «Зависть» на квартире своего друга писателя Валентина Катаева. Как свидетельствует один из очевидцев этого чтения, «о новой повести скоро заговорила вся литературная Москва. А потом из редакции журнала «Красная новь» пришла весть: в следующем месяце повесть будет напечатана, для этого перепланировали составленный уже и сданный в типографию номер» (А. Эрлих. Нас учила жизнь. М., «Советский писатель», 1960, с. 79).

Критика встретила роман единодушным признанием его высоких художественных достоинств. М. Горький одним из первых отметил автора «Зависти» в числе молодых советских писателей, чьи произведения он читает «охотно, даже с жадностью. Удивительное разнообразие типов у нас и хорошая дерзость» (архив М. Горького, т. X, кн. I. М., «Наука», 1964, с. 43). Вяч. Полонский посвятил творчеству Олеши статью «Преодоление «Зависти», в которой писал: «Юрий Олеша признан всей нашей критикой. Его успех лишний раз показывает, как самоочевидно подлинное искусство. ...Сила романа в его исключительной образности. Юрий Олеша образно *видит* мир. Эта способность не делает еще человека мастером искусства. Но Олеша в превосходной степени владеет способностью мир образно *построить*. А это переводит его в разряд художников. Он умеет так показать качество вещи, ее фактуру, шершавую поверхность, что восприятие наше становится как бы материализованным, видным на ощупь, до осязательности реальным» («Новый мир», 1929, № 5).

Литературный успех писателя был несомненен, однако философская проблематика романа стала предметом бурных споров. Резко полярные мнения возникали вокруг образов главных антагонистов «Зависти» — Андрея Бабичева и Николая Кавалерова, так как глубина, художественная полнокровность Кавалерова лишь подчеркивали, по мнению критики, известную схематичность фигуры «строителя нового мира». Иные критики видели смысл романа «в равно страстном осуждении *обоих братьев* — и Андрея и Ивана Бабичевых — в сравнении с их молодыми отражениями — Макаровым и Кавалеровым» (Я. Черняк. О «Зависти» Юрия Олеши.— «Печать и революция», 1928, № 5); другие отмечали «колебания» автора «в отношении к своим героям, двойственность в самой обрисовке их» (А. Лежнев. О «Зависти» Ю. Олеши.— В кн.: «Литературные будни». М., «Федерация», 1929). В свете этих споров понятно тогдашнее замечание М. Горького в письме к Вс. Иванову: «Олеша — бесспорно талантлив, но конец «Зависти» у него неубедителен, смят» («Новый мир», 1965, № 11, с. 248).

Высоко оценил «Зависть» А. В. Луначарский: «Из произведений попутнических на первое место я ставлю роман Олеши «Зависть». Этот роман не особенно четкий в постановках вопросов. Трудно сказать, кому именно из действующих лиц сочувствует автор. Колеблющиеся позиции его были достаточно четко отмечены нашей критикой. Это не меняет, однако, того дела, что роман этот, написанный с виртуозным блеском и заставляющий много ожидать от автора как литератора, вместе с тем остроумно рассказывает нам о процессах, происходящих по линии соприкосновения уходящей в прошлое,

более или менее романтической интеллигенции с нарастающей новой, рабоче-крестьянской, с командным составом строителей социализма» (А. В. Луначарский. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 2. М., «Художественная литература», 1964, с. 653).

В речи на Первом съезде советских писателей в 1934 году Олеша отвел упреки в «кавалеровщине»: «Много было такого в моей юности, в моих мечтаниях, в моих отношениях к миру, что́ и теперь я могу изобразить в произведении как принадлежащее человеку нового мира, молодому комсомольцу и рабочему». Объясняя право художника на многообразие изображаемых им характеров, он говорил: «Я хочу создать тип молодого человека, наделив его лучшим из того, что было в моей молодости».

Много лет спустя писатель, как бы подводя итоги сделанному им в литературе, записал: «Все мое творчество, как бы оно ни блуждало, всегда в существе своем за народ, за борьбу с прошлым, за ленинизм» («Объяснительная записка» к «Избранным сочинениям» — архив писателя).

Время доказало правоту писателя и справедливость высокой оценки его романа. «Зависть»,— отметил В. Перцов в дни семидесятилетия Юрия Олеши,— книга, неотторжимая от всего пути советской литературы, книга преодоления и надежды» (В. Перцов. Мы живем впервые...— «Знамя», 1969, № 4).

Стр. 16. *Гарун-аль-Рашид* — герой сказок «Тысяча и одна ночь», халиф, тайком покровительствующий беднякам.

Стр. 19. *Иокаста* — героиня трагедии Софокла «Царь Эдип».

Стр. 20. *«В садах, украшенных весною...»* — стихи, по-видимому, сочиненные Олешей.

Стр. 32. *Тьеполо* Джованни Батиста (1696—1770) — итальянский живописец.

Стр. 33. *Лилиенталь* — известный авиатор; см. с. 222.

Стр. 45. *«Тепло и сила»* — электротехнический трест, существовал в Москве в конце двадцатых годов.

Эдисон Т. А. (1847—1931) — американский физик, изобретатель электрической системы освещения.

Стр. 47. *Фламмарион Камилл* (1842—1925) — французский астроном.

...пересекаю «Трубу» — Трубную площадь в Москве.

Стр. 52. *Битва при Фарсале* — сражение между Цезарем и Помпеем на Балканах в 48 г. до н. э.

..вел себя, как Галилей...— На суде инквизиции Галилей был вынужден отказаться от теории движения небесных тел, но сохранил внутреннюю убежденность в своей правоте.

ТРИ ТОЛСТЯКА

(Стр. 97)

Впервые — отдельной книгой: Юрий Олеша. Три Толстяка. Роман для детей, с рисунками М. Добужинского. «Земля и фабрика», М.— Л., 1928.

В сохранившейся (неполностью) в архиве писателя машинописи авторская дата: «28 января 1924 г.».

Художественное новаторство первой в советской литературе революционной сказки для детей было осознано не сразу. На первых порах критика рассматривала роман Олеши как дань традициям западноевропейской сказки. Сам писатель, как бы соглашаясь с критиками, признавал, что его герои «не являются самостоятельно придуманными фигурами», а возникли «под влиянием чтения сказок». Своей заслугой Олеша считал только попытку «революционизировать сказку» (предисловие к театральной программе «Три Толстяка». Балет в четырех действиях». М., Изд. ГАБТ Союза ССР, 1935).

Литературная критика по-разному оценивала необычно красочное, игровое решение темы классовой борьбы. Одним в этом виделась «пряничность» изображения революции (В. Бойчевский. Какой не должна быть книга для детей.— «Рабочий и театр», 1933, № 34). Однако А. В. Луначарский именно в этой красочности, грациозности веселых приключений почувствовал «апологетику всем сердцем приемлющей революцию артистической интеллигенции» (Собр. соч. в 8-ми томах, т. 2. М., «Художественная литература», 1964, с. 467).

Роман Олеши не только воплотил в своеобразной форме пафос революционного обновления мира, но и был связан с очень важными для писателя мыслями об обновлении природы человеческих чувств.

Роман завоевал огромную популярность, переведен на языки многих стран. По инициативе К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко в 1929 году Художественный театр предложил Олеше написать пьесу «Три Толстяка». Премьера пьесы состоялась в мае 1930 года. В 1935 году был поставлен балет (музыка В. Оранского), написана композитором В. Рубиным опера, сняты фильмы, осуществлены радиопостановки. «Подумать,— писал впоследствии о «Трех Толстяках» автор,— сколько лет они стоят, так сказать, в повестке дня нашего искусства!»

РАССКАЗЫ

(Стр. 191)

Проза Олеши началась с рассказов, но о своих первых опытах Олеша вспоминал безжалостно и редко. В пору зрелости Олеша написал более тридцати рассказов, большая часть их представлена в этой книге. В обращенной к издательству «Объяснительной записке» к «Избранным сочинениям» (М., 1956) писатель разделил рассказы на две группы — сборник «Вишневая косточка» и «новые» рассказы. «Вишневую косточку» Олеша рассматривал как рассказы «по существу о самом себе, размышления о двух мирах, если угодно — о положении искусства в новом обществе». К «новым» относились, по-видимому, произведения, созданные в период со второй половины тридцатых по 1947 год. Олеша пояснял это название следующим образом: «Идут рассказы, которые я назвал новыми не потому, что они недавно написаны, а потому, что они новые для меня: это рассказы, где уже речь идет не о себе, а о советских людях» (архив писателя).

Книгу «Вишневая косточка» составили девять рассказов 1927—1930 годов: «Любовь», «Цепь», «Лиомпа», «Человеческий материал», «В цирке», «Записки писателя» («В мире»), «Я смотрю в прошлое», «Пророк», «Вишневая косточка». В эти же годы Олеша написал рассказы «Легенда» и «Мой знакомый».

Отдавая должное мастерству писателя, рецензенты основное внимание обращали на проблематику его рассказов: «Не все, значит, в Кавалерове обречено на слом: «кое-что осталось»,— писал Вяч. Полонский.— В «Зависти» это прозвучало «под сурдинку». В «Любви» и «Лиомпе» мотив этот развернут: мы видим здесь реабилитацию положительных кавалеровских качеств: восстановление власти чувств и образного видения мира. Можно сказать, что, преодолев упадочного Кавалерова, наш автор занят сейчас преодолением Андрея Бабичева: химический синий цвет оказался несъедобным» (Преодоление «Зависти».— «Новый мир», 1929, № 5).

Вообще критика двадцатых годов отнеслась к этим рассказам (особенно к двум первым) с «ревнивым вниманием», предостерегая писателя от несознательной проповеди идеализма и «нетрудового мироощущения» (Н. Берковский. О прозаиках.— «Звезда», 1929, № 2). Отстаивая свои творческие позиции, Олеша отвечал оппонентам: «Может быть, через тридцать лет меня будут читать как пролетарского писателя. Возможно, это — гордое заявление. Возможно, я чрезвычайно заносчиво говорю. Но я это делаю вполне сознательно: я все-таки чувствую, что я работаю для пролетариата» («Советский театр», 1932, № 3).

В рассказах первой половины тридцатых годов («Альдебаран», «Разговор в парке» и др.) обозначался переход к темам новой советской действительности, к проблемам социалистической морали и нравственности, той новой творческой программе, о которой Олеша говорил на I Всесоюзном съезде советских писателей: «Я лично поставил себе задачей писать о молодых. Я буду писать пьесы и повести, где действующие лица будут решать задачи морального характера. Где-то живет во мне убеждение, что коммунизм есть не только экономическая, но и нравственная система и первыми воплотителями этой стороны коммунизма будут молодые люди и молодые девушки». Во второй половине тридцатых годов появились «новые» рассказы Олеши, напоминающие по манере очерк, зарисовку дневникового характера («Стадион в Одессе», «Первое мая», «Комсорг», «Зрелища», «Мы в центре города» и др.). Эти рассказы несли на себе заметную печать стилистической безыскусственности, сознательного отказа от «тем-ящериц», погребенных писателем в черновиках романа «Нищий» и неоконченной пьесы «Смерть Занда» (см. прим. к рассказу «В мире»).

В годы войны писатель находился в Ашхабаде. Военная тема вошла в творчество Олеши «туркменскими» рассказами («Туркмен», «Зеркальце») и написанными уже после возвращения в Москву «Воспоминанием» и «Иволгой». Сороковые годы завершились рассказом «Друзья».

Лиомпа (с. 191). Впервые — газета «Вечерняя Москва», 1927, 8 октября. Первый вариант имел заголовок «Вещи», авторская дата в последнем, четвертом варианте — «сентябрь 1927 г.» (архив писателя).

Легенда (с. 194). Впервые — «Октябрьская газета» (Однодневная газета ФОСП), 1927, 8 ноября. В рукописи назывался «Расправа» (архив писателя). Рассказ был закончен в октябре 1927 г. в Москве.

Любовь (с. 196). Впервые — альманах «Земля и фабрика», кн. 2. М., 1928. В рукописи (архив писателя) имеется дата: «Москва, 10 апреля 1928 г.». Этот рассказ Олеша назвал «своей лучшей вещью» (ЦГАЛИ).

Цепь (с. 203). Впервые — сборник «Любовь» (Б-ка «Огонек», 1929, № 440). В рукописях авторская дата: «Москва, 31 декабря 1928 г.» (архив писателя, ЦГАЛИ).

Стр. 203. *Блерио* Луи (1872—1936) — французский инженер и авиатор, 25 июля 1909 года первым пересек Ла-Манш на самолете собственной конструкции.

Стр. 206. *Уточкин* Сергей Иванович (1874—1916) — один из первых русских летчиков. Родился в Одессе. В 1910 году самостоятельно обучался летному делу, часто выступал с показательными полетами.

В цирке (с. 207). Впервые — журнал «30 дней», 1929, № 1, с подзаголовком «Заметки Юрия Олеши».

Стр. 209. *...вермильонного цвета...* — алого цвета (от *франц.* vermillon — киноварь).

Стр. 210. *Труцци* Вильям (1889—1931) — известный артист и режиссер цирка.

Пророк (с. 211). Впервые — журнал «30 дней», 1929, № 7, под названием «Сон». «Первый черновик» датирован автором: «Ок[ончен] 4 марта 1928 г., Москва» (архив писателя). В журнальной публикации рассказ сопровождался пояснением от редакции (оно было написано самим Олешей): «В новом рассказе автора «Зависти» Юрия Олеши речь идет о самом обыкновенном человечке, которому «было видение». Человечку явился во сне ангел, и человечек счел себя избранным, пророком. Он решил, что ангел послан ему затем, чтобы дать ему силу чудотворца. По ходу рассказа выясняется причина появления ангела. Причина эта дискредитирует видение. Иронический рассказ Ю. Олеши разоблачает природу всякого рода мистики» (Ю. Олеша. Шапочка к «Пророку» для «30 дней». ЦГАЛИ). Название «Пророк» появилось в «Избранном» (М., 1935).

Вишневая косточка (с. 214). Впервые — журнал «Октябрь», 1929, № 8, с датой «5.VIII. 1929 г.». В черновых рукописях имеются варианты заголовков: «Косточка», «Рассказ о вишневой косточке» (архив писателя, ЦГАЛИ).

Стр. 217. *Это какое-то бергсонианство...* — то есть идеалистическая философия А. Бергсона (1859—1941), считавшего интуицию главным инструментом постижения действительности.

Я смотрю в прошлое (с. 220). Впервые — журнал «30 дней», 1929, № 10. Публикация сопровождалась пояснением: «Я пишу о себе, об интеллигенте, потерявшем прошлое и преодолевающем путь в будущее» — такой запиской сопроводил Ю. Олеша свой новый рассказ «Я смотрю в прошлое». Столкновение живого и любознательного ребенка с консервативностью и пошлостью окружающей мелкобуржуазной среды — вот тема рассказа Ю. Олеши».

Стр. 222. *...Латам, Фарман... Райт... Лилиенталь... Вуазен.* — Имена знаменитых авиаторов и конструкторов летательных аппаратов.

«Нива» — популярный в дореволюционной России еженедельный иллюстрированный журнал (1870—1918), издатель А. Ф. Маркс. Ежегодным приложением к «Ниве» выходили собрания сочинений русских и зарубежных писателей.

Стр. 224. *Френолог* — представитель френологии, «учения» о связи между формой черепа и умственными и моральными качествами человека.

Человеческий материал (с. 226). Впервые — газета «Известия»,

1929, 7 ноября. Рассказ писался «трудно», о чем свидетельствует авторское признание в черновиках: «Я сдохну, а напишу это, хотя и не выходит, хоть столько измарано бумаги и потеряно всякое терпение» (архив писателя).

Стр. 227. *Генерал Каульбарс* — см. рассказ «Стадион в Одессе», с. 257.

...убийство королевы Драги... — в 1903 году в Белграде в результате дворцового заговора.

Мой знакомый (с. 229). Впервые — журнал «30 дней», 1929, № 12. В черновой рукописи рассказ назывался «Мой жизнерадостный знакомый» (архив писателя).

В мире (с. 233). Впервые — журнал «30 дней», 1930, № 9, под названием «Записки писателя». В архиве писателя сохранилась черновая разрозненная рукопись. Под названием «В мире» напечатано в «Избранных сочинениях», М., 1956. В журнальном предисловии к рассказу отмечалось: «После «Зависти» и нескольких рассказов, напечатанных в «Октябре» и «30 днях», Олеша как бы отдается философскому самосозерцанию. Плодом этой внутренней перестройки явились рассказы «Я смотрю в прошлое» и «Мой знакомый»... Сейчас Олеша работает над романом «Нищий», отдельные мотивы которого звучат в «Записках писателя».

Стр. 234. *«Нищий»* — эта повесть, по-видимому, была задумана в 1928 году, так как журнал «Красная новь» в № 12 за 1928 год анонсировал ее на следующий год. В архиве писателя сохранился черновик первой главы, датированный 31 января 1929 года. Подробно об истории замысла повести «Нищий» и причинах прекращения работы над ней Олеша рассказал в речи на I съезде советских писателей.

Стр. 240. *У Эдгара По есть рассказ...* — «Сфинкс» (1846).

Альдебаран (с. 240). Впервые — журнал «30 дней», 1931, № 8. Сохранились черновые варианты начала рассказа (архив писателя).

Стр. 242. *...Век просвещенного абсолютизма...* — Далее перечисляются имена и события французской истории конца XVIII — 1-й пол. XIX века. *Жорж Занд. Шопен.* — Ф. Шопен с 1831 года жил в Париже и был дружен с писательницей Ж. Санд. *Ида Рубинштейн* — известная танцовщица начала XX века. *Дело Дрейфуса* длилось с 1894 по 1899 г. *Королева Виктория* умерла в 1901 году в возрасте 82 лет. *Открытие Суэцкого канала* состоялось в 1869 году.

Кое-что из секретных записей попутчика Занда (с. 246). Впервые — журнал «30 дней», 1932, № 1. Авторская дата в рукописи: «1931 г., декабрь. Москва» (архив писателя, ИМЛИ).

Тема рассказа связана с злободневной в то время дискуссией о месте писателей-«попутчиков» в пролетарской литературе. Редакция «30 дней» сопроводила рассказ Олеши статьей И. Бачелиса «Наш ответ попутчику Занду», призывая читателей откликнуться на затронутые Олешей «вопросы перестройки попутнических кадров писателей». В этой статье прозвучало резкое несогласие с зандовской психологией творчества, воспринятой как «обожествление противоречий мелкого буржуа», от которых писателю рекомендовалось решительно отмежеваться. В своем ответе («30 дней», 1932, № 5), как и в самом рассказе, Олеша разъяснял сложность этой перестройки: «...я знаю, что писатель должен быть выразителем идеологии восходящего класса. Необходимость перестройки мне ясна, но я прежде всего писатель... То есть воображение в

сильной степени владеет мной. Я даже болен слоновой болезнью воображения — гиперболизмом! И вот потому, что я прежде всего художник, мне представляется темой, подлежащей обработке, уже сам тезис, что писатель должен перестроиться!.. Не отождествляйте меня с Зандом! Занд — только половина моих воспоминаний. Другую половину начал накапливать Зубило...» Характерно, что ответ Олеши по времени почти совпал с историческим постановлением ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-художественных организаций», взявшим курс на создание единого союза «всех писателей, поддерживающих платформу Советской власти» («Правда», 1932, 24 апреля).

Стр. 247. *Челлини* Бенвенуто (1500—1571) — итальянский скульптор, ювелир и медальер.

Разговор в парке (с. 253). Впервые — газета «Вечерняя Москва», 1933, 23 августа. Сохранились черновая рукопись (ЦГАЛИ) и наброски (архив писателя). Это первый опыт художественной разработки темы «абсолютной стоимости человека», продолженной и развитой в киносценарии «Строгий юноша». В статье «Заметки драматурга» Олеша писал: «Нас интересует иная стоимость человека: в обществе, где не будет богатых и бедных, получить возможность определять абсолютную стоимость человека. В бесклассовом обществе многое будет обращено на улучшение человека. Тут возникает соревнование. Кто из нас лучше, чище, умней, изобретательней? Чья цена выше?

Абсолютная цена. Без миллиона. Без наследства.

Возможно, что этот момент — соревнование человеческих качеств — будет главной темой драматургии будущего» («Театр и драматургия», 1933, № 5).

Стр. 255. *«Если же ты любишь, не вызывая взаимности...»* — К. Маркс. Экономическо-философские рукописи 1844 года (К. Маркс и Ф. Энгельс. Из ранних произведений. М., Госполитиздат, 1956, с. 620 — точный перевод).

Стадион в Одессе (с. 256). Впервые — газета «Вечерняя Москва», 1936, 2 июня.

Стр. 257. *Лизогуб* Дмитрий Андреевич (1850—1879) — русский революционер-народник, приговорен к смертной казни, повешен в Одессе. Среди своих соратников считался человеком идеального нравственного облика. Послужил прототипом героя рассказа Л. Н. Толстого «Божеское и человеческое» (1906).

Первое мая (с. 258). Впервые — журнал «30 дней», 1936, № 6, под названием «За 3 дня». В рукописях (архив писателя, ЦГАЛИ) рассказ был разделен на главки, каждая из которых имела название. В «Избранных сочинениях» (М., 1956) — с новым названием «Первое мая».

Наташа (с. 263). Впервые — журнал «30 дней», 1936, № 7. Сохранилась беловая рукопись, близкая к печатному тексту (ЦГАЛИ).

Комсорг (с. 265). Впервые — журнал «30 дней», 1936, № 8. Сохранилась беловая рукопись (ЦГАЛИ).

Три рассказа (с. 268). Впервые — журнал «30 дней», 1936, № 11.

Стр. 268. *Мазереель* Франс (1889—1972) — бельгийский художник.

Зрелища (с. 274). Впервые — «Литературная газета», 1937, 30 августа. Сохранилась недатированная рукопись (архив писателя).

Мы в центре города (с. 276). Впервые — журнал «30 дней», 1937, № 9.

Туркмен (с. 281). Впервые — «Туркменская искра», 1944, 17 сентября, под названием «Клыч». На туркменском языке — в журн. «Совет Эдебияты»,

1944, № 9—10. С незначительной стилистической правкой под названием «Туркмен» рассказ вошел в «Избранные сочинения» (М., 1956).

Зеркальце (с. 286). Впервые — «Туркменские рассказы». Ашхабад, 1945.

Воспоминание (с. 288). Впервые — журнал «Огонек», 1947, № 18. В рукописи (архив писателя) назывался «Семья».

Иволга (с. 291). Впервые — журнал «Огонек», 1947, № 39. В черновиках (архив писателя) рассказ назывался иначе: «Девочка в лесу», «В лесу».

Друзья (с. 294). Впервые — журнал «Мурзилка», 1949, № 6. В рассказе цитируется лицейское стихотворение А. С. Пушкина «К студентам» (1814).

СТРОГИЙ ЮНОША

(Стр. 299)

Впервые — «Литературная газета», 1934, 28 июня, отрывок под названием: «Дискобол. Эпизод из пьесы для кинематографа». Полностью — журнал «Новый мир», 1934, № 8, с авторской датой: «Май — июнь 1934 г. Одесса». В книге «Избранное» (М., 1935.) Олеша ввел нумерацию эпизодов, которые в журнальном варианте разделялись интервалами.

«Строгий юноша» — первая крупная работа писателя для кино — был встречен с большим интересом литературной общественностью и критикой середины 30-х годов. В начале июля 1934 года в Москве, в Доме писателя, состоялось обсуждение нового произведения Олеши. В нем приняли участие Вс. Мейерхольд, А. Фадеев, В. Кирпотин, А. Сурков, В. Шкловский, А. Роом и другие. Пьеса была воспринята как «попытка приподнять завесу над ближайшим, реально осязаемым будущим, нащупать проблему моральных взаимоотношений в бесклассовом обществе, отправляясь от сегодняшней конкретной действительности СССР» (Я. Ман. Строгий юноша.— «Литературная газета», 1934, 6 июля). Споры вызвала форма «Строгого юноши», который большинством участников обсуждения был признан не столько киносценарием, сколько самостоятельным художественным произведением.

Критика рассматривала «Строгого юношу» как начало новой полосы в творчестве писателя. Философская проблематика пьесы стала предметом доброжелательных, но острых дискуссий. «Строгий юноша» обсуждался в 1935 году на страницах журнала «Молодая гвардия». Отстаивая свою позицию, Олеша подчеркивал именно морально-этическую направленность произведения:

«Я хотел написать пьесу об уважении друг к другу. Мне кажется, что это чувство — чувство уважения друг к другу — надо укреплять в нашей среде...

...Это пьеса о свободе и о необходимости, пьеса об ограничениях свободы. Заметьте, всем персонажам в пьесе чего-нибудь хочется, и каждый из персонажей себя ограничивает... во имя чего? Во имя уважения друг к другу. Если мы будем жить в бесклассовом обществе, мы все будем одно. Среди нас не будет денежных отношений, не будет ни над кем из нас денежной власти кого-нибудь из нас. Поскольку мы все будем одно, то нам придется чрезвычайно внимательно, чрезвычайно по-человечески относиться друг к другу» («Молодая гвардия», 1935, № 4).

В 1936 году на киевской кинофабрике Украинфильма режиссер А. Роом снял по сценарию фильм «Строгий юноша». В главных ролях были заняты: Маша — О. Жизнева, Степанов — Ю. Юрьев, Цитронов — М. Штраух, Гр. Фокин — Д. Дорлиак.

Стр. 329. *Если же ты любишь, не вызывая взаимности...* — см. прим. к рассказу «Разговор в парке», с. 566.

НИ ДНЯ БЕЗ СТРОЧКИ

(Стр. 339)

Впервые — «Литературная Москва», сб. второй (М., Гослитиздат, 1956) — двадцать четыре пронумерованные недатированные записи мемуарно-дневникового характера под общим названием «Ни дня без строчки». В расширенном виде включено в однотомник «Избранные сочинения» (М., Гослитиздат, 1956), который вышел из печати почти одновременно с первой публикацией. В «Литературной Москве» были опубликованы также сорок шесть записей литературно-критического плана под общим названием «Из литературных дневников» (в «Избранных сочинениях» этот раздел получил название «Заметки, замыслы, планы»). Судя по письмам тех лет, эти записи должны были составить одно целое. Завершить книгу писатель не успел. Он не оставил окончательного плана книги, колебался и в выборе ее названия: «Я делюсь прекрасным», «Что я видел на земле», «Думаю, значит, существую», «Слова, слова, слова...», «Книга воспоминаний», «Воспоминания и размышления» (архив писателя). После смерти писателя продолжалась публикация отдельных материалов с неизменным названием «Ни дня без строчки» [1].

В 1965 году издательство «Советская Россия» выпустило «Ни дня без строчки» отдельной книгой. В нее вошли как ранее публиковавшиеся, так и не известные дотоле читателю материалы. В предисловии к этому изданию Виктор Шкловский писал: «Среди разрозненных фрагментов и кусков надо было уловить замысел книги, понять последовательность частей и внутреннюю связь образов. Эту работу выполнил литературовед Михаил Громов». Для настоящего издания М. П. Громов проделал работу заново, просмотрел машинопись книги (хранится в архиве писателя), сделал ряд уточнений, дополнил книгу ранее не публиковавшимися фрагментами [2]. Текст книги сверен с рукописями (эта работа осуществлена женой писателя О. Г. Суок-Олеша).

Первые мысли о «книге о своей жизни» относятся к весне 1930 года, когда Олеша начал дневник. Документальные жанры (очерки, мемуары) в двадцатых — начале тридцатых годов приобретали широкую популярность. В тридцатых годах Олеша все чаще обращался к рассказу-очерку, воспоминаниям, размышлениям о литературном мастерстве («новые» рассказы, «Заметки драматурга», «Литературная техника», «Эдуард Багрицкий», «Об Ильфе» и др.). 5 мая 1930 года он записывал в дневнике: «Вместо того, чтобы начать писать

---

[1] См.: «Литературная газета», 1960, 4 октября; «Учительская газета», 1961, 3 июня; «Советский цирк», 1961, № 6; «Октябрь», 1961, № 7-8; «Литературная Россия», 1963, 1 января; «Вопросы литературы», 1964, № 2; «Наука и религия», 1965, № 1.

[2] Часть из них опубликована в «Литературной газете» 19 сентября 1973 г.

роман, я начал писать дневник. Читатель увлекается мемуарной литературой... Скажу о себе, что и мне гораздо приятней читать мемуары, нежели беллетристику... Зачем выдумывать, «сочинять». Нужно честно день за днем записывать истинное содержание прожитого без мудрствований, а — кому удается — с мудрствованиями. Пусть пишут дневники все: служащие, рабочие, писатели, малограмотные, мужчины, женщины, дети — вот клад для будущего! Мы, живущие в эпоху основоположения нового человеческого общества, должны оставить множество свидетельств» (архив писателя). Стремление к невыдуманности у Олеши было обращено вовнутрь, поэтому, вероятно, дневник и становился отправной точкой для рассказа о собственной жизни, которую писатель по многим причинам считал «замечательной».

Писатель сразу же отказался от последовательного фактографического изложения своего жизненного пути. Он писал в дневнике того же времени: «Сейчас я вынимаю из памяти куски, сортирую их, складываю. Затем нужно будет изготовить пластинки, вроде тех, какие вдвигаются в волшебный фонарь, и придумать аппарат, который мог бы просветлять их и проектировать». В тетради, датированной 5 декабря 1931 года, содержатся размышления о композиции будущей книги: «Сюда можно будет вставлять отдельные рассказы, новеллы... Неоконченные отрывки, потому что это книга писателя». В этой же тетради — наброски о Хлебникове, о «бое собственного сердца».

По-видимому, другие творческие планы отвлекали писателя, но книга продолжала внутренне созревать, мысли о ней не покидали писателя. В ашхабадском дневнике 1944 года читаем: «Писать каждый день. Это, может быть, и составит книгу, о которой я мечтаю» (архив писателя).

В 50-х годах, ко времени публикации первых записей «Ни дня без строчки», будущая книга полностью захватила писателя. В письме к матери в 1956 году он сообщал: «Главная моя работа сейчас — это составление книги, которая будет называться «Воспоминания и размышления». Это книга о себе, о литературе, о жизни, о мире. Там будет много детских воспоминаний, много о тебе, о папе, о Ванде, об общих знакомых...» Олеша часто читал отрывки из книги в дружеском кругу, сохранились магнитофонные записи этого чтения. Фрагмент одной из них воспроизведен на пластинке «Говорят писатели» (ДО18421—2), где записи комментирует И. Андроников.

Отдельное издание «Ни дня без строчки» (М., «Советская Россия», 1965) получило единодушную высокую оценку критиков, литературоведов, писателей. Это было признание упорного труда писателя, признание книги, в которой «сливаются биография автора и биография века» [1], которая пронизана влюбленностью в мир, «чудесной поэтичностью» [2] и вместе с тем является высоким достижением мастера — «настоящей энциклопедией стиля и хорошего вкуса» [3].

Пристальное внимание критика обратила на жанровую природу «Ни дня без строчки». За исключением В. Огнева и В. Перцова, воспринявших книгу, как «осколки разбитого зеркала жизни», «золотые россыпи» души художника»,

---

[1] Л. Теракопян. На кончике луча.— «Литературная Россия», 1965, 20 августа.

[2] Б. Мейлах. Записки влюбленного в жизнь.— «Нева», 1965, № 9.

[3] Вал. Катаев. Прощание с миром.— «Знамя», 1966, № 3.

собранные вдумчивыми составителями[1], большинство рецензентов было склонно рассматривать ее как целостное произведение, которое приближается к особому жанру — между «отрывком» и «книгой», между метафорой и «автобиографическим романом». Эту мысль развернуто аргументировал А. Урбан: «Смерть помешала Юрию Олеше придать произведению окончательную форму. Но он подошел к открытию, которое расширяет границы прозы, дает роману ту свободу, которая отнимает у писателя право на болтливость, на выдумывание ситуаций, долженствующих «свести концы с концами»... и открывает простор для высказывания доступной ему, полной, единственной, новой правды» (От метафоры к роману.— «Звезда», 1965, № 10).

«Читая книгу «Ни дня без строчки»,— писал Вал. Катаев,— испытываешь чувство восхищения и гордости советским народом, который уже родил и продолжает рождать так много хороших и разных художников. Олеша был в высшей степени «хороший и разный», и он был сыном своего народа, сыном революции.

Если бы не было революции, заставившей художника постоянно переосмысливать мир, не было бы и Олеши-писателя, вся сила которого как художника именно и заключается в постоянном переосмысливании мира» (Прощание с миром.— «Знамя», 1966, № 3).

Стр. 349. *После Катаева, Пастернака...*— «Белеет парус одинокий», гл. 41 (1936) В. Катаева и «Вальс со слезой» (1941) Б. Пастернака.

Стр. 352. *Англо-бурская война* — война Великобритании против бурских республик Оранжевой и Трансвааля (1899—1902).

...основан Художественный театр...— в 1898 году. *Цусима* — морское сражение с японским флотом в мае 1905 года закончилось поражением русской эскадры; гавань *Чемульпо* в Корее стала местом героической гибели (1904) крейсера «Варяг». *Мукден, Ляоян* — города на Дальнем Востоке, вблизи которых царская армия имела сражения в русско-японской войне (1904—1905).

Стр. 355. *Вакуленчук* Г. Н.— матрос с броненосца «Потемкин», убитый в начале восстания броненосца в июне 1905 года.

Стр. 356. *Мангейм* — местность под Одессой.

Стр. 359. *...как в подобном рассказе Чехова...*— «Не в духе» (1884).

Стр. 361. *Давид* Жак-Луи (1748—1825) — французский живописец, основоположник революционного классицизма.

Стр. 366. *«Золотая библиотека» Вольфа* — серия книг мировой классики, выпущенная петербургским издательством М. Вольфа.

Стр. 370. *Куликово поле* — площадь в Одессе; *Ланжерон* — см. рассказ «Стадион в Одессе».

...которых написал Пикассо...— картина П. Пикассо «Девочка на шаре» (1905).

Стр. 373. *Жевахова гора* — в Одессе в районе Пересыпи.

Стр. 377. *И я хотел бы пройти по жизни назад, как это удалось в свое время Марселю Прусту.*— Олеша имеет в виду первую книгу («По направле-

---

[1] См.: В. Огнев. Ни дня без таланта.— «Неделя», 1965, 12—18 декабря; В. Перцов. Души золотые россыпи.— «Литературная газета», 1965, 10 июля.

нию к Свану»)) многотомного романа Пруста «В поисках утраченного времени» (1913—1927).

Стр. 379. *...еще при Павле...*— Павел I был русским императором в 1796—1801 годах. Одесса основана в 1794 году.

Стр. 383. *Верден, Реймс* — города во Франции, вблизи которых в первую мировую войну происходили кровопролитные сражения.

Стр. 384. *...день смерти Толстого.*— 7 (20) ноября 1910 года.

Стр. 387. *Макс Линдер* (1883—1925) — французский киноактер.

Стр. 393. *Пражские сокола* — сторонники «соколиной гимнастики»; возникла в начале XX века в Чехословакии.

Стр. 396. *Самокиш-Судковский* Н. С. (1860—1944) — художник-баталист. *«Принцесса Греза»* — картина Врубеля (находится в Третьяковской галерее в Москве).

Стр. 405. *«Шум времени»* — книга вышла в Ленинграде в 1925 году в изд-ве «Время».

Стр. 411. *Арнольд* — Барский А. Г. (1897—1969), режиссер цирка.

Стр. 418. *Ария Канио* — из оперы Р. Леонкавалло «Паяцы».

Стр. 422. *Катаев* (р. 1897) — писатель Катаев Валентин Петрович, близкий друг Ю. К. Олеши.

...получил из рук шведского короля награду...— И. А. Бунин (1870—1953) получил Нобелевскую премию в 1933 году.

Шенгели Г. А. (1894—1956) — советский поэт, переводчик, теоретик стиха. Олеша неточно цитирует строфу стихотворения «Вдали расплавленно-топазовая...».

Стр. 423. *И в глуши исповедален...*— из стихотворения «Стихи Фалька». У Шенгели: «в тиши исповедален».

...В Угличе, сжимая горсть орешков...— «Dmetrius-imperator» (1917).

Стр. 425. *Пуанкаре* Раймон (1860—1934) — президент Франции, один из организаторов интервенции против Советской России.

Геликон — медный басовый инструмент.

Стр. 426. *Азеф* Е. Ф. (1869—1918) — эсер, провокатор.

Стр. 428. *Метерлинк* Морис (1862—1949) — бельгийский драматург и поэт, автор «Синей птицы» (1908).

Стр. 430. *...тишина, о которой Гоголь сказал...*— в повести «Вий» (1835).

...я напечатал одно-два...— самая ранняя известная публикация Олеши — стихотворение «Кларимонда», напечатанное в «Южном вестнике», 1915, № 6.

Стр. 436. *...моя работа в «Гудке».*— Олеша работал в «Гудке» с 1922 по 1929 год. *«Зубило»* — одним из первых фельетонов, подписанных этим псевдонимом, была «Поэма о влюбленном капитане» — «Гудок», 15 декабря 1922 года.

Стр. 438. *...сердце похоже на церковку...*— в поэме В. Маяковского «Облако в штанах» (1914—1915). *Автомобиль подкрасил губы...*— из стихотворения Маяковского «Театры» (1913).

...сохранилось только несколько отрывков...— Маяковский снимался в фильмах: «Погоня за славой» (1913), «Барышня и хулиган» (1918), «Не для денег родившийся» (1918), «Закованная фильмой» (1918). Фильм «Отцы и дети» предполагался в 1929 году.

Стр. 441. *Роман «Нищий»* — см. прим. к рассказу «В мире», стр. 565.

Стр. 444. *Говоря о силе слов, он сказал...* — из «Неоконченного» (1928—1929).

Стр. 446. *Ильф* (1897—1937) — писатель Илья Ильф, друг Олеши.

Стр. 447. *Айседора Дункан* (1878—1927) — американская танцовщица.

Некритина — актриса, жена поэта и драматурга А. Б. Мариенгофа; играла Суок в Ленинградском Большом драматическом театре (1930).

Стр. 448. *Европа Цезарей! С тех пор как в Бонапарта...* — «Европа» (1914) О. Мандельштама.

Стр. 449. *Альтман* Н. И. (1889—1970) — живописец, график, театральный художник; иллюстрировал «Зависть» Олеши (М., 1928). Портрет Ахматовой написан им в 1914 году.

О ней писал Мандельштам... — в стихотворении «Вполоборота, о печаль...» (1914):

Зловещий голос — горький хмель —
Души расковывает недра:
Так — негодующая Федра —
Стояла некогда Рашель.

Стр. 450. *Рядом, помню, сидят...* — *Эрдман* Б. Р. (1899—1960), театральный художник, в 1930 году оформлял спектакль «Три Толстяка» в МХАТе, и писатель М. А. *Булгаков* (1891—1940). *Мой Маржерет... ничуть не бледнее Фейлана...* — персонаж из пьесы Олеши «Список благодеяний» и герой пьесы исландского драматурга Х. Лакснесса «Серебряная луна». *В Средней Азии особенно оценили меня за строчку...* — см. девятую главу второй части «Зависти», с. 88 наст. изд. *Чертков* В. Г. (1854—1936) — друг Л. Н. Толстого, редактор Полного собрания его сочинений в 90 томах.

Стр. 453. *Маленькие гномы... о которых... писал Гейне...* — в статье «Духи стихий» (1835—1837).

Стр. 454. *Роден* Огюст (1840—1917) — французский скульптор.

Андрей Белый (псевдоним Бугаева Б. Н., 1880—1934) — писатель, теоретик символизма.

Стр. 457. *...автор «Данаи»...* — Рембрандт.

Пастернак, потрясший... сравнением дыма с Лаокооном... — в поэме «Девятьсот пятый год» (гл. I, Отцы).

Стр. 460. *Еще Гомер сравнивает убранные волосы с гиацинтом...* — «Одиссея», песнь шестая.

...начитавшись Морозова... — в семитомном труде «Христос» революционера-народника Н. Л. Морозова сделана попытка пересмотреть основные положения истории человеческого общества.

Стр. 461. *...суд над ним...* — Сократ (469—399 гг. до н. э.) был приговорен к смерти и умер, выпив яд.

Стр. 462. *...Маяковский... видя бой быков, жалел...* — «Мое открытие Америки» (1925—1926).

Франклин Вениамин (1706—1790) — американский политический деятель, ученый-физик.

Стр. 463. *Баррас* — см. рассказ «Альдебаран», с. 242.

Стр. 464. *Стендаль пишет...* — в книге «Жизнь Наполеона».

Стр. 465. *Фаэтон* (греч. миф.) — сын бога Солнца Гелиоса, управляя ко-

лесницей отца, слишком приблизился к Земле; чтобы спасти Землю от гибели, Зевс убил Фаэтона молнией.

Стр. 466. *Витте* С. Ю. (1849—1915) — русский государственный деятель, автор «Воспоминаний».

Стр. 467. *...за столиком «Националя»...* — кафе гостиницы «Националь» в Москве, где бывал Ю. К. Олеша.

Стр. 468. *...ксендз в Польше* — астроном Николай Коперник (1473—1543).

Савонарола (1452—1498) — флорентийский религиозно-политический деятель; организовал из фанатически настроенных групп молодежи своего рода полицию нравов, устраивал торжественные сожжения произведений искусства, книг, предметов быта как «светской суеты».

Стр. 472. *Шелли говорит...* — в «Критических замечаниях о скульптуре Флорентинской галереи» (Шелли. Полн. собр. соч., т. 3. СПб., «Знание», 1907, с. 346). *Ниобея* (греч. миф.) — за насмешки над богиней Лето дети Лето убили, по приказанию матери, солнечными стрелами всех детей Ниобеи. Шелли описывает свое впечатление от статуи Ниобеи.

Стр. 475. *...известие о смерти...* — М. Лозинский умер в 1955 году (р. 1866).

Мне нет никакого дела до его манифеста... — «Душа человека при социализме» (1891).

Стр. 476. *Ливанов* Б. Н. (1904—1972) — артист Художественного театра, друг Ю. К. Олеши.

Сид — герой испанской эпической поэмы «Песнь о моем Сиде» (ок. 1140 г.).

Стр. 477. *Монтень* Мишель (1533—1592) — французский писатель и философ, автор «Опытов».

Стр. 479. *Константин* — вел. кн. Константин Николаевич (1827—1892), наместник Царства Польского в 1862—1863 годах. Олеша вспоминает о нем в связи с чтением «Былого и дум» А. И. Герцена.

...строки из Есенина... — из стихотворения «Мы теперь уходим понемногу...» (1924).

Стр. 480. *И полуостровов воздушны изваянья...* — из стихотворения О. Мандельштама «Европа» (1914).

Читал «Вертера»... — роман И.-В. Гете «Страдания молодого Вертера» (1774).

Оссиан — легендарный воин, бард кельтов, живший, по преданию, в III в. Интерес к личности Оссиана был вызван книгой Дж. Макферсона «Сочинения Оссиана» (1765).

Стр. 483. *Анненков... вспоминает о встречах с Гоголем* — «Гоголь в Риме летом 1841 года» (1857).

Стр. 484. *Записки Шаховского...* — А. А. Шаховского (1777—1846).

Стр. 487. *У Пушкина есть... строки...* — неточная цитата из «Каменного гостя», у Пушкина: «пойдете кудри наклонять». *И пусть у гробового входа...* — из стихотворения «Брожу ли я вдоль улиц шумных...» (1829). *Там упоительный Россини...* — «Отрывки из путешествия Онегина» (1829).

Стр. 488. *В моей руке — какое чудо! — Твоя рука!* — Из стихотворения А. Фета «Я повторял: когда я буду...» (1854).

Стр. 489. *Панаева* А. Я. (1819—1893) — писательница, автор «Воспоминаний» (1889).

Кони А. Ф. (1844—1927) — русский судебный деятель, писатель, автор мемуаров «На жизненном пути» (изданы в 1912—1929 гг.).

Стр. 490. *Панаев* И. И. (1812—1862) — писатель, автор «Литературных воспоминаний» (1861).

Стр. 491. *Ремизова* А. И. (род. в 1905 г.) — режиссер, постановщик инсценировки Ю. Олеши романа Достоевского «Идиот» (1958).

Казакевич Э. Г. (1913—1962) — писатель.

...дневник некоего Пигафетты... — книга Антонио Пигафетты «Путешествие Магеллана» (пер. с итал., М., 1950).

Пишу инсценировку «Идиота». — Над инсценировкой «Идиота» Олеша работал с осени 1955 по февраль 1956 года (см. «Вопросы литературы», 1973, № 5).

Стр. 492. *Акимов* Н. П. (1901—1968) — режиссер, народный артист СССР.

Стр. 493. *Секвестр* — запрещение или ограничение, налагаемое в интересах государства на пользование каким-либо имуществом.

Стр. 495. *Ростан Эдмон* (1868—1918) — французский поэт и драматург. *Принцесса Греза* — героиня одноименной драмы Ростана (1895). «Сирано де Бержерак» — героико-романтическая комедия Ростана (1897).

Т. Л. Щепкина-Куперник (1874—1952) — писательница, переводчица произведений Ростана на русский язык.

Виктор и Мариус Петипа — драматические актеры, сыновья известного русского танцовщика и балетмейстера М. И. Петипа.

Стр. 496. *Гофман, изображая... студента...* — в «Золотом горшке» (1814).

Стр. 497. *У Герцена есть восторженная статья о нем...* — «Гофман» (1834). «Кавалер Глюк» — рассказ Гофмана (1809). *«Ифигения в Авлиде»* — опера Глюка.

У него был кот... — рассказ Э. По «Черный кот» (1843).

Стр. 498. *«Первые люди на Луне»* — роман Г. Уэллса (1901).

...Когда он разговаривал с Лениным... — Г. Уэллс беседовал с В. И. Лениным 6 октября 1920 года.

Стр. 499. *...автор «Записок маркера»* — Л. Н. Толстой.

Стр. 501. *Мирабо* Оноре (1749—1791) — деятель Великой французской революции.

Так я не пошел на выставку Пикассо — осенью 1956 года.

Стр. 502. *...рассказ какого-то неизвестного русского писателя...* — Как установил Евг. Брандис, это рассказ французского писателя О. Дельяра (см. «Искатель», 1970, № 5).

Стр. 503. *От рождения мальчика держали в условиях...* — Олеша вспоминает рассказ А. Грина «Пропавшее солнце» (1923).

Стр. 504. *...рассказ о человеке, который должен был... покинуть город...* — рассказ А. Грина «Огонь и вода» (1916). *Амброз Бирс* (1842—1914) — американский писатель, развивавший традицию «страшного рассказа», мастер романтической фантастики.

Стр. 506. *«Гедда Габлер»* — пьеса Г. Ибсена (1884).

Томас Манн тонко подмечает... — в новелле «Тонио Крегер» (1903).

Стр. 507. *В числе гостей был Маяковский...* — Олеша ошибся: Маяковский умер в 1930 году.

Стр. 514. *«Мир искусства»* — художественный кружок, выступавший за «свободу искусства» против академизма и позднего передвижничества; под

тем же названием кружок издавал иллюстрированный журнал (СПб., 1899—1904).

Стр. 515. *Боттичелли* Сандро (1444—1510) — итальянский живописец эпохи Возрождения, любимый художник Ю. К. Олеши. *Ангел Рафаэля так созерцает Божество...*— из стихотворения А. Пушкина «Ее глаза» (1828).

У Эдгара По есть... рассказ...— вероятно, «Свидание» (1835).

Стр. 516. *В Венеции служил Руссо...*— Ж.-Ж. Руссо (1712—1778) некоторое время работал секретарем посольства в Венеции.

Стр. 517. *...фригийский колпак* — головной убор красного цвета, символ свободы.

Стр. 519. *Как мог Лев нападать...*— в трактате «Что такое искусство?», гл. XVI.

Стр. 521. *Какое царственное письмо написал Чайковский...*— письмо к А. Зилоти 11 июля 1891 года.

Стр. 522. *...пересказывает Толстой бодлеровские «Облака»* — в трактате «Что такое искусство?», гл. X.

У Владимира Нарбута есть чудесные строчки...— в стихотворении «Большевик» (в сб. «Советская земля», Харьков, 1921). С поэтом Владимиром Ивановичем Нарбутом (1888—1944) Олеша познакомился в Одессе (в 1920—1922 годах Нарбут возглавлял Югроста и затем Ратау в Харькове). В Москве Нарбут организовал и возглавил издательство «Земля и фабрика» (1922—1930), выпустившее первые издания «Зависти» и «Трех Толстяков».

Стр. 523. *Велемир Хлебников* (1885—1922) — советский поэт. Олеша имеет в виду статью В. Маяковского «В. В. Хлебников» (1922). Цитируется отрывок из поэмы Хлебникова «Гибель Атлантиды» (1909—1910).

Стр. 524. *Петровский* Д. В. (1892—1955) — советский писатель.

У Ренара похоже о деревьях...— «Семья деревьев» в сб. «Естественные истории» (1896).

Стр. 529. *Илья Сельвинский великолепно описал тигра.*— «Охота на тигра» из цикла «Тихоокеанские стихи» (1932).

Стр. 531. *...Грин в одном из своих рассказов...*— «Крысолов» (1924).

Стр. 532. *Альгамбра* — крепость-дворец мавританских властителей в Испании около Гранады (XIII—XIV вв.). *Регистан* — название парадных площадей городов Среднего Востока.

Стр. 541. *Никитенко* А. В. (1804—1877) — критик и литератор, автор посмертно изданных «Моей повести о себе» и «Дневника».

Стр. 542. *...написал пьесу в стихах...*— «Левша».

Стр. 543. *Сегодня в «Известиях»...* — 7 мая 1954 года.

Стр. 544. *Дикий* А. Д. (1889—1955) — в пьесе голландского драматурга Г. Хейерманса «Гибель «Надежды» играл роль Баренда.

Стр. 548. *Маяковский говорит...*— в стихотворении «Тропики» (1926).

Стр. 551. *Малышкин* А. Г. (1892—1938) — советский писатель.

В. БАДИКОВ.

СОДЕРЖАНИЕ

В. Шкловский. Глубокое бурение 3

ЗАВИСТЬ. *Роман* 13

ТРИ ТОЛСТЯКА. *Роман для детей* 97

РАССКАЗЫ

Лиомпа 191
Легенда 194
Любовь 196
Цепь 203
В цирке 207
Пророк 211
Вишневая косточка 214
Я смотрю в прошлое 220
Человеческий материал 226
Мой знакомый 229
В мире 233
Альдебаран 240
Кое-что из секретных записей попутчика Занда 246
Разговор в парке 253
Стадион в Одессе 256
Первое мая 258
Наташа 263
Комсорг 265
Три рассказа 268
Зрелища 274
Мы в центре города 276
Туркмен 281
Зеркальце 286
Воспоминание 288
Иволга 291
Друзья 294

СТРОГИЙ ЮНОША *(Пьеса для кинематографа)* 299

НИ ДНЯ БЕЗ СТРОЧКИ 341

Примечания *В. Бадикова* 559

Юрий Карлович Олеша

ИЗБРАННОЕ

Редактор Т. Сумарокова
Художественный редактор Ю. Боярский
Технический редактор Т. Таржанова
Корректоры З. Тихонова и Н. Усольцева

Сдано в набор 25/X 1973 г. Подписано в печать 20/VI 1974 г. А02246. Бумага типогр. № 1. Формат 60 × 90¹/₁₆. 36 печ. л. 36,0 усл. печ. л. 41.528+ + 1 вкл. = 41,586 уч.-изд. л. Тираж 100 000 экз. Заказ 2910. Цена 1 р. 56 к. Издательство «Художественная литература». Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19. Ордена Ленина типография «Красный пролетарий». Москва, Краснопролетарская, 16.